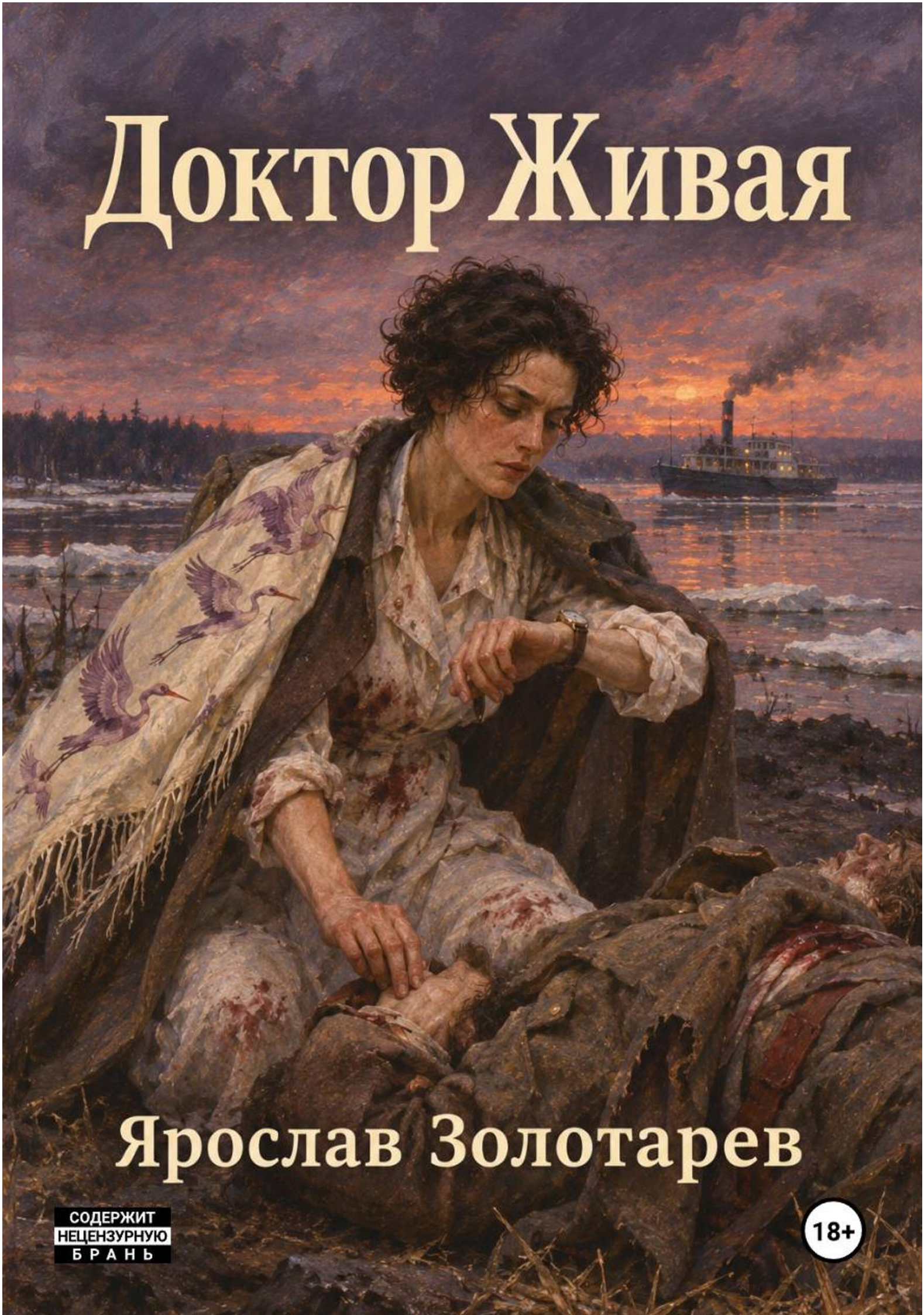

Доктор Живая
Ярослав Золотарев
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Ярослав Золотарёв

Доктор Живая

«Автор»
2026

Золотарёв Я.

Доктор Живая / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Двадцать третьего февраля 1917 года Лене Трофимовой исполняется девятнадцать, и в этот же день начинается революция. Она отличница-медичка, эсерка, дочь профессора-большевика и каторжанки, о которой в Томске до сих пор рассказывают страшные легенды. От матери ей достаётся клад под мраморной чайкой, а вместе с кладом вопрос, кем эта мать была на самом деле.За четыре года Лена успеет побывать подпольщицей и танцовщицей, хирургом на белом фронте и «Доктором Живой» в летучей труппе Колчака, красным врачом и матерью близнецов. Её будут любить, покупать и допрашивать герои, знакомые вам по другим книгам: Швейк торгует мылом, профессор Преображенский ставит опыты, генерал Чарнота играет в карты, а Копенкин защищает коммунизм в отдельно взятом селе. Каждая власть обещает ей новую жизнь, и каждой нужны её руки.Злая и нежная эпопея о Гражданской войне в Сибири. Продолжение романа «И буду судить живых и мертвых».

© Золотарёв Я., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Наследство 5
Глава 2. Студент 29
Глава 3. Как надо жить 48
Глава 4. Облава 66
Глава 5. Заём свободы 87
Глава 6. Последний ссыльный 108
Глава 7. Интимный театр 127
Глава 8. Десять дней 143
Глава 9. Список № 3 161
Глава 10. Чрезвычайный съезд 177
Часть вторая 196
Глава 11. Караул устал 197
Глава 12. Две недели, которых не было 225
Глава 13. Двадцать лет 259
Глава 14. Сцена 292
Глава 15. Переворот 332
Конец ознакомительного фрагмента. 376

Ярослав Золотарёв
Доктор Живая

Глава 1. Наследство

Жизнь есть способ существования белковых тел.
Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг»
…был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Мф. 25:36

1.1. День в день

Снег шёл всю ночь и к утру лёг на Томск так, будто город решили спрятать.

Он лёг на крыши, на заборы, на купола, на каланчу, на Почтамтскую, на Болото, на Ушайку, которой под ним не было видно вовсе, и на дом на горе, деревянный, в пять окон по фасаду, с мезонином и голубыми наличниками. Голубая краска за двадцать лет облупилась и стала серой, но наличники всё равно звали голубыми, потому что так их звала Фёкла, а Фёкла в доме была главная.

Лена проснулась в темноте, в мезонине, от холода.

Дров жалели. Угля в городе не было с Рождества: дорога везла пушки, солдат и раненых, а уголь не везла. Закрылись бани, сначала торговые, потом общественные; в газетах писали про оспу на Филёвской улице, где в одном доме двадцать квартир и ни одной ванны. Печь в мезонине топили с вечера, и к шести утра в комнате стоял тот особый сухой холод, при котором вода в рукомойнике не замерзает, но думает об этом.

Она полежала, глядя в потолок. Потолок был скошенный, низкий, с трещиной, которую она в детстве считала рекой и даже давала ей название. Потом вспомнила.

Двадцать третье февраля.

Ей было девятнадцать лет.

Девятнадцать — это возраст, когда уже не просыпаешься с радостью оттого, что сегодня день рождения, но ещё помнишь, что раньше просыпалась. Лена отметила про себя это наблюдение, как отмечала всё: сухо, точно, будто записывала в журнал. Потом откинула одеяло и встала.

Пол был ледяной.

Умывалась она по-мужски, до пояса, холодной водой, растираясь жёстким полотенцем докрасна. Этому её научил отец, а отца — какой-то немец-гигиенист, с которым отец переписывался в девятьсот седьмом году. Фёкла называла это «срамотой» и «смертоубийством» и каждое утро крестилась внизу, слыша, как в мезонине плещет вода.

Лена была тёмная.

Это первое, что про неё говорили все: тёмная. Тёмные волосы, тяжёлые, густые, которые она закалывала в простой узел на затылке, потому что возиться с причёской было некогда. Тёмные глаза, большие, с длинным разрезом, и левый чуть-чуть косил, совсем немного, так что заметить это можно было только вблизи и только если долго смотреть. Мальчики на курсе долго смотреть не решались. Тёмные брови, сходившиеся к переносице, когда она думала, а думала она почти всегда. Кожа белая, северная, без румянца. Рост чуть выше среднего. Руки сильные, с короткими ногтями, с маленьким шрамом на указательном пальце левой: порезалась на вскрытии в первый же месяц и никому не сказала, промыла сулемой и пошла дальше.

«В мать», — говорил отец, когда хотел сказать что-нибудь хорошее. Других сведений о матери у неё почти не было.

Она надела тёмно-синее шерстяное платье, глухое, до горла, с белым воротничком. Платье было сшито два года назад, к поступлению, и уже немного жало в груди, отчего Лена держалась ещё прямее. Поверх надела вязаную кофту. На шее, под платьем, у кожи, висел на почерневшем гайтане медный крестик со стёртым почти до гладкости распятием. Она носила его, сколько себя помнила, и не снимала даже в анатомичке, хотя в Бога не верила лет с двенадцати. Крестик был мамин. Вернее, мама его надела, а откуда он был у мамы, Лена не знала. От какого-то человека. «Он был хороший. Его никто не спас». Это было единственное, что она помнила от матери словами: ей тогда не было и двух лет, и помнила она не слова, а темноту, руку на голове и то, что пахло снегом и чужим табаком.

Всё остальное ей рассказали.

Внизу Фёкла гремела заслонкой.

Фёкле было под семьдесят. Она пришла в дом в ноябре девяносто девятого, когда дом только купили, и осталась навсегда. Она пережила барыню, которая уехала и не вернулась, пережила рыжую Настасью, которая «уехала в Колывань», пережила пятый год, погром, когда отец двое суток не приходил домой и вернулся с руками, пахнущими горелым мясом, пережила войну и трёх своих кошек. Пережила она и корову. Корову звали Мадам Мартен, и она умерла от старости в девятьсот восьмом году, а в хлеву теперь стояла её правнучка, рыжая, с белой звездой во лбу, которую Фёкла упорно звала «Мадамкой», не понимая, откуда взялось это имя и что оно значит.

— С днём ангела, — сказала Фёкла, хотя никакой это был не день ангела, и Фёкла это знала, но других поздравлений не признавала. — Пост, барышня. Скоромного не будет. Пирог с груздями поставила, постный. И кисель.

— Спасибо, Фёкла.

— Девятнадцать, — сказала Фёкла и покачала головой, как будто девятнадцать было тяжёлой болезнью. — Девятнадцать. Матери-то, барыне-то, когда она тут жила, поболе было, а и то… Ну, ступай. Отец уж ушёл. Велел сказать — к обеду будет.

Она не договорила, что «и то». Она никогда не договаривала про мать. Лена давно привыкла.

На улице было темно и бело. Тридцать градусов, не меньше. Она шла пешком, через Воскресенскую гору, вниз, мимо церкви, где её когда-то крестили, мимо каланчи, на которой дозорный в будке смотрел на спящий город, ища дым, — потом по Почтамтской, по скрипящим мосткам, мимо тёмных лавок, мимо гостиницы, где когда-то жил какой-то князь, о котором Фёкла рассказывала нехотя и странно, и дальше, через Университетскую рощу, к анатомическому институту.

Анатомичка открывалась в восемь.

В подвале пахло формалином, карболкой и тем, чем пахнет под ними. Лена любила этот запах. Она никому этого не говорила, потому что знала, как это прозвучит. Но это была правда: она любила запах анатомички, как другие любят запах сирени. Здесь всё было честно. Здесь не было ни Бога, ни души, ни «приличного» и «неприличного», о котором шептались гимназистки в Мариинской гимназии. Здесь было тело. Мышцы, фасции, сосуды, нервы. У каждого — латинское имя. У каждого — функция. Тело было устроено разумно, и это успокаивало.

На их курсе было сорок семь мужчин и три женщины.

Женщины были вольнослушательницами. Так это называлось. Это значило, что они могли сидеть на лекциях, резать трупы, ходить в клиники, читать, учиться, знать больше половины мужчин курса, — но не могли сдавать экзамены и не могли получить диплом. Особое военное разрешение пятнадцатого года, когда на фронте не хватало врачей, а в тылу — фельдшеров, пустило их за порог, но дальше порога не пустило. Профессора относились к ним поразному. Одни не замечали. Другие замечали слишком. Третьи, как Грамматикати, хирург и

ректор, говорили им «коллега» с той же интонацией, что и мужчинам, и за это Лена была готова за него умереть.

Сегодня был локтевой сустав.

Труп был мужской, немолодой, из бродяг, без имени: таких привозили из больницы для чернорабочих и из часовни при полицейском управлении. Лена отпрепарировала сухожилие двуглавой мышцы и прослеживала его к бугристости лучевой кости, медленно, тонко, пинцетом и скальпелем, не торопясь. Рядом сопел второкурсник Шульц, сын аптекаря, и смотрел не в препарат, а ей на руки. Она чувствовала его взгляд, как чувствуют сквозняк.

— Трофимова, — сказал он наконец шёпотом. — У вас… как у хирурга. Руки.

— У меня руки как у меня, — сказала Лена, не поднимая головы. — А вы не туда смотрите, Шульц. Вот лучевой нерв. Сейчас вы его перережете.

Шульц покраснел до ушей и перерезал.

Отец пришёл к обеду, как обещал, и опоздал на сорок минут, как всегда.

Пётр Сергеевич Трофимов был профессор Императорского Томского университета, заведующий кафедрой физиологической химии. Ему было сорок восемь лет. Он был высок, сутул, широк в кости, но худ той особенной худобой, которая остаётся на всю жизнь у людей, когда-то переболевших чахоткой. Лицо у него было круглое, доброе, с жидкой светлой бородкой, совсем уже седой, и с глазами за круглыми очками, которые всегда смотрели чуть-чуть мимо собеседника, куда-то в формулу. Руки у него были большие, мягкие, в жёлтых пятнах от реактивов, и на большом пальце правой белел старый шрам: в девяносто девятом году, студентом, он порезался на вскрытии и чуть не умер от заражения. Он рассказывал об этом как о смешном случае.

На кафедре его любили и над ним посмеивались. Он мог прочесть лекцию о белковом обмене так, что первокурсники плакали, и мог прийти на эту лекцию в разных калошах. Над входом в его лабораторию висела табличка, написанная его рукой, которую ректор трижды велел снять и трижды забывал проверить: «Жизнь есть способ существования белковых тел. Ф. Энгельс».

Энгельса отец знал наизусть. Маркса знал наизусть. В девятьсот третьем году, когда партия раскололась, он стал большевиком и с тех пор, как говорил он сам, «сочувствовал деятельно, а действовал осторожно». Что это значило, Лена понимала смутно: какие-то люди, приходившие поздно вечером, какие-то пачки, которые потом исчезали из чулана, какие-то деньги, которые отец отдавал, хотя денег у них было немного. Жандармы приходили к ним с обыском дважды, в шестом и в двенадцатом году, оба раза ничего не нашли и оба раза извинялись перед профессором.

— Леночка, — сказал отец в дверях, отряхивая снег с бороды, и лицо у него стало виноватым. — Я опоздал. Я знаю. У меня там… казеин… — Он махнул рукой. — Неважно. С днём рождения.

Он поцеловал её в лоб, как целовал всегда, наклонившись, и от него пахло морозом, табаком и аммиаком.

Пирог с груздями был хорош. Кисель был клюквенный. Отец, по постному времени, не ел ничего, кроме пирога, хотя в Бога не верил так же, как Лена: просто не хотел огорчать Фёклу. Потом Фёкла внесла самовар и, перекрестившись, ушла к себе, и тогда отец, как каждый год, встал.

Он всегда вставал, когда говорил что-нибудь важное. Студенческая привычка, с кружков, с диспутов. Он поднял стакан с чаем — вина в доме с четырнадцатого года, с сухого закона, не держали — и сказал то, что говорил каждый год двадцать третьего февраля, с тех пор как ей исполнился год:

— Выпьем за то, чтобы Елена Петровна окончила университет.

И смутился. Как смущался последние два года.

Потому что Елена Петровна университет окончить не могла. Она могла его слушать. Она могла резать в нём трупы и стоять в его клиниках. Она могла знать физиологическую химию лучше его ассистента, и знала. Но окончить его, сдать государственные экзамены, получить диплом лекаря и право лечить — не могла. Закон этого не позволял. А закон, как отец сам учил её с детства, есть надстройка над базисом, и базис должен измениться, чтобы изменилась надстройка. Базис меняться не спешил.

— Время, — сказал отец, садясь. — Время, Леночка. Вода течёт вниз. Вот увидишь.

— Я вижу, папа.

Он посмотрел на неё поверх очков, и ей показалось, что он хочет сказать ещё что-то. Он часто так смотрел на неё, особенно в последние годы, — долго, будто сравнивал её с кем-то. Потом полез во внутренний карман сюртука и достал свёрток.

Это была книга. «Анти-Дюринг», третье немецкое издание, девяносто четвёртого года, потёртое, с его пометками на полях.

— Мой, — сказал отец. — Студенческий. Я его в девяносто пятом на Шпалерной читал. В одиночке. Там на сто шестой странице, кажется… Ну, найдёшь. Читай, Леночка. Это лучше, чем все наши кафедры вместе взятые.

Она нашла сто шестую страницу ночью. Там, подчёркнутое дважды, карандашом, полустёртое, стояло про белковые тела. А на полях, совсем другим, молодым, неровным почерком, было написано: «Значит, души нет. Значит — только мы. Значит — всё здесь».

Вечером она сидела у себя в мезонине и писала письмо.

Она писала его каждый год, двадцать третьего февраля, с тех пор как научилась писать. Сначала печатными буквами, с ошибками, под диктовку Фёклы. Потом сама. Потом — когда ей было восемь, и отец впервые сказал, где мама, — она перестала спрашивать «когда мама вернётся» и стала писать «на каторгу». Нерчинская каторга. Акатуй. Мальцевская. Эти слова она знала с детства, как другие девочки знают «Москва» и «Петербург».

Мама была политическая. Мама боролась за правду. За таких, как мы, говорил отец. За всех. В девятьсот пятом, в Петербурге, она пошла на дело против одного очень злого и очень важного человека, и её схватили, и судили, и приговорили, и с тех пор она была там, далеко, за Байкалом, в кандалах, и писать ей можно было раз в полгода, а ей отвечать — и того реже. Последнее письмо от неё пришло в декабре пятнадцатого года, три строчки, через тюремное начальство, с цензорским штампом. «Здорова. Читаю. Учись. Мама». С тех пор не было ничего.

В мезонине было холодно. Лена писала в кофте, накинув на плечи ещё и отцовский плед. На столе стояла лампа под зелёным абажуром, старая, ещё мамина: отец говорил, что мама купила её в девяносто шестом году. На полках стояли мамины гербарные папки, перевязанные тесёмками, с латинскими подписями: отцовским почерком и другим, крупным, твёрдым, который Лена считала маминым. Campanula. Artemisia. Pulsatilla patens. Она знала эти папки наизусть с шести лет.

Своё письмо она писала коротко. Мама не любила длинных: это Лена поняла давно, по тем трём строчкам.

«Мама. Мне сегодня девятнадцать. Я здорова. Режу. Сегодня был локтевой сустав, и я нашла лучевой нерв лучше всех на курсе. Папа подарил свой “Анти-Дюринг”. Фёкла испекла пирог. Мадамка доится. Учусь. Жду. Твоя Лена».

Подумала. Достала из папки с надписью «Pulsatilla» сухой цветок прострела, сиреневый, мохнатый, сплющенный, сорванный прошлой весной в Университетской роще. Положила в конверт. Мама поймёт. Отец говорил, что первым словом, которое Лена сказала про цветы, было «тита», и что это было про прострел, и что мама при этом смеялась.

Она заклеила конверт. Написала адрес: Забайкальская область, Нерчинская каторга, Мальцевская женская тюрьма. Политической каторжанке Трофимовой Екатерине Михай-

ловне. Утром Фёкла отнесёт на почту, и письмо пойдёт на восток, недели три, месяц, через Иркутск, через Байкал, через Читу. Может быть, дойдёт.

Потом Лена разделась, стоя у печки, быстро, дрожа, не глядя на себя: в комнате было зеркало, мамино, в простой раме, но Лена в него смотрела только по утрам, чтобы заколоть волосы. Легла, натянула одеяло до подбородка и задула лампу.

В темноте стало слышно, как трещит в печи. Как внизу ходит отец, — он всегда ходил ночью, думал. Как скрипит снег под ногами запоздалого прохожего на улице. Как бьют часы на соборе, далеко, через всю гору. Одиннадцать.

Томск засыпал. Тридцать градусов, звёзды, снег. Дым из труб, белый, прямой, как свечи. Город спал, и город ничего не знал.

А в этот самый день — день в день, девятнадцать лет спустя с того часа, как она родилась в комнате с зелёным абажуром на Болоте, под крики роженицы и под вальс тапёра снизу, — в Петрограде, на Выборгской стороне, работницы текстильных фабрик вышли на улицу с пустыми корзинами и закричали: «Хлеба!» И к ним пришли с заводов мужчины. И казаки, подумав, не стали стрелять.

Лена этого не знала. Никто в Томске этого не знал. Телеграф молчал. Газеты писали про подводную войну, про оспу и про то, что ситца в городе достаточно, пусть не беспокоятся.

Лена спала. Ей снилась анатомичка, лучевой нерв, длинный, белый, тонкий, как струна, и чья-то рука, которая перерезала его, — не Шульца, а другая, взрослая, сильная, — и Лена во сне не знала, хорошо это или плохо.

Письмо лежало на столе, в конверте, с прострелом внутри.

Оно не дойдёт. Адресата не было уже восемь месяцев.

1.2. Телеграммы

Слух пришёл в среду, первого марта, неизвестно откуда.

Так приходят слухи в провинциальный город: никто не может сказать, кто первый, но к обеду знают все. Будто бы в Петрограде беспорядки. Будто бы войска на стороне народа. Будто бы Дума не разошлась, хоть ей и велели. Будто бы — и тут говорили шёпотом, оглядываясь, — будто бы сам государь… Нет, этого не может быть. Это немецкая провокация. Это жиды. Это студенты.

Лена слышала это в анатомичке, в клиниках, в коридоре физического корпуса, в очереди за хлебом, куда её послала Фёкла. Слышала и не верила. Отец, когда она спросила за ужином, долго протирал очки и сказал: «Подождём телеграмм». Но руки у него дрожали, и он пролил чай на скатерть.

Телеграммы пришли второго, в воскресенье, вечером.

К шести часам вся Почтамтская, от Ямского переулка до Юрточной горы, была чёрная от народа. Стояли на мостках, на сугробах, на крыльцах, на тумбах, на санях, которые извозчики бросили посреди улицы, потому что проехать всё равно было нельзя. Стояли купцы в бобрах и бабы в платках, гимназисты и солдаты, чиновники с кокардами и мастеровые без шапок. Стояли молча. Ждали.

Мороз был под двадцать. Горели фонари — те, что ещё горели, — и в их жёлтом свете над толпой поднимался пар от тысяч дыханий, и казалось, что улица дымится, как поле после пожара.

Лена стояла у самой редакции «Сибирской жизни», у крыльца, затёртая между двумя курсистками с высших женских курсов и рябым наборщиком, который выбежал из типографии в одной жилетке и не чувствовал холода. Она пришла сюда случайно, — нет, неправда, не случайно: она шла из клиник мимо и увидела толпу, и в груди у неё что-то упало и не поднялось, и она встала, и стояла уже второй час.

Дверь редакции открылась.

Вышел человек в нарукавниках, с пачкой узких серых листков в руках, и толпа охнула и качнулась к нему, как вода к открытому шлюзу.

— Господа! — крикнул человек. — Граждане! Печатаем! Машины плоские, тысяча в час! Всем будет! Всем!

Листки полетели в толпу. Их рвали из рук, из рук в руки, листок порвали надвое и читали каждый свою половину. Кто-то кричал: «Читай вслух! Вслух читай!» Кто-то: «Почём? Три копейки? Даю рубль!» — и правда давал, и листок уходил за рубль, а через пять минут на углу Ямского его перепродавали уже за полтора.

Лене листка не досталось. Она стояла, сжатая со всех сторон, и смотрела, как над головами плывут серые бумажки, и не могла дотянуться.

— Дайте, — сказал рядом высокий голос. — Дайте, я прочту. Мне видно. Я высокий.

Это был Великопольский.

Она знала его по курсу. Его все знали: он был самый длинный на медицинском факультете, белобрысый, с длинной шеей, с руками, которые торчали из рукавов студенческой шинели, с красными от мороза ушами. Он был из семинаристов: отец его, говорили, тоже кончил духовную академию, но в священники не пошёл, учительствовал где-то под Тулой и рассказывал сыну Евангелие так, будто всё это случилось вчера, на соседней улице. Сын поступил на медицинский назло отцу и всем семинариям. Но голос у него остался дьяконский — низкий, гулкий, круглый, — и он сам этого голоса стеснялся.

Сейчас не стеснялся.

Он взобрался на тумбу у редакции — длинный, нелепый, без шапки, — кто-то сунул ему листок, кто-то поднёс фонарь. И он стал читать.

Он читал так, как, наверное, его отец читал в церкви Евангелие на Страстной: медленно, раздельно, с той интонацией, от которой у слушающих сжимается горло, хотя они не понимают половины слов. Он читал про Петроград. Про Временный комитет Государственной думы. Про то, что войска перешли на сторону народа. Про арест министров. Про Сухомлинова в Петропавловской крепости — и тут толпа взорвалась, засмеялась, закричала «браво!», потому что Сухомлинова ненавидели все, от купцов до солдат, за снаряды, которых не было. Про Временное правительство. Про князя Львова.

И потом — дрогнувшим голосом, перехватившим на полуслове, — про отречение.

Тишина стала такая, что было слышно, как трещит фонарь.

Потом кто-то перекрестился. Кто-то заплакал — баба в платке, громко, по-деревенски, в голос, как плачут по покойнику. Кто-то засмеялся — тонко, истерически. А потом рябой наборщик рядом с Леной, в одной жилетке, сорвал с себя картуз, подкинул его в чёрное морозное небо и закричал: «Ура-а-а!» — и толпа подхватила, и «ура» покатилось по Почтамтской от Ямского до Юрточной, и обратно, и ещё раз, и картузы, шапки, папахи полетели вверх, и фонари качались, и какой-то солдат целовал какого-то чиновника, а чиновник плакал.

Лена не кричала.

Она стояла, прижатая к холодной стене редакции, и чувствовала, как у неё бьётся сердце. Сильно, часто, гулко — в горле, в висках, в кончиках пальцев. Она машинально посчитала: сто двадцать. Тахикардия. Адреналин, сказал бы отец. Надпочечники. Она знала, отчего это бывает. И это знание ничуть не помогало.

Потому что она думала только об одном.

Амнистия.

Если царя нет — значит, нет и каторги. Значит, политических отпустят. Значит, отпустят всех. Значит, Мальцевская, Акатуй, Нерчинск, кандалы, цензорские штампы, три строчки раз в полгода — всего этого больше нет. Значит…

Мама вернётся.

Она сказала это вслух, шёпотом, и никто не услышал в рёве толпы. Мама вернётся. Через месяц. Через две недели. По железной дороге, через Иркутск, через Красноярск, через Тайгу — домой.

— Трофимова! — крикнул Великопольский с тумбы, увидев её. — Трофимова, вы слышали? Вы слышали?!

Она подняла к нему лицо, и он увидел, что она плачет, — она сама этого не знала, пока не увидела по его лицу, — и он спрыгнул с тумбы, неловко, едва не упав, и протолкался к ней, и схватил её за обе руки, в варежках, и тряс их, и говорил что-то, и она не слышала что.

Отец нашёл её через час.

Он прибежал с экстренного заседания городской думы — без шапки, в распахнутой шубе, с запотевшими очками, которые он то снимал, то надевал и всё равно ничего не видел. Он прорвался сквозь толпу, как прорывается ледокол, — откуда только сила взялась в этом сутулом, всегда виноватом человеке, — и обнял дочь, и поднял её, как маленькую, над мостками, и поставил обратно.

— Леночка! — Он задыхался. — Там… в думе… ты бы видела! Читают телеграмму — и тишина. Минута, две. Гласные сидят, как мёртвые. Растерянные. Не знают, что делать! Купцы, головы, тузы — и не знают! А потом встаёт Шотман и говорит: товарищи, надо создавать комитет… — Он засмеялся, мокро, громко. — Комитет! Общественной безопасности! Они уже создают! Губернатора — под арест!

— Папа, — сказала Лена. — Папа, амнистия?

— Будет! Обязательно будет! Керенский — министр юстиции, ты понимаешь? Керенский! Он защищал наших на всех процессах! Он первым делом… — Отец осёкся, снял очки, протёр их полой шубы и надел снова. — Леночка. Ты понимаешь, что произошло? Ты понимаешь? Без единой бомбы. Без единого выстрела — ну, почти. Само. История сделала сама. Как вода, которая течёт вниз. Я двадцать лет говорил — а мне не верили. Мне говорили: отнять надо, вырвать, кровью… А вот. Само. Сама история.

Он говорил это, глядя на толпу, на фонари, на летящие шапки, — но Лене показалось, что говорит он не ей и не толпе, а кому-то третьему, кого здесь нет. Спорит с кем-то. Доказывает. И выигрывает спор.

Кому — она не знала.

Ночью они пили чай в мезонине.

Внизу Фёкла молилась, громко, со всхлипами, за государя — «помазанника Божьего», «сиротинушку», — и отец махнул рукой: пусть. Самовар остыл, они не замечали. Лампа под зелёным абажуром горела ровно, и на столе лежал серый листок — один, тот самый, который Великопольский прочёл с тумбы и потом сунул Лене в руку, скомканный, на память.

— Где она будет спать? — спросила Лена.

Отец не понял.

— Мама. Когда приедет. Здесь же. В мезонине. Это же её комната. А я — внизу, в столовой, на диване. Или нет, я в зале. Папа, надо купить кровать. Нормальную, не эту. И перину. И… и что она любит есть? Папа? Что мама любит есть?

Отец смотрел на неё.

Он молчал долго. Дольше, чем нужно. Так долго, что Лена перестала улыбаться.

— Пельмени, — сказал он наконец. Тихо. — Она любила пельмени. Сибирские. С перцем. И… кедровые орехи. Щёлкала, как белка. — Он снял очки, и глаза у него без очков стали беззащитные, близорукие, детские. — Леночка. Двенадцать лет. Каторга — это… Ты же медик. Ты понимаешь, что она будет… не такая. Не такая, как я тебе рассказывал.

— Я понимаю, папа.

— Нет, — сказал отец. — Нет, ты не понимаешь.

И больше ничего не сказал.

Лена легла поздно, в третьем часу, и долго не могла уснуть. Сердце всё ещё билось часто — не сто двадцать, но и не семьдесят. За окном, на улице, кто-то пел пьяным голосом «Марсельезу», путая слова. Где-то стреляли — в воздух, от радости. Где-то звонили — то ли пожар, то ли просто так.

Она лежала и думала про пельмени с перцем и про кедровые орехи. И про то, что мама щёлкала их, как белка.

Это было первое, что она узнала о матери за двенадцать лет.

1.3. Белые повязки

Пристав второй части Елисей Петрович Очумелов проснулся третьего марта в семь утра с ясной головой и твёрдым намерением исполнять свой долг.

Долг его заключался в том, чтобы охранять порядок, а порядок — в том, чтобы всё оставалось как было. Он надел мундир, пристегнул шашку, расчесал усы, которые носил в память покойного батюшки, Петра Семёновича, служившего в этом же городе помощником полицмейстера ещё при Чехове и рассказывавшего потом до самой смерти, как водил писателя по злачным местам. Выпил чаю. Прочёл в «Сибирской жизни» обращение губернатора Дудинского к населению: сохранять спокойствие, поддерживать армию и ожидать «Царского слова» от Государя.

— Вот, — сказал Очумелов жене, стукнув по газете пальцем. — Вот! Ждать царского слова. Ясно сказано. А то — революция, революция… Елдырин! Шинель!

Городовой Елдырин, служивший при Очумеловых второе поколение, как служил его отец при отце пристава, подал шинель.

К полудню на улицах не было ни одного городового.

Они исчезли тихо, как исчезает снег в оттепель: никто не видел, как ушли, но к обеду их не было. Посты стояли пустые. Будки — пустые. На углу Почтамтской и Ямского, где тридцать лет стоял один и тот же усатый унтер, теперь стоял студент в шинели нараспашку, с белой повязкой на рукаве и со старым охотничьим ружьём, которое он держал так, как держат удочку.

К двум часам пристав Очумелов узнал, что губернатор арестован.

К трём — что арестован он не совсем, а под домашним арестом, потому что у губернаторши как раз в эти дни родился ребёнок, и Комитет общественной безопасности, посовещавшись, решил, что арестовывать роженицу вместе с мужем негуманно. Губернатор подписал последнее распоряжение — о передаче власти Комитету, — и копии этого распоряжения переписывали теперь от руки и развозили по участкам.

К четырём пристав Очумелов стоял в приёмной Комитета, в здании городской думы, в мундире, при шашке, и на груди у него, на сукне мундира, алел огромный, пышный, как пион, красный бант.

— Господа! — сказал он, вытянувшись перед столом, за которым сидели какие-то молодые люди в тужурках, какой-то седой интеллигент в пенсне и какой-то рабочий с перевязанной рукой. — Господа… граждане! Пристав второй части Очумелов. Являюсь в распоряжение. Полностью и без остатка подчиняюсь новой власти. Душой и телом. Всю жизнь, можно сказать, ждал. Ещё батюшка покойный говорил — придёт, говорил, Елисей, свобода, придёт! Как сейчас помню. Елдырин! Сними-ка с меня шинель… Жарко тут у вас, граждане. Революционно жарко.

Седой интеллигент посмотрел на бант, потом на пристава, потом снова на бант.

— Шашку сдайте, — сказал он устало.

— Шашку? — Очумелов побледнел. Потом покраснел. Потом отстегнул шашку и положил её на стол с таким видом, с каким кладут на алтарь Отечества фамильные драгоценности. — Извольте. Для свободы — ничего не жаль.

К вечеру он уже был заместителем начальника районной милиции. Потому что милиции нужны были люди, знающие город. А город Елисей Петрович знал, как свои пять пальцев. Знал каждый притон, каждую шайку, каждого жандарма, каждого шпика. С каждым он вчера пил.

Студенческая милиция собралась в физическом корпусе университета вечером третьего марта.

Их разбили на «пятёрки». Каждой пятёрке дали участок, белые повязки, по одному ружью на троих и инструкцию, отпечатанную на гектографе, бледно-фиолетовую, пахнущую спиртом: охранять порядок, задерживать уголовных, не допускать погромов, вина не пить. Последний пункт был подчёркнут дважды.

Женщин в пятёрки не брали. Женщин отправили в санитарные посты — при каждых трёх пятёрках по одному, с медикаментами, бинтами и йодом.

Лену поставили на пост к пятёрке Великопольского.

Он сам попросил — она узнала потом. Он пришёл к студенту-юристу, распределявшему посты, покраснел до самого воротника и сказал, что Трофимова — лучшая на курсе, что у неё рука хирурга, что если будут раненые… Юрист пожал плечами и записал.

Шестого марта, днём, по распоряжению Комитета, в присутствии товарища прокурора, арестовали начальника губернского жандармского управления и его помощника. А с ними — всех, кого нашли: офицеров, унтеров, писарей, филёров, — и тех, кто служил раньше, был в отставке, но жил в городе и мог пригодиться старому порядку. В архиве управления, при обыске, нашли девяносто шесть ящиков с винтовками, револьверами и патронами, и город два дня говорил только об этом: для кого? против кого? Арестованных свозили в гостиницу на Почтамтской: другого подходящего помещения не нашлось, тюрьмы были полны уголовных, а держать бывших жандармов вместе с уголовными Комитет счёл опасным, — для жандармов.

Вёл арестованных, в красном банте, заместитель начальника районной милиции Очумелов.

Лена видела это с крыльца гостиницы, где стоял её санитарный пост. Видела, как он шёл впереди колонны — пятнадцать или двадцать человек в голубых шинелях без погон, в штатских пальто, в бобрах, — шёл бодро, браво, поглядывая на публику, и время от времени поворачивался к колонне и командовал:

— Не отставать, господа бывшие! Шагом! Революционным шагом!

А когда колонна поравнялась с крыльцом, один из арестованных — толстый, с подвязанной щекой, в голубой шинели — вдруг остановился и сказал громко, на всю улицу:

— Елисей Петрович, а помнишь, как мы с тобой в пятницу у Беляева коньячок?..

Очумелов вздрогнул всем телом.

— Не знаю я вас! — закричал он визгливо. — Не знаю и знать не желаю! Граждане! Провокация! Вперёд! Шагом!

И, понизив голос, через плечо:

— Молчи, Пётр Иваныч, Христа ради. Молчи. Потом сочтёмся.

В гостинице раненых не было, но были побитые.

Толпа у дверей встречала жандармов камнями, снежками со льдом, палками. Студенты-милиционеры отбивали, как могли. Одного унтера ударили поленом по голове так, что он упал и не сразу поднялся. Ещё одному рассекли бровь. Лена перевязывала их в бывшей бильярдной на первом этаже, где теперь стояли казённые койки, — перевязывала быстро, точно, не глядя в лица, как на практических занятиях в клинике. Бинт, йод, тампон, бинт.

Последним к ней подвели старика.

Он был в штатском — в длинном старомодном пальто с бобровым воротником, побитым молью, без шапки. Высокий, сухой, прямой, несмотря на годы, — ему было, наверное, за шестьдесят. Седые волосы, коротко остриженные. Усы щёточкой, тоже седые. На носу пенсне на шнурке, с треснувшим стеклом. По виску из-под волос текла кровь: кто-то попал льдом.

— Садитесь, — сказала Лена.

Он сел. Он смотрел на неё, пока она промывала рану. Смотрел внимательно, долго, спокойно — светлыми, без выражения, глазами, — так, как, наверное, смотрел всю жизнь: на людей, на бумаги, на улики. Лене стало неловко под этим взглядом, и она нахмурилась.

— Голову ровнее, — сказала она.

— Простите. — Голос был сухой, вежливый, с едва уловимым призвуком: не то польским, не то остзейским. — Вы студентка?

— Медицинского факультета.

— Женщина на медицинском. — Он чуть улыбнулся. — Любопытно. Времена меняются. Ваша фамилия, мадемуазель? Должен же я знать, кому обязан.

— Трофимова.

Он замолчал.

Лена накладывала повязку и чувствовала, как он смотрит на неё снизу вверх. Не так, как смотрел до этого. По-другому. Будто узнал. Будто перебирал в памяти что-то давнее, очень давнее, и нашёл.

— Трофимова, — повторил он медленно. — Елена Петровна? Дочь профессора Трофимова?

— Да.

— И… Екатерины Михайловны.

Лена замерла с бинтом в руках.

— Вы знали маму?

Старик снял пенсне. Протёр его платком — медленно, тщательно. Надел. Посмотрел на неё снова, долгим взглядом — на её лицо, на глаза, особенно на левый, тот, что чуть косил.

— Любопытно, — сказал он тихо. — Очень любопытно. Глаз — её. — Он помолчал. — Да, мадемуазель. Знал. Пожалуй, лучше, чем вы.

— Что вы… кто вы?

Но к ним уже шёл студент с белой повязкой, с ружьём, и с ним Очумелов, и Очумелов кричал: «Этого — наверх! Этого — особо! Это ж он самый, ротмистр! Тот, что ещё в девяностых… Знаменитость!» — и старика подняли с табуретки, и повели к лестнице, и он шёл прямо, не оборачиваясь, ставя ногу ровно, как на параде.

На лестнице он всё-таки обернулся.

— Берегите себя, мадемуазель Трофимова, — сказал он сверху, через перила. — Сибирский климат опасен. Для грудных особенно.

И ушёл наверх.

Лена стояла внизу, с бинтом в руке, и не понимала ничего.

Ночью их пятёрка стояла на посту у Базарного моста.

Мороз был под тридцать, звёзды — огромные, колючие, низкие. Город не спал: по Почтамтской ещё ходили люди, кто-то пел, где-то в Заисточье лаяли собаки, и далеко, за Ушайкой, горел чей-то сарай, и никто его не тушил. Студенты развели костёр у будки, где раньше стоял городовой, — прямо на снегу, из досок разобранного забора, — и грелись по очереди: двое у огня, трое в обходе.

Лена сидела у костра на перевёрнутом ящике, закутавшись в отцовский башлык, и смотрела в огонь. Великопольский сидел рядом, на корточках, длинный, нескладный, и подбрасывал доски.

Они молчали. Потом он сказал:

— У отца есть история. Он мне её рассказывал в детстве. На Страстной, в пятницу, всегда.

— Какая?

— Про костёр. — Он не смотрел на неё, смотрел в огонь, и голос у него стал тот самый, дьяконский, гулкий, низкий. — Ночь, холодно. Двор первосвященника. Слуги развели огонь, греются. И Пётр с ними. Тоже греется. А там, в доме, — суд. Его учителя судят. И служанка смотрит на Петра и говорит: и ты был с Ним. А Пётр говорит: не знаю Его. И второй раз. И третий. И пропел петух. — Он помолчал. — Отец говорил — он мне эту историю рассказал, когда был студентом, одной вдове в поле, у костра. Тоже холодно было, весна, ветер. И вдова заплакала. А он понял, что прошлое связано с настоящим… как это… непрерывной цепью событий, и что если тронуть один конец — дрогнет другой. Девятнадцать веков — а дрогнуло. Он говорил, это было лучшее, что он понял в жизни.

— А ты? — спросила Лена. — Ты понял?

— Я понял, что сегодня все трижды отреклись от царя. — Он усмехнулся. — Очумелов этот. С бантом. И петух уже пропел.

Лена засмеялась. Он повернулся к ней, и она увидела его лицо совсем близко — красное от огня и от мороза, мальчишеское, с белёсыми ресницами, на которых висел иней. И глаза. Глаза были серьёзные, совсем не мальчишеские. Он смотрел на её губы.

Она знала, что сейчас будет. Знала, как знала, что будет, когда скальпель дойдёт до сосуда. Знала — и не отодвинулась.

Он наклонился. Медленно, неуверенно, будто спрашивая. Остановился. Его дыхание — тёплое, с запахом махорки и мороза — коснулось её лица.

Она ждала.

Он поцеловал её — сухо, коротко, осторожно, будто боялся обжечься. Губы у него были обветренные, шершавые. Ничего не случилось. Ничего особенного. Тёплое касание, щекотка от инея на его ресницах. И всё.

Он отстранился и смотрел на неё испуганно.

— Простите, — сказал он. — Простите, Трофимова. Я…

— Лена, — сказала она. — Меня зовут Лена.

И отвернулась к огню.

Вернувшись под утро домой, она зажгла лампу, раскрыла тетрадь, в которую записывала наблюдения на практических занятиях, — пульс, температура, дыхание больных, — и записала ровным почерком, мелко, в самом низу страницы:

«3 ч. ночи. После поцелуя: пульс 96. Лёгкая слабость в коленях. Повышенная теплота лица (огонь? мороз?). Причина неясна. Наблюдение продолжить».

Подумала. Подчеркнула «продолжить». Потом зачеркнула подчёркивание.

Потом задула лампу и долго лежала в темноте, глядя в потолок, на трещину-реку, и думала не о Великопольском, а о старике в бобровом воротнике, который знал маму лучше, чем она.

1.4. Тайга

Восьмого марта, в среду, в Общественном собрании, на сходке студентов и курсисток, решили встречать бабушку.

Бабушкой называли Екатерину Константиновну Брешко-Брешковскую. Ей было семьдесят три года. Из них тридцать с лишним она провела в тюрьмах, на каторге и в ссылке. Её называли бабушкой русской революции, и эсеры почитали её почти как святую. Теперь, по телеграмме Керенского, её везли из сибирской ссылки в Петроград, и поезд номер пять должен был пройти через станцию Тайга, где от магистрали отходила ветка на Томск.

Телеграмму ей послали сразу, со сходки, на поезд: «Томское студенчество приветствует…» А потом решили — мало телеграммы. Надо ехать. Встретить. Поклониться.

Поехали трое студентов от университета, двое от Технологического, четыре курсистки. И Лена. Она не была курсисткой и не была выбрана. Она просто пошла на вокзал, купила билет

до Тайги и села в вагон, и никто не спросил, кто она такая. Потому что она знала, зачем едет. Она едет не к бабушке.

По Сибирской магистрали в эти дни шли на запад поезда с амнистированными.

Об этом говорили все: с Нерчинской каторги, из Акатуя, из Зерентуя, с Мальцевской, из якутской ссылки, из Туруханска, из Нарыма — везли политических. Ехали в теплушках, в третьем классе, на подножках, на крышах. Иркутск встречал их оркестром, Красноярск — оркестром и речами. Говорили, что Спиридонову уже освободили из Акатуя. Говорили, что с Мальцевской выпустили всех женщин сразу.

С Мальцевской.

Мама.

Поезд от Томска до Тайги шёл три часа вместо полутора. Вагон был набит студентами, и все пели — «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу», «Вы жертвою пали», — пели, путая слова, и снова пели, и курсистка в пенсне, сидевшая рядом с Леной, плакала от счастья и сморкалась в кружевной платочек. Лена не пела. Она держала на коленях букет — белые гиацинты из оранжереи вдовы Шустовой, купленные утром за безумные деньги, — и смотрела в окно, в белую, бесконечную, ровную тайгу, в которой ничего не было, кроме снега и елей, и думала: она едет. Где-то там, за тайгой, за Красноярском, за Байкалом, она едет. В теплушке. На подножке. Она едет.

Станция Тайга была деревянная, низкая, засыпанная снегом по окна.

На перроне — толпа. Своя, таёжная: железнодорожники в чёрных шинелях, их жёны в шалях, мужики из соседних деревень, солдаты из караульной команды, бабы с молоком, с шаньгами, с пирогами в корзинах. Над толпой, на шесте от семафора, на палке, на древке от метлы — красные флаги. Самодельные, из кумача, из подкладки, из рубахи — какие нашлись. Один был из бабьей юбки, и по краю шла вышитая гладью тесьма.

Поезд номер пять пришёл в полдень.

Он пришёл медленно, тяжело, весь в инее, как будто вылез из сугроба, и встал, отдуваясь паром. И из вагонов посыпались люди. И Лена увидела.

Она видела потом это всю жизнь, сколько ей её оставалось.

Они выходили из вагонов — худые, серые, в арестантских бушлатах, в чужих шубах, в каких-то пледах, в валенках, в лаптях. Мужчины — бородатые, бритые, лысые, седые. Женщины — стриженые, в косынках, в мужских шапках. У одного не было руки. У другого всё лицо было в шрамах. Одна женщина шла, опираясь на двух мужчин, потому что сама идти не могла. Они выходили на перрон и останавливались, и смотрели на толпу, на красные флаги, на студентов с цветами, — смотрели так, как смотрят люди, которые очень долго были в темноте и вышли на солнце: щурились, моргали, не верили.

А толпа кричала «ура». И бросала им цветы, и шаньги, и пироги. И какая-то баба подбежала к безрукому и стала совать ему в карман варёные яйца, одно за другим, и плакала, и он плакал, и они стояли и плакали оба.

Бабушка вышла на площадку своего вагона.

Маленькая, сутулая, седая, в чёрном, в шали — похожая на любую деревенскую старуху. И голос у неё был старушечий, слабый, надтреснутый. Но когда она заговорила, перрон замолчал.

Лена не слышала, что она говорила. Она бежала вдоль поезда.

Она бежала от вагона к вагону, проталкиваясь сквозь толпу, с гиацинтами, которые никому уже не были нужны, и у каждой женщины в бушлате спрашивала одно и то же:

— Трофимова. Екатерина Михайловна. Маслова. Вы не знаете? С Мальцевской. Трофимова. Маслова. Вы не знаете?

Женщины смотрели на неё и качали головами. Одна сказала: «Не знаю, милая, я с Акатуя». Другая — «Маслова? Была одна Маслова, уголовная, в девятом году…» Третья ничего не сказала, только погладила по плечу.

Паровоз дал свисток. Две минуты. Стоянка кончалась.

Лена стояла у последнего вагона, задыхаясь, с поломанными гиацинтами, и не знала, куда бежать дальше.

— Вы — Лена.

Голос раздался сзади. Не вопрос — утверждение.

Она обернулась.

Перед ней стояла женщина лет пятидесяти. Высокая, худая, прямая, как палка. Седые волосы, остриженные совсем коротко, по-мужски, торчали из-под старого мужского треуха. Лицо — тёмное, обветренное, иссечённое морщинами, сухое, с резкими скулами и тонкими, плотно сжатыми губами. Глаза — серые, светлые, удивительно ясные на этом тёмном лице. На ней был арестантский бушлат, а поверх него — чужая, явно с чужого плеча, енотовая шуба, распахнутая, слишком широкая. В руке — потёртый кожаный саквояж. Не узелок, а именно саквояж, барский, хороший когда-то, — и это было странно.

— Вы — Лена, — повторила женщина. — Я вас по глазу узнала. Левый. Как у неё.

— Вы… — Лена не могла говорить. — Вы знали маму? Вы с Мальцевской? Где она? Она в этом поезде? В другом?

Женщина смотрела на неё. Потом медленно, через силу, разжала губы.

— Меня зовут Марья Павловна. Щетинина. Я была с вашей мамой на этапе. В восемьдесят девятом. И потом — на Мальцевской. Восемь лет. — Она помолчала. — Я сойду здесь. Мне надо в Томск. К вам.

Паровоз засвистел снова — длинно, тоскливо. Поезд тронулся. Бабушка с площадки махала рукой, и толпа махала ей, и кричала, и бежала за вагонами. А Марья Павловна стояла на перроне с саквояжем, не оборачиваясь на поезд, и смотрела на Лену.

— Пойдёмте в буфет, — сказала она. — Там тепло. Мне нужно вам сказать.

И Лена поняла.

Она поняла раньше, чем Марья Павловна сказала. По тому, как та сказала «восемь лет» — в прошедшем времени. По тому, что она сошла с поезда. По тому, что она не спросила, где отец.

В станционном буфете было жарко и пусто: все были на перроне. Пахло щами, махоркой, мокрыми валенками. Буфетчик, толстый, с медалью за японскую войну, налил им кипятку в два гранёных стакана и ушёл к окну смотреть на поезд.

Марья Павловна сняла треух. Положила на стол саквояж. Положила на саквояж обе руки — тёмные, узловатые, в старых шрамах, с обломанными ногтями. Посмотрела на Лену.

— Она умерла, — сказала Марья Павловна. — В июне. Прошлого года. Шестнадцатого. Двенадцатого июня.

Лена ничего не сказала.

— От чахотки, — сказала Марья Павловна.

И Лена увидела.

Она увидела всё сразу — в одну секунду, как видят на вскрытии, когда раскрывают грудную клетку, — увидела потому, что была медичкой, потому что второй год ходила в клиники, потому что её отец переболел этой болезнью и выжил, а в его библиотеке стоял атлас патологической анатомии с цветными таблицами. Она увидела лёгкие — серые, бугристые, в творожистых очагах. Каверны — полости с гладкими стенками, в которые можно вложить кулак. Она увидела кровь — не алую, артериальную, а тёмную, пенистую, в тазике, в тряпке, на соломе каторжных нар. Увидела лицо — исхудалое, с острыми скулами, с горящими пятнами румянца на щеках и с синими губами. Увидела лихорадку, по вечерам до сорока, и холодный пот по

ночам, и кашель, который не даёт ни лечь, ни сесть. Увидела руки — кости, обтянутые кожей. Увидела Забайкалье — мороз под пятьдесят, каменные стены, сырость, баланду, кандалы. И увидела конец: когда кашлять уже нечем, когда дыхание становится частым и мелким, как у птицы, и когда горлом идёт кровь, и её уже не остановить.

Она видела это в клиниках. Трижды. Она знала, как это бывает.

Она сидела перед гранёным стаканом с кипятком и не могла пошевелиться.

— Она держалась до конца, — сказала Марья Павловна. Голос у неё был ровный, сухой, лишённый выражения, — голос человека, который давно разучился плакать при людях. — Она учила неграмотных. Уголовных учила, наших. По Новому Завету и по «Историческим письмам» Лаврова — других книг не было. Она отдавала свою пайку, когда больная была уже. Мы её ругали — а она смеялась: мне, говорит, не надо, мне, говорит, всё равно. Она надзирателю, который её ударил, сказала такое… Он потом прощения просил. Она была… — Марья Павловна замолчала. Губы у неё дрогнули — первый раз. — Она была как Перовская, Лена. Такая же. Вы можете ею гордиться. Мы все ею гордились.

Лена кивнула.

— Перед смертью она сказала: «Скажите Лене…» — Марья Павловна помолчала. — И не договорила. Кровь пошла. Но она оставила письмо. Заранее. Знала.

Она открыла саквояж.

Достала тетрадь — толстую, в чёрной клеёнчатой обложке, потрескавшейся, выцветшей, с загнутыми углами. Положила на стол. Достала маленькую книжку в мягком чёрном переплёте — Новый Завет, дешёвый, английского библейского общества, распухший от закладок. Положила рядом. Достала сложенный вчетверо листок серой тюремной бумаги.

— Тетрадь — её, ещё с первой ссылки, — сказала Марья Павловна. — С Кафтана. Она с ней не расставалась без малого тридцать лет. Даже в карцере. Там в ней… — она запнулась, — там вложено. Сами увидите. Книжку ей дали в томской тюрьме, давно. Она её всю исчеркала. А это — вам.

Лена развернула листок.

Почерк был крупный, твёрдый, знакомый — тот самый, с маминых гербарных папок, которые она знала наизусть с шести лет. Только буквы чуть дрожали, а в конце строк уходили вниз.

«Леночка.

Я умираю, это ничего. Все умирают. Не плачь.

Живи. Учись. Будь врачом — настоящим, с дипломом. Папа говорит, что будут давать дипломы, значит будут. Он всегда прав про такие вещи.

Сохрани мой гербарий. Там в синей папке прострел, с Кафтана, сорван в восемьдесят девятом году. Это мой первый. Его нельзя трогать руками, рассыплется. Смотри через стекло.

Крестик носи. Он от хорошего человека.

Слушайся папу. Он лучше нас всех.

Пельменей поешь за меня. С перцем.

Мама».

Лена читала. Буквы расплывались. Она моргнула — капля упала на бумагу, на слово «прострел», и чернила поплыли синим. Она испугалась, промокнула рукавом.

И тогда увидела внизу, под подписью, ещё строку.

Её было трудно разобрать: она была написана другими чернилами, не синими, а бурыми, выцветшими, — или не чернилами вовсе, — и другим почерком. Нет, тем же, но изменившимся: буквы были огромные, рваные, наползающие одна на другую, будто писали в темноте, лёжа, из последних сил. Будто писали тогда, когда уже нельзя было писать.

«Не верь, не бойся, отомсти».

Лена смотрела на эту строку долго.

— Это она в последнюю ночь приписала, — тихо сказала Марья Павловна. — Я не видела как. Утром нашла под подушкой. Это… у нас на каторге есть поговорка. «Не верь, не бойся, не проси». Её все знают, от уголовных пошла. А она переделала. По-своему.

— Отомсти, — повторила Лена шёпотом.

— Да.

— Кому?

Марья Павловна посмотрела на неё — долго, ясными, светлыми, страшными глазами.

— Им, — сказала она. — Всем им. Царю, жандармам, судьям, тюремщикам. Всей их проклятой машине. — И вдруг лицо её изменилось, сухое, тёмное лицо дрогнуло, сломалось, и из глаз, которые не плакали, наверное, двадцать лет, потекли слёзы. — А вы видели, Лена? Вы видели — там, на перроне? Флаги. Красные флаги. На станции Тайга. Мужики. Бабы. С кумачом. С юбками. Я тридцать лет… тридцать лет я ждала. Мы все ждали. Мы думали, не доживём. Перовская не дожила. Ваша мама не дожила — полгода, Лена, полгода не дожила! А я — дожила. Я стою на станции Тайга, и бабы несут красные флаги. — Она закрыла лицо руками — тёмными, в шрамах. — Она отомщена, Лена. Ваша мама. Всё. Царя нет. Их нет. Мы победили. Она отомщена.

Лена смотрела на неё и тоже плакала. Плакала без звука, как не плакала никогда в жизни.

И верила.

Поезд на Томск уходил в четыре. Перед тем как подняться в вагон, на перроне, когда уже свистел паровоз, Марья Павловна вдруг крепко взяла Лену за локоть, наклонилась к самому её уху — от неё пахло махоркой, карболкой и чем-то ещё, тюремным, казённым, неистребимым, — и сказала быстро, шёпотом, под свист:

— Она сказала ещё одно. Мне одной. На Вознесенском кладбище в Томске есть памятник. Белая мраморная чайка. Под ней — в изголовье, сбоку — железный ящик. Это вам. Не партии. Вам. Она так сказала: «Ленино. Не отдавай никому. Даже ему». — Марья Павловна выпрямилась. — Я не знаю, что там. Не спрашивала. Я исполняю.

И поднялась в вагон.

Обратно ехали в темноте. В вагоне снова пели. Студенты были пьяны без вина — от бабушки, от флагов, от каторжан, от революции. Пели «Варшавянку», пели «Марсельезу», пели «Дубинушку». Марья Павловна спала, сидя, привалившись к стенке, в своей енотовой шубе, с открытым ртом, и во сне была совсем старая.

А потом запели «Вы жертвою пали».

Медленно, протяжно, как поют похоронный марш. «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу…» И Лена — впервые за весь день — открыла рот и запела вместе со всеми.

Она пела, прижимая к груди тетрадь в клеёнчатой обложке. И знала теперь, про кого эта песня.

Песня была про её мать.

1.5. Праздник великой революции

Отец ждал их на вокзале Томск-I.

Он не знал, что они приедут вдвоём. Он не знал, кто такая Марья Павловна. Он знал только, что дочь уехала утром на Тайгу встречать бабушку и не вернулась к шести, и к восьми, и к десяти, — и в одиннадцать он пошёл на вокзал и ходил там по перрону взад и вперёд, сутулый, в старой шубе, ходил так, как ходил ночами по дому, думая.

Поезд пришёл в первом часу ночи. Студенты высыпали на перрон, всё ещё поющие, охрипшие. Отец бросился к вагону.

Лена спустилась последней, держа под руку высокую седую женщину в енотовой шубе и мужском треухе.

Отец остановился.

Он узнал её не сразу. Он видел её один раз в жизни — нет, не видел, только слышал о ней. Катя рассказала, в ту ночь. В ту единственную ночь, когда рассказывала всё. Марья Павловна. Генеральская дочь. Шла с ней по этапу. Чистая. Святая. Единственная из всех политических, кто ни разу не посмотрел на Катю сверху. «Её одну я не судила бы», — сказала тогда Катя.

И отец понял, ещё прежде, чем Лена сказала.

Он стоял на перроне, под фонарём, и смотрел, как они идут к нему, — дочь и та, другая, — и лицо у него было такое, что студенты, проходя мимо, переставали петь.

— Папа, — сказала Лена. — Папа, мама…

— Я знаю, — сказал отец. — Я вижу.

Марья Павловна протянула ему руку — по-мужски, прямо.

— Пётр Сергеевич, — сказала она. — Я Щетинина. Я была с ней до конца.

Он взял её руку и держал, не отпуская, и не мог ничего сказать.

— Чахотка, — сказала Марья Павловна.

Отец закрыл глаза.

Лена смотрела на него и видела, как он видит. Он видел то же, что она видела в буфете на станции Тайга. Только больше. Потому что он сам это прожил. Двадцать лет назад, на Никитинской, в каморке у вдовы, с кровью на платке, с температурой по вечерам, с врачом, который отпускал его «до весны», не чая, что он доживёт. И с женщиной, которая приходила каждый день в полдень с корзиной, топила печь, мыла пол, ставила банки, поила креозотом и выходила его, — вырвала у смерти, как вырывают из воды. А потом увезла в степь, на кумыс. И он выжил.

А она умерла от того же. Одна. На нарах. В Забайкалье. И некому было прийти в полдень с корзиной.

— Пойдёмте домой, — сказал отец, не открывая глаз. — Пойдёмте домой. Фёкла не спит.

Десятого марта Томск праздновал.

Комитет объявил этот день праздником великой революции. Закрыли учреждения, лавки, гимназии, университет. С утра над городом звонили — не по-церковному, вразнобой, кто во что горазд: на соборе, на Воскресенской, на Троицкой, в костёле, в кирхе, и даже из татарской слободы, с минарета, кричал что-то радостное муэдзин. На Новособорной площади, переименованной за ночь в площадь Революции какими-то шутниками, повесившими на фонарь кусок картона с надписью дёгтем, сколотили четыре трибуны, обтянули кумачом. С утра на площади служили гражданскую панихиду по борцам за свободу: без попа, без кадила, с хором из учащихся, который пел «Вы жертвою пали» и «Вечную память» подряд, одно за другим, будто это было одно и то же.

Потом был парад. Гарнизон — газета писала, семьдесят тысяч, но никто не считал — шёл по Почтамтской с оркестрами, с красными знамёнами, с винтовками на плечах, и на штыках — красные ленты. Тридцать второй Сибирский полк шёл с «Марсельезой». Тридцать девятый — с «Варшавянкой». Солдаты были молодые, весёлые, румяные от мороза, и бабы бросали им с тротуаров пряники и папиросы, а гимназистки — цветы, бумажные, потому что живых в марте взять было негде.

Лена стояла у трибуны, отведённой политическим.

На ней было то же тёмно-синее курсистское платье, но поверх — чёрная шерстяная шаль, и на рукаве — чёрная повязка, которую Фёкла сшила ей ночью из подола своей старой юбки, плача и крестясь. Она была единственная в трауре на всей площади. На неё оглядывались: кто с недоумением, кто с осуждением, кто с жалостью. Какая-то дама в каракуле шепнула спутнику: «Неуместно». Лена услышала и не обернулась.

На трибуне политических стояли человек двадцать. Старики из бывших ссыльных, которые доживали в Томске свой век. Двое амнистированных, только что с каторги, ещё в арестантском. Какой-то эсер с бородой, приехавший из Иркутска. И Марья Павловна.

Она стояла прямо, в своей енотовой шубе, без шапки, и седые стриженые волосы шевелил ветер. Она смотрела на парад. Она смотрела на солдат с красными лентами на штыках, на знамёна, на кумач, на бабьи платки, на студентов с белыми повязками, на детей, сидящих на плечах у отцов и машущих красными тряпочками. Она смотрела — и по её тёмному, сухому, иссечённому морщинами лицу текли слёзы, и она не вытирала их, и не замечала их.

— Тридцать лет, — сказала она Лене, не оборачиваясь. — Тридцать лет, Лена. Мы ходили по этапу, и на нас плевали. Мы сидели в карцерах. Нас пороли — женщин пороли, Лена, вы знаете это? Сигида приняла яд после розог. Мы голодали, чтобы нас не пороли. Мы умирали. И мы говорили друг другу: будет. Будет день. Будет. И над нами смеялись. И мы сами себе не верили. — Голос её дрогнул. — А он пришёл. Вот он. Вот. Солдаты — с нами. Народ — с нами. Красные флаги — на улицах Томска. На Почтамтской. Где нас гнали в кандалах. Вы понимаете, Лена? Где нас — гнали в кандалах!

Оркестр заиграл «Марсельезу». Марья Павловна запела. Голос у неё был хриплый, надсаженный, старый. И Лена запела вместе с ней.

В тот же день, после обеда, на Буткеевской улице, произошла история, о которой потом неделю говорил весь город.

На доме ректора университета, профессора Грамматикати, висели два трёхцветных флага. Старых, царских: бело-сине-красных. Их заметили студенты, возвращавшиеся с парада, и через десять минут перед домом стояла толпа — несколько сот человек, студенты, солдаты, мастеровые, бабы, — и кричала: «Долой!», «Монархист!», «Черносотенец!» Кто-то полез на забор. Кто-то кинул камень. Флаги сорвали, растоптали в снегу и пели над ними «Марсельезу».

Лена узнала об этом от отца. Он пришёл вечером злой, каким она его никогда не видела.

— Дворник, — сказал он, швыряя шапку на лавку. — Дворник! Старик Ефим, ему семьдесят лет, он с восемьдесят восьмого года при университете. Он вывесил флаги — потому что праздник! Он всю жизнь вешал флаги на праздник! Он не знал, какие теперь. А Иван Николаевич с восьми утра до шести вечера стоял в операционной. Десять часов. Резал. Грыжи, аппендициты, огнестрельные с фронта. Он даже не знал, что на доме флаги. А они кричат — монархист! Они… — Отец сел, снял очки. — Студенты. Мои студенты. Которые на прошлой неделе не могли отличить казеин от альбумина. Они судили. Они — решили. По флагу.

— Папа, они не знали.

— Не знали! — Отец засмеялся коротко и зло. — Они никогда не знают. Им и не надо знать. Им надо кричать. Он режет, а они кричат. Вот что такое ваша свобода, Леночка, если её не наполнить знанием. — Он помолчал. — Он подаст в отставку. Я знаю его. Он не станет оправдываться. Он подаст в отставку, а они будут думать, что победили.

Так и вышло. Через неделю Грамматикати ушёл с поста ректора, сославшись на здоровье. Через полгода он умер. Студенты, кричавшие у его дома, пришли на похороны и несли венки.

Вечером Марья Павловна сидела у них в столовой.

Фёкла поставила самовар, нарезала пирога, сварила пельменей — откуда-то достала мясо, в пост, и сама над этим плакала, но сварила: «Барыня любила, пусть». Марья Павловна ела медленно, мало, как едят люди, долго жившие впроголодь: сначала смотрит на еду, потом ест. Лена сидела рядом с ней. Отец — напротив.

Марья Павловна рассказывала.

Она рассказывала о Кате — о Катерине Михайловне, как она её называла, — рассказывала медленно, подробно, тем ровным, сухим голосом, каким рассказывают о святых. Как Катя пришла на Мальцевскую в девятьсот восьмом, после Литовского замка и Бутырок, уже седая, и как в первый же день отказалась встать перед начальником тюрьмы. Как в карцере, в мороз, читала наизусть Символ веры — не молитву, а как вызов, — и как надзиратели боялись к ней входить. Как она учила уголовных грамоте, и как одна уголовная, детоубийца, под её руководством выучила наизусть «Исторические письма» и потом плакала, что ничего в них не поняла.

Как она говорила, что суд над ними ещё будет, но судить будут не они, а их. Как она отдавала больным свой хлеб. Как она кашляла.

Лена слушала и плакала от гордости. Она смотрела на отца — и видела, что он не плачет.

Он сидел прямо, с чашкой в руке, и слушал. Лицо у него было неподвижное. Только пальцы на чашке побелели.

— …Она была святая, Пётр Сергеевич, — закончила Марья Павловна. — Ваша жена была святая. Я тридцать лет среди революционеров. Я видела Перовскую, когда мне было пятнадцать. Я сидела с Измайлович, со Спиридоновой, с Биценко. Я знаю, что такое святость. Она была святая.

Тишина.

Отец поставил чашку на блюдце. Аккуратно, без звука. Потом взял из сахарницы кусок сахару — большой, колотый, крепкий, синеватый — и сжал его в пальцах. Сжимал, сжимал, пока сахар не хрустнул и не рассыпался в крошку у него на ладони.

— Да, — сказал он.

Больше он ничего не сказал. Смотрел на сахарную крошку на ладони, белую на жёлтой коже, в пятнах от реактивов.

Лена смотрела на него и думала: он так её любит. Двенадцать лет, двадцать — а всё так же любит. Не может говорить.

Марья Павловна поднялась уходить около полуночи. Она остановилась у знакомых эсеров на Монастырской и собиралась пожить в Томске: здесь нужны были люди, здесь создавался губернский комитет партии социалистов-революционеров, здесь, говорила она, будет решаться, какой будет Сибирь.

В дверях она обернулась к Лене.

— Потанин сегодня в «Сибирской жизни» написал, — сказала она. — Чтобы ухаживали за могилами политических. На Преображенском кладбище. Там Кропоткин, брат того, там Лавров… Там многие. — Она помолчала. — У неё могилы нет, Лена. У Катерины Михайловны. Её зарыли за тюремной стеной, в Мальцевской, в мерзлоте. Без креста. Мы ставили — начальство сломало.

Лена кивнула. Ей негде было положить цветы. Она думала об этом с самой станции Тайга.

— Есть куда, — сказала Марья Павловна. — К тёте Нине. Вы знаете, кто такая тётя Нина?

— Знаю, — сказала Лена. — Мама меня туда водила. Маленькую. Чайка. Нина была героиня. Она за правду погибла.

— Вот, — сказала Марья Павловна. — Туда и положите. Это одно и то же.

Когда она ушла, Лена поднялась в мезонин. Отец остался внизу, в столовой, один, со сдвинутыми чашками, с рассыпанным сахаром на скатерти.

Она долго слышала, как он ходит. Взад и вперёд. Взад и вперёд. А потом услышала другое — звук, которого никогда не слышала от отца, и не сразу поняла, что это. Глухой, задавленный, мужской звук. Будто кто-то кашляет в подушку.

Она хотела спуститься. Не спустилась.

Через три дня в вестибюле главного корпуса вывесили объявление совета профессоров. Напечатанное на машинке, с подписью и. о. ректора, с печатью, с которой уже кто-то соскоблил перочинным ножом слово «Императорский». В объявлении говорилось, что в соответствии с духом времени и во исполнение начал равноправия все вольнослушательницы университета, имеющие надлежащую подготовку, зачисляются в действительные студентки с правом сдачи испытаний и получения дипломов наравне с мужчинами.

Лена стояла перед объявлением и читала его в пятый раз.

Вокруг толпились студенты, читали, хлопали её по плечу. Великопольский что-то кричал ей в ухо. Шульц, сын аптекаря, сопел за спиной и бормотал поздравления.

А она думала о письме. «Будь врачом — настоящим, с дипломом. Папа говорит, что будут давать, значит будут».

Мама не дожила полгода.

Отец ждал её у выхода. Он стоял на крыльце в своей старой шубе, в разных калошах, — опять в разных, — и смотрел на неё, и улыбался той улыбкой, какую она помнила с детства. Круглое доброе лицо, жидкая седая бородка, очки.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот, Леночка. Я же говорил. Время. Вода течёт вниз.

И она заплакала — второй раз за неделю, — прямо на крыльце университета, при всех, уткнувшись лицом отцу в шубу, пахнущую морозом, табаком и аммиаком.

1.6. Клад

Ждать оттепели они не стали.

Это решила Марья Павловна. Она пришла в последнюю субботу марта, вечером, когда отец был на заседании Совета рабочих депутатов, — он теперь каждый вечер был на каком-нибудь заседании, — и сказала Лене в сенях, не раздеваясь:

— Сегодня. Ночью. Мороз опять взялся, люди сидят по домам. Через неделю развезёт — и днём не пройдёшь, и ночью. Возьмите лопату. И сапоги — мужские, высокие. И спички.

— А земля? Она же мёрзлая.

— Отогреем, — сказала Марья Павловна. — Я двадцать зим в мерзлоте копала. Умею.

Вознесенское кладбище лежало на окраине, у станции Томск-II, за последними домами Заисточья, на пологом холме.

Они шли туда пешком, в темноте, больше часа. Фонари кончились задолго до кладбища, на последнем, у самой станции, вместо фонаря висело полено на верёвке — второй месяц, никто не менял, и над ним уже смеялись в газетах. Луны не было. Звёзды — частые, мелкие, колючие. Снег скрипел. Лена несла лопату на плече и мешок с берёзовой корой и сухими лучинами. Марья Павловна несла топор и фонарь, но не зажигала его — берегла керосин и берегла себя от чужих глаз.

Ворота кладбища были не заперты: сторож ушёл в Комитет записываться в милицию и не вернулся. Они прошли между крестами, по пояс в снегу, между оградами, памятниками, голыми берёзами, — и Лена шла впереди, потому что знала дорогу. Её водили сюда с двух лет. Сначала мама. Потом отец. Потом она ходила сама, каждый год, в июне, когда цвёл шиповник.

Чайка стояла на холме, белая на белом.

Её почти засыпало: торчали только крылья — раскинутые, мраморные, с тонко прорезанными перьями, — и голова, повёрнутая в сторону, к реке. Постамент, чёрный, волнистый, гранитный, ушёл в сугроб. Надписи было не видно.

Лена смахнула снег варежкой. Надпись проступила: «НИНА. АРТИСТКА». И больше ничего. Ни фамилии, ни дат. Лена всегда думала: почему? Отец говорил, что тётя Нина не хотела. Она была гордая.

— Сбоку, — сказала Марья Павловна. — В изголовье. Она так сказала.

Они откопали снег — до земли, до чёрной, промёрзшей, твёрдой, как камень, земли. Марья Павловна присела на корточки и постучала по ней обухом топора. Звук был звонкий, железный.

— На аршин промёрзло, — сказала она. — Не меньше.

Она разложила костёр прямо на этом месте — сбоку от постамента, в изголовье. Сначала бересту, потом лучину, потом поленья, которые несла Лена. Чиркнула спичкой, прикрыв ладонью от ветра, — береста вспыхнула сразу, ярко, с треском, и огонь пошёл вверх, рыжий, живой, и осветил чайку снизу, и чайка стала розовой.

Они сидели у огня на корточках, грели руки.

— Так хоронят зимой, — сказала Марья Павловна. — В Сибири. Отогревают землю костром, снимают оттаявший слой, потом снова огонь, потом снова снимают. Так и роют. На

Мальцевской мы так хоронили своих. — Она помолчала. — Её так хоронили. Я сама жгла костёр. Всю ночь.

Лена ничего не сказала. Она смотрела, как огонь ест снег вокруг, как от земли поднимается пар — белый, густой, как от живого тела.

Так они и работали. Жгли огонь. Отгребали угли. Лена копала — неумело сначала, потом быстрее, сосредоточенно, ровно, как работала в анатомичке: слой за слоем. Земля оттаивала на два вершка — она снимала эти два вершка. Марья Павловна снова разводила огонь. Снова ждали. Снова копали.

Около трёх часов ночи лопата ударилась во что-то твёрдое.

Не камень. Звук был другой — глухой, плоский, жестяной.

Лена отложила лопату и стала разгребать руками. Земля была тёплая от костра, сырая, чёрная, и пахла так, как пахнет весной на огороде, — и Лена подумала, что это неправильно, что так не должна пахнуть земля над тайной, — и тут пальцы её нащупали угол. Железный. Ржавый. Потом крышку. Потом скобу.

Ящик был небольшой — с хорошую шкатулку для рукоделия, — но тяжёлый. Очень тяжёлый. Они вытащили его вдвоём, за скобы, и поставили на снег, у огня.

— Это вам, — сказала Марья Павловна.

И отступила от ящика на шаг. Будто боялась его коснуться.

Лена посмотрела на неё. Потом на ящик. Замок был простой, висячий, проржавевший насквозь. Она ударила по нему обухом топора, и он сломался с первого раза.

Крышка поддалась не сразу — приржавела. Лена налегла, и крышка отошла со скрежетом.

Внутри, сверху, лежала синяя ситцевая думка. Маленькая, туго набитая, зашитая по краям толстой суровой ниткой, частыми, неумелыми, крестьянскими стежками. Ситец выцвел, но синий ещё был виден, и на нём — мелкий белый горошек. Лена взяла её в руки. Думка была тяжёлая, как камень. На ней, химическим карандашом, расплывшимися буквами, детским почерком человека, который едва умел писать, было выведено: «ЛЕНКЕ НА ПРИДАНОЕ».

Лена не знала, чей это почерк.

Под думкой лежали свёртки — в промасленной бумаге, в клеёнке, в холсте. Лена развернула первый.

Золото.

Николаевские червонцы. Десятки. Плотные, тяжёлые, жёлтые, тускло блестящие в свете костра. Профиль государя, которого больше не было. Двуглавый орёл, которого уже снимали с вывесок.

Второй свёрток — тоже. Третий. Четвёртый.

Потом — маленькая коробочка, обтянутая потёртым бархатом. Лена открыла её. Кольца: три, четыре, пять. Одно с бриллиантом, одно с гранатом, одно гладкое, обручальное. Серьги — длинные, с подвесками, с тёмными камнями. Жемчужная нитка, свёрнутая кольцом. И брошь. Большая, старинная, в золотой оправе, с крупным камнем, который при свете костра был красный — тёмно-красный, винный, — а когда Лена повернула его к фонарю, который Марья Павловна наконец зажгла, вдруг стал зелёным. Холодным. Изумрудным.

Александрит, подумала Лена. Днём зелёный, при огне — красный. Она читала о нём в минералогии.

Под коробочкой — ещё свёртки. Ассигнации, старые, екатерининские сторублёвки девяносто восьмого года, пожелтевшие, — их было много, пачка в банковской ленте. И кредитные билеты. И ещё золото.

Лена сидела на корточках над ящиком, в снегу, у костра, и не могла сосчитать. Не умела. Это было больше, чем отец получал за десять лет. За двадцать. Это было…

— Откуда? — спросила она шёпотом.

Марья Павловна молчала долго.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Я не спрашивала. Она не говорила. — Она помолчала. — Думаю, это касса. Партийная. Она ведь в Томске работала, ещё в девяностых. Она держала кассу — я слышала, ещё на этапе, что в Томске есть такая женщина, которая держит кассу и прячет беглых. Думаю, это она. Это деньги революции, Лена.

Она посмотрела на ящик — на золото, на камни, на синюю думку, — и лицо её в свете костра было строгое и торжественное.

— Она могла отдать их партии. Она знала, что я — партия. Что я отдам. А она сказала: «Ленино. Не отдавай никому». — Марья Павловна помолчала. — Значит, она так решила. Она всегда знала, что делает. Значит, это вам, на ваше. На учёбу. На жизнь. На то, чтобы вы были свободны. Это её последняя воля, и я её исполнила.

Она отвернулась к огню.

— Я больше ничего не должна, — сказала она. — Я всё сделала. Я довезла письмо. Я довезла тетрадь. Я показала место. — Голос её дрогнул. — Я исполнила. Слышите, Катерина Михайловна? Я исполнила.

Она сказала это не Лене. Она сказала это чайке. Мраморной, белой, розовой от огня, с раскинутыми крыльями.

Потом надела треух, взяла топор и пошла прочь — между крестами, по пояс в снегу, не оборачиваясь. Прямая, как палка. В чужой енотовой шубе.

— Марья Павловна! — крикнула Лена. — А вы? Как же… вам? Вам ничего не надо?

Марья Павловна остановилась. Не обернулась.

— Мне ничего не надо, — сказала она в темноту. — Мне уже всё дали. Я видела красные флаги на станции Тайга.

И ушла.

Лена осталась одна.

Одна на кладбище, в три часа ночи, у догорающего костра, у мраморной чайки, с ящиком золота у ног. Звёзды. Мороз. Тишина. Где-то далеко, на станции Томск-II, пыхтел маневровый паровоз. Где-то в Заисточье лаяла собака. А здесь было так тихо, что слышно было, как потрескивают угли и как оседает снег.

Она не боялась. Она давно не боялась мёртвых: в анатомичке их было много, и все они были тихие. Она сидела на корточках, держала в руках синюю думку с надписью «Ленке на приданое» и думала: кто? Кто писал это — неумелыми, детскими буквами? Не мама. Мама писала крупно и твёрдо. Кто-то другой. Кто-то, кто звал её Ленкой.

Она не знала. Не знал никто.

Она закопала яму, кое-как, разровняла, засыпала снегом. Закидала угли. Ящик был тяжёлый — нести его так, по-открытому, через весь город было нельзя. Она переложила золото в мешок из-под коры, а ящик бросила тут же, в сугроб, за оградой. Мешок оказался таким тяжёлым, что она едва его подняла, — и она несла его через всё Заисточье, через спящий город, по тёмным улицам, мимо пустых будок городовых, мимо костров студенческой милиции, обходя их переулками, — несла, как несёт крестьянка мешок муки с базара, перекладывая с плеча на плечо. Никто её не остановил. Кто остановит девушку с мешком в четыре утра? Мало ли что несут в такие дни.

Дома все спали. Отец храпел внизу — он вернулся с заседания поздно и уснул, не раздеваясь, в кресле.

Лена поднялась в мезонин, неслышно, босиком, держа валенки в руке.

В мезонине, над столом, висела картина: литография, «Утро в сосновом лесу», медведи на поваленной сосне, в простой раме. Висела, сколько Лена себя помнила. Когда ей было двенадцать, она полезла за ней, чтобы вытереть пыль, и нашла за ней нишу в стене. Маленькую,

глубокую, аккуратно выдолбленную, с деревянной дверцей на петлях. Пустую. С тех пор она прятала там свои дневники и никому про это не говорила, даже отцу. Особенно отцу.

Теперь она отодвинула медведей и открыла дверцу.

Мешок с золотом не влез. Она переложила свёртки по одному — червонцы, кредитки, коробочку, синюю думку. Ниша приняла всё. Будто для этого и была сделана.

Будто её кто-то для этого и сделал.

Только коробочку с камнями Лена не положила. Она оставила её на столе.

Потом она зажгла свечу — не лампу, свечу, потому что лампа светила слишком ярко и отец мог увидеть свет в окне. Поставила свечу на комод, перед зеркалом. Маминым зеркалом в простой раме, в которое она смотрела только по утрам, чтобы заколоть волосы.

И стала раздеваться.

Медленно. Она устала, руки не слушались, пальцы, обмороженные, не попадали в крючки. Шаль. Кофта. Тёмно-синее платье, глухое, до горла, промокшее по подолу, с землёй на коленях. Нижняя юбка. Сорочка — простая, холщовая, гимназическая ещё. Она стояла в этой сорочке у зеркала, босая, на холодном полу, и свеча горела сбоку, и в зеркале было темно, только лицо и плечи.

Она открыла бархатную коробочку.

Сначала серьги. Длинные, с подвесками, с тёмными камнями. Уши у неё были не проколоты — в Мариинской гимназии это было не принято, а отец считал серьги «дикарским обычаем». Она приложила их к мочкам. Просто приложила, держа пальцами, и повернула голову. Камни качнулись. Тёмные. Тяжёлые.

Потом жемчуг. Нитка была длинная, она обмотала её вокруг шеи дважды. Жемчуг был холодный, как снег, и сразу согрелся на коже. Лёг на ключицы. Над вырезом сорочки.

Потом брошь. Александрит. При свече он был красный — тёмно-красный, винный, как кровь в вене, как вишнёвый сок. Она приколола его к сорочке, на грудь, слева, где сердце. Булавка была длинная и острая, и она укололась, и не заметила.

И посмотрела в зеркало.

Из темноты на неё смотрела женщина.

Не она. Не Лена Трофимова, медичка, которую в анатомичке звали «Трофимова» и не решались долго смотреть ей в глаза. Другая. Тёмная, бледная, с распустившимися от мороза и ветра волосами, упавшими на плечи. С жемчугом на голой шее. С камнем на груди, тёмно-красным, как свежая кровь. С глазами, которые в свете свечи были чёрные, огромные, — и левый смотрел чуть мимо, чуть в сторону, будто видел что-то за плечом, чего не видел правый.

Лена смотрела на эту женщину и не могла оторваться.

У неё были красивые плечи. Она никогда этого не знала. Она никогда не смотрела на свои плечи. Покатые, белые, северные, — свеча клала на них золотой край, а дальше, к шее, к ключицам, был полумрак, и жемчуг в этом полумраке светился сам. У неё была длинная шея. Она этого тоже не знала. У неё была грудь, которая натягивала холщовую сорочку так, что сквозь неё было видно. Она это знала, конечно, — она же медичка, — но никогда не видела этого вот так: со стороны, чужими глазами, глазами того, кто смотрит.

Она повернулась боком. Потом другим. Подняла руки и собрала волосы на затылке, как собирают дамы для бала, — и шея стала ещё длиннее, и плечи ещё белее. Отпустила волосы. Они упали.

Сердце билось. Она не стала считать пульс.

Она думала: вот так, наверное, выглядела мама. Вот такая. С такими плечами. С таким камнем. Мама, которая держала партийную кассу и прятала беглых, которая не встала перед начальником тюрьмы, которая читала в карцере Символ веры. Мама-героиня. Мама, похожая на Перовскую.

Лена не знала, что думает правду. Она не знала, какую правду.

Она стояла перед зеркалом долго. Пока свеча не оплыла. Пока ноги не застыли на ледяном полу так, что перестали чувствоваться. Потом сняла брошь, жемчуг, положила серьги обратно в коробочку. Коробочку — в нишу. Медведей — на место.

И легла.

Утром она отнесла один червонец меняле на Базарную площадь. Старику в лисьей шапке, сидевшему в будке у Базарного моста, который скупал всё — золото, серебро, часы, иконы, ордена. Старик посмотрел на червонец, на неё, снова на червонец, попробовал на зуб и дал ей за него столько кредиток, что она не поверила и пересчитала дважды. Золото дорожало каждую неделю. Бумага дешевела. Через месяц, сказал старик, дам больше. Приходи, барышня.

Она ничего не купила в тот день. Она просто шла по Почтамтской с кредитками в кармане муфты и смотрела на витрины. На шляпки. На перчатки. На ботинки. На ткани. На магазин Второва, где в витрине стояла восковая дама в весеннем английском костюме цвета сливок.

Она знала, что может купить всё. Всё, что видит.

Это было странное чувство. Новое. Она не знала, как его назвать. Свобода, наверное. Ещё одна. Та, о которой не писали в газетах.

А в ту ночь, в мезонине, перед тем как задуть свечу, она ещё раз посмотрела на нишу за медведями. Подумала об отце, спавшем внизу в кресле. Подумала, что надо бы ему сказать.

И решила не говорить. Он отдаст на партию. Мама так и сказала: не отдавай никому. Даже ему.

Свеча горела ровно. На столе лежала кафтанская тетрадь в клеёнчатой обложке, и из неё выглядывал край чего-то бумажного, жёлтого, ветхого. Лена ещё не раскрыла тетрадь. Боялась.

Потом задула свечу.

За окном, над Томском, над горой, над Ушайкой, над Болотом, над Вознесенским кладбищем, где у мраморной чайки чернело в снегу пятно от костра, светало. Первое утро после того, как всё было исполнено. Мороз отпускал. С крыш, впервые за эту зиму, капало.

Снег ложился на землю. На живых и на мёртвых.

Конец первой главы.



Глава 2. Студент

И, выйдя вон, горько заплакал.

Лк. 22:62

Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого.

А. П. Чехов, «Студент»

2.1. Тетрадь

Она открыла тетрадь только на Страстной.

Три недели тетрадь лежала на столе, в мезонине, рядом с микроскопом, которого ещё не было, и рядом с лампой под зелёным абажуром, которая была всегда. Три недели Лена обходила её взглядом, как обходят в анатомичке труп, который ещё не готова вскрывать. Брала в руки. Клала обратно. Один раз даже раскрыла — на середине, наугад, — увидела крупные, неровные, наползающие одна на другую буквы и закрыла, будто обожглась.

Она боялась.

Чего — она не могла бы сказать. Не правды: правды она не боялась, она медичка. Скорее того, что в тетради окажется не та мама. Не та, о которой рассказывала Марья Павловна в буфете на станции Тайга. Не героиня, похожая на Перовскую. А какая-нибудь другая. Обыкновенная. Скучная. Плачущая.

В Великий вторник отец ушёл на заседание Совета и не вернулся к ночи. Фёкла спала. В доме было тихо так, что слышно было, как за окном капает с крыши: снег наконец начал оседать, весна в этом году пришла поздняя, гнилая, с туманами. Лена сидела у стола в мезонине, в кофте, с поджатыми под себя ногами, и смотрела на клеёнчатую обложку.

Потом раскрыла.

Первая страница была пустая. На второй, вверху, стояло — карандашом, неумело, с наклоном влево, будто писал ребёнок:

«Тетрадь. Купл. в Нижнем. Подарил В. С.»

В. С. Лена сначала не поняла. Потом поняла — и у неё похолодели руки. Владимир Симонсон. Тот самый, из романа. Рыжий политический, с которым граф в последних главах отправил маму дальше по этапу, — сухой, бесплотный резонёр, «всё живое связано», которому граф отдал её, как отдают вещь. Значит, он был. Настоящий. Дальше шли записи. Короткие, без запятых, почти без точек. Буквы — неровные, разные по размеру, будто каждая писалась отдельно, с усилием. Лена читала медленно, водя пальцем по строке.

«Сеченов говорит рефлекс. Лавров говорит долг. Крыльцов говорил звери. Кто прав. Все правы».

Она перечитала. Ещё раз.

Сеченов. «Рефлексы головного мозга». Она читала это в пятнадцать лет — отец дал. Лавров. «Исторические письма». Читала в шестнадцать. А мама — в восемьдесят девятом году, в ссылке, в избе, с ошибками, водя пальцем. Сама. Мама, которая — так говорил отец — до ссылки едва умела читать.

Дальше было про избу. Про болото. Про Нехлюдова, который приезжал с платком и конфетами: «Приезжал. Говорил о своих страданиях. Руки белые. Оставил платок. Отдам бабам. Пусть носят княжеский».

Лена засмеялась. Тихо, одна, в мезонине, в первом часу ночи. Засмеялась с облегчением и с гордостью.

Она знала, кто такой Нехлюдов. Все знали. Князь Нехлюдов из «Воскресения». Она читала роман в четырнадцать лет, тайком, в «Ниве» девяносто девятого года, в подшивке, найденной на чердаке, — а потом, когда отец застал её за ним, был первый и единственный в

жизни скандал, когда отец кричал. А потом, на другой день, отец сел с ней и рассказал. Сухо, коротко, глядя в окно. Что роман — про маму. Что Толстой писал со слов князя. Что князь Нехлюдов, который в Томске стал толстовцем, рассказал графу историю мамы так, как ему было выгодно: себя — спасителем, кающимся, светлым, а маму — тёмной, глупой, покорной, падшей, которую он, светлый князь, поднимает из грязи. А чтобы выглядеть спасителем, надо, чтобы спасаемая лежала в грязи. Вот он её и положил. В грязь. В книгу. На весь мир.

«Ничего этого не было, — сказал тогда отец. — Её действительно судили, невинно, в юности. Её действительно погнали в Сибирь. Это правда. А всё остальное — его фантазия. Сказка для господ. Чтобы они поплакали в креслах и почувствовали себя добрыми».

Лена тогда спросила: «А дом этот? Китаевой? Где она будто бы…»

«Выдумка, — сказал отец. Очень быстро. — Выдумка князя. Он её погубил — соблазнил девчонку и бросил, — и ему надо было, чтобы она пала как можно ниже, тогда его вина вроде как меньше, а покаяние — больше. Это подлость, Леночка. Аристократическая подлость. Такие, как Нехлюдов, умеют каяться так, что им ещё и спасибо говорят».

Лена ненавидела Нехлюдова с четырнадцати лет. Ненавидела графа. Ненавидела «Воскресение» — тем особым, ясным, твёрдым презрением, каким умные девочки презирают ложь взрослых. И вот теперь — мама, своей рукой: «Руки белые. Оставил платок. Отдам бабам». Мама его тоже презирала. Мама его видела насквозь. С самого начала.

«Его нельзя простить, потому что ему нечего прощать. Он не виноват. Он такой. Таких можно только судить».

Лена подчеркнула это ногтем. Потом спохватилась — тетрадь была мамина, нельзя, — и разгладила.

Дальше шла зима.

Холод. Крещенский мороз. Кто-то болел — «он горит», «организм мудрее врачей», «кровь ржавая», — и Лена-медичка по трём словам поставила диагноз: крупозная пневмония, двусторонняя, запущенная, кризис на седьмой-девятый день. Кто-то умирал. «Володя». Володя. Симонсон. Умер на рассвете, в самый мороз. А граф в романе оставил его живым — и маму при нём, покорную, благодарную. Граф и этого не знал. Или не захотел знать. Последняя запись этих дней была другая — твёрдая, ровная:

«Умер на рассвете. Сказал: не надо мстить надо.

Я поняла».

Лена долго смотрела на эти две строки. «Не надо мстить надо». Без запятой. Можно прочесть так: «Не надо мстить — надо…» и не дописано. А можно: «Не надо — мстить надо». И мама поняла. Как?

Она перевернула страницу — и из тетради выскользнуло что-то лёгкое, жёлтое, ломкое и упало ей на колени.

Бумажный венчик.

Узкая полоска плотной дешёвой бумаги, пожелтевшая, потрескавшаяся на сгибах, с выцветшими, почти неразличимыми лубочными картинками — лики, нимбы, крест — и с надписью по краю, церковнославянской вязью: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Лена знала, что это. Такие кладут на лоб покойнику в гробу. Она видела их в часовне при клиниках.

Мама сняла его со лба Симонсона. И сохранила. Двадцать восемь лет. В Томске, в Москве, в Петербурге, в тюрьмах, на каторге. Всю жизнь.

Лена держала венчик на ладони, боясь дышать: он мог рассыпаться. И думала: вот он, мамин первый товарищ. Первый, кто погиб у неё на глазах. Не тот бумажный резонёр из «Нивы» — живой, рыжий, неловкий, мамин учитель, давший ей Сеченова и Лаврова. Он умер, и мама поклялась.

Потому что дальше была Пасха.

Запись была длинная. Самая длинная в тетради. Почерк в ней менялся с каждой строкой — сначала дрожал, потом выпрямлялся, потом становился таким твёрдым, что перо прорвало бумагу в двух местах.

«Пасха. Пели: смертию смерть поправ. Значит смертью. Не любовью.

Символ веры: воскресшего в третий день. И сразу: грядущего судить живым и мертвым. Царству не будет конца.

Воскресение — не конец. Воскресение — начало суда.

Нехлюдов не дочитал.

Я дочитаю.

Апокалипсис 6:10. Доколе не мстишь. Число ещё не полно.

Лёд пошёл.

Я воскресла.

И буду судить живых и мертвых».

Последнее слово было зачёркнуто, и поверх, по-церковному, мелко: «…судити живым и мертвым».

Лена сидела не шевелясь.

За окном капало. Где-то в Заисточье лаяла собака. Внизу тикали часы.

«И буду судить живых и мертвых».

Она читала это, и по спине у неё шёл холодок — не страха, а восторга. Такого, какой бывает, когда в театре на «Марсельезе» вдруг сжимается горло. Девятнадцатилетняя, неграмотная почти, поселенка, варначка, — в избе у болота, над могилой товарища, в пасхальную ночь, — поклялась судить. Царя, князей, судей, генералов, весь этот мир, который убил Володю и бросил её в грязь. Поклялась — и пошла. И судила. Всю жизнь. До Петербурга, до пятого года, до Мальцевской. До конца.

Отомсти.

Теперь Лена понимала, откуда это слово в письме. Это не была предсмертная горячка. Это была клятва. Та же самая, что в восемьдесят девятом году. Мама начала с неё — и ею кончила.

Она перевернула страницу, ожидая продолжения.

Продолжения не было.

Следующие листы были вырезаны. Аккуратно, ножом или бритвой, у самого корешка, — так что остались только узкие полоски, «корешки» в полпальца шириной, и на них — обрывки слов, последние буквы строк, по две, по три: «…ала», «…ет», «…ю их», «…бое», «…ий билет». Лена насчитала шесть вырезанных листов. Двенадцать страниц.

И потом — ещё одна страница. Последняя исписанная. Вырванная небрежнее остальных: наискось, с клочком. На клочке, внизу, уцелело полторы строки — тем же твёрдым почерком, без запятых:

«…там я их увижу. Там я их уз…»

И всё. Дальше — пустые листы до самого конца тетради. Сорок пустых листов.

Лена сидела над тетрадью долго. Водила пальцем по корешкам. «…ий билет». Какой билет? Железнодорожный? Билет в Россию — по окончании срока? Конечно. Наверное, мама писала, как получила право уехать, и как поехала, — куда? В Томск. В город. «Там я их увижу». Кого? Их. Врагов. Тех, кого судить. Там, в городе, в Томске, были жандармы, судьи, губернатор, — она поехала туда, чтобы увидеть их вблизи. Чтобы узнать их. «Там я их уз…» — узнаю.

А вырезала — кто? Сама мама? Чтобы не попало жандармам? Конечно. Там, наверное, были имена. Явки. Товарищи. Всё, что нельзя было оставлять. Мама вырезала и сожгла, а клятву — оставила. Потому что клятву нельзя вырезать.

Лена закрыла тетрадь.

Потом раскрыла Новый Завет — маленький, в мягком чёрном переплёте, английского библейского общества. Он распух от закладок: полоски бумаги, сухие травинки, нитки. Подчёркнуто было много — карандашом, разными нажимами, в разные, видно, годы. Апокалипсис — почти весь. Шестая глава — дважды. Двадцать пятая глава Матфея — «был болен и в темнице, и не посетили Меня» — обведена в рамку. А на полях, у Нагорной проповеди, там, где «не судите, да не судимы будете», мамин почерк, мелко:

«Нехлюдов не дочитал. Я дочитаю».

И у Апокалипсиса, у озера огненного:

«Ему. Дочитать вслух».

Лена засмеялась второй раз за ночь.

Ему. Князю. Дочитать вслух. Как это было похоже на маму — на ту маму, которую она теперь знала. Не просто презирать. Дочитать ему вслух. Чтобы услышал.

Она взяла свой дневник — толстую тетрадь в коленкоре, где вела записи с гимназии, — раскрыла на чистой странице и переписала. Аккуратно, своим ровным, мелким, «медицинским» почерком:

«Воскресение — не конец. Воскресение — начало суда.

И буду судить живых и мертвых».

Подумала. Приписала внизу: «Мама. Кафтан. Пасха 1890».

И ниже, уже от себя: «Пасха 1917. Царя нет. Её клятва исполнена. Кем-то. Не ею».

Подумала ещё. Зачеркнула «Не ею». Написала: «Всеми нами».

Потом погасила лампу и легла. И долго лежала, глядя в темноту, и шептала про себя, пробуя на язык, как пробуют чужое вино:

— Судити живым и мертвым.

Слова были тяжёлые, круглые, холодные. Как жемчуг.

2.2. Белое платье

В Великую субботу Лена пошла к Второву.

Она решила это ещё в четверг и два дня откладывала. Ей было неловко. Она никогда в жизни не покупала себе платьев сама. Платья шили — у портнихи на Монастырской, которая обшивала половину профессорских дочерей Томска, — по фасону, который выбирал отец, то есть никакому, потому что отец в фасонах не понимал, и потому всё у Лены было тёмное, глухое, практичное: курсистское, гимназическое, «для анатомички». И денег на платья не было. Профессорское жалованье в войну таяло, как снег за окном.

Теперь деньги были.

Она отнесла меняле в будку у Базарного моста второй червонец. Старик в лисьей шапке узнал её, усмехнулся в бороду и дал больше, чем в прошлый раз, — «золото, барышня, в цене, всё в цене, а бумага — она бумага», — и Лена с толстой пачкой кредиток в муфте пошла по Почтамтской вверх, к торговому дому Второва, к большим зеркальным витринам, в которых стояла восковая дама в весеннем костюме цвета сливок.

Внутри было тепло, светло, пахло духами, новой тканью и нафталином. Электричество горело днём. Приказчики в чёрных сюртуках, приказчицы в серых платьях с белыми воротничками. На прилавках — кружева, ленты, перчатки, вуали. Покупательниц было мало: война, дороговизна, в магазинах — пусто, всё лучшее давно скупили. Лена стояла посреди зала в своём тёмно-синем курсистском, с муфтой, и не знала, куда идти.

— Мадемуазель что-нибудь желает?

Приказчица была немолодая, с подведёнными бровями, с сантиметром на шее. Смотрела на Ленино платье, на стоптанные ботинки, на муфту — и в глазах у неё было вежливое, профессиональное, чуть усталое: «студентка, будет смотреть и ничего не купит».

— Платье, — сказала Лена. — Белое. К Пасхе. Готовое, если есть.

— Готовые есть. — Приказчица чуть приподняла брови. — Но они… недёшевы, мадемуазель. Война.

— Покажите.

Платье было муслиновое. Белое — не снежно-белое, а тёплое, сливочное, как молоко. Лёгкое, как дыхание. С высоким поясом под грудью, с широкой юбкой до щиколотки, с рукавами до локтя, с тонкой вышивкой гладью по вороту — ландыши. Московское, сказала приказчица. Из довоенных запасов. Последнее такое.

Лена пошла в примерочную.

Примерочная была с зеркалом в три створки, высоким, в рост, в золочёной раме, — и Лена, раздевшись до сорочки, застыла перед ним. В зеркале было три Лены. Одна — прямо, две — сбоку, справа и слева. Она никогда не видела себя сбоку. Никогда не видела себя со спины. Она стояла в холщовой гимназической сорочке и смотрела, как три женщины смотрят на неё в ответ: тёмные, бледные, длинношеие, с узлом волос на затылке.

Потом надела муслин.

Он упал на неё, как вода. Лёгкий, прохладный, шуршащий. Лёг на плечи, на грудь, на бёдра. Высокий пояс поднял грудь — сам, без корсета, просто так был скроен, — и шея стала длиннее, и плечи — круглее. Ландыши по вороту. Белое на белом.

В трёх зеркалах стояли три невесты.

— О, — сказала за занавеской приказчица, заглянув. Совсем другим голосом. — О, мадемуазель. Это… это ваше.

— Сколько?

Приказчица назвала цену. Это было больше, чем отец получал в месяц.

Лена достала из муфты пачку кредиток и отсчитала. Не торгуясь. Не проверяя. И видела в зеркале — во всех трёх створках сразу, — как у приказчицы меняется лицо. Как исчезает «студентка». Как появляется «мадемуазель». Как вежливое становится почтительным, а почтительное — почти угодливым.

Это было новое ощущение. Лена отметила его. Не поняла пока, хорошее или плохое.

— Мадемуазель, может быть, желает… — Приказчица понизила голос, наклонилась, будто сообщая тайну. — К такому платью… бельё. Под муслин нельзя холст. Муслин просвечивает. Видно будет. Есть шёлковое. Французское. Тоже довоенное.

Лена покраснела. Она, медичка, которая резала трупы и называла всё латинскими именами, — покраснела от слова «бельё» в устах приказчицы.

— Покажите, — сказала она.

Бельё лежало в плоской коробке, в папиросной бумаге. Сорочка — тонкая, как паутина, бледно-розовая, на узких бретельках, с кружевом по вырезу. Панталоны — короткие, до колен, тоже с кружевом. Чулки — шёлковые, телесного цвета, прозрачные, лёгкие, — Лена взяла один в руки и почти ничего не почувствовала. Пустота. Воздух.

Она купила всё. Две смены. И ещё одну пару чулок — чёрных.

Почему чёрных — она не знала. Рука сама взяла.

Дома, в мезонине, заперев дверь, она примерила.

Шёлк лёг на кожу совсем не так, как холст. Холст был — одежда. Шёлк был — прикосновение. Он скользил, холодил, потом сразу согревался, и было ощущение, будто на ней ничего нет, — и в то же время она чувствовала его каждым сантиметром: на плечах, где лежали бретельки, на груди, где шёл кружевной вырез, на бёдрах, на коленях. Чулки поднимались по ногам, как вода в половодье.

Лена стояла перед маминым зеркалом и смотрела.

Потом — по привычке — взяла с полки свою рабочую тетрадь и записала, стоя, на колене:

«Тактильная чувствительность кожи к шёлку значительно выше, чем к холсту. Ощущение усиливается при движении. Вероятно, из-за меньшего трения волокна и большей теплопроводности. Проверить в литературе».

Перечитала. Засмеялась вслух.

Потом надела поверх шёлка белый муслин. Никто не узнает. Никто никогда не узнает, что под пасхальным платьем, которое увидит вся церковь, — это. Розовое. Кружевное. Французское.

Об этом будет знать только она.

И эта мысль — о том, что знает только она, — оказалась странно волнующей. Больше, чем сам шёлк.

К заутрене пошли с Фёклой.

Отец не пошёл. Отец не ходил в церковь лет двадцать пять, а в эту Пасху сказал за ужином, что идёт на собрание большевиков, и Фёкла перекрестилась так, будто он сказал, что идёт к чёрту. «На Пасху! В святую ночь!» — «Революция, Фёкла, праздников не знает», — сказал отец, надевая шубу, и Лене показалось, что ему самому немного стыдно.

Воскресенская церковь стояла на горе, белая, с колокольней. Лену крестили здесь девятнадцать лет назад, в Крестопоклонное воскресенье. Отец когда-то рассказывал, смеясь, что крёстная была рыжая и плюнула на дубовые двери придела, когда отрекалась от сатаны, и что крёстный, старый каторжник, чуть не уронил свечку со смеху. Кто эта рыжая крёстная — отец говорил коротко: «Настя. Мамина подруга. Умерла». А Фёкла — «В Колывань уехала». И крестилась.

В церкви было тесно, жарко, душно. Свечи. Ладан. Шубы, платки, шинели. Солдаты гарнизона — много, целые роты, — стояли сзади, у дверей, в папахах, которые снимали не все. Лена стояла с Фёклой у правого клироса, в белом муслине под распахнутой шубкой, со свечой в руке. Ей было жарко. Шёлк под муслином прилипал к спине.

Ей казалось, все на неё смотрят.

Может быть, так и было. Белое платье в тёмной толпе — одно на всю церковь.

Служил старый отец Никандр — не тот, что венчал её родителей, а другой, его сын, тоже Никандр, тоже толстый, с маленькими умными глазками. На великой ектенье он дошёл до того места, где все сорок лет его службы, и тридцать лет службы его отца, поминали «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Николая Александровича», — и запнулся.

В церкви стало тихо. Слышно было, как трещат свечи.

Отец Никандр посмотрел в бумажку, которую держал в руке. Новую бумажку, присланную из консистории. Прочёл, медленно, будто на чужом языке:

— О благоверном… Временном правительстве нашем… — запнулся снова, — и о всех… о всей палате… тьфу, Господи… о всём воинстве его, Господу помолимся.

— Господи, помилуй, — нестройно пропел хор.

Кто-то из солдат сзади засмеялся. Кто-то зашикал. Фёкла рядом с Леной заплакала, громко, по-бабьи: «Сиротинушку-то… сиротинушку-то не поминают…» И Лена — в белом платье, в шёлке, со свечой — с трудом удержалась, чтобы не засмеяться вслух.

В полночь грянуло.

«Христос воскресе!» — и колокола, все сразу, со всех колоколен Томска, — и крестный ход, и толпа хлынула из церкви наружу, в ночь, в туман, в капель, — и свечи поплыли вокруг храма, и запели: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…»

Смертию смерть, подумала Лена. Значит, смертью. Не любовью.

Она подумала это маминими словами. И вздрогнула.

В церковной ограде, у ворот, горел костёр.

Его развели сторожа — для тепла, для света, по старому обычаю, — и вокруг толпились люди: христосовались, грелись, ели принесённые куличи. Лена потеряла Фёклу в толпе и стояла у костра одна, со свечой, прикрывая её ладонью от ветра.

— Христос воскресе, — сказали рядом.

Она обернулась. Великопольский.

Он был в студенческой шинели, без шапки, с красными ушами, со свечой в руке, — и смотрел на неё сверху вниз, и лицо у него было странное: и радостное, и испуганное, и решительное сразу.

— Воистину, — сказала Лена.

Он не поцеловал её. По обычаю надо было трижды — в щёки, крест-накрест, — все вокруг так и делали, все со всеми. А он стоял и смотрел.

— Отец, — сказал он, — рассказывал эту историю всегда на Пасху. Нет, на Страстную. Про Петра. У костра. Я вам уже… — Он смутился. — Помните, на посту? Я не досказал.

— Досказывайте.

— Пётр отрёкся трижды. И пропел петух. И Пётр вспомнил слово Иисуса. «Прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня». И вышел вон. И горько заплакал. — Голос у него стал низкий, дьяконский, гулкий, и люди у костра стали оборачиваться. — Отец говорил вдове в поле: вот, и она заплакала. И я понял, говорил отец, что если она заплакала, значит, то, что было тогда, девятнадцать веков назад, у того костра, — имеет к ней отношение. К ней. К этой вдове. Сейчас. Значит, правда и красота, которые направляли жизнь там, во дворе первосвященника, продолжаются и доныне. — Он помолчал. — Он говорил, что это было самое счастливое мгновение в его жизни. Он шёл домой, и ему было двадцать два года, и ему казалось, что жизнь полна высокого смысла.

— А потом?

Великопольский улыбнулся криво.

— А потом он тридцать лет учительствовал в уездном училище. Женился. Пил. Умер в девятьсот пятнадцатом. — Он смотрел в огонь. — Но он мне это рассказывал каждый год. Каждую Страстную. Как обещание. Что будет смысл.

Лена смотрела на него. На его лицо, красное от огня. На его губы, обветренные, шершавые.

— Христос воскресе, — сказала она.

И, прежде чем он успел ответить, сама поднялась на цыпочки.

Это был не тот поцелуй, что у милицейского костра. Тот был — вопрос. Этот — ответ. Его губы были горячие и неловкие, и он сначала замер, испугавшись, а потом обнял её — свободной рукой, другой он держал свечу, — обнял за талию, через распахнутую шубку, через муслин, — и Лена почувствовала его ладонь у себя на спине. Сквозь муслин. Сквозь шёлк.

И тогда — случилось.

Она не знала, как это назвать. Её тело — само, без её ведома, без её решения — откликнулось. Где-то внизу живота, глубоко, будто там зажгли свечу, стало тепло, потом горячо, потом тяжело. Колени ослабли. Кожа под шёлком — на спине, там, где лежала его ладонь, — стала вдруг тонкой, чуткой, как обожжённая, и ей захотелось, чтобы ладонь не лежала, а двигалась. Выше. Ниже. Куда угодно. Свеча в её руке дрогнула, и воск капнул ему на рукав шинели.

Она отстранилась первая. Резко. Как отдёргивают руку от горячего.

Он смотрел на неё — потрясённый, счастливый, глупый.

— Лена…

— Христос воскресе, — сказала она снова. Голос был чужой, низкий. — Мне надо найти Фёклу.

И ушла. В толпу, в туман, в колокольный звон.

Её пугал не поцелуй. Поцелуй был ничего — она его ждала, она его хотела, она сама его начала. Её пугало другое. То, что всё время, пока он её целовал, она думала не о нём, не о Петре, не о вдове в поле, не о смысле жизни, а о том, что у неё под платьем — розовый французский шёлк, о котором он не знает. И что его ладонь лежит на этом шёлке и не знает, что лежит на шёлке. И что знает только она.

Бельё вдруг стало значить больше, чем платье.

Дома, под утро, Лена разделась в мезонине. Сняла шубку. Сняла белое платье, повесила на спинку стула. Осталась в шёлке.

Секунду постояла перед маминым зеркалом.

Розовое. Кружево. Бретельки. Тёмные волосы, выбившиеся из узла. Губы — чуть припухшие. Она коснулась их пальцами.

Потом задула свечу. Быстро. Пока не успела ничего подумать.

А за окном звонили, и звонили, и звонили — над Томском, над горой, над Болотом, над Вознесенским кладбищем. Христос воскресе. Воистину воскресе.

2.3. Микроскоп

На Светлой неделе в «Сибирской жизни» было объявление.

Оно было маленькое, в самом низу четвёртой полосы, между «продаётся корова, удойная» и «ищу место кухарки, могу и в отъезд»: «Продаются научные приборы и библиотека покойного профессора гистологии. Обращаться: Магистратская, д. 14, кв. 3, ежедневно с 11 до 2».

Лена прочла его за утренним чаем, когда отец уже ушёл в Совет, и поставила чашку.

Профессор Кривцов умер в январе. От сердца, говорили. От голода, говорили другие, потише. Он был стар, нелюдим, вдов — нет, оказалось, не вдов, — и читал на втором курсе гистологию так, что ни один студент за двадцать лет не мог повторить ни слова, но все помнили, как он показывал в микроскоп препараты: молча, торжественно, будто приглашал заглянуть в замочную скважину рая. Микроскоп у него был свой. Цейсовский. Иммерсионный. Студенты говорили, что ему его подарил сам Цейс, в Йене, в восемьдесят каком-то году, когда Кривцов у него стажировался.

Такого микроскопа не было на всём медицинском факультете. Казённые были старые, рейхертовские, с мутной оптикой. А новых — где взять в войну? Германская оптика — вражеская. Даже если бы денег хватило.

Лена надела шубку и пошла на Магистратскую.

Квартира была на втором этаже деревянного дома, холодная, полутёмная, с обоями в рыжих пятнах от протёкшей крыши. Пахло нафталином, лекарствами и мышами. Мебель — громоздкая, тёмная, старая — стояла, будто её собирались выносить: стулья на столе, кресла в чехлах, книги стопками на полу, перевязанные бечёвкой.

Открыла старуха. Маленькая, сгорбленная, в чёрном шерстяном платье, в чёрной наколке, с лицом, похожим на печёное яблоко. Вдова. Смотрела на Лену снизу вверх выцветшими голубыми глазами и молчала.

— Я по объявлению, — сказала Лена. — Микроскоп.

Вдова провела её в кабинет.

Он стоял на столе у окна, под стеклянным колпаком. Чёрный, лакированный, с латунными винтами, с тремя объективами на револьверной головке, с зеркальцем внизу. Рядом — деревянный ящик с препаратами, сотни тонких стёклышек в пазах, подписанных бисерным почерком. Рядом — коробочка с кедровым маслом для иммерсии. Рядом — фотография в рамке: молодой человек с бородкой, в сюртуке, стоит у этого самого микроскопа, а рядом — седой немец в пенсне. На обороте, видно было, надпись по-немецки.

— Он его любил больше меня, — сказала вдова. Без обиды, спокойно. — Сорок лет. Больше меня, больше детей. Детей Бог не дал, так он его… Он каждый вечер его протирал. Замшей. Сам. Никому не давал.

Она подняла колпак. Погладила латунный винт — так гладят кошку.

— Сколько? — спросила Лена.

Вдова назвала. Цена была смешная. Меньше, чем Лена отдала за белое платье. Вдова назвала её и испугалась, что много, — Лена видела, как она испугалась, — и тут же добавила: «Можно и меньше. Можно… Мне угля купить. Кончился уголь. Третью неделю…»

Лена смотрела на неё. На наколку. На печёное лицо. На руки — синие, с распухшими суставами, в цыпках.

Она достала из муфты пачку кредиток. Отсчитала. Вдвое больше, чем вдова просила. Положила на стол рядом с микроскопом.

Вдова посмотрела на деньги и не поверила. Потом поверила. И заплакала — без звука, мелко, по-старушечьи, отвернувшись к окну. А потом вдруг схватила Ленину руку и поцеловала. Сухими, старыми губами. В тыльную сторону ладони, туда, где был шрам от скальпеля.

— Голубушка… Голубушка вы моя… Дай вам Бог…

Лена выдернула руку. Ей стало стыдно — жарко, мучительно стыдно, до красноты.

И одновременно — хорошо.

Она стояла в холодной квартире, среди перевязанных бечёвкой книг, и старуха плакала у окна, и благодарила её, и целовала ей руку, — и Лене было хорошо. Сладко. Так, будто она сделала что-то большое. Хотя она ничего не сделала. Она просто дала денег. Маминых денег. Которые лежали в нише за медведями и которых было столько, что эта пачка была как капля.

Деньги дали ей власть. Над этой старухой. Над её горем. Над её слезами, над её губами на руке. Одна пачка бумажек — и старуха у ног.

Лена отметила это ощущение. Отметила и испугалась его. И не стала записывать в тетрадь.

Микроскоп привёз извозчик. Лена сама внесла его в мезонин, по крутой лестнице, прижимая к груди, как ребёнка. Поставила на стол. Туда, где раньше стояли мамины гербарные папки. Папки переложила на верхнюю полку. Бережно, по одной. «Сохрани мой гербарий». Она сохранит. Просто наверху.

Вечером пришёл отец.

Он поднялся в мезонин сказать, что ужинать не будет, что опять собрание, что Ленин приехал в Петроград и неизвестно, что теперь будет, — и увидел.

Он остановился в дверях. Снял очки. Надел.

— Леночка. Это… это Цейс?

— Цейс.

— Кривцовский? — Он подошёл, наклонился, не смея тронуть. — Тот самый? Иммерсия, апохромат… Господи. Леночка. Откуда?

— Вдова продала, — сказала Лена. Ровно. Она приготовила это заранее, ещё на Магистратской. — Почти даром. Ей уголь нужен. Я договорилась в рассрочку. Из стипендии. Буду отдавать по частям.

Она ждала. Что отец спросит — какой стипендии? У неё не было никакой стипендии. Вольнослушательницам стипендий не давали, а действительной студенткой она была три недели. Что он спросит — сколько? Что спросит — а белое платье? А шубка новая? Он же видел вчера платье.

Отец ничего не спросил.

Он сел на её кровать и полчаса, сияя, рассказывал ей про иммерсию. Про то, как Аббе в Йене рассчитал апохроматы. Про то, что разрешающая способность ограничена длиной волны и что дальше — никак, нельзя, предел природы. Про то, как он сам в девяносто девятом году

мечтал о таком микроскопе и не мог купить и смотрел в чужой, в клиниках, по очереди. Про то, что Кривцов был великий гистолог и чудак. Про то, что теперь, Леночка, теперь, при новом строе, у каждого студента будет свой Цейс, — нет, свой не надо, — будут общие, народные, в каждой лаборатории, бесплатно…

Он говорил и смотрел на микроскоп. И не смотрел на неё.

Лена слушала и думала: он видит клетку. Он видит ядро, хроматин, митохондрии. Он видит в микроскоп то, что меньше тысячной доли миллиметра. А меня — не видит. Рядом. На расстоянии вытянутой руки.

Ей стало жалко его. И — немного — смешно. И — совсем немного — удобно.

Когда он ушёл, она зажгла лампу и подвинула её к зеркальцу микроскопа. Протёрла предметное стекло. Взяла из маминого старого несессера иглу — тонкую, стальную, — подержала над пламенем спиртовки. И уколола себе палец. Безымянный, левый. Выдавила каплю крови на стекло. Растёрла другим стеклом в тонкий мазок. Капнула кедрового масла. Опустила объектив.

Покрутила винт.

И увидела.

Эритроциты. Тысячи. Круглые, двояковогнутые, бледно-розовые, лежащие стопками, как монеты. Как червонцы в нише за медведями. Между ними — изредка — лейкоциты: крупные, с тёмными, причудливо изогнутыми ядрами. Один — эозинофил, с ярко-оранжевыми зёрнами. Лимфоцит. Ещё один.

Жизнь есть способ существования белковых тел.

Это была её кровь. Её белковые тела. И мамина кровь — тоже. Половина этих эритроцитов была мамина. В том смысле, в каком всё в ней было мамино: тёмные волосы, левый глаз, плечи, которые она увидела в зеркале. И, может быть, что-то ещё, чего не увидишь ни в какой микроскоп.

Она смотрела долго. Пока не заслезились глаза.

Потом выключила лампу. В темноте мезонина стоял микроскоп — чёрный, лакированный, с латунью, поблёскивающей в свете из окна. А за ним, на стене, — литография с медведями. А за медведями — ниша. А в нише — золото.

Её кровь на стекле. Мамино золото в стене.

Два наследства в одной комнате.

2.4. Тезисы

В начале апреля в клинику госпитальной хирургии привезли девушку с ножевой раной.

Её звали Сара Цукерман, ей было семнадцать лет, и она была дочь лавочника с Обруба. Ночью в лавку пришли трое. Отец её, старый Наум Исаакович Цукерман, проснулся от шума и вышел со свечой и с кочергой. Один из троих ударил его поленом. Сара выбежала на крик. Другой ударил её ножом — в бок, под рёбра, дважды. Потом приказчик выстрелил из отцовского старого револьвера, и один из троих упал и больше не встал. Двое убежали.

Сару оперировал профессор Мыш. Лена ассистировала — держала крючки.

Она держала их полтора часа. Брюшная полость. Ранение печени, ранение толстой кишки. Кровь — тёмная, венозная, много. Профессор Мыш, грузный, с лицом мясника и пальцами пианиста, работал молча, только иногда бормотал по-латыни. Лена держала крючки и смотрела, как он шьёт печень — кетгутом, мелкими стежками, — и думала о другом. Она думала о том, что эта девочка вчера ещё была как она. Семнадцать лет. Шёлковое бельё — нет, у дочери лавочника вряд ли шёлковое. Может быть. Может быть, у неё тоже было белое платье к Пасхе. Сара ведь, наверное, не праздновала Пасху. У неё своя Пасха, другая, раньше.

Сара выжила. Лена потом ходила к ней в палату. Сара лежала бледная, с огромными чёрными глазами и с косой через подушку, и всё время спрашивала про отца. Отец был жив. С пробитой головой, но жив.

А того, которого застрелил приказчик, Лена увидела на следующий день в анатомичке.

Судебно-медицинское вскрытие. Убитый при совершении преступления. Мужчина лет сорока, жилистый, с татуировками на руках — якорь, сердце, надпись «Не забуду мать родную», — с бритой головой, на которой уже начали отрастать волосы. На теле — шрамы. Старые, белые, рубцы. На спине — следы от плетей, крест-накрест.

— Каторжный, — сказал прозектор, сухой немец Вебер, снимая с него простыню. — Сахалинец. Был. Потом Нерчинск. Бессрочный. — Он взглянул на бумагу. — Освобождён по амнистии от семнадцатого марта. Две недели назад. Сокращение сроков вдвое. Бессрочным — на двадцать лет. Он своё отсидел, по их счёту. Вышел.

— И сразу — в лавку, — сказал кто-то из студентов.

— А куда ему ещё? — Вебер пожал плечами. — Он больше ничего не умеет. Тридцать лет на каторге — что он умеет?

Лена смотрела на татуировку. «Не забуду мать родную».

Амнистия. Бабушкина амнистия. Та самая, которая освободила Марью Павловну, и Спиридонову, и всех политических — и вот этого тоже. Керенский подписал её в первые дни: и политическим, и уголовным, всем. Потому что свобода — для всех. Потому что Россия — свободная. Потому что старая власть была виновата во всём, и все, кого она судила, — её жертвы.

И вот одна из жертв лежала на мраморном столе с пулей в груди. А другая — в палате, с зашитой печенью.

Лена не знала, что об этом думать. Она резала, как велел Вебер. Рёберные хрящи. Перикард. Пуля — в правом желудочке. Мгновенная смерть.

Она нашла пулю и положила её в эмалированный лоточек. Звякнуло.

В «Сибирской жизни» на той же неделе напечатали воззвание.

Его написали заключённые исправительного арестантского отделения номер один — те, кто ещё оставался в тюрьме, кому амнистия сократила срок, но не до нуля. Воззвание было обращено к товарищам, вышедшим на волю. «Братья! Свобода, добытая народом, дала нам великую милость. Не омрачим же её позорными делами. Бросим наше прежнее ремесло. Станем честными гражданами свободной России…»

Отец прочёл его вслух за обедом. Сначала серьёзно. Потом начал смеяться. Потом смеялся так, что снял очки и вытирал глаза.

— Ты понимаешь? — говорил он. — Ты понимаешь, Леночка? Уголовные учат уголовных морали! Из тюрьмы! Через газету! Это… это же Гоголь! Это Щедрин! Это лучше «Истории одного города»! Арестантское отделение номер один — к братьям-разбойникам: станем, братья, честными гражданами! — Он закашлялся от смеха. — А в это время братья режут лавочника на Обрубе.

— Девочку, — сказала Лена. — Не лавочника. Девочку. Ей семнадцать. Я держала крючки.

Отец перестал смеяться.

— Да, — сказал он. — Да. Прости.

Помолчал.

— Это издержки, Леночка, — сказал он наконец. Тихо, неуверенно. — Издержки свободы. Неизбежные. Старая власть их сделала такими. Каторга их сделала такими. Они — продукт. Общественный продукт. Когда изменится базис…

— Пап, — сказала Лена. — Ей семнадцать.

Он не ответил.

В середине апреля пришли газеты из Петрограда с тезисами Ленина.

Отец принёс их в среду вечером — «Правду», мятую, затёртую, прошедшую через двадцать рук, — и вечером того же дня у них в столовой собрались большевики.

Их было семеро. Томская организация была маленькая — человек сорок, может, пятьдесят на весь город, — меньшевики были сильнее, эсеры — сильнее во сто крат. Пришли: двое рабочих с железной дороги, учитель из Заисточья, студент-юрист, какой-то бородатый, только что вернувшийся из нарымской ссылки, и прапорщик. Прапорщик был молодой — лет двадцати пяти, — тонкий, резкий, черноусый, в шинели с оторванными погонами, с громким голосом и с привычкой бить ладонью по столу. Его звали Яницкий. Отец представил его Лене: «Наш новый товарищ. С фронта». Яницкий поклонился ей по-офицерски, щёлкнув каблуками, и посмотрел на неё — быстро, цепко, сверху вниз. Как смотрят на лошадь.

Лена ушла наверх. Но дверь в мезонин не закрыла.

Снизу доносилось:

— «…Не парламентарная республика, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху…» — Это читал студент-юрист. — «… Устранение полиции, армии, чиновничества…»

— Это… — голос отца, — это не Маркс, товарищи. Позвольте. Это не Маркс. Это — анархизм. Это Бакунин! Чистый Бакунин! Россия — крестьянская страна. Буржуазная революция только началась. Мы должны пройти через капитализм, через парламент, через… Нельзя перепрыгнуть через фазу! Это… это бланкизм, товарищи! Это заговор кучки против…

— Против кого, профессор? — Голос Яницкого. Резкий, насмешливый. Удар ладонью по столу. — Против буржуазии? Против Милюкова? Против войны?

— Против истории!

Смех. Громкий, общий. Смеялись над отцом. Лена слышала, как смеётся Яницкий, — громче всех, отрывисто, лающе.

— История, профессор, — сказал Яницкий, отсмеявшись, — история — это мы. Вот здесь. Сейчас. Что сделаем — то и будет история. А вы всё ждёте, что она сама. Двадцать лет ждёте. Сколько ещё ждать? Ещё двадцать? Мы и так ждали триста лет. Хватит.

Отец не ответил.

Они разошлись в первом часу. Лена слышала, как хлопнула дверь, как простучали по крыльцу сапоги, как засмеялся во дворе Яницкий — «профессор! Ха! Сама история!» — и стихло.

Отец поднялся к ней.

Он сел на край кровати — она лежала, будто спала, — и долго молчал. Потом сказал, в темноту, тихо:

— Ты слышала?

— Слышала.

— Он прав?

Лена приподнялась на локте. Она никогда не слышала, чтобы отец спрашивал её, кто прав.

— Марья Павловна говорит, — сказала она медленно, — что сейчас надо Учредительное собрание. И землю — крестьянам, но законно. И войну — до победы, но без аннексий. И что Ленин… Что Ленин — немецкий шпион. Так все говорят.

— Все говорят, — повторил отец. — Все говорят.

Он снял очки и тёр глаза.

— Двадцать лет, Леночка, — сказал он. — Двадцать лет я говорил: само. История. Вода течёт вниз. Не надо бомб, не надо заговоров, не надо… Вот, царя нет — и само. Ни одной бомбы. — Он помолчал. — А он говорит — мало. Он говорит — дальше. Сейчас. Сразу. Руками.

— А ты?

— А я не знаю.

Он встал и пошёл вниз. Лена слышала, как он ходит по столовой. Взад и вперёд. Взад и вперёд.

Она уже засыпала, когда услышала его голос.

Тихий, будто сам с собой. Будто пробуя на вкус незнакомое вино.

— Вся власть Советам, — говорил отец внизу, в темноте. — Вся власть… Советам.

И снова шаги. И снова:

— Вся власть.

2.5. Минимумы

Война началась на юридическом факультете. Потом перекинулась на медицинский. Потом на весь университет.

Сначала юристы — студенты четвёртого курса — объявили бойкот пяти профессорам. Почему — никто толком не знал. Говорили — реакционеры. Говорили — монархисты. Говорили — интриганы, которые хотели свалить декана, а декан был либерал, а студенты были за декана. Профессора написали письмо в «Сибирскую жизнь». Декан написал письмо. Секретарь факультета написал письмо. Газета печатала всех и просила разрешить спор «в согласительной комиссии, а не на страницах печати».

Потом выпускники всех факультетов потребовали отменить минимумы.

Минимумы — это были экзамены. Не государственные, не выпускные, а переходные: обязательный минимум знаний по каждому предмету, без сдачи которого нельзя было перейти на следующий курс. Их ввели в девятьсот шестом году, после забастовок, и с тех пор ненавидели все. Выпускники, вернувшиеся с войны, из госпиталей, из земских больниц, куда их гоняли на эпидемии, просили: хотя бы на этот год. Хотя бы для нас. Хотя бы в честь революции.

Технологический институт согласился. Высшие женские курсы согласились. Юридический факультет — после бойкота — согласился.

Медицинский факультет отказал.

На заседании совета факультета, двадцатого апреля, за отказ голосовали одиннадцать профессоров из четырнадцати. Среди одиннадцати был профессор кафедры физиологической химии Трофимов.

— Революция, — сказал он на совете, вставая, как всегда, когда говорил что-то важное, — революция не отменяет анатомию. Больному, господа, совершенно всё равно, при каком строе вы не выучили топографию бедренной артерии. Он умрёт одинаково и при монархии, и при республике. Если мы выпустим недоучек — в честь революции, — мы этих недоучек пошлём на фронт, в госпитали, в тифозные бараки. И они будут убивать. В честь революции.

Это пересказали студентам к вечеру. Слово в слово. И к утру на двери кафедры физиологической химии, под табличкой с Энгельсом, кто-то приклеил бумажку. На бумажке было написано красными чернилами: «Реакционер».

Двадцать второго апреля собрался совет старост медицинского факультета.

Собрался в большой аудитории анатомического института, — той самой, где на первом курсе читали анатомию и где в амфитеатре, ступенями вверх, стояли скамьи, а внизу — кафедра и стол, на котором раньше лежал препарат. Аудитория была набита: старосты, их заместители, просто студенты, курсистки, которые пришли посмотреть, — и пахло мокрыми шинелями, табаком, который курили прямо здесь, несмотря на запрет, и, слабо, из-под всего этого, формалином.

Секретарём выбрали Лену.

Она не просилась. Её назвал кто-то из задних рядов — «Трофимова! Трофимову! Она пишет быстрее всех!» — и это была правда: Лена писала лекции почти стенографически, своим мелким, ровным почерком, и её тетради переписывал весь курс. И ещё — она не болтала. На сходках, на собраниях, в коридорах — все говорили, кричали, спорили. Лена молчала. Слушала. Записывала.

Её посадили за стол внизу, у кафедры. Дали чернильницу, пачку бумаги, перо. И она записывала.

Записывала, как Великопольский — длинный, нескладный, красный — встал в третьем ряду и сказал своим дьяконским, гулким, круглым голосом речь о «свободе от царской экзаменационной муштры». О том, что минимумы — наследие Кассо и Шварца, наследие реакции, наследие тех, кто выгонял студентов из университетов и сдавал в солдаты. О том, что новый университет — свободный — должен строиться на доверии. О том, что профессора, которые голосовали против, — «старые люди старого мира, которые не поняли, что мир изменился».

Ему хлопали долго. Кто-то крикнул: «Трофимова! Твой отец!» И засмеялись.

Лена писала. «Студент Великопольский выступил в пользу отмены минимумов, указав на их реакционное происхождение…»

Записывала, как вставал старый, бородатый, кашляющий студент шестого курса — он учился двенадцать лет, его исключали трижды, он сидел в Бутырках, — и говорил, что он двенадцать лет сдавал минимумы и больше не может. Что у него трое детей. Что его ждут в земской больнице в Каинском уезде, где нет врача на сто вёрст, и тиф. Что пусть ему дадут диплом сейчас, а анатомию он доучит на тифозных.

Ему хлопали тоже. Кто-то плакал.

Записывала, как вставал маленький, в очках, третьекурсник — Шульц, сын аптекаря, — и робко говорил, что, может быть, профессора правы, что, может быть, минимумы… И его захлопали, закричали, засвистели, и он сел, красный, и больше не вставал.

Записывала, как говорили о революции, о свободе, о новой науке, о том, что профессора все — реакционеры, кроме двух или трёх, о том, что надо выбирать ректора, выбирать деканов, выбирать профессоров, а кто не согласен — пусть уходит.

О том, что профессор Трофимов — «вообще большевик, а голосует как черносотенец». И как над этим смеялись.

Лена писала. Перо скрипело. Чернила кончились, ей подлили. Пальцы онемели.

Потом голосовали.

«Кто за то, чтобы требовать от совета факультета отмены переходных минимумов в текущем году?»

Лес рук. Почти вся аудитория.

«Кто против?»

Шульц. И ещё двое.

Лена сидела внизу, у кафедры, с пером в руке. Секретарь не голосует, может не голосовать. Можно было не поднимать руку. Записать цифры. И всё.

Она подняла руку.

За.

Против отца.

Она сама не знала, почему. Она думала об этом потом всю ночь — и не знала. Из солидарности? Потому что весь курс? Потому что Великопольский смотрел на неё из третьего ряда? Потому что ей было девятнадцать, и она месяц назад стала свободной, и золото лежало в нише, и шёлк лежал под платьем, и она хотела — что? Чтобы ей никто ничего не запрещал? Или назло? Назло отцу, который не видит её? Который видит клетку и не видит её? Который говорит про иммерсию и не спрашивает про стипендию?

Аудитория увидела её руку и заревела. Захлопала. «Трофимова! Браво, Трофимова! Дочь против отца! Вот это революция!» Кто-то кинул ей бумажный цветок, оставшийся с праздника. Великопольский стоял в третьем ряду и хлопал, подняв руки над головой, и лицо у него сияло.

А Лена сидела, подняв руку, и чувствовала, как горят у неё щёки, и как бьётся сердце, и как ей хорошо — от этих хлопков, от этих криков, от этого «браво», от того, что на неё смотрят сто человек и все смотрят одобрительно, восхищённо. Как ей хорошо, когда на неё смотрят.

Это было как в магазине Второва, когда менялось лицо приказчицы.

Это было как у вдовы, когда та целовала ей руку.

Она отметила это. И снова не записала.

Двадцать пятого апреля совет старост закрыл университет.

Объявление вывесили в вестибюле главного корпуса — рядом с тем, мартовским, где женщин зачисляли в действительные студентки. Теперь — «впредь до удовлетворения требований студенчества занятия во всех аудиториях, лабораториях и клиниках университета прекращаются». Клиники, правда, работали: больных не выгонишь. Но лекций не было. Лабораторий не было. Анатомичка закрыта.

Отец пришёл домой в шесть.

Он не пошёл к себе. Он не поднялся в мезонин. Он сел в кухне, на лавке, где обычно сидела Фёкла, — в шубе, не раздеваясь, — и Фёкла молча поставила перед ним самовар, и он молча пил чай. Стакан за стаканом. Без сахара.

Лена спустилась. Встала в дверях.

Отец не поднял головы.

— Ты голосовала против меня, — сказал он.

— Я голосовала за свободу.

— За свободу. — Он поставил стакан. — Это одно и то же? Ты уверена?

— Папа…

— Нет, ты скажи. Ты уверена, что это одно и то же? Свобода — и против меня? Свобода — и не учить топографию? Свобода — и закрыть клиники? Свобода — и выгнать стариков, которые сорок лет… — Он задохнулся. — Ты — медичка, Лена. Ты держала крючки, когда Мыш шил печень этой девочке. Ты знаешь, что такое — не знать. Ты знаешь, что если он не знает, где идёт воротная вена, она бы умерла. И ты — за то, чтобы они не знали?

— Я за то, чтобы они сами решали! — Лена почувствовала, что кричит. Она никогда не кричала на отца. — Сами! Без вас! Без вашего разрешения! Двадцать лет ты говорил — история, история! А когда история пришла — ты против!

— Это не история. Это — глупость.

— А Яницкий говорит — история это мы!

Отец посмотрел на неё. Первый раз за весь разговор. Поверх очков. Долго.

И Лена увидела, что он не сердится. Что ему больно. И что он смотрит на неё — так, как смотрел иногда, в последние годы, долго, будто сравнивая её с кем-то.

— Ты похожа на неё, — сказал он тихо. — Когда кричишь. Ужасно похожа.

И снова стал пить чай.

Фёкла у печи перекрестилась. Широко, медленно, как крестилась над покойниками.

Лена поднялась к себе. Ночью, при лампе, она переписывала начисто протокол совета старост — его нужно было сдать в канцелярию утром. Переписывала, и рука дрожала, и строчки шли криво. Она переписала два листа и порвала. Начала снова. Переписала. Порвала.

На третий раз вышло ровно.

Последняя строка протокола была такая: «Голосовали: за — 214, против — 3. Секретарь собрания Е. Трофимова».

Она смотрела на свою подпись. Е. Трофимова. Как мама. Е. М. Трофимова — так мама подписывала гербарные папки.

«Ты похожа на неё. Когда кричишь».

Она положила перо. За окном капало. Потом перестало. Подморозило.

2.6. Первое мая

Первое мая по новому стилю пришлось на восемнадцатое апреля по старому, и Томск праздновал его впервые в жизни — открыто, с разрешения, с музыкой, с пушкой.

«Сибирская жизнь» накануне вышла целым номером к празднику. На первой полосе — красным, единственный раз в истории газеты — лозунг: «Восемь часов для труда! Восемь часов для отдыха! Восемь часов для сна!» Газета звала всех. Рабочих, служащих, учащихся, солдат. «Даже детей». Отец смеялся: «Адрианов! Областник! Кадет почти! — зовёт на Первомай. Если бы мне в девяносто восьмом году сказали…»

Он и сам шёл. С большевиками.

Утром он долго стоял перед зеркалом в прихожей — Лена видела из-за двери — и прикалывал к лацкану сюртука красный бант. Прикалывал, снимал, перекалывал. Бант был маленький, аккуратный, из шёлковой ленты, — Фёкла сшила, ворча и крестясь. Потом отец надел очки, посмотрел на себя в зеркало, вздохнул и пошёл. Лена поняла: он впервые идёт открыто. Двадцать лет — тайком, с пачками в чулане, с поздними гостями, с двумя обысками. А теперь — в сюртуке, с бантом, по Почтамтской.

В одиннадцать ударила пушка.

Шествие начиналось с Миллионной и шло через Базарный мост, по Почтамтской вверх, к Соборной площади — которую уже все звали площадью Революции, — потом по Садовой, на площадь старых лагерей, где был назначен митинг. Колонны выстраивались с утра. Порядок их печатали в газете: впереди — рабочие железной дороги, потом мукомолы, кожевенники, пимокаты, печатники, служащие, учащиеся, военнопленные, мусульмане, полки гарнизона.

Лена шла с медиками.

Университет был закрыт, но медики шли — под белым флагом с красным крестом, который где-то раздобыли студенты, наверное, в лазарете. Шли курсами. Первокурсники, второкурсники, старшие. Бородатый шестикурсник из Каинского уезда. Шульц — сзади, отдельно, будто его не видели. Великопольский — рядом с Леной.

На Лене было новое весеннее пальто. Цвета сливок. То самое, с восковой дамы в витрине Второва, — то есть не то самое, но такое же. Она купила его на прошлой неделе, на третий червонец. Лёгкое, светлое, приталенное, с большими пуговицами, обтянутыми той же тканью, с высоким воротником. И шляпку — маленькую, тёмно-синюю, с короткой вуалькой. И перчатки, белые, лайковые. И ботинки, на шнуровке, высокие, на маленьком каблуке.

Отец, когда увидел её утром в прихожей, только поднял брови: «Леночка, какая ты нарядная». И всё. Не спросил.

Лена видела, как на неё смотрят.

Она видела это всю дорогу. От Миллионной до Базарного моста. По Почтамтской. Она шла в колонне медиков, в своём пальто цвета сливок, единственная светлая фигура среди серых шинелей и тёмных студенческих тужурок, — и на неё смотрели. С тротуаров. Из окон. Из соседних колонн. Солдаты смотрели — открыто, весело, с присвистом. Студенты-техники смотрели — исподлобья. Офицер на коне, проезжавший вдоль колонн, задержал взгляд и чуть придержал лошадь.

Великопольский держал её за руку. Всю дорогу. Его рука была большая, горячая, влажная, в шерстяной перчатке. Лена позволяла. Ей было приятно — его рука. Но она смотрела не на него. Она смотрела на тех, кто смотрел на неё.

И это было — новое.

Месяц назад она шла по Почтамтской в курсистском, с белой повязкой, и никто на неё не смотрел, и она не замечала, что никто не смотрит. Теперь — замечала. Каждый взгляд. Каждый поворот головы. Каждый присвист. И каждый — отзывался в ней. Где-то под пальто, под муслиновой блузкой, под шёлком — тёплой волной.

Ей нравилось, когда на неё смотрят.

Она сказала себе это прямо, по-медицински, как ставят диагноз. Мне нравится, когда на меня смотрят. Это реакция. Это возбуждение — слабое, рассеянное, неспецифическое. Это, вероятно, гормональное. Отец сказал бы — внутренняя секреция.

Отец бы не сказал. Отец бы не заметил.

На Базарном мосту колонны сходились, и Лена увидела их.

Военнопленные. Австрийцы, венгры, немцы, чехи — несколько сот человек, в своих старых, выцветших, голубовато-серых шинелях, в кепи, в обмотках. Их держали в Томске с пятнадцатого года, в лагере за городом, — гоняли на работы, на разгрузку, на лесопилки. Теперь они шли в первомайском шествии. Шли строем — по-военному, в ногу, — и у каждого на груди был красный бант. И над колонной — красный флаг с надписью по-немецки, которую Лена разобрала: «Proletarier aller Länder, vereinigt euch!»

Пролетарии всех стран.

Толпа на тротуарах сначала замолчала. Потом кто-то крикнул: «Немчура!» Потом кто-то другой: «Товарищи!» И зааплодировали. Сначала неуверенно, потом громче. Пленный в первом ряду — высокий, рыжий, с усами — улыбнулся и помахал рукой.

Когда колонна пленных поравнялась с медиками, один из них — молодой, маленький, черноволосый, с тонким лицом и с огромными тёмными глазами — вдруг вышел из строя на шаг, к Лене, и сунул ей что-то в руку. Сунул и вернулся в строй. И пошёл дальше, оглядываясь.

Лена разжала ладонь.

Это был билетик. Картонный, маленький, засаленный, с печатью и номером. Лагерный. Номер военнопленного. На обороте — карандашом, по-немецки, кривыми буквами: «Für die Dame in Weiß. Josef». Для дамы в белом. Йозеф.

Она не знала, что с этим делать. Положила в карман пальто.

За мусульманами — с зелёным знаменем, с полумесяцем, в тюбетейках и в фесках, — шли эсеры.

Эсеров было много. Больше всех. Две колонны: рабочая и крестьянская, и ещё студенческая, отдельно. Знамёна — красные, с надписями белой краской: «В борьбе обретёшь ты право своё», «Земля и воля», «Да здравствует Учредительное собрание». Лена увидела Марью Павловну.

Она шла впереди колонны, в своей енотовой шубе, распахнутой, без шапки, седая, прямая, — и несла плакат. Сама. Длинное древко на плече, и на кумачовом полотнище — «Земля и воля». Шла медленно, торжественно, глядя прямо перед собой, и лицо у неё было то самое, что на станции Тайга: тёмное, иссечённое, мокрое от слёз.

Лена помахала ей. Марья Павловна не увидела.

А потом — через площадь, через головы, через знамёна — Лена увидела отца.

Он шёл в колонне большевиков. Колонна была маленькая — человек сто, может, меньше, — и шла сразу за меньшевиками, и над ней был один флаг, без надписи, просто красный. Отец шёл в третьем ряду, сутулый, высокий, в сюртуке с красным бантом, в очках, — и рядом с ним шёл Яницкий, в шинели с оторванными погонами, и что-то ему говорил, и отец кивал.

На площади Революции колонны остановились. Перед митингом. И тогда отец увидел её.

Он поднял руку. Помахал. Неловко, высоко, как машут дети.

Лена помахала в ответ. Из колонны медиков. В своём пальто цвета сливок, в белых перчатках.

И увидела, как Марья Павловна — из эсеровской колонны — заметила их обоих. И тоже подняла руку. Свободную, без плаката.

Три колонны. Три флага. Медики, эсеры, большевики. Отец, дочь и подруга матери. Машут друг другу через площадь, через толпу, через головы, — в первый свободный Первомай.

Лене стало так хорошо, что заболело горло.

Митинг на площади старых лагерей длился три часа. Ораторы — с четырёх трибун, сразу, перекрикивая друг друга. Лена не слышала почти ничего. Она стояла в толпе, в пальто, рядом с Великопольским, который так и не выпустил её руки, — и смотрела на небо. Небо было

синее, высокое, весеннее, первое по-настоящему весеннее небо за эту зиму. Снег на площади почернел, осел, и в лужах отражались облака и красные флаги.

Вечером, дома, отец пришёл поздно, пьяный от митинга — не от вина, вина не было, — и рассказывал Фёкле, как говорил Яницкий, и как говорил он сам, и как ему хлопали. Фёкла слушала, подперев щёку рукой, и кивала, не понимая ни слова.

А потом, около десяти, в дверь постучал студент-юрист — тот, что читал тезисы, — с газетой в руке.

Телеграмма из Петрограда. Нота министра иностранных дел Милюкова союзникам. Россия будет воевать до победы. До полной победы. Все обязательства царского правительства остаются в силе. Проливы. Константинополь.

— А в Петрограде, — сказал студент, задыхаясь, — в Петрограде демонстрации. Солдаты вышли. «Долой Милюкова!» Говорят — стреляли. Говорят — убитые.

Отец сидел и смотрел на газету.

— В тот же день, — сказал он тихо. — Мы тут под красными флагами. «Пролетарии всех стран». А он в тот же день — союзникам. Проливы. До победы.

Лена вышла на крыльцо.

Было темно, тепло, сыро. Пахло талым снегом и дымом. С крыши капало. Над воротами соседнего дома висел красный флаг, мокрый, тяжёлый, обвисший. Где-то внизу, на Болоте, пьяные голоса пели «Марсельезу», сбиваясь и начиная сначала.

Она сунула руку в карман пальто и нащупала там картонный билетик. Лагерный. «Für die Dame in Weiß».

Для дамы в белом.

Она стояла на крыльце, в своём пальто цвета сливок, и держала в пальцах этот билетик, и думала о том, что сегодня на неё смотрели сотни людей. И ей это нравилось. И о том, что утром все были вместе — медики, эсеры, большевики, пленные, мусульмане, — и махали друг другу через площадь. А к вечеру — Милюков, Проливы, стреляли, убитые.

Двадцатого числа в Томске открылось губернское народное собрание. Через неделю «Сибирская жизнь» написала, что за неделю оно решило мало.

Где-то в Заисточье, рано, не ко времени, закричал петух.

Конец второй главы.



Глава 3. Как надо жить

Его цель — сделаться героем романа.
М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»
«Как надо жить». Лекция-вечер. Начало в 8 ч. веч.
Из газетного объявления, Томск, май 1917

3.1. Ледоход

Томь тронулась в ночь на первое мая.

Лена проснулась от звука, который сначала приняла за пушку. Глухой удар, долгий, раскатистый, — и потом, через минуту, ещё один. Она села в постели. За окном было серо, туманно, раннее утро. Удар повторился — и вслед за ним пошёл другой звук, протяжный, скрежещущий, будто где-то за городом огромный зверь ворочался под землёй и стонал.

Внизу хлопнула дверь. Фёкла кричала кому-то через забор: «Пошла! Пошла, родимая!»

Лена оделась в минуту и выбежала.

На высоком берегу, за Воскресенской горой, над рекой, уже стоял народ. Мальчишки, бабы в платках, мастеровые, гимназисты, солдаты, студенты. Стояли молча и смотрели. Лена протиснулась к краю обрыва.

Томь ломала лёд.

Она видела ледоход каждую весну, всю жизнь, — но никогда не смотрела на него так. Река, бурая, вспухшая, вставала на дыбы. Льдины — серые, грязные, огромные, с вмёрзшими в них брёвнами, щепой, санным следом, с чёрными пятнами от костров, на которых зимой кто-то грелся, — лезли друг на друга, вставали торчком, переворачивались, раскалывались с грохотом, и вода между ними была тёмная, быстрая, страшная. Льдины несли с собой всю зиму: проруби, вешки, сенную труху, чей-то брошенный тулуп, чью-то будку на полозьях — и будка плыла по реке, медленно кружась, и мальчишки на берегу кричали и показывали пальцами.

Студенты стояли рядом с Леной, плечом к плечу. Великопольский — тоже. Он смотрел на неё, а она смотрела на реку.

— Как революция, — сказал кто-то сзади. Восторженно, по-студенчески. — Вот так и Россия. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!

Засмеялись.

Лена не засмеялась. Она смотрела, как льдина величиной с дом налезает на другую, такую же, — и обе встают, и стоят мгновение, будто раздумывают, и с грохотом рушатся вниз, в воду, и вода вскипает белым. И ей казалось, что внутри у неё — тоже что-то такое. Что-то, что было неподвижным всю её жизнь — двадцать зим, — и вот тронулось. Пошло. Ломается. И не остановишь.

Она не знала, что точно так же стояла когда-то над этой самой рекой, на другом, кафтанском берегу, двадцатисемилетняя поселенка в сером платке, и слушала, как идёт лёд, и думала: «Я воскресла». Она этого не знала. Это было в тетради, на вырезанных страницах. А может, и не было.

Через день пришло известие о Барнауле.

Второго мая, днём, при сильном ветре, в Барнауле загорелся дом на окраине, и к вечеру выгорело полгорода. Сорок кварталов. Городская управа, почта, телеграф, телефонная станция, электрическая станция, библиотека, три высших начальных училища, учительская семинария, лазареты, две мельницы, лесопилка. Из семидесяти тысяч жителей — двадцать тысяч без крова. «Сибирская жизнь» печатала рассказ очевидца на целую полосу: как горели деревянные тротуары, как люди бежали к Оби, как баба вытащила из огня самовар и икону, а ребёнка забыла, и вернулась, и не вышла.

Томск собирал помощь.

На Почтамтской, на Соборной, у Гостиного двора, у вокзала встали курсистки и студенты с жестяными кружками, на которых было наклеено: «В пользу погорельцев г. Барнаула». Лена встала тоже — у Гостиного двора, в белом переднике с красным крестом поверх своего пальто цвета сливок. Ей дали кружку и сказали: стой, звени, кланяйся.

Она стояла, звенела, кланялась.

Давали мало. Медь. Иногда — гривенник, пятиалтынный. Купцы проходили мимо, не глядя. Дамы давали полтинник и ждали, что им скажут «благодарим, мадам». Солдаты не давали ничего — подходили, смотрели на Лену, отпускали шуточки и шли дальше. Одна старуха нищенка, сама с протянутой рукой, бросила в кружку грош — последний, видно, — и перекрестилась.

А ещё — ходили слухи.

Их приносили вместе с медяками. Бородатый приказчик, опуская копейку: «Немцы подожгли. Пленные. Их там полно, в Барнауле, при заводах». Чиновник с кокардой: «Черносотенцы. Мстят за царя. Я точно знаю». Рабочий в картузе: «Купцы. Нарочно. Страховку получить. Хлеб у них был на складах — вот и спалили, чтоб цены вздуть». Курсистка рядом, с другой кружкой: «Это провокация. Это старый режим. Чтобы показать, что без царя — хаос».

Барнаул горел у каждого от своего врага. Лена слушала и думала, что если сложить все эти слухи вместе, получится, что Барнаул подожгли все — немцы, черносотенцы, купцы, социалисты, старый режим и новый, — и все одновременно, в один день, при сильном ветре.

К вечеру кружка была почти полна. Медью. Лена подержала её на руке — тяжёлая — и ей стало стыдно за город.

Она достала из кармана муфты бумажку. Двадцать пять рублей. Сложила вчетверо и сунула в прорезь.

Курсистка с соседней кружкой увидела и захлопала. «Браво, Трофимова!» Прохожие оглянулись. Какая-то дама в каракуле одобрительно кивнула. Лене стало тепло — от хлопков, от взглядов, от того, что она сделала хорошее.

Двадцать пять рублей — это было много. Это было почти как месячное жалованье Фёклы. Лена так и подумала.

Сдав кружку в комитет, она пошла не домой, а на Монастырскую.

Портниха — та самая, что обшивала половину профессорских дочерей Томска, мадам Голубкова, вдова, маленькая, кругленькая, с булавками во рту и с сантиметром на шее, — встретила её в прихожей, удивлённая: Трофимова-младшая не заказывала у неё ничего со дня поступления. Лена прошла в мастерскую, где пахло утюгом, мелом и шерстью, и сказала, что ей нужен костюм.

— Какой, барышня? Курсистский? Как прежний?

— Английский, — сказала Лена. — Как у дам на картинках. С жакетом. С юбкой ниже колена, но не до пят. Мужского кроя. С белой блузкой. И галстук.

Мадам Голубкова вынула изо рта булавки.

— Английский — дорого, барышня. Шерсть нынче… английской шерсти и нет. Есть московская, довоенная, серо-голубая. Последний отрез. Но дорого.

— Сколько?

Мадам Голубкова назвала. С работой выходило двести.

Лена кивнула.

— Примерка в четверг, — сказала мадам Голубкова, и голос у неё стал другой. Мягче. Почтительнее. Как у приказчицы у Второва. — Ко мне, барышня, в четверг к двум. Ах, у вас фигура… Под английский — самое оно. Талия. Плечи. Вот увидите.

Двадцать пять рублей — в кружку погорельцам Барнаула, двадцать тысяч из которых остались без крыши.

Двести — мадам Голубковой, на серо-голубой английский костюм.

Лена не делала этой арифметики. Она шла домой по Монастырской, по деревянным мосткам, по которым уже текли весенние ручьи, и думала о том, какой будет галстук. Тёмно-синий? Или в полоску?

Ночью мимо Томска пошли первые плоты.

Лена слышала их с крыльца — она вышла подышать перед сном, в шали, в туфлях на босу ногу. Внизу, под горой, на реке, перекликались сплавщики: «Э-эй! Держи левей! Левей, говорю!» — и голоса летели над водой далеко, гулко. Где-то ещё трещал последний лёд. Пахло талой землёй, дымом и рекой.

Где-то за пять сотен вёрст к югу, в Барнауле, на пепелище, двадцать тысяч человек ночевали под открытым небом. Мороза уже не было. Только сырость.

Лена вернулась в мезонин и уснула сразу, как засыпают в девятнадцать лет: без снов.

3.2. Ундервуд

Машинку она увидела в витрине комиссионного магазина на Магистратской, и в тот же час купила.

«Ундервуд». Пятый номер. Американский, нью-йоркский, — чёрный, тяжёлый, с золотыми буквами на боку, с круглыми клавишами в стальных ободках, с длинной кареткой, которая двигалась с мягким стрекотом и потом звякала колокольчиком в конце строки. Он стоял в витрине среди граммофонов, самоваров, часов и икон в окладах — вещей, которые сдавали в комиссию люди, которым нужно было на что-то жить. Хозяин магазина, кривоногий еврей в ермолке, сказал, что машинку сдал нотариус Гуревич, который уехал в Харбин, — всё бросил и уехал, «такие времена, барышня, такие времена, нотариусы бегут, а машинки остаются».

Нести её домой помогал извозчик. Она была тяжёлая, как маленький гроб.

Отцу Лена сказала: «Для протоколов. Совет старост. Секретарь должна печатать». Отец посмотрел на машинку, сказал: «О! "Ундервуд"! У нас в Совете ни одной нет, всё от руки пишем», — и ушёл в Совет писать от руки.

Печатать Лена не умела. Она тыкала в клавиши одним пальцем, глядя на буквы, и машинка стрекотала, и каретка ползла, и колокольчик звякал, — и на бумаге выходило криво, с пропусками, с опечатками. Ей не понравилось. Она не любила делать плохо то, что можно сделать хорошо.

Поэтому она пошла на курсы.

Курсы стенографии и машинописи при Коммерческом училище открылись весной: новые комитеты, советы, съезды, собрания — всё это требовало протоколов, и в Томске вдруг оказалось, что стенографисток в городе три на сто тысяч жителей. Курсы были вечерние, платные, и на них ходили барышни из конторы Второва, две учительницы, жена инженера, гимназистка старшего класса и пожилой чиновник из казённой палаты, которого послало начальство.

Вела курсы Анна Григорьевна.

Ей было за семьдесят. Маленькая, сухая, прямая, в чёрном шерстяном платье с белым кружевным воротничком, в чёрной наколке, с лицом, похожим на старинную гравюру. Она была когда-то очень хороша — это было видно и теперь, по глазам, по линии лба. Она говорила тихо и чётко, по-петербургски, и стенографировала с такой скоростью, что карандаш у неё в руке казался живым.

На первом же уроке она сказала:

— Стенография, господа, — это не ремесло. Это служение. Вы будете записывать за другими людьми. Иногда — за великими людьми. Вы будете их руками. Их памятью. Вы будете знать то, что они сказали, раньше, чем это узнает мир. — Она помолчала. — Я в молодости записывала под диктовку одного великого писателя. Роман. За двадцать шесть дней. Потом я вышла за него замуж.

Барышни из конторы Второва переглянулись. Чиновник из казённой палаты кашлянул.

— А кто? — спросила гимназистка.

Анна Григорьевна посмотрела на неё — долго, спокойно.

— Это неважно, милая, — сказала она. — Он умер. Давно. Давайте лучше займёмся системой Габельсбергера.

После урока, в коридоре, барышни шептались. «Это она про Достоевского». — «Не может быть. Вдова Достоевского — в Крыму, в Ялте, я читала». — «Ну, значит, сумасшедшая». — «А может, не Достоевский. Может, Боборыкин. Мало ли кто романы диктовал». — «Боборыкин не умер. Боборыкину восемьдесят лет, он в Швейцарии».

Лена не участвовала в шёпоте. Она смотрела на Анну Григорьевну, которая медленно, по-старушечьи, надевала в прихожей салоп, — и думала, что это всё равно. Правда это или нет. Достоевский или Боборыкин или никто. Есть женщина, у которой в жизни было что-то великое — или она верит, что было. И она это носит. Как мама носила венчик.

Через три недели Лена печатала вслепую, всеми десятью пальцами, шестьдесят слов в минуту.

А по вечерам, в семь часов, она читала газеты неграмотным.

Это придумал союз «Свободный труд» — одно из сотни новых обществ, родившихся в марте, как грибы после дождя. В Доме науки, который выстроил когда-то старый Макушин, отвели зал. Каждый вечер, в семь, туда приходили люди, которые не умели читать, — а таких в Томске было больше, чем умеющих, — и чтецы-добровольцы читали им газеты. «Сибирскую жизнь». «Путь народа». «Известия Совета». Петроградские, если доходили.

Лена записалась в чтицы в начале мая. Ей дали вторник и пятницу.

В первый вторник она вошла в зал с газетами под мышкой — в старом курсистском платье, гладко причёсанная, строгая — и остановилась в дверях.

Зал был полон. Скамьи, стулья, подоконники, пол в проходе. Солдаты — больше всего солдат: серые шинели, гимнастёрки, бритые затылки, папахи на коленях. Бабы в платках — переселенки, прачки, торговки с базара. Старики. Несколько подростков. Пахло махоркой, портянками, мокрой овчиной и луком.

Сто человек. Может, больше.

Все обернулись к ней.

Лена села за стол у окна, развернула газету и начала читать. О том, что пятого мая образовано коалиционное Временное правительство. Что в правительство вошли социалисты — эсеры и меньшевики. Что Керенский стал военным и морским министром. Что Чернов — министр земледелия. Что Церетели…

Она читала и чувствовала, что её не слушают.

То есть слушают — но не газету. Её. Она подняла глаза на минуту, на абзаце, — и увидела. Солдаты в первых рядах смотрели на неё. Не на газету. На неё. На её губы, которые произносили незнакомые им фамилии. На шею над воротничком. На руки, переворачивающие страницу. Смотрели внимательно, тяжело, с тем откровенным, неторопливым, почти научным интересом, с каким, наверное, смотрят на породистую лошадь на ярмарке.

Один, пожилой, усатый, рыжий, сказал вслух, на весь зал, добродушно:

— Ишь, гладкая. Читай, барышня, читай. Мы послушаем. Нам что Керенский, что Чернов — всё одно. А тебя послушать приятно.

Засмеялись.

Лена покраснела. Кровь бросилась в лицо, в шею, в уши. Она опустила глаза в газету — и почувствовала, как сто пар глаз видят, что она покраснела, и смеются.

Она могла встать и уйти. Она могла бросить газеты и выбежать.

Она продолжила читать.

Но — по-другому. Она сама не заметила, как это вышло. Она подняла голову. Выпрямилась. Стала читать медленнее. Громче. Делать паузы — там, где их не было в газете, — и в этих паузах поднимать глаза и смотреть на зал. На солдат. Прямо. Сначала на одного, потом

на другого. Задерживать взгляд на секунду. Потом — снова в газету. И голос её, она слышала, стал другой: ниже, глубже, с какой-то хрипотцой, которой у неё не было.

И зал замолчал. Совсем. Солдаты перестали шептаться. Рыжий усатый перестал ухмыляться. Они слушали. Не газету — её, но слушали. Ловили каждое слово. Ждали каждой паузы.

Она управляла ими. Ста людьми. Голосом. Паузой. Взглядом поверх газеты.

Это было — как держать крючки на операции. Как держать скальпель. Власть. Тонкая, точная, ощутимая кончиками пальцев.

В конце, когда газеты были прочитаны, она — сама не зная зачем — достала из кармана листок. Вырезку. Из петроградской газеты, пришедшей с опозданием в три недели. Стихи. Отец принёс, сказал: «Кузмин. Декадент. А вот — написал». Лена читала их дома дважды и плакала, сама не понимая почему.

— Это стихи, — сказала она залу. — Про революцию. Про Петроград. Волынский полк — это полк, который первым перешёл на сторону народа. В феврале. Солдаты. Как вы.

Солдаты смотрели на неё.

Она стала читать.

Отчего травяная, древесная
Весна не летит на землю?
Отчего на зовы небесные
Земля не вздыхает: «Внемлю»?
Отчего из золотых шкатулок
Не пускают мартовских пичуг?
Засмотрелся Господь на Виленский переулок,
Заслушался Волынских труб.

Голос у неё дрогнул. Она не остановилась.

Ведь они ничего не знали,
Радуясь круглыми горлами:
Расстреляют ли их в самом начале
Или другие пойдут за ними святыми ордами.
Не знали, что ручьи-мятежники
Уже бегут бурливо и хлёстко
И алые, алые подснежники
Расцветают на всех перекрёстках.

В зале было так тихо, что слышно было, как гудит муха на стекле.

Любуйтесь, хотите ли, не хотите ли!
Принимайте, ждали или не ждали!
Ничего, что небесные распорядители
С календарной весной опоздали.

Она замолчала.

Секунду было тихо. Потом рыжий усатый солдат в первом ряду — тот самый, что смеялся, — вдруг шмыгнул носом. Громко. И вытер глаза рукавом шинели. И сказал хрипло, ни на кого не глядя:

— Хорошо. Ах, хорошо, барышня. Подснежники. Ах ты Господи.

И зал захлопал. Солдаты, бабы, старики. Хлопали долго, неумело, гулко, как хлопают люди, которые никогда в жизни не были в театре.

Лена сидела за столом с вырезкой в руке и не знала, куда деть глаза.

Дома, при лампе, она села за «Ундервуд». Она ещё не умела печатать вслепую — это было в начале мая. Она нашла клавиши одним пальцем, медленно, буква за буквой. Напечатала одну строку. Посмотрела на неё. Вынула лист из каретки, сложила и спрятала в нишу за медведями. К золоту.

Что это была за строка — она никому не сказала.

3.3. Как надо жить

Тринадцатого мая университет открылся.

Совет старост и совет профессоров нашли компромисс — как находят его люди, которые устали воевать и боятся, что война им дороже обойдётся, чем мир. Минимумы на медицинском факультете не отменили. Их перенесли. На десятое сентября. А два предмета первого курса — на десятое декабря. Никто не победил. Никто не проиграл. Студенты кричали, что победили они. Профессора молчали, считая, что победили они.

Профессор Усов, геолог, напечатал в «Сибирской жизни» длинную, обстоятельную статью о порядках в университетах Соединённых Штатов, Франции, Англии, Австро-Венгрии и Германии, из которой следовало, что экзаменационные минимумы существуют во всех свободных странах мира, и чем страна свободнее, тем минимумы строже. Студенты тут же прозвали его «американцем». Отец читал статью вслух за утренним чаем, с удовольствием, с выражением, — и на середине остановился, и посмотрел на Лену поверх газеты, и ничего не сказал.

А потом молча подвинул к ней сахарницу.

Сахар был по карточкам, и сахарницу в доме стерегла Фёкла, как дракон. Отец подвинул её к Лене — сам, через весь стол, — и Лена взяла кусок. Тоже молча.

На этом мир был заключён. Без аннексий и контрибуций.

Шестнадцатого мая, в восемь вечера, в зале Общественного собрания был вечер-лекция.

Афиши висели по всему городу с начала недели: «КАК НАДО ЖИТЬ. Лекция-вечер русского йога Владимира ГОЛЬЦШМИДТА. Участвует футуристка-босоножка Елена БУЧИНСКАЯ. Тело. Солнце. Свобода. Начало в 8 ч. веч.»

Отец увидел афишу на заборе у университета и остановился перед ней, как вкопанный.

— Леночка, — сказал он. — Идём. Обязательно идём. Я хочу это видеть. Я двадцать лет читаю студентам про белковый обмен, а тут, видишь ли, — «как надо жить». Идём. Я должен знать, как надо жить. Мне никто никогда не говорил.

Зал Общественного собрания был набит.

Курсистки. Купчихи в шёлке. Чиновники с жёнами. Студенты — свистящие, хохочущие, на галёрке. Солдаты — в задних рядах, с семечками. Офицеры. Какие-то дамы в вуалях, явно пришедшие посмотреть на босоножку. Какие-то юноши с длинными волосами и в бархатных блузах — местные футуристы, которых в Томске было трое, и все трое сидели в первом ряду.

Отец и Лена сидели в седьмом.

Сначала вышел йог.

Он был молодой — лет двадцати шести, — огромный, широкоплечий, бородатый, с длинными светлыми волосами, распущенными по плечам, в белой холщовой рубахе до колен, босой. Красивый — той дикой, звериной, языческой красотой, от которой дамы в вуалях зашептались. На лбу у него была нарисована синяя звезда. Он вышел на сцену, встал в центре, раскинул руки — и молчал минуту. Зал притих.

— Граждане! — сказал он наконец. Голос у него был громовой, басовитый, с раскатами. — Граждане свободной России! Вы сбросили царя. Хорошо. А теперь — сбросьте одежду!

Галёрка взвыла от восторга. Дамы в вуалях ахнули. Отец рядом с Леной издал звук, похожий на кашель.

Йог говорил час.

Он говорил о солнце. О том, что человек может питаться солнечной энергией, как растение, если научится правильно дышать и откроет тело солнечным лучам. О том, что одежда — это тюрьма для тела, такая же, как царизм — тюрьма для народа. О том, что мясо — это трупы, а трупоедство — это рабство. О том, что он, Владимир Гольцшмидт, шесть лет не ел мяса, не носил обуви, спал на голой земле и потому может согнуть пальцами подкову, — и он согнул подкову, тут же, на сцене, и зал заревел. О том, что новый человек новой России будет

жить на солнце, без одежды, без мяса, без денег, без собственности, — свободный, как зверь, как бог, как дерево.

— Вот как надо жить! — гремел он, раскинув руки. — Вот! Как надо! Жить!

В антракте отец не выдержал.

Буфет был набит. Пили чай — вина не было, сухой закон, — ели бутерброды с килькой. Отец пробился к стойке, взял стакан чаю, повернулся к залу и сказал — громко, звонко, тем лекторским голосом, которым читал белковый обмен первокурсникам:

— Господа! Позвольте! Солнечная энергия, господа, усваивается живыми организмами только через хлорофилл. Через пигмент. Зелёный. В клетках растений. У этого господина, — он махнул стаканом в сторону сцены, — у этого господина хлорофилла нет! Я ручаюсь! Я профессор физиологической химии! У него нет хлорофилла, господа! Он не зелёный! А значит, он питается чем-то другим. И я даже догадываюсь, чем! — Он отхлебнул чаю. — Жизнь, господа, есть способ существования белковых тел! Белковых! Не солнечных! Это Энгельс сказал, а Энгельс…

Половина буфета захлопала. Половина засвистела. Кто-то крикнул: «Материалист!» — «Буржуй!» — «Профессор, а сами вы что едите?» Купчиха в шёлке сказала громко: «Безобразие», — и не уточнила, что именно. Студенты с галёрки, спустившиеся за чаем, подхватили отца и чуть не подняли на руки.

Лена стояла у стены и смеялась.

Она смеялась, глядя на отца, — сутулого, красного, в очках, с чаем в руке, кричащего на весь буфет про хлорофилл, — и ей было за него неловко, и смешно, и она его любила.

— Ваш отец? — спросили рядом.

Лена обернулась.

Перед ней стоял офицер.

Молодой — года двадцать три, двадцать четыре. Невысокий, но стройный, перетянутый ремнями, в новенькой гимнастёрке. Шинель — внакидку, на плечах, как плащ, рукава пустые. Левая рука — на чёрной перевязи. На груди — Георгиевский крест. Прапорщик. Лицо — смуглое, тонкое, с маленькими чёрными усиками, с тёмными глазами, которые смотрели на неё внимательно, чуть насмешливо, чуть грустно, — так, как, наверное, смотрят в романах герои, пережившие что-то страшное.

— Мой, — сказала Лена.

— Вот это — мужской ум, — сказал прапорщик. — Хлорофилл! Я бы не додумался. Я бы просто дал этому шарлатану в морду. А он — хлорофиллом. — Он щёлкнул каблуками. Шинель на плечах качнулась. — Прапорщик Грушницкий, мадемуазель. Тридцать девятый Сибирский стрелковый. Ранен под Барановичами. Временно — в тылу. К несчастью.

— Грушницкий? — Лена чуть подняла брови. — Как у Лермонтова?

Прапорщик улыбнулся. Улыбка была красивая, белозубая, и немного горькая — он, видно, её отрепетировал.

— Все так говорят, — сказал он. — Все. С гимназии. «Грушницкий! Ха! А где же Печорин?» — Он вздохнул. — Печорина, мадемуазель, я до сих пор не встретил. А жаль. Может быть, он объяснил бы мне, зачем мы все живём. Я пришёл сюда, видите ли, чтобы узнать. — Он кивнул на сцену. — Как надо жить. И вижу — никто не знает. Только этот, с подковой. Но у него, как справедливо заметил ваш батюшка, нет хлорофилла.

Лена засмеялась.

— Я пришёл, — продолжил Грушницкий, понизив голос, — чтобы увидеть, до какой пошлости дошёл тыл. Пока мы там… — он чуть шевельнул раненой рукой на перевязи, — пока мы там, в окопах… здесь — йоги. Босоножки. Подковы. — Он помолчал. — Впрочем, кажется, я ошибся. Не всё в тылу — пошлость.

И посмотрел на неё. Долго. Так, как смотрят на картину, которую хотят купить.

Лена почувствовала, как у неё горят щёки, — и не опустила глаза.

После антракта вышла босоножка.

Елена Бучинская. Дочь, говорили, известной петербургской юмористки, племянница, говорили, известной поэтессы, — в общем, из Петербурга, из богемы, — бог знает каким ветром её занесло в Томск весной семнадцатого года. Лет двадцать пять. Худая, гибкая, с короткими, по-мальчишески остриженными чёрными волосами, с подведёнными глазами. Босая. В хитоне — белом, коротком, до колен, на одном плече, — и такой прозрачный, что, когда она встала против рампы, зал перестал дышать.

Тапёр заиграл Скрябина. Пятую сонату.

Она танцевала.

Лена смотрела. Сначала — так, как смотрела бы в анатомичке. Икроножные мышцы — сильные, рельефные, напрягаются на носках. Свод стопы — высокий, хорошо развитый. Коленный сустав — подвижный, связки эластичные. Лопатки — сходятся, когда она вскидывает руки, и между ними ложится тень. Позвоночник — гибкий, как хлыст. Тело было хорошо устроено. Тело было разумно. Тело было красиво — в том смысле, в каком красив хороший анатомический препарат.

А потом Лена посмотрела на зал.

На мужчин. На первый ряд, где сидели футуристы с открытыми ртами. На офицеров. На купца в третьем ряду, который снял пенсне и тёр его платком, не отрывая глаз от сцены. На солдат в задних рядах, которые перестали лузгать семечки. На Грушницкого — он стоял у стены, в своей шинели внакидку, и смотрел на сцену, и лицо у него было не грустное и не насмешливое, а голодное.

Они все смотрели на неё. На босоножку. На тело под прозрачным хитоном.

И Лена вдруг — сама не зная как — примерила это на себя.

Если бы это была она. Там, на сцене, против рампы, в прозрачном белом. И все бы смотрели. Сто человек. Двести. Футуристы, купцы, солдаты. Отец. Грушницкий.

Её бросило в жар. Мгновенно. От шеи до колен. Она вцепилась пальцами в подлокотник кресла, так что побелели костяшки. Сердце застучало. Она не стала считать пульс. Она знала, сколько.

Рядом отец сказал вполголоса, задумчиво:

— Удивительная координация мышечных групп. Мозжечок у неё, должно быть, развит исключительно. Леночка, ты обрати внимание, как она держит равновесие на одной ноге — это же чистая проприоцепция.

— Да, папа, — сказала Лена. — Проприоцепция.

Голос у неё был хриплый.

Отец не заметил.

На улице была белая майская ночь — не совсем белая, сибирская, но светлая, сиреневая, с зелёной полосой заката над бором за Томью, которая не гасла до полуночи. Пахло черёмухой: она зацвела вчера, сразу, вся, на всех улицах, — и запах был такой густой, сладкий и горький, что кружилась голова.

Грушницкий вышел из зала вслед за ними. Догнал на ступенях.

— Профессор, — сказал он, — позвольте вас проводить. Ночь. Время неспокойное. Уголовные. Амнистированные. Я при оружии.

— Благодарю, прапорщик! — сказал отец, сияя. — Очень любезно! А скажите, вы не находите, что этот господин с подковой противоречит второму закону термодинамики? Ведь если человек, как он утверждает, получает энергию только от солнца, но при этом гнёт подковы, то есть совершает работу, превышающую…

И всю дорогу, через Почтамтскую, через Воскресенскую гору, до самого дома, отец доказывал Грушницкому, что йоги противоречат второму закону термодинамики, и что энтропия, и

что КПД фотосинтеза у растений не превышает одного-двух процентов, а значит, чтобы получить энергию на подкову, этот господин должен был бы иметь поверхность тела, как у гектара пшеницы, — и Грушницкий кивал, и говорил «совершенно справедливо, профессор», и «удивительно, профессор», — и смотрел на Лену.

Лена шла молча. Между ними. Пахло черёмухой.

У калитки отец пожал прапорщику здоровую руку и пошёл в дом, бормоча что-то про энтропию.

Грушницкий остался у калитки. С Леной.

— Мадемуазель Трофимова, — сказал он тихо. — Мне было… это было лучшее, что случилось со мной в тылу.

Он взял её руку — в перчатке, в белой лайковой перчатке, — поднёс к губам. Поцеловал. Над краем перчатки, в запястье, туда, где бьётся пульс.

И задержал. На секунду дольше, чем прилично. На две.

Лена не отняла руки.

Потом он отпустил, щёлкнул каблуками, повернулся — шинель качнулась на плечах, как плащ, — и ушёл по тёмной улице, не оборачиваясь. Красиво. Как в романе.

Лена стояла у калитки и чувствовала его губы на запястье. Сквозь перчатку — нет, над перчаткой. На голой коже. Там до сих пор было тепло.

Отец в доме, она слышала, громко рассказывал Фёкле про второй закон термодинамики.

3.4. Батальон смерти

Старуху привезли в клинику двадцатого мая.

Её звали Агафья Тимофеевна, ей было шестьдесят восемь лет, и она торговала семечками у Гостиного двора. В тот день она шла с внучкой — пятилетней, белобрысой, в розовом платочке — по Почтамтской, по деревянному тротуару. Навстречу шли солдаты. Пятеро. С гармошкой. Пьяные — где взяли, неизвестно, при сухом законе. Тротуар был узкий. Солдаты не посторонились. Шли посередине, плечом к плечу, горланя. Старуха прижала внучку к себе и попыталась пройти краем. Один из солдат — тот, что с гармошкой — толкнул её плечом. Не сильно. Просто — не уступив. Как толкают в толпе. Старуха упала с тротуара — с высоты в аршин, на мостовую, на камни, — и ударилась головой. Внучка упала на неё сверху и заплакала. Солдаты пошли дальше, не обернувшись. Гармошка играла «Марсельезу».

Об этом потом писала «Сибирская жизнь». Редактор Адрианов — в статье «К вопросу о дисциплине». Что солдаты гарнизона отбивают работу у грузчиков на пристани и требуют за неё вдвое. Что часовой у полкового денежного ящика был пойман спящим. Что в тридцать девятом Сибирском полку солдаты избили своего же за кражу сапог, и второго вора милиция едва отбила. Что разложение дошло и до тыла. И что вот — старуха. С внучкой. На Почтамтской.

Старуха умерла через четыре дня. Субдуральная гематома. Её трепанировали — бесполезно.

Лена дежурила при ней последнюю ночь.

Она сидела у койки в палате нервных болезней, на табурете, и смотрела, как старуха дышит. Чейн-Стокс. Сначала — частые, глубокие вдохи, нарастающие, громкие, хриплые; потом — всё тише, тише, реже; потом — пауза. Долгая. Десять секунд. Двадцать. Лена считала. И снова — вдох. Частый. Нарастающий. Это значило, что дыхательный центр уже не справляется. Это значило — конец. Скоро.

В коридоре, на стуле, у двери палаты, спала внучка. Её не с кем было оставить: мать умерла в пятнадцатом году, от тифа, а отец был на фронте, в Галиции, и неизвестно, жив ли. Внучка спала, свернувшись калачиком, в своём розовом платочке, подложив ладошку под щёку, — и Лена, выходя за водой, укрыла её своей кофтой.

В четыре утра старуха перестала дышать. После паузы — вдох не пришёл.

Лена подождала. Потом взяла её за запястье. Пульса не было. Потом закрыла ей глаза — ладонью, сверху вниз. И сидела ещё долго, не зная, что делать дальше.

Внучка проснулась, когда санитары выносили носилки. Села на стуле, сонная, растрёпанная, и посмотрела на Лену.

— Бабушка спит? — спросила она.

Лена присела перед ней на корточки.

— Бабушка… — сказала она. И не знала, что сказать дальше. — Бабушка вернётся.

Она сказала это — и вздрогнула. Потому что это были не её слова. Это были отцовские слова. Те, что он говорил ей, двухлетней, когда мама уехала. «Мама вернётся». Каждое утро. Год. Два. Пять. Пока она не перестала спрашивать.

Внучка кивнула и снова закрыла глаза.

В тот же день пришли газеты из Петрограда.

В Петрограде, писали газеты, формируется женский батальон смерти. Добровольцы. Женщины, которые пойдут на фронт — в окопы, в штыковую, — чтобы пристыдить мужчин, бегущих с позиций, и поднять дух армии. Формирует батальон Мария Бочкарёва, георгиевский кавалер, старший унтер-офицер, трижды раненая. Керенский принял её. Генерал Брусилов благословил. Записалось уже две тысячи женщин: курсистки, дворянки, работницы, крестьянки, вдовы офицеров. Стриженые наголо. В гимнастёрках. С винтовками.

Томск взорвался.

Потому что Бочкарёва была своя. Томская.

Это знали все. Её знали в лицо на Болоте и в Заисточье — Маньку Бочкарёву, Фролкову по отцу, из-под Томска, из переселенцев. Девчонкой — в прислугах. Потом — замужем за пьяницей, который её бил. Потом — с каким-то Яшей, мясником, которого сослали за разбой в Якутск, и она пошла за ним, пешком, по этапу. Потом — вернулась. А в четырнадцатом году, когда началась война, пришла к командиру двадцать пятого запасного батальона, здесь, в Томске, на Солдатской улице, и попросилась на фронт. Солдатом. Командир смеялся. Сказал — иди к царю проси. И она — на последние рубли — отбила телеграмму на высочайшее имя. И ей разрешили. Высочайше. И она ушла с маршевой ротой, и её рота смеялась над ней, а через месяц уже не смеялась.

— Наша Манька! — говорил извозчик, который вёз Лену из клиники. Он оборачивался на козлах, чуть не падая. — Я ж её знал! Вот как вас! Она ж на Болоте в прачках была! Бельё стирала у Кошеваровых! А теперь — генеральша! Ха! С Керенским ручкается! Вот она, свобода-то!

Фёкла, когда Лена рассказала ей за обедом, перекрестилась трижды.

— Срамота, — сказала она. — Баба — с ружьём. Стриженая. В портках. Господи помилуй. Последние времена.

Вечером у них ужинала Марья Павловна.

Она пришла прощаться: через три дня уезжала в Москву, на третий съезд партии социалистов-революционеров. Делегатом от Томской губернии. Она была спокойная, торжественная, помолодевшая — будто ехала не на съезд, а на свадьбу. В Москве, говорила она, будут все. Чернов, Гоц, Авксентьев. Бабушка. Спиридонова, может быть. Все, с кем она сидела, с кем шла по этапу, с кем голодала. Все, кто выжил.

Про Бочкарёву заговорил отец.

— Это бойня, — сказал он, отодвигая тарелку. — Простите меня, Марья Павловна, но это — бойня. Женщин гонят затыкать дыры, которые оставили дезертиры. Армия бежит. Армия не хочет воевать. Армия — это крестьяне в шинелях, которые хотят домой, к земле. А Керенский, вместо того чтобы дать им землю и мир, делает из баб пушечное мясо, — чтобы пристыдить мужиков. Чтобы мужикам стало стыдно, и они пошли умирать. Это не героизм. Это — циничная пропаганда.

Марья Павловна выпрямилась на стуле.

— Это — святое, Пётр Сергеевич, — сказала она тихо. Голос у неё был ровный, сухой, но щёки горели. — Это — святое. Женщина, которая идёт умирать за свободу. Добровольно. Не за царя — за свободу. За Россию. Вы, марксисты, видите во всём только классы и экономику. А есть ещё — дух. Перовская шла умирать — это тоже была пропаганда? Засулич стреляла — тоже пропаганда? Катерина Михайловна…

Она запнулась.

Отец смотрел на неё.

— Катя, — сказал он медленно, — Катя никогда не шла умирать «за Россию». Никогда. Она шла… — Он замолчал.

— Куда? — спросила Лена. — Куда она шла, папа?

Отец посмотрел на неё. Долго. Как смотрел, когда она кричала в кухне.

— Судить, — сказал он наконец. — Она шла судить. Это другое.

И больше не сказал ничего.

Лена молчала весь вечер. Она думала о Бочкарёвой. О прачке с Болота, которая стирала бельё у Кошеваровых, а теперь ручкается с Керенским. О стриженых курсистках в гимнастёрках. О винтовках.

Она пошла убивать, думала Лена. А я — лечить. Это правильно? Или я просто трушу? Я держу крючки, пока Мыш шьёт печень. Я закрываю глаза старухам. А они — стоят в окопах. Под пулями. Стриженые.

Ночью, в мезонине, она распустила волосы.

Они упали тяжёлой тёмной волной до лопаток. Она собрала их одной рукой на затылке — высоко, туго, — и прижала ладонью к голове. Так, будто их уже нет. Будто они острижены. Наголо, как у батальонных. И посмотрела в зеркало.

Из зеркала смотрел кто-то незнакомый. Голая шея. Голые уши. Голова — маленькая, круглая, мальчишеская. Глаза — огромные, тёмные, слишком большие для этого лица. Солдат. Мальчик. Бочкарёва.

Она смотрела долго. Потом отпустила руку.

Волосы упали. Тяжело, мягко, по плечам, по спине, по сорочке. Закрыли шею. Закрыли уши. И из зеркала снова смотрела она — Лена, тёмная, с длинной шеей, с плечами, которые она открыла для себя в марте.

Нет, подумала она. Не так.

Её путь был другой. Она не знала — какой. Но — другой.

3.5. Басандайка

В последнее воскресенье мая открылись дачные рейсы на Басандайку.

Басандайка была в двенадцати верстах вверх по Томи, на правом высоком берегу: сосновый бор, обрыв над рекой, родники, дачи профессоров и купцов. Туда ходили на катерах — маленьких, белых, с одной трубой, — по воскресеньям, с утра, и возвращались к вечеру. Весь Томск, кто мог, в первое тёплое воскресенье ехал на Басандайку: на траву, на солнце, к воде.

Компания собралась студенческая. Великопольский — он всё устроил, достал билеты, собрал корзины. Шульц, сын аптекаря, с аптечкой на всякий случай. Две курсистки с Высших женских — Зина и Муся, подруги, неразлучные, одна полная и смешливая, другая тонкая и восторженная. Студент-юрист Корнилов, с гитарой. И Лена.

И — Грушницкий.

Его пригласила Лена. Сама. Встретила в пятницу на Почтамтской, у Второва, — он шёл ей навстречу в своей шинели внакидку, с рукой на перевязи, и остановился, и щёлкнул каблуками, и сказал «мадемуазель Трофимова, какая встреча», — и она, неожиданно для себя, сказала: «В воскресенье мы едем на Басандайку. Компанией. Хотите?» Он хотел. Конечно, хотел.

Она не знала, зачем его позвала. Она думала об этом в субботу весь вечер — и не знала. Чтобы позлить Великопольского? Чтобы посмотреть, как они будут рядом? Чтобы — что?

Утром она надела матроску.

Купила её в среду у Второва — белую, с синим отложным воротником, с тремя белыми полосками по краю, с синим галстуком-бантом на груди. И юбку — белую, полотняную, лёгкую, ниже колена. И соломенную шляпу — широкополую, с синей лентой, которая завязывалась под подбородком и развевалась сзади на ветру. И белые парусиновые туфли. И — под всё это — шёлк. Розовый, пасхальный.

Великопольский, увидев её на пристани, остановился и забыл, что хотел сказать.

А потом увидел Грушницкого — и лицо у него стало другое. Будто его ударили.

Катер назывался «Сибиряк». Он был перегружен вдвое: на палубе, рассчитанной на пятьдесят человек, стояло сто. Бабы с корзинами, студенты с гитарами, гимназисты, купеческие семьи с самоварами, солдаты, дачники с рассадой в ящиках. Капитан — толстый, рыжий, с бородой — кричал с мостика, что больше не возьмёт, и брал. Катер осел в воду почти до палубы.

Пошли вверх по Томи. Медленно, против течения, пыхтя.

Река была широкая, высокая, мутная, полная. Берега — зелёные, первой травой; по ним — тальник в серёжках, черёмуха в цвету, белые берёзы. Дальше, на высоком правом берегу, — тёмный бор. Небо — синее, огромное, без облака. Солнце. Ветер.

Грушницкий стоял на носу.

Он встал туда сразу, как отчалили, — один, лицом к ветру, в своей шинели внакидку, которая трепалась за спиной, как крылья, — и стоял, глядя вдаль, на изгиб реки, на бор, и профиль его был твёрдый и печальный. Как Байрон, подумала Лена. Как Чайльд-Гарольд. Она видела такую картинку в детской книжке.

Потом он обернулся и позвал её. Рукой.

Она пошла. Сквозь толпу, к носу. Встала рядом. Ветер рвал с неё шляпу, и она держала её рукой.

Он рассказывал о фронте.

О Барановичах. О газовой атаке — как они лежали в окопе в противогазах, и как зелёный туман полз по полю, и как кричали те, у кого противогазов не было. О штыковой. О том, как его ранило — в руку, осколком, — и как он лежал в воронке сутки, и рядом лежал мёртвый немец, и смотрел на него. О Георгии — как ему вручал генерал, перед строем, и он плакал.

Лена слушала. И видела — по тому, как он рассказывал, по паузам, по тому, как смотрел на неё, проверяя впечатление, — что половину он выдумал. Может быть, больше половины. Немец, который смотрел. Генерал, который вручал. Слёзы. Это было слишком красиво. Слишком похоже на роман.

Она видела это. И всё равно ей нравилось.

Нравилось стоять с ним на носу катера, на ветру, и чтобы все видели. Великопольский — видел. Он сидел на корме, на бухте каната, и смотрел на них. Зина и Муся — видели и шептались. Солдаты на палубе — видели и ухмылялись. Ей нравилось, что видят.

Капитан, как и боялись, пропустил пристань на Басандайке.

Он просто не стал приставать — «осадка, граждане, осадка, не подойду, сядем на мель», — и прошёл дальше, до следующей, и там высадил всех, и уплыл. Пришлось полторы версты идти назад пешком, по берегу, по песку и тальнику, с корзинами. Бабы ругались. Купец с самоваром грозился жаловаться в газету. Студенты смеялись.

Корзину Лены нёс Грушницкий. Здоровой рукой. Больная — на перевязи. Лена шла рядом и смотрела, как он легко, без усилия, несёт тяжёлую корзину, и подумала: а рука-то, видно, давно зажила. Перевязь — для красоты.

Она ничего не сказала. Ей это — нравилось тоже.

Расположились на обрыве, в бору, над рекой.

Сосны — высокие, медные, прямые, как колонны. Под ногами — мягкий сухой мох, хвоя, прошлогодние шишки. Первая трава на прогалинах — ярко-зелёная, нежная. И цветы. Медуница — синяя, лиловая, розовая, на одном стебле, — Лена знала, что она меняет цвет, отцветая. Сон-трава — прострел — мохнатый, сиреневый, уже отцветающий, с распушившимися хвостами семян. Лена сорвала несколько — для гербария. Для мамы.

Развели костёр. Шульц резал хлеб и колбасу — колбасу! откуда? — Корнилов играл на гитаре, Зина и Муся пели «Белой акации гроздья душистые» и «Не искушай меня без нужды». Великопольский сидел у огня и молчал. Потом достал из кармана книжку и стал читать вслух, никому, в огонь:

О, весна без конца и без краю — Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!

Блок. Лена слушала и думала: он читает это мне. И не смотрит. Нарочно.

Она встала.

— Прапорщик, — сказала она. — Вы обещали показать вид.

Он не обещал. Но он встал сразу.

Они пошли в бор. Вдоль обрыва, по тропинке, между сосен. Костёр, голоса, гитара — остались позади, всё тише, тише, пока не стали совсем не слышны. Стало тихо. Только ветер в верхушках сосен — далёкий, ровный шум, как море. Только кукушка где-то. Только их шаги по мху.

На краю обрыва лежала сосна. Старая, поваленная бурей, с вывороченным корнем — огромным, в рост человека, в земле и камнях. Ствол лежал над обрывом, и с него было видно всю реку — внизу, далеко, широкую, сверкающую, с белым катером на ней, крошечным, как игрушка. И заречье — луга, леса, синюю даль до горизонта.

Лена встала у сосны. Положила руку на ствол — тёплый, шершавый, пахнущий смолой.

— Красиво, — сказала она.

Грушницкий не ответил. Он стоял сзади. Близко. Она чувствовала его дыхание на шее, под шляпой.

Потом он взял её за плечи. Повернул к себе.

И поцеловал.

Не спросив. Не помедлив. Не так, как Великопольский — вопросом, неловко, с паузой у самых губ. Сразу. По-офицерски. Как берут крепость. Его губы были твёрдые, горячие, жадные. Его усы кололись. От него пахло табаком, одеколоном и чем-то ещё — мужским, тёплым, звериным.

Лена замерла. На секунду.

А потом — ответила.

Она не решала этого. Это случилось само. Её губы раскрылись. Её руки, которые сначала упёрлись ему в грудь, — разжались и легли ему на плечи. На шинель. Шинель соскользнула с его плеч и упала в мох. Под ней была гимнастёрка, тёплая, и под гимнастёркой — твёрдое, мускулистое плечо.

Шляпа слетела с её головы и повисла на ленте за спиной.

Он целовал её. Губы. Уголок рта. Подбородок. Потом — шею. Под ухом. Там, где бьётся пульс. Она запрокинула голову — сама, не думая, — открывая ему горло. Его губы шли вниз по шее, к ключице, к синему воротнику матроски. Его усы щекотали кожу, и от этой щекотки по всему телу, от затылка до пяток, побежали мурашки.

Его рука — та, что была на перевязи, вдруг оказалась вовсе не больной — легла ей на талию. Потом на спину. Потом скользнула вниз, под матроску, под край белой полотняной блузы — к коже. К голой коже. На пояснице. Тёплая, сильная, шершавая ладонь. И медленно пошла вверх. По позвоночнику. Позвонок за позвонком. До лопаток. До застёжки.

Лена задохнулась.

Внутри неё было то же, что на Пасху, у церковного костра, — но сильнее. Во сто раз. Тяжёлый жар внизу живота, разливающийся вниз, в бёдра, и вверх, в грудь. Колени — ватные; если бы он отпустил её, она бы упала. Дыхание — частое, рваное, через рот. Кожа под его ладонью горела. Грудь под шёлком — налилась, отяжелела, и соски стали твёрдыми, и она чувствовала их под розовым шёлком, под полотном, — и знала, что если он…

Он знал тоже.

Его другая рука — здоровая — легла ей на грудь. Поверх матроски. Накрыла ладонью. Сжала. Медленно, уверенно, по-хозяйски.

И тогда Лена остановила его.

Она сама не знала, откуда это взялось. Это было — как на операции, когда профессор Мыш вдруг говорил «стоп» и все замирали. Холодно. Ясно. Изнутри.

Она взяла его руку — ту, что была на груди, — за запястье. Отвела. Спокойно. Вторую — ту, что была на спине, — тоже. Отступила на шаг. К сосне. Спиной к стволу.

Поправила матроску. Поправила галстук-бант. Подняла с плеч шляпу, надела, завязала ленту под подбородком.

Грушницкий стоял перед ней. Красный. Растерянный. С расстегнувшимся воротом гимнастёрки. С тяжёлым дыханием. С глазами, в которых больше не было ни грусти, ни насмешки, ни Байрона. Только — голод. И недоумение.

— Это рефлекс, прапорщик, — сказала Лена. Ровным голосом. Голосом, которым говорила в анатомичке: «вот лучевой нерв». — Безусловный. Спинальный. Он проходит.

И пошла назад, к костру, по тропинке, между сосен. Не оборачиваясь. Поправляя на ходу волосы.

Она шла, и колени у неё ещё дрожали, и сердце ещё колотилось, и кожа на спине, там, где была его ладонь, ещё горела. Но она шла прямо. И ей было — хорошо. Не от поцелуя. От другого.

Она остановила его. Сама. Когда захотела.

Она могла его не останавливать. Она знала это. Её тело хотело, чтобы она не останавливала. Её тело кричало. Но решила — она. Не он. Не тело. Она.

Это была власть. Не та, что от денег — над вдовой, над приказчицей. Другая. Своя. Из неё самой. Из её тела. Из того, что её тело хотят — а она решает, давать или нет.

Она не знала тогда, что точно так же, двадцать семь лет назад, другая женщина, в другом лесу, над другой рекой, вышла из воды под черёмухой, не прикрываясь, на глазах у мальчишки в кустах, и не позвала его, и пошла прочь, и думала: тело — оружие. Голод не надо утолять. Голод надо беречь.

Она этого не знала. Это было не в тетради. Это было в другой книге, которую никто не прочтёт.

У костра Великопольский поднял голову и посмотрел на неё. На её лицо. На шляпу, завязанную криво. На помятый воротник матроски. На губы.

Потом посмотрел на тропинку — откуда минуту спустя вышел Грушницкий. В шинели, накинутой кое-как. С пустой перевязью на шее — руку он забыл в неё вдеть.

Великопольский всё понял. Он закрыл книжку Блока и положил её в карман. И больше не открывал.

Обратно ехали на последнем катере. Великопольский сидел на корме один, на бухте каната, спиной ко всем, и смотрел на кильватерную струю. Зина и Муся пели. Корнилов играл. Шульц спал, обняв аптечку.

Грушницкий стоял у борта рядом с Леной. Не на носу — рядом. Молчал.

На пристани, в Томске, уже в сумерках, когда все выходили, толкаясь, на сходни, — он подал ей руку. И она взяла его под руку. При всех. Под фонарём. И пошла с ним по пристани, по

набережной, мимо Великопольского, который стоял у сходней с пустыми корзинами и смотрел им вслед.

Она не знала, зачем это сделала. Назло? Нет. Ей было не назло. Ей было — интересно. Что будет, если.

Ночью, в мезонине, она раскрыла рабочую тетрадь. Ту, где был записан пульс 96 после первого поцелуя у милицейского костра.

Подумала. Записала:

«Басандайка. Пульс не мерила. Не до того было».

И не подчеркнула.

Потом положила в мамину синюю папку, к прострелам, сорванную в бору медуницу. Синюю, лиловую и розовую на одном стебле. Цветок, который меняет цвет.

3.6. Письмо вернулось

Тридцать первого мая в «Сибирской жизни» была статья профессора Аносова.

Называлась она «Дома новы, но предрассудки стары». Профессор, юрист, человек язвительный, писал, что на томской почтово-телеграфной конторе по-прежнему вскрывают письма. Что в марте объявили свободу переписки, разогнали «чёрный кабинет», — а цензоры остались. Те же самые люди. За теми же столами. С теми же паяльными лампами для сургуча. Только теперь вскрывают письма не по приказу жандармского управления, а «по привычке» и «на всякий случай». И что если спросить их, зачем, они отвечают: «а как же иначе? А вдруг там что?»

Отец прочёл статью вслух и смеялся.

— Вот она, надстройка! — говорил он. — Вот! Базис поменялся — царя нет. А надстройка — сидит. Чиновник сидит за тем же столом и делает то же самое. Он не может иначе. Он не умеет иначе. Ему надо кого-нибудь вскрывать. Маркс писал…

Лена не слушала. Она смотрела в окно.

В окно было видно, как по улице идёт почтальон. Старый, в форменной фуражке, с кожаной сумкой через плечо. Он шёл медленно, хромая, и остановился у их калитки.

Фёкла принесла письмо через минуту.

— Барышне, — сказала она. — Вам. Странное какое-то. Всё в штемпелях.

Лена взяла конверт.

И узнала.

Свой. Свой почерк. Свой конверт — серый, дешёвый, из пачки, что купила в феврале в писчебумажной лавке у Макушина. Свой адрес, своим аккуратным, мелким, медицинским почерком: «Забайкальская область, Нерчинская каторга, Мальцевская женская тюрьма. Политической каторжанке Трофимовой Екатерине Михайловне».

А на конверте — штемпели. Много. Наползающие друг на друга, разноцветные, разномастные. «Томск. 24.II.17». «Иркутск». «Чита». «Нерчинск». «Акатуй». Фиолетовый, расплывшийся: «Вскрыто военной цензурой». Синий, прямоугольный: «Просмотрено». И поперёк всего — фиолетовым химическим карандашом, чужим, канцелярским, торопливым почерком:

«Адресат выбыл за смертью».

И ниже — совсем свежий, чёткий, красный штемпель, новый, мартовский, с аккуратно, ножом, вырезанной из клише короной над двуглавым орлом:

«Возвратить отправителю».

Лена стояла в столовой с конвертом в руках.

Отец замолчал. Он увидел её лицо — и замолчал.

— Леночка…

Она не ответила. Она поднялась в мезонин. Закрыла дверь. Села к столу. Положила конверт перед собой, на клеёнку, рядом с «Ундервудом».

Конверт был вскрыт. Аккуратно, по краю, ножом, — и заклеен снова, полоской казённой бумаги с надписью «Вскрыто». Кто-то читал. Где-то — в Чите? в Акатуе? — какой-то цензор, за каким-то столом, при какой-то лампе, вскрыл её письмо к мёртвой матери. И прочёл. «Мама. Мне сегодня девятнадцать. Я здорова. Режу». И проверил, нет ли там чего. И заклеил. И отправил дальше. И письмо ехало дальше — к матери, которой не было уже восемь месяцев.

Лена разорвала полоску «Вскрыто».

Внутри было её письмо. Её строчки. Февральские, ровные, спокойные.

«Мама. Мне сегодня девятнадцать. Я здорова. Режу. Сегодня был локтевой сустав, и я нашла лучевой нерв лучше всех на курсе. Папа подарил свой “Анти-Дюринг”. Фёкла испекла пирог. Мадамка доится. Учусь. Жду. Твоя Лена».

Жду.

Она перечитала это слово несколько раз.

А в конверте, на дне, лежал прострел.

Сухой. Сиреневый. Мохнатый. Сплющенный. Сорванный прошлой весной в Университетской роще. Он проехал в этом конверте до Забайкалья — пять тысяч вёрст, через Иркутск, через Байкал, через Читу, в почтовых вагонах, в сумках, в мешках, через руки цензоров, — и обратно. Десять тысяч вёрст. Три месяца. И не рассыпался.

Лена взяла его на ладонь. Осторожно, кончиками пальцев.

«Его нельзя трогать руками, рассыплется. Смотри через стекло».

Она встала, сняла с верхней полки мамину синюю папку. Ту, на которой крупным, твёрдым маминым почерком было написано: «Pulsatilla». Развязала тесёмки. Раскрыла.

Там, на пожелтевшем листе, под тонкой папиросной бумагой, лежал другой прострел. Мамин. Совсем тёмный, почти бурый, ломкий, как старая бумага, с облетевшими почти лепестками, — но всё ещё прострел. Под ним — карандашом, неровно, тем почерком, каким были написаны первые страницы кафтанской тетради:

«Сон трава. Кафтан. Апр. 1889. Первый».

Лена положила рядом свой. На соседний лист. Подложила папиросную бумагу. Подписала — своим почерком, мелко, аккуратно:

«Pulsatilla patens. Томск, Университетская роща. Апр. 1916. Был в Мальцевской. Вернулся».

Два прострела. Мамин и её. Двадцать семь лет между ними. Один — сорванный в ссылке, у болота, девятнадцатилетней поселенкой, которая едва умела писать. Другой — сорванный в университетской роще девятнадцатилетней студенткой, которая писала лучше всех на курсе. Один — пролежал в папке двадцать восемь лет. Другой — съездил к той, первой, и не застал.

Она закрыла папку. Завязала тесёмки. Поставила на полку.

Потом села за «Ундервуд».

Было уже поздно. Отец внизу не ходил — спал, или делал вид, что спит. Фёкла молилась. За окном, в сиреневой майской ночи, пахло черёмухой, и где-то на Болоте пели под гармошку.

Лена достала из ниши за медведями сложенный вчетверо лист. Тот, что спрятала туда в начале мая, после первого вечера в Доме науки. Развернула.

На нём была одна строка, отпечатанная одним пальцем, криво, с пропуском и с опечаткой — «бойся» было набрано через «я» и «а», и одна буква съехала вверх:

«Не верь, не бойсяа, отомсти».

Она посмотрела на неё. Потом заправила в каретку чистый лист. Положила пальцы на клавиши. Все десять. Как учила Анна Григорьевна. Не глядя на буквы.

И напечатала.

Быстро. Ровно. Без ошибки.

«Не верь, не бойся, отомсти».

Колокольчик звякнул. Каретка вернулась.

«Не верь, не бойся, отомсти».

И снова. И снова. Строка за строкой. Пока не кончился лист.

Буквы были чёрные, чёткие, ровные, одинаковые. Каждая «т» — как все «т». Каждая «м» — как все «м». Совсем не похожие на те, бурые, рваные, огромные, наползающие одна на другую, — последние мамины буквы, написанные в темноте, на нарах, кровью или чем-то бурым, из последних сил. Машинка делала любые слова одинаково красивыми. Любые. И «не бойся», и «отомсти». И «Жду», и «Адресат выбыл за смертью».

Лена вынула лист из каретки. Сложила. Положила в нишу. К золоту. К тетради. К венчику.

И долго сидела в темноте.

В мае семнадцатого года вся Россия знала, как надо жить.

Знал Керенский: воевать до победы. Знал Ленин: всю власть Советам. Знал Чернов: землю — крестьянам, но через Учредительное собрание. Знал йог Гольцшмидт: сбросить одежду и питаться солнцем. Знала Бочкарёва: остричься и взять винтовку. Знал профессор Трофимов: жизнь есть способ существования белковых тел, а история сделает сама. Знала Марья Павловна: земля и воля. Знали солдаты, сталкивающие старух с тротуаров: пусть уступают. Знали цензоры на почте: а вдруг там что.

Все знали, как надо жить. Никто не знал, что делать.

А Лена Трофимова, девятнадцати лет, студентка второго курса медицинского факультета, знала только одно: что у неё есть тело, которое хотят, и есть сила, чтобы не дать. И есть золото в стене. И есть приказ, отпечатанный на машинке. И нет матери.

Ей казалось, что этого достаточно.

Где-то на Болоте под гармошку пели «Марсельезу». Черёмуха цвела. Ночь была светлая, сиреневая, короткая. Через три часа должно было взойти солнце.

Конец третьей главы.



Глава 4. Облава

— Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит…
А. П. Чехов, «Хамелеон»
Не могу молчать!
Л. Н. Толстой

4.1. Облава

Военное положение объявили в два часа ночи на третье июня. Никто в городе об этом не знал, кроме тех, кто его объявлял.

Лена дежурила в госпитальной хирургической клинике. Дежурства студентам давали по очереди — ночные, тягучие, скучные: обход в полночь, обход в четыре, градусники, судна, стоны в палатах, сонная сестра милосердия за столиком в коридоре, тиканье часов. Летом ночи были короткие и светлые; в два часа ещё не стемнело до конца, а в три уже начинало светать, и за окнами клиники, над Университетской рощей, небо было зелёное, бледное, как стекло аптечной склянки.

В начале третьего она услышала выстрелы.

Сначала далеко — где-то за Ушайкой, на Болоте. Хлопок. Ещё один. Потом — серия, частая, сухая, как треск сучьев в костре. Потом — тишина. Потом — снова, уже в другой стороне, ближе к казармам, к Солдатской улице. И там уже стреляли по-настоящему: долго, густо, с перерывами, — и в перерывах кто-то кричал.

Сестра милосердия за столиком проснулась и перекрестилась.

— Опять, — сказала она. — Опять, Господи. Как в пятом году.

Лена не знала, как было в пятом году. Ей было семь. Она помнила только, что отец не приходил домой двое суток и вернулся с руками, пахнущими горелым.

В три часа во двор клиники въехала первая телега.

Город, как потом писала «Сибирская жизнь», решил одним ударом очистить себя от амнистированных уголовников, которые с марта хозяйничали в Томске: грабили лавки, резали лавочников, вымогали деньги у обывателей, держали притоны на Болоте и на Обрубе. Многие из них, выйдя из тюрем, записались в полки гарнизона — получили шинель, паёк, винтовку и казарму, где их никто не искал. Облаву готовили втайне. Ночью, в три часа, войска и милиция одновременно ударили по притонам и по казармам.

Притонами занималась милиция. Начальник районной милиции, Елисей Петрович Очумелов, лично возглавлял операцию на Болоте.

Он ворвался в номера «Нижний Новгород» на Обрубе — с револьвером в руке, в фуражке с красной кокардой, в сопровождении десятка милиционеров и неизменного Елдырина, — и закричал с порога: «Руки вверх! Именем революции!» Из номеров полезли люди в исподнем, бабы, пьяные, полуголые. Один — толстый, лысый, в одной рубахе — увидел Очумелова и вдруг обрадовался:

— Елисей Петрович! Голубчик! Да ты ли это? А помнишь, ты у меня в Великий пост осетринку брал? Свежую, с икрой! Для супруги!

Очумелов побагровел.

— Не знаю я тебя! — закричал он. — Не знаю и знать не хочу! Взять его! Елдырин, в кандалы!

— Кандалов, Елисей Петрович, нету, — сказал Елдырин, почесав затылок. — Отменили кандалы. Ещё в марте. Свобода.

— Ну так… так верёвкой его! Верёвкой! Революционной!

И толстого увели, связав ему руки бельевой верёвкой, снятой тут же, во дворе, с рогулек.

Но это было на Болоте. А в казармах было хуже.

В казармах тридцать восьмого Сибирского запасного полка, в четырнадцатой роте, уголовные встретили облаву огнём. У них было оружие — винтовки, которые им выдал полк, и револьверы, которые они принесли с собой. Перестрелка шла сорок минут. Потом казарму взяли штурмом. Восемнадцать убитых. В шестой роте двадцать пятого полка — ещё трое. Раненых — никто не считал.

Их везли в клиники до утра.

Лена работала, не замечая времени.

Она потом не могла вспомнить эту ночь по порядку. Только куски. Как вспышки магния — так, говорил отец, фотографировали в девяностых годах: вспышка, и всё замирает, белое, резкое, и потом темнота.

Вспышка: солдат на носилках, совсем молодой, с огромными испуганными глазами, — держится обеими руками за живот, и между пальцами течёт тёмное.

Вспышка: другой, бородатый, без сознания, — у него снесена половина челюсти, и в ране видны зубы, белые, как в анатомическом атласе.

Вспышка: Шульц, сын аптекаря, в коридоре, прислонившись лбом к стене, — его рвёт, долго, мучительно, на пол.

Вспышка: профессор Мыш в окровавленном фартуке, с засученными рукавами, кричит: «Трофимова! Крючки! Быстро!»

Вспышка: она держит крючки. Раскрытая брюшная полость. Пуля прошла насквозь — через тонкий кишечник, в нескольких местах, и через брыжейку. Кровь. Много крови. Тёмная, густая, она заливает операционное поле быстрее, чем Мыш успевает тампонировать.

Вспышка: студент-милиционер с белой повязкой на рукаве — той самой, мартовской, — с пулей в бедре, улыбается бледными губами и говорит: «Ничего, сестрица. Ничего. Зато мы их взяли».

Её первый — тот, которого ей дали самой, без профессора, потому что профессор был занят, а раненых было больше, чем рук, — был солдат. Молодой. С пулей в животе. Тот самый, первый, с испуганными глазами. Она промыла рану, наложила повязку, ввела морфий, — шприц дрожал в руке, и она приказала руке не дрожать, и рука послушалась. Хирурга ему не досталось. Хирурги были все заняты. «Перитонит, — сказал Мыш, мельком, проходя. — Безнадёжен. Обезболь и не трать время».

Она не послушалась. Она сидела с ним. Держала за руку. Он не говорил ничего — только смотрел на неё испуганными глазами и иногда шевелил губами, будто хотел что-то сказать и не мог. Руки у него были большие, шершавые, тёмные, с въевшейся в трещины землёй.

Он умер в шестом часу утра. Тихо. Просто перестал смотреть.

Она не знала, как его зовут.

Документов при нём не было. Шинель — полковая. Был ли он уголовный, записавшийся в полк, чтобы прятаться, — или солдат, честный, который просто оказался в той казарме, в той роте, в ту ночь? Никто не знал. Никто не спрашивал. Его унесли в покойницкую вместе с другими.

В седьмом часу пришёл Грушницкий.

Он участвовал в облаве — командовал взводом тридцать девятого полка, который брал казармы тридцать восьмого. Пришёл в клинику, как он сказал сестре милосердия, «показать рану». Рана была на щеке: длинная царапина, неглубокая, от виска к скуле, — задел, видно, гвоздь или щепу, когда лез через забор.

Лена промыла её. Йодом. Он морщился — красиво, сдержанно, мужественно, как на картинке.

— Мы брали их штурмом, мадемуазель Трофимова, — говорил он, пока она мазала. — Как германские окопы. Ползком. Под огнём. Они стреляли из окон. Я первым вошёл в казарму. С револьвером. Один из них — огромный, бородатый, с ножом — бросился на меня…

Он рассказывал. Сёстры милосердия, санитары, легкораненые в коридоре — слушали. Он видел, что слушают. Он рассказывал для них.

Лена смотрела на царапину и думала: гвоздь. Это гвоздь. Не нож.

И думала: а может, и нож. Может, правда. Откуда мне знать.

И не могла решить, презирает она его или нет. Он был смешон. Он был красив. Он был жив. А тот — с шершавыми руками — нет.

На рассвете она вышла на крыльцо клиники.

В халате, в крови — на подоле, на рукавах, на груди. Руки она отмыла, а халат — нет. Солнце вставало над Университетской рощей, розовое, огромное, и в роще пели птицы, будто ничего не случилось. Пахло черёмухой — последней, отцветающей. И карболкой. И кровью.

Она достала из кармана халата рабочую тетрадь. Записала, стоя, на колене:

«3 июня. Ночь. Огнестрельных — 31. Умерли — 7. Мой — один. Мужчина, ~22 л. Перитонит. Узнать имя».

Подчеркнула: «Узнать имя».

Она так и не узнала.

4.2. Салют

Похороны были седьмого июня.

Город хоронил солдат, погибших при облаве, — тех, кого признали солдатами. Их отпевали в гарнизонной церкви, а потом везли на кладбище через весь город, на лафетах, под красными флагами, с оркестром. За гробами шёл гарнизон — несколько тысяч человек, — и милиция, и студенты с белыми повязками, и Комитет, и Совет, и просто горожане. На Новособорной площади, той самой, что в марте стала площадью Революции, остановились. На той самой трибуне, где десятого марта стояли политические и где Марья Павловна плакала от счастья, теперь стояли ораторы и говорили речи.

Лена стояла в толпе и слушала.

Говорили о «героях, павших за порядок и свободу». О «гидре контрреволюции», которая «воспользовалась амнистией». О том, что «революция должна уметь защищаться». О «последних язвах старого режима». Говорил представитель Комитета — сдержанно, с цифрами. Говорил представитель Совета солдатских депутатов — горячо, со слезой. Говорил Очумелов — от милиции, — громко, раскатисто, размахивая фуражкой: «Мы, граждане, мы — милиция свободного народа — не допустим!..»

Хор пел «Вы жертвою пали».

Тот же хор, та же песня, что на гражданской панихиде десятого марта. Тогда — по жертвам царизма. Теперь — по жертвам облавы. По солдатам, убитым уголовными. И по уголовным, убитым солдатами, — потому что, как шептали в толпе, в гробах лежали не только солдаты. Кого признали солдатами, а кого нет, — решали наспех, в покойницкой, по шинели. У кого шинель — тот солдат. У кого шинели нет — того в общую яму, без музыки. А шинели были у всех.

Различить было нельзя. Хоронили всех вместе. Под одну музыку.

Лена смотрела на гробы — простые, сосновые, некрашеные, на лафетах, под кумачом, — и думала: в котором из них — мой? С шершавыми руками. Может быть, в этом. Может быть, его не признали солдатом, и он в яме. Без музыки.

Потом был салют. Взвод солдат поднял винтовки и дал залп в воздух. Потом второй. Потом третий. Голуби взлетели с собора. Лошади дёрнулись. Какая-то баба в толпе закричала.

В тот же день, вечером, отменили военное положение.

А на следующее утро в «Сибирской жизни» появилось объявление: «Фотографическое ателье "Модерн". Продаются снимки похорон жертв 3 июня. Виды процессии, гробов, трибуны, салюта. Цена — 50 коп. за кабинетный формат. Почтамтская, 12».

Отец прочёл объявление вслух за завтраком и долго молчал.

— Пятьдесят копеек, — сказал он наконец. — Кабинетный формат. На память. Повесить над диваном.

Лена молчала тоже.

Профессор Аносов на той же неделе напечатал в газете статью о преступности. Он писал, что главная причина — разгром тюрем в первые дни революции и амнистия, которая выпустила на волю «несколько десятков тысяч» преступников по всей России. Что милиция — студенческая, солдатская, наспех сколоченная — с ними не справляется. Что городу нужна самоохрана. Что обыватели должны сами охранять свои дома.

Обыватели прочли и наняли сторожей.

В Заисточье — жители скинулись и наняли ночных караульных. Старики, инвалиды, отставные солдаты — с колотушками, как в старину, и со свистками, как у городовых. Ходили от темноты до шести утра. Колотушкой стучали, когда пожар. В свисток свистели, когда воры. По ночам теперь над Заисточьем стучало и свистело, и Фёкла говорила, что это как при царе Горохе, только хуже.

А в Шумихинском переулке, в ночь на тридцать первое мая, патруль поймал двух конокрадов. Одного солдат застрелил на месте. Другого избили до полусмерти — прикладами, сапогами, кольями, всем переулком, — и он умер в клинике через два дня. Лена видела его. У него не осталось ни одной целой кости в лице.

Самосуд, писала газета. Самосуд — позор свободной России.

На следующую ночь в Шумихинском переулке поймали ещё одного. С ним поступили так же.

Отец приносил новости из Совета.

В Петрограде шёл Первый Всероссийский съезд Советов. Тысяча делегатов. Эсеры, меньшевики — большинство. Большевиков — сотня. Министр Церетели, меньшевик, с трибуны сказал, что в России нет сейчас политической партии, которая сказала бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займём ваше место. Такой партии нет.

— А Ленин, — говорил отец, — встал с места. Не с трибуны — с места. И сказал: «Есть! Есть такая партия!»

— И что? — спросила Лена.

— И зал засмеялся. — Отец помолчал. — Тысяча человек засмеялась. Эсеры. Меньшевики. Министры. Хохотали. Как над шуткой.

Он рассказывал это за ужином и не смеялся.

Он вообще стал меньше смеяться в последние недели. Лена замечала. Он стал другой: собраннее, суше, жёстче. Он перестал спорить сам с собой вслух по ночам. Он перестал говорить «вода течёт вниз». Он стал говорить «мы». «Мы считаем». «Мы требуем». «Наша позиция». Яницкий бывал у них теперь каждую неделю, и после его уходов отец долго сидел в столовой один и что-то писал.

Отец левел. Лена это видела. И не знала, что с этим делать.

Через два дня после похорон её позвали в анатомичку.

Судебно-медицинские вскрытия убитых при облаве. Профессор Вебер, прозектор, сухой, в клеёнчатом фартуке, раздавал студентам тела. Лене дали одно.

Она откинула простыню — и узнала.

Тот. С шершавыми руками. Её первый.

Она стояла над ним. Потом взяла скальпель.

Протокол она писала потом сама, своим ровным медицинским почерком. Мужчина. Возраст — двадцать — двадцать три года. Рост средний. Телосложение правильное. Татуировок нет. Рубцов от телесных наказаний на спине нет. Старых переломов нет. Кисти рук — с выраженными мозолями на ладонях, с въевшейся в кожные складки землёй, с характерными утол-

щениями суставов. Профессиональные признаки: земледельческий труд. Огнестрельное ранение брюшной полости, проникающее…

Не уголовный.

Крестьянин. Мобилизованный. Из какой-нибудь деревни под Томском, под Мариинском, под Каинском. Пахал. Сеял. Потом пришла повестка. Потом — казарма. Потом — ночь третьего июня, когда в его казарму стреляли из окон уголовные, а снаружи — солдаты, и он оказался между.

А на похоронах ему дали салют. Если дали. Если признали солдатом.

Лена дописала протокол. Положила скальпель. Посмотрела на его руки — большие, тёмные, мозолистые, — лежащие на мраморном столе ладонями вверх.

И подумала про салют. Три залпа в воздух. Голуби с собора.

Кому салют? Ему? Тем, кто его убил? Тем, кто стрелял в его казарму? Всем сразу?

Пятьдесят копеек кабинетный формат.

4.3. Купальня

Жара пришла внезапно, в середине июня, после холодного мая.

Тридцать градусов в тени. Пыль на улицах — по щиколотку, белая, мелкая, как мука. Над Почтамтской — марево. Лошади извозчиков стояли, опустив головы, в мыле. Торговки квасом на Базарной площади распродавали бочку за час. Весь город, кто мог, бежал к воде.

Городская купальня стояла на Томи, ниже Лагерного сада. Дощатые мостки на сваях, уходящие в реку. Кабинки — деревянные, крашеные когда-то в голубое, теперь облупленные. Мужское отделение — справа, женское — слева, между ними — забор из досок, уходящий в воду. С реки, правда, всё было видно: лодки, плоты, катера проходили мимо, и с них смотрели. Но в городе это считалось приличным.

В июне купальня подорожала. Вход — двенадцать копеек вместо пяти. Абонемент на тридцать посещений — три рубля вместо пятидесяти копеек. Детских билетов не было вовсе. «Сибирская жизнь» возмущалась: «На сто сорок процентов! На шестьсот процентов! Куда смотрит управа?» Обыватели ворчали, но платили: жара.

Лена купила абонемент, не посмотрев на цену.

Купальный костюм она купила у Второва на прошлой неделе. Полосатый, чёрно-белый, трикотажный, — короткие рукава, вырез под горлом, панталоны до колен, пояс на талии. Модный, говорила приказчица. Как в Ялте. Как в Биаррице. Лена примерила его дома, перед зеркалом, и долго стояла, разглядывая. Трикотаж облегал тело так, как не облегала никакая одежда. Всё было видно. Не кожа — форма. Плечи. Грудь. Талия. Бёдра. Колени.

В воскресенье, одиннадцатого, она пошла купаться.

Вода была тёплая сверху и ледяная на глубине — Томь даже в жару не прогревалась до дна. Лена переоделась в кабинке и спустилась по лесенке с мостков. Вода обняла её — сначала холодом, до вскрика, потом теплом, — и она поплыла.

Плавала она хорошо. Её учил отец — в детстве, каждое лето, на Басандайке, — учил «по-мужски», саженками, а не по-дамски, по-лягушачьи, держа голову над водой, чтобы не намочить причёску. Отец говорил: плавать надо так, чтобы можно было переплыть реку. Если понадобится. Она переплывала Томь в шестнадцать лет. На спор. С гимназистами. И выиграла.

Она отплыла от мостков на середину женского отделения, туда, где было глубоко, и перевернулась на спину. Раскинула руки. Небо — синее, без облака, огромное. Солнце — в глаза. Вода — держит. Тело — лёгкое, невесомое. Волосы — распустились, плывут вокруг головы тёмным облаком.

И тогда она почувствовала, что на неё смотрят.

Это было — как в Доме науки. Как на Первомае. Как в зале Общественного собрания, когда танцевала босоножка. Она уже научилась это чувствовать — кожей, затылком, спиной. Взгляд. Чужой. Мужской.

Она чуть повернула голову.

На краю мостков — не женских, а тех, что шли вдоль забора, общих, у самой воды, — стоял человек. Не молодой. За сорок. Высокий, сухой, загорелый. В светлом летнем костюме, в соломенном канотье, сдвинутом на затылок. С сигарой. Седые виски. Тонкое, резкое лицо, гладко выбритое, с глубокими складками у рта.

Он смотрел на неё.

Не так, как смотрели солдаты в Доме науки — с ухмылкой, с присвистом. Не так, как Грушницкий — с голодом и позой. Не так, как Великопольский — с мольбой. Он смотрел спокойно. Внимательно. Неторопливо. Не отводя глаз, когда она повернулась к нему. Так смотрят на вещь, которую уже решили купить, — и только прикидывают цену.

Лена должна была — она знала, что должна — отвернуться. Нырнуть. Уплыть. Покраснеть.

Она не отвернулась.

Она лежала на воде, на спине, раскинув руки, и смотрела на него. И он смотрел на неё. Через двадцать саженей воды. Секунду. Две. Пять.

Потом она перевернулась и медленно поплыла к лесенке.

Не торопясь. Саженками. Ровно.

У лесенки она встала. Вода была ей по пояс. Полосатый трикотаж облепил тело, мокрый, тяжёлый, почти прозрачный. Она знала это. Она знала, что он смотрит. И она — сама не понимая, зачем, — подняла руки и стала отжимать волосы. Медленно. Долгим движением, от затылка вниз, — собрав их в жгут, скручивая, и вода текла по рукам, по плечам, по спине. Руки подняты. Грудь — поднята. Спина — выгнута. Солнце — на мокрой коже.

Она отжимала волосы целую минуту. Хотя хватило бы десяти секунд.

Она не знала, что точно так же, двадцать семь лет назад, другая женщина вышла из другой воды, под черёмухой, в старице над Умкой, и встала по пояс, и отжала волосы долгим движением, подняв руки, выгнув спину, — и знала, что на неё смотрят. Она не знала. Этого не было ни в тетради, ни в легенде.

Но тело, кажется, знало.

Когда она поднялась на мостки и пошла к своей кабинке, мужчина в канотье уже не стоял у забора. Ушёл.

Ей стало досадно. Она сама не поняла почему.

Кабинка была пуста.

Лена стояла в дверях, мокрая, в одном купальном костюме, и не понимала. Крючок был на месте. Скамейка была на месте. Её платья — не было. Туфель — не было. Сумочки — не было. Ни белья, ни чулок, ни шляпки. Ничего. Только полотенце, которое она взяла с собой на мостки.

Украли.

Она стояла и не знала, что делать. Мокрая. В трикотаже, облепившем тело. На мостках. Вокруг — дамы, барышни, гимназистки, няньки с детьми. Кто-то уже заметил. Кто-то засмеялся. «Барышню обокрали! Голая пойдёт!» Смеялись бабы на соседних мостках, смеялись гимназистки, смеялся кто-то с лодки на реке. Лена завернулась в полотенце. Полотенце было маленькое. До колен не доставало.

Вот так, подумала она. Вот так. Студентка, медичка, лучший лучевой нерв на курсе, — стоит на мостках в мокром купальнике, и над ней смеётся вся купальня.

Она стояла десять минут. Может, пятнадцать. Служитель купальни — старик, глухой, — развёл руками: «Воры, барышня. Воры нынче. Амнистия. Я что могу».

Потом на мостках, у калитки в женское отделение, появился он.

Человек в канотье. С узлом в руках.

Он прошёл в женское отделение — мимо служителя, который хотел было его остановить и не остановил, — прошёл по мосткам, мимо дам, которые ахнули и отвернулись, — спокойно, неторопливо, с сигарой в зубах. Подошёл к Лене. Протянул узел.

Это были её вещи. Платье. Туфли. Сумочка. Шляпка, немного помятая.

— Ваше, мадемуазель? — спросил он. Голос у него был низкий, ровный, суховатый, с петербургским выговором.

Лена взяла узел. Не могла ничего сказать.

— Мальчишка, — сказал он, вынув сигару изо рта. — Беспризорник. Лет двенадцати. Сидел в кустах у Лагерного сада и делил добычу. Я его… — он чуть усмехнулся, — убедил вернуть.

— Как?

Он не ответил. Только посмотрел на свою правую руку — сухую, загорелую, с длинными пальцами — и чуть пошевелил ею. Как будто стряхивал что-то.

— Надо… — Лена запнулась. — Надо заявить в милицию.

— В милицию? — Он поднял брови. — А зачем, мадемуазель? Вещи — у вас. Мальчишка — получил урок. Милиция — студенты с белыми повязками, которые ловят друг друга по ночам и стреляют в казармах. Протокол. Свидетели. Суд. Через полгода. Если не потеряют бумаги. — Он снова сунул сигару в рот. — Закон, мадемуазель, — это для тех, у кого нет силы его не замечать.

Он сказал это спокойно, как говорят о погоде. И Лена — студентка, медичка, дочь профессора, воспитанная на Марксе и Энгельсе, на законах развития и на надстройке над базисом, — вдруг почувствовала, что это правда. Что это самое правдивое, что она слышала за весь год.

— Гомаровский, — сказал он и чуть приподнял канотье. — Евгений Станиславович. Присяжный поверенный. Из Петрограда. Бежал, знаете ли, от голода в вашу благословенную Сибирь. Говорят, здесь ещё есть масло.

Он взял её руку. Мокрую. Холодную от воды. И поцеловал — не над перчаткой, перчатки не было, — в тыльную сторону ладони. Губы были сухие и горячие.

Он не спросил её имени. Не спросил, где она живёт. Не предложил проводить. Не попросил о встрече.

Он просто приподнял канотье ещё раз, повернулся и ушёл. По мосткам. Мимо дам. Мимо служителя. Не оборачиваясь.

Лена стояла с узлом в руках и смотрела ему вслед.

Дома, раздеваясь в мезонине, она раскрыла сумочку — проверить, всё ли на месте.

Всё было на месте. Деньги — пачка кредиток, вырученных за червонец, — ровно столько, сколько было. Платок. Ключ. Карандаш. Записная книжка.

И сверху — карточка.

Визитная. Плотная, белая, с золотым обрезом, петербургская. Гравированными буквами:

Евгений Станиславович Гомаровский присяжный поверенный

И ниже, от руки, карандашом: «Гостиница "Европа", № 14».

Когда он её туда положил — Лена не заметила. Она прокручивала в памяти всё, секунду за секундой: как он подошёл, как протянул узел, как говорил, как целовал руку. И не могла найти момента. Он положил её туда раньше. Пока нёс. Пока шёл по мосткам. Пока она стояла в полотенце и смотрела на него.

Он знал, что она откроет сумочку. Он знал, что она найдёт.

Он знал всё заранее.

4.4. Свет до одиннадцати

С середины июня в Томске выключали свет.

Не весь — половину. Топливный кризис, писали газеты: угля нет, дров нет, электрическая станция не справляется. Городская управа постановила: в квартирах — расход вполовину.

Гостиницы, рестораны, клубы, театры — свет до одиннадцати вечера, коридоры — до полуночи. Кинематографы — не больше трёх часов в будни и пяти в праздники, освещение зала — вполовину. Уличные фонари — зажигать на час позже, гасить на час раньше.

В одиннадцать часов вечера Томск гас. Весь сразу. Как будто кто-то задувал огромную свечу.

Отец злился.

Он не мог работать в лаборатории по вечерам. Опыты шли сутками, — гидролиз белков, титрование, — а теперь в одиннадцать гасла лампа, и всё приходилось бросать. Он приходил домой мрачный, садился в столовой при керосиновой лампе — керосин тоже был по карточкам — и говорил: «Хаос. Буржуазный хаос. Временное правительство не может обеспечить город углём. Четыре месяца — и не может. А мы бы — смогли». Лена замечала это «мы бы». Раньше он говорил «история бы».

Она читала при свече. Свечи были ещё в продаже — дорогие, но были. Она покупала их пачками, восковые, не сальные, — тратила золото на свечи и не думала об этом.

В середине июня забастовали фармацевты.

Восемь аптек в городе закрылись. Провизоры и помощники требовали прибавки жалованья, ограничения срока для практикантов, компенсации за неиспользованный отпуск. Владельцы аптек согласились почти на всё — но не на всё, — и в восьми аптеках объявили забастовку. «Сибирская жизнь» писала, что это — преступление: под угрозой здоровье стотысячного города, а провизоры торгуются, как лавочники.

В клинической аптеке университета не хватало рук. Лену попросили помочь.

Она стояла за аптечным столом — в белом халате, за весами, за ступками, за склянками с латинскими надписями — и отвешивала порошки. Хинин. Салол. Дуврский порошок. Бромистый натрий. Отвешивала на тонких аптечных весах, заворачивала в бумажки, надписывала. Больные стояли в очереди в коридоре. Из закрытых аптек их направляли сюда.

А у входа в клиническую аптеку, на улице, стояли забастовщики. Трое молодых провизоров. С плакатом: «Товарищи! Не будьте штрейкбрехерами!»

Лена проходила мимо них утром. Один из них — худой, рыжий, в пенсне — посмотрел на неё и сказал вслух: «Барышня — штрейкбрехер». Не зло. Скорее печально.

Она покраснела и прошла.

Весь день она отвешивала порошки и думала: штрейкбрехер. Это слово было из отцовских книг. Из Маркса. Из истории рабочего движения. Штрейкбрехер — это предатель. Это тот, кто ломает забастовку, кто идёт против своего класса, кто служит хозяевам.

Но больные стояли в коридоре. Старуха с лихорадкой. Ребёнок с коклюшем. Солдат с раной, которая гноилась.

Дома отец сказал, что фармацевты правы.

— Они имеют право, — сказал он. — Это право рабочего — бастовать. Если ты работаешь за них — ты срываешь их забастовку. Ты помогаешь хозяевам.

— Папа, — сказала Лена, — там ребёнок с коклюшем.

— Это издержки. Классовая борьба всегда…

— Папа. Ребёнок.

Отец замолчал.

Это была ещё одна трещина. Тонкая. Как на стекле. Они уже знали обе: про девочку Цукерман и про ребёнка с коклюшем. И знали, что не договорятся.

В те же дни она купила велосипед.

Дамский, «Дукс», московский — с изогнутой рамой, чтобы можно было ездить в юбке, с сеточкой на заднем колесе, чтобы юбка не попадала в спицы, с плетёной корзинкой на руле. Его продавала офицерская вдова с Магистратской — муж убит в пятнадцатом году под Перемышлем, вдова уезжала к родным в Омск и распродавала всё. Велосипед стоял в сарае, пыль-

ный, с проколотой шиной. Лена купила его, не торгуясь, отвела в мастерскую, заклеила шину и поехала.

Город смотрел.

Велосипеды в Томске были — у гимназистов, у студентов, у телеграфных рассыльных. Но барышня на велосипеде была редкость. Барышня в белой блузке и тёмной юбке, с развевающимися волосами (шляпку она не надевала: слетала), — на велосипеде, по Почтамтской, по пыльной, белой, жаркой Почтамтской, мимо извозчиков, мимо гуляющих, мимо солдат, — это было зрелище. Мальчишки бежали следом и кричали. Извозчики оборачивались. Солдаты свистели. Дамы поджимали губы.

Лена ехала, и ветер бил в лицо, и юбка хлопала по ногам, и ей было весело. Весело так, как не было с детства.

— Дочь профессора — на велосипеде! — сказал отец, увидев её в первый раз. И засмеялся. По-старому, весело, как давно не смеялся. — Эмансипация! Ах, Леночка! Твоя мать бы…

Он осёкся.

— Что — мама бы? — спросила Лена.

— Твоя мать бы тоже поехала, — сказал отец тихо. — Обязательно. Она ничего не боялась.

В двадцатых числах июня в клинику пришёл солдат с детьми.

Его звали Панкратов, он служил в тридцать девятом полку. Четверо детей: девочка лет восьми, мальчик лет пяти, ещё мальчик лет трёх и младенец — грудной, в тряпках, в корзине. Жена у Панкратова сошла с ума — внезапно, за одну ночь: проснулась, не узнала мужа, стала кричать, что он — чёрт, что дети — чертенята, и бросилась на них с ножом. Её увезли в сумасшедший дом. А Панкратов остался с четырьмя детьми, в казарме, где спали двести солдат.

Он стоял в приёмном покое клиники — бородатый, серый, растерянный, огромный, — с младенцем на руках, и трое старших держались за его шинель, и говорил:

— Куда мне их? Барышня, куда? Я ж солдат. Мне в наряд. Мне на фронт, может. Куда?

Старших — сказали в Совете — пристроят. В детский дом, в семьи. Младенца — в Пушниковский приют. Приют для подкидышей и сирот при городской богадельне, на окраине.

Отвезти младенца вызвалась Лена. Сама. Никто не просил.

Она ехала на извозчике через весь город, через Заисточье, по пыльной дороге, держа на руках корзину. Младенец спал. Девочка. Месяца три, не больше. Крошечная, красная, с белёсым пушком на голове, с кулачками у лица. Она спала, причмокивая во сне, и от неё пахло кислым молоком и мочой, и Лена держала корзину на коленях и не могла от неё оторвать глаз.

В приюте её встретила монахиня — сестра Евпраксия, старая, высохшая, в чёрном. Взяла корзину. Посмотрела на младенца. Записала в книгу: «Девочка, ~3 мес., дочь солдата Панкратова, мать в доме умалишённых. Принята 24 июня 1917 г.»

— Выживет? — спросила Лена.

Монахиня посмотрела на неё — долго, спокойно.

— На всё воля Божия, — сказала она. — У нас половина не выживает, барышня. Кормилиц нет. Молока нет. Рожком кормим. Половина — до года. — Она закрыла книгу. — Вы не переживайте. Вы что могли — сделали.

Лена вышла на крыльцо приюта.

И заплакала.

Она сама не понимала почему. Она не плакала над солдатом с шершавыми руками. Не плакала над конокрадом без целой кости в лице. Не плакала, когда Мыш шил печень Саре Цукерман. Она была медичка, она привыкла. А тут — села на ступеньки приюта, в пыль, в своей белой блузке, — и плакала, как маленькая, навзрыд, закрыв лицо руками, и не могла остановиться.

Монахиня вышла, постояла рядом. Ничего не сказала. Перекрестила её и ушла.

Лена не знала, что почти сорок лет назад другого младенца, мальчика, унесли из рук шестнадцатилетней матери в другой воспитательный дом, в Москву. Что мать его даже не покормила. Что тот младенец умер там, не дожив до года, и был брошен в общую яму, без имени. Что у Лены был брат. Она этого не знала. Этого не было ни в тетради, ни в легенде, ни в романе графа.

Но она плакала на ступеньках Пушниковского приюта так, будто знала.

Марья Павловна вернулась из Москвы двадцатого июня. Об этом — дальше.

А в ночь на двадцать пятое, в одиннадцать часов вечера, Лена сидела у окна мезонина.

Она только что пришла из купальни — она теперь ходила туда каждый вечер, после клиники, — и волосы были ещё мокрые, тяжёлые, распущенные по плечам. Она сидела в одной сорочке — шёлковой, розовой, — у раскрытого окна, и смотрела на город. Жара не спадала и ночью. Пахло пылью, рекой, тополиным пухом.

Ровно в одиннадцать свет погас. Весь сразу. Над Почтамтской, над горой, над Болотом. Остались только звёзды и редкие свечи в окнах.

Лена зажгла свечу.

На столе, рядом с «Ундервудом», рядом с микроскопом, лежала визитная карточка. Белая, с золотым обрезом. «Евгений Станиславович Гомаровский. Присяжный поверенный». И карандашом: «Гостиница "Европа", № 14».

Она взяла её. Поднесла к свече. Край карточки потемнел. Задымился.

Она держала её над пламенем — и смотрела, как темнеет золотой обрез. Одна секунда. Две. Ещё немного — и вспыхнет.

Она отдёрнула руку.

Подула на обуглившийся край. Положила карточку обратно на стол. Под микроскоп. Чтобы не видно было.

И долго ещё сидела у окна, в темноте, при свече, с мокрыми волосами.

4.5. Программа

Марья Павловна вернулась из Москвы двадцатого июня.

Она приехала с вокзала прямо к ним — в той же енотовой шубе, хотя было тридцать градусов жары, с тем же потёртым саквояжем, — сухая, тёмная, загорелая, похудевшая ещё больше. Лена, увидев её в дверях, ахнула: Марья Павловна выглядела так, будто не на съезде была, а на этапе.

— Двенадцать суток в поезде, — сказала Марья Павловна, садясь. — В теплушке. С дезертирами. Они везли с собой мешки с солью, винтовки и граммофон. Граммофон играл «Боже, царя храни». Они не знали других пластинок.

Фёкла принесла самовар. Отец вышел из кабинета.

Марья Павловна открыла саквояж и выложила на стол бумаги. Брошюры. Газеты. Резолюции. И сверху — тоненькую книжку в серой обложке: «Программа партии социалистов-революционеров. С постановлениями III съезда».

— Вот, — сказала она. — Это вам, Пётр Сергеевич. Почитайте. Вы же учёный. Вы всё любите по бумаге.

Отец взял книжку, повертел, положил.

— Я читал вашу программу, Марья Павловна, — сказал он. — В девятьсот шестом. Тогда — на Иматре.

— Тогда — была одна. Теперь — другая. — Марья Павловна налила себе чаю. — Мы её не меняли. Мы её — исполняем.

Она рассказывала о съезде.

Двадцать пятое мая — четвёртое июня. Москва. Народный университет Шанявского. Шестьсот делегатов. Чернов — председатель ЦК, министр земледелия. Гоц. Авксентьев. Зензинов. Брешковская — бабушка — на почётном месте, в первом ряду, и когда она вошла, зал

встал, и пели, и плакали. Спиридонова. Она — сказала Марья Павловна, и голос у неё дрогнул — Маруся постарела, Лена, вы не поверите. Ей тридцать два, а она — как старуха. Акатуй. Её там… И она уже ругает всех. Чернова — за министерство. Керенского — за наступление. Коалицию — за то, что «сидим с кадетами за одним столом».

— А Керенского, — сказала Марья Павловна, — не выбрали в ЦК.

— Как? — спросила Лена.

— Не выбрали. — Марья Павловна усмехнулась сухо. — Военного министра. Вождя революции. Его — не выбрали. Тайным голосованием. Сто тридцать пять голосов из двухсот семидесяти. Не хватило. Он сидел в первом ряду и улыбался. — Она помолчала. — Мы его не любим, Лена. Он — фразёр. Он — адвокат. Он слишком нравится себе. Но он — наш.

Отец слушал молча. Потом сказал:

— А Ленина вы видели?

— Ленина — нет. Ленин — в Петрограде. — Марья Павловна поставила чашку. — Но я видела ваших, Пётр Сергеевич. Настоящих. Московских.

— Каких — настоящих?

— Не таких, как вы.

Она сказала это просто, без вызова. Но отец выпрямился на стуле.

— Я была на митинге в Хамовниках, — сказала Марья Павловна. — В казармах. Пятьдесят шестой запасной полк. Там выступали ваши. Большевики. Двое. Один — студент, мальчишка, с рыжей бородкой, — говорят, Бухарин, из ихних теоретиков. Он говорил хорошо. Умно. Про империализм, про финансовый капитал, про Гильфердинга. Солдаты не поняли ни слова. — Она помолчала. — А второй — матрос. Из Кронштадта. Здоровый, с бородой, в бескозырке, с маузером на поясе. Он говорил так. «Товарищи! Вас гонят на фронт буржуи и Керенский! Вас гонят умирать за проливы, за Константинополь, за английских банкиров! А в деревне у вас — земля! Барская! Ничья! Бросайте винтовки! Идите домой! Берите землю! Сами! Сейчас! Никого не спрашивайте! Никакого Учредительного собрания — это обман! Это буржуи придумали, чтобы вас обмануть! Бери — и всё!»

— И что солдаты? — спросила Лена.

— Солдаты — ревели. — Марья Павловна смотрела на отца. — Солдаты его на руках носили. Рыжего мальчика с Гильфердингом — не слушали. А матроса с маузером — носили на руках. И на следующий день из пятьдесят шестого полка дезертировало четыреста человек. С винтовками. Домой. Брать землю.

Она помолчала.

— Вот ваши настоящие большевики, Пётр Сергеевич. Не вы. Не профессор физиологической химии, который читает Энгельса в подлиннике. Матрос с маузером. «Бери — и всё». И это — не я придумала. Это — ваш Ленин придумал. «Грабь…» — нет, не так. «Немедленный захват земли». «Братание». «Никакой поддержки Временному правительству». Это — его тезисы. Матрос их просто перевёл. На язык, который понятен солдату.

Отец снял очки. Протёр.

— Марья Павловна, — сказал он медленно. — Вы говорите — «бери». Позвольте. А что предлагаете вы?

— Землю — крестьянам.

— Когда?

— Учредительное собрание…

— Когда, Марья Павловна? — Голос отца стал твёрже. — Четыре месяца. Четыре месяца — ваш Чернов министр земледелия. Земля — до сих пор у помещиков. Учредительное собрание — до сих пор не созвано. Выборы — откладывают. Комиссия по выборам — заседает. Земельные комитеты — заседают. Всё заседает. А крестьянин сидит в окопе, в Галиции, и ждёт. Год. Два. Три. И вы хотите, чтобы он ждал ещё? До победы? До Учредительного? До вто-

рого пришествия? Ваш Чернов, Марья Павловна, — министр, который не может дать землю. Потому что он сидит в одном правительстве с кадетами, с помещиками, с Милюковым, — а они землю не отдадут. Никогда. Ни через Учредительное, ни через что.

— Вы хотите, чтобы её взяли силой?

— Я хочу, чтобы её дали. Сейчас.

— Это одно и то же, Пётр Сергеевич. «Дать сейчас» — без закона, без собрания, без согласия всего народа, — это и есть «бери». Это и есть матрос с маузером.

Отец помолчал.

— Вы говорите «согласие всего народа». А народ — это кто? Девяносто процентов — крестьяне. Мелкие собственники. Мелкая буржуазия, если по Марксу. Они проголосуют за вас, за эсеров, — я знаю. Конечно, проголосуют. Вы обещаете им землю. Каждому — надел. Уравнительно. По трудовой норме. Социализация. — Он постучал пальцем по программе. — А дальше? Сто миллионов мелких хозяев, каждый на своём клочке, с сохой. Это не социализм, Марья Павловна. Это — пугачёвщина с бухгалтерией. Это — регресс. Это — назад, в семнадцатый век. Крупное хозяйство разрушат, машин нет, агрономов нет. Через десять лет — голод. Через двадцать — новые помещики, кулаки. И всё сначала.

— А вы что предлагаете? — Марья Павловна подалась вперёд. — Национализацию? Землю — государству? То есть — у помещика отнять и отдать не мужику, а чиновнику? Казне? И мужик будет батрачить на казну вместо барина? Это ваш социализм? Государственная барщина? — Она засмеялась — сухо, неприятно. — Мы, Пётр Сергеевич, сорок лет боролись за то, чтобы земля была — общая. Божья. Народная. «Земля и воля». Не казённая — общая. Чтобы община решала. Чтобы трудящийся решал. А вы хотите поставить над мужиком нового барина — в кожанке. С мандатом. С маузером.

— Мы хотим поставить над мужиком науку! — Отец встал. Он всегда вставал, когда говорил важное. — Агрономию! Машины! Крупное хозяйство! Образцовые имения! Электричество! А не соху!

— Науку — маузером? — Марья Павловна тоже встала. Она была выше отца на полголовы, прямая, как палка. — Вы, Пётр Сергеевич, двадцать лет говорили — я помню, Катерина Михайловна мне рассказывала, — что история сделает сама. Законы развития. Вода течёт вниз. Буржуазная революция — потом социалистическая. Фазы. Нельзя перепрыгнуть. Помните? Вы это говорили. А теперь ваш Ленин хочет перепрыгнуть. Через фазу. Сейчас. Сразу. Меньшинством. Без большинства. Без собрания. Без согласия. Захватом. Это — что, Пётр Сергеевич? Это — Маркс? Или это — Бланки? Нечаев? Ткачёв? Вы мне скажите. Вы — марксист. Вы мне скажите, что из Маркса следует захват власти меньшинством в крестьянской стране.

Отец стоял, держась за спинку стула. Молчал.

— Я это сам говорил, — сказал он наконец. Тихо. — В апреле. Яницкому. Слово в слово.

— Вот.

— А он мне ответил: история — это мы. Что сделаем, то и будет. — Отец сел. — И знаете, Марья Павловна… Я двадцать лет ждал, что история сделает сама. Я ждал — и она сделала. В феврале. Царя нет. А дальше она — встала. Как станция без угля. Четыре месяца — ничего не движется. Война идёт. Земля — у помещиков. Хлеба — нет. Угля — нет. Свет — до одиннадцати. Ваш Керенский говорит речи. Ваш Чернов заседает. А люди… — он махнул рукой в сторону окна, — люди на Болоте самосудом убивают конокрадов. Потому что не верят ни в суд, ни в милицию, ни в вас, ни в нас. Ни во что. И если никто не возьмёт власть — её возьмёт улица. Или генерал. Или матрос.

— Лучше — матрос?

— Лучше — тот, кто знает, что делать.

— А Ленин знает?

Отец долго молчал.

— Он думает, что знает, — сказал он. — Это уже больше, чем у всех остальных.

И тут вмешалась Лена.

Она сидела всё это время молча, в углу, у самовара, и слушала, и чем дальше, тем больше у неё горели щёки. Она не понимала половины — Гильфердинг, социализация, трудовая норма, — но она понимала главное. Отец — с ними. С матросом с маузером. С Яницким, который смотрит на неё, как на лошадь. Против Марьи Павловны. Против мамы.

— Папа, — сказала она громко. — Папа, но ведь Ленин — немецкий шпион!

Тишина.

— Все знают! — Лена встала. Голос у неё срывался. — Все газеты пишут! Он приехал через Германию! В запломбированном вагоне! Немцы его пропустили! Немцы ему платят! Он хочет, чтобы мы проиграли войну! Он — предатель! А ты… ты за него!

Отец посмотрел на неё — устало, грустно, поверх очков.

— Леночка…

Но ответила Марья Павловна.

— Не надо, Лена, — сказала она. Тихо, твёрдо. — Это не аргумент.

Лена обернулась к ней, изумлённая.

— Ленин не шпион, — сказала Марья Павловна. — Я в это не верю. Он ехал через Германию, потому что другой дороги не было. Мы все ехали бы, если б могли. Мартов ехал — тоже через Германию, вторым вагоном. Он — меньшевик. Он тоже шпион? — Она помолчала. — Нет, Лена. Ленин — не шпион. Он хуже. Он — фанатик. Он верит, что знает. Он верит, что знает, как надо жить — за всех. За сто миллионов. И что если сто миллионов не согласны — значит, сто миллионов ошибаются. А он прав. И что можно их заставить. Ради их же блага. — Она посмотрела на отца. — Шпиона можно поймать, Лена. Шпиона можно расстрелять. А с тем, кто верит, — ничего нельзя сделать. Только остановить. Или — пойти за ним.

Она взяла со стола программу. Протянула отцу.

— Прочтите, Пётр Сергеевич. Пожалуйста. Не ради меня. Ради Катерины Михайловны. Она бы прочла.

Отец взял книжку. Подержал.

— Катя, — сказал он медленно, — Катя не читала программ, Марья Павловна. Ни ваших, ни наших. Она читала Апокалипсис.

И Марья Павловна не нашлась, что ответить.

Она ушла около полуночи. В темноте — свет уже погас. Лена проводила её до калитки со свечой. У калитки Марья Павловна остановилась.

— Лена, — сказала она. — Вступайте в партию. Нам нужны молодые. Нам нужны… такие, как вы. Умные. Смелые. С образованием. — Она помолчала. — Таких, как ваша мама, у нас больше нет. Все умерли. Или — как Маруся, — сидят и ругаются. Вступайте.

— Я подумаю, — сказала Лена.

— Подумайте. — Марья Павловна взяла её за руку. Рука у неё была сухая, горячая, в шрамах. — Только недолго. Время уходит.

И пошла в темноту — прямая, как палка, в своей енотовой шубе, хотя была ночь, июнь и тридцать градусов.

4.6. Наступление

Восемнадцатого июня армия перешла в наступление.

Юго-Западный фронт. Галиция. Керенский сам ездил по окопам, выступал перед солдатами, уговаривал, клялся, плакал. Его называли «главноуговаривающим». Наступали два дня — и первые сводки были победные. Прорыв. Тысячи пленных. Взяты высоты. Взяты деревни. Немцы бегут. «Свобода победит!» — писали газеты. «Революционная армия доказала…»

В Томск известия дошли двадцатого.

Город ликовал. На Почтамтской — митинги. В соборе — благодарственный молебен. В «Сибирской жизни» — передовая, которую Адрианов, по слухам, писал всю ночь и плакал. Студенты ходили с флагами. Гимназистки бросали цветы солдатам — тем, что сидели в тылу, в гарнизоне, и никуда наступать не собирались.

Грушницкий пришёл к Лене двадцать второго.

Вечером, когда отец был на заседании Совета. Пришёл в новой гимнастёрке, в портупее, при шашке, с револьвером в кобуре. Без перевязи. Перевязь он, видно, решил, что больше не нужна.

— Мадемуазель Трофимова, — сказал он у калитки. Торжественно. — Я пришёл проститься.

— Проститься?

— Я еду на фронт. В наступление. — Он выпрямился. — Тыл — позор. Тыл — грязь. Йоги, босоножки, самосуды, фармацевты, Совет. Я больше не могу. Там — армия. Там — наступление. Там решается судьба России. Я должен быть там. Искупать кровью позор тыла.

Он сказал это — и смотрел, как она смотрит. Проверял впечатление.

Лена смотрела.

Было уже темно. Свет погас — одиннадцать. Над улицей висели звёзды. Пахло пылью и тополиным пухом. Фёкла в доме молилась. Грушницкий стоял у калитки, тёмный, стройный, в портупее, — и Лена вдруг подумала: а вдруг его убьют?

Она не верила, что он уедет. Она помнила перевязь, которая была для красоты. Помнила гвоздь, который был ножом. Помнила Байрона на носу катера.

Но — а вдруг?

Вдруг — уедет. Вдруг — наступление. Вдруг — газы, штыковая, воронка, мёртвый немец, который смотрит. Вдруг — всё правда, и он сейчас уйдёт по тёмной улице, и она больше никогда…

Она шагнула к нему.

Сама.

Он не ожидал. На секунду растерялся — она увидела это в темноте, по тому, как он замер, — а потом обнял её. Шашка стукнула о калитку. Портупея скрипнула.

Это было не как в лесу.

В лесу он брал — по-офицерски, как берут крепость, — а она отвечала. Теперь брала она. Она сама нашла его губы. Сама обняла его за шею — обеими руками, крепко, — сама прижалась к нему всем телом, грудью, животом, бёдрами, сквозь лёгкую летнюю блузку, сквозь юбку, — к его гимнастёрке, к ремням, к пряжке портупеи, которая врезалась ей в живот и которой она не замечала.

Он задохнулся. Он не знал, что делать с такой — с этой, которая сама.

Потом — знал.

Его руки. По спине — вниз, по талии, по бёдрам. Крепко. Жадно. Потом — вверх. Под блузку. На голую кожу. На поясницу. Выше. По позвоночнику. До лопаток. Её кожа — горячая, влажная от жары, от ночи, от него.

Его губы — на её шее. Под ухом. На ключице. В вырезе блузки.

Его рука — на груди. Как в лесу.

И в лесу она остановила его. А теперь — нет.

Она не остановила.

Она стояла у калитки, прижатая спиной к шершавым доскам забора, в темноте, — и позволяла. Его руке на груди — сквозь блузку, сквозь шёлк. Потом — под шёлком. Его пальцам. Его ладони. Она слышала своё дыхание — частое, рваное, громкое, — и не узнавала его. Она слышала его дыхание — тоже. Где-то далеко, в Заисточье, стучала колотушка караульного. Где-то лаяла собака. Где-то пели.

Тело её было — не её. Тело её горело. Тело её выгибалось ему навстречу. Тело её хотело — она знала, чего оно хочет, она медичка, она знала всё, по-латыни, — и это знание ничуть не помогало. Её колени подгибались. Её руки — сами, не спрашивая её — стянули фуражку с его головы и вцепились в волосы. Короткие, жёсткие, мокрые от пота.

Ещё немного. Ещё минута. Ещё секунда — и…

В доме хлопнула дверь.

Сени. Громко, гулко. И голос Фёклы — в темноту, через двор:

— Барышня! Барышня Леночка! Вы где? Ночь на дворе! Отец не велел!

Лена вздрогнула. Отпрянула.

Грушницкий отступил на шаг. В темноте она видела его лицо — белое, растерянное, с открытым ртом. Фуражка валялась у его ног, в пыли. Портупея съехала. Гимнастёрка расстёгнута.

— Я… — сказал он. — Лена…

— Иду, Фёкла! — крикнула Лена в сторону дома. Голос был чужой, хриплый, срывающийся.

Она поправила блузку. Руки не слушались — не попадали в пуговицы.

— Езжайте, прапорщик, — сказала она тихо, не глядя на него. — Езжайте на фронт. Искупайте.

И ушла в дом.

Остановила её не гордость. Не она сама. Остановила её Фёкла. Хлопнувшая дверь в сенях.

Лена это знала. И от этого знания ей было страшно.

На фронт Грушницкий не поехал.

Она узнала это через неделю, от Шульца, который узнал от кого-то из тридцать девятого полка. Полк не отпустил, сказал Шульц. Командир полка сказал, что прапорщики нужны в тылу — гарнизон разлагается, офицеров не хватает. А ещё, говорят, у него рана открылась. На руке. Та самая.

Лена засмеялась. Громко, на весь коридор клиники.

Над ним. И над собой.

В Доме науки, в пятницу, она читала солдатам газету о наступлении.

Сводки. Прорыв. Пленные. Высоты. Читала — и солдаты слушали мрачно. Никто не хлопал. Никто не кричал «ура». Сидели, курили, смотрели в пол.

Рыжий усатый в первом ряду — тот самый, что плакал над Кузминым, — сказал, когда она дочитала:

— Наступление. — Помолчал. — Ну, наступили. А землю когда, барышня?

Зал молчал. Потом кто-то сзади сказал: «Во-во». Потом другой: «Землю — когда?» Потом загудели.

Лена сложила газету. Она не знала, что ответить. Она не знала, когда землю.

Рыжий усатый смотрел на неё. Не как в мае — не на губы, не на шею. В глаза. Тяжело, устало, по-крестьянски.

— Вы не знаете, — сказал он. — И они не знают. Никто не знает. — Он встал, надел папаху. — Пойду я, барышня. Спасибо за подснежники.

И ушёл. И за ним — половина зала.

В конце июня, вечером, у них снова был Яницкий.

Он пришёл к отцу — по делам Совета, — и Лена спустилась к ужину. Яницкий сидел за столом в своей шинели с оторванными погонами — он её не снимал никогда, ни в жару, ни в доме, будто без шинели переставал быть собой, — и говорил отцу:

— Наступление, Пётр Сергеевич, захлебнётся через неделю. Я фронт знаю. Я там два года. Солдаты не хотят. Они пошли — потому что Керенский плакал. А как немцы ударят —

побегут. И тогда — всё. Временное правительство сгниёт к осени. Как падаль. Само. Нам и делать ничего не придётся. Только подобрать.

— Вы говорите о русской армии, — сказала Лена. — О русских солдатах. Которые умирают. Как о падали.

Яницкий повернулся к ней.

Он посмотрел на неё — так, как смотрел в апреле, при первой встрече: быстро, цепко, сверху вниз. Как на лошадь. Задержал взгляд на шее. На груди. На губах.

— С вами, мадемуазель, спорить приятно, — сказал он. И усмехнулся. — Вы горячая. Как ваша мать, говорят.

Лена замерла.

— Вы… знали маму?

— Нет, — сказал Яницкий. — Где мне. Я томский, мадемуазель, но мне тридцать. Я её не застал. — Он отхлебнул чаю. — Но в Томске о ней помнят. Старики. На Болоте. Я вырос на Болоте, мадемуазель. У Ушайки. — Он поставил стакан. — Про неё такое рассказывают… Легенды.

— Какие легенды?

Яницкий посмотрел на отца. Отец сидел неподвижно. Очень неподвижно.

— Разные, — сказал Яницкий. И усмехнулся снова. — Спросите при случае у кого-нибудь из стариков. На Болоте. Или у князя Нехлюдова. Он, говорят, многое помнит.

— Хватит, — сказал отец.

Тихо. Но так, что Яницкий замолчал.

Больше о матери за ужином не говорили.

4.7. Улица Льва Толстого

Двадцать третьего июня исполнительный комитет обсуждал переименование улиц.

Это было в зале городской думы, вечером, при свечах — электричество по случаю кризиса было отключено, — и публики набилось много: переименования волновали город больше, чем наступление. Предлагалось: Бочановскую улицу — в Петропавловскую. Нечаевскую — в Потанинскую, в честь Григория Николаевича, который был ещё жив и, говорили, смущён. Соляной переулок — в Макушинский. И — главное — Почтамтскую. Главную улицу Томска. Ту, по которой шли манифестации, похороны, Первомай. Ту, на которой стояли гостиницы, банки, редакции, магазин Второва.

Почтамтскую предлагали переименовать в улицу Льва Толстого.

Лена узнала об этом утром из газеты — и бросила газету на пол.

— Толстого! — сказала она. — Папа! Толстого!

Отец пожал плечами.

— Ну что ж. Великий писатель. Мировая величина. Почему бы и нет.

— Почему бы и нет?! — Лена задохнулась. — Улица, по которой маму гнали в кандалах! По которой её водили в полицию! На которой жил этот… этот князь! Улица — имени человека, который оклеветал её на весь мир! Который написал, что она… что она — глупая, тупая, покорная! Падшая! Что её надо было спасать! Улица имени клеветника!

Отец смотрел на неё долго.

— Толстой не знал её, Леночка, — сказал он наконец. — Он писал со слов князя.

— Тем хуже!

Она пошла на заседание.

Она села в третьем ряду, с тетрадью, — будто для протокола, хотя её никто не просил. Слушала. Говорили долго. Член исполкома от эсеров — за: «Толстой — совесть России». Член от меньшевиков — за, с оговорками: «Толстой — великий художник, но реакционный мыслитель». Член от большевиков — Яницкий — против: «Толстой — помещик и проповедник

непротивления злу. Зачем нам улица имени непротивления? Мы и так достаточно не противились». В зале засмеялись.

А потом из публики встал старик.

Высокий. Очень высокий — выше всех в зале, хотя сутулился. Худой, костистый, с длинным, бледным, промытым лицом, с седой бородой, подстриженной коротко, по-английски. В толстовской блузе — серой, холщовой, подпоясанной ремешком, — но блуза была новая, хорошо скроенная, и ремешок — лакированный. Сапоги — мягкие, высокие, дорогие. В кармане блузы — книжечка в чёрном переплёте. Евангелие, догадалась Лена. Или «Круг чтения».

И руки.

Он поднял руку, прося слова, — и Лена увидела его руки. Белые. Длинные. Холёные. С отполированными ногтями. Руки, которые никогда в жизни не держали ни топора, ни плуга, ни скальпеля. Руки человека, который «опростился» двадцать лет назад и с тех пор каждое утро умывается холодной водой и полирует ногти.

«Руки белые. Оставил платок. Отдам бабам».

Лена узнала его раньше, чем председатель сказал:

— Слово имеет гражданин Нехлюдов. От партии народной свободы.

Кадет. Старый князь Нехлюдов, толстовец, отдавший землю мужикам, был членом конституционно-демократической партии. Лена чуть не засмеялась вслух.

Нехлюдов говорил долго. Голос у него был мягкий, красивый, проникновенный, с той особенной интонацией, с какой говорят люди, давно привыкшие, что их слушают со слезами. Он говорил о Толстом. О том, что знал его лично. Что был у него в Хамовниках, в девяносто девятом, и в Ясной Поляне, в девятьсот девятом, за год до смерти. Что Толстой — совесть России, и что новая, свободная Россия должна строиться на заветах Толстого: любви, непротивлении, опрощении, покаянии. Что улица имени Толстого — это не просто улица, это — знак. Знак того, что Россия избрала путь любви, а не насилия.

— Я сам, — сказал он, и голос его дрогнул, — я сам когда-то… Великий грех был на мне. Великий. И Лев Николаевич… его книга… она открыла мне глаза. Она меня — воскресила. Если бы не он…

Он не договорил. Утёр глаза.

В зале зааплодировали. Дамы в первых рядах достали платки.

Лена сидела в третьем ряду и смотрела на него. На его белые руки. На его промытое лицо. На его слёзы.

«Говорил о своих страданиях. Руки белые».

Вот он. Тот самый. Живой. Старый. Плачущий. Через двадцать восемь лет — всё тот же. Всё так же говорит о своих страданиях. Всё так же плачет на людях. Всё так же — воскрес.

Голосование отложили. Как потом выяснилось — навсегда. Почтамтская так и осталась Почтамтской.

После заседания Лена подошла к нему.

Он стоял в вестибюле думы, у колонны, окружённый дамами, которые благодарили его за речь. Он кланялся, улыбался, пожимал руки. Белые руки. Лена встала перед ним. Дамы расступились — что-то было в её лице.

— Князь Нехлюдов, — сказала она.

Он обернулся. С улыбкой. Вежливой, светской, благостной.

И увидел её лицо.

Улыбка застыла. Потом сползла. Лицо побелело — не постепенно, а сразу, как бумага. Он смотрел на неё — на глаза, на левый глаз, тот, что чуть косил, — и губы у него задрожали.

— Катюша? — сказал он шёпотом. — Катюша?..

— Её дочь, — сказала Лена.

Он схватился рукой за колонну.

Дамы зашептались. Кто-то спросил: «Князю дурно?» Кто-то побежал за водой.

— Дочь… — повторил он. — Дочь. Боже мой. Боже мой. Я знал… я слышал… что у неё… что она вышла… за студента… Трофимов… Я не знал, что… — Он смотрел на неё и не мог оторвать глаз. Слёзы текли по его лицу, по седой бороде. — Вы так похожи. Боже мой. Вы так похожи. Глаза. Глаз. Это её глаз. Катюша… Как она? Где она? Она жива?

— Она умерла, — сказала Лена. — В прошлом году. На каторге. От чахотки.

Он закрыл глаза.

— Господи, — сказал он. — Господи, помилуй. Господи… Я не знал. Я не знал. Если бы я знал… Я бы… я бы поехал… Я бы…

— Вы бы послали доктора, — сказала Лена. — Лучшего. Сами — не смогли бы. Вам было бы тягостно.

Он открыл глаза. Посмотрел на неё — непонимающе.

Она сама не знала, откуда взяла эти слова. Они пришли сами. Из тетради? Нет, в тетради такого не было. Откуда-то ещё. Из легенды. Из отцовского молчания. Из воздуха.

— Дитя, — сказал Нехлюдов. Он протянул к ней руку — белую, дрожащую. — Дитя моё. Я… я так виноват перед ней. Я погубил её. Я знаю. Я всю жизнь… всю жизнь каялся. Каждый день. Каждую ночь. Я молился за неё. Лев Николаевич… он написал… он написал, чтобы мир знал, как я… Она бы простила. Я знаю. Она простила. Она мне сказала тогда, в Томске, в остроге… Она бы простила, если бы…

Лена отступила на шаг. Его рука повисла в воздухе.

— Его нельзя простить, — сказала Лена, — потому что ему нечего прощать. Он не виноват. Он такой. Таких можно только судить.

Нехлюдов замер с протянутой рукой.

Он не узнал этих слов. Он не мог их узнать. Они были написаны в декабре девяностого года, при лампе, в избе у болота, неровным почерком, после того, как он уехал в своих санях с медвежьей полостью. Он их никогда не читал.

Но он понял.

— Вы… — сказал он. — Вы так меня ненавидите?

— Я вас презираю, — сказала Лена. — Вы оклеветали её. Вы рассказали графу, что она была… — Она запнулась. — Что она была тупая. Покорная. Падшая. Что вы её — спасали. Что вы — светлый, а она — в грязи. Вы положили её в грязь, чтобы самому стоять в белом. Чтобы плакать. Вот как сейчас.

Нехлюдов смотрел на неё. Долго. И в его промытых, светлых, мокрых глазах было что-то, чего Лена не понимала. Не обида. Не стыд. Растерянность. Глубокая, старческая, жалкая растерянность.

— Оклеветал? — сказал он тихо. — Дитя моё… Я… Она… Это было не… Она была…

Он не договорил.

И тут сзади, из толпы, раздался смешок.

Яницкий. В своей шинели с оторванными погонами. Он стоял у дверей, прислонившись к косяку, и смотрел на них с той самой усмешкой, с какой смотрел в апреле на отца.

— Что ж вы, князь, — сказал он громко, на весь вестибюль. — Расскажите барышне. Где вы её мамашу нашли. В девяностом-то году. На Болоте. Расскажите. Она хочет знать.

Нехлюдов побелел ещё больше. Хотя это казалось невозможным.

— Я… — сказал он. — Это… Она… Она была невинна! Невинна! Её осудили невинно! Это была ошибка! Присяжные забыли… Это я… я… я виноват, что… А потом — потом она… — Он задыхался. — Я хотел жениться! Я предлагал! Она отказала! Она ушла к Симонсону! А потом, когда Симонсон… когда она… в городе… Я приходил! Я был там! Я пытался… Я…

Он замолчал. Схватился за грудь.

Дамы подхватили его под руки. Кто-то нёс воду. Кто-то кричал: «Доктора!»

Лена стояла и смотрела.

Она не верила ему. Ни одному слову. «Я хотел жениться» — это было в романе. «Она отказала» — это было в романе. «Она ушла к Симонсону» — это было в романе. Он повторял роман. Свой роман. Графский. Ту самую сказку, которую он когда-то рассказал Толстому, — и теперь, через двадцать восемь лет, сам в неё верил. А «в городе», «я приходил», «я был там» — это он путался. Старик. Сбивался. Не мог вспомнить, что выдумал, а что было.

А Яницкий — Яницкий просто хотел позлить. Отца. Её. Князя. Всех. Он был такой.

Она так и подумала.

И пошла к выходу. Мимо Яницкого, который поклонился ей с усмешкой. Мимо дам. Мимо колонн. Не оборачиваясь.

Как мама — подумала она. Как мама шла от него через тюремный двор.

Она не знала, откуда это знает. Этого не было в тетради.

Через три дня служащие книжного магазина Макушина объявили забастовку.

Пётр Иванович Макушин — восьмидесятилетний, седой, крепкий, — основал в Томске первый книжный магазин в семьдесят третьем году, первую публичную библиотеку, первую типографию, Общество попечения о народном образовании, Дом науки. Тридцать пять лет — под надзором полиции. За «вредное направление». За книги, которые продавал. За газету, которую печатал. За ссыльных, которым помогал. Его знала вся Сибирь. Мать Лены, говорил отец, покупала у него книги ещё в девяностых.

Теперь его приказчики требовали шестичасового рабочего дня. Оклада не менее сорока рублей для новых сотрудников. Половины жалованья — семьям призванных на войну.

Макушин отказал. Почти во всём.

— Я тридцать пять лет — под надзором! — говорил он, стоя на крыльце магазина, перед пикетом из шести молодых приказчиков с плакатом «Долой эксплуататора!». — Тридцать пять лет за народ! Меня жандармы обыскивали! Меня в Иркутск высылали! А теперь — народ мне бойкот?! Это — я эксплуататор?! Я?!

Приказчики молчали. Один, молоденький, с прыщами, сказал:

— Вы, Пётр Иванович, тридцать пять лет за народ. А мы — по двенадцать часов за прилавком. За двадцать пять рублей.

Макушин побагровел и ушёл в магазин.

Приказчики принесли в «Сибирскую жизнь» призыв к бойкоту. Адрианов — редактор, старый друг Макушина, областник, — отказался печатать.

Отец был на стороне приказчиков.

— Это классовый конфликт, — сказал он. — Чистый. Хрестоматийный. Макушин — прогрессивный буржуа, просветитель, благодетель, — но он хозяин. А они — наёмные работники. И когда дело доходит до прибавочной стоимости — просветитель становится эксплуататором. Это закон.

Лена пошла к Макушину в тот же день. Через пикет.

Ей нужны были книги — новый атлас Тестю, учебник фармакологии Кравкова, — и она прошла мимо шестерых приказчиков с плакатом, не глядя на них, и вошла в магазин, и купила, и заплатила, — много, золотом, обменянным на кредитки. И вышла. И прыщавый приказчик у дверей сказал ей вслед: «Барышня — штрейкбрехер», — так же, как рыжий провизор у аптеки. Лена не обернулась.

Второй раз за месяц, подумала она. Штрейкбрехер. Я — штрейкбрехер. А отец — за забастовщиков. А мама?..

Мама покупала у Макушина книги. В девяностых. Мама бы — что?

Она не знала. Она ничего не знала про маму, кроме тетради, легенды и того, что Нехлюдов — лжец.

Двадцать девятого июня, в Петров день, она поехала на велосипеде к Белому озеру.

Жара не спадала. Белая пыль на дорогах. Тополиный пух — сугробами вдоль заборов. Она ехала по Заисточью, в белой блузке, в тёмной юбке, без шляпы, с развевающимися волосами, — и на площади у Белого озера наткнулась на крестный ход.

Старообрядцы. Белоозерская община. Несколько сот человек — бородатые мужики в длинных кафтанах, бабы в тёмных сарафанах и платках, повязанных под подбородком по-старому, — шли вокруг озера с иконами, с хоругвями, с пением. Пели по-старому, крюковым распевом, медленно, гулко, в унисон. Крестились двумя перстами.

Лена остановила велосипед у края дороги. Слезла. Смотрела.

Старухи в первых рядах увидели её. Барышню. Простоволосую. В юбке до щиколотки, а не до пят. С голыми руками — рукава блузки были засучены от жары. На бесовской машине о двух колёсах.

Одна — сухая, маленькая, как печёное яблоко, в чёрном, с медным восьмиконечным крестом на груди, — остановилась. Посмотрела на Лену. Долго, в упор. Потом перекрестилась двумя перстами. Широко, медленно.

И плюнула.

Не в Лену — под ноги. В пыль. Но так, чтобы Лена видела.

— Антихристова, — сказала старуха. — Простоволосая. На колёсах. Последние времена.

И пошла дальше, за иконой.

Лена стояла у велосипеда и смотрела ей вслед. И почему-то ей не было обидно. Ей было — смешно и немного жалко. И ещё что-то. Что-то вроде гордости.

Антихристова. Простоволосая. На колёсах.

Да. Пусть.

Она села на велосипед и поехала обратно, в город, через Заисточье, по пыльной дороге, — быстро, всё быстрее, — и ветер бил в лицо, и юбка хлопала по ногам, и волосы летели за спиной, и пух летел навстречу, как снег. Как снег в июне.

А далеко, за пять тысяч вёрст, в Галиции, под Тарнополем, наступление уже захлёбывалось. Немцы подтянули резервы. Солдаты отказывались идти в атаку. Полки митинговали прямо в окопах — идти или не идти. Через неделю, шестого июля, немцы ударят — и фронт побежит. Сотни тысяч в серых шинелях — назад, на восток, домой, бросая винтовки, пушки, раненых. Брать землю. Как велел матрос с маузером.

В Томске об этом ещё не знали.

В Томске была жара, пух, крестный ход, велосипед. И свет — до одиннадцати.

Конец четвёртой главы.



Глава 5. Заём свободы

И веют древними поверьями Её упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука.

А. Блок, «Незнакомка»

5.1. Сад

Холода пришли в ночь на четвёртое июля, сразу, без предупреждения, как приходит в дом дурная весть. Вечером ещё стояла духота, в мезонине нельзя было спать, и Лена лежала поверх одеяла с открытым окном, а к утру с Томи потянуло сырым ветром, по крыше застучало, и Фёкла внизу, ругаясь, искала в сундуке отцовскую фуфайку. Термометр за кухонным окном показал девять градусов. Через день — восемь. Дождь шёл не ливнем, а мелко, упрямо, по-осеннему, будто кто-то наверху решил, что лето было ошибкой, и тихо, без скандала, его отменял.

Лена пошла в Ботанический сад в первый же дождливый день, сама не зная зачем.

Сад был старый, университетский, разбитый ещё при основании, и она знала его с тех пор, как себя помнила. Отец водил её сюда по воскресеньям, когда ей было пять и шесть лет, и показывал грядки систематического отдела: здесь лютиковые, здесь розоцветные, здесь сложноцветные, — и она повторяла за ним латинские слова, не понимая их, как повторяют молитву. Здесь же, на дальних куртинах у оврага, росли растения, собранные по всей Сибири экспедициями старика Крылова, и среди них несколько, которые когда-то, в девяностых годах, принесла и отдала в сад мама. Об этом говорили отец и сам Крылов, когда Лена однажды, уже гимназисткой, пришла к нему с маминой папкой: Порфирий Никитич долго смотрел на гербарные листы, на крупный твёрдый почерк, гладил их сухими пальцами и сказал, что прострел с Кафтана у него принялся и до сих пор цветёт, вон там, на третьей грядке от сосны.

Теперь на третьей грядке от сосны стояла палатка.

В сад ещё в конце июня ввели солдат: казармы были переполнены, полки пополнялись, и кто-то в штабе гарнизона решил, что университетские постройки и роща пустуют летом без пользы. Солдаты заняли оранжерейный флигель и половину служебных помещений, а те, кому не хватило места под крышей, разбили палатки прямо на куртинах. Лена шла по главной аллее и видела то, чего не могла бы себе вообразить ещё месяц назад, хотя за весну видела многое. Систематический отдел был вытоптан до голой глины. На грядке с лютиковыми паслись три обозные лошади, и одна из них, гнедая, с белой ногой, сосредоточенно объедала куст, табличку с которого кто-то оторвал и бросил в лужу. Между двумя молодыми лиственницами, которые Крылов вырастил из семян, привезённых с Алтая, натянули верёвку, и на ней мокли портянки и рубахи. Под навесом у оранжереи горел костёр, и горели в нём оконные рамы, старые, с частыми переплётами, — Лена узнала их по белой краске: это были парниковые рамы, под которыми весной выгоняли рассаду.

Сторож, седой, в мокром брезентовом плаще, шёл за ней следом и бормотал, как бормочут люди, которым давно никто не отвечает:

— Сорок лет тут. При Крылове ещё поступил. Ни одной ветки не дали сломать. Гимназистов гонял, студентов гонял. Купеческого сына за сирень в участок свёл. А этих — кто их сгонит? Я сказал одному, этому вот, рыжему: что ж ты, говорю, делаешь, это ж наука. А он мне: была наука, дед, а теперь свобода. И винтовкой этак вот повёл. — Сторож показал, как повёл. — Свобода, барышня. Такое дело.

У оврага, на дальней аллее, раздался визг, потом смех, потом топот. Две курсистки в мокрых жакетах, придерживая юбки, бежали по дорожке, а за ними, не торопясь, вразвалку, как гонят в загон телят, шли трое солдат. Они не догоняли и, кажется, не собирались догонять: им было весело, что барышни бегут. Один, совсем мальчишка, конопатый, белобрысый, с гар-

монью на ремне, крикнул им вслед что-то такое, от чего курсистки побежали ещё быстрее, а двое других захохотали.

Потом конопатый увидел Лену.

Он остановился посреди грядки, расставив ноги в мокрых обмотках, и оглядел её снизу вверх, с той же весёлой бесцеремонностью, с какой, наверное, оглядывал у себя в деревне чужую скотину на ярмарке. Лена тоже остановилась. Бежать она не собиралась. Она посмотрела на его сапоги и сказала ровно, тем голосом, каким говорила на практических занятиях с самыми бестолковыми из первокурсников:

— Вы стоите на Pulsatilla patens, рядовой. Это прострел. Ему тридцать лет. Сойдите, пожалуйста.

Конопатый растерялся. Он посмотрел себе под ноги, на раздавленную бурую розетку листьев, потом на неё, потом на товарищей. Товарищи ждали, что он ответит, и он, покраснев до корней белёсых волос, ответил то, что отвечают все мальчишки, когда не знают, что ответить:

— А ты кто такая, чтоб мне указывать?

Но с грядки сошёл. И пошёл догонять своих, и через десять шагов растянул гармонь и заиграл что-то, нарочно громко, не оборачиваясь.

Лена присела над грядкой. Розетка была растоптана, листья вбиты в глину, но корень, толстый, деревянистый, уходил глубоко, и она знала, что прострел живуч: он растёт на голых склонах, на песке, на ветру, и переживает пожары. Может быть, весной поднимется. Если весной здесь будет сад.

На обратном пути, у конторы, она увидела в окне исполняющего обязанности ректора, профессора Сапожникова. Он сидел за столом в пальто, потому что в конторе не топили, и писал. Лена знала, что он пишет: в университете об этом говорили третий день. Он писал жалобу в штаб гарнизона, в Совет солдатских депутатов, в Комитет, губернскому комиссару — всем сразу, одинаковыми словами, о том, что солдаты угрожают сторожам, преследуют женщин и уничтожают научные коллекции, собранные за тридцать лет. Он писал аккуратно, разборчиво, с перечислением ущерба по пунктам, как пишут научный отчёт. Лена постояла под дождём и пошла дальше. Ей было ясно, что эту жалобу прочтут так же внимательно, как конопатый прочёл латинскую табличку.

Вечером пришли телеграммы из Петрограда.

Отец принёс их сам, из Совета, — смятые листки, переписанные от руки чьим-то торопливым почерком, — и, не снимая мокрого пальто, сел в столовой и разложил их на скатерти. В Петрограде третьего и четвёртого июля вышли на улицы полки и рабочие, требуя передать власть Советам. Кронштадтские матросы пришли с оружием. На Невском стреляли, были убитые. Правительство вызвало войска с фронта. А пятого числа в газете «Живое слово» напечатали заявление бывшего депутата Алексинского и ещё какого-то офицера контрразведки о том, что Ленин получает деньги от германского генерального штаба через стокгольмских посредников, и что у правительства есть доказательства, и что выдан ордер на его арест. Ленин скрылся. Редакцию «Правды» разгромили юнкера.

Лена читала эти листки через плечо отца и чувствовала то, чего стыдилась: торжество. Две недели назад, за самоваром, при Марье Павловне, она крикнула отцу, что Ленин немецкий шпион, и Марья Павловна её оборвала, а отец посмотрел устало и грустно, как смотрят на ребёнка, повторяющего то, что слышал на кухне. Теперь это печатали все газеты, и петроградские, и, завтра будет, томские. Она была права. Ей хотелось сказать это вслух, и она уже открыла рот, — и не сказала, потому что посмотрела на отца.

Он сидел над листками, не снимая очков, и лицо у него было такое, какого Лена у него не помнила. Не сердитое и не насмешливое. Растерянное. Он брал один листок, перечитывал, клал, брал другой. Пальцы у него, жёлтые от реактивов, мелко постукивали по скатерти.

— Алексинский, — сказал он наконец, не ей, а себе. — Алексинский. Его в Петрограде даже меньшевики не пустили в Совет за клевету. А его печатают. И верят. — Он снял очки. — Теперь будут верить. Теперь хоть Ленин сам выйди на Невский и покажи им свои карманы.

— А если правда, папа?

Отец поднял на неё глаза, близорукие, беззащитные без очков, и ничего не ответил. Лена поняла, что он и сам не знает, и что это пугает его больше любых юнкеров.

Яницкий пришёл в двенадцатом часу, без стука, мокрый насквозь, в своей шинели, от которой пахло дождём и махоркой. Он не поздоровался с Леной и сразу заговорил с отцом, быстро, вполголоса, но Лена слышала. Типография Макушина отказалась печатать «Голос свободы»: старик сказал, что немецкие деньги в его машины не пойдут. В другой типографии запросили втрое и вперёд. Бумаги нет. Кассы нет. Комитет может закрыть газету в любой день, и тогда в городе не останется ни одной большевистской строчки, — а через неделю придут солдаты и спросят, где правда, и им ответит Адрианов.

Когда Яницкий ушёл, отец долго сидел молча. Потом поднял голову и посмотрел на Лену — не прямо, а чуть мимо, куда-то в плечо, как смотрел всегда, когда ему было неловко.

— Леночка, — сказал он. — Ты, я знаю, зарабатываешь. Машинкой, перепиской. Стенографией твоей. Я не спрашиваю, сколько. Это твои деньги. Но если бы… рублей двести… На бумагу. В долг. Я верну с жалованья.

Он ни разу в жизни не просил у неё денег. Он давал: на гимназию, на книги, на платья, которые она перестала у него просить два года назад, на микроскоп, если бы она попросила, хотя она не попросила. Сейчас он сидел перед ней, сутулый, в мокром пальто, и ждал, и ему было стыдно ждать.

Наверху, за «Утром в сосновом лесу», в нише, лежало столько золота, что на него можно было купить «Голос свободы» вместе с типографией и наборщиками.

— У меня нет, папа, — сказала Лена. — Правда нет. Всё ушло. На учебники, на курсы. Я ещё за «Ундервуд» должна.

Она сказала это легко и сама удивилась, как легко. Голос не дрогнул. Отец кивнул, будто ничего другого и не ждал, сказал «ну конечно, конечно, что ты», встал и ушёл в кабинет. А Лена поднялась в мезонин и долго стояла у окна, за которым шёл дождь, и думала о том, что солгала отцу впервые в жизни, и что это оказалось совсем не трудно, и что мама сказала: «Не отдавай никому. Даже ему». Мама сказала. Значит, это не ложь. Значит, это верность.

Так она и решила. И легла, и уснула быстро.

5.2. Киоск

Седьмое июля было объявлено в Томске днём «Займа свободы», и город к нему готовился так, как готовился бы к крестному ходу и ярмарке разом.

Ещё весной Временное правительство выпустило заём: облигации по пять процентов, сроком на пятьдесят четыре года, — с тем чтобы граждане свободной России сами, из своих сбережений, оплатили войну до победного конца. В Петрограде и Москве по займу устраивали дни, шествия, концерты; дошла очередь и до Сибири. Комитет общественного порядка разослал по городу сборщиков, гимназисток с кружками, студентов с подписными листами. На Почтамтской, от Ямского переулка до Соборной площади, натянули поперёк улицы полотнища с надписями «Заём свободы — заём победы», а в окне у Второва выставили огромный плакат: солдат в шинели, с винтовкой, над окопом, и под ним — облигация, нарисованная так крупно, будто это тоже было оружие. Возле каждого банка, возле Гостиного двора, возле думы стояли киоски, обтянутые кумачом и украшенные ельником. Ельник за ночь намок, кумач полинял, и киоски к утру стали похожи на свежие могилы с венками, что заметили многие, но вслух сказал только один извозчик на Базарной площади.

Лена агитировала у киоска дамского комитета, против подъезда Сибирского торгового банка.

Дамский комитет по займу возглавляла Зинаида Павловна Кошеварова, вдова нотариуса, та самая, у которой лет двадцать назад по вторникам собиралось в Томске «мыслящее общество» и у которой когда-то подписывали адрес Эмилю Золя. Ей было под семьдесят. Она была маленькая, круглая, румяная, в белом платье с красной лентой через плечо, на которой бисером было вышито «Свобода», и смотрела на мир через лорнет на черепаховой ручке с таким выражением, будто мир ей что-то обещал и до сих пор не исполнил. Члены комитета, восемь дам и три барышни, тоже были в белом, с красными лентами, и всё утро, пока под мелким дождём не открылась подписка, спорили, допустимы ли при лентах зонтики. Одни говорили, что гражданка должна стоять под дождём, как солдат в окопе. Другие говорили, что солдат в окопе стоит в шинели, а у них маркизет. Зинаида Павловна решила спор так, как решала все споры за двадцать лет своих вторников, — повелела зонтики раскрыть, но держать их так, чтобы ленту было видно.

— Женщина свободной России, — говорила она, когда подходил народ, высоким, чуть дребезжащим голосом, отчеканивая каждое слово, будто диктовала нотариальный акт, — женщина свободной России несёт свои сбережения на алтарь Отечества. Не в сундук, не под подушку, господа, а на алтарь! Мы, женщины, ещё не получили права голоса. Но мы уже получили право давать!

Право давать пользовалось успехом. К одиннадцати часам у киоска выстроилась очередь. Подписывались чиновники казённой палаты, по пятьдесят и по сто рублей, с лицами людей, исполняющих тяжёлый долг. Подписывались лавочники, гимназические учителя, две монахини из Иоанно-Предтеченского монастыря, — эти подписались на двадцать рублей на двоих и долго считали мелочь. Подписался пароходчик, толстый, в чесучовой паре, на десять тысяч, и тут же потребовал, чтобы это напечатали в «Сибирской жизни», и чтобы напечатали с отчеством, и чтобы отчество было без ошибки, потому что в прошлый раз переврали. Зинаида Павловна заверила его через лорнет, что отчество будет без ошибки, и записала его в отдельную тетрадь, переплетённую в красный сафьян, которую завела специально для подписчиков свыше тысячи и называла «Золотой книгой».

Лена записывала в обычную тетрадь, в клеёнке, всех остальных.

У Гостиного двора, наискосок, с утра стояли двое большевиков из «Голоса свободы», и один, худой, в очках, с картузом в руке, кричал в толпу, не обращая внимания на дождь:

— Товарищи! Заём свободы — это заём войны! Это ваши копейки — на снаряды! Это ваши копейки — на то, чтобы вас же гнать в окопы! Ни копейки на империалистическую бойню!

Его слушали и не трогали. Только один купеческий приказчик, проходя, сказал ему ласково: «Поди, милый, получи свою копейку у Вильгельма», — и в толпе засмеялись, и приказчик был очень доволен, что вышло смешно, и пошёл подписываться на заём, хотя до этого не собирался.

Около полудня Лена отдала свою тетрадь соседке по киоску, румяной курсистке из Высших женских курсов, достала из сумочки кредитки, обменянные накануне за два червонца, и сама подписалась на сто рублей.

Это было не трудно и не жалко. Она давно знала, что так сделает, — с той минуты, как её позвали в комитет. Ей нравилось, что она дала не меньше чиновника казённой палаты и больше учителя гимназии. Ей нравилось расписываться в собственной тетради. Курсистка смотрела на неё с уважением: для курсистки сто рублей были месяцем жизни, комнатой, обедами и книгами. Зинаида Павловна навела на Лену лорнет и сказала: «Браво, душенька. Браво. Вот она, новая женщина», — и Лена почувствовала, что краснеет, и ей стало ещё приятнее.

Облигации тут же, у киоска, не выдавали: выдавали квитанцию, а облигации обещали прислать из банка. Квитанция была серая, на плохой бумаге, с синим штемпелем. Лена сложила её вдвое и убрала в сумочку.

Потом пошла обедать и по дороге свернула на Магистратскую.

Шляпа висела в окне у мадам Бурдо уже неделю. Соломенная, светлая, широкополая, с низкой тульёй, обвитой лиловой лентой, а на ленте, сбоку, гроздь вишен — не настоящих, конечно, а из воска и лака, тяжёлых, тёмно-красных, блестящих так, что хотелось попробовать на зуб. Шляпа была совсем не для томского лета, тем более не для этого, нынешнего, с его восемью градусами. Она была для Ялты, для Кисловодска, для набережной, для солнца. Лена увидела её неделю назад, проезжая мимо на велосипеде, и с тех пор, проезжая, смотрела. Сегодня она вошла.

Мадам Бурдо, которая на самом деле была Бурдина, Агриппина Семёновна, и говорила по-французски только «шарман» и «мерси», сняла шляпу с болвана и надела на Лену, поворачивая её голову обеими руками к зеркалу, как поворачивают на выставке бюст.

— Шарман, — сказала она. — Сто двадцать пять. Последняя. Вишни из Москвы, таких больше не будет. Москва теперь ничего не шлёт.

Лена смотрела в зеркало. Из-под широких полей на неё глядела темноволосая девушка с бледным лицом, и вишни лежали у её виска, как у тех дам на журнальных картинках, которые катаются в ландо по Булонскому лесу. Сто двадцать пять. Она подумала о серой квитанции в сумочке. Подумала, что это смешно, и что смеяться тут нечему. Достала деньги и расплатилась.

Шляпу ей завернули в круглую картонку с лентой. Выходя, она прошла мимо магазина Второва, у которого с ночи стояла очередь за мануфактурой — бабы в мокрых платках, старики, мальчишки, которых родители поставили держать место, какая-то женщина с младенцем, спавшая сидя прямо на тротуаре на мешке, — и прошла не задерживаясь, неся картонку немного на отлёте, чтобы не намокла.

После обеда дождь почти перестал, и у киоска стало людно. Лена записывала, Зинаида Павловна вещала, монахини давно ушли, пароходчик вернулся проверить, правильно ли записано отчество. Около четырёх часов курсистка толкнула Лену локтем:

— Смотрите, какой.

Он шёл по Почтамтской под большим чёрным зонтом, без спешки, огибая лужи так, как огибают их люди, никогда в жизни не наступавшие в лужу. Светлый костюм сменился серым, канотье — мягкой фетровой шляпой, но Лена узнала его раньше, чем различила лицо. По походке. По тому, как он держал зонт — чуть наклонив, будто дождь был не стихией, а неловким собеседником, от которого вежливо отворачиваются.

Гомаровский подошёл к киоску, сложил зонт, приподнял шляпу перед Зинаидой Павловной, перед дамами и, последней, перед Леной, и сказал, ни к кому в особенности не обращаясь:

— Говорят, здесь принимают пожертвования на демократию.

— На заём, сударь, — поправила Зинаида Павловна, направив на него лорнет. — Это не пожертвование. Это вложение. Пять процентов годовых, гарантия правительства.

— Тем лучше, — сказал Гомаровский. — Я присяжный поверенный, мадам. Я всю жизнь имел дело с гарантиями правительства. — Он повернулся к Лене. — Одну облигацию, мадемуазель. Сто рублей. Запишите, пожалуйста.

Лена записала. «Гомаровский Е. С., прис. пов., 100 р.». Рука не дрогнула, и она этим гордилась. Он отсчитал кредитки, она выписала квитанцию, промокнула и протянула ему.

Он не взял.

— Пусть останется у вас, — сказал он.

— Простите?

— Квитанция. А потом облигация. Пусть останется у вас. — Он чуть улыбнулся, одними складками у рта. — Видите ли, мадемуазель, я человек приезжий. Сегодня здесь, завтра в Харбине. А вы, я вижу, патриотка и, вероятно, проживёте в Томске ещё долго. Сохраните её. Через год мы с вами посмотрим, во что вы вложились.

— Мы? — переспросила Лена.

— Вы. Я уже знаю.

Дамы вокруг замолчали. Зинаида Павловна, не опуская лорнета, переводила его с Гомаровского на Лену и обратно, и в её круглом румяном лице проступало то давнее, вторничное выражение, с каким она, бывало, слушала новости о чужих браках и чужих банкротствах. Курсистка открыла рот. Лена стояла с квитанцией в руке и понимала, что вернуть её нельзя. Вернуть — значило устроить сцену у киоска займа, при дамском комитете, при «Золотой книге», при пароходчике, и объяснять, почему она, агитатор займа свободы, отказывается принять облигацию займа свободы. Он это знал. Он и это знал заранее.

Она положила квитанцию в сумочку, рядом со своей.

И тут же, к собственному удивлению, почувствовала, что ей хорошо. Не неловко, не досадно, а хорошо, тепло, как бывает, когда с мороза входишь в натопленную комнату. Она подняла на него глаза, и он, должно быть, увидел в них что-то, потому что улыбнулся уже не одними складками, а по-настоящему, коротко, с удовольствием, как улыбается знаток, когда в лавке старьёвщика под пыльным хламом находит то, за чем пришёл.

— Надеюсь, ваши вещи с тех пор не пропадали, — сказал он негромко.

— Нет. Благодарю вас.

— Это хорошо. Хотя, по правде сказать, я бы не огорчился.

Он раскрыл зонт, ещё раз приподнял шляпу и ушёл в сторону «Европы», не оборачиваясь.

Зинаида Павловна опустила лорнет.

— Кто это, душенька? — спросила она, и все дамы разом посмотрели на Лену. — Какой интересный мужчина. Петербургский, сразу видно. — Она помолчала, разглядывая Лену так, как будто впервые увидела. — Ваша матушка, помнится, тоже умела выбирать интересных. Помню, помню. Она бывала у меня. Ещё до вашего рождения.

— Мама? — Лена повернулась к ней. — Вы знали маму?

— Кто ж в Томске её не знал, — сказала Зинаида Павловна неопределённо и вдруг, словно спохватившись, захлопотала, повернулась к очереди и закричала дребезжащим голосом: — Граждане! Подходите! До закрытия час! Женщина свободной России…

Больше Лена ничего из неё не вытянула, ни в тот день, ни потом.

Вечером в Комитете подсчитали: по Томску в день займа собрано два миллиона рублей. Цифру напечатали на следующий день в «Сибирской жизни» на первой полосе, а пароходчика — на второй, с отчеством, без ошибки.

В мезонине Лена положила шляпу с вишнями на комод, перед маминым зеркалом, а две серые квитанции — на стол, рядом с микроскопом. Свою и его. Они были совершенно одинаковые. Только в одной было написано «Трофимова Е. П.», а в другой — «Гомаровский Е. С.», и почерк в обеих был её.

5.3. Редакция

Известие о Тарнополе пришло в Томск десятого июля, и пришло так, как теперь приходили все известия: сначала слухом, потом телеграммой, потом опровержением телеграммы, потом снова телеграммой, уже без опровержения.

Шестого июля, писали газеты, германские войска при поддержке австрийских нанесли удар у Тарнополя, в Галиции, в стыке армий Юго-Западного фронта. Войска, которые две недели назад, после речей Керенского, пошли в наступление, побежали. Побежали не полками — дивизиями. Бросали окопы, пушки, обозы, раненых, склады. Полки митинговали, уходить или не уходить, а пока митинговали, немцы занимали деревни. Генералы слали в Ставку телеграммы, одна страшнее другой, и одну из них, генерала Корнилова, газеты перепечатывали целиком: армия обезумевших тёмных людей, бегущих без оглядки. Тарнополь пал одиннадцатого.

Лена прочла это в клинике, в коридоре, где газета ходила по рукам от ординатора к сестре, от сестры к санитару, и каждый, дочитав, складывал её и молча отдавал следующему. Сестра милосердия, та самая, что в ночь облавы крестилась над столиком, перечитала телеграмму Корнилова дважды, шевеля губами, и сказала: «У меня там двое». Больше ничего не сказала. Лена подумала о рыжем усатом солдате из Дома науки, который спрашивал, когда землю. Где он сейчас, она не знала. Может быть, здесь, в гарнизоне. Может быть, уже там, в Галиции, бежит. Может быть, уже не бежит.

Восьмого Керенский стал министром-председателем, сохранив за собой военное министерство. Двенадцатого правительство восстановило на фронте смертную казнь, отменённую в марте в числе первых декретов свободы, и учредило военно-революционные суды. Газеты печатали эти постановления рядом, на одной полосе, и между ними — объявление о продаже кровного рысака и уроки французского языка по методе Берлица.

Тринадцатого числа Лена понесла в «Сибирскую жизнь» заметку.

Заметку написали в Доме науки, о вечерних чтениях для неграмотных: сколько человек ходит, что им читают, о чём спрашивают. Отпечатала её Лена на своём «Ундервуде», и её же попросили отнести, потому что редакция была по дороге из клиник, а Лену в редакции знали: она второй месяц носила туда отчёты Дома науки. Редакция помещалась на Почтамтской, в старом каменном доме, на втором этаже, и лестница туда пахла типографской краской, мокрой бумагой и табаком так густо, что, поднимаясь, можно было, кажется, прочесть завтрашний номер.

Секретарь велел ей подождать у кабинета редактора. Дверь была приоткрыта.

Александру Васильевичу Адрианову было за шестьдесят. Лена видела его прежде мельком, в думе и на митингах: седой, бородатый, сухой, в старомодном сюртуке, с лицом сибирского учителя, каким он и был когда-то. Он прожил в Томске почти сорок лет, был археологом, исследователем Саян, и Урянхайского края, и Алтая, собирал писаницы, писал статьи о Потанине и для Потанина, сам сидел в тюрьме за статьи, а газету свою вёл так, как ведут научную экспедицию: без устали, упрямо, не обращая внимания на погоду. Сейчас он сидел за столом, заваленным гранками, и читал корректуру, держа перо в зубах.

Лена ещё раздумывала, стучать ли, когда по лестнице за её спиной загремели сапоги.

Яницкий поднимался через ступеньку, а за ним двое солдат, оба с винтовками за плечами, оба молодые, мрачные, с тем особенным выражением, какое бывает у людей, которых привели и которые ещё не решили, зачем пришли. Яницкий прошёл мимо Лены, словно не заметив её, толкнул дверь кабинета и вошёл. Солдаты остались в дверях.

Адрианов поднял голову, вынул перо изо рта и положил его на гранки.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Прапорщик Яницкий. Член исполкома Совета солдатских депутатов, — сказал Яницкий. Он не сел, хотя стул перед столом был свободен. — Я по поводу вашей статьи в среду. О германских деньгах. О товарище Ленине.

— Это перепечатка. Из петроградских газет. С указанием источника.

— Это клевета, — сказал Яницкий. Голос у него был негромкий, ровный, но Лене за дверью стало холодно. — Клевета, которую распускает буржуазная контрразведка, чтобы задушить революцию. И которую вы, гражданин редактор, перепечатываете на всю Сибирь. Мы вас предупреждаем. Если «Сибирская жизнь» ещё раз позволит себе это, Совет примет меры.

— Какие же, позвольте узнать?

Яницкий помолчал.

— Не судебные, — сказал он.

Солдаты в дверях переступили с ноги на ногу. Секретарь редакции, стоявший у стены, побледнел. Лена держала в руке свою заметку о чтениях для неграмотных и чувствовала, что пальцы смяли её край.

Адрианов посмотрел на Яницкого поверх очков долгим, внимательным, ничуть не испуганным взглядом, каким, наверное, смотрел когда-то на каменные писаницы на скалах Енисея, — на что-то древнее и интересное, требующее точного описания.

— Молодой человек, — сказал он, — мне шестьдесят три года. Я печатался при Победоносцеве. Меня закрывали при Плеве. Меня сажали при Столыпине. Меня цензура не пугала, а она была, поверьте, учреждение серьёзное, с образованием. Вы мне угрожаете — что ж, это ваше право, у нас теперь свобода. А печатать я буду то, что сочту нужным. Если товарищ Ленин не брал немецких денег, пусть он придёт в суд и это докажет. Я первый это напечатаю. На первой полосе. — Он снова взял перо. — А теперь извините. У меня номер.

Яницкий постоял ещё мгновение, потом коротко усмехнулся, повернулся и вышел. Солдаты, помедлив, пошли за ним.

На лестнице Яницкий увидел Лену. Остановился, будто только что её заметил, хотя она знала, что он видел её, проходя наверх. Солдатам он кивнул: «Ступайте, догоню», — и они, гремя сапогами, ушли вниз, а он встал на ступеньку ниже Лены, так что их глаза оказались вровень.

— Подслушиваете, мадемуазель Трофимова?

— Я принесла заметку.

— Вижу. — Он посмотрел на смятый край листа. — Дом науки. Просвещение народа. Похвально. — Он помолчал. — А ваш батюшка, между прочим, сегодня искал денег на бумагу для нашей газеты. По всему городу. Нашёл, говорят, тридцать рублей. Не богаты профессора нынче.

Лена ничего не ответила. Она смотрела на его шинель с оторванными погонами, на лоснящиеся обшлага, на руки, сунутые в карманы, и думала, что надо пройти мимо, просто пройти, и не проходила.

— А вот матушка ваша, — продолжал Яницкий, и в голосе его появилась та ленивая, почти добродушная интонация, которую Лена помнила по ужину в конце июня, — матушка ваша, говорят, не бедствовала. В девяностых-то годах. Вы спросите при случае у батюшки, на какие деньги она кружок держала. Он ведь тогда студентом был, без копейки, чахоточный. Квартиры, типография, беглые, — это всё денег стоит, мадемуазель. А на Болоте до сих пор помнят, что деньги у неё водились. Откуда — разное говорят. — Он улыбнулся. — Старики врут, конечно. Старики всегда врут.

— Это деньги партии, — сказала Лена. Она сказала это раньше, чем подумала, и тут же поняла, что сказала лишнее.

— Какой партии? — с интересом спросил Яницкий.

Лена молчала. Он подождал, потом пожал плечами.

— Ну, партии так партии, — сказал он. — Вам виднее. Вы дочь.

— Вы, прапорщик, сейчас угрожали старику, который вас втрое старше, — сказала Лена, и голос её зазвенел на всю лестницу, так что внизу, у типографии, кто-то поднял голову. — Сначала старику. Потом женщинам на кладбище? Вы ведь за этим и вернулись с фронта? Сражаться с редакторами и сплетничать о мёртвых? Там, под Тарнополем, сейчас бегут наши солдаты. Вам бы туда.

Яницкий перестал улыбаться. Несколько секунд он смотрел на неё молча, и Лена подумала, что он сейчас ударит её, — так изменилось у него лицо. Потом он отступил на ступеньку вниз, медленно, будто давая ей пройти.

— Горячая, — сказал он. — Это мы уже знаем.

И сбежал по лестнице, не оборачиваясь.

Лена отдала заметку секретарю, который смотрел на неё круглыми глазами, и спустилась на улицу. Шёл дождь. По Почтамтской, мимо гостиницы «Метрополь», вели под руки пьяного, а у самого подъезда «Метрополя», на ступенях, распоряжался Очумелов. Вчера, в объявлен-

ные Комитетом «дни трезвости», в гостинице нашли спрятанный в подвале коньяк, и теперь Очумелов в фуражке с красной кокардой лично выносил ящики к подводе и громко объяснял собравшимся, что коньяк конфискован в пользу революции и отправляется на экспертизу. «На какую экспертизу, Елисей Петрович?» — спросил кто-то из толпы. «На химическую, — сказал Очумелов строго. — Может, это и не коньяк вовсе. Может, это яд. Контрреволюционный». Елдырин, придерживая ящик, задумчиво кивал.

Лена прошла мимо, не засмеявшись, хотя в другой день засмеялась бы.

Дома она, не раздеваясь, поднялась в мезонин, заперла дверь на крючок и отодвинула «Утро в сосновом лесу». Ниша была на месте. Свёртки лежали так, как она их сложила: червонцы в холсте, кредитки в клеёнке, бархатная коробочка, синяя думка с надписью «Ленке на приданое». Всё было на месте. Ничего не могло пропасть, потому что никто, кроме неё, не знал. Она это понимала. Она пересчитала свёртки, потом развернула один и пересчитала червонцы, потом завернула обратно, — медленно, тщательно, как опытный провизор пересчитывает сильнодействующее.

Деньги партии, сказала она Яницкому. Марья Павловна сказала: касса. Марья Павловна не спрашивала, а мама не говорила.

А думку зашила не мама. И подписала не мама. Мама писала крупно и твёрдо.

Лена закрыла дверцу, повесила медведей на место и спустилась ужинать. Отец пришёл поздно, усталый, и за ужином рассказывал о Тарнополе, а она слушала и ни о чём его не спросила.

5.4. Билет

Губернский комитет партии социалистов-революционеров занимал две комнаты над бакалейной лавкой на Магистратской, и, поднимаясь по узкой деревянной лестнице, Лена вдыхала поочерёдно то запах корицы и мыла снизу, то запах махорки и сургуча сверху, и ей казалось, что так и должна пахнуть революция в губернском городе: пополам.

В первой комнате было тесно, шумно и накурено. Вдоль стен лежали кипы газеты «Путь народа», перевязанные бечёвкой, на подоконнике стоял остывший самовар, на столе — три чернильницы, из них одна без крышки, и гора брошюр с одинаковыми серыми обложками. Над столом висел большой фотографический портрет Брешко-Брешковской: старушка в чёрном, в шали, с внимательными добрыми глазами, — и Лена, увидев его, вспомнила перрон на станции Тайга, тот, мартовский, и гиацинты в своей руке, которые никому не понадобились. Под портретом двое молодых людей в косоворотках, перебивая друг друга, составляли воззвание к крестьянам Мариинского уезда и спорили, писать ли «граждане» или «братья». Третий, постарше, с бородой и в пенсне, стучал одним пальцем по старому «Ремингтону» и время от времени говорил: «Чёрт», — так, будто это было техническое указание.

— Вот, — сказала Марья Павловна, подведя Лену к столу. — Это Трофимова. Елена Петровна. Дочь Катерины Михайловны.

Человек в пенсне перестал стучать и посмотрел на Лену. Молодые люди перестали спорить. Лена поняла, что имя её матери здесь знают, и знают по-особому, как в иных семьях знают имя святого, которого поминают на именинах. Человек в пенсне встал, вытер руку о брюки и протянул ей.

— Очень рад, — сказал он. — Очень. Мы ждали, что вы придёте. Марья Павловна говорила.

Лена хотела сказать, что ещё не решила, что пришла только посмотреть, — и не сказала. Она решила давно. Ещё у калитки, в июне, когда сказала Марье Павловне «подумаю». Нет, раньше: в Тайге. Нет, позже: позавчера, на лестнице в редакции, когда Яницкий спросил, какой партии. Она не знала точно когда. Она знала, что причин было много и что не все они были хороши, и что, кроме мамы, и легенды, и Марьи Павловны, там был ещё отец, сидящий над телеграммами о немецких деньгах, и его «рублей двести», и её «у меня нет», и Яницкий на

лестнице. Ей хотелось быть по другую сторону от всего этого. Вот здесь. Где портрет бабушки и пахнет корицей.

Её записали в толстую конторскую книгу: фамилия, имя, отчество, год рождения, род занятий — «студентка медицинского факультета». Выдали членский билет — четвертушку плотного картона с напечатанным текстом, куда от руки вписали её фамилию и номер, а внизу поставили лиловый штемпель губернского комитета. Номер был четыреста двенадцатый.

— Взнос — рубль в месяц, — сказал человек в пенсне. — Для учащихся можно пятьдесят копеек.

Лена открыла сумочку и положила на стол десятирублёвую бумажку.

Она сделала это не думая и, только положив, поняла, что сделала. Молодые люди в косоворотках переглянулись. Человек в пенсне смущённо закашлялся и начал выписывать квитанцию. А Марья Павловна, стоявшая рядом, посмотрела на бумажку, потом на Лену, и лицо её, тёмное, сухое, неподвижное, вдруг потеплело.

— Катерина Михайловна отдавала последнее, — сказала она негромко. — Всегда. Я на Мальцевской не помню, чтобы у неё оставалось что-нибудь до вечера. Хлеб, сахар, бумагу, нитки — всё раздавала. Вы в неё.

Лена покраснела так, что почувствовала это ушами. Последнее у неё лежало за медведями в нише, и десять рублей от него было то же, что напёрсток от ведра. Она сказала «спасибо», — неизвестно за что, — и отвернулась к портрету бабушки, чтобы не смотреть Марье Павловне в глаза.

Человек в пенсне, выписав квитанцию, оглядел её с новым интересом.

— Елена Петровна, — сказал он осторожно. — Вы ведь, Марья Павловна говорила, на машинке… Вы бы не могли… Вот это воззвание. И ещё протокол. И резолюцию. Я, видите, одним пальцем, а их у меня к вечеру надо в Мариинск…

Через пять минут Лена сидела за «Ремингтоном», а человек в пенсне стоял за её спиной и смотрел, как её пальцы бегают по клавишам, с таким благоговением, с каким, наверное, крестьяне Мариинского уезда смотрели бы на паровую молотилку. Молодые люди в косоворотках диктовали ей воззвание наперебой, и она печатала «граждане», и, когда они спорили, перепечатывала «братья», и снова «граждане», и наконец сама решила: «граждане и братья», — и оба остались довольны.

Тут, в разгар воззвания, в комнату ворвался ещё один молодой человек, в студенческой тужурке, с газетой, и закричал с порога, размахивая ею:

— Читали? Смертная казнь! На фронте! Керенский! Наконец-то! Наконец-то твёрдая власть! Теперь они узнают! Теперь дезертиров — к стенке, и фронт встанет! Это наш министр, товарищи! Наш!

Он был радостен, как гимназист, получивший пятёрку. Молодые люди в косоворотках закричали «браво». Человек в пенсне сказал, что это, конечно, мера временная и вынужденная, но в создавшемся положении… И все повернулись к Марье Павловне, как поворачиваются к старшей.

Марья Павловна стояла у окна, спиной к ним. Она взяла у студента газету, развернула её и долго читала, держа на вытянутой руке, потому что была дальнозорка и стеснялась очков.

— Временно, — сказала она наконец. — Для спасения фронта. Да. Пока не кончится развал. Иначе…

Она не договорила. Лена подняла руки от клавиш и ждала.

— Иначе немцы будут в Киеве, — сказала Марья Павловна. — Да. Иначе…

И опять не договорила.

Она опустила газету и стояла, глядя в окно, на мокрую Магистратскую, на лавки, на извозчика под рогожей, на баб с корзинами. Лена видела её профиль: сухой, тёмный, с впа-

лой щекой, с плотно сжатыми губами. Губы шевельнулись, будто Марья Павловна продолжала говорить про себя, споря с кем-то, и смолкли.

— Я видела, как вешают, — сказала она вдруг, не оборачиваясь. — В девятьсот седьмом. В Иркутске, во дворе. Двоих. Одному было девятнадцать. Они висели сутки, их не снимали, для острастки. Мы смотрели из окна камеры. Нас нарочно водили к этому окну. — Она помолчала. — Мы сорок лет писали в программе: отмена смертной казни. Первым пунктом после свободы слова. Мы за это… — Она снова замолчала.

Студент с газетой переминался у двери. Человек в пенсне снял пенсне и стал протирать его, как протирал очки отец, когда не знал, что сказать.

— Временно, — повторила Марья Павловна совсем тихо. — Для спасения фронта.

Потом свернула газету, положила её на подоконник, повернулась к столу и сказала обычным, сухим, деловым голосом:

— Лена, допечатайте воззвание. Его ждут в Мариинске.

И больше в тот день о казни не говорили.

Но Лена, печатая «граждане и братья», думала о другом. Она думала, что впервые видит, как Марья Павловна не знает, что сказать. Что у Марьи Павловны, у которой всё было ясно, как в Новом Завете, где одни — праведники, другие — мучители, а между ними лишь вера, — у неё тоже есть место, куда она боится смотреть. И что это место, может быть, не одно.

Домой она вернулась поздно. Отец был на заседании. Фёкла дремала у печки.

Лена поднялась в мезонин, зажгла свечу и достала с полки кафтанскую тетрадь в чёрной клеёнчатой обложке. Она открыла её не на первой странице и не на последней, а там, в середине, где была неровная бахрома от вырванных листов, — несколько страниц, вырванных давно, ещё до неё, торопливой рукой, у самого корешка. Лена не знала, что на них было. Она часто трогала эту бахрому пальцами, как трогают шрам.

Она положила членский билет номер четыреста двенадцать туда, между бахромой и следующей уцелевшей страницей, и закрыла тетрадь.

5.5. Равноправие

Двадцатого июля Временное правительство утвердило Положение о выборах в Учредительное собрание, и в нём, в первых же статьях, было сказано то, о чём в Томске говорили с марта, а в России — полвека: право голоса принадлежит российским гражданам обоего пола.

Обоего пола. Газеты набрали эти слова вразрядку. Петроградская «Речь» назвала их историческими. «Сибирская жизнь» напечатала передовую о том, что Россия, ещё вчера отсталая, обогнала Англию и Францию, где суфражистки били витрины и сидели в тюрьмах, а русская женщина получила своё право без битья витрин, — и это была, кажется, первая передовая за всё лето, которую Адрианов написал с удовольствием.

Зинаида Павловна Кошеварова отметила событие чаепитием.

Она объявила его «внеочередным вторником», хотя было двадцать второе, суббота, и разослала приглашения дамам комитета, нескольким курсисткам, жене губернского комиссара, вдове генерала Перфильева, двум учительницам из Мариинской гимназии и Лене. Пригласила и мужчин, «для порядку», — своего племянника, прапорщика из тридцать второго полка, и старого юриста из казённой палаты, который пришёл, по его собственным словам, «посмотреть, как это будет».

В гостиной Зинаиды Павловны за двадцать лет почти ничего не переменилось, и Лена, которая была здесь впервые, всё время ловила себя на мысли, что за этим столом, под этой самой люстрой с хрустальными подвесками, на этих стульях с гнутыми ножками когда-то сидела мама. Двадцать лет назад, на тех самых вторниках. Слушала, как спорят про Дрейфуса, пила тот же чай из тех же синих чашек с золотым ободком. Лена посмотрела на свою чашку и подумала, что, может быть, именно из неё. Ни у кого спросить было нельзя. Зинаида Пав-

ловна, когда Лена попробовала завести разговор о маме, тотчас вспомнила про варенье и ушла в буфетную.

Говорили о выборах.

— Я не понимаю одного, — сказала вдова генерала Перфильева, большая, белая, в лиловом шёлке, с бриллиантовой брошью в виде подковы. — Голосовать, хорошо. Но где голосовать? Неужели надо будет идти самой? На участок? Пешком? Где эти участки будут? В участках?

— В школах, Аглая Петровна, — сказала учительница. — В городских училищах. В управе.

— В училищах! — Генеральша приложила руку к груди. — В ноябре! В мороз! Мимо этих… солдат!

— Можно взять извозчика.

— Где вы видели извозчика в ноябре в день, когда все поедут голосовать?

Этот довод оказался неотразим, и минут десять обсуждали, можно ли будет голосовать на дому или хотя бы по почте, и юрист из казённой палаты, кашляя в кулак, объяснял, что по почте нельзя, а на дому тем более, и что сие есть сущность тайного голосования, и что, господа, давайте не будем.

Потом молоденькая жена губернского комиссара, краснея, спросила, обязательно ли голосовать так, как голосует муж.

— А как же иначе? — удивилась генеральша.

— Ни в коем случае! — вскричала одна из курсисток. — Это ваше личное право! Ваше, а не мужа!

— Но если муж за кадетов, а я за социалистов, — растерянно сказала комиссарша, — то наши голоса просто отменят друг друга. И выйдет, будто никто из нас не голосовал. И зачем тогда идти по морозу?

Юрист из казённой палаты кашлянул так, что пришлось подать ему воды.

Зинаида Павловна, раскрасневшаяся, с лорнетом, предложила послать приветственную телеграмму министру-председателю Керенскому от имени «женщин свободного Томска», и следующие три четверти часа сочиняли телеграмму. Писали «восторженное», потом «глубокое», потом «восторженное и глубокое». Спорили, упомянуть ли Бочкарёву, томичку, батальон смерти, — одни говорили, что это прекрасно, что это пример, другие — что неуместно, при чём тут батальон, речь о выборах. Упомянули. Потом вычеркнули. Потом снова вписали. Прапорщик-племянник, который сидел в углу и смотрел на всех круглыми глазами, предложил написать короче, потому что телеграф берёт за слово. На него посмотрели так, что он больше не открывал рта.

— А теперь, дамы, — сказала Зинаида Павловна, когда телеграмма наконец была переписана набело и положена на поднос рядом с вареньем, — нам надо подумать о будущем. Наш комитет должен обновиться. Нам нужна молодёжь. Свежие силы. Я предлагаю избрать в бюро комитета Елену Петровну Трофимову. Вы все её видели седьмого числа. Она — новая женщина. Студентка. Агитатор займа. И к тому же — член партии социалистов-революционеров, как мне говорили. — Она навела на Лену лорнет. — Ведь так, душенька? Вам ведь уже двадцать?

— Девятнадцать, — сказала Лена.

В гостиной стало тихо.

— Как девятнадцать? — спросила Зинаида Павловна.

— Мне двадцать будет в феврале.

— Но ведь… — Зинаида Павловна опустила лорнет и растерянно посмотрела на юриста. — Ведь голосуют с двадцати?

— С двадцати, — подтвердил юрист. — Статья вторая. Коим ко дню выборов исполнилось двадцать лет.

— Значит, Елена Петровна…

— Не голосует, — сказал юрист. — Ни за кадетов, ни за социалистов. Ни за кого.

Лена сидела с синей чашкой в руке и смотрела в чашку. Она знала это. Она знала с самого утра, когда прочла Положение в газете, ещё до чаепития, и тогда же, за завтраком, сосчитала по пальцам и поняла. Но одно дело — знать за завтраком, одной, и совсем другое — слышать, как это говорят вслух, при генеральше, при курсистках, при комиссарше, которая не может решить, отменит ли её голос голос мужа. Студентка медицинского факультета, полноправная с марта. Агитатор займа, собравшая в своей тетради за один день четыре с лишним тысячи рублей. Член партии социалистов-революционеров, билет номер четыреста двенадцать. Не голосует.

— Это ничего, это пустяки, — заторопилась Зинаида Павловна. — Это же совсем скоро, душенька. Семь месяцев. Семь месяцев — и вы гражданка!

— Выборы в ноябре, — сказал юрист.

— Ну, к следующим выборам.

— А солдаты? — спросила вдруг одна из курсисток. — Солдаты тоже с двадцати?

— Военнослужащие, — сказал юрист, — с восемнадцати. Особое примечание. Носящий оружие за отечество — признан гражданином досрочно.

Курсистка ахнула. Прапорщик-племянник в углу, которому, как выяснилось потом, было девятнадцать, приосанился. А Лена вспомнила Ботанический сад, дождь, раздавленный прострел и конопатого мальчишку с гармонью, который спросил у неё: «А ты кто такая, чтоб мне указывать?» Ему было восемнадцать, не больше. Может, и меньше. Он будет голосовать. Он придёт в ноябре в городское училище, в мокрых обмотках, и опустит в урну бюллетень, — за кого ему скажут, или за того, у кого красивее номер, или за того, кто обещает землю. А она будет стоять на улице, у входа, с листовками. Раздавать их таким, как он.

Она поставила чашку на блюдце. Тихо, аккуратно, без звука.

— Я буду агитировать, — сказала она. — Это ведь можно, Зинаида Павловна? Агитировать можно и в девятнадцать?

— Можно, душенька, можно, — горячо сказала Зинаида Павловна. — Агитировать — всем можно.

И снова взялась за лорнет, и заговорила о бюро, но Лену в бюро так и не избрали: юрист сказал, что по уставу, может, и можно, но неловко.

Отец, когда она вечером рассказала ему за ужином, засмеялся.

Он засмеялся впервые за много недель, по-старому, громко, запрокинув голову, так что очки сползли на кончик носа, и Лена в первую секунду обрадовалась этому смеху, а во вторую поняла, над чем он смеётся.

— Ах, Леночка, — сказал он, вытирая глаза. — Ах, какая прелесть. Это же хрестоматия. Это же можно в учебник. Революция признала тебя студенткой, но не признала гражданкой. Учиться — пожалуйста. Резать трупы — пожалуйста. Давать деньги на войну — пожалуйста, сколько угодно. А решать — нет. Решать будут восемнадцатилетние мужики с винтовками и генеральши, которые боятся идти пешком. — Он снова засмеялся. — Вот она и есть, твоя буржуазная демократия. Вся. В одном параграфе.

— А при вашей, — сказала Лена, — при вашей демократии будут голосовать с колыбели? Или вообще не будут?

Отец перестал смеяться.

Он хотел пошутить. Она видела, что он хотел пошутить, что он смеялся не над ней, а над параграфом, над генеральшей, над Временным правительством, и что ему было весело оттого, что хоть что-то в это лето оказалось смешным. А вышло так, что он посмеялся над ней, и она

ответила тем, чем больнее, и попала. Они сидели над остывшим ужином, и обоим было плохо, и никто не знал, как это поправить.

— Я не то хотел сказать, — сказал наконец отец.

— Я знаю, папа.

Она поднялась к себе раньше обычного.

На столе в мезонине стояла коробка. Плоская, обтянутая белой бумагой, перевязанная узкой лиловой лентой. Фёкла, поднимаясь следом с кувшином воды для умывания, объяснила, что принёс мальчик-рассыльный из «Европы» ещё днём, сказал — барышне Трофимовой лично в руки, а барышни не было, так она взяла и поставила. И денег мальчишке дала пятак, а он, бесстыжий, сказал, что ему уже уплочено и пятак ему без надобности, и всё равно взял.

Лена развязала ленту.

В коробке, в шелестящей папиросной бумаге, лежала пара перчаток. Длинных, до локтя, из тончайшей лайки, светло-лиловых, того бледного, дымчатого оттенка, какой бывает у сирени перед самым закатом. На внутренней стороне запястья — крошечный ярлычок с французскими словами и тиснёной короной. Ни записки. Ни карточки. Только две буквы, написанные карандашом на крышке коробки, мелко, в углу: «Е. Г.».

Она взяла одну перчатку. Лайка была мягкая и прохладная, как кожа ребёнка, и пахла чем-то неуловимым, не духами, а дорогим магазином, витриной, Петербургом. Лена надела её. Перчатка вошла на руку, как вода входит в стакан, — ни складки, ни морщины, ни лишнего миллиметра в пальцах. Как будто с неё сняли мерку.

Он видел её руку один раз. Мокрую, в купальне. Целовал её.

Лена надела вторую перчатку и подошла к маминому зеркалу. Свеча стояла на комоде, рядом со шляпой с вишнями. Лена подняла руки, повернула их ладонями к себе, потом от себя, медленно согнула пальцы, разогнула, — и смотрела, как лиловая лайка обтягивает каждый сустав, каждую косточку, как в свете свечи по ней бегут тёплые блики. Потом взглянула выше, в зеркало, на своё лицо.

Глаза у неё блестели. Она это видела и не могла с этим ничего поделать. Блестели так, как не блестели ни в день, когда её объявили полноправной студенткой, ни в день, когда она купила микроскоп. Она стояла перед зеркалом в лиловых перчатках, после того как её не признали гражданкой, после того как она поссорилась с отцом, — и ей было весело, легко, горячо в груди, и она понимала, что это стыдно, и что вернуть перчатки надо, и что их следовало вернуть, не развязывая ленты.

И знала, что не вернёт.

5.6. Лагерный сад

В последнее воскресенье июля, тридцатого числа, дождь наконец перестал, но тепло не вернулось. Небо над Томском стояло высокое, бледное, промытое, с быстрыми облаками, и с Томи дул сильный ровный ветер, от которого у прохожих краснели уши. Было одиннадцать градусов. Фёкла сказала, что в июле такого холода не помнит с девяносто первого года, когда был неурожай, и что это к худу.

Лагерный сад открыли после зимы только в середине июля, с опозданием на месяц, потому что сначала не было рабочих, потом не было досок, потом шли дожди. Сад был не сад, а сосновый бор на высоком правом берегу Томи, за южной окраиной города, на месте старых военных лагерей, откуда и пошло его название. Над рекой там стояли вековые сосны, медно-рыжие, прямые, с тёмными кронами где-то высоко над головой, и ветер шумел в них ровно и глухо, как шумит далёкое море. Между соснами шли песчаные аллеи, усыпанные хвоей, стояли скамейки, а у самого обрыва, откуда открывался вид на реку, на заречные луга, на острова и на синюю гряду тайги у горизонта, была деревянная площадка с перилами. В глубине сада помещался павильон с буфетом и раковина для оркестра. По воскресеньям играла музыка

тридцать девятого полка, — хотя играла теперь, как говорили, не каждое воскресенье, а когда музыканты были трезвы и не на митинге.

Грушницкий прислал записку в четверг. Записка была написана на листке, вырванном из полевой книжки, крупным, наклонным, щегольским почерком, и состояла из четырёх строк, в которых дважды встречалось слово «честь» и один раз слово «объясниться». Лена прочла её, засмеялась и ответила одной строкой: «В воскресенье, в пять, у входа в Лагерный сад».

Она знала, что он хочет объясниться за калитку. Она знала, что объясняться не станет. Ей было любопытно, как он будет себя вести, — так же, как любопытно бывает на практических занятиях, когда больному впервые вводят новое лекарство и смотрят, что будет.

Она надела сиреневое платье. Лёгкое, летнее, с открытой шеей, с узким лифом и короткими, по локоть, рукавами, совсем не по погоде, — она сшила его в июне, в жару, у портнихи на Акимовской, и ни разу ещё не надевала. Надела шляпу с вишнями. Надела лиловые перчатки до локтя, и они сошлись с рукавами так, будто платье, перчатки и шляпа задуманы одним человеком. Фёкла, увидев её на лестнице, перекрестилась и сказала: «Простынешь, барышня. Насмерть простынешь. Хоть кофту возьми», — и Лена не взяла кофту.

По дороге, на Базарной площади, у самого моста, извозчик застрял за возом с сеном, и, пока он ругался с возчиком, Лена смотрела на мальчика с попугаем. Мальчик был лет десяти, босой, в рваном пиджаке на голое тело, а попугай — зелёный, облезлый, с красным хвостом и злым глазом — сидел на жёрдочке над ящичком с билетиками. Мальчик кричал: «Судьбу! Судьбу! Пять копеек — судьба!» Лена бросила ему пятак. Попугай, подумав, наклонился и с отвращением вытащил клювом сложенную бумажку. На бумажке, отпечатанной на ротаторе, с ошибками, было написано: «Ждёт вас богатство и перемена жительства. Опасайтесь трефового короля. Не верьте блондину».

Лена засмеялась и спрятала билетик за край перчатки.

Грушницкий ждал у ворот сада в новой гимнастёрке, в портупее, с шашкой и с букетом из поздних садовых пионов, уже чуть подвядших. Он отдал ей пионы, поцеловал руку в перчатке, — перчатку он не заметил, — и начал говорить. Он говорил о полке, о командире, который его не отпустил, о ране, которая открылась, о долге, о том, что офицер в тылу — ничто, о том, что он всё равно уедет, при первой возможности, и о том, что он, Лена, должен ей сказать, что тогда, у калитки… Что он понимает… Что он офицер и человек чести…

— О чём вы, прапорщик? — спросила Лена, глядя на него ясными глазами. — У какой калитки?

Грушницкий осёкся. Он смотрел на неё, моргая, и на его красивом лице, с той самой царапиной от виска к скуле, которая теперь побледнела и стала тонким белым шрамом, сменилось несколько выражений, одно за другим, как картинки в волшебном фонаре: недоумение, обида, облегчение, снова обида. Он был готов к упрёкам, к слезам, к холодности, к гордому молчанию — ко всему, что описано в романах. К этому он готов не был.

— Пойдёмте же, — сказала Лена. — Холодно стоять. Я хочу посмотреть на реку.

Они пошли по главной аллее к павильону. Гуляющих было мало: холод разогнал всех, кроме самых упрямых, — несколько семейств с детьми, гимназисты, офицеры с барышнями, солдаты, компаниями по трое и по четверо, с семечками. Оркестр играл, но вяло, вполсилы, — то ли от холода, то ли оттого, что дирижёр был один, а музыкантов осталось мало.

У павильона, за столиком под навесом, сидел Гомаровский.

Он сидел один, в пальто, с поднятым воротником, перед стаканом чая с лимоном, и читал «Сибирскую жизнь». Увидев их, он не встал сразу, а дочитал абзац, аккуратно сложил газету и только тогда поднялся и снял шляпу. Он не выказал удивления. Он поклонился Лене и, чуть короче, Грушницкому, и сказал:

— Холодный вечер для такого платья, мадемуазель. Но, пожалуй, единственно верное решение. Садитесь, прошу вас. Здесь не дует.

Грушницкий хотел было возразить, но Лена уже сидела. Он сел тоже, через силу, с прямой спиной, придерживая шашку.

Гомаровский сделал знак официанту. Он не спросил, чего они хотят: заказал чаю, пирожных, — пирожные в буфете были, бисквитные, с кремом, по полтора рубля штука, и он заказал всё блюдо, — и бутылку лимонада для Лены. Грушницкий заказал себе папирос. Когда официант принёс счёт, Гомаровский, не взглянув на него, положил на поднос бумажку и сказал: «Сдачи не надо». Грушницкий вспыхнул.

— Позвольте, — сказал он. — Позвольте, господин… Я привёл даму. Это мой долг.

Он полез в карман гимнастёрки, достал бумажник, раскрыл его, стал считать — и лицо его медленно наливалось краской, потому что бумажник был тощ. Он считал, пересчитывал, доставал мелочь из другого кармана. Гомаровский смотрел на него с вежливым, терпеливым, почти сочувственным выражением, и от этого выражения Грушницкому, кажется, было хуже, чем от прямой насмешки.

— Не трудитесь, прапорщик, — сказал Гомаровский. — Вы на службе отечеству. Я на службе только самому себе. Мне это дешевле.

Лена смотрела на них обоих и чувствовала, как в ней поднимается что-то весёлое, острое, озорное, как пузырьки в лимонаде. Она отпила глоток, поставила стакан и сказала:

— Господа, я хочу к реке. Проводите меня оба.

Они пошли по боковой аллее, где не было никого, и сосны сомкнулись над ними, и шум оркестра стих, остался позади, и остался только ветер наверху, в кронах, и хруст хвои под ногами. Лена шла посередине. Слева шагал Грушницкий, звякая шашкой и не зная, куда девать руки. Справа шёл Гомаровский, заложив руки за спину, неторопливо, глядя больше на сосны, чем на неё.

Она уже знала, что будет делать, хотя ещё не решила, как.

На повороте аллеи, на песке, лежала сосновая шишка. Большая, рыжая, раскрывшаяся, из тех, что дети собирают в лесу, чтобы потом выставить на подоконник. Лена остановилась.

— Какая красивая, — сказала она.

И наклонилась за ней.

Она наклонилась не так, как наклоняется барышня, приседая и подбирая юбку, а так, как наклоняются на огороде, — сразу, в поясе, не сгибая колен, — и сделала это медленно, гораздо медленнее, чем было нужно, чтобы поднять шишку. Сиреневое платье натянулось на бёдрах и обрисовало их, как обрисовывает мокрая ткань. Узкий лиф натянулся на спине. Ветер сзади прижал лёгкий подол к её ногам, и под тонкой материей на мгновение обозначилась вся длинная линия от талии до колена. Она чувствовала, как они оба смотрят. Она чувствовала это кожей спины, кожей бёдер, затылком под полями шляпы, — так же ясно, как чувствовала в купальне взгляд с мостков, но теперь это были два взгляда, и они были близко, в двух шагах, и она слышала, как у Грушницкого перехватило дыхание.

Она подняла шишку, выпрямилась, — тоже медленно, по позвонку, как поднимаются после поклона балерины на сцене, — и повернулась к ним, держа шишку на раскрытой ладони в лиловой перчатке.

— Посмотрите, — сказала она невинно. — Какая правильная. Чистая спираль Фибоначчи. Нам на ботанике показывали.

Грушницкий смотрел не на шишку. Он стоял багровый, с остановившимися глазами, и рука его, лежавшая на эфесе шашки, сжалась так, что побелели пальцы.

Гомаровский взял шишку с её ладони, повертел в пальцах, рассматривая с серьёзным видом, и вернул.

— Да, — сказал он. — Природа не терпит небрежности. Всё, что красиво, устроено по закону. — Он поднял на Лену спокойные глаза. — И, разумеется, всё, что устроено по закону, рано или поздно раскрывается.

Он сказал это совершенно ровно, как сказал бы о погоде. Грушницкий ничего не понял. Лена поняла всё, и от того, что он понял её, а она поняла его, а Грушницкий не понял никого, ей стало так весело, что она засмеялась вслух, звонко, на весь бор, и пошла дальше, к обрыву, неся шишку, как трофей.

У обрыва, на деревянной площадке, ветер был сильнее. Внизу, под откосом, широко лежала Томь — серая, вздувшаяся от дождей, с жёлтыми бурунами у песчаной косы, с плотом, который медленно плыл вниз по течению, с одинокой лодкой. За рекой расстилались заливные луга, ярко-зелёные, мокрые, с копнами гниющего сена. Дальше темнела тайга. Над всем этим неслись облака, и тени от них бежали по лугам, как стада.

Лена встала у перил, лицом к ветру. Ветер ударил в неё, прижал платье к телу спереди, от груди до колен, так что оно облепило её, как облепляет статую мокрая простыня, когда скульптор кладёт её на глину. Она не отвернулась. Она подняла руки, будто поправляя шляпу, хотя шляпа сидела крепко, и держала их поднятыми, и чувствовала, как ветер ощупывает её всю, — и это было похоже на то, как отжимают волосы в воде, но совсем не похоже, потому что тогда она была одна в реке, а теперь двое мужчин стояли у неё за спиной и видели её в профиль, на фоне серого неба, как видят носовую фигуру на корабле.

Потом она глубоко, всей грудью, вдохнула и сказала, повернувшись к Грушницкому:

— Какой воздух, прапорщик! Вдохните! Сосной пахнет. И рекой. Неужели вы не чувствуете?

Она говорила это и дышала, — глубоко, медленно, нарочно, и лиф поднимался и опускался перед самыми его глазами, в полуаршине от его гимнастёрки, а он стоял и смотрел, и не дышал вовсе, и, кажется, забыл, что надо дышать. Она видела, как дёрнулся у него кадык. Как он сглотнул. Как отвёл наконец глаза, мучительно, с усилием, будто отрывал их от раскалённого. Это было так забавно и так приятно, что у неё самой закружилась голова, и она подумала, медичка, что это от кислорода, от гипервентиляции, — и тут же сама себе не поверила.

Гомаровский стоял в двух шагах, у столба перил, курил сигару и смотрел на реку. На неё он почти не глядел, и это было хуже и лучше всякого взгляда, потому что она знала, что он видит всё, — видит не её, а всю игру целиком, со стороны, как видит шахматист доску, на которой молодой игрок, торопясь, делает один эффектный ход за другим.

Потом они сидели на скамейке над обрывом.

Это была длинная, старая, тёмная от дождей скамья под самой большой сосной, и Лена села посередине и снова, как в аллее, ничего не решая заранее, сделала так, как ей захотелось. Она откинулась на спинку, положила одну руку в лиловой перчатке на спинку скамьи за плечами Грушницкого, другую — себе на колено. Медленно, как бы машинально, перекинула ногу на ногу, — так, как никогда не позволила бы себе в гостиной Кошеваровой, — и подол сиреневого платья скользнул вверх, открыв лодыжку и полвершка тонкого чулка над ботинком. Потом, поёжившись от ветра, повела плечами — и шея, и ключицы в открытом вырезе платья, и тень между ними на мгновение оказались под самым взглядом Грушницкого, который сидел к ней боком и, кажется, уже не мог смотреть никуда, кроме как на неё.

Она болтала. Она рассказывала о попугае, о билетике, о трефовом короле и блондине, которому нельзя верить, — и Грушницкий, который был блондин, краснел и смеялся невпопад, а Гомаровский, который был сед, улыбался краем рта. Она рассказывала о «внеочередном вторнике», о генеральше, которая боится идти голосовать пешком, о комиссарше с её отменяющимися голосами, и рассказывала так смешно, что даже Грушницкий хохотал, забыв обиду. И, рассказывая, она всё время двигалась: поправляла перчатку, подтягивая её на локте долгим скользящим движением; снимала шляпу, встряхивала волосами, надевала шляпу снова; поворачивалась то к одному, то к другому так, что колено её касалось то шашки Грушницкого, то полы пальто Гомаровского; откидывала голову, подставляя шею ветру; клала руку на эфес шашки, будто играя, и тут же убирала, когда Грушницкий вздрагивал. Она чувствовала себя

так, как, наверное, чувствует себя скрипач, которому наконец дали в руки настоящую скрипку: всё звучало, всё отвечало, всё было послушно. Ей казалось, что она могла бы заставить Грушницкого сейчас прыгнуть с обрыва в Томь, — стоило бы только попросить особым голосом.

Один раз, когда Грушницкий отвернулся, чтобы закурить, прикрывая спичку от ветра, она повернулась к Гомаровскому. Тот смотрел на неё. Смотрел спокойно, внимательно, не отводя глаз, тем же самым взглядом, каким смотрел в купальне, — взглядом, который она тогда назвала про себя взглядом покупателя. Но теперь в этом взгляде было что-то ещё. Одобрение, может быть. Или то удовольствие, с каким знаток следит за хорошей игрой, которую сам же и затеял.

— Не торопитесь, — сказал он ей совсем тихо, так, что слышала только она. — Я никуда не тороплюсь.

Грушницкий обернулся с горящей спичкой, и она уже смеялась ему, будто ничего не было сказано.

В глубине сада закричали.

Кричала женщина — пронзительно, с визгом, — потом засмеялись несколько мужских голосов, потом опять крик. Они поднялись. На аллее у пруда, за павильоном, стояла кучка солдат, пятеро или шестеро, и обступили двух девушек, судя по виду, горничных или швеек, в платочках, — одна вырывалась и визжала, другая плакала. Солдаты не били их и даже, кажется, не очень держали, а просто не давали пройти, хватали за руки, за плечи, отпускали и снова хватали, хохоча, — и это было, пожалуй, страшнее, чем если бы били. Гуляющие поблизости, двое пожилых мужчин и дама с ребёнком, торопливо уходили по другой аллее.

Грушницкий выхватил револьвер.

Вернее, попытался выхватить. Кобура была новая, тугая, клапан никак не отстёгивался, и он дёргал его, побагровев, а потом всё-таки выдернул наган и пошёл на солдат, держа его перед собой.

— Прекратить! — закричал он высоким, сорвавшимся голосом. — Я офицер! Смирно! Прекратить немедленно!

Солдаты обернулись. Секунду они смотрели на него с изумлением. Потом один, рябой, здоровый, с расстёгнутым воротом, расхохотался.

— Гляди, ребята! — сказал он. — Их благородие! С левольвертом! Ой, боюсь! Ой, сейчас приказ номер один отменит! — Он шагнул к Грушницкому, раскинув руки. — Ну, стреляй, ваше благородие. Стреляй в свободного гражданина. А мы поглядим, сколько ты потом проживёшь.

Грушницкий стоял с наганом и не стрелял. Он не мог стрелять, и все это понимали — и солдаты, и девушки, и Лена. Рябой подошёл ближе. Остальные, ухмыляясь, двинулись за ним.

Тогда мимо Грушницкого, не торопясь, прошёл Гомаровский.

Он шёл с сигарой в зубах, в расстёгнутом пальто, руки в карманах, будто прогуливался. Подошёл к рябому вплотную, так близко, что тот невольно отступил, вынул сигару изо рта, наклонился к его уху и что-то сказал. Негромко. Лена стояла шагах в десяти и не услышала ни слова. Она видела только, как изменилось лицо рябого. Сначала на нём была ухмылка, потом недоумение, потом ухмылка сползла, как сползает с лица мыльная пена, и под ней проступило что-то серое, испуганное, детское. Рябой посмотрел на Гомаровского. Гомаровский смотрел на него спокойно и ждал.

— Пошли, ребята, — сказал рябой хрипло. — Пошли отсюда. Ну их.

И солдаты ушли, оглядываясь. Девушки в платочках, всхлипывая, побежали в другую сторону, даже не поблагодарив.

Грушницкий стоял с револьвером в руке. Потом медленно, неловко, со второго раза засунул его в кобуру.

— Что вы ему сказали? — спросила Лена, когда Гомаровский вернулся.

Он пожал плечами.

— Я назвал ему его фамилию. Имя, отчество, номер роты и деревню, откуда он родом. И сказал, что в этой деревне у него жена. Больше ничего.

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю. Я угадал, мадемуазель. У таких всегда есть деревня и жена. А фамилию я прочёл на ремне, у них там написано химическим карандашом. — Он затянулся сигарой. — Человек, который вдруг слышит свою фамилию от незнакомого, всегда думает, что о нём знают больше. Это и есть власть. Закон тут ни при чём.

Он сказал это так просто, что Лене стало холодно. Или это был ветер. Она поёжилась, обхватила себя руками за голые плечи, и тут только поняла, что замёрзла насквозь, до костей, что зубы у неё начинают постукивать и что Фёкла была права.

Гомаровский заметил. Он огляделся, сделал Грушницкому знак подождать и ушёл к воротам сада, где, Лена видела, весь вечер сидел под зонтом китаец-разносчик с тюком. Вернулся он минут через пять, неся что-то перекинутое через руку. Остановился перед Леной, встряхнул, расправил — и это была шаль. Большая, китайская, шёлковая, цвета слоновой кости, с длинными кистями и с вышитыми по краю птицами и ветками цветущей сливы, тёмно-лиловыми, почти чёрными, — такими, будто их вышивали нарочно к её платью.

— Китаец просил сорок, — сказал Гомаровский. — Я дал пятьдесят, чтобы не торговаться. У них нынче всё впятеро дороже. Война.

Он накинул шаль ей на плечи. Не коснулся ни плеч, ни шеи. Только руки его на мгновение задержались над ней, расправляя кисти, и она почувствовала их тепло сквозь шёлк, не прикосновение, а близость прикосновения, и от этого по спине у неё побежали мурашки, совсем не от холода.

Шёлк был лёгкий и тёплый, как живой. Лена завернулась в него, провела ладонью в лиловой перчатке по вышитым птицам, по тяжёлым кистям, — и почувствовала, что глаза у неё снова блестят, и что она снова ничего не может с этим сделать. Она подняла голову и посмотрела на Гомаровского, и в эту минуту ей было совершенно всё равно, видит ли это Грушницкий. Он видел.

— Благодарю вас, — сказала она. — Она… она прелесть.

— Она ваша, — сказал Гомаровский. — Вернуть её вам будет некому. Китаец уже ушёл.

Темнело. Оркестр давно замолчал. Фонари в саду так и не зажгли — керосин берегли. Гомаровский посмотрел на часы.

— Мне пора, — сказал он. — У меня дела в городе. — Он повернулся к Грушницкому и поклонился. — Прапорщик, вы ведь, кажется, в ту сторону? Проводите мадемуазель. Ночью в городе неспокойно. А вы при оружии.

Он сказал это без тени насмешки, совершенно серьёзно. Грушницкий открыл рот, закрыл, покраснел и сказал: «Почту за честь». Гомаровский приподнял шляпу, поцеловал Лене руку в лиловой перчатке, — едва коснувшись лайки губами, — и ушёл по тёмной аллее к выходу. Не обернулся.

Лена смотрела ему вслед. Она понимала, зачем он это сделал. Он отдал её Грушницкому на целый час, — на дорогу через весь тёмный город, с ревностью, с обидой, с глупостями, — чтобы она могла сравнить. Чтобы целый час слушала этого и думала о том. Это было рассчитано так же точно, как визитная карточка в сумочке, как перчатки по мерке. Она понимала это и не сердилась. Ей нравилось, что её так точно рассчитывают.

По дороге домой Грушницкий молчал до самого Базарного моста, а у моста не выдержал.

— Кто он такой? — спросил он с отчаянием. — Откуда вы его знаете? Что ему от вас нужно? Он же старик. Он же… он же штатский! Он вас покупает, Лена! Пирожными! Тряпками! Вы не видите? Он… он на вас смотрел так…

— Как? — спросила Лена с интересом.

Грушницкий не нашёл слова.

— А вы, прапорщик, — сказала она ласково, — вы на меня как смотрели?

Он замолчал и больше уже не говорил до самой калитки. У калитки он остановился, будто чего-то ждал, — она знала чего, — и она протянула ему руку в перчатке, тыльной стороной вверх, для поцелуя. Он поцеловал её с видом человека, получившего пощёчину. Она засмеялась и ушла в дом, кутаясь в китайскую шаль.

Свет давно погасили. Фёкла спала. Отец, судя по полоске под дверью кабинета, сидел с керосиновой лампой и писал.

В мезонине Лена зажгла свечу, сняла шляпу с вишнями, сняла лиловые перчатки, палец за пальцем, и положила их на шаль, а шаль — на спинку стула. Потом отодвинула «Утро в сосновом лесу» и открыла нишу.

Облигации прислали из банка накануне, в субботу: две плотные, цветные, большого формата бумаги, с водяными знаками, с номерами, с купонами по краю, с гравированным изображением Таврического дворца и надписью «Государственный 5 % заём свободы 1917 года. Облигация во сто рублей». Одна на её имя. Другая — на её имя тоже: Гомаровский, как выяснилось, велел банку выписать её на предъявителя, и в банке её отдали Лене вместе с её собственной.

Лена держала их в руках, обе, сравнивая. Они были совершенно одинаковые. Различить их было нельзя.

Она положила их в нишу. Сверху. На холщовые свёртки, на клеёнку, на бархатную коробочку, на синюю ситцевую думку, туго набитую, зашитую крестьянскими стежками. Две разноцветные бумаги с Таврическим дворцом легли поверх николаевского золота, как кладут свежие газеты на старый сундук.

Она закрыла дверцу и повесила медведей на место.

Сосновая шишка из Лагерного сада лежала на столе возле микроскопа, раскрытая, рыжая, и пахла смолой.

Конец пятой главы.



Глава 6. Последний ссыльный

…последний ссыльный для Сибири.

А. В. Адрианов, «Таинственные пассажиры», «Сибирская жизнь», август 1917

Белый цвет — снега Сибири, зелёный — её тайга.

Из постановления Сибирской областной конференции, 5 августа 1917

6.1. Таинственные пассажиры

Август пришёл тёплый, тихий, ясный, будто извиняясь за июль. По утрам над Томью стоял туман, к полудню расходился, и тогда над городом открывалось высокое светлое небо, какое бывает в Сибири только в конце лета, когда воздух уже чуть пахнет первыми утренниками, а днём ещё можно ходить без кофты. Сено, сгнившее в июле, никто уже не спасал; мужики косили отаву. На Базарной площади появились первые грузди и брусника, и Фёкла приносила их в корзине, ворча на цены, но приносила.

Слух о царе пришёл в Томск в первых числах месяца, как приходили теперь все слухи — сразу со всех сторон. Будто бы бывшего государя с семьёй ночью, тайно, увезли из Царского Села. Будто бы на восток. Будто бы в Сибирь. Говорили — в Тобольск. Говорили — в Иркутск, в Нерчинск, на Сахалин. Говорили — в Томск, и ему уже готовят губернаторский дом, и какая-то дама на Миллионной уверяла, что видела, как туда вносят ящики с серебром. Губернаторский дом на Почтамтской был занят Комитетом и Советом, и никаких ящиков в него не вносили, но дама стояла на своём ещё неделю.

Потом пришли телеграммы. Бывшего царя с женой, детьми и небольшой свитой первого августа отправили поездом из Царского Села в Тюмень, оттуда на пароходе «Русь» вниз по Туре и Тоболу, и шестого числа они прибыли в Тобольск. Губернаторский дом там не был готов, и семья ещё неделю жила на пароходе у пристани, пока дом скоблили, белили и обставляли мебелью, свезённой со всего города.

Город обсуждал это так, как не обсуждал ни Тарнополь, ни Июльские дни. В очередях, на извозчиках, на мостках у редакции, в аудиториях, в клиниках, в бане. Обсуждали, сколько при нём слуг и сколько поваров. Обсуждали, правда ли, что императрица привезла с собой сорок сундуков. Обсуждали, сбежит ли он в Японию через Иркутск или его отобьют монархисты. Старухи на паперти Воскресенской церкви крестились и плакали: «Батюшку-то, батюшку — в Сибирь, как каторжного». Солдаты на Базарной хохотали: «Пущай теперь сам мерзлоту поковыряет».

Адрианов напечатал в «Сибирской жизни» статью под названием «Таинственные пассажиры».

Лена читала её за завтраком, пока отец пил чай, и читала дважды, потому что статья была странная. Старик-редактор писал о бывшем самодержце без злорадства. Писал сдержанно, почти печально, тем ровным голосом, каким историк описывает падение династии, давно ставшее историей. Сибирь, писал он, триста лет принимала тех, кого изгоняла Россия: раскольников, декабристов, поляков, народовольцев, социалистов. Сибирь их кормила, учила у них, становилась от них умнее. И вот теперь Сибирь принимает того, кто изгонял, — бывшего хозяина всех её этапов. Пусть это будет, писал Адрианов, последний ссыльный для Сибири. Пусть после него никого больше не гонят за Урал, в цепях и под конвоем, за слово и за мысль.

— Последний ссыльный, — сказал отец, взяв у неё газету. — Красиво. Старик умеет.

Он прочёл, сложил газету и больше ничего не сказал.

Вечером пришла Марья Павловна, и пришла с той же газетой, свёрнутой в трубку и стиснутой в кулаке так, будто ею собирались кого-то бить.

— Вы читали? — спросила она с порога, не здороваясь. — Читали, что пишет ваш Адрианов?

— Он не наш, — сказал отец.

— Все они наши, пока не напишут такое. — Марья Павловна села, положила газету на стол и разгладила её ладонью, тёмной, в шрамах. — «Последний ссыльный». Ссыльный! В губернаторском доме. С поварами. С камердинерами. С фрейлинами, с горничными, с учителем-англичанином, с собачками. Пароход ему подали. «Русь». — Она произнесла название парохода так, как произносят ругательство. — А нас, Пётр Сергеевич, гнали пешком. От Нижнего до Перми — баржей, в трюме, на соломе, с уголовными. От Перми — по тракту. Пешком. С бритыми полуголовами. В кандалах — мужчин, а женщин, если считали опасными, тоже. Семь тысяч вёрст. Полгода. Мы хоронили по дороге детей тех, кто шёл с семьёй. Я сама несла чужую девочку на руках от Ачинска, она умерла у меня на руках под Красноярском, ей было три года. Это — ссылка. А там — что? Дача за казённый счёт.

— Его везут не на дачу, Марья Павловна, — сказал отец мягко. — Его везут подальше от Петрограда, чтобы не отбили. Керенский боится и монархистов, и наших.

— Пусть боится. — Марья Павловна посмотрела на него, потом на Лену. — Я бы его провела. Одну версту. Нашим этапом. Только одну. Чтобы он увидел, какую землю подписывал. — Она помолчала. — Катерина Михайловна прошла этот путь дважды, Лена. В восемьдесят девятом и в девятьсот седьмом. Дважды. И ни разу не попросила ни о чём. Ни конвой, ни начальство.

Лена смотрела на неё, и в груди у неё поднималось то, что поднималось всякий раз, когда Марья Павловна говорила о маме: горячее, гордое, почти больное. Мама шла по этому тракту в кандалах, а этот человек едет по нему на пароходе. Мама была ссыльной за правду, а он — за то, что правды боялся. Мама умерла в Мальцевской, на нарах, полгода не дожив, а он жив и, говорят, пилит в Тобольске дрова для моциона. Ей хотелось сказать всё это вслух, при отце, при Фёкле, при всём городе.

— Мама победила, — сказала она. — Правда? Он теперь ссыльный, а она… а мы… Это ведь и есть победа, Марья Павловна. Он теперь — там, где была она.

— Да, — сказала Марья Павловна, и сухое лицо её дрогнуло. — Да, Лена. Это и есть.

Отец поднялся из-за стола.

— Простите, — сказал он. — Мне нужно в лабораторию. Там гидролиз. Я обещал Усову.

— Ночью? — удивилась Лена.

— Гидролиз не спрашивает, ночь или день.

Он ушёл. Лена слышала, как хлопнула калитка, и подумала, что отец в последнее время всё чаще уходит, когда говорят о маме. Подумала — и решила, что ему больно. Что он до сих пор не может слушать. Что он любит её так сильно, что не может говорить. Она давно привыкла так думать.

Через три дня она купила «Кодак».

Его продавал фотограф Ланге с Почтамтской, немец, который с войны боялся каждого стука в дверь, а теперь окончательно решил уехать в Харбин и распродавал всё. Аппарат был складной, в чёрной коже, с гармошкой красного меха, с никелированным объективом, который выдвигался на салазках, и с крошечным видоискателем, в котором мир отражался перевёрнутым и смешным. К нему прилагались шесть катушек плёнки, руководство на английском языке и кожаный футляр на ремне. Ланге запросил девяносто рублей, потом, увидев, что барышня не торгуется, пожалел, что запросил мало, но было поздно.

Лена сказала ему, что будет снимать революцию.

Первым кадром она сняла Марью Павловну. Та пришла в воскресенье и, увидев аппарат, отказалась наотрез: она не любила фотографов, фотографировали её только в охранке, анфас и в профиль, с номером на груди. Лена упросила. Марья Павловна вышла на крыльцо, встала у перил, в енотовой шубе, хотя было восемнадцать градусов тепла, с газетой в руке, и смотрела в объектив так, как смотрела, наверное, на жандармского фотографа в девятьсот седьмом году:

не мигая, исподлобья, сжав губы, будто её сейчас поведут на допрос. Лена нажала спуск. Затвор щёлкнул сухо и коротко, как курок.

Снимок, когда его проявили, вышел резкий и страшный: худая старуха с газетой, похожая на сибирскую икону, написанную старообрядцем. Лена повесила его над столом в мезонине, рядом с «Утром в сосновом лесу».

6.2. Флаг

Сибирская областная конференция открылась второго августа в новом здании университетской библиотеки, которое построили перед самой войной и которым Томск гордился так, как гордятся провинциальные города единственной своей настоящей вещью. Здание было светлое, с высокими окнами, с колоннами у входа, с читальным залом, где под потолком висели бронзовые люстры, а вдоль стен стояли дубовые шкафы до самого карниза, и пахло там воском, пылью, клеем и бумагой — всем тем, чем пахнет наука, когда она ещё не стала наукой, а только собирается.

Съехалось около ста делегатов. Были областники — седые, бородатые, в сюртуках, знавшие друг друга по сорок лет. Были эсеры, кооператоры от «Закупсбыта» и маслодельных артелей, представители земств и городских дум, профессора, два бурята в шёлковых халатах, один алтаец, несколько кадетов, присланных, как говорили, следить, чтобы Сибирь не отделилась слишком далеко, и горстка социал-демократов, которые пришли, чтобы голосовать против. Председательствовать должен был молодой эсер, а почётным председателем избрали Григория Николаевича Потанина.

Лену взяли стенографисткой технической комиссии. Это устроила Марья Павловна: комиссии нужен был человек, умеющий писать быстрее, чем говорят, и печатать быстрее, чем пишут, и Марья Павловна сказала в губкоме, что такой человек есть, член партии, номер четыреста двенадцать. Платили по три рубля за заседание и отдельно — за перепечатку. Лена впервые в жизни получала деньги за работу. Не за то, что держала крючки у Мыша, не за дежурства в клинике, не за чтения в Доме науки, — а настоящие деньги, по ведомости, под расписку. Она расписывалась в ведомости своим ровным медицинским почерком и чувствовала себя так, как, вероятно, чувствует себя солдат, впервые получивший жалованье: не богаче, а взрослее.

На открытии Потанина вывели под руки.

Ему было восемьдесят два года. Он был почти слеп и туговат на ухо, ходил медленно, шаркая, и двое молодых людей — один эсер, другой областник — вели его к председательскому месту так бережно и торжественно, как в соборе выносят чудотворную икону. Зал встал. Хлопали долго, минут пять, и Потанин стоял, держась обеими руками за край стола, маленький, сухой, белобородый, в старом чёрном сюртуке, и плакал. Слёзы текли у него по щекам в бороду, и он их не вытирал, потому что, наверное, не замечал.

Потом он говорил. Говорил тихо, и задние ряды не слышали, и передние передавали назад. Он говорил о Сибири, которую ждал всю жизнь. О том, что в шестидесятых годах, молодыми, они с Ядринцевым мечтали о сибирском университете, о сибирской газете, о сибирской думе, и что за мечту о думе его судили как сепаратиста, привязали к позорному столбу на площади в Омске, отправили в Свеаборг и на каторгу. Что университет есть. Газета есть. И вот теперь — дума. Будет дума. Он дожил. Он перепутал год своего суда, назвав семьдесят восьмой вместо шестьдесят восьмого, и молодой эсер наклонился к нему и шёпотом поправил, и Потанин кивнул, и сказал «да, да, шестьдесят восьмой», и снова заплакал.

Лена стенографировала его речь, и ей было трудно, потому что слова расплывались. Потом она перестала стенографировать и просто слушала.

Она родилась здесь. В Томске, на Болоте, в доме, которого не помнила. Отец был петербургский, мама — откуда-то из-под Москвы, из «Воскресения», но она, Лена, была отсюда. Её крестили в Воскресенской церкви. Её первым словом про цветы было «тита» — про прострел из Университетской рощи. Она переплывала Томь в шестнадцать лет. Она знала, как пахнет

тайга в сентябре и как скрипит снег в тридцать градусов. Она была сибирячка, старожилка, своя. Не переселенка, не ссыльная, не командированная, а своя, и всё, о чём говорил этот плачущий старик, было про неё — про её землю, про её снег, про её реку. Сибирь, триста лет бывшая каторгой России, сама станет свободной. Сама будет решать. Сама будет судить — живых, а может быть, и мёртвых.

Делами конференции, впрочем, занимался вовсе не Потанин. Потанина после речи посадили в председательское кресло под портретом Ермака, и он просидел там всё заседание, кивая и время от времени задрёмывая, а дела решались в комиссиях, в коридорах, в курилке у лестницы, где эсеры спорили с областниками о том, сколько автономии можно потребовать, не поссорившись с Петроградом. И каждую резолюцию, каждый пункт, каждую поправку начинали одинаково: «По завету Григория Николаевича…» Лена вписывала эти слова в стенограмму столько раз, что к концу первого дня завела для них отдельный знак — завиток, похожий на бороду.

На второй день, в коридоре, у дверей технической комиссии, она увидела Гомаровского.

Он стоял у окна с двумя кооператорами в косоворотках и что-то объяснял им, держа в руке сигару и тетрадь в сафьяновом переплёте. Кооператоры слушали, кивая, с тем почтительным напряжением, с каким крестьяне слушают агронома. Увидев Лену, он извинился перед ними и подошёл.

— Мадемуазель Трофимова, — сказал он и поклонился. — Вы, я слышал, стенографируете историю.

— А вы? — спросила Лена. — Вы тоже в истории?

— Я при ней. Как адвокат при подсудимом. — Он чуть улыбнулся. — «Закупсбыт» нанял меня составить проект положения об областной думе. Кооператоры люди практичные. Они понимают, что автономия — это прежде всего юрисдикция, а юрисдикция — это прежде всего юристы. Мечтают у вас старики. Пишут законы такие, как я.

— Вы не верите в автономию?

— Я верю в гонорар, мадемуазель. — Он посмотрел на неё внимательно. — А вы, я вижу, верите. У вас глаза мокрые. Потанин?

Лена не ответила. Он не настаивал.

Через день, когда заседание комиссии кончилось и все разошлись, а Лена ещё сидела над стенограммой, расшифровывая свои крючки в обычный текст, на столе перед ней появилась продолговатая коробочка, обтянутая чёрной кожей. Она подняла голову. Гомаровский стоял по другую сторону стола.

— Это вам, — сказал он. — Для работы. Стенографистке, которая пишет быстрее, чем они думают, нельзя писать казённым пером, которое царапает и брызгает. Это неуважение к профессии.

В коробочке, на чёрном бархате, лежало самопишущее перо. Чёрное, гладкое, с золотым ободком на колпачке и с золотым пером, на котором было мелко выгравировано английское имя. «Ватерман». Лена видела такие только в витрине у Михайлова на Почтамтской, за стеклом, с ценником, на который нельзя было смотреть без смеха.

Отказаться было не от чего. Это был не подарок, а инструмент. Деловая вещь. Он дарил его стенографистке, а не барышне. Лена знала, что это не так, и знала, что он знает, что она знает. Она взяла перо, сняла колпачок, повертела в пальцах. Перо было тяжёлое, тёплое, удобное, как будто сделанное под её руку — как перчатки.

Она подняла на него глаза. Глаза у неё блестели, и она видела это по его лицу, по короткой, довольной складке у его рта, — и видела, что то же самое видит Марья Павловна, которая в эту минуту входила в комнату за протоколом и остановилась в дверях.

— Благодарю вас, — сказала Лена.

— Пустое, — сказал Гомаровский и, поклонившись Марье Павловне, вышел.

Марья Павловна посмотрела ему вслед. Потом на перо. Потом на Лену.

— Кто это? — спросила она.

— Юрист «Закупсбыта». Он мне… для работы.

— А, — сказала Марья Павловна. И больше ничего не сказала, но смотрела ещё долго.

Пятого августа конференция голосовала флаг.

Лена стенографировала заседание в большом зале и потому видела всё. Комиссия предложила два цвета: белый и зелёный. Белый — снега Сибири. Зелёный — её тайга. Докладчик, седой областник из Барнаула, говорил о флаге так, как, наверное, говорили когда-то о хоругви, и в зале было тихо. Социал-демократы попросили слова и заявили, что голосуют против: у трудящихся Сибири нет иного знамени, кроме красного, и областной флаг раскалывает единство революционной демократии. Среди них Лена увидела инженера Гольдберга, отцовского товарища по Совету, который бывал у них дома и однажды, когда ей было десять, подарил ей калейдоскоп. Он сидел, не поднимая глаз от бумаг.

Флаг приняли подавляющим большинством.

И тогда кто-то из областников, старик в очках, встал и, с трудом развернув, поднял над головой полотнище — два куска материи, белый и зелёный, сшитые накануне вечером на женских курсах. Зал встал. Хлопали, кричали, кто-то запел, сбился, и запели снова, — запели «Славное море, священный Байкал», потому что никакого сибирского гимна ещё не было, а эту песню знали все. Потанин, которого подвели к полотнищу, трогал белое и зелёное слепыми пальцами и что-то говорил, и никто не слышал что.

Лена стояла у стенографического столика и пела вместе со всеми, и плакала. Белое и зелёное. Снег и тайга. Снег, по которому она шла в марте на Вознесенское кладбище, к чайке, и тайга, сквозь которую ехала на станцию Тайга встречать маму. Белое — как прострел зимой, под снегом, и зелёное — как прострел весной, когда он только выходит из земли, мохнатый, живучий. Ей казалось, что этот флаг сшит для неё, про неё и из неё, — и что мама, глядя на него, тоже плакала бы.

Перо «Ватерман» лежало у неё в руке. Она так и не дописала стенограмму голосования: на листке остался завиток, похожий на бороду, и под ним пятно, похожее на слезу.

Нехлюдова она заметила в перерыве, в вестибюле, у подножия лестницы.

Он был среди кадетских делегатов — высокий, сутулый, в своей новенькой толстовской блузе с лакированным ремешком, — и на груди у него, на холсте блузы, уже красовалась бело-зелёная розетка, приколотая криво, должно быть, дамой из комитета. Он плакал. Он плакал, видимо, с того самого момента, как подняли флаг, и всё не мог остановиться, и промокал глаза платком, и платок был мокрый насквозь. Вокруг него стояли дамы и утешали.

Увидев Лену, он перестал плакать. Вздрогнул, побледнел — Лена уже знала, как он бледнеет, сразу, как бумага, — и, забыв дам, шагнул к ней.

— Дитя, — сказал он. — Дитя моё. Елена Петровна. Я вас искал. Я хотел… после того… в думе… Я не спал. Я не сплю с тех пор.

Лена хотела пройти мимо. Не прошла. Он стоял у неё на дороге, огромный, нелепый, в мокрой бороде, с розеткой, и было в нём что-то такое, что не давало ей пройти, — не жалость, а изумление: как может человек быть настолько смешон и настолько несчастен одновременно.

— Что вам нужно, князь?

— Ничего. Ничего, дитя моё. Только… — Он полез в карман блузы, вытащил оттуда книжечку в чёрном переплёте, потом сложенный платок, потом другой платок, сухой, потом, наконец, конверт. Толстый, плотный, белый. — Вот. Я хотел… Я подумал… Вы учитесь. Медицинский. Это дорого. Книги, инструменты. Время такое. Ваш отец, я слышал, человек небогатый, профессорское жалованье, а цены… Позвольте мне… В память о ней. Как долг. Я ей должен, дитя моё. Я всю жизнь ей должен.

Он протягивал ей конверт обеими руками, белыми, холёными, дрожащими, и Лена поняла, что в конверте деньги. И что денег там много.

Она смотрела на конверт. В эту самую минуту в кармане её жакета лежал «Ватерман», который стоил, наверное, не меньше. И за медведями в нише лежали две облигации займа свободы, и одна из них была не её. И шаль. И перчатки.

— Нет, — сказала она. — Спасибо, князь. Нет.

— Но почему? — Он искренне не понимал. — Это же… от чистого сердца… Лев Николаевич учил: отдай. Всё отдай. Я отдал землю мужикам, дитя моё, ещё в девяностом году, всю, до последней десятины. Они её, правда, потом… — он махнул рукой, — продали купцу. Но я отдал. А это — это же не мне, это ей. Ей!

— Маме ничего не нужно, — сказала Лена. — Ей уже ничего не нужно. А мне — от вас — тем более.

Нехлюдов опустил конверт. Постоял. Потом спрятал его обратно в карман, долго не попадая, и вместе с ним — платки и книжечку, всё вперемешку.

— Вы так на неё похожи, — сказал он тихо. — Она тоже… тогда… в остроге… не взяла. Я принёс ей деньги, а она… бросила мне их… Нет. Не бросила. Сказала… — Он нахмурился, вспоминая. — Не помню, что сказала. Помню, как смотрела. Вот так. Как вы сейчас. — Он помолчал. — А потом, в девяносто третьем… здесь… в Томске… Я ведь встречал её. Она была… у неё был… большой дом. Много людей. Музыка. Она была… хозяйкой… Я пришёл, хотел… а она…

Он осёкся. Посмотрел на Лену растерянно, будто сам не понимал, что сказал. Потом лицо его прояснилось, светло, по-стариковски.

— Нет, нет, — сказал он. — Это я путаю. Это была другая. Я старый, дитя моё. Мне скоро семьдесят. Я всё путаю. Вчера я пришёл на конференцию, сел, а это было заседание кооператоров по маслу. Я час слушал о сепараторах и думал, что это об автономии. — Он засмеялся мелким, всхлипывающим смехом. — Простите старика. Простите.

Лена смотрела на него. Большой дом. Музыка. Хозяйка. Это было похоже на правду, как бывает похож на правду бред: всё по отдельности узнаваемо, а вместе — нелепица. Мама держала кружок, прятала беглых. Квартиры, сказал Яницкий. Типография. Может быть, у мамы была большая квартира, где собирались, где пели. Может быть, он видел сходку и принял её за бал. Он путал масло с автономией.

— Прощайте, князь, — сказала она.

— Вы не возьмёте? — спросил он с последней надеждой, тронув карман.

— Нет.

Он поклонился ей, низко, по-старинному, и, когда выпрямился, снова плакал. Дамы, ждавшие в стороне, тут же окружили его и увели, и одна, оглянувшись на Лену, сказала другой громким шёпотом: «Бедный князь. Это какая-то нигилистка. Наверное, требовала денег».

Лена вернулась в зал, к своему столику. Достала «Ватерман», сняла колпачок и стала расшифровывать стенограмму. Перо шло по бумаге мягко, без скрипа, и почерк от него становился красивее, чем был.

Только девятого, когда конференция закрылась и Лена отдала последние листы, она подумала о том, что от одного взяла, а от другого нет. И что в конверте у князя, наверное, было больше, чем стоит перо. И что одно — подарок, а другое — милостыня, и это совсем разное. Она подумала так и успокоилась.

В последний день Гомаровский заплатил ей за перепечатку своего проекта. Сорок три страницы на машинке, по таксе, которую ему назвал секретарь конференции: тридцать копеек за страницу и рубль сверху за срочность. Двенадцать рублей девяносто копеек. Он отсчитал их при ней, до копейки, сверившись с ведомостью, и протянул, не прибавив ничего.

Лена взяла деньги с гордостью. Это были заработанные деньги. Честные. По таксе. Первые деньги, которые этот человек положил ей в руку.

Она купила на них торт у Чепурина и съела его вместе с Фёклой и отцом.

6.3. Тибетский врач

К середине августа весь Томск лечился у тибетского врача Цоя.

Он появился в городе в июле, неизвестно откуда, и снял две комнаты в номерах на Большой Подгорной. В газетах печатались объявления: «Доктор тибетской медицины Цой, ученик лам Шамбалы, излечивает все болезни травами, пульсом и тайными средствами Востока. Ревматизм, нервы, женские недуги, бессилие, чахотка. Приём ежедневно». Ниже, мелким шрифтом: «Отзывы благодарных пациентов в приёмной».

Первыми к нему пошли купчихи. За купчихами — чиновницы. За чиновницами — дамский комитет Зинаиды Павловны Кошеваровой, весь, в полном составе, во главе с самой Зинаидой Павловной, у которой был ревматизм коленей и бессонница. Генеральша Перфильева лечила у Цоя печень. Комиссарша — мигрени. Учительница из Мариинской гимназии — «нервы», про которые все знали, что это не нервы, а помощник директора. В приёмной Цоя по утрам сидели так, как когда-то сидели по вторникам у Зинаиды Павловны, и говорили о том же.

Рядом с Цоем, в тех же номерах, проживал молодой человек с усиками и в клетчатом пиджаке, представлявшийся двоюродным племянником Керенского. Он рассказывал дамам о детстве Александра Фёдоровича в Ташкенте, о его привычках («Саша пьёт только кипячёную воду и спит четыре часа»), показывал фотографическую карточку с дарственной надписью, разобрать которую никто не мог, и в конце каждого визита занимал у дам деньги «до получения перевода из Петрограда, который задерживают эти несчастные железные дороги». Перевода ждали уже месяц. Молодой человек занял у Зинаиды Павловны сорок рублей, у генеральши — сто, у комиссарши — двадцать пять и серебряную пудреницу, которую обещал показать ювелиру.

— Вы медичка, душенька, — сказала Зинаида Павловна Лене, встретив её на Почтамтской. — Вы оцените. Это поразительно. Он берёт тебя за руку — и всё знает. Мне он сказал про колени, а я ни слова ему не говорила. Ни слова! И про бессонницу! Вы непременно должны пойти. Ради науки.

— Непременно, Зинаида Павловна, — сказала Лена. — Ради науки.

И пошла домой, и рассказала отцу, и отец, впервые за всё лето отложив газету с телеграммами, заинтересовался.

— Пульсовая диагностика, — сказал он. — Тибетская. Я читал у Бадмаева. Двенадцать пульсов, по шесть на каждой руке. Бред, конечно, но любопытный бред. Систематический. Хотелось бы посмотреть, как это делается у нас, в Томске, под сенью Шамбалы.

В субботу они пошли вдвоём.

Это было в первый раз с весны, что они шли куда-то вдвоём, отец и дочь, не на заседание, не на митинг, не в клинику, а просто так, ради смеха и науки. Отец надел свой лучший сюртук и пенсне вместо очков — «для солидности». Лена надела английский костюм. По дороге они нарочно не разговаривали о политике и говорили о белковом обмене, и отец рассказывал ей о работах Эмиля Фишера по синтезу пептидов так увлечённо, что прошёл нужный дом, и пришлось возвращаться.

В приёмной Цоя пахло так, как пахнет в лавке москательщика, где торгуют одновременно кожей, ладаном и керосином. На стенах висели свитки с иероглифами, некоторые вверх ногами. На полках стояли банки с сушёными корешками, сушёными грибами, сушёными ящерицами и чем-то таким, что Лена определить не смогла, хотя второй год занималась анатомией. В углу курилась бронзовая курильница. Пациентки сидели вдоль стен на венских стульях — пять дам, все знакомые, и все, увидев профессора Трофимова с дочерью, заулыбались с тем радостным торжеством, с каким сектанты встречают нового обращённого.

Цой принял их через полчаса.

Он был невысокий, коренастый, в шёлковом халате, расшитом драконами, и в чёрной круглой шапочке. Лицо у него было широкое, тёмное, обветренное, с маленькими умными глазами, и руки — огромные, жилистые, с толстыми пальцами, с жёлтыми мозолями на ладонях, какие бывают у грузчиков и землекопов. Он поклонился им, сложив руки, и сказал по-русски, с сильным акцентом, но вполне понятно:

— Садис. Руку давай.

Отец протянул руку. Цой взял его запястье тремя пальцами, закрыл глаза и долго молчал, покачивая головой.

— Печень, — сказал он наконец. — Печень плохо. Огонь много. Желчь много. Ночь не спишь. Много думаешь. Голова болит.

— Поразительно, — сказал отец по-немецки, обращаясь к Лене. — Любой профессор в августе семнадцатого года не спит, много думает и у него болит голова. Это не диагностика, это статистика.

Цой открыл глаза и вежливо кивнул, будто понял.

— Скажите, коллега, — продолжал отец, уже по-латыни, медленно и раздельно, — какие алкалоиды содержатся в корне, который вы мне назначите? И каков их метаболизм в печени, которая, как вы говорите, плоха?

Цой улыбнулся, кивнул ещё раз, ещё вежливее, и сказал:

— Корень хороший. Шамбала корень. Три рубля.

Лена закусила губу, чтобы не засмеяться.

— А рецепт? — спросила она невинно. — Вы не напишете рецепт? Как принимать, сколько раз в день. Я запишу, я забуду.

Цой взял со стола листок бумаги и кисточку, обмакнул её в тушь и, не задумываясь, широко и красиво нарисовал на листке несколько знаков. Потом подумал и нарисовал ещё один, похожий на ёлку.

Лена взяла листок. Повертела. Знаки были крупные, уверенные и ровно такие, какими изображают китайскую грамоту на коробках с чаем у Второва. Потом она вспомнила иероглифы на стенах приёмной, висевшие вверх ногами. Посмотрела на Цоя внимательнее. На его ладони, на мозоли, на загар, который бывает не от тибетского солнца, а от работы под открытым небом. На его сапоги под шёлковым халатом — рабочие, кирзовые, со стоптанными каблуками.

— Вы где раньше работали? — спросила она вдруг, совсем просто, тем голосом, каким спрашивала в приёмном покое у мастеровых.

— Чугунка, — ответил Цой так же просто, не задумавшись. — Шпалы клал. Тайга, Ачинск. Потом болел, нога. Потом думал — надо деньги. — Он осёкся, понял, что сказал, и испуганно посмотрел на неё.

Отец снял пенсне. Лена держала листок с ёлкой. Все трое помолчали.

— Три рубля, — сказал наконец Цой упавшим голосом. — Корень. Хороший.

Очумелов, которого вызвали из участка, пришёл к вечеру с Елдыриным и долго составлял протокол. Составлял он его в приёмной, при пациентках, которые разделились на два лагеря: одни плакали и говорили, что это заговор медицинского факультета против восточной мудрости, другие требовали вернуть деньги. Цой сидел в углу в халате и молчал. Протокол вышел на трёх листах, и в нём значилось, что «гражданин Цой, именующий себя доктором, оказался неграмотным, что и обнаружено гражданкой Трофимовой путём предъявления ему рецепта». Что дальше делать с гражданином Цоем, Очумелов не знал: закона против тибетской медицины не было ни при царе, ни при Временном правительстве, и шарлатанство по-прежнему считалось частным делом шарлатана. Пока он думал, из соседнего номера вышел молодой человек с усиками, вежливо поздоровался, выразил горячее возмущение обманом, которым, по его сло-

вам, сам был шокирован, и попросил у Очумелова взаймы три рубля до получения перевода. Очумелов дал. Только к ночи, вернувшись в участок, он сообразил, кому дал, и послал Елдырина. Номер был пуст. Окно открыто.

Отец и Лена шли домой пешком через весь город и хохотали.

Хохотали над корнем Шамбалы за три рубля, над иероглифами вверх ногами, над ёлкой, над генеральшей, которая, уходя, сказала Цою: «Мерзавец! А печень всё равно прошла!» Отец изображал Цоя, щупающего пульс, и делал это так похоже, что встречный извозчик обернулся. Лена изображала Очумелова, пишущего протокол, и отец смеялся так, что ему пришлось остановиться и вытереть глаза. Они смеялись, как в её детстве, когда он водил её в Ботанический сад и придумывал латинские названия несуществующим растениям, а она верила.

У калитки они остановились, ещё отдуваясь от смеха.

Был тёплый вечер. Над горой висела ранняя луна. Пахло отцветающим табаком, который Фёкла сажала под окнами, и дымом из соседских труб. Отец стоял у калитки, без шляпы, взлохмаченный, с пенсне в руке, и улыбался — тою старой, круглой, доброй, немного виноватой улыбкой, которой она не видела у него с марта.

Лена хотела спросить его.

Вопрос был у неё на языке весь последний месяц. С той лестницы в редакции. Папа, на какие деньги мама держала кружок? Откуда у неё были деньги? Ты ведь был студентом, без копейки, Яницкий говорит. Сейчас, у калитки, после смеха, после Цоя, это было бы просто — спросить, как спрашивают о погоде. Он бы ответил. Он бы сказал: партийная касса, Леночка, ну конечно, что же ещё. Или сказал бы что-нибудь другое.

Она открыла рот.

— Папа…

Отец посмотрел на неё. Улыбка ещё держалась у него на лице, но в глазах, за улыбкой, что-то насторожилось, как настораживается собака, услышав шаги.

— Что, Леночка?

— Ничего, — сказала она. — Спасибо, что пошёл.

Отец помолчал. Он понял, что она хотела сказать что-то другое. Она видела это. И он тоже не спросил — что.

— Это тебе спасибо, — сказал он. — Я давно так не смеялся.

Они вошли в дом, и Фёкла поставила самовар.

6.4. Уплотнение

Во второй половине августа в Томск перевели ещё четыре тысячи военнопленных. Их пригнали с запада, из лагерей под Омском и Тюменью, австрийцев, мадьяр, немцев, чехов, в серо-голубых выцветших мундирах, и разместили в бараках на окраинах, в пустых складах, в бывших пересыльных дворах, а когда и там не хватило места — по частным домам, «в порядке трудовой повинности». Одновременно из Петрограда и Москвы ехали беженцы, люди с деньгами и без, бежавшие от голода, от солдат, от слухов, — ехали в Сибирь, где, говорили, ещё есть масло, хлеб и тишина. Ехали и студенты: к осени ждали вдвое больше обычного. Комнаты, которые весной сдавали за пятнадцать рублей, теперь стоили сорок. Объявления «сдаётся» исчезли из газет, объявления «ищу» заняли полстраницы.

Городская управа создала жилищную комиссию. Комиссия ходила по домам с рулеткой и учётной книгой, мерила комнаты, считала жильцов и записывала «излишки площади», подлежащие заселению. Обывателям оставляли по одной комнате на человека, по полторы — на семьи с детьми; остальное объявлялось излишком. Газеты называли это уплотнением. Обыватели называли это иначе.

Комиссия пришла к Трофимовым в четверг, утром, когда отец был в лаборатории, а Лена дома, над учебником фармакологии.

Их было трое: пожилой чиновник управы в форменной фуражке без кокарды, молодая барышня с учётной книгой, в пенсне и с папиросой, и солдат от Совета с рулеткой и винтовкой за плечом, должно быть, для солидности. Фёкла впустила их, крестясь, и пошла за барышней Леночкой. Лена спустилась.

Они обмерили столовую. Кабинет отца. Спальню. Кухню. Фёклину каморку за печью. Чиновник диктовал цифры, барышня записывала. Солдат разматывал рулетку и с любопытством разглядывал всё вокруг — книги, микроскоп в кабинете, банки с реактивами.

— Профессор и дочь, — сказал чиновник, заглянув в книгу. — И прислуга. Три души. Комнат четыре, не считая кухни. Положено три. Одна — излишек. А наверху что?

— Мезонин, — сказала Лена.

— Отдельная комната? С печью?

— С печью.

— Ну вот, — сказал чиновник с удовлетворением. — Вот и излишек. Отдельный вход есть? Нет? Ничего, лестница общая, жилец будет ходить мимо кухни. Барышня, запишите: мезонин, одна комната, с печью, под заселение. Пойдёмте, обмерим.

Лена стояла внизу у лестницы и чувствовала, как холодеют у неё руки.

Мезонин. Её комната. Мамина комната. С «Утром в сосновом лесу» над столом, а за ним — ниша, а в нише — всё. Если сюда вселят чужого, — беженца, студента, пленного австрийца, кого угодно, — то через неделю, через две он полезет за картину. Вытереть пыль. Повесить своё. Просто из любопытства. Люди, живущие в чужих комнатах, всегда лезут за картины, она это знала, она сама в двенадцать лет полезла.

— Я там живу, — сказала она. — Это моя комната.

— Вы будете жить внизу, — терпеливо объяснил чиновник. — Вон там. В спальне. Или в кабинете. С отцом договоритесь.

— Пойдёмте, обмерим, — сказала барышня в пенсне и шагнула к лестнице.

И тут Фёкла, которая всё это время стояла у печки, сложив руки на животе, вдруг охнула, перекрестилась широко, три раза, и загородила лестницу собой.

— Ой, не ходите, батюшки, — сказала она тихим, страшным, певучим шёпотом, каким в деревнях рассказывают про покойников. — Не ходите туда. Нехорошо там.

— Что нехорошо? — спросил чиновник.

— Барыня там жила. — Фёкла снова перекрестилась. — Чахоточная. Кровью кашляла, прости Господи. Все подушки, бывало, в крови. И от этой самой чахотки потом в остроге и померла, царствие небесное. Двадцать лет как съехала, а комнату с тех пор никто не белил. Профессор не велит. Память, говорит. Там и плевательница её стоит. — Фёкла понизила голос до совсем уж загробного. — Я туда одна не хожу. Боязно. Палочка эта, как её, — она там живёт. Барышня знает. Барышня медичка.

Солдат с рулеткой попятился от лестницы на шаг. Потом ещё на шаг. Барышня в пенсне остановилась.

Лена посмотрела на Фёклу. Фёкла смотрела на неё строго и чуть-чуть, одним глазом, подмигивала.

Никакой плевательницы в мезонине не было. Мама там не кашляла кровью: мама уехала отсюда в девятьсот пятом, здоровая, а заболела потом, через десять лет, на каторге. И комнату белили каждую весну, — Фёкла и белила. Лена знала это так же твёрдо, как таблицу умножения.

— Да, — сказала Лена спокойно, тем голосом, каким на клиническом разборе называла диагноз. — Это правда. Mycobacterium tuberculosis, палочка Коха. Открыта в восемьдесят втором году. В высохшей мокроте, в пыли, на стенах сохраняет вирулентность месяцами, при отсутствии солнечного света — годами. Мезонин тёмный, окна на север. Дезинфекцию сулемой и формалином мы не проводили. Я, признаться, сама там сплю с опаской. Но я врач, у

меня, видите ли, профессиональная привычка. А для постороннего человека, особенно ослабленного, особенно из лагеря военнопленных… — Она пожала плечами. — Я бы не взяла на себя ответственность. Но если управа возьмёт — пожалуйста. Только распишитесь, что вас предупредили. Мне потом в клинике его принимать.

В кухне стало очень тихо.

Чиновник посмотрел на лестницу так, как смотрят на дверь заразного барака. Барышня в пенсне вынула изо рта папиросу и сунула в рот снова, не затянувшись. Солдат уже стоял у порога.

— Запишите, — сказал наконец чиновник, откашлявшись. — Мезонин. Санитарно неблагополучен. До дезинфекции заселению не подлежит. — Он подумал. — Дезинфекцию произвести силами владельца. — Он ещё подумал. — Без срока.

Барышня записала.

Когда за ними закрылась калитка, Лена и Фёкла, не сговариваясь, посмотрели друг на друга, и Лена расхохоталась, а Фёкла, держась за печку, мелко затряслась и закрестилась сквозь смех.

— Плевательница! — простонала Лена. — Фёкла! Какая плевательница?

— А чего они, — сказала Фёкла, вытирая глаза фартуком. — Ходят, меряют. Ироды. Ещё чего — в барынину комнату пленного пустить. Немца. Она б меня с того света прокляла. — И вдруг перестала смеяться и сказала совсем другим голосом, тихо: — Она там правда хорошая жила, барыня. Весёлая. Пела. Ты на неё, барышня, похожа, когда смеёшься. Как две капли.

— А когда не смеюсь?

Фёкла не ответила. Махнула рукой и пошла ставить самовар.

Ночью Лена долго не могла уснуть.

Она лежала в мезонине, в темноте, и смотрела на «Утро в сосновом лесу», которого не было видно, и думала о том, как всё оказалось просто. Пришли трое с рулеткой. Если бы не Фёкла, если бы не палочка Коха, если бы чиновник не боялся заразы, — завтра здесь жил бы кто-то другой. И всё, что лежит за медведями, — золото, коробочка, синяя думка, облигации, — всё это держалось на одной картине и одной петле. Её тайна была не крепче, чем фанерная дверца в стене.

Она встала, зажгла свечу, отодвинула медведей и открыла нишу.

Половину червонцев она оставила на месте, вместе с коробочкой и думкой. Другую половину завернула в холст, обвязала тесёмкой и, стараясь не скрипеть ступенями, спустилась в чулан, где стоял мамин сундук. В сундуке лежала мамина шуба, старая, лисья, вытертая, которую никто не носил двадцать лет и которую Фёкла каждую весну пересыпала нафталином и не давала выбросить. Лена распорола подкладку у подола, вложила туда свёрток, расправила, чтобы не было видно, и зашила подкладку обратно — частыми, ровными хирургическими стежками, узловым швом, каким её учили на практических занятиях зашивать кожу.

Потом закрыла сундук и вернулась наверх.

Впервые клад был не в одном месте. Это было разумно. Это было правильно. Так ей казалось. Но, засыпая, она подумала о синей думке, туго набитой, зашитой неумелыми крестьянскими стежками, и о том, что кто-то другой когда-то так же, ночью, при свече, зашивал в ситец золото, — для неё, для Ленки, на приданое, — и что этот кто-то тоже, наверное, боялся.

В те же дни весь город смеялся над Зинаидой Павловной. В «Европе» две недели жила дама в трауре, которая через объявление в газете скупала у обывателей золото — кольца, серьги, брошки, — потому что выдаёт дочь за офицера и хочет сделать ей приданое «из золота старинных сибирских семей, на счастье». Платила щедро, кредитками. Зинаида Павловна отнесла ей бабушкины серьги с изумрудами и рассказывала об этом всем как о вкладе в чужое счастье. Через две недели дама в трауре исчезла, не заплатив за номер. Никакой дочери

у неё не было. Кредитки, которыми она платила, оказались настоящими, — но к тому времени, как выяснилось, их стало можно купить на золото втрое больше, чем в день сделки.

Лена слушала эту историю за обедом и молчала. Она подумала о меняле у Базарного моста, который каждый месяц давал ей за червонец больше, чем в прошлый.

6.5. Корниловщина

Телеграмма пришла вечером двадцать седьмого, в субботу, и сначала в неё никто не поверил.

Верховный главнокомандующий генерал Корнилов, писалось в ней, отказался подчиниться распоряжению Временного правительства о сдаче должности и двинул войска на Петроград. Министр-председатель Керенский объявлял генерала изменником и призывал всех граждан к защите революции. Следом пришла вторая телеграмма — от самого Корнилова, переданная через железнодорожный телеграф неизвестно кем: генерал заявлял, что правительство действует под давлением большевиков и германского штаба, что он, сын казака-крестьянина, не желает ничего, кроме спасения Великой России, и клянётся довести народ до Учредительного собрания.

К утру в городе не осталось ни одного человека, который бы не знал. Кинематографы закрыли — по распоряжению Комитета, «во избежание скопления публики». Скопление публики немедленно образовалось на Почтамтской, у редакции, у Совета, у думы, на Базарной площади, — летучие митинги вспыхивали на каждом углу, гасли и вспыхивали снова, и ораторы, взобравшись на тумбу, на бочку, на подножку пролётки, кричали одно и то же разными словами: генерал идёт душить революцию.

Совет создал комитет спасения революции. Эсеры, меньшевики, большевики — все вместе, впервые с марта, за одним столом. Рабочим железнодорожных мастерских и типографий раздали винтовки из того самого жандармского арсенала, найденного в марте, — девяносто шесть ящиков наконец пригодились. Создавали дружины. Ставили посты у вокзала, у телеграфа, у казначейства. Говорили, что офицеры в полках сочувствуют Корнилову, и в казармах солдатские комитеты отбирали у офицеров оружие.

Отцу тоже дали винтовку.

Лена увидела его с ней вечером двадцать восьмого и не сразу поверила глазам. Он стоял на крыльце Совета, у губернаторского дома, в своей старой шляпе, в пальто, в очках, сутулый, и держал трёхлинейку так, как держат лопату, которую неизвестно куда поставить. Штык был примкнут. Винтовка была длиннее, чем отцовская рука от плеча до пола. На рукаве пальто белела повязка с надписью химическим карандашом: «Комитет спасения».

— Папа, — сказала Лена. — Ты стрелять-то умеешь?

— В девятьсот пятом умел, — сказал отец. — Кажется. Нас учили в лесу за Басандайкой. Один раз. — Он посмотрел на винтовку с сомнением. — Тут, говорят, затвор. Его надо… дёргать.

Лена принесла ему ужин: пирог с груздями, завёрнутый в полотенце, и бутылку горячего чая, обмотанную шерстяным носком, чтобы не остыл. Он поставил винтовку к стене и ел, стоя на крыльце, и угощал пирогом соседа по посту — молодого наборщика из типографии Макушина, того самого, прыщавого, который в июне сказал Лене «штрейкбрехер». Наборщик ел пирог и смущённо не смотрел на неё.

Марья Павловна была там же. Она сидела в комитете с самого утра и не уходила, и Лена видела её через открытое окно: прямую, тёмную, в енотовой шубе, за столом, заваленным телеграммами, рядом с Яницким. Они читали телеграммы вместе, передавая друг другу. Однажды Яницкий что-то сказал, и Марья Павловна кивнула. Лена смотрела на это с изумлением. Эсерка и большевик. Июльский Яницкий, угрожавший Адрианову, и Марья Павловна, назвавшая Ленина фанатиком. Сидят рядом, плечом к плечу, и кивают.

— Генерал всех помирил, — сказал отец, проследив её взгляд. Он доел пирог и стряхнул крошки с пальто. — Это всегда так. Пока есть общий враг — все братья. Потом враг уходит, и братья вспоминают, кто кому что должен.

Но он сказал это без горечи. Лена видела, что он счастлив. Он стоял на крыльце Совета, с нелепой винтовкой, с белой повязкой, рядом с прыщавым наборщиком, с Марьей Павловной в окне, с дочерью, которая принесла ему пирог, — и был счастлив так, как, наверное, был счастлив в девяносто пятом году, студентом, в кружке, когда все были вместе и все верили в одно. Он смотрел на неё поверх очков, и лицо у него было молодое.

— Ты останешься? — спросил он. — Ночь будет длинная. Нам тут нужны люди. Ты пишешь быстро. Телеграммы переписывать.

— Я не могу, папа, — сказала Лена. — У меня работа. Срочная. Перепечатка для конференции. До утра.

Это была правда. Почти правда. Отец кивнул и не спросил, для кого.

В тот же вечер в офицерском собрании тридцать девятого полка, в бывшем особняке купца Королёва на Монастырской, прапорщик Грушницкий встал из-за стола с бокалом и громко, на весь зал, провозгласил тост за генерала Корнилова.

Свидетели потом рассказывали разное. Одни говорили, что он был пьян. Другие — что не очень. Третьи — что он, напротив, был трезв, как стекло, и именно поэтому всё и вышло так глупо. Он стоял посреди зала, в портупее, с бокалом, бледный, с белым шрамом на щеке, и говорил о том, что Россия гибнет, что армию разложили болтуны и агитаторы, что нужна твёрдая рука, что генерал Корнилов — это честь, это долг, это последняя надежда, и что он, прапорщик Грушницкий, готов первым встать под его знамёна. Офицеры за столом молчали и смотрели в тарелки. Командир полка, старый подполковник, медленно багровел.

А у дверей стояли двое солдат из полкового комитета, пришедших отбирать у офицеров револьверы.

Через полчаса весь полк знал, что прапорщик Грушницкий — корниловец. Через час у офицерского собрания стояла толпа в двести человек и требовала выдать «корниловскую сволочь». Через два часа командир полка, спасая положение, объявил, что прапорщик Грушницкий за появление в нетрезвом виде в общественном месте и неподобающее поведение подвергается домашнему аресту на десять суток, и лично отвёл его на квартиру под конвоем двух унтеров. Толпа, пошумев, разошлась. Грушницкого было слишком трудно принимать всерьёз. Даже его корниловщина казалась ещё одной перевязью для красоты.

Но один солдат, немолодой, рябой, с расстёгнутым воротом, — тот самый, из Лагерного сада, которому Гомаровский тогда назвал его фамилию, — сказал, глядя вслед конвою:

— Этого мы запомним.

Лена узнала об этом только утром, от Шульца. А в тот вечер, отдав отцу пирог и чай, она пошла не домой, а в университетскую рощу, к новому зданию библиотеки, где у бокового входа, под фонарём, который не горел, её уже ждали.

Гомаровский курил, прислонившись к колонне. Он был в тёмном костюме, без шляпы, и в темноте был виден только огонёк его сигары.

— Республика в опасности, мадемуазель, — сказал он, увидев её. — Это прекрасно. В такие ночи никто не спрашивает, где вы были.

— Вы на чьей стороне? — спросила Лена.

— На своей. — Он бросил сигару и затоптал её. — Генерал или матрос — какая разница? Кто бы ни победил, ему через месяц понадобятся законы. А законы пишут после. Всегда после. — Он распахнул перед ней дверь. — Пойдёмте. Сторож получил трёшку и оставил нам лампу. У нас сорок страниц до утра.

6.6. Ночь в библиотеке

Проект положения об областной думе Гомаровский должен был сдать кооператорам к первому сентября: его собирались напечатать и разослать делегатам будущего Сибирского съезда, назначенного на осень. Работа была срочная. В гостинице «Европа» свет гасили в одиннадцать, свечи были дороги, а в библиотеке, в читальном зале, сторож, старый отставной унтер, державший ключи ещё при Грамматикати, за три рубля оставил им керосиновую лампу и позволение сидеть до утра. «Только не курите, господа, — сказал он, — тут бумага. Сгорит — меня повесят. Теперь, говорят, опять вешают». И ушёл к себе в каморку, и заперся.

Читальный зал ночью был огромен. Днём, во время конференции, он был полон людей, голосов, дыма, движения, и Лена не замечала его размеров. Теперь он лежал вокруг них тёмный, гулкий, пустой, как собор после службы. Высокие окна стояли чёрными прямоугольниками, и в них отражалась лампа. Дубовые шкафы уходили вверх, в темноту, и где-то там, под потолком, поблёскивали бронзовые люстры, незажжённые. Пахло воском, пылью, клеем, бумагой. Длинные столы, за которыми днём сидели делегаты, теперь стояли пустые, и только на одном, в самом конце зала, горела лампа.

Лампа была под зелёным абажуром.

Лена заметила это, когда села, и на мгновение у неё перехватило дыхание. Такая же лампа стояла у неё в мезонине — мамина, купленная в девяносто шестом году. Тот же зелёный стеклянный колпак, тот же круг света на столе, тёплый и замкнутый, за пределами которого всё остальное переставало существовать. Она положила руки в этот круг, на клавиши «Ундервуда», который сторож помог ей принести из технической комиссии, и подумала, что мама, наверное, тоже сидела вот так, по ночам, при такой лампе, над своими бумагами. Над листовками. Над кассой.

Она была одета так, как решила одеться ещё днём, нарочно, — строго. Серый деловой костюм, английский, с длинным приталенным жакетом и прямой юбкой. Белая блузка с высоким воротничком. Галстук — узкий, тёмно-синий, мужской, завязанный простым узлом. Волосы гладко подняты и заколоты на затылке, без единой выбившейся пряди. Она хотела выглядеть так, как выглядит стенографистка, секретарь, деловая женщина новой России, — так, чтобы это была работа и ничего, кроме работы. Чтобы не было никакого сиреневого платья, никаких шишек, никакого ветра на обрыве. Так она себе сказала.

Гомаровский снял пиджак, повесил его на спинку соседнего стула, остался в жилете и в белой рубашке с засученными рукавами, взял свою сафьяновую тетрадь и начал диктовать.

Он диктовал, расхаживая у неё за спиной, медленно, ровно, отчётливо, тем сухим петербургским голосом, каким, наверное, произносил речи в окружном суде. Статья первая: Сибирь в пределах губерний Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской и областей… составляет автономную область Российской федеративной республики. Статья вторая. Статья третья. Областная дума избирается всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Он говорил, она печатала, и «Ундервуд» стучал в пустом зале, как стучит по крыше дождь, — дробно, громко, гулко, и эхо уходило под потолок и возвращалось.

— Без различия пола, — диктовал Гомаровский. — Национальности. Вероисповедания. — Он помолчал за её спиной. — Гражданами обоего пола, достигшими… — Пауза. — Двадцати лет.

Лена перестала печатать.

— Вы нарочно.

— Это из Положения о выборах в Учредительное собрание, мадемуазель. Я ничего не придумываю. Я юрист. Я только переписываю. — Он обошёл стол и посмотрел на неё через круг света, и в его глазах была усмешка. — Хотите, напишем «девятнадцати»? Ради вас? Кооператоры не заметят. Они читают только статьи о налогах.

— Пишите как есть.

— Как есть, — согласился он и вернулся к себе за спину.

Где-то далеко, за рощей, за Почтамтской, стреляли — коротко, раз, другой, в воздух, должно быть, на посту. Потом по Новособорной площади, грохоча, проехал грузовик, и в окнах зала на мгновение мелькнул свет его фонарей. Потом стало тихо. Корнилов шёл на Петроград. Где-то в эту ночь на станциях стояли эшелоны с казаками, и железнодорожники разбирали пути, и агитаторы залезали в теплушки. Отец стоял на крыльце Совета с винтовкой, которую не умел заряжать. А здесь, в пустом зале, при зелёной лампе, диктовали законы для Сибири, которой ещё не было.

Она печатала. Статья за статьёй. Часы на стене пробили час, потом два. Гомаровский диктовал, не уставая, не сбиваясь, не заглядывая в тетрадь чаще, чем раз в несколько минут, — он, кажется, помнил всё наизусть. Лена печатала. Пальцы у неё начинали ныть.

В лампе было жарко. Зелёный колпак собирал тепло и отдавал его в круг на столе, и в этом круге было душно, как в маленькой комнате с натопленной печью. Около двух Лена почувствовала, что ей жарко в жакете, в высоком воротничке, в галстуке. Она остановилась, сняла жакет и повесила его на спинку своего стула. Потом, подумав, ослабила галстук и расстегнула верхнюю пуговку блузки. Потом вторую.

Она сделала это машинально. Почти машинально. Она знала, что он стоит у неё за спиной. Она знала, что он смотрит.

Гомаровский замолчал на полуслове.

Пауза длилась несколько секунд — дольше, чем нужно, чтобы найти место в тетради. Лена сидела неподвижно, держа пальцы над клавишами, и слушала эту паузу, как слушают на обходе дыхание больного: внимательно, профессионально, с интересом. Потом он кашлянул и продолжил, тем же ровным голосом: статья семнадцатая. О неприкосновенности личности.

И тогда она решила проверить.

Это решение пришло к ней так же спокойно и отчётливо, как приходит в анатомичке решение, где резать. Она медичка. Она знала про мужчин всё — по атласу, по лекциям, по клинике, по вскрытиям. Она знала, как это устроено: что при возбуждении артериальная кровь заполняет пещеристые тела, что гладкая мускулатура в их стенках расслабляется, что венозный отток пережимается, и орган увеличивается в объёме и твердеет, и что мужчина не может этим управлять, как не может управлять сердцебиением или румянцем. Corpora cavernosa. Она сдала это на четыре с плюсом, у профессора, который краснел, читая лекцию. Это было знание. Сухое, латинское, точное. И сейчас, в два часа ночи, в пустом зале, при зелёной лампе, это знание вдруг стало инструментом.

Она потянулась.

Медленно, как кошка, подняла руки над головой, сцепила пальцы, выгнула спину. Блузка натянулась на груди, расстёгнутый ворот разошёлся, и белая ткань легла на тело так, что, наверное, сквозь неё было видно. Потом она опустила руки, повела плечами, будто разминая затёкшую шею, и повернулась на стуле — вполоборота, к нему, — и, будто бы спрашивая, сказала:

— Простите. Повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Я не расслышала.

И посмотрела.

Не в лицо. Ниже. Туда, куда барышни не смотрят никогда и ни при каких обстоятельствах, куда сама она не смотрела ни на Великопольского у костра, ни на Грушницкого у калитки. Он стоял в двух шагах от неё, на краю круга света, в белой рубашке, в жилете, с тетрадью в руке, — и она посмотрела на его брюки, светло-серые, летние, хорошо сшитые, и увидела.

Это было видно. Совершенно ясно, под тонкой тканью, вдоль левого бедра, — то, о чём она только что думала по-латыни. Не догадка, не предположение, а клиническая картина. Признак. Объективный, не зависящий от воли пациента.

Лена подняла глаза и встретилась с его взглядом.

Он видел, куда она смотрела. Он знал, что она увидела. И она знала, что он знает. Несколько секунд они смотрели друг на друга через круг зелёного света, и ни один не отвёл глаз.

И в эти несколько секунд Лена почувствовала торжество.

Острое, горячее, почти ликующее. Вот он, — сорокапятилетний петербургский адвокат, человек, который всё знает заранее, который подкладывает карточки в сумочки и угадывает размер перчаток, который одной фразой прогоняет пьяных солдат и говорит, что закон для тех, у кого нет силы его не замечать, — вот он стоит перед ней, и его тело ему не подчиняется. А ей подчиняется. Ей, девятнадцатилетней, которая даже голосовать не может. Она расстегнула две пуговки и потянулась, — и вот. Он может диктовать про неприкосновенность личности сколько угодно, а его собственная личность — вот она, в брюках, и она ей, Лене, повинуется. Это была власть. Настоящая. Не такая, как с Грушницким, которого она водила за нос, как телёнка. Этот человек был сильнее её, умнее, старше, опытнее, — и всё-таки.

Она повернулась обратно к машинке. Медленно. С чувством сделанного дела.

— Статья семнадцатая, — сказала она через плечо. — Я слушаю.

Гомаровский не ответил.

Она услышала, как он сделал шаг. Потом ещё один. Он стоял теперь прямо за её стулом, вплотную, она чувствовала спиной тепло его тела, слышала его дыхание — ровное, но, кажется, чуть глубже, чем раньше. Он помолчал. А потом начал диктовать, очень тихо, почти над самым её ухом:

— Статья семнадцатая. Личность неприкосновенна.

И коснулся её затылка.

Пальцами. Только пальцами — двумя, может быть, тремя, — там, где начиналась шея, под поднятыми и гладко заколотыми волосами, на том маленьком голом месте, которое открывает высокая причёска и которое не прикрывает ни воротничок, ни галстук. Он положил на него пальцы легко, почти невесомо, будто проверяя пульс. И оставил.

— Никто не может быть подвергнут, — диктовал он тем же тихим ровным голосом, — задержанию, обыску, аресту…

Лена не напечатала ни слова.

То, что случилось с ней, случилось так быстро и так сильно, что она сначала даже не поняла, что это. Как будто его пальцы были не пальцами, а электродом, из тех, которыми на кафедре физиологии раздражают нерв лягушки, — и ток пошёл от затылка вниз, по позвоночнику, весь сразу, до самого крестца, и дальше, и разлился по телу горячей волной. Кожа на затылке под его пальцами вспыхнула. По плечам, по рукам, по спине побежали мурашки, крупные, частые, и соски под блузкой отвердели так резко, что она почувствовала это как боль. Дыхание сбилось. Внизу живота, глубоко, что-то сжалось и потянуло, тяжело, сладко, требовательно, — так, как не тянуло ни у калитки с Грушницким, ни на обрыве в Лагерном саду, — и колени под столом сами сошлись и сжались. Пальцы на клавишах дрожали.

— …иначе как в случаях, установленных законом, — диктовал он.

Она ударила по клавишам. Напечатала. Посмотрела на лист. Там стояло: «неприкосновеность», — с одним «н», и дальше «личнсти». Две ошибки в двух словах. Она, которая печатала шестьдесят слов в минуту вслепую и не делала ошибок никогда.

Медичка в ней, та, холодная, аккуратная, которая записывала пульс после поцелуя у костра, — медичка была на месте. Она всё регистрировала. Пульс — за сто, она чувствовала его в горле, в висках, в кончиках пальцев. Кожа — гиперемия лица и шеи, пилоэрекция. Дыхание — учащённое, поверхностное. Признаки — те же самые, ровно те же, что она только что с таким торжеством констатировала у него. Её тело делало то же самое, что его. Только сильнее. Гораздо сильнее. И медичка, зарегистрировав всё это, ничего не могла с этим поделать. Знание ничуть не помогало. Оно только позволяло видеть, как она проигрывает.

Вот что было страшно.

Не его пальцы. Не то, что он стоит за спиной, в пустом зале, ночью, где никто не услышит. Страшно было то, что она ошиблась. Она думала, что это игра, в которой она ведёт. Что его возбуждение — это её победа, знак её власти, её трофей, такой же, как шишка в Лагерном саду. Что мужчина, которого она дразнит, подчиняется ей, а она остаётся свободна, — смотрит, проверяет, ставит диагноз. А оказалось, что она такое же тело, как он. Что его два пальца на её затылке значат для неё больше, чем её две расстёгнутые пуговки значили для него. Что власть, которую она только что держала в руках, была не её — или не только её. И что если он сейчас наклонится и поцелует её в шею, в то самое место, она не сможет — нет, не захочет — его остановить. И Фёклы здесь нет. Здесь никого нет.

Она сидела, не шевелясь, с пальцами на клавишах, и ждала. Не знала, чего ждёт. Знала, что повернётся к нему. Ещё секунда — и повернётся. Сама.

И в ту самую секунду, когда она уже начала поворачиваться, — не раньше и не позже, — он убрал руку.

Просто убрал. Отступил на шаг. Перелистнул страницу в тетради. И сказал тем же самым голосом, ровным, сухим, деловым, будто ничего не было и не могло быть:

— Статья восемнадцатая. Жилище неприкосновенно. Записали, мадемуазель? У вас, кажется, опечатка в предыдущей. «Неприкосновенность» — с двумя «н». Поправьте, пожалуйста. Кооператоры, может быть, и не заметят. Но я замечу.

Лена сидела, глядя на лист. Потом взяла резинку и стёрла. Вписала второе «н» от руки, «Ватерманом». Буква вышла кривая.

Она поняла, что он сделал. Он остановился сам. Ровно тогда, когда она была готова, — ни мгновением раньше, когда она ещё могла бы сказать себе, что ничего не было, и ни мгновением позже, когда она уже повернулась бы и всё стало бы ясно им обоим. Он рассчитал это так же точно, как размер перчаток, как визитную карточку в сумочке, как Грушницкого, отправленного провожать. И эта точность испугала её больше, чем испугало бы продолжение. Продолжение можно было бы списать на страсть, на ночь, на Корнилова, на что угодно. А это — это было знание. Он знал её тело лучше, чем она, хотя она изучала его по атласу два года.

Они работали до рассвета.

Он диктовал. Она печатала. Больше он к ней не прикасался и даже не подходил близко, расхаживал по краю круга света, иногда отходил в темноту, к окну, и диктовал оттуда. Она застегнула обе пуговки блузки, затянула галстук и надела жакет, хотя в лампе по-прежнему было жарко. Ошибок она больше не делала. Сорок страниц. Статья тридцатая. Сороковая. О бюджете. О земельном фонде. О недрах, которые являются общим достоянием народов Сибири.

Около пяти в зал постучал сторож. Он принёс известие, полученное с телеграфа: эшелоны Корнилова стоят. Железнодорожники разобрали пути под Лугой, телеграф не передаёт приказов, агитаторы Совета в казачьих теплушках, и казаки отказываются идти на Петроград. Генерала бросили его войска. Революция спасена.

Гомаровский выслушал, кивнул, сложил листы в аккуратную стопку и постучал её краем о стол, выравнивая.

— Ну вот, — сказал он. — Республика спасена. До следующего раза.

Он заплатил ей за ночь. По таксе. Тридцать копеек за страницу, рубль сверху за срочность, и ещё рубль — за ночное время, «как в адвокатской конторе». Отсчитал при ней, до копейки, и положил на угол стола, рядом с «Ундервудом». Не протянул — положил.

Лена посмотрела на деньги. Потом на него.

Она взяла их. По таксе. Заработанные. Она убрала их в сумочку и не сказала ни слова.

Он подал ей жакет, хотя жакет был на ней, — просто поправил ей ворот, не коснувшись шеи, — надел свой пиджак, поклонился и ушёл первым, через боковую дверь, не оборачиваясь, унося под мышкой сорок страниц сибирской автономии.

Лена вышла через главный вход.

Светало. Над Университетской рощей поднимался бледный, холодный, чистый рассвет тридцатого августа, и в роще, мокрой от росы, просыпались птицы. Первый утренник тронул траву на газонах белым, и от дорожки поднимался пар. Где-то за рощей, на Почтамтской, уже кричали «ура» — должно быть, читали новую телеграмму. Звонили на соборе.

Над входом в библиотеку, на коротком древке, вбитом в карниз над колоннами, висел флаг, оставшийся с конференции. Его забыли снять. Ночью его намочило росой, и теперь он висел тяжело, неподвижно, а когда с реки потянуло ветром, медленно отлепился от древка и развернулся — белое и зелёное. Снег и тайга.

Лена стояла на крыльце и смотрела на него.

Правая рука её сама поднялась и легла на затылок, на то место под заколотыми волосами, где несколько часов назад лежали его пальцы. Кожа там была обычная, прохладная от утреннего воздуха. Но Лена держала на ней ладонь так, как держат руку на ожоге, — осторожно, будто боясь прикоснуться и боясь отнять руку.

Конец шестой главы.



Глава 7. Интимный театр

Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно.
А. П. Чехов, «Чайка»

7.1. Республика

Республику объявили первого сентября, в пятницу, и Томск узнал об этом из газет на следующее утро, за чаем, вместе с ценами на дрова и сообщением о краже коровы у вдовы чиновника на Акимовской.

Временное правительство, писалось в телеграмме, ввиду угрожающего положения и для укрепления государственного порядка, объявляет, что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику. Подписал Керенский. Учредительное собрание, которое одно имело право решать, каким быть государству, ещё не было избрано, но ждать его, видимо, уже не было сил.

— Пять человек, — сказал отец, прочитав. — Керенский и ещё четверо, все, кто остался в правительстве после корниловщины. Пять человек в Зимнем дворце сели вечером и объявили республику. Как объявляют перемену расписания поездов.

— Ты против республики? — удивилась Лена.

— Я за. — Отец сложил газету. — Я за республику с девяносто пятого года. Только не думал, что её объявят между делом, в пятницу, как приказ по ведомству. Мне казалось, это будет… — он поискал слово, — громче.

Громче не было. Никто не вышел на Почтамтскую, никто не стрелял в воздух, никто не пел «Марсельезу». Город устал. Город за полгода видел отречение, амнистию, облаву, займ, флаг, генерала, идущего на Петроград, и генерала, которого бросили его войска, и на республику у него уже не осталось сил. В кондитерской Чепурина, правда, выставили в витрине торт с надписью кремом «Да здравствует Р. Р.», и мальчишки долго спорили у стекла, что такое «Р. Р.», пока один гимназист не объяснил, а другой не сказал, что «Российская республика» пишется с твёрдым знаком на конце, а на торте его нет, значит, торт контрреволюционный.

Твёрдого знака, впрочем, скоро не стало и в газете.

Через неделю «Сибирская жизнь» объявила, что ввиду крайнего недостатка бумаги и для сбережения типографского места редакция с сегодняшнего дня отказывается от употребления буквы «ер» на конце слов. Адрианов написал об этом короткую заметку, сдержанную и печальную, — как пишут о вынужденной продаже фамильного серебра. Он подсчитал, что твёрдые знаки занимали в каждом номере около трёх процентов набора и что за год на них уходило столько бумаги, сколько хватило бы на две недели газеты. Сибирь, писал он, снова опережает Россию: реформа, о которой академики спорят двадцать лет, совершилась в Томске сама, от бедности.

Лена прочитала эту заметку в мезонине, за «Ундервудом», и посмотрела на клавишу с твёрдым знаком. Клавиша была в верхнем ряду, справа, и стёрлась больше других: она печатала её в каждом третьем слове. Теперь её нечем было занять. Лена нажала её просто так, в пустоту, и на листе у валика осталась одинокая буква, похожая на маленький флажок.

В Совете большевики набирали силу.

Это было видно и по газетам, и по отцу. После корниловщины, когда большевики раздали рабочим оружие и первыми встали на защиту Петрограда, им простили июльские «немецкие деньги» и Ленина в шалаше. В Петрограде Совет впервые проголосовал за большевистскую резолюцию. В Томске Яницкий вошёл в президиум и ходил по городу с двумя солдатами за спиной, как когда-то ходил полицмейстер с двумя городовыми. Отец всё реже ночевал дома. Он приходил под утро, спал два-три часа, пил чай и уходил снова, и лицо у него стало землистое, как у шахтёра.

В городе не было табаку. Табачный голод, писали газеты, и ругали спекулянтов, которые скупили папиросы на фабрике Шумахера и продавали из-под полы втрое. Отец курил какую-то траву, которую ему продавал на Базарной старик-бурят, — сушёный донник с листом смородины, — и кашлял по ночам так, что Лена просыпалась в мезонине и долго лежала, слушая, и думала про чахотку, про верхушку правого лёгкого, про то, что отец в девяносто седьмом году едва выжил, и про то, что «Кодак» стоил столько, сколько три месяца хорошего табаку.

Гомаровский исчез.

После ночи в библиотеке не было ничего. Ни записки, ни рассыльного из «Европы», ни коробки, перевязанной лентой. Ни встречи на Почтамтской, ни поклона в коридоре университета. Первую неделю Лена была рада. Она убеждала себя, что рада. Она ходила в клиники, на лекции, печатала протоколы для эсеровского комитета, стенографировала заседания губернского земельного комитета и думала, что всё кончилось, и что так и надо, и что это было помрачение, ночь, Корнилов, лампа, усталость.

На вторую неделю она поймала себя на том, что, проезжая на велосипеде по Почтамтской, смотрит на окна второго этажа «Европы». Номер четырнадцатый был угловой, она знала: это было написано на обгоревшей визитной карточке под микроскопом. Окно было занавешено. По вечерам в нём горел свет до одиннадцати, а потом гас, как всюду в городе.

На третью неделю она увидела его.

Он шёл по Почтамтской, по другой стороне, от Второва к Соборной площади, без спешки, в сером пальто, с тростью, и под руку с ним шла дама. Молодая, высокая, тонкая, в чём-то лиловом, в шляпе с огромным страусовым пером, — петербургская, это было видно с другой стороны улицы, по походке, по тому, как она несла голову. Дама что-то говорила, смеясь, и он слушал её, слегка наклонившись, с тем самым вниманием, с каким слушал Лену в коридорах библиотеки.

Он увидел Лену. Приподнял шляпу. Вежливо, коротко, как приподнимают перед знакомой барышней, с которой встречались раз-другой у общих знакомых. И прошёл мимо.

Лена ехала дальше и чувствовала, как горят у неё щёки, и не понимала, отчего больше — от злости или от стыда. Он не имел никаких прав. И она не имела никаких прав. Он был ей никто, — юрист «Закупсбыта», сорокапятилетний петербургский беженец с сигарой, который однажды вернул ей украденное платье и однажды, в ночь корниловщины, положил ей пальцы на затылок. Он мог ходить по Почтамтской с кем угодно. А она могла этого не замечать. Она это и сделала. Не заметила. До самого дома.

Марья Павловна заговорила с ней через несколько дней, неловко, сама, — видимо, давно собиралась.

Это было в эсеровском комитете, вечером, когда все разошлись и Лена допечатывала протокол губкома. Марья Павловна сидела у окна с какими-то бумагами и долго их не читала, а смотрела на Лену. Потом отложила.

— Лена, — сказала она. — Тот человек. В августе. С пером.

Лена перестала печатать.

— Гомаровский? Он юрист. Он для кооператоров…

— Я знаю, кто он. — Марья Павловна помолчала. Она смотрела не на Лену, а куда-то в сторону, на портрет Брешковской, будто собиралась с духом. Лена никогда не видела её смущённой и не сразу поняла, что видит это сейчас. — Я не буду вам говорить, что делать. Вы взрослая, и мне это не по чину. Я вам только скажу то, что знаю. Мужчины таких лет, такого сорта… — Она поискала слово. — Они ничего не дают даром. Ни пера, ни шали. Это всегда в долг. И долг всегда взыскивают.

— Я ничего ему не должна, — сказала Лена.

— Пока — нет. — Марья Павловна снова помолчала. — Видите ли, Лена. Половая любовь — это кандалы. Их надевают добровольно, сами, и защёлкивают сами, и думают, что

это украшение. Я видела, как лучшие наши женщины… Я видела, что с ними делалось. Как они бросали дело, товарищей, всё, ради какого-нибудь… — Она махнула рукой, и рука у неё была тёмная, в шрамах, и чуть дрожала. — Я сама никогда. Никогда. Я за это благодарю Бога, в которого не верю.

Она помолчала и сказала другим голосом, мягче:

— А ваша мама была выше этого. Она любила вашего отца, да. Но она никогда, ни разу в жизни, ни ради чего не продавала себя. Ни ради денег, ни ради свободы, ни ради жизни. Ей на этапе предлагали… начальство предлагало, конвойные. Облегчение. Она плевала им в лицо. Я сама видела.

Лена сидела над машинкой и молчала. Ей хотелось сказать, что она ничего не продаёт, что перо — это для работы, а шаль — потому что было холодно, а перчатки… Перчатки она не могла объяснить. Она молчала, и Марья Павловна приняла это молчание за согласие и, удовлетворённая, вернулась к своим бумагам.

А Лена допечатала протокол, надела пальто и пошла домой через тёмный город. И думала о маме, которая плевала конвойным в лицо. И о том, что у неё самой, наверное, не хватило бы сил плюнуть в лицо человеку, который так точно угадывает размер её перчаток.

7.2. Вечный студент

С середины сентября город наполнился студентами так, как наполняется весной Ушайка.

Их ждали вдвое больше обычного, и они приехали — из Петрограда, из Москвы, из Киева, из Казани, откуда угодно, где университеты закрывались, голодали или стреляли. Ехали в Томск, потому что Томск был далеко, потому что здесь, говорили, ещё есть хлеб, потому что в Сибирском университете можно было доучиться, пока Россия разваливается. Четыре тысячи приезжих, писала «Сибирская жизнь», а к октябрю ждали ещё. Первокурсники в новеньких фуражках бродили по Почтамтской с чемоданами и спрашивали у прохожих, где можно снять угол.

Угла не было.

Комнаты, которые весной сдавались за пятнадцать рублей, теперь стоили тридцать пять, пятьдесят, девяносто. Хозяйки сдавали чуланы, сени, кухни, сараи, баньки на огородах. На Еланской в одной комнате жили семеро студентов, спали по очереди, в две смены, как работают на заводе. Хлеба в булочных не было с утра до вечера, а «солидным покупателям», как писала газета, продавали его с чёрного хода десятками фунтов. Студенты стояли в очередях за хлебом вместо лекций и пропускали лекции, чтобы стоять в очередях.

В «Сибирской жизни» напечатали фельетон: управа, мол, всерьёз обсуждает, не поселить ли приезжих студентов в бывшем заразном бараке за кладбищем, где летом лежали тифозные, — продезинфицировать сулемой, и пусть живут, раз уж они медики и всё равно привыкли к заразе. Или в старых казённых конюшнях, где сено ещё пахнет, — это даже полезно для лёгких. Город смеялся над фельетоном неделю.

Через неделю университетское правление отвело под временный ночлег для иногородних студентов старые конюшни при клиниках.

Лена узнала об этом от Великопольского. Она встретила его в анатомичке, в подвале, рано утром, и сначала не узнала. Он сидел над препаратом, длинный, сутулый, в студенческой шинели, которую не снимал, хотя в анатомичке было тепло, — небритый, серый, с запавшими глазами, и руки у него, торчавшие из рукавов, были красные и в цыпках.

— Ты здесь ночевал? — спросила она.

— Нет, — сказал он и покраснел до ушей, как краснел в марте у костра. — Мы в конюшнях. Там ничего. Солому дали. Нас там двадцать человек, все медики, многие с войны. Весело. — Он помолчал. — Только по ночам холодно. И крысы. Крысы наглые, университетские, учёные. Одну мы назвали Вирховом.

— А хозяйка? У тебя же была комната. На Солдатской.

— Подняла до сорока. — Он пожал плечами. — У меня стипендия двадцать пять. И уроки. Были уроки. Купец, у которого я учил сына латыни, уехал в Харбин.

Он говорил это легко, улыбаясь, и Лена видела, как он старается, чтобы было легко. Его отец учительствовал под Тулой и, наверное, сам голодал. Его голос, дьяконский, гулкий, которым в марте он читал с тумбы телеграмму об отречении, теперь звучал хрипло: простужен. Это был её первый поцелуй. Обветренные губы, иней на ресницах, пульс девяносто шесть. Полгода назад.

— Возьми, — сказала она и сунула ему в карман шинели свёрнутую бумажку. — В долг. Отдашь, когда станешь профессором.

— Что это?

— Десять рублей.

Он вынул бумажку, посмотрел на неё, потом на Лену, и лицо у него стало такое, что Лене захотелось провалиться в подвал под анатомичкой.

— Я не могу, — сказал он.

— Можешь. Купишь хлеба. И табаку. И мыла.

Он долго держал бумажку в красных пальцах. Потом сложил её вчетверо и убрал в карман гимнастёрки, под шинель, туда, где у солдат лежат письма.

— Спасибо, Лена, — сказал он тихо. — Я отдам.

Шульцу, сыну аптекаря, который тоже остался без комнаты, потому что отец его разорился во время забастовки фармацевтов, она в тот же день дала ещё десять — тоже в долг, тоже «до профессорства». Шульц взял не смущаясь, по-деловому, и сказал, что вернёт с процентами, по банковской ставке, и даже вынул записную книжку, чтобы записать.

А в три часа дня Лена была у Второва.

Пятнадцатого сентября, говорили, закрываются все мануфактурные магазины в городе: торговать больше нечем, ситец кончился, сукно кончилось, а новое не везут, потому что дорога забита эшелонами. У Второва с ночи стояла очередь до самого угла. Лена прошла мимо очереди, через боковую дверь, где знакомая приказчица из шёлкового отдела, получив от неё «на чай», провела её в задние комнаты.

Там, на прилавке, лежал последний отрез чёрного бархата. Лионского, тяжёлого, мягкого, глубокого, как ночная вода в Томи, — такого, в котором пальцы тонут, а свет не отражается, а уходит внутрь и пропадает. Приказчица развернула его, и Лена провела по нему ладонью, против ворса, и бархат потемнел ещё сильнее, будто вздрогнул.

— Последний, барышня, — сказала приказчица. — Больше не будет. Никогда. Хоть на коленях просите. На вечернее хватит, если без шлейфа.

Лена купила его. Отрез стоил сто восемьдесят рублей. Портниха на Акимовской, та самая, что шила сиреневое, взяла за работу ещё сто двадцать и сказала, что к концу месяца будет готово: открытые плечи, лиф без рукавов, юбка до полу, узкая, с разрезом сбоку до колена, — «как в Париже, барышня, до войны».

Триста рублей.

Двадцать рублей в долг до профессорства, и триста — за платье. Лена шла домой с куском бархата в бумажном свёртке и не думала об этом. Она думала о том, как бархат будет лежать на плечах.

По дороге, через университетскую рощу, она услышала звон стекла. Мальчишки, человек пять, оборванные, с рогатками, стояли за оградой Ботанического сада и били стёкла в оранжерее — не со злобы, а так, на меткость, считая попадания. Стёкла лопались с сухим праздничным звоном, как на свадьбе. Из сада выбежал старик-сторож в брезентовом плаще, тот самый, что в июле жаловался Лене на солдат, и кинулся за мальчишками с метлой, и мальчишки, хохоча, разбежались по роще, а сторож постоял у ограды, тяжело дыша, и вернулся в сад собирать осколки.

Лена смотрела на него через ограду и вспоминала раздавленный прострел на третьей грядке от сосны.

7.3. Химия внутренней секреции

Первый съезд врачей Томской губернии открылся в актовом зале университета в середине сентября, и Лена была его секретарём.

Это тоже устроила Марья Павловна, но на этот раз почти и не пришлось: стенографистку, которая вела техническую комиссию областной конференции, в городе уже знали, и организационное бюро съезда само пришло к профессору Трофимову с просьбой «уступить дочь». Отец уступил, гордясь. Он был в бюро и читал на съезде доклад.

Делегатов приехало около шестидесяти. Земские врачи из уездов — бородатые, обветренные, в стоптанных сапогах, привыкшие лечить на сто вёрст в округе одни, с фельдшером и тремя склянками; городские светила из губернской больницы и клиник — в сюртуках, в пенсне; несколько фельдшеров и акушерок, одна — с орденом за японскую войну. Говорили о том, о чём говорили все в эту осень: о тифе в переселенческих деревнях, о дизентерии в гарнизоне, о том, что хинина нет, карболки нет, йода нет, марли нет, дров для больниц нет, а жалованье земскому врачу — меньше, чем зарабатывает теперь извозчик. Земский врач из Мариинского уезда рассказал, как в его участке крестьяне, получив свободу, перестали возить в больницу дрова, потому что дрова теперь, говорят, общие, а значит, ничьи. Зал смеялся, и смех был горький.

Доклад отца поставили на второй день, после обеда, и Лена боялась, что после обеда зал уснёт.

Зал не уснул.

Отец назвал доклад «Химия внутренней секреции и её значение для практической медицины». Он вышел на кафедру в своём лучшем сюртуке, без бумажки, и в первые же пять минут Лена увидела, как он меняется. Он снова был тем, кем был до весны, до Совета, до «мы считаем» и «наша позиция»: учёным, влюблённым в свой предмет так, как бывают влюблены в женщину. Он говорил о том, что в организме, кроме нервов, есть ещё одна система связи, химическая, — железы, которые не имеют протоков и выделяют свои вещества прямо в кровь. О том, как пятнадцать лет назад в Лондоне Бейлисс и Старлинг ввели собаке в вену вытяжку из слизистой кишки и поджелудочная железа начала выделять сок, хотя все нервы к ней были перерезаны. О секретине. О том, что Старлинг назвал эти вещества гормонами — от греческого «возбуждаю», «привожу в движение». О щитовидной железе, о кретинизме и микседеме, которые лечатся теперь таблетками из бараньей щитовидки. Об адреналине, который выделяется при страхе, гневе, радости, и под действием которого сердце бьётся чаще, кровь отливает от кишок к мышцам, зрачки расширяются, а волосы на коже встают дыбом.

Лена стенографировала и почувствовала, как у неё краснеют уши.

— И наконец, — сказал отец, — половые железы. Самая загадочная и, позволю себе сказать, самая деликатная область нашей науки. — По залу прошло оживление. — Ещё в восемьдесят девятом году знаменитый Броун-Секар, семидесяти двух лет от роду, ввёл себе под кожу вытяжку из семенников морской свинки и объявил на заседании Парижского биологического общества, что помолодел на тридцать лет, — что к нему вернулись бодрость, память и, как он деликатно выразился, «другие силы». Над ним смеялись. Однако сегодня в Вене доктор Штейнах пересаживает половые железы морским свинкам и крысам и наблюдает, как у самцов, получивших женские железы, появляются женские повадки и даже молоко, а у самок, получивших мужские, — мужские. Значит, господа, то, что мы называем характером, темпераментом, влечением, — это в значительной степени химия. Количество определённых веществ в крови. Наше поведение, наши страсти, наше, если угодно, сладострастие подчинены не только воле и воспитанию, но и железам. Человек думает, что он хочет. А на самом деле в нём хочет гормон.

Зал засмеялся — с облегчением, как смеются над рискованным анекдотом. Акушерка с орденом покраснела. Земские врачи хлопали.

Лена сидела за секретарским столиком и не могла поднять глаза от стенограммы.

Она слышала каждое слово и видела каждое слово — не в стенограмме, а в себе. Адреналин: сердце за сто, кровь к лицу, мурашки по рукам. Гормон, который хочет вместо человека. Человек думает, что он хочет, — а в нём хочет железа. Читальный зал, зелёная лампа, два пальца на затылке, соски, отвердевшие так резко, что было больно, колени, сжавшиеся под столом сами. Отец стоял на кафедре и объяснял шестидесяти врачам Томской губернии, что произошло с его дочерью месяц назад в ночь корниловщины. Объяснял блестяще, научно, с цитатами и опытами. И не догадывался об этом.

Ей было жарко, стыдно и смешно одновременно, и она уткнулась в стенограмму, и стенографические крючки плясали у неё перед глазами, как морские свинки доктора Штейнаха.

После доклада к отцу подошли с вопросами. Вопросов было много, и больше всего — о Броун-Секаре. Особенно настойчив был один делегат, которого Лена приметила ещё в первый день, потому что не приметить его было невозможно.

Он приехал на съезд на собственной тройке, с колокольчиками, из уездного города С., за двести вёрст. Ему было под шестьдесят. Он был огромный, грузный, с тройным подбородком, лежавшим на воротничке, как тесто на краю квашни, с маленькими заплывшими глазками и одышкой, от которой при каждом шаге у него на жилете колыхалась золотая цепочка. Звали его доктор Старцев, Дмитрий Ионович, и в уезде, как рассказывали, у него была огромная практика, три дома, которые он сдавал внаём, и привычка по вечерам раскладывать на столе бумажки, полученные от больных, — жёлтые, зелёные, радужные, — и пересчитывать их, отдуваясь. Из всех заседаний съезда он не пропустил только обеды.

Теперь он стоял перед отцом, держа его за пуговицу сюртука, и спрашивал о Броун-Секаре.

— А вытяжка эта, коллега, — сипел он, — она в продаже имеется? В аптеках? Или в Петербурге, у Феррейна? Или только у морских свинок? И какой срок действия? Тридцать лет — это, конечно, преувеличение, это француз, они любят. Но хоть бы десять. Хоть бы пять. А? Для научного интереса.

Отец, отцепляя пуговицу, объяснял, что опыты Броун-Секара не подтвердились, что эффект был, скорее всего, внушением, что Штейнах работает только с животными. Старцев слушал, кивал и не верил ни одному слову, это было видно.

За чаем, в перерыве, он подсел к Лене.

Он сел рядом, тяжело, со стоном, так что стул под ним хрустнул, поставил перед собой стакан и три пирожных и долго смотрел на Лену своими заплывшими глазками. Смотрел и вздыхал. Лена ждала, что он скажет что-нибудь о стенограмме.

— Вы мне напоминаете одну барышню, — сказал он наконец. — Давно. Лет тридцать назад. В С. Котик её звали. Дома так звали. Екатерина Ивановна. На рояле играла. Громко, знаете, так играла, будто хотела рояль загнать в землю. — Он съел пирожное. — Я тогда был молодой. Земский врач. Ездил к ним на дачу. А она… — Он махнул рукой. — Она хотела в консерваторию. Уехала. А потом вернулась, а я уже… Ну, что было, то прошло. — Он съел второе пирожное. — Глаза у неё были как у вас. Только не косили.

Лена не знала, смеяться ей или плакать, и сделала то и другое мысленно, сохраняя на лице вежливое внимание секретаря.

На следующий день, в последний день съезда, доктор Старцев пришёл к профессору Трофимову в кабинет, где тот разбирал бумаги бюро, закрыл за собой дверь и по всей форме, отдуваясь, попросил руки его дочери.

Отец рассказывал это Лене вечером, за ужином, и не знал, как рассказывать, и всё время снимал и надевал очки.

— Он изложил мне свои доходы, — говорил отец. — Подробно. По годам. Три дома в С., один каменный. Практика. Вклад в Сибирском торговом банке. Земля под городом. Ещё он, кажется, держит паи в маслодельной артели. — Отец помолчал. — Он сказал, что молодая жена-врач будет ему отличной помощницей в практике. Что он устал. Что у него одышка. Что жена с медицинским образованием понимает, как важен режим. И что ты, Леночка, ему очень… подходишь. Он сказал «подходишь».

— А ты что ответил?

— Я сказал, что моя дочь — взрослая женщина, полноправная студентка и член партии социалистов-революционеров, и решает сама. — Отец помолчал. — Он, кажется, не поверил. Он спросил, сколько я за тобой даю.

Лена расхохоталась так, что Фёкла прибежала из кухни узнать, что случилось.

Старцев получил ответ через отца в тот же вечер, письменный, вежливый и короткий. Он прочёл его в номере гостиницы, нисколько не огорчился, — рассказывали, — съел ужин из пяти блюд, утром велел заложить тройку и уехал в С. под звон колокольчиков, а в Томске потом ещё долго передавали, что, садясь в сани, он сказал швейцару: «А всё-таки хорошо, что я на ней не женился».

7.4. Весенние чары

Конверт принёс рассыльный из «Европы» во вторник, через три недели после ночи в библиотеке.

Тот же мальчик в фуражке с галуном, что приносил перчатки. Тот же белый конверт, плотный, с золотым обрезом. Фёкла приняла его, как принимают письмо из полиции, — двумя пальцами, — и отнесла наверх. Лена разорвала конверт стоя.

В конверте был театральный билет. Один. Плотный, глянцевый, с виньетками: «Интимный театр. Открытие сезона. Премьера. "Весенние чары", фантазия в трёх действиях с музыкой и танцами. Ложа бенуара № 3. Место 1». И больше ничего. Ни записки, ни карточки, ни инициалов. Только на обороте, карандашом, мелко, та же рука, что на коробке с перчатками, вывела дату и час: «Суббота. 8 веч.»

Ложа бенуара — Лена знала — была на двоих. Место первое. Значит, было и второе.

Она убрала билет в ящик стола, под микроскоп, рядом с обгоревшей визитной карточкой, и три дня делала вид, что не пойдёт. В субботу в семь вечера надела тёмно-синее шёлковое платье, мамины серьги — она проколола уши ещё в августе, тайком, у ювелира на Магистратской, — китайскую шаль и лиловые перчатки и поехала.

«Интимный театр» открылся в бывшем кинематографе на Почтамтской, который весь август стоял закрытый после корниловщины. За месяц его переделали: снаружи повесили вывеску с полуголой нимфой и электрическими лампочками, которые не горели, потому что свет экономили; внутри обтянули стены малиновым плюшем, понаставили золочёных амуров, кое-где облупленных, и устроили три ложи бенуара, отгородив их от партера бархатными шнурами. Партер был полон. Публика была такая, какой Томск не видел даже на гастролях: офицеры, спекулянты в новых костюмах, петроградские беженцы, которые громко говорили, что «у Суворина было лучше», дамы в декольте и перьях, студенты на галёрке, купчихи с дочерьми. Пахло духами, нафталином и сырой штукатуркой.

Ложа номер три была слева, у самой сцены. Лена села на место номер один. Второе кресло, рядом, обитое тем же малиновым плюшем, стояло пустое.

Она смотрела на него до начала спектакля. Когда погасили свет, она ещё раз посмотрела.

Пьеса была глупая. Это стало ясно на десятой минуте. Какой-то молодой граф, утомлённый жизнью, уходит весной в лес и встречает там нимф, фавнов и самого Бога Весны, который пробуждает в нём чувственность и учит его «жить по законам природы». Граф говорил стихами, плохими. Бог Весны, рослый актёр в золотом трико, обтягивающем его так, что дамы в первых рядах поднимали лорнеты, пел баритоном. А нимфы — шесть актрис в лёгких, полу-

прозрачных, «древнегреческих» туниках, с голыми руками, с голыми ногами до колен, с распущенными волосами, увитыми бумажными цветами, — танцевали.

Они танцевали под рояль и две скрипки, босиком, в розовом и голубом свете, на маленькой сцене, кружились, падали на колени, протягивали руки к залу, изгибались, и туники при каждом движении взлетали и облепляли их тела, и в розовом свете было видно всё — или почти всё, — и зал затихал. Офицеры в партере дышали громче. Купчихи шептали дочерям «не смотри» и смотрели сами. Петроградские беженцы перестали вспоминать Суворина.

Лена смотрела на нимф.

Сначала — с насмешкой, как медичка: эта, вторая слева, сутулится и косолапит; у той, рыжей, на бедре синяк, плохо запудренный; у третьей грудь подложена ватой, это видно, когда она поворачивается. Потом — с интересом. Потом — с тем странным, тягучим, сладким чувством, которое она начала узнавать в себе с июня, с купальни.

Она представила себя там.

Не нимфой, нет, — нимфы были жалкие, с ватой и синяками. Собой. На этой сцене, в розовом свете, в тонкой тунике, которая ничего не скрывает. Босиком, с распущенными волосами — её волосы длиннее и гуще, чем у любой из них. Она выходит одна, когда нимфы убегают. Музыка смолкает. Она стоит неподвижно, и свет медленно меняется из розового в белый, и туника становится прозрачной, как вода, и в зале — тишина, какой не было ни на одном митинге. И все смотрят. Офицеры, спекулянты, беженцы, купчихи, студенты на галёрке. Все — на неё. Все хотят её. И она это знает, и ей не стыдно, ей хорошо, ей так хорошо, что кружится голова, — и она медленно поднимает руки, как тогда в купальне, отжимая волосы, и туника соскальзывает с одного плеча…

Она очнулась от аплодисментов. Первый акт кончился. Нимфы кланялись. Бог Весны посылал залу воздушные поцелуи.

У Лены горели щёки, и она обрадовалась, что в ложе темно.

Второе кресло было пустым.

Только теперь, в антракте, при зажжённом свете, она поняла до конца. Он не забыл и не опоздал. Он и не собирался приходить. Билет был один, а кресла два. Он посадил её в ложу рядом с пустым местом на целый вечер — чтобы она весь вечер смотрела на это пустое место. Чтобы видела нимф, бога в трико, розовый свет, — и рядом пустоту. Чтобы думала о нём и злилась. Это было его послание, и оно было составлено так же точно, как перчатки по мерке.

Она злилась. И не могла перестать смотреть на малиновое кресло.

Во втором акте, когда нимфы снова танцевали, она подняла глаза на галёрку — просто так, отвлечься от кресла. На галёрке, в первом ряду, у самого барьера, сидел пожилой господин в синих очках. Худой, сутулый, в застёгнутом на все пуговицы чёрном сюртуке, с калошами на ногах, хотя на улице было сухо, и с зонтиком в чехле, который он держал между колен. Он смотрел на сцену в большой морской бинокль, не отрываясь, наклонившись над барьером так, что, казалось, вот-вот упадёт в партер. Бинокль медленно и методично переходил с одной нимфы на другую, как переходит указка учителя по карте.

Лена узнала его. Профессор Передонов, юридический факультет, уголовное право. Она видела его в университете, в коридорах главного корпуса, — всегда в синих очках, всегда в калошах, всегда с зонтиком в чехле, — и слышала о нём от студентов-юристов. Говорили, что он тридцать лет пишет огромный труд о государственном надзоре за домами терпимости и что труд этот никак не может быть закончен, потому что требует всё новых и новых изысканий. Студенты говорили это с особой интонацией, и Лена тогда не понимала, с какой.

Теперь поняла.

Спектакль кончился в одиннадцатом часу. Бог Весны вывел графа из леса преображённым, нимфы осыпали их бумажными цветами, зал аплодировал стоя. Лена ушла, не дождавшись конца аплодисментов, через боковой выход. Второе кресло так и осталось пустым.

В понедельник, в «Сибирской жизни», на третьей полосе, без твёрдых знаков, появилось письмо в редакцию под заголовком «Порнография на томской сцене».

Автор письма, побывавший, по его словам, в субботу в «Интимном театре» «единственно с целью ознакомиться с новыми веяниями», с глубочайшим возмущением сообщал, что на сцене театра, в дни великой революции, когда все силы общества должны быть направлены на защиту отечества и устроение новой жизни, демонстрируется зрелище, растлевающее юношество и оскорбляющее нравственное чувство всякого порядочного человека. Автор подробно, на полстолбца, описывал, в чём именно состояло растление: длину туник, степень их прозрачности при различном освещении, характер телодвижений, положение рук и ног исполнительниц во втором акте, а также некоторые особенности костюма исполнителя роли Бога Весны. Он призывал Комитет общественного порядка закрыть театр, а исполнительниц подвергнуть врачебному освидетельствованию. Подпись: «Профессор А. П.».

Лена прочла это за завтраком и засмеялась так, что поперхнулась чаем.

— Что там? — спросил отец, поднимая голову от своей газеты, большевистской.

— Передонов, — сказала Лена, вытирая глаза. — Профессор Передонов. В синих очках. Он описывает туники. На полстолбца. С освещением.

Отец взял у неё газету, прочитал и тоже засмеялся — коротко, в бороду.

— Аполлон Аполлонович, — сказал он. — Старый знакомый. Я его ещё студентом помню, в девяностых. Он тогда тоже изучал… надзор. — Отец посмотрел на Лену поверх очков. — А ты откуда знаешь про освещение?

Лена перестала смеяться.

— Говорили, — сказала она. — В клинике.

Отец кивнул и вернулся к своей газете. Он не спросил, кто говорил. Она подумала, что ложь даётся ей всё легче, и что это, наверное, тоже химия.

7.5. Женский съезд

Первый Сибирский женский съезд был назначен на двадцатое сентября, и Лена три недели его готовила.

Она печатала приглашения — триста штук, на «Ундервуде», через копирку, по шесть экземпляров за раз, пока не заболели пальцы. Она надписывала конверты: в уездные земские управы, в волостные комитеты, в женские гимназии, в учительские семинарии, в кооперативы, в общества трезвости, в общины сестёр милосердия. Она вешала объявления на тумбы, на двери университета, на ограду Гостиного двора, на доску у Совета, и через день их срывали, кто на растопку, кто на самокрутки, — табачный голод, — и она вешала снова. Она ходила по редакциям. Она уговаривала курсисток. Она убедила Зинаиду Павловну Кошеварову отдать на съезд весь свой дамский комитет, «до последней генеральши». Она верила, что придут.

Председательствовала Волянская, эсерка, учительница, седая, деловитая, с тихим голосом и твёрдыми руками. Открывал съезд профессор Новомбергский — юрист, знаток полицейского права, большой, бородатый, галантный, — и он говорил полчаса. Он говорил о «прекрасной половине свободной Сибири», о том, что женщина — мать, жена, сестра, хранительница очага, — теперь становится и гражданкой, и что сибирская женщина, крепкая, выносливая, видевшая каторгу и ссылку, достойна этого больше всех женщин мира. Он говорил о Бочкарёвой, о декабристках, о Марии Волконской, приехавшей к мужу в Нерчинские рудники. Он целовал руку Волянской. Ему аплодировали.

Аплодировали три ряда.

Зал Общественного собрания был рассчитан на триста мест. Заняты были первые три ряда, и то не до конца. Дамский комитет Кошеваровой — восемь дам и три барышни — занял весь первый ряд и сидел торжественно, в белом, с красными лентами, хотя был уже не июль. Во втором ряду — курсистки, человек пятнадцать, две учительницы из Мариинской гимназии и сестра милосердия из губернской больницы. В третьем — две эсерки из губкома, Марья Пав-

ловна, которая пришла ради Лены, и одна большевичка, худая, стриженая, в кожаной куртке, — она выслушала профессора Новомбергского, громко сказала «буржуазный феминизм» и ушла, хлопнув дверью. Остальные двести семьдесят мест пустовали. Из уездов не приехал никто. Из трёхсот приглашений на «Ундервуде» не откликнулось ни одно.

Лена сидела за секретарским столиком на сцене и смотрела на пустой зал.

Съезд работал. Волянская предложила повестку: подготовка женщин к выборам в Учредительное собрание, просвещение, охрана материнства. Генеральша Перфильева спросила, будут ли на участках для женщин отдельные кабинки, или придётся голосовать вместе с солдатами. Курсистка спросила, можно ли выдвигать в Учредительное собрание женщин-кандидатов. Кошеварова предложила послать приветственную телеграмму Керенскому, — вторую за два месяца, — и предложение приняли единогласно, все двадцать девять человек. Потом встал вопрос о кворуме: можно ли принимать резолюции съезда, если на съезд прибыло меньше одной десятой приглашённых? Генеральша считала, что нельзя. Курсистки — что женскому съезду кворум не нужен, кворум — мужская выдумка. Волянская устало предложила отложить резолюцию до следующего заседания. Следующего заседания не было.

В перерыве, когда дамы пили чай, а курсистки курили в коридоре чей-то последний табак, в зал вошла баба.

Она вошла неслышно, с улицы, в армяке, в лаптях с онучами, в тёмном платке, повязанном низко на лоб, и остановилась у двери, озираясь на пустые ряды, на бархатный занавес, на люстру, — как озираются в церкви, куда зашли впервые. Ей было лет сорок, а может, тридцать: лицо было тёмное, обветренное, с глубокими складками у рта, а руки, державшие узелок, — огромные, красные, с потрескавшимися пальцами. Она стояла и молчала, и все в зале замолчали тоже.

Лена спустилась к ней со сцены.

— Вы на съезд? — спросила она.

— На съезд, — сказала баба. — На бабий. Сын прочёл. Он у меня в Барабинске в училище, грамотный. В газете, говорит, мамка, бабий съезд в Томске. Про нас, говорит. Я и поехала.

— Из Барабинска? Как же вы…

— А в теплушке. — Баба пожала плечами. — Солдаты подсадили. Двое суток. Ничего. Ночью только холодно.

Её усадили во второй ряд, рядом с курсистками. Принесли чаю. Волянская, вернувшись к председательскому столу, объявила, что на съезд прибыла делегатка из Барабинска, и курсистки захлопали, и дамы захлопали тоже, вежливо, кончиками перчаток. Баба сидела, держа стакан обеими руками, и не понимала, отчего хлопают.

Когда возобновилось заседание, Волянская спросила, не хочет ли делегатка из Барабинска сказать слово.

Баба встала. Помолчала. Поставила стакан на соседний стул.

— Я про мужика спросить, — сказала она. — Мужика моего, Семёна, в пятнадцатом годе взяли. На германскую. Писем третий год нету. Ни живой, ни мёртвый. В волости говорят — пропал без вести, пенсии не положено. А я с тремя. Земля не пахана: пахать некому, коня в пятнадцатом же годе забрали в обоз. Кормить нечем. — Она помолчала. — Вот я и спросить приехала. Когда мужика вернут? И когда землю дадут? Говорят, землю дадут, и мужики говорят, и солдаты в теплушке говорили. Когда?

Зал молчал.

Профессор Новомбергский, сидевший в президиуме, кашлянул и сказал мягко, что вопросы о мире и о земле будет решать Учредительное собрание, а Учредительное собрание избирает народ, в том числе — и это главное достижение революции — женщины, и что она,

как гражданка, двенадцатого ноября сможет пойти на участок и проголосовать за ту партию, которая…

Баба слушала его внимательно, наклонив голову, как слушают приезжего барина, и кивала. Когда он кончил, она сказала:

— Это мне голос дают?

— Да. Вам. Право голоса.

— А мужика?

Новомбергский развёл руками.

Баба постояла. Потом села. Потом развязала свой узелок, лежавший у неё на коленях, — в нём были варёные яйца, десятка полтора, крашенные луковой шелухой, хотя до Пасхи было далеко, и краюха хлеба, — и стала раздавать яйца соседкам. Курсисткам. Учительницам. Генеральше Перфильевой, которая, растерявшись, взяла. Кошеваровой. Лене.

— Ешьте, — говорила она. — Ешьте, барышни. Свои. От своих кур. Вы тут сидите, думаете за нас, голодные небось. Ешьте.

И генеральша Перфильева, в лиловом шёлке, с бриллиантовой подковой на груди, сидела и чистила крашеное яйцо, и скорлупа сыпалась ей на колени.

Лена держала своё яйцо в руке. Оно было ещё тёплое — должно быть, баба держала узелок за пазухой всю дорогу. Двое суток в теплушке из Барабинска. Ради того, чтобы спросить, когда вернут мужа.

После съезда Лена шла домой одна. Был тёплый вечер, золотой, с тем особенным, медовым светом, какой бывает в Сибири только в конце сентября, когда берёзы в роще жёлтые, а небо ещё синее, и в воздухе пахнет листом и дымом. Она шла и думала, что голосовать не может ни она, ни эта баба. Она — потому что ей девятнадцать. А баба может — но не знает, зачем, и голос ей не нужен, ей нужен мужик и конь. И что разницы, может быть, и нет. Что Учредительное собрание, Сибирская дума, женский съезд, республика, — всё это для того, чтобы двадцать девять женщин в пустом зале на триста мест отправили телеграмму Керенскому. А баба вернётся в Барабинск в теплушке, к трём детям и непаханой земле.

Яйцо она так и не съела. Принесла домой и положила на стол в мезонине, рядом с сосновой шишкой из Лагерного сада.

7.6. Новые формы

Поэт Лебядкин жил в мансарде над фотографическим ателье на Монастырской, и попасть к нему можно было только по наружной деревянной лестнице, крутой и шаткой, как корабельный трап, мимо вывески «Фотография Модерн. Портреты, группы, увеличения».

Его звали Тимофей Игнатьевич, но так его не звал никто. Он подписывался «Тим Лебядь» и печатал в эсеровском «Пути народа» и где придётся стихи, которые никто не понимал, — о «теле машины», о «бетонной Венере», о «звонкозвёздном вопле моторов», с рифмами вроде «свобода — коромысло урода». Ему было лет двадцать пять. Он был высокий, тощий, с длинным бледным лицом, с жёлтой шёлковой кофтой, которую носил в любую погоду, и с деревянной ложкой в петлице. Говорили, что он внук или сын какого-то отставного капитана, который тоже писал стихи и плохо кончил где-то в Скворешниках, — сам Лебядкин об отце не рассказывал, но иногда, напившись, читал наизусть какие-то старые вирши про таракана, «попавшего в стакан, полный мухоедства», и плакал.

Внизу, в ателье, он подрабатывал ретушёром и по ночам проявлял плёнки. Это и было главное: у Лебядкина была своя фотографическая лаборатория, свой магний для вспышек и свой ключ от ателье. Поэтому все, у кого в Томске был «Кодак», рано или поздно поднимались по шаткой лестнице на Монастырской.

Лена поднялась туда в последнюю субботу сентября, в чёрном бархатном платье.

Платье принесли в пятницу. Она надела его в мезонине перед маминым зеркалом и долго стояла, не узнавая себя, — так же, как в марте стояла перед тем же зеркалом в маминых серьгах

и с брошью на сорочке. Бархат лёг на неё так, как портниха обещала, — как в Париже до войны. Лиф без рукавов держался на двух узких бретельках, и плечи, руки, шея, ключицы, верх спины были голые, белые, северные, и на чёрном бархате казались ещё белее, почти светящимися. Юбка облегала бёдра и уходила вниз узким тёмным потоком, и в разрезе сбоку, при каждом шаге, мелькало колено. Длинные перчатки — не лиловые на этот раз, а чёрные, шёлковые, до самых подмышек. Мамины серьги. Китайская шаль на плечи — до порога. «Кодак» в кожаном футляре на ремне через плечо, как у фотографа-репортёра, — нелепо и, как ей казалось, очень современно.

Пригласил её Шульц. Шульц знал всех и везде бывал, и, когда Лена однажды спросила, где проявить плёнку, сказал: «У Лебядкина. В субботу. Приходите, там будет весело. Только оденьтесь как-нибудь… — он пошевелил пальцами, — по-новому».

Мансарда была одна большая комната под скатами крыши, с балками, с тремя слуховыми окнами. Стены Лебядкин выкрасил чёрной краской, а на потолке, между балками, кто-то нарисовал огромный глаз — с зелёной радужкой и красными прожилками на белке. Вместо абажура под потолком висел медный таз, перевёрнутый, с дырками, и керосиновая лампа под ним бросала на стены пятна света, круглые, как монеты. Мебели почти не было: продавленная тахта, рояль без ножки, подпёртый кирпичами, ящики, накрытые коврами, мольберт с картиной, на которой было изображено что-то, похожее одновременно на паровоз и на женщину. На полу лежали подушки. Пили разведённый спирт из аптечных мензурок с делениями, — Шульц, сын аптекаря, принёс их целую коробку, — и кто-то сказал, что пить из мензурки — это тоже новая форма, научная.

Народу было человек двадцать. Художники в бархатных куртках. Два беженца-поэта из Петрограда, оба в пенсне, оба знали Маяковского и наперебой это доказывали. Курсистки — стриженые, курящие. Студенты. И три актрисы «Интимного театра» — Лена узнала их сразу: рыжая, с синяком на бедре, которого теперь не было видно под платьем; ещё одна, маленькая, смешливая; и третья — высокая, тонкая, в лиловом, с огромным страусовым пером в волосах.

Та самая. С Почтамтской.

А в углу, на ящике, накрытом ковром, с сигарой, сидел Гомаровский.

Он был в тёмном костюме, нога на ногу, и курил, глядя на всё вокруг с тем спокойным, вежливым любопытством, с каким, наверное, смотрел на заседания окружного суда. Увидев Лену в дверях, он вынул сигару изо рта и поклонился ей — издали, через комнату, коротко, как в тот раз на Почтамтской. И не встал. И не подошёл. И снова взял сигару в рот.

Лена прошла мимо него к роялю, не повернув головы.

Спорили о теле.

Начал Лебядкин. Он стоял посреди мансарды с мензуркой в руке, в жёлтой кофте, и говорил, что одежда — буржуазный пережиток, что тело человека есть совершеннейшая машина, а машину не прячут под чехол, её показывают, смазанную, блестящую, работающую. Что новая женщина революции — это женщина без корсета, без стыда, без лжи, свободная, как мотор, и что её тело принадлежит ей самой, а не мужу, не церкви, не государству и не «общественному мнению всяких Передоновых». Это имя здесь знали все и встретили хохотом.

Петроградские поэты спорили с ним: тело, говорили они, это не машина, это стихия, это Дионис. Курсистки цитировали Коллонтай. Рыжая актриса рассказала, как видела в Петрограде Айседору Дункан — босиком, в одной тунике, в зале Дворянского собрания, — и что это было «как молитва, только честнее». Кто-то вспомнил босоножку, выступавшую в мае в Общественном собрании с йогом Гольцшмидтом, и над босоножкой посмеялись, а над йогом ещё больше. Актриса с пером сказала, лениво, через плечо, что все эти разговоры о свободном теле ведут обычно мужчины, а раздеваться почему-то предлагают женщинам.

— И что же, мадемуазель Ольга, вы не разделись бы? — спросил Лебядкин.

— Я раздеваюсь каждый вечер, — сказала актриса с пером. — За жалованье. В «Весенних чарах». Бесплатно — не интересно.

Засмеялись. Гомаровский в углу тоже улыбнулся, глядя на актрису, — и Лена увидела эту улыбку.

— А я бы — да, — сказала она.

Все обернулись.

Она сказала это громче, чем хотела, и тут же поняла, что отступать уже нельзя, и не захотела отступать. Она стояла у рояля, в чёрном бархате, с голыми плечами, и двадцать человек смотрели на неё. А в углу, на ящике, сидел один, который смотрел не так, как все.

— Что — да? — спросил Лебядкин с интересом.

— Разделась бы. Не за жалованье. — Лена пожала голыми плечами. — Я медичка. Я видела тела, сколько вы не видели. Живые и мёртвые. Тело — это тело. В нём нет ничего стыдного, как нет ничего стыдного в печени или в лучевом нерве. Стыд — это не физиология. Стыд — это воспитание. А воспитание можно снять, как перчатки.

И сняла перчатку.

Она сделала это медленно. Нарочно медленно, так, как, наверное, снимала бы её на сцене актриса, — двумя пальцами правой руки взялась за край чёрного шёлка у самого плеча левой и потянула вниз. Шёлк пополз по руке, обнажая её — белую, гладкую, длинную — сантиметр за сантиметром: плечо, предплечье, локоть, ямку на сгибе локтя, где под тонкой кожей голубели вены, запястье. У пальцев она остановилась. Потом стала стягивать перчатку с пальцев — по одному. Мизинец. Безымянный. Средний. Указательный. Большой. Медленно, как снимают кольца. И, когда перчатка повисла у неё в руке пустой, мягкой, чёрной змеиной кожей, она бросила её на крышку рояля.

В мансарде стало тихо.

Потом она так же медленно сняла вторую. Плечо, локоть, запястье, пять пальцев. Бросила на рояль, рядом с первой.

Потом подняла обе голые руки к голове и стала вынимать шпильки.

Шпилек было много: портниха и Фёкла вдвоём укладывали ей волосы два часа. Она вынимала их по одной и бросала на рояль, и они звякали о крышку, о перчатки, и в тишине этот звон был слышен, как капель. Руки её были подняты, голые подмышки открыты, грудь под чёрным бархатом поднималась, — и она знала, как она сейчас выглядит, она видела это сотни раз перед маминым зеркалом. Последняя шпилька. Она встряхнула головой, и волосы упали — все сразу, тяжёлой тёмной волной, на голые плечи, на спину, ниже лопаток, почти до пояса. Она провела по ним пальцами, отбрасывая назад, и посмотрела на комнату.

Комната смотрела на неё. Лебядкин с мензуркой. Поэты в пенсне. Курсистки, переставшие курить. Шульц, у которого отвисла челюсть. Рыжая актриса — с откровенным профессиональным одобрением. Актриса с пером — с прищуром.

Гомаровский смотрел из угла. Сигара погасла у него в пальцах, и он не замечал.

Лена улыбнулась. Наклонилась, взялась рукой за щиколотку, расстегнула ремешок туфли, сбросила её, потом другую. Чулки на ней были чёрные, шёлковые, и она — Шульц потом клялся, что этого не было, а курсистки клялись, что было, — она подняла подол бархатного платья до колена, отстегнула от подвязок и скатала с ног оба чулка, один за другим, медленно, с колена до пальцев, и бросила их туда же, на рояль. И пошла по комнате босиком.

Доски пола были холодные, шершавые, в щелях. Она шла по ним босыми ногами — белыми, узкими, с длинными пальцами, — и чувствовала каждую щель, каждый сучок, каждую пылинку, и холод поднимался от ступней по ногам, и это было похоже на то, как входишь в Томь в начале июня: обжигает, а потом становится хорошо. Разрез на юбке при каждом шаге открывал ногу выше колена. Волосы качались на голой спине. Она прошла через всю мансарду — мимо тахты, мимо мольберта с паровозом-женщиной, мимо поэтов, — к слуховому окну, и

села на подоконник, подобрав под себя одну босую ногу и спустив другую, и откинула голову на раму.

— Ну, — сказала она Лебядкину. — Вы хотели новую женщину. Снимайте. — Она сняла с плеча «Кодак» и протянула ему. — Магний у вас есть?

У Лебядкина магний был.

Он снимал её полчаса, и мансарда помогала ему, как помогает толпа на пожаре. Курсистки держали лампу. Шульц поджигал магний в длинной железной ложечке, и каждая вспышка была белая, ослепительная, сухая, с хлопком и облачком белого дыма, после которого все минуту ничего не видели, а в воздухе пахло жжёным, как после выстрела. Лена позировала. Она сидела на подоконнике, лицом к тёмному стеклу, за которым были крыши Томска. Стояла у чёрной стены, прислонившись к ней голыми лопатками, и волосы на чёрном почти пропадали, а лицо и плечи светились. Лежала на тахте, на боку, подперев голову рукой, с мензуркой в другой руке, как одалиска с какой-то картины, которую Лебядкин назвал по-французски. Сидела у рояля, на котором лежали её перчатки, шпильки и чулки, свесив босые ноги со стула и глядя прямо в объектив.

Каждая вспышка выхватывала её из темноты белой, неподвижной, как статую. И в каждую вспышку, в долю секунды перед хлопком, она смотрела не в объектив.

Она смотрела в угол.

Она знала, зачем она это делает, хотя никогда не призналась бы себе в этом словами. Там, в библиотеке, он трогал её, и она проиграла. Её тело подчинилось ему, а не ей, и она испугалась. Теперь она возвращала себе своё. Никто её не трогал. Она сама, без него, без его пальцев, без его расчёта, показывала себя — сколько хочет, где хочет, кому хочет. Двадцати людям. Объективу. Магнию. Всему городу, если этот город когда-нибудь увидит эти снимки. А он сидел в углу, на ящике, с погасшей сигарой, и смотрел. И не подходил. Он не мог подойти — так ей казалось. Его не звали. Она была здесь хозяйкой, а он — одним из публики, как в «Интимном театре», как Передонов на галёрке с биноклем. Это было торжество. Она чувствовала его, как чувствуют вино, — теплом в груди, лёгкостью в голове.

Пока не поняла, что ждёт.

Это случилось где-то между двадцатой и тридцатой вспышкой. Она лежала на тахте в позе одалиски, Лебядкин наводил «Кодак», Шульц сыпал магний в ложечку, — а она смотрела в угол и ждала, что он встанет. Что подойдёт. Что скажет что-нибудь — хоть одно слово, хоть насмешку. Что тронет её. Она лежала голая до пояса — так ей казалось, хотя на ней было платье, — перед двадцатью людьми, и всё это было для одного, и этот один сидел на ящике и не вставал. И чем дольше он не вставал, тем яснее она понимала, что это не она его заставляет ждать, а он её. Что он делал то же, что сделал с пустым креслом в ложе. Что она опять играет по его правилам, даже когда думает, что придумала свои.

Вспышка. Хлопок. Белый дым.

Когда дым рассеялся, ящик в углу был пуст.

Гомаровский стоял у двери, в пальто, со шляпой в руке. Он поклонился — ей, через всю комнату, отдельно от всех, — коротко и низко, и надел шляпу. Актриса с пером, накинув на плечи манто, вышла вслед за ним, и Лена услышала, как скрипит наружная лестница под двумя парами ног.

Больше она не позировала.

Она сидела на тахте, обхватив босые ноги руками, и волосы висели вокруг её лица, и ей было холодно. Доски пола были ледяные. Мансарда снова шумела, спорила, пила из мензурок; Лебядкин читал стихи о «бетонной Венере», посвящая их «новой женщине, рождённой в магнии»; курсистки смотрели на Лену с восторгом и завистью. А Лене хотелось домой, в мезонин, под одеяло.

Шульц собрал с рояля её перчатки, шпильки и чулки, сложил в её сумочку и деликатно отвернулся, пока она надевала туфли на босу ногу.

В третьем часу ночи, когда все разошлись, Лебядкин спустился в ателье, в свою лабораторию. Зажёг красный фонарь. Вынул из «Кодака» катушку, развернул плёнку в темноте, привычными пальцами, и опустил её в ванночку с проявителем.

Он долго покачивал ванночку, глядя в неё при красном свете.

Сначала там не было ничего — мутная, чёрно-коричневая жидкость и блестящая лента плёнки. Потом на ленте медленно, как сквозь туман, как сквозь воду, начало проступать изображение. Тёмный провал окна. Светлое пятно подоконника. Потом — плечо, голое, белое, светящееся в красном свете, как раскалённое. Потом — волосы, тёмные, распущенные, упавшие на это плечо. Потом лицо. Бледное, с тёмными бровями, с полуоткрытыми губами, с большими тёмными глазами, — и один глаз, левый, смотрел чуть мимо, чуть в сторону, мимо объектива, будто видел что-то в углу комнаты, чего не видел правый.

Лебядкин смотрел на снимок долго. Потом промыл его, закрепил, снова промыл.

И не повесил сушиться вместе с остальными. Отложил отдельно.

Конец седьмой главы.



Глава 8. Десять дней

…что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников.
Мф. 26:15

Это было в ночь на двадцать пятое…
Джон Рид, «Десять дней, которые потрясли мир»

8.1. Галоши

Первый снег выпал на Покров, первого октября, в воскресенье, — в тот самый день, когда Томск выбирал городскую думу.

Он шёл с утра, мокрый, крупный, липкий, и к обеду превратил улицы в то, во что превращал их каждую осень: в чёрную кашу из грязи, навоза и талой воды, в которой тонули колёса пролёток и сапоги избирателей. Мостки вдоль Почтамтской скользили. На Базарной площади лошадь упала на колени и не хотела вставать. К избирательным участкам — в городские училища, в управу, в Общественное собрание — люди шли, подбирая полы, перепрыгивая через лужи, и многие, дойдя до лужи пошире, поворачивали обратно.

Явка, как потом подсчитали, была около половины.

Лена с восьми утра стояла у участка в Алексеевском училище, на Духовской, под снегом, с пачкой эсеровских листовок, отпечатанных на её же «Ундервуде» через копирку. Список номер два. Партия социалистов-революционеров. Земля и воля. Она раздавала листовки бабам в платках, мастеровым, чиновникам с калошами в руках, старикам, солдатам, — солдатам особенно, потому что солдаты голосовали с восемнадцати и их было много. Солдаты брали листовки, сворачивали из них самокрутки — табаку не было, а бумаги тоже — и шли голосовать за список номер три.

Сама она не голосовала. По закону о городских выборах — тоже с двадцати лет. В участок она заходила только греться.

Вечером, когда подсчитали, оказалось, что большевики собрали больше всех: семь тысяч шестьсот голосов, треть города. Эсеры — пять с половиной тысяч. Кадеты — меньше четырёх. Отец пришёл домой в одиннадцатом часу, мокрый, без калош, которые потерял где-то в слякоти у Совета, — и с порога, ещё не сняв пальто, сказал:

— Треть, Леночка. Треть города.

Он не мог скрыть радости и не пытался. Он ходил по столовой, оставляя на полу мокрые следы, потирал руки, снимал и надевал очки, говорил о рабочих мастерских, о гарнизоне, о том, что весной в Совете было двадцать большевиков, а теперь — большинство, и что история, история всё-таки… Он осёкся только тогда, когда увидел на столе пачку нерозданных эсеровских листовок, которую Лена принесла с собой и бросила, не разбирая.

— Ну, — сказал он виновато. — Вы тоже хорошо. Пять тысяч. Это много.

— Мы — это кто? — спросила Лена.

Отец не ответил. Он сел и стал пить остывший чай.

Через три дня, четвёртого, по городу пронёсся слух: в Германии революция. Кайзер бежал, в Берлине Советы, немецкие солдаты братаются с русскими на всём фронте, войне конец. Мальчишки-газетчики носились по Почтамтской с серыми листками, на которых крупно было напечатано: «ТЕЛЕГРАММА. РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ», и продавали их по пятьдесят копеек, а к вечеру уже по рублю. Кто их напечатал и где, никто не знал. Отец купил листок у мальчишки на углу Ямского и принёс домой. Он держал его в руках весь вечер, перечитывал, разглаживал. Он ждал этого известия двадцать лет — мировой революции, которая начнётся в Германии, потому что Германия — страна развитого пролетариата, потому что так у Маркса. Назавтра «Сибирская жизнь» напечатала опровержение: телеграмма подложная,

в Германии спокойно, кайзер в Берлине. Отец сложил листок вчетверо и убрал в ящик стола. Не выбросил.

А одиннадцатого Томск стоял в очереди за галошами.

Слух прошёл накануне: на склад товарищества «Треугольник» на Магистратской пришла партия резиновых галош, первая с весны. Слякоть стояла уже десять дней, ботинки у всех текли, у студентов размокли до дыр, а сапоги стоили, как полгода назад стоила корова. К шести утра очередь стояла от Магистратской до угла Миллионной, в четыре ряда, по колено в снежной каше. Стояли бабы, чиновники, студенты, гимназисты, которых родители поставили держать место, солдаты, которым галоши были не нужны, но которые знали, что их можно продать. Стояли, переминаясь, притопывая, ругаясь, и к полудню, когда выяснилось, что галош на всех не хватит, солдаты в хвосте начали кричать, что приказчики продают с чёрного хода спекулянтам, и что надо магазин разнести.

Магазин не разнесли только потому, что приехал Очумелов.

Он приехал на пролётке, с Елдыриным и двумя милиционерами, встал на ступеньку склада, расправил усы и обратился к очереди с речью о революционной дисциплине и о том, что граждане свободной России стоят в очереди не за галошами, а за свободой. Очередь слушала и не верила. В это время из той же очереди, прямо у Очумелова под носом, вышел небритый человек в котелке, только что купивший пару дамских галош за восемь рублей восемьдесят копеек, прошёл вдоль очереди десять шагов и тут же продал их какой-то барыне в промокших ботиках за восемнадцать. Барыня заплатила, не торгуясь, и надела галоши тут же, на тротуаре, опираясь на руку спекулянта. Очередь взревела. Очумелов сделал вид, что не видел, и уехал через час с двумя парами галош под мышкой, — для протокола, как объяснил он Елдырину, вещественное доказательство.

Лена в очереди не стояла. Она весь день была в клиниках, и ботинки у неё текли, как у всех.

Вечером, когда она вернулась, в сенях на лавке стояла коробка. Большая, картонная, перевязанная лиловой лентой.

— Опять мальчишка этот, — сказала Фёкла, вытирая руки фартуком. — Из «Европы». С галуном. Сказал — барышне в собственные руки. Я ему пятак, а он опять не взял. Гордый.

Лена развязала ленту прямо в сенях.

В коробке, в папиросной бумаге, лежали галоши. Новенькие, блестящие, чёрные, с красной байковой подкладкой и с белым мехом по краю, — дамские, на высоком каблуке, такие, каких в Томске, наверное, не было и в лучшие времена. На подошве стоял оттиснутый треугольник. Лена, не веря, сунула в одну ногу в ботинке — и галоша села как влитая, точно по размеру, — как перчатки, как перо, — будто кто-то снимал мерку с её ноги, пока она спала.

Под галошами лежала карточка. Та же плотная, белая, с золотым обрезом. Одна строка, его почерком:

«Слякоть — тоже форма власти».

Лена стояла в сенях в одной галоше и хохотала так, что Фёкла перекрестилась. Она хохотала и чувствовала, как у неё горят щёки и блестят глаза, и как внутри, под рёбрами, что-то разжимается — то, что было сжато весь сентябрь, с ночи в библиотеке, с пустого кресла в ложе, с ящика в углу мансарды, на котором никто не сидел. Пауза кончилась. Он помнил. Он думал о её ногах, мокнущих в слякоти. Он ждал — и вот перестал ждать.

Наутро она надела галоши и пошла в клиники через весь город, по самой грязи, нарочно, и ноги у неё были сухие, а на неё оборачивались.

8.2. Негатив

О снимках ей сказал Шульц.

Он подошёл к ней в анатомичке, в подвале, в середине октября, и долго ходил кругами вокруг её стола, делая вид, что ищет пинцет, и краснел, и пыхтел, пока она не спросила прямо, что ему нужно.

— Трофимова, — сказал он шёпотом, оглянувшись на дверь. — Вы только не волнуйтесь. Снимки. Из мансарды. Они… ходят.

— Как — ходят?

— По городу. Лебядкин напечатал. Я сам видел один — за кулисами «Интимного», у актрис. Висит у зеркала, приколот булавкой. Тот, где вы на тахте. С мензуркой. — Шульц покраснел ещё сильнее. — А другой, говорят, у юнкеров, в собрании. Они его… показывают. Друг другу.

Лена отложила скальпель.

Она представила этот снимок — как он висит у зеркала в уборной «Интимного театра», среди грима, пудры, булавок, нимфиных туник. Как его разглядывают актёры, рабочие сцены, Бог Весны в золотом трико. Как его передают из рук в руки юнкера, гогоча, в офицерском собрании, — может быть, те самые, что пили в августе с Грушницким за Корнилова. Распущенные волосы, голые плечи, босые ноги, мензурка в руке. Одалиска. Она представила, как этот снимок попадает к Марье Павловне. К Волянской. В губком. В клинику, к Мышу. Отцу.

— Спасибо, Шульц, — сказала она. И голос у неё был спокойный, и она этому удивилась.

К Лебядкину она пошла в тот же вечер, одна, по шаткой наружной лестнице на Монастырской.

Лебядкин был дома и был пьян. Он сидел в жёлтой кофте на тахте, на той самой тахте, перед мольбертом с паровозом-женщиной, и пил разведённый спирт из мензурки, и, увидев Лену, вскочил, уронил мензурку и стал кланяться.

— Новая женщина! — закричал он. — Венера в магнии! Муза!

— Где снимки? — спросила Лена.

Лебядкин перестал кланяться.

— Снимки, — сказал он, моргая. — Снимки… принадлежат искусству. Искусство принадлежит народу. Народ… — Он развёл руками. — Народ их и взял.

— Сколько вы напечатали?

— Восемь. — Он икнул. — Восемь отпечатков. И негатив. Это лучшее, что я снял за всю жизнь. Это… это эпоха. Это новая женщина революции. Это надо в музей.

— Где они?

— Проданы, — сказал Лебядкин, отводя глаза. — Не все. Почти. Время голодное, Елена Петровна. Поэт тоже ест. Хотя бы иногда. — Он опустился на тахту. — Кому — не скажу. Это… тайна искусства. Профессиональная.

Лена стояла посреди мансарды, под нарисованным на потолке глазом, и понимала, что ничего не может сделать. Не в милицию же ей идти. Не к Очумелову с заявлением о том, что студентка медицинского факультета Трофимова, член партии социалистов-революционеров, босиком и с голыми плечами позировала футуристу, а футурист продал снимки юнкерам. Она повернулась и ушла, и Лебядкин кричал ей вслед с лестницы что-то о Венере и о магнии.

Конверт принесли через день.

Рассыльный из «Европы», мальчик с галуном. Плотный, большой, жёлтый, запечатанный сургучом, без надписи. Фёкла отдала его Лене прямо в руки, на лестнице, и Лена, не дойдя до мезонина, разорвала его на ступеньках.

В конверте был негатив — узкая коричневая лента плёнки, свёрнутая в рулончик и перевязанная ниткой, — и отпечатки. Глянцевые, кабинетного формата, ещё пахнущие закрепителем. Она на подоконнике, лицом к тёмному стеклу. У чёрной стены, с распущенными волосами. На тахте, с мензуркой. У рояля, с босыми ногами. И ещё, и ещё. На обороте каждого карандашом стоял номер, рукой Лебядкина: один, два, три…

Записки не было.

Лена села на ступеньку и пересчитала. Потом ещё раз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.

Восьмого не было.

Она сидела на лестнице с семью собственными изображениями на коленях и не знала, что чувствует. Облегчение — да: они у неё, они не висят у зеркала в «Интимном», их не разглядывают юнкера. И благодарность — тоже. И что-то ещё, третье, от чего по спине пробежал холодок. Он сделал это за два дня. Нашёл, кому продано, выкупил у актёров, у юнкеров, у Лебядкина, — она никогда не узнает, у кого и за сколько. Так, как не смогла бы она, как не смог бы отец, как не смогла бы ни одна партия и ни одна милиция. Это был подарок. Самый щедрый из всех. Он подарил ей её собственное лицо, её плечи, её репутацию. Её саму.

И оставил себе восьмой.

Она пошла в «Европу» на следующий день, сама. Сказала себе, что идёт вернуть… нет, поблагодарить… нет, спросить. Она не знала, что скажет. Она надела галоши.

Гомаровский принял её в гостиной на первом этаже, у камина, при людях: в креслах у окна сидели два офицера и купец с газетой, а за дальним столиком пила кофе дама в трауре. Он встал, поклонился, предложил ей кресло, велел подать чаю. Говорил вежливо, ровно, как с клиенткой, пришедшей посоветоваться о наследстве. Ни слова о библиотеке, ни слова о мансарде, ни слова о ложе с пустым креслом.

— Благодарю вас, — сказала Лена. — За конверт.

— Пустое. — Он чуть пожал плечами. — Произведения искусства должны принадлежать тем, кто в них изображён. Это, если хотите, юридический принцип. Авторское право модели. Его ещё нет ни в одном кодексе, но, я думаю, будет.

— Их было восемь, — сказала Лена. — А в конверте семь.

Он посмотрел на неё — спокойно, внимательно, с той короткой складкой у рта, которую она уже научилась узнавать.

— Должен же юрист, мадемуазель, хранить хоть какое-то доказательство, — сказал он. — На случай, если когда-нибудь придётся доказывать, что это было.

Лена почувствовала, что краснеет, и разозлилась на себя.

— А Ольга? — спросила она вдруг, сама не ожидая. — Актриса. С пером. Она — тоже доказательство?

Гомаровский не удивился. Он, кажется, ждал этого вопроса.

— Ольга, — сказал он, помешивая ложечкой чай, — каждый вечер в «Весенних чарах» играет за жалованье то, что вы в мансарде сыграли даром. Мне было интересно сравнить. Профессиональное любопытство. — Он отпил чаю. — Сравнение вышло в вашу пользу. Хотя она, конечно, техничнее.

Лена встала. Поставила чашку. Чашка звякнула о блюдце.

— Прощайте, — сказала она.

— До свидания, — поправил он, вставая тоже. И поклонился.

Она шла домой по слякоти, в его галошах, и не знала, оскорблена она или польщена. Он сравнивал её с актрисой — как сравнивают лошадей на бегах, как сравнивают вина. И сравнение вышло в её пользу. Ей хотелось вернуться и дать ему пощёчину. Ей хотелось вернуться.

Дома она спрятала конверт с семью снимками и негативом в нишу, за «Утро в сосновом лесу», поверх облигаций займа свободы. Подумала, не сжечь ли. Не сожгла — как в июне не сожгла визитную карточку. Она знала, что придёт снова.

8.3. Съезд

Первый Сибирский областной съезд открылся восьмого октября в зале Общественного собрания, и в первый же день Томск ощутил себя столицей.

Съехались со всей Сибири — от Урала до Тихого океана, из Тобольска и Читы, из Якутска и Барнаула, из Иркутска и Семипалатинска. Сто тридцать делегатов. Эсеров — девяносто пять. Меньшевиков — двадцать один. Народных социалистов, кооператоров, представителей национальностей — буряты, киргизы, алтайцы, якуты в национальных костюмах, которых фотограф из «Модерна» снимал на крыльце, расставляя, как на свадьбе. Большевиков — четверо. Над входом в Общественное собрание висел бело-зелёный флаг, тот самый, августовский, а под ним — плакат с надписью «Сибирь — сибирякам».

Потанина вывели под руки, как в августе. Он стал ещё меньше, ещё суше, ещё слепее, и зал встал, и аплодировал десять минут, и Потанин плакал так, что двое молодых людей, державших его под локти, плакали тоже. Его избрали почётным председателем единогласно — даже четверо большевиков подняли руки, потому что не поднять руку за Потанина в Томске было невозможно. Он сидел в кресле под флагом, маленький, белый, в старом сюртуке, — как икона в окладе. А дела вели другие.

Лена была секретарём земельной секции.

Она писала «Ватерманом» и почти не чувствовала пальцев к вечеру, но была счастлива. Здесь, в земельной секции, решалось то, о чём спрашивала баба из Барабинска, — земля. Делегаты от крестьянских съездов, бородатые, в поддёвках, с натруженными руками, спорили с эсеровскими теоретиками о трудовой норме, о переселенческом фонде, об инородческих землях, о кабинетских землях Алтая, которые принадлежали царю и теперь не принадлежали никому. Лена записывала и думала, что через неделю, через месяц, через полгода в Барабинске будет земельный комитет, который даст бабе надел и, может быть, даже коня.

Решения съезда принимали одно за другим, и каждое она записывала с таким чувством, с каким, наверное, монах переписывает Евангелие. Сибирь — автономная область в составе Российской федеративной республики. Сибирская областная дума, избираемая всеобщим голосованием. Своё правительство, ответственное перед думой. Земля, леса, воды и недра Сибири — общее достояние её народов. Всё то, что в августе мечтали над бело-зелёным флагом, о чём плакал Потанин, о чём в ночь корниловщины диктовал ей Гомаровский, расхаживая по тёмному читальному залу, — всё сбывалось. Петроградские газеты, как потом стало известно, сообщили о провозглашении «Сибирской республики с Потаниным во главе», и областники смеялись над этим и гордились этим одновременно.

На пятый день большевики ушли.

Лена видела, как это готовилось. В перерыве четверо делегатов-большевиков стояли в коридоре кучкой и о чём-то спорили вполголоса. К ним подходили люди из Совета — Яницкий, ещё двое. И отец. Отец не был делегатом съезда, но был в зале на гостевых местах, как многие члены Совета, и Лена весь первый день чувствовала спиной его взгляд.

После перерыва, когда председатель объявил продолжение заседания, один из большевиков попросил слова для внеочередного заявления. Он прочитал его по бумажке, быстро, без выражения. Фракция большевиков считает, что так называемый областной съезд не выражает воли трудящихся масс Сибири, что он созван и проводится мелкобуржуазными и кулацкими элементами, что сибирская автономия в нынешних условиях есть средство отколоть Сибирь от революционного пролетариата Петрограда и Москвы и создать здесь оплот контрреволюции. Фракция в работе съезда дальнейшего участия не принимает и покидает зал.

Четверо встали и пошли к выходу. За ними с гостевых мест поднялось ещё человек пятнадцать — члены Совета, сочувствующие, солдаты. Зал загудел, засвистел, кто-то крикнул «скатертью дорога», кто-то — «предатели». Потанин в своём кресле под флагом растерянно спрашивал у соседа, что происходит, и сосед кричал ему в ухо.

Отец шёл среди уходящих.

Он шёл последним, сутулый, в старом сюртуке, — и путь к выходу лежал мимо секретарского стола земельной секции, у сцены, где сидела Лена. Он шёл, глядя в пол. А поравнявшись с ней, остановился. На одну секунду. Поднял глаза.

Лена сидела за столом с «Ватерманом» в руке. Она видела его лицо — круглое, доброе, усталое, с жидкой седой бородкой, с очками, за которыми глаза смотрели на неё с той же виноватой нежностью, с какой смотрели всегда. Он не звал её. Он не сказал ни слова. Он просто стоял и смотрел, будто ждал чего-то — или прощался.

Она не встала.

Она даже не пошевелилась. Она сидела за секретарским столом, под бело-зелёным флагом, в зале, где решали судьбу Сибири, — её Сибири, — и смотрела на отца, и не вставала. Вокруг свистели и кричали. Марья Павловна в первом ряду обернулась и смотрела на них обоих.

Отец кивнул. Чуть-чуть, будто соглашаясь с чем-то. Опустил глаза и пошёл дальше, к двери, вслед за всеми. Дверь за ним закрылась.

Лена опустила глаза на протокол. На листе, под последней строкой, расплылось чернильное пятно: она, оказывается, сжимала перо так, что оно протекло.

Вечером дома они не разговаривали. Отец пришёл поздно, Лена ещё позже. Фёкла поставила на стол два прибора — как всегда, — а когда ни он, ни она не сели, постояла над пустыми тарелками, вздохнула, перекрестилась и ушла к себе молиться. Отец ушёл в кабинет. Лена — в мезонин. Самовар остыл на столе нетронутый.

Ночью она слышала, как отец ходит внизу. Взад и вперёд. Как ходил в марте, после Тайги.

В последний день съезда, на заключительном заседании, Лена заметила среди гостей Нехлюдова. Он сидел во втором ряду, с бело-зелёной розеткой на толстовской блузе, и, когда съезд под аплодисменты принял постановление об автономии, плакал, утирая слёзы сразу двумя платками. Увидев Лену, он робко помахал ей мокрым платком, как машут с берега уходящему пароходу. Лена сделала вид, что не заметила.

8.4. Шашка

Двадцатого октября, в пятницу, Фёкла отправила Лену в продовольственную комиссию за карточкой.

Карточки на муку и сахар ввели ещё летом, но в октябре городская управа их перепечатывала заново, потому что муки стало меньше, а едоков больше, и старые карточки были недействительны. Фёкла ходила за новой три раза и три раза возвращалась ни с чем: то не было бланков, то не было барышни, которая выдаёт, то барышня была, но выдавала только по спискам квартальных, а Фёклы в списке не было. «Ты сходи, барышня, — сказала Фёкла. — Ты учёная, ты им по-латыни скажешь, они испугаются».

Продовольственная комиссия помещалась на Магистратской, в бывшей купеческой конторе, на первом этаже: две комнаты с низкими потолками, деревянный барьер, за барьером столы с конторскими книгами и три барышни-служащие в нарукавниках, а перед барьером — толпа.

Толпа стояла с утра. Солдатки — жёны мобилизованных, получавшие пособие и паёк, — бабы с окраин, с Песков и с Болота, старухи, подростки. Пахло мокрой овчиной, махоркой и луком. Лена встала в хвост, у двери, и простояла час, и толпа за этот час не продвинулась ни на шаг, а только становилась гуще и громче. Бланков было мало. Списки были неполные. Барышни за барьером, бледные, перепуганные, листали книги и говорили одно и то же: «Вас нет. Приходите в понедельник. Вас нет».

— Как нет? — кричала солдатка в первом ряду, рябая, с ребёнком на руках. — Как это нет? Мужик на фронте третий год! Пособие не плочено с августа! Дети голодные! Как это меня нет?

— В списках нет, — говорила барышня, бледнея ещё сильнее. — Квартальный не подал. Я не виновата. Приходите…

— Я не приду! — закричала солдатка. — Я отсюда не уйду! Подавай карточку!

И тут толпа качнулась.

Лена не поняла, с чего началось. Кто-то толкнул, кто-то закричал «бей», кто-то полез через барьер. Барьер затрещал. Солдатки, бабы, подростки хлынули за барьер, как вода в пробоину, — к столам, к книгам, к барышням. Полетели на пол конторские книги, разорванные списки, чернильницы. Одну барышню схватили за волосы и стащили со стула. Другая забилась в угол, закрыв лицо руками, и её били по рукам, по голове, по плечам — не кулаками даже, а чем попало: сумками, кульками, палкой. Третья, совсем молоденькая, в пенсне, кричала тонко и непрерывно, как кричат кролики.

Лену прижало к стене у двери. Она пыталась пробиться вперёд — к барышне в углу, к той, которую били, — и не могла: толпа была плотная, как тесто.

И тогда в дальнем конце комнаты, у двери во вторую комнату, кто-то крикнул высоким, срывающимся, но твёрдым голосом:

— Назад! Назад, я сказал! Не сметь!

И над головами толпы блеснула шашка.

Это был Грушницкий. Лена узнала его не сразу. Он, видимо, был во второй комнате по своим делам — она потом узнала, что он приходил хлопотать о пайке для полковой вдовы, — и выскочил на крик. Он стоял у стены, перед барышней в пенсне и той, которую стащили со стула, загораживая их собой. В шинели, без фуражки, бледный, с белым шрамом на щеке. Шашка была обнажена и поднята — не для удара, а так, плашмя, перед собой, как поднимают палку перед собакой.

Он не был смешон. Это Лена увидела сразу, и это поразило её больше всего. Он не позировал. Он не смотрел, смотрят ли на него. У него не было ни перевязи для красоты, ни Байрона на носу катера. Он стоял, расставив ноги, с шашкой, и лицо у него было белое, напряжённое и совершенно серьёзное, и губы дрожали, и он загораживал двух перепуганных барышень от толпы баб, и ему было страшно, — это было видно, — и он не уходил.

— Не сметь их трогать, — сказал он уже тише. — Это не они. Они не виноваты.

Толпа отхлынула. На секунду. Шашка — это было серьёзно. Бабы, бившие барышню в углу, опустили руки.

А потом из задних рядов, от двери, раздался мужской голос:

— Офицер! Офицер на баб с шашкой! Глянь, ребята! Корниловец!

И Лена увидела, кто кричит. В дверях, за её спиной, стояли трое солдат — должно быть, мужья или братья солдаток, а может, просто проходили мимо. И первым стоял рябой, здоровый, с расстёгнутым воротом. Тот самый. Из Лагерного сада. Из офицерского собрания тридцать девятого полка.

— Это ж он! — закричал рябой. — Тот самый! Что за Корнилова пил! А теперь на солдаток с шашкой! Выдавай его, бабы! Выдавай офицера!

— Выдавай! — подхватили сзади. — Выдавай корниловца!

Толпа развернулась. Только что она шла на барышень — теперь она шла на него. Бабы, солдатки, подростки. Медленно, тяжело, как идёт половодье. Грушницкий стоял у стены с поднятой шашкой и не опускал её, и не нападал. Лена видела, как у него дрожит рука.

Его спасла милиция. Кто-то из служащих, видимо, ещё в начале успел выскочить через чёрный ход, и теперь через тот же чёрный ход ввалились пятеро милиционеров с винтовками и Елдырин, а за ними, отдуваясь, Очумелов. Очумелов, оценив положение одним взглядом, закричал громче всех: «Арестовать офицера! Именем революции! За угрозу оружием гражданкам!» — и милиционеры схватили Грушницкого под руки, вырвали у него шашку и потащили к чёрному ходу. Толпа взревела, одобряя арест, и пропустила.

На пороге чёрного хода Грушницкий обернулся.

Он увидел Лену. Она стояла у стены, у двери, прижатая толпой. Он смотрел на неё через всю комнату, через головы баб, через летающие клочья разорванных списков, — и ничего не сказал. Не крикнул «мадемуазель», не выпрямился, не принял позы. Просто смотрел. Без шашки, без фуражки, в распахнутой шинели, с милиционерами по бокам. Впервые без позы.

Потом его увели.

Карточку для Фёклы Лена в тот день так и не получила. Продовольственную комиссию закрыли до понедельника. Двух барышень увезли в клинику, и Лена поехала с ними, и перевязывала ту, которую били в углу: рассечённая бровь, ушибы, гематомы на руках, на предплечьях, там, где она закрывалась. Барышня плакала и всё повторяла, что она не виновата, что она получает тридцать пять рублей, что квартальный не подал списки.

Вечером, дома, Лена долго не могла забыть его лица.

Не того, что было в купальне, в июне, с царапиной от гвоздя, которую он выдавал за след ножа. Не того, что было у калитки, в портупее, с «искупаю кровью позор тыла». Не того, что было в Лагерном саду, багрового, с тощим бумажником. А сегодняшнего — белого, серьёзного, с дрожащей рукой и с шашкой плашмя перед двумя перепуганными барышнями. Сегодня он был настоящий. Сегодня в нём было то, чего она в нём никогда не видела и в чём сама весь год ему отказывала.

И она поняла, что ей это уже не нужно.

Это было неприятное, холодное понимание, и она не стала его рассматривать. Она знала, где будет послезавтра, и с кем, и Грушницкий в этом не участвовал, ни настоящий, ни смешной.

Его, как потом выяснилось, продержали в участке сутки и выпустили, потому что не знали, в чём его обвинить. Но в казармах тридцать девятого полка его имя теперь знал каждый солдат.

8.5. Живой труп

Двадцать третьего октября, в понедельник, рассыльный принёс два билета.

На этот раз два. В ложу кинематографа «Фурор» на вечерний сеанс, на сенсационный номер, о котором весь октябрь писали газеты и кричали афиши на тумбах: «ЖИВОЙ ТРУП! Знаменитый факир-американец мистер СМИДТ будет на глазах публики погребён заживо под 600 (шестьюстами) пудами земли и пробудет под ней 20 (двадцать) минут! Человек-аквариум! Шпагоглотатель! Оркестр!» И записка, впервые за всё время — не карточка с одной строкой, а записка, сложенная пополам: «Заеду в семь. Потом ужин. Е. Г.».

Он заехал в семь. На извозчике с высоким верхом, в чёрном пальто, в цилиндре, которого Лена у него никогда не видела, — и в Томске, наверное, никто не видел с весны.

Лена вышла к нему в вишнёвом бархате.

Платье она заказала у той же портнихи на Акимовской ещё в конце сентября, сразу после чёрного, — сама не зная зачем, на случай. Бархат был последний, какой нашёлся у Второва, — не лионский, похуже, но цвета необыкновенного, тёмно-красного, винного, такого, что при свече он казался почти чёрным, а при дневном свете — цветом спелой вишни, раздавленной в пальцах. Глухой высокий ворот, длинные узкие рукава, юбка до полу, — и при этом бархат облегал её так, что чёрное, с голыми плечами, казалось рядом с ним скромным. Мамины серьги. Китайская шаль. Галоши на меху.

Фёкла увидела её на лестнице и уронила полотенце, которое несла.

Она стояла внизу, у печки, с открытым ртом, и смотрела на Лену так, как смотрят на покойника, поднявшегося из гроба. Потом перекрестилась — медленно, широко. Потом сказала шёпотом:

— Барыня… Барыня тоже такое… вишнёвое…

И замолчала. И подняла полотенце. И ушла на кухню, не оглядываясь.

Лена постояла на лестнице. Хотела спросить. Не спросила: внизу у калитки ждал извозчик, и он ждал, и было семь часов.

«Фурор» был набит. Солдаты, мастеровые, студенты, барыни, спекулянты, гимназисты, пролезшие без билета, — весь город пришёл смотреть, как человека закопают в землю. Сеанс начался с хроники: Керенский на Государственном совещании, парад в Москве, ещё что-то, мелькающее и прыгающее. Потом — шпагоглотатель в турецкой феске, который засовывал себе в горло саблю под барабанную дробь, и в зале ахали. Потом — человек-аквариум, толстый, лысый, который выпивал на глазах у публики два ведра воды с живыми лягушками, а потом изрыгал лягушек обратно, одну за другой, и лягушки прыгали по сцене, и гимназисты в первом ряду визжали от восторга.

Потом вынесли гроб.

Мистер Смидт был худой, высокий, бледный человек с чёрной бородкой и горящими глазами, в белом балахоне, похожий не столько на американца, сколько на семинариста, решившего пойти в факиры. Он лёг в длинный открытый ящик посреди сцены, сложил руки на груди, закрыл глаза. Ассистенты в красных рубахах накрыли ящик досками. Потом стали бросать на доски землю — лопатами, из огромной кучи, привезённой, как объявил конферансье, «с Вознесенского кладбища, освящённая». Шестьсот пудов. Холм рос. Оркестр играл похоронный марш, потом умолк. Над холмом поставили песочные часы. Двадцать минут.

Зал сидел, затаив дыхание.

Лена смотрела на холм и не могла отделаться от мысли, что земля привезена с Вознесенского. С того самого кладбища, где мраморная чайка. Где она в марте отогревала мёрзлую землю костром. Это, конечно, была ложь конферансье, — землю привезли, наверное, с огорода за кинематографом, — но мысль не уходила.

— Граф тоже любил живые трупы, — тихо сказал Гомаровский, наклонившись к её уху. Он сидел рядом с ней в ложе — на этот раз сидел, — в чёрном фраке, с цилиндром на коленях. — Помните? Федя Протасов. Делает вид, что утонул, чтобы освободить жену. Живёт мёртвым. Лев Николаевич любил людей, которые умирают понарошку. Ему всегда казалось, что так честнее.

— А вы? — спросила Лена шёпотом.

— А я люблю людей, которые вылезают из-под земли и берут деньги за билеты. — Он кивнул на сцену. — Это тоже честно. По-своему.

Песочные часы опустели. Ассистенты бросились раскапывать. Зал встал. Земля летела со сцены в первые ряды, на гимназистов. Сорвали доски. Мистер Смидт лежал в ящике, как лёг, со сложенными руками, бледный, с закрытыми глазами. Зал замер. Потом Смидт открыл глаза, медленно сел, встал, — весь в земле, в комьях, — отряхнулся и поклонился, раскинув руки.

Зал взревел. Солдаты свистели в два пальца, барыни махали платками, гимназисты лезли на сцену. Живой.

Ужинали в ресторане «Европы».

В городе не было белой муки, мяса, масла, сахара, табаку. В ресторане «Европы» было всё. Стерлядь, запечённая в сметане. Рябчики с брусникой. Пирожки с вязигой. Шампанское — французское, с золотой фольгой на горлышке, которого в Томске не продавали с четырнадцатого года, с сухого закона, и которое официант в белых перчатках принёс, обернув салфеткой, как ребёнка, и разлил, не пролив ни капли. Официанты знали Гомаровского по имени и отчеству и кланялись ему, как кланяются хозяину. За соседними столиками сидели офицеры, спекулянты, двое петроградских беженцев в бриллиантах, какой-то полковник с дамой. Все смотрели на Лену. Вишнёвый бархат при свечах был почти чёрным.

Лена пила шампанское. Первый раз в жизни. Пузырьки щекотали нёбо и ударяли в голову так быстро, что она удивилась. Она ела стерлядь и смеялась. Он рассказывал ей о Петербурге — о процессах, которые вёл, о клиентах, о том, как однажды защищал в окружном суде гра-

финю, отравившую мужа мышьяком, и добился оправдания, потому что присяжные влюбились в графиню, а прокурор был лыс. Он рассказывал смешно, сухо, без улыбки, и она хохотала, и шампанское кружило ей голову.

После ужина она поднялась к нему наверх.

Она не помнила потом, как это решилось. Он не звал. Он просто встал из-за стола, подал ей руку, и они пошли не к выходу, а к лестнице, и она поднялась по ней рядом с ним, и никто из официантов не поднял глаз.

Номер четырнадцатый был угловой, большой, с двумя окнами на Почтамтскую, с тяжёлыми портьерами, с камином, в котором горели берёзовые дрова, с широкой кроватью под тёмным покрывалом в глубине, за аркой. На столе — бумаги, книги, сафьяновая тетрадь, коробка сигар. На комоде — зеркало в бронзовой раме.

Он закрыл дверь. Повернулся к ней. И поцеловал.

Это было не как с Великопольским у костра и не как с Грушницким у калитки. Это было совсем другое. Он целовал её медленно, уверенно, неторопливо, — так, как, наверное, делал всё: так, как диктовал статьи, так, как выкупал снимки, так, как угадывал размер перчаток. Она отвечала. Шампанское шумело в голове, сердце колотилось, колени слабели, — всё, как тогда, в библиотеке, только сильнее. Он расстёгивал крючки на спине её платья — один, второй, третий, — не торопясь, будто считал. Бархат ослаб на плечах. Его губы были у неё на шее, на том самом месте под волосами. Она запрокинула голову.

И вдруг поняла, что всё это — по расписанию.

Каждое его движение. Каждая пауза. Каждый крючок. Как в библиотеке: он знает, когда тронуть, когда остановиться, когда снова тронуть. Он ведёт её, как ведёт в суде свидетеля к нужному ответу: вопрос, пауза, вопрос. Он знал, что она поднимется к нему после шампанского. Он знал, что она будет в этом платье. Он, может быть, знал это ещё в июне, на мостках купальни, когда смотрел на неё, как на вещь, которую уже решил купить. Её снова брали — спокойно, точно, по плану. А она снова только отвечала.

Она вырвалась.

Она сама не знала, откуда взялись силы. Отступила на шаг, на два. Стояла посреди номера, тяжело дыша, с расстёгнутым на спине платьем, с горящими губами, с растрепавшимися волосами, — и смотрела на него с такой злостью, какой сама от себя не ждала.

Он не двинулся. Он стоял у камина, спокойно, чуть наклонив голову, и смотрел на неё с тем же вниманием, что и всегда. Не удивился. Не рассердился. Будто и это было в расписании.

Лена, не глядя на него, завела руки за спину и стала застёгивать крючки. Пальцы не попадали. Она застегнула три из семи. Схватила шаль с кресла, накинула. Пошла к двери.

Он не удерживал.

— Вы придёте завтра, — сказал он ей в спину, когда она уже взялась за ручку двери. Спокойно. Не вопросом.

Она хлопнула дверью так, что в коридоре звякнули подвески на люстре.

Дома, в мезонине, она не спала до утра. Она сидела на кровати в вишнёвом платье, расстёгнутом на спине, и злилась. Злилась так, как не злилась никогда в жизни, — на него, на себя, на шампанское, на мистера Смидта, на Фёклу с её «барыня тоже такое». Потом поняла, что злится не на него. Не на то, что он хотел её. И даже не на то, что он всё рассчитал.

Она злилась на то, что он был прав.

8.6. Ночь на двадцать пятое

Двадцать четвёртого октября, во вторник, в Петрограде Военно-революционный комитет при Совете начал занимать вокзалы, мосты, телеграф, электростанцию, государственный банк. Керенский в Зимнем дворце ждал войск с фронта. Войска не шли. В Томске об этом никто не знал. В Томске шёл мокрый снег, на Магистратской у продовольственной комиссии с утра снова стояла толпа, а в «Интимном театре» давали «Весенние чары» в тридцатый раз.

Лена весь день была в клиниках. Ассистировала Мышу на двух операциях, держала крючки, промывала раны, писала истории болезни. Руки у неё не дрожали. Она не думала о вчерашнем. Она не думала ни о чём. Она работала, и работа была как анатомичка в первые дни, — честная, холодная, ясная, в ней не было ни шампанского, ни крючков на спине, ни расписания.

В восемь вечера она вышла из клиник, постояла на крыльце под мокрым снегом и пошла не домой.

На ней было то же вишнёвое платье. Она надела его утром, под халат, и сама не сказала себе зачем.

Она поднялась по лестнице «Европы» мимо швейцара, мимо официантов, мимо полковника с дамой, который как раз спускался, — не глядя ни на кого, — и постучала в дверь номера четырнадцатого.

Он открыл. В жилете, без пиджака, с сигарой. Посмотрел на неё — и, ей показалось, впервые за всё время, за все четыре месяца, в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Не потому, что она пришла. Потому, что пришла сама, раньше, чем он ждал, не дождавшись рассыльного.

Она не дала ему ничего сказать.

Она вошла, закрыла за собой дверь, вынула у него из пальцев сигару и бросила в камин. Взяла его за отвороты жилета и поцеловала — сама, первая, жёстко, неумело, так, как не целовала никого. Он хотел что-то сказать — она не дала. Он хотел обнять её, медленно, по-своему, — она не дала и этого. Сегодня всё будет по-другому. Сегодня ведёт она.

Она сама расстегнула на себе крючки — все семь, быстро, не глядя, пальцы теперь попадали. Сама стянула с плеч вишнёвый бархат, и он упал к её ногам тяжёлой тёмной волной. Сама расстегнула на нём жилет, рубашку — пуговицы не поддавались, она рванула, и одна отлетела и покатилась по полу. Она знала, что делать. Она медичка. Она знала всё — по атласу, по лекциям, по клинике, по-латыни. Она знала строение, функцию, физиологию. Это знание наконец пригодится. Она толкнула его к кровати, за арку, — и он, кажется, позволил себя толкнуть, — и сама легла рядом, и сама притянула его к себе.

Это был её реванш. За библиотеку. За пустое кресло. За ящик в углу мансарды. За восьмой снимок. За «вы придёте завтра». Она пришла — но пришла не так, как он думал. Она берёт, а не её.

Так она думала первые минуты.

Потом была боль.

Она знала о ней. Она знала, что это будет, знала анатомически, точно: hymen, тонкая складка слизистой, разрыв, кровотечение, обычно незначительное. Она читала об этом в учебнике акушерства. Она объясняла это курсисткам на женском съезде, когда одна, краснея, спросила. Она знала. Но знание не имело к этому никакого отношения. Боль была острая, режущая, внезапная, совсем не учебная, — и вместе с ней из неё в одну секунду ушло всё: и злость, и реванш, и напор, и власть. Она вскрикнула. Она вцепилась ему в плечи. Она перестала вести.

И он повёл.

Он был осторожен. Это она потом помнила. Он остановился, замер, переждал, — спокойно, умело, точно, как опытный хирург пережидает, пока больной привыкнет к боли. Шептал ей что-то, она не разбирала слов. Гладил её волосы. Потом продолжал — медленно, бережно, терпеливо. Он знал, что делать, — гораздо лучше, чем она, со всеми её атласами и лекциями. Он снова знал всё заранее.

А она лежала под ним и ждала.

Ждала того, что было в библиотеке, когда два его пальца на затылке пустили ток по всему позвоночнику. Того, что было у калитки с Грушницким, когда тело горело и выгибалось само. Того сладкого, тянущего, требовательного, что было все эти месяцы — в купальне, на обрыве

Лагерного сада, на тахте в мансарде под магнием. Она думала, что сейчас это будет в сто раз сильнее. Что это и есть то, к чему всё шло. Что сейчас её накроет волной, и она перестанет быть собой, и это будет — как в романах, как в стихах, как у Коллонтай, как у Лебядкина в его «звонкозвёздном вопле».

Ничего такого не было.

Была боль — тупая теперь, саднящая. Была тяжесть его тела. Было его дыхание у её уха, учащённое, — она отметила, медичка, что пульс у него, должно быть, за сто двадцать. Был запах — табака, одеколона, пота, крови. Было тепло камина на одной стороне тела и холод простыни на другой. Был потолок над аркой, с лепной розеткой, в которой одного листа не хватало, — она смотрела на этот отбитый лист и почему-то не могла отвести глаз. Было ощущение — странное, отчуждённое, — что всё это происходит не с ней, а с каким-то телом, которое она наблюдает со стороны, как наблюдала на вскрытиях. Тело делало то, что ему полагалось по физиологии. Тело реагировало — по-своему, не так, как она ждала, не так, как она хотела, — само по себе. Она думала, что знает про тело всё. А тело вело себя как хотело и не спрашивало её.

Это было не страшно. Это было не противно. Это было — никак. Разочарование было таким полным и таким тихим, что она даже не сразу его узнала.

Потом всё кончилось. Он лёг рядом. Обнял её одной рукой — спокойно, по-хозяйски, — и, кажется, очень скоро уснул: она слышала, как его дыхание стало ровным и глубоким.

Лена лежала, глядя в потолок, на отбитый лист в лепной розетке.

Вот и всё, думала она. Вот это — то самое. О чём шептались гимназистки в Мариинской гимназии. О чём пишут в романах, о чём спорят у Лебядкина, о чём Марья Павловна говорит «кандалы», о чём отец читал с кафедры — «в человеке хочет гормон». Вот оно. Боль, кровь, тяжесть, отбитый лист на потолке. Она стала женщиной. Так говорят. Начался какой-то новый этап, другая жизнь — так должно быть. Она пыталась это почувствовать — что она другая, что теперь всё иначе — и не чувствовала. Она была та же. Только болело.

И ещё — она снова отдала власть. Всю. Она пришла взять — а отдалась. Буквально, по-русски: отдалась. Это слово было точное, и от его точности было хуже всего. Ещё полчаса назад она толкала его к кровати и рвала пуговицы, и он позволял, — а потом одна секунда боли, и всё, и он снова вёл, а она снова только отвечала, и даже хуже, чем отвечала: просто лежала.

Ей хотелось с кем-нибудь поговорить об этом. Хотелось так сильно, что сдавило горло. Спросить: так и должно быть? У всех так? Это всегда так в первый раз — или это с ней что-то не так? Это потом будет иначе — или не будет никогда? И не было никого, кому можно задать эти вопросы. Не Марье Павловне, которая благодарит Бога, в которого не верит, за то, что «никогда». Не Фёкле. Не курсисткам, которые знают про это только из Коллонтай. Не отцу — Господи, только не отцу. И не маме.

Мама бы, наверное, знала, подумала она. Мама знала всё. Мама любила отца. Она, наверное, тоже когда-то вот так лежала и смотрела в потолок. А может быть, нет. Может быть, у мамы было по-другому — чисто, свято, по любви, как у героинь. Марья Павловна говорит, мама никогда не продавала себя. Лена её никогда об этом не спросит. И ни о чём другом.

Она лежала в темноте рядом со спящим мужчиной, и в голове у неё всё смешалось, как в той ванночке с проявителем у Лебядкина, где одно изображение проступает сквозь другое.

Грех, — говорил в ней голос, похожий на голос Фёклы, на голос священника в Воскресенской церкви, где её крестили, на голос из того Нового Завета с маминими пометками, который она читала в марте. Блудница. Женщина, взятая в прелюбодеянии. Свобода, — говорил другой голос, похожий на голос Лебядкина, на голос курсисток, на голос Коллонтай, на голос самой революции. Тело принадлежит тебе, не мужу, не церкви, не государству. Новая женщина. Свободная любовь. Кандалы, — говорил голос Марьи Павловны, — их надевают сами и думают, что это украшение. Гормон, — говорил голос отца, — в человеке хочет гормон. Кто

из вас без греха, пусть первым бросит камень, — говорил ещё один голос, совсем тихий, из маминой книжки, из той страницы, на полях которой мамина рука провела карандашом две черты. Всё это говорило одновременно и не складывалось ни во что. Лена слушала эти голоса и не могла выбрать ни одного. Каждый был прав. Ни один не помогал.

И тогда она решила, что не будет выбирать.

Она решила это так же спокойно и отчётливо, как решала в анатомичке, где резать. Она не будет ничего объяснять — ни себе, ни другим. Не будет называть это ни грехом, ни свободой, ни любовью, ни кандалами. Не будет ничего решать. Она будет наблюдать. Просто смотреть, что происходит, — с ней, с её телом, с ним, — и записывать. Фиксировать объективные факты, не делая преждевременных выводов. Не этому ли её учили два с половиной года на медицинском факультете? Сначала анамнез. Потом осмотр. Потом наблюдение в динамике. Диагноз — потом. Если вообще.

От этого решения стало легче. Почти смешно. Она лежала в номере четырнадцатом гостиницы «Европа», голая, с саднящей болью внизу живота, рядом со спящим петербургским адвокатом, и составляла план клинического наблюдения за самой собой.

Она уснула под утро.

Когда она проснулась, было светло. Серый свет октябрьского утра пробивался между портьерами. Камин погас. Его рядом не было.

Он стоял у окна, одетый, побритый, в сером костюме, и курил, глядя на Почтамтскую. Услышав, что она проснулась, обернулся, подошёл, наклонился и поцеловал ей руку, лежавшую поверх покрывала. Так же, как в купальне, в июне: в тыльную сторону ладони, сухими горячими губами.

— Мне нужно идти, — сказал он. — Дела. Портье подаст вам чай. Не торопитесь.

И ушёл.

Лена полежала ещё немного, потом встала. Простыня была в крови — немного, пятно с ладонь. Она посмотрела на него, как смотрела на окровавленные простыни в клинике, — профессионально, отмечая: незначительное, остановилось, всё в пределах нормы. Потом подошла к комоду, к зеркалу в бронзовой раме, — посмотреть на себя.

На комоде, у зеркала, лежали деньги.

Не пачка, не конверт. Лист. Большой, неразрезанный лист новых денег — двадцатирублёвых казначейских знаков, тех, что с сентября печатало Временное правительство и что в городе уже называли «керенками». Жёлто-коричневые, мелкие, как этикетки от спичечных коробков, напечатанные рядами, тесно, без полей, — их не успевали разрезать в типографии и выпускали так, листами, и каждый, кто получал, отрезал себе ножницами сколько нужно. Лист ещё пах типографской краской. На нём было, Лена сосчитала машинально, сорок знаков. Восемьсот рублей.

Записки не было.

Лена стояла перед комодом, голая, и смотрела на лист.

Она смотрела долго. Потом взяла его в руки — он был лёгкий, шуршащий, как обои. Двуглавый орёл без короны, по-новому, по-республикански. «Казначейский знак. Двадцать рублей». Ряды, ряды, ряды.

Он подумал, что заплатил. Она поняла это не умом — она не хотела это понимать, — а чем-то другим, на мгновение, краем сознания, как видишь краем глаза что-то, на что не хочешь смотреть. Восемьсот рублей за ночь. За то, что было на простыне. Он сравнивал её с актрисой, которая раздевается за жалованье. Сравнение вышло в её пользу.

Но это мгновение прошло.

Нет, — сказала она себе. Это не так. Он знает, что деньги дешевеют каждую неделю. Он знает, что ей нужны платья, туфли, шуба на зиму. Он знает, что у отца нет денег, что отец ищет по городу тридцать рублей на бумагу для газеты. Он заботится. Он не умеет сказать —

он вообще ничего не говорит словами, он всё говорит вещами: галошами, перчатками, пером, шалью, снимками. Это — тоже слово. Его слово. Значит, он… Значит, она ему…

Она сложила лист вчетверо, аккуратно, так, чтобы не помять знаков, и убрала в сумочку.

Потом оделась — в вишнёвый бархат, застегнула все семь крючков, на этот раз без труда. Причесалась перед зеркалом в бронзовой раме. Из зеркала на неё смотрела та же самая Лена, что вчера. Тёмные глаза, левый чуть мимо. Бледное лицо. Губы, может быть, чуть припухшие. И всё. Ничего другого.

Внизу портье подал ей чай и не поднял глаз.

Домой она вернулась в девятом часу утра. Отец был дома: он пришёл из Совета под утро, не ложился, сидел в столовой над стаканом чая, в пальто, небритый, с красными глазами. Он был возбуждён, весел, что-то бормотал, перебирал какие-то бумаги. Увидев её в дверях — в вишнёвом платье под пальто, в восемь утра, — он поднял голову.

— Где ты была, Леночка? Я ночью заходил — тебя нет.

— У Шульцев, — сказала Лена. — Готовились к зачёту по фармакологии. Засиделись, а потом комендантский час, патрули. Мадам Шульц оставила ночевать.

Ложь вышла гладкая, ровная, без запинки. Она даже не готовила её. Она пришла сама, как приходит нужное латинское слово.

Отец кивнул.

— Правильно, правильно, — сказал он рассеянно. — Ночью теперь опасно. — И снова уткнулся в свои бумаги, и вдруг поднял голову опять, и глаза у него сияли за очками так, как сияли второго марта, на Почтамтской, когда он поднял её над мостками. — Леночка. Из Петрограда шифровка. Ночью. ВРК занял телеграф и вокзалы. Керенский в Зимнем, войск у него нет. Сегодня, Леночка. Сегодня, может быть, всё решится. Сегодня…

Он не договорил. Он смотрел на неё — и не видел. Не видел вишнёвого платья в восемь утра. Не видел её лица. Не видел, как она стоит в дверях, чуть сдвинув колени, потому что внизу живота всё ещё саднило. Не видел сумочки, в которой лежал лист с восьмьюстами рублями. Он видел Петроград, Зимний дворец, телеграф, вокзалы, — и ничего больше.

Лена поднялась в мезонин.

Заперла дверь на крючок. Достала из ящика стола свою тетрадь — ту самую, в клеёнке, в которую на практических занятиях записывала пульс, температуру и дыхание больных, и в самом низу одной из мартовских страниц которой было написано: «3 ч. ночи. После поцелуя: пульс 96. Лёгкая слабость в коленях… Причина неясна. Наблюдение продолжить».

Она открыла чистую страницу. Обмакнула «Ватерман». И записала ровным почерком, мелко:

«25 окт. Defloratio. Боль острая, затем тупая, саднящая. Кровотечение незначительное, остановилось самостоятельно. Возбуждение до — выраженное. Во время — отсутствует. После — отсутствует. Удовольствия не отмечено. Ощущение власти утрачено (к сведению). Общее состояние удовлетворительное. Причина несоответствия ожиданиям неясна. Выводов не делать. Наблюдение продолжить».

Подумала. Хотела дописать про лист с керенками. Не дописала.

Подчеркнула «продолжить» и закрыла тетрадь.

8.7. Телеграф молчит

Двадцать шестого октября, в четверг, утром, в Томск пришли первые телеграммы из Петрограда.

В Петрограде восстание. Военно-революционный комитет при Петроградском Совете объявил Временное правительство низложенным. Зимний дворец взят в ночь на двадцать шестое. Министры арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. Керенский бежал — говорили, в автомобиле американского посольства, говорили, переодевшись сестрой мило-

сердия. Открылся Второй Всероссийский съезд Советов. Власть перешла к Советам. Образован Совет народных комиссаров. Председатель — Ленин.

А потом телеграф замолчал.

Сначала думали — обрыв на линии. Потом — что телеграф в Петрограде захвачен и не работает. Потом пошли слухи, один страшнее другого: Керенский идёт на Петроград с казаками, в Москве бои, в Москве Кремль в огне, большевики уже разбиты, большевики уже повсюду. Ни один слух нельзя было проверить. Телеграфная лента молчала. «Сибирская жизнь» вышла с передовой, в которой Адрианов писал, что авантюра большевиков продержится неделю, что Временное правительство вернётся с фронтовыми частями, что Россия не позволит горстке фанатиков… В передовой не было ни одного твёрдого знака.

Весь день Почтамтская стояла.

У редакции «Сибирской жизни», у телеграфа, у Совета, у губернского исполкома — толпы. Как второго марта. Только тогда был мороз и фонари, а теперь — мокрый снег, слякоть по щиколотку, серый день, переходящий в серые сумерки. Люди стояли, переминаясь в галошах и без галош, и ждали. Кто-то кричал «да здравствуют Советы», кто-то — «долой узурпаторов», кто-то просто кричал. Люди хватали друг друга за рукава и спрашивали: что слышно? что слышно? — и никто ничего не знал.

Лена стояла в этой толпе у редакции, у того же крыльца, у которого стояла второго марта, когда Великопольский читал с тумбы телеграмму об отречении.

Она пришла сюда после клиник, сама не зная зачем, — может быть, потому, что все шли сюда. Стояла, прижатая к холодной стене редакции, в пальто, в галошах на меху, с мокрым снегом на волосах. Вокруг кричали и спорили. Какой-то студент забрался на ту же самую тумбу и пытался что-то читать, но его стащили. Какая-то барыня плакала. Солдат рядом с ней грыз семечки и сплёвывал шелуху ей на подол.

Петроград. Ленин. Советы. Керенский в автомобиле. Зимний дворец. Где-то там, за пять тысяч вёрст, решалась судьба России, и все вокруг неё понимали, что решается, и поэтому стояли под снегом и ждали. А Лена стояла среди них и чувствовала только одно.

От её волос, от воротника пальто, от шали, которую она так и не сняла с позавчерашнего вечера, ещё пахло его табаком.

Ей не было дела до Петрограда.

Двадцать восьмого октября в Томске образовался Военно-революционный комитет, — во главе его встал большевик Беленец, председатель Совета рабочих депутатов, — и в тот же день ревком ввёл цензуру телеграмм. Все телеграммы, поступавшие в город, прежде чем попасть в газеты, должны были проходить через комиссара ревкома. Тридцатого октября солдаты гарнизона под командой прапорщика Голикова пришли в редакцию «Сибирской жизни» и запретили выпуск газеты. Адрианов, говорили, выслушал их стоя, ничего не сказал, снял пенсне, положил на стол гранки и вышел. Газета не выходила четыре дня.

На крыльце губернаторского дома, где теперь заседал ревком, в первый же день появился Очумелов.

Он был в той же фуражке, но кокарда на ней была уже не красная, а красная с чёрным — кто-то сказал ему, что так носят в Петрограде, — и бант на груди был вдвое больше мартовского, пышный, как пион, как кочан капусты, как маленькое солнце. Он стоял на крыльце, расставив ноги, и объяснял собравшимся гражданам, что всю жизнь ждал этого дня.

— Ещё батюшка покойный, — говорил он, — ещё батюшка, Пётр Семёнович, говорил мне: придёт, Елисей, власть Советов! Придёт! Как сейчас помню. Я, граждане, в марте при Временном правительстве служил — так это я, граждане, по заданию служил. По революционному заданию. Внедрён был. Елдырин! Подтверди!

— Внедрён, — подтвердил Елдырин, почёсывая затылок.

Отец почти не бывал дома.

Он теперь был членом ревкома, — одним из семи, — и ночевал в губернаторском доме, на диване в бывшей приёмной губернатора, а домой заходил только переменить бельё и выпить чаю. Он похудел, глаза ввалились, но в них горело то, что Лена видела второго марта и не видела потом всё лето: восторг. Он говорил «мы» уже без запинки. Он говорил о декретах — о мире, о земле, — так, как когда-то говорил об Энгельсе: наизусть, с придыханием. Мир — без аннексий и контрибуций. Земля — крестьянам, без выкупа, сейчас. Не через Учредительное собрание, не через комиссии, не через Сибирскую думу. Сейчас. Баба из Барабинска получит землю. Сейчас.

О цензуре он заговорил сам, тридцатого вечером, когда зашёл домой переодеться, и Лена сидела в столовой над фармакологией.

Она не спрашивала. Она ничего ему не сказала, только посмотрела, когда он вошёл, — и он, видимо, понял её взгляд, потому что остановился посреди столовой, не снимая пальто, и сказал, будто продолжая давний спор:

— Это временно, Леночка.

— Что временно?

— Газета. «Сибирская жизнь». — Он снял очки, стал протирать их полой пальто. — Это временно. Пока не кончится борьба. Ты пойми: в Москве бои. Керенский с казаками под Петроградом. Каждая их строчка сейчас — это оружие против революции. Они пишут, что мы немецкие шпионы, что мы продержимся неделю, что надо нас свергнуть. Это не свобода печати, это призыв к восстанию. В военное время…

Он замолчал. Надел очки.

Лена смотрела на него и молчала. Она вспомнила, — и он, она видела, тоже вспомнил, — как в девятьсот шестом и в двенадцатом году жандармы приходили к ним с обыском, искали нелегальную литературу, газеты, брошюры, и отец потом, после их ухода, смеялся и говорил ей, маленькой, что слово нельзя арестовать, что слово сильнее жандарма, что цензура — это признание власти в собственном бессилии. Как он двадцать лет тайком доставал запрещённые книги — Маркса, Плеханова, Ленина, — и прятал их в чулане за мешками с картошкой. Как он читал ей вслух Герцена: «Вольное русское слово». Как ругал Победоносцева. Как гордился Адриановым, которого сажали за статьи.

— Ты сам двадцать лет… — сказала Лена.

— Знаю. — Отец сел, не снимая пальто. — Знаю, Леночка. Не говори.

Он помолчал. Потом заговорил снова — медленно, с усилием, подбирая слова, как подбирают на ощупь ключ к замку в темноте.

— Видишь ли. Свобода печати — это… это не абстракция. Это свобода тех, у кого есть типография, бумага, деньги. У Адрианова есть типография. У купцов, у кадетов есть деньги на бумагу. А у рабочих — нет. У солдат — нет. У той бабы из Барабинска — нет. «Голос свободы» в июле не мог найти тридцати рублей на бумагу, а «Сибирская жизнь» печаталась на сорока тысячах экземпляров. Это равная свобода? Ленин пишет… — Он остановился. — Ленин пишет, что буржуазная свобода печати — это свобода для богатых покупать газеты и для газет — обманывать бедных. Что, пока типографии в руках капиталистов, никакой свободы слова для народа нет. Что надо сначала… отобрать типографии… а потом уже…

Он говорил и сам слышал, как это звучит. Лена видела это по его лицу. Он говорил чужими словами — ленинскими, Яницкого, — и эти слова не ложились у него в рот, как не ложится чужая вставная челюсть. Он сбивался, начинал снова, протирал очки, снова надевал.

— А когда типографии отберут, — сказала Лена, — кто будет решать, что в них печатать?

Отец молчал.

— Ревком? — спросила она. — Комиссар? Яницкий? Тот, кто будет читать телеграммы прежде нас?

— Народ, — сказал отец.

Он сказал это быстро, слишком быстро. И сам, кажется, услышал, как быстро. Он посмотрел на неё, потом в сторону, на окно, за которым шёл мокрый снег, потом на свои руки — большие, мягкие, в жёлтых пятнах от реактивов.

— Временно, — сказал он ещё раз, совсем тихо. — Пока идёт борьба. Потом…

Он не сказал, что потом. Встал, ушёл в спальню переодеваться. Вернулся в чистой рубашке, выпил стакан чаю стоя, у стола, обжигаясь. Поцеловал Лену в лоб, наклонившись, как целовал всегда, — от него пахло мокрым сукном, донником и аммиаком, — и ушёл обратно в ревком.

Лена слышала, как хлопнула калитка.

Он не спросил её ни о чём. Ни о Шульцах, ни о зачёте, ни о том, почему она уже неделю приходит домой за полночь. Ни о новых галошах на меху. Ни о вишнёвом платье, в котором она вернулась утром двадцать пятого. Он не заметил. Он был в ревкоме, в Петрограде, в Смольном, в декрете о земле, в «потом», которое он не мог договорить. А его дочь, о которой он когда-то поклялся её матери, что она будет жить по-человечески, — его дочь стала женщиной, и стала ею в номере гостиницы «Европа», и утром на комоде у неё лежали восемьсот рублей. И он не заметил.

Она поднялась в мезонин. Достала из сумочки неразрезанный лист керенок, развернула, посмотрела. Потом отодвинула «Утро в сосновом лесу», открыла нишу и положила лист туда — поверх конверта со снимками, поверх облигаций займа свободы, поверх николаевского золота. Бумага на бумагу. Лист был новый, хрустящий, пах краской, а золото под ним было тяжёлое, тусклое, старое.

Потом она закрыла нишу, повесила медведей на место и долго стояла у окна мезонина, глядя на тёмный город под мокрым снегом. В городе горели редкие огни — свет экономили по-прежнему, при любой власти. Где-то на Почтамтской, у редакции, ещё стояли люди. Где-то в губернаторском доме, на диване в бывшей приёмной, отец, наверное, не спал и писал что-то, и зачёркивал. Где-то в номере четырнадцатом гостиницы «Европа» горел камин.

Октябрь в Томске почти не почувствовали. Власть всё ещё была у думы и губернского исполкома, ревком сидел в одном крыле губернаторского дома, а исполком — в другом, и оба издавали приказы, и никто не знал, какие исполнять. Но все понимали, что это ненадолго.

Конец восьмой главы.



Глава 9. Список № 3

Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет.

А. Блок

Задумал я жениться в семнадцатом году, но дело-то не клеится, невесту не найду.

Песня

9.1. Газета по десять рублей

Зима пришла в Томск в первых числах ноября, сразу, без предупреждения, как приходит в Сибири всякая настоящая зима.

Ещё тридцатого октября шёл мокрый снег и стояла слякоть, в которой тонули галоши, а второго ноября ударил мороз под двадцать, и к утру слякоть окаменела. Колеи, следы копыт, отпечатки сапог, оставленные толпами у редакции и у Совета, застыли в чёрной корке, как следы доисторических животных в глине, и по ним было больно ходить. Томь за три дня покрылась шугой, потом встала. На Почтамтской извозчики пересели с пролёток на сани. Дым из труб поднимался по утрам прямо вверх, белыми столбами, как в марте, когда всё начиналось.

«Сибирская жизнь» не выходила. Солдаты Голикова закрыли её тридцатого октября, и у дверей редакции стоял часовой с винтовкой, а на дверях висела бумага с печатью ревкома. Каждый день у редакции собирались люди — студенты, учителя, конторщики, профессора, курсистки, старые ссыльные — и требовали вернуть газету. Митинговали на морозе, топая валенками, выдыхая пар. Говорили о свободе слова, о Герцене, о Чернышевском, о Победоносцеве, о том, что даже при царе «Сибирскую жизнь» закрывали только на месяц, а эти закрыли бессрочно. Часовой слушал, переминался, курил махорку в рукав. Адрианов к митингующим не выходил. Говорили, что он сидит у себя дома, на Никитинской, и пишет, и складывает исписанные листы в ящик стола.

Последние номера газеты, вышедшие до закрытия, исчезли из продажи в первый же день. Через неделю их перепродавали из-под полы на Базарной площади по десять рублей — дороже, чем стоила годовая подписка до войны. Покупали старики, покупали барыни, покупали студенты вскладчину. Читали вслух, передавали из рук в руки, пока номер не истрёпывался до дыр. Лена видела, как на углу Ямского какой-то чиновник в бобровой шапке, оглянувшись, сунул мальчишке червонную бумажку и получил свёрнутый в трубку номер за двадцать восьмое октября, без твёрдых знаков, с передовой о том, что большевики продержатся неделю.

Неделя прошла. Большевики держались.

Москва воевала до второго ноября. Шесть дней по телеграфу, когда он работал, и по слухам, когда не работал, Томск знал о Москве только одно: там стреляют. Говорили о юнкерах в Кремле, о красногвардейцах на Воробьёвых горах, об артиллерии, бьющей по Никитским воротам, о сотнях убитых, о тысячах, о десятках тысяч. Говорили, что Кремль горит, что Василий Блаженный разрушен, что Иверская часовня взорвана. Отец не ночевал дома шесть суток. Он спал на диване в бывшей приёмной губернатора, в ревкоме, ел, что приносили, и ждал телеграмм. Второго ноября вечером он пришёл домой, вошёл, не снимая пальто, в столовую, где Лена сидела над учебником, — и, не говоря ни слова, поднял её со стула, как маленькую, и закружил по комнате.

— Москва наша, — сказал он, поставив её на пол. — Москва наша, Леночка. Юнкера сдались. Всё.

Лицо у него было мокрое — от снега, а может, нет. Он обнял её и долго не отпускал, и от него пахло морозом, махоркой и чем-то кислым, казённым, ревкомовским: чернилами, сургучом, мокрым сукном шинелей. Лена стояла в его объятиях и думала, что за последние десять дней он не задал ей ни одного вопроса, кроме «как дела в клинике». Что она приходит

домой за полночь, и он этого не знает, потому что сам приходит под утро. Что на ней сейчас, под домашней кофтой, шёлковая сорочка, купленная на деньги из листа керенок, и он об этом не знает. Он кружил её по столовой, мокрый, счастливый, и не знал о ней ничего.

— Поздравляю, папа, — сказала она.

Он не услышал, как она это сказала.

В «Европу» Лена ходила теперь не через вечер, как она сама себе обещала когда-то, глядя на лист керенок, а реже. Гомаровский присылал рассыльного с запиской — одна строка, время и номер, — и она иногда шла, а иногда отправляла мальчишку обратно с ответом «занята». Ей нравилось отвечать «занята». Ей нравилось представлять, как он прочитает это слово у себя в номере четырнадцатом, при камине, с сигарой, и что-то подумает. Ей нравилось, что он присылает снова.

Ей вообще больше нравилось, когда он ждёт, чем когда он получает.

Она поняла это не сразу. В начале ноября, в первые дни зимы, она пришла к нему ещё раз — второй раз после той ночи. Было не так больно. Было, если быть честной, никак — почти так же, как в первый раз, только без боли. Она записала потом в тетрадь, ровным почерком, в самом низу страницы, под записью о пациентке с рожистым воспалением: «3 нояб. Боль слабая. Удовольствия нет. Отмечено: ожидание (до) приятнее события. Наблюдение продолжить». И подчеркнула слово «ожидание».

Это было странное открытие, и она его рассматривала потом несколько дней, как рассматривают под микроскопом препарат, в котором нашли что-то неожиданное. Ей нравилось, когда он смотрит. Когда она входит в ресторан «Европы» в котиковой шубке и в вишнёвом бархате, и все поворачиваются, а он встаёт ей навстречу. Когда она наклоняется к нему через стол, и он смотрит на её губы. Когда она говорит «нет» и видит, как он улыбается этому «нет» и ждёт. Когда она просит — и он даёт. Всё это было сладко, остро, горячо. А то, ради чего всё это затевалось, — то, о чём пишут романы и спорят футуристы, — то было пока чем-то вроде платы. Не тяжёлой, не противной. Просто платы. Как плата за билет в ложу, где главное — не кресло, а спектакль.

Она записала и это, но потом вырвала страницу. Это было уже не наблюдение, а вывод, а выводов она решила не делать.

Слухи ходили по городу без телеграфа. Телеграмма из Иркутска, писали те газеты, что ещё выходили, шла до Томска двадцать четыре дня, — быстрее было бы доехать на санях. Говорили, что в банках нет денег, что Государственный банк в Петрограде захвачен и что вклады пропали. Обыватели стояли в очередях к Сибирскому торговому банку и к Русско-Азиатскому, чтобы забрать вклады, и банки выдавали по сто рублей в одни руки. Говорили, что Япония предъявила России ультиматум и высаживается во Владивостоке. Говорили, что Потанин в Омске объявил себя «правительством Сибири» и формирует армию. Говорили, что в Петрограде Ленин уже арестован, что в Петрограде Ленин уже император. Лена записывала эти слухи в протоколы эсеровского губкома, где по вечерам по-прежнему стучала на «Ремингтоне», и сама не знала, чему верить. Иногда ей казалось, что ничему.

9.2. Идея науки

Книгу отец оставил у неё на столе в мезонине, пока её не было дома.

Она нашла её в тот вечер, когда вернулась из клиник, — толстый том в сером картонном переплёте, потёртый, с загнутыми углами. «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Вл. Ильин. Москва, издание «Звено», 1909. На титульном листе — отцовским почерком, торопливым, наклонным, каким он теперь писал всё, даже записки Фёкле о дровах:

«Леночке. Чтобы поняла, за что мы. Прочти, потом поговорим. П.»

Поговорить им было некогда. Отец уходил в ревком в седьмом часу утра и возвращался после полуночи, а то и не возвращался вовсе. Он, видимо, сам это понимал — и потому оставил

книгу. Книга должна была сказать за него то, чего он не успевал сказать сам. Лена держала её в руках и чувствовала что-то похожее на нежность и на обиду одновременно. Он хотел обратить её. Не словами, не за чаем, не спором — на это у него не было времени. Книгой. Как оставляют на столе лекарство с запиской «принимать три раза в день».

Она начала читать в ту же ночь, при свече, — свет экономили по-прежнему, при любой власти, — и читала потом две недели, урывками, по ночам, между клиниками, «Европой», эсеровским губкомом и стенографией.

Это была трудная книга. Злая. Ленин писал её против своих же — против Богданова, Базарова, Луначарского, против русских марксистов, увлёкшихся философией австрийского физика Эрнста Маха и швейцарца Рихарда Авенариуса. Эмпириокритицизм, критика опыта. Лена не знала этих имён. Она читала Ленина — и, чтобы понять, на что он нападает, ей приходилось реконструировать по его цитатам то, что он опровергал, как реконструируют по рубцам и спайкам картину болезни, которой больше нет.

И чем дальше она читала, тем больше ей нравился не Ленин.

Мах, насколько она могла понять по цитатам, говорил простые вещи. Что наука не должна выдумывать то, чего нельзя наблюдать. Что всё, что мы знаем о мире, мы знаем через ощущения — цвета, звуки, давления, тепло, — и что задача науки — не гадать о том, что «на самом деле» стоит за ощущениями, а описывать их: какие связаны с какими, какие от каких зависят, как одни меняются вслед за другими. Описывать как можно экономнее, без лишних сущностей. Не выдумывать «вещь в себе», «душу», «материю», «силу», если без них можно обойтись. Факты — и связи между фактами. Остальное — метафизика.

Лена читала это и узнавала.

Это было то, чему её два с половиной года учили на медицинском факультете. Анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Пульс, температура, дыхание. Записывать то, что видишь, а не то, что думаешь. Не ставить диагноз, пока не собраны факты. Это было то, что она сама решила в ночь на двадцать пятое, лёжа под отбитым листом лепной розетки: наблюдать, фиксировать, не делать выводов. Мах, австрийский физик, которого она никогда не читала, говорил её словами. А Ленин его за это ругал.

Ругал страшно. Лена никогда не читала научной книги, написанной так. «Реакционная философия». «Поповщина». «Фидеизм». «Философская путаница». «Лакеи поповщины». «Дипломированные лакеи». «Гнусная» такая-то мысль. «Архипутаник». Ленин не опровергал — он клеймил. Каждая цитата из Маха или Богданова сопровождалась у него восклицательным знаком в скобках, насмешкой, руганью. Против самого Маха — физика, учёного, человека, который, как она узнала из сносок, изучал ударные волны, звук и движение тел, — Ленин выдвигал не опыты и не наблюдения, а цитаты из Энгельса и обвинения в том, что Мах лил воду на мельницу попов.

Материя, писал Ленин, есть объективная реальность, данная нам в ощущениях, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями. Лена прочитала это место трижды. Копируется. Фотографируется.

Она подумала о снимках Лебядкина, которые лежали у неё в нише за медведями. Семь отпечатков и негатив. На снимках — женщина с распущенными волосами, с голыми плечами, на тахте, с мензуркой. Это был снимок её — или не её? Объективная реальность, сфотографированная магнием? Или то, что она сама в тот вечер изображала, нарочно, для одного человека в углу, — то есть скорее ощущение, чем реальность? И где она настоящая — в нише, на глянцевом картоне, или здесь, в мезонине, над книгой Ленина при свече? Ленин сказал бы: настоящая — вот эта, из плоти, а снимок — копия. Мах сказал бы, — так ей казалось, — что никакой «настоящей» нет, есть комплекс ощущений: тепло свечи, тяжесть книги, холод от окна, усталость в глазах, и ещё воспоминание о том, как пахнет табак Гомаровского, и что всё это — она.

В одной из ссылок Ленин с издёвкой приводил фразу Маха: «Я неспасаемо». Das Ich ist unrettbar. Нет никакого постоянного, отдельного, неизменного «я», которое можно спасти, — есть только поток ощущений, которые связаны между собой крепче или слабее. Ленин называл это солипсизмом и поповщиной. А Лена, прочитав, отложила книгу и долго сидела, глядя на свечу.

Я неспасаемо. Значит, нет той Лены, которая — блудница, и той, которая — новая женщина, и той, которая — мамина дочь, героиня, наследница легенды. Нет того «я», которое Фёклин Бог будет судить, и того, которое Марья Павловна хочет видеть чистым, и того, которое Гомаровский думает, что купил. Есть ощущения. Тепло. Холод. Боль. Ожидание. Удовольствие от того, как он смотрит. Отсутствие удовольствия от того, что за этим следует. Всё это можно наблюдать, записывать, связывать. И не надо решать, кто она. Не надо выбирать между голосами. Её решение в ночь на двадцать пятое было не слабостью, не трусостью, не уклонением — оно было методом. Научным методом. И у этого метода было имя и автор, и Ленин его ругал.

Ленин ругал его, — думала она, перелистывая злые страницы, — не потому, что Мах ошибался в физике. А потому, что русские марксисты, Богданов и другие, читали Маха и начинали сомневаться в Энгельсе. Потому что если нет «объективной реальности» в ленинском смысле, то нет и «объективных законов истории», и нет того, на чём стоит партия, — уверенности, что она знает, куда идёт история. Мах был опасен не для физики, а для партии. И Ленин бил его не как учёный учёного, а как вождь — раскольника. Это было видно по каждой странице. Это было нехорошо. Это было похоже на то, как Яницкий говорил с Адриановым на лестнице редакции: «не судом».

Шестого ноября открывали историко-филологический факультет, и Лена пошла на первую лекцию.

Это было событие. Томский университет тридцать лет был университетом медиков и юристов, а теперь у него появлялся гуманитарный факультет, и первую лекцию читал молодой профессор философии Сергей Иосифович Гессен, приехавший из Петрограда. Лекция называлась «Идея науки». Аудиторию — большую, амфитеатром, в главном корпусе — набили так, как не набивали даже на Потанина. Студенты стояли в проходах, сидели на ступенях между рядами, на подоконниках, на краю кафедры, у ног лектора. В шинелях, в тулупах, в башлыках — в аудитории не топили, — голодные, многие из тех, что ночевали в конюшнях. Дыхание поднималось над рядами паром. Пахло мокрой овчиной и махоркой.

Гессен был худой, бледный, с тонким интеллигентным лицом, в очках, в сюртуке, и говорил негромко, но так ясно, что его слышали и на подоконниках. Он говорил о науке как о высшей, самостоятельной ценности. Что наука не служит ни государству, ни церкви, ни партии, ни классу, ни пользе — она служит только истине, и в этом её достоинство и её свобода. Что истина не принадлежит никому и не может быть объявлена ни реакционной, ни революционной. Что учёный, подчинивший науку политике, перестаёт быть учёным. Что университет — это дом, где истину ищут, а не провозглашают.

За окнами аудитории, по Новособорной площади, которую уже все называли площадью Революции, с песней прошёл отряд красногвардейцев — человек сорок, рабочие в ватниках, с винтовками, с красной лентой на штыке у правофлангового. Пели «Смело, товарищи, в ногу». Стёкла дрожали. Гессен остановился, подождал, пока песня стихнет за углом, и продолжил с того же слова.

Лена слушала, сидя на ступеньке в проходе, в котиковой шубке, и думала о сером томе, который лежал у неё на столе. Гессен говорил о науке, которая не служит партии. А отец оставил ей книгу, в которой наука была судима партийным судом. Она думала, что, если бы Гессен читал «Материализм и эмпириокритицизм», он бы, наверное, сказал о нём что-то очень вежливое и очень страшное.

Рядом с ней на ступеньке сидел Великопольский.

Он подсел к ней ещё до лекции, через головы, длинный, нескладный, с красными от мороза ушами, — и Лена не сразу его узнала. Он был другой. Не тот, серый, небритый, в шинели, с цыпками на руках, которого она видела в сентябре в анатомичке. Он был обветренный, загорелый, широкий в плечах, — откуда-то взялись плечи, — с мозолями на ладонях, грубыми, жёлтыми, как у грузчика.

— Я и есть грузчик, — сказал он, когда она спросила. — Был. До ледостава. На пристани, у Сибирского пароходства. Баржи с мукой выгружал, с солью, с керосином. Шесть рублей в день. — Он засмеялся. — Анатомию теперь знаю лучше всех на курсе. Практически. Каждую мышцу спины по отдельности чувствую.

— А комната?

— Снял угол. На Татарской. У старика-татарина, он меня чаем поит и учит говорить по-татарски. — Он полез в карман шинели. — Вот. Я обещал.

Он протянул ей бумажку. Смятую, засаленную, сложенную вчетверо, — ту самую или такую же, десятирублёвую, — и держал её на ладони, на жёлтой мозоли, пока она не взяла.

— До профессорства не дотянул, — сказал он. — Но долг есть долг. Спасибо, Лена. Ты меня тогда выручила. Правда.

Лена взяла бумажку.

Она держала её в пальцах, в перчатке, и чувствовала себя так, как не чувствовала ни разу — ни в ночь на двадцать пятое, ни утром перед комодом, ни дома перед отцом, когда лгала про Шульцев. Десять рублей. Шесть рублей в день — значит, почти два дня на пристани, с мешками соли на спине, в октябрьскую слякоть, на ветру с реки. Чтобы вернуть ей десять рублей, которые она сунула ему в сентябре, не думая, в тот же день, когда отдала триста за чёрный бархат. А у неё за медведями в нише лежал лист керенок. Сорок знаков по двадцать рублей. Восемьсот рублей за одну ночь, которой она даже не почувствовала.

Ей стало так стыдно, что она не могла поднять на него глаз.

— Спасибо, — сказала она в пол.

После лекции он проводил её до Почтамтской. Шли по морозу, по скрипящему снегу, мимо университетской рощи, мимо оранжереи с выбитыми стёклами, заколоченными фанерой. Великопольский говорил о Гессене, о том, что это первая лекция за год, после которой хочется жить, о том, что истина не принадлежит никому. Потом, у самой Почтамтской, вдруг замолчал, а потом сказал другим голосом, тем, дьяконским, низким:

— Помнишь костёр? В марте? У Базарного моста?

— Помню.

— Я тогда рассказывал тебе про Петра. Про то, как прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, и если тронуть один конец — дрогнет другой. — Он помолчал. — Я с тех пор часто об этом думаю. О том, что всё связано. Что ничего не бывает просто так. Что если в марте у костра… то, может быть, и теперь…

Он не договорил. Он смотрел на неё, длинный, обветренный, с красными ушами, и ждал.

Лена слушала и не слышала. Она смотрела мимо него, на Почтамтскую, на угол, за которым была «Европа». Был шестой час. Через два часа в номере четырнадцатом зажгут камин. Утром рассыльный принёс записку: одна строка, время и номер. Она ещё не решила, пойдёт или ответит «занята». Она думала об этом весь день, и на лекции Гессена тоже, и сейчас, пока Великопольский говорил о цепи событий.

— Мне пора, — сказала она. — Прости. Спасибо, что проводил.

И пошла. Не оборачиваясь.

Она в тот вечер ответила «занята». Не из-за Великопольского. Просто так. Потому что ей нравилось отвечать «занята».

9.3. Наблюдение продолжить

В середине ноября Гомаровский впервые пришёл к ним в дом.

Это решила Лена. Отец уже неделю не ночевал дома: ревком готовился к губернскому съезду Советов, и отец сидел в губернаторском доме безвылазно, — Фёкла носила ему туда пироги в корзинке, как носят передачи в острог. Дом на горе стоял пустой, тихий, тёмный, с одним окном, светящимся в мезонине. И Лене вдруг захотелось, чтобы он пришёл сюда. Не в номер четырнадцатый, к камину, официантам и чужой кровати под аркой, где всё было его, — а к ней. Где всё было её. Где она — хозяйка.

Она написала ему записку сама. Первый раз. Одна строка — как писал он: «Суббота. После десяти. Калитка открыта».

Он пришёл в одиннадцатом часу. Лена слышала, как скрипнула калитка, как он прошёл через двор по скрипучему снегу, как поднялся на крыльцо. Она сама открыла ему дверь в сени, в шёлковом халате, со свечой. Он вошёл, снял шапку, стряхнул снег с воротника — и остановился. Из кухни, из-за печки, на него смотрела Фёкла.

Фёкла стояла в дверях кухни, в ночной кофте, в платке, со свечой в руке, маленькая, сморщенная, семидесятилетняя, и смотрела на господина с седыми висками в бобровом воротнике так, как, наверное, смотрела когда-то на корову, забредшую в огород. Долго. Молча. Потом перевела взгляд на Лену — на халат, на распущенные волосы, на свечу. Потом перекрестилась. Медленно, широко. И, ни слова не сказав, повернулась и ушла к себе за печку, и задёрнула занавеску.

Гомаровский посмотрел ей вслед, потом на Лену. Чуть приподнял бровь.

— Фёкла, — сказала Лена. — Она… она не скажет.

— Я знаю, — сказал Гомаровский. — У неё лицо человека, который многое видел и ничего не говорил. Таких я в суде встречал. Их невозможно допросить.

Лена повела его наверх, в мезонин.

Мезонин был её комнатой. Маминой комнатой. Он стоял на пороге, в своём бобровом воротнике, с шапкой в руке, и оглядывался — внимательно, медленно, как оглядывал, должно быть, комнаты клиентов, чтобы понять о них больше, чем они скажут. Скошенный потолок с трещиной-рекой. Узкая кровать под стёганым одеялом. Стол с микроскопом, с «Ундервудом», с «Ватерманом», с серым томом Ленина, раскрытым посередине. Мамина лампа под зелёным абажуром. Мамино зеркало в простой раме. Полки с гербарными папками, перевязанными тесёмками. Клетка — пустая пока, Лена купила её на Базаре на прошлой неделе, ещё не зная зачем. Снимок Марьи Павловны на стене, похожей на старообрядческую икону. И над кроватью — «Утро в сосновом лесу», медведи на поваленной сосне, в тяжёлой тёмной раме.

— Здесь жила ваша мать, — сказал он. Не вопросом.

— Да.

Он кивнул и больше ничего не сказал.

Всё было не так, как в «Европе». Это Лена поняла сразу и потом пыталась понять — почему. Может быть, оттого, что здесь было её. Её кровать, её подушка, её запах, — не его камин, не его простыни, не его отбитый лист в лепной розетке на потолке. Может быть, оттого, что здесь не нужно было никуда идти потом, по морозу, мимо швейцара. Может быть, оттого, что мамина лампа под зелёным абажуром горела ровно и мягко и клала на стены тот же тёплый замкнутый круг, что и в читальном зале в ночь корниловщины, — и в этом круге она уже однажды чувствовала, как от двух пальцев на затылке по позвоночнику бежит ток. Может быть, ни от чего. Может быть, просто от того, что был третий раз, а не первый и не второй, и тело, которое вело себя как хотело, наконец захотело чего-то само.

Она не ждала ничего. Она перестала ждать ещё в начале ноября, после второго раза, после записи «ожидание приятнее события». Она не вела, не реваншировала, не толкала его к кровати. И она — это было главное, это она поняла потом, — она перестала наблюдать. Не нарочно. Просто забыла. Забыла о пульсе, о частоте дыхания, о гиперемии кожных покровов, о том, что надо запомнить и записать. Она лежала под маминой лампой, под картиной с мед-

ведями, за которой была ниша, и смотрела не на потолок и не на себя со стороны, а на его лицо, близко, в полутьме, — и в какой-то момент перестала смотреть вообще, закрыла глаза.

И тогда — не сразу, не волной, не так, как в романах и не так, как в «звонкозвёздном вопле» Лебядкина, — что-то случилось.

Это было слабо. Это было далеко. Это было похоже на то, как издали, через несколько улиц, через закрытые окна, слышишь колокол: не видишь, откуда звук, не можешь сказать, какая церковь, но знаешь — звонят. Что-то тёплое, тянущее, поднявшееся откуда-то из глубины, из самого низа, — и разошедшееся, и на мгновение заставившее её задержать дыхание и вцепиться пальцами в его плечо, — и отпустившее. Как отлив. И всё.

Не захлестнуло. Не накрыло. Не растворило. Просто — было. Впервые.

Она лежала потом, открыв глаза, под маминой лампой, и слушала, как затихает в ней этот далёкий колокол. Гомаровский лежал рядом и молчал. Он, кажется, заметил: она почувствовала, как он чуть повернул голову и посмотрел на неё, — внимательно, с тем знакомым выражением, с каким смотрел, когда что-нибудь угадывал. Но ничего не сказал. И она была ему за это благодарна.

Потом он одевался. Медленно, аккуратно, как всё делал, — сначала рубашка, потом жилет, потом запонки, по одной. Застёгивая манжету, он стоял у стены, у кровати, и смотрел на «Утро в сосновом лесу».

— Шишкин, — сказал он. — Плохая копия. Литография, даже не олеография. В каждом трактире такая висит. — Он помолчал, застегнул вторую запонку. — А рама хорошая. Старая, дубовая, тяжёлая. Резная. Такую раму для портрета предка делают, для зеркала в гостиной. — Он посмотрел на Лену. — Зачем такая рама для такой картинки?

Лена лежала, натянув одеяло до подбородка, и чувствовала, как холодеют у неё руки.

— Не знаю, — сказала она. — Она всегда тут висела. Ещё при маме.

— Да, — сказал он. — Конечно.

И больше ничего не сказал. Надел пиджак, пальто, взял шапку. Наклонился, поцеловал ей руку, лежавшую поверх одеяла, — в тыльную сторону ладони, как всегда. И ушёл. Она слышала, как он спускается по лестнице, как проходит через сени мимо Фёклиной занавески, как скрипит калитка.

Она лежала и смотрела на медведей.

Он видел. Он ничего не видел — он не мог видеть, рама висела плотно, ниша была за ней. Но он посмотрел. Он посмотрел именно туда. Он, который угадывал размер перчаток, который нашёл восемь снимков за два дня, который рассчитал пустое кресло в ложе и пальцы на затылке, — он посмотрел на раму и спросил, зачем такая рама. И она не знала теперь, было это случайно — просто глаз знатока, привыкшего оценивать вещи, — или нет.

Она встала, накинула халат, зажгла свечу. Отодвинула медведей, открыла нишу. Всё было на месте: половина червонцев, коробочка с камнями, синяя думка, облигации, конверт со снимками, лист керенок. Она постояла над нишей, потом закрыла её. Подумала, не переложить ли ещё что-нибудь в мамину шубу в сундуке. Не стала. Если он догадался, шуба не поможет. Если не догадался — незачем.

Потом села за стол, открыла тетрадь, обмакнула «Ватерман».

Перо долго висело над бумагой. Потом она написала, и почерк был не совсем её, неровный, буквы клонились в разные стороны:

«17 нояб. Впервые — отчётливо. Слабо. Как отдалённый звук. Условие: не наблюдала. Значит, наблюдение мешает?..»

Она остановилась. Поставила кляксу. Подумала о Махе: комплекс ощущений, связанных между собой; задача — описать связь. Связь была: когда наблюдаешь — нет; когда не наблюдаешь — есть. Это был факт. Странный, неудобный, противоречащий методу, — но факт. А факты, по Маху, не выбирают. Их фиксируют.

Она дописала:

«Связь установлена. Объяснения нет. Записывать дальше — не уверена, что можно. Наблюдение… продолжить?»

И поставила вопросительный знак. Первый вопросительный знак в этой тетради за всё время.

Утром Фёкла поставила на стол самовар и подала Лене чай — молча, не глядя. Лена сидела за столом в домашнем платье, с не до конца высохшими волосами, и пила чай, и ждала, что Фёкла скажет что-нибудь. Фёкла не говорила. Она двигалась по кухне — к печи, к столу, к буфету, — гремела ухватом, наливала себе в блюдце, дула. Потом вдруг остановилась у окна, спиной к Лене, и сказала, глядя на заснеженный двор, вполголоса, будто самой себе:

— Яблочко от яблоньки…

— Что? — спросила Лена.

Фёкла не обернулась. Перекрестилась.

— Барыня тоже… — сказала она. — Царствие ей небесное… Тоже, бывало…

— Что — тоже, Фёкла?

Фёкла обернулась. Посмотрела на Лену — долго, сморщенными выцветшими глазами, в которых было что-то такое, чего Лена не понимала: не осуждение, не жалость, а что-то вроде узнавания. Как смотрят на фотографию человека, которого давно похоронили.

— Ничего, барышня, — сказала Фёкла. — Это я так. Старая я. Путаю.

И махнула рукой, и ушла в сени за дровами.

Отцу она ничего не сказала. Ни в тот день, ни потом. Лена знала это так же твёрдо, как знала, что в нише за медведями лежит золото. Фёкла не скажет. Фёкла многое видела и ничего не говорила. Таких невозможно допросить.

9.4. Котиковая шубка

Котиковую шубку Гомаровский подарил ей в начале месяца, когда ударили морозы.

Он заехал за ней на санях — не на извозчичьих, а на своих, нанятых на месяц, с медвежьей полостью, с рыжим жеребцом в серебряной сбруе, с кучером в синем армяке, — и, когда она вышла к калитке в старом пальто, протянул ей свёрток. Она развернула его прямо на морозе, под фонарём. Шубка была тёмная, почти чёрная, блестящая, как мокрый камень, лёгкая, мягкая, — котик, настоящий, не крашеный кролик, — с воротником из горностая, белым, с чёрными хвостиками. Она пахла нафталином, магазином и чем-то петербургским.

Лена надела её тут же, на улице, поверх пальто, — нет, сбросив пальто на снег, — и шубка села, как всё, что он дарил: точно, по фигуре, будто мерку снимали во сне. Он подобрал пальто со снега, отряхнул, бросил кучеру. Она смотрела на него из горностаевого воротника, и глаза у неё блестели в свете фонаря, и она это знала, и не пыталась скрыть.

Она могла купить такую шубку сама. Золота в нише хватило бы на десять таких. Но эта — была его.

И с этого вечера она начала просить.

Не сразу, не нарочно. Это случилось само, как случилось в Лагерном саду с шишкой: сначала одно движение, потом другое, потом уже игра, и она уже не могла остановиться, потому что игра была слишком хороша. Она вдруг поняла, что ей нравится не получать подарки, а просить их. Видеть, как он слушает её просьбу. Как он чуть наклоняет голову, как складка у его рта становится глубже. Как через день — не раньше и не позже, через день, — рассыльный с галуном приносит то, о чём она обронила одно слово. Это было как ответ на вопрос. Как результат опыта. Как голос, поданный за неё, — она не могла голосовать за эсеров, но могла голосовать вот так: просьбой, на которую он отвечал.

В лавке у китайца на Базарной площади, в задней комнате, где висели клетки с птицами, она увидела канарейку. Маленькую, ярко-жёлтую, с чёрной шапочкой, которая скакала с жёрдочки на жёрдочку и пела, — пела так, что в холодной лавке, пропахшей рыбой и пряностями,

становилось тепло. Китаец просил двадцать рублей. Лена постояла у клетки, послушала. Не купила. Вечером, в «Европе», за ужином, сказала Гомаровскому, между прочим, глядя в бокал: «У китайца на Базаре есть канарейка. Поёт, как в Петербурге». Он ничего не ответил. Через день канарейка висела у неё в мезонине, у окна, в той самой клетке, которую она купила неделю назад, ещё не зная зачем. Рассыльный принёс её в другой клетке, медной, с куполом, но Лена пересадила птицу в свою. Ей хотелось, чтобы что-то в этом было её.

Через неделю она пожаловалась, что веер, который она купила к бальному платью, некрасивый: перья облезли, и ручка из дешёвой кости. Бального платья у неё не было. Бала тоже не было и не предвиделось: какие балы в ноябре семнадцатого года, когда в банках нет денег, а Москва ещё дымится. Веер был не облезлый. Через день рассыльный принёс второй — из слоновой кости, резной, с гравированными журавлями и с шёлковым кружевом, тонким, как паутина. Лена раскрыла его, обмахнулась перед маминым зеркалом и положила в ящик комода, рядом с первым. Ни тот, ни другой ей не были нужны.

Ещё через неделю, лёжа в номере четырнадцатом, она сказала, глядя в потолок с отбитым листом, что в доме на горе скучно по вечерам, когда папы нет, а папы нет никогда. Что тихо, как в склепе. Что Фёкла молится, а больше никого. Через два дня к калитке подъехали сани, и двое грузчиков внесли в сени огромный ящик, а из ящика — граммофон. Настоящий, немецкий, с ореховым корпусом, с огромной медной трубой, раскрашенной изнутри цветами, как раструб диковинного цветка, и с пачкой пластинок в бумажных конвертах: Вяльцева, Плевицкая, Шаляпин, «Пупсик», «Шумел камыш», «Ехали на тройке с бубенцами». Фёкла смотрела на трубу из-за занавески, крестилась и говорила, что в этой дудке сидит бес.

Лена ни разу его не завела.

Граммофон стоял в углу столовой, огромный, нелепый, с медной трубой, разинутой в потолок, и молчал. Отец, зайдя однажды на час переодеться, посмотрел на него, спросил «откуда это?», услышал «одолжили знакомые, они уезжают в Харбин», — и не стал спрашивать дальше. Пластинки лежали в конвертах на крышке, нераспечатанные.

Ей не нужен был граммофон. Ей не нужен был второй веер. Канарейка ей, пожалуй, была нужна — она полюбила её в первый же вечер, — но и её она могла купить сама за двадцать рублей. Ей было нужно другое: увидеть, что он даст. Что он слышит каждое слово. Что одно её слово — «скучно», «некрасивый», «поёт» — становится вещью, которую приносят к её калитке. Это была власть. Та самая, которую она потеряла в библиотеке и в ночь на двадцать пятое, — потеряла в постели, а нашла здесь, в просьбах. В постели вёл он. Здесь вела она.

Гомаровский давал всё. Не торгуясь, не спрашивая, не удивляясь. И смеялся.

Однажды, в «Европе», когда она разворачивала только что принесённый веер и разглядывала гравированных журавлей, он сидел напротив, с сигарой, и смотрел на неё с тем откровенным удовольствием, с каким смотрел на неё в Лагерном саду, когда она наклонялась за шишкой. Потом сказал:

— Видите, мадемуазель, я был прав. Ещё в июне, в купальне. Право — это сила. Вы требуете — я исполняю. Никакой закон не заставил бы меня покупать вам граммофон. — Он выпустил дым. — Кто из нас сильнее?

— Я, — сказала Лена, не поднимая глаз от журавлей.

Он засмеялся. Негромко, искренне, с удовольствием.

— Конечно, — сказал он. — Конечно, вы.

Он не возражал. Он был уверен, что выиграл он. Он платил, она брала, — всё шло так, как он задумал ещё на мостках купальни, когда смотрел на неё, как на вещь, которую решил купить, и прикидывал цену. А она была уверена, что выиграла она. Он исполнял, она требовала, — всё шло так, как она хотела. Они сидели друг против друга за столиком в ресторане «Европы», при свечах, и каждый был уверен в своей победе, и каждый смотрел на другого с нежностью победителя.

Было и ещё одно, чего она не говорила ему и не записывала в тетрадь. Это кокетство, эти просьбы, это его лицо, когда он слушал её «скучно» или «некрасивый», — всё это было ей приятнее, чем то, что происходило потом за аркой в номере четырнадцатом. Гораздо приятнее. В ноябре она была с ним всего трижды — в начале месяца, в мезонине и ещё раз, в самом конце, — и всякий раз это было лишь продолжением игры, а не её целью. Целью было другое: смотреть, как он смотрит. Просить. Ждать, как он ждёт.

Он, кажется, это понимал. Однажды, провожая её до саней, он сказал, не к месту, будто продолжая какой-то разговор с самим собой:

— Вам больше нравится, когда я прошу, чем когда беру. Это очень… — он поискал слово, — очень по-женски. И очень редко. Обычно бывает наоборот.

Она не ответила. Села в сани, закуталась в медвежью полость, в котиковую шубку, в горностаевый воротник. Кучер тронул. Она обернулась только на углу — он ещё стоял у подъезда «Европы», в свете фонаря, с непокрытой головой, на морозе.

Фёкла, увидев её в первый раз в котиковой шубке, долго молчала. Потом сказала, принимая шубку в сенях и встряхивая с неё снег:

— Барыня-то, бывало, тоже… Каждый день новое. Из лавок прямо несли. — И, спохватившись, добавила: — Ничего, барышня. Носи. Тепло.

9.5. Список № 3

Выборы в Учредительное собрание назначили на двенадцатое, тринадцатое и четырнадцатое ноября — воскресенье, понедельник и вторник. Три дня.

Город готовился к ним полгода, с июля, с Положения о выборах, с «внеочередного вторника» у Кошеваровой, с телеграмм Керенскому. Керенского больше не было — он исчез, никто не знал куда, — а выборы остались. Совнарком не отменил их. Ленин, говорили, сомневался, но не решился. И теперь вся Россия, первый раз за тысячу лет, шла голосовать — все, мужчины и женщины, грамотные и неграмотные, от двадцати лет, а солдаты — от восемнадцати, — за собрание, которое решит, как ей жить.

Участки открыли в городских училищах, в управе, в Общественном собрании, в университете. Морозы стояли под двадцать пять. Снег скрипел. Над Томском висело низкое белое небо, и солнце в нём было маленькое и красное, как облатка.

Лена стояла у Алексеевского училища на Духовской, у того же участка, где стояла первого октября на выборах в думу. В котиковой шубке, в валенках, с пачкой эсеровских листовок, отпечатанных на «Ремингтоне» губкома. Список номер два. Партия социалистов-революционеров. Вся власть Учредительному собранию. Земля — народу. Она раздавала листовки с восьми утра, и пальцы в перчатках деревенели, и она дышала на них, и раздавала снова.

В десяти шагах от неё, у другой стороны того же крыльца, стоял отец.

Он пришёл в восемь, как и она. В своём старом пальто с белой повязкой ревкома на рукаве, в шапке-пирожке, в очках, которые на морозе запотевали, и он снимал их и протирал, и надевал снова. С пачкой листовок. Список номер три. Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). Вся власть Советам. Мир — народам. Земля — крестьянам. Хлеб — голодным.

Они увидели друг друга сразу. Отец кивнул. Лена кивнула. И больше они не разговаривали.

Они раздавали листовки молча, у одной двери, в одни и те же руки. Бабы в платках, мастеровые, чиновники, старики, солдаты подходили к крыльцу, и сначала им совала листовку Лена — номер два, — а через три шага отец — номер три. Некоторые брали обе. Некоторые — ни одной. Солдаты брали обе и сворачивали из них самокрутки, потому что табаку по-прежнему не было, а бумага была одинаково хороша, что эсеровская, что большевистская. Одна старуха, взяв листовку у Лены, а потом у отца, остановилась, посмотрела на одного, на другую, и сказала: «Батюшки, да вы ж похожи. Отец с дочкой, что ли?» Отец сказал: «Да».

Лена ничего не сказала. Старуха покачала головой и пошла голосовать, сжимая обе листовки в рукавице.

Около полудня отец подошёл к ней.

Он постоял рядом, молча, протирая очки. Потом полез в карман пальто, достал свёрток в газетной бумаге — газета была большевистская, «Голос свободы», — развернул. Там был бутерброд: два куска чёрного хлеба и между ними тонкий ломтик сала. Он разломил его пополам — неровно, большая половина вышла с салом, меньшая почти без, — и протянул ей большую.

Лена взяла.

Они стояли у крыльца Алексеевского училища, на морозе, и жевали хлеб с салом, глядя в разные стороны. Ни один не сказал ни слова. Вокруг шли люди голосовать, скрипел снег, кто-то кричал «да здравствует Учредительное», кто-то — «вся власть Советам», красное солнце висело над белой крышей училища.

— Я прочла твоего Ленина, — сказала Лена, доев.

Отец обернулся к ней так быстро, что очки чуть не слетели.

— Ну? — Лицо у него осветилось. — Ну и как?

— Мах честнее, — сказала Лена.

Отец перестал улыбаться.

Он стоял и смотрел на неё. Потом открыл рот, — она видела, что он хочет спорить, хочет объяснить, что Мах — идеалист, что ощущения — это отражение объективной реальности, что без материализма нет науки, что Ильич… — и закрыл рот. Посмотрел на свои часы. На толпу у крыльца. На пачку листовок в руке.

— Потом поговорим, — сказал он. — Обязательно. Сейчас некогда.

И вернулся на свою сторону крыльца.

Потом они так и не поговорили.

Город голосовал три дня, и Лена три дня видела, как он голосует.

Дамский комитет Зинаиды Павловны Кошеваровой пришёл голосовать в первый день, в полном составе, торжественно, в шубах поверх белых платьев, с красными лентами на шубах, — и шёл к урне так, как, наверное, когда-то шли к первому причастию: медленно, благоговейно, со строгими лицами. Зинаида Павловна у самой урны остановилась, поднесла бюллетень к лорнету, перечитала, перекрестилась — она была кадетка, но крестилась, — и опустила. И заплакала. И, выйдя на крыльцо, сказала Лене, утирая глаза: «Душенька, я дожила. Я сорок лет ждала. Мой покойный муж говорил, что женщинам голосовать — это как курице петь петухом. А я проголосовала. И не за кадетов, душенька, я вам скажу, — она понизила голос, — за народных социалистов. Там Потанин. Он такой милый».

Генеральша Перфильева пришла пешком — извозчиков не было, все сани были заняты, — от Солдатской улицы до Духовской, почти две версты по морозу, в своём лиловом шёлке под енотовой шубой, опираясь на палку, и, когда дошла, долго не могла отдышаться на крыльце. Ей поднесли стул. Она отказалась. Сказала, что голосовать сидя неприлично. Проголосовала стоя и упала в обморок у урны. Её откачали нашатырём, который Лена, по медицинской привычке, всегда носила в сумочке.

Жена губернского комиссара, молоденькая, голосовала не так, как муж, — Лена знала это, потому что она сама шёпотом рассказала ей на крыльце, краснея до слёз, — и потом весь день ходила по городу с таким лицом, будто совершила убийство, и всё боялась, что муж узнает, хотя муж узнать не мог: голосование было тайное. «А вдруг по почерку?» — спрашивала она. «Там нет почерка, — объясняла Лена. — Вы просто опускаете бюллетень». — «А вдруг по лицу?»

На второй день, в понедельник, пришла голосовать Фёкла.

Она долго собиралась. С утра надела праздничную юбку, тёмную, в мелкий цветочек, чистый платок, валенки, новый тулупчик, который ей подарил отец на прошлое Рождество, — и стояла в сенях, не решаясь выйти. Потом позвала Лену.

— Барышня, — сказала она шёпотом, хотя никого больше в доме не было. — Ты скажи. За кого?

— За список номер два, Фёкла. За эсеров. Земля и воля.

Фёкла кивнула. Подумала.

— А отец?

— Отец — за номер три. За большевиков.

Фёкла снова кивнула. Помолчала. Потом надела рукавицы и пошла.

Лена видела её потом у Алексеевского училища. Фёкла подошла к крыльцу, взяла листовку у Лены — номер два, — потом у отца — номер три, — постояла, посмотрела на обоих, перекрестилась и пошла внутрь. Через десять минут вышла. Лицо у неё было торжественное и непроницаемое, как у иконы.

— Ну? — спросила Лена. — За кого?

— Тайное, барышня, — строго сказала Фёкла. — Сами сказывали. Голосование тайное.

И пошла домой, не оглядываясь, и отец смотрел ей вслед и смеялся в бороду — впервые за день.

Лена не голосовала. Ей было девятнадцать. Двадцать ей будет двадцать третьего февраля, через три месяца, когда Учредительное собрание уже соберётся и решит, как жить России, — за неё, без неё. Она стояла у крыльца три дня, с утра до вечера, на морозе, в котиковой шубке, раздавала листовки за партию матери, за партию, в которой у неё был билет номер четыреста двенадцать, — и голосовать за неё не могла. Конопатый солдат с гармонью из Ботанического сада, которому было восемнадцать, мог. Фёкла, которой было семьдесят и которая не умела читать, могла. Генеральша, упавшая в обморок у урны, могла. Она — нет.

На третий день, к вечеру, в морозных сумерках, у крыльца появился Гомаровский. На своих санях, с рыжим жеребцом, в бобрах. Он остановил сани у крыльца, вышел, взял у Лены листовку — номер два — и у отца листовку — номер три. Поклонился обоим. Отец посмотрел на него с недоумением: он не знал, кто это. Гомаровский вошёл в училище и через несколько минут вышел. Сел в сани. Проезжая мимо Лены, чуть приподнял шапку.

За кого он голосовал, она так и не узнала. Она подумала, что он, может быть, вообще не голосовал, — просто вошёл, постоял внутри и вышел, чтобы посмотреть на неё ещё раз.

Итоги подсчитывали неделю. По всей губернии эсеры получили восемьдесят пять процентов голосов. Большевики — восемь. Кадеты — три. Это было торжество. В эсеровском губкоме над бакалейной лавкой на Магистратской пели «Марсельезу» и пили чай с сахаром, который кто-то принёс с собой. Марья Павловна стояла у портрета Брешко-Брешковской с газетой в руках, и по её тёмному, сухому лицу текли слёзы, как текли второго марта на трибуне политических. «Народ сказал своё слово, Лена, — говорила она. — Восемьдесят пять. Восемьдесят пять! Это — мы. Это — ваша мама. Это — земля и воля. Это — то, за что мы сорок лет…»

В самом городе было иначе: впереди кадеты, двадцать девять процентов, за ними большевики, двадцать три, потом эсеры и народные социалисты. Город голосовал за порядок и за перемены одновременно, как всегда голосуют города.

А в гарнизоне — двенадцать тысяч солдат — большевики получили шестьдесят девять процентов.

Отец, узнав цифры, был спокоен. Совершенно спокоен. Лена ждала, что он расстроится — восемь процентов по губернии против восьмидесяти пяти, — а он пил чай за полночь в столовой, под медной трубой граммофона, и улыбался.

— Восемьдесят пять — это мужики, — сказал он. — Мужики в деревнях, которые не знают ничего, кроме слова «земля». Им сказали: эсеры дадут землю. Они проголосовали. А

землю им даст декрет. Наш декрет. Уже дал. И когда они это поймут… — Он отпил чай. — А шестьдесят девять — это гарнизон. Двенадцать тысяч штыков в Томске. Вот где власть, Леночка. Не в бюллетенях.

Гомаровский сказал ей почти то же самое, только смешнее. Он сказал это в «Европе», в последний вечер ноября, разглядывая на свет бокал с шампанским:

— Восемьдесят пять процентов — это голоса, мадемуазель. Шестьдесят девять процентов — это винтовки. — Он помолчал. — Угадайте, что весит больше.

Лена не стала угадывать. Она подумала, что отец и Гомаровский, никогда не видевшие друг друга, кроме того раза у крыльца, когда отец не знал, кто перед ним, — что они думают одинаково. Что они оба знают что-то такое, чего не знают Марья Павловна, Кошеварова, генеральша, Фёкла и восемьдесят пять процентов губернии. И что это знание у обоих одно: право — это сила.

9.6. Канарейка

В конце ноября город одичал.

Это слово употребила «Сибирская жизнь», снова выходившая с начала месяца — ревком разрешил её после недели закрытия, «под ответственность редактора», — и это слово было точным. Хлеба не хватало. Муки на складах оставалось на две недели. Карточки не отоваривались. По ночам на улицах грабили — люди в солдатских шинелях, с винтовками, останавливали прохожих и снимали шубы, валенки, шапки. Милиция Очумелова ходила по двое, а ночью не ходила вовсе.

И начались самосуды.

У мучной лавки на Базарной площади толпа поймала шестнадцатилетнего подростка, который украл фунт муки — один фунт, в бумажном кульке, — и чуть не убила. Его били ногами, палками, кирпичом, всей очередью, и бабы били тоже. Его отбили двое солдат — не милиция, просто солдаты, проходившие мимо, — и принесли в клинику на руках. Лена зашивала ему голову в приёмном покое. Скальп был рассечён в трёх местах до кости, левый глаз заплыл, два зуба выбиты, рёбра — она прощупала — сломаны справа, два или три. Мальчишка не плакал. Он лежал на столе, смотрел на неё одним глазом и говорил, что мать больная, а сестрёнки маленькие, и что кулёк он уронил, и мука рассыпалась на снег, и он так и не донёс. Лена шила, и руки у неё не дрожали.

Через три дня ту же толпу — или другую, но такую же — едва удержали, когда она пыталась растерзать комиссара милиции, обвинённого в том, что он укрывает спекулянтов. Его спас Очумелов: вытащил через окно участка и спрятал у себя на квартире, в чулане, под бельём. Очумелов потом рассказывал об этом всему городу как о подвиге революционной милиции, а комиссара за неделю до того сам называл «контрой».

А в последнюю неделю ноября солдаты разгромили пивоваренный завод Гилевой на Басандайке.

Говорили потом, что всё началось с того, что кто-то из караульной роты прослышал, будто на заводе спрятаны запасы спирта для спекулянтов. Караул пошёл проверять. Спирта не нашли, но нашли пиво — в чанах, в бочках, в погребах. И через час вся рота, а за ней ещё две, — человек четыреста, — была на заводе. Вышибали днища у бочек прикладами. Пили из горстей, из шапок, из сапог, ложились на пол и пили из луж. Залезали в бродильные чаны и пили там, по пояс в пиве, и двое утонули в чане, — их нашли только утром, когда пиво спустили. Кто-то поджёг солодовню. Кто-то полез в котельную и обварился паром.

В клинику везли всю ночь. Отравленных — не пивом, пивом не отравишься, а тем, что нашли в заводской лаборатории и выпили, приняв за спирт: денатуратом, уксусной эссенцией, какой-то кислотой. Обваренных. Избитых в драке. Двоих утопленников — их привезли под утро, синих, раздутых, пахнущих пивом. Лена работала сутки. Промывала желудки. Делала уколы камфары. Перевязывала ожоги — пузыри, лопнувшие пузыри, мясо. Фельдшер Кузь-

мич, старик, сорок лет в больнице, работал рядом с ней и приговаривал, подавая зонд: «Ну вот, ну вот, свобода. Пей, братец, свобода. Пиво народное, бесплатное. А желудок у тебя, братец, буржуйский, привередливый, — не принимает». И солдаты, корчась на носилках, смеялись сквозь рвоту.

Под утро, в седьмом часу, когда стало тише, Лену позвали в приёмный покой. Там кто-то её спрашивал.

Это был Грушницкий.

Он стоял у окна, в шинели без погон — погоны были спороты, на плечах темнели невыгоревшие полосы, — без шашки, без портупеи, без фуражки, в солдатской папахе. Бледный, небритый, со шрамом, ставшим совсем белым на осунувшемся лице. Он похудел так, что шинель висела на нём, как на вешалке. Увидев Лену — в окровавленном халате, с закатанными рукавами, с запавшими от бессонной ночи глазами, — он сделал шаг к ней и остановился.

— Мадемуазель Трофимова, — сказал он. — Простите. Я знаю, вы заняты. Я на минуту.

— Что случилось?

— Ничего. — Он помолчал. — Я пришёл проститься.

Лена вспомнила июнь. Калитку. «Я еду на фронт. Искупать кровью позор тыла». Портупею, шашку, расстёгнутую гимнастёрку. Она чуть не улыбнулась. Но не улыбнулась, потому что посмотрела ему в лицо.

— Меня из полка выкинули, — сказал Грушницкий просто, без позы. — Солдатский комитет. Постановили — корниловец, контрреволюционер, лишить звания, погоны сорвать. Сорвали. — Он тронул плечо. — Сам сорвал, чтобы они не рвали. Пока не тронули. Но рябой этот… вы его, может, помните… он мне на прощание сказал, что они меня найдут. Что в Томске мне не жить.

— Куда же вы?

— Не знаю. На Дон, может быть, к Каледину. Там, говорят, собирают офицеров. Или в Харбин. Или в Омск. — Он пожал плечами. — Денег нет. Документов нет. После Рождества, может быть. Когда найду денег.

Он помолчал. Потом посмотрел на неё прямо, впервые, кажется, за все полгода, — не на губы, не на шею, не на грудь, а в глаза.

— Я видел вас, — сказал он тихо. — С ним. На санях. На прошлой неделе, у «Европы». В котиковой шубке. Он вас покупает, Лена. Вы этого не видите, но я вижу. Я ничего не могу. Я никто теперь. Но я хотел вам сказать. Пока могу.

Лена смотрела на него.

И засмеялась.

Она сама не знала, отчего. Не зло, не презрительно, — устало. Сутки на ногах, пиво, денатурат, утопленники, обваренные, мальчишка с проломленной головой, — и вот Грушницкий без погон, в солдатской папахе, в шесть утра, в приёмном покое, говорит ей, что её покупают. Как будто она не знает. Как будто это важно. Как будто это хоть что-нибудь значит, когда в чане с пивом тонут люди.

— Спасибо, прапорщик, — сказала она, отсмеявшись. — Вы очень добры.

Он смотрел на неё. Он, кажется, ждал чего угодно — гнева, слёз, пощёчины, — но не этого смеха. Лицо у него не изменилось. Только что-то в глазах погасло, как гаснет лампа, когда в ней кончается керосин: не сразу, а медленно, с последним коротким вздохом пламени.

— Да, — сказал он. — Конечно.

Он надел папаху. Поклонился — коротко, по-военному, хотя был уже не военный. И вышел.

Лена постояла у окна приёмного покоя, глядя, как он идёт через больничный двор по скрипящему снегу, в своей шинели без погон, сутулясь, — мимо конюшен, где в сентябре ночевали студенты, мимо мертвецкой, к воротам. У ворот он не обернулся.

Её позвали — привезли ещё одного обваренного. Она пошла.

Двадцать восьмого ноября пришла телеграмма из Петрограда: Совнарком объявил конституционно-демократическую партию «партией врагов народа», её руководителей — подлежащими аресту. В Томске это пока была только телеграмма: ревком никого не арестовывал, дума заседала, губернский исполком издавал приказы. Но кадеты притихли.

Нехлюдов, член кадетской партии, говорят, в тот же вечер спрятал свой партийный билет между страниц Евангелия, на том месте, где «не судите, да не судимы будете», и на следующий день в дамском комитете Кошеваровой рассказывал со слезами, что всегда был толстовцем, всегда стоял вне партий и вне политики, что партия кадетов — это было недоразумение, ошибка, слабость, и что он кается. Дамы утешали его и поили валерьянкой.

Последнюю ночь ноября Лена провела дома.

Гомаровский ушёл под утро, ещё затемно, через калитку, мимо Фёклиной занавески. Это был третий раз за месяц — третий и последний в ноябре, — и далёкий колокол прозвучал снова, чуть ближе, чем в прошлый раз, чуть отчётливее. Как будто церковь, в которой звонят, стала на одну улицу ближе. Она не записала этого в тетрадь. Тетрадь лежала в ящике стола, закрытая, с вопросительным знаком на последней странице.

Отец был в ревкоме. Губернский съезд Советов открывался через неделю, и там решалось, кто будет управлять губернией.

Лена стояла у окна мезонина, в шёлковом халате, босиком, — пол был ледяной, но ей не хотелось обуваться, — и смотрела на город.

За окном был мороз, градусов под тридцать. Звёзды — частые, мелкие, колючие, низкие. Над горой, над Почтамтской, над Болотом, над Ушайкой, над Вознесенским кладбищем, где под снегом стояла мраморная чайка, — тьма. Свет экономили по-прежнему. Только кое-где, в редких окнах, горели свечи, и на Почтамтской, у губернаторского дома, где заседал ревком, светилось несколько окон, жёлтых, тёплых, — в одном из них, наверное, отец. И в другом конце Почтамтской, у «Европы», тоже светилось окно — угловое, на втором этаже.

У окна мезонина, на крюке, висела клетка.

Канарейка спала. Лена накрыла её на ночь тёмным платком, как учил китаец на Базаре, — чтобы не мёрзла и не пугалась темноты. Под платком было тихо. Только иногда, во сне, птица шевелилась — Лена слышала, как шуршат перья, как скребут по жёрдочке крошечные коготки. Маленькая, жёлтая, ярко-жёлтая, с чёрной шапочкой. Купленная по прихоти, за одно слово, сказанное в ресторане между двумя глотками шампанского. Она пела по утрам так, что в мезонине становилось тепло.

Лена стояла у окна и слушала, как канарейка шевелится под платком.

Конец девятой главы.



Глава 10. Чрезвычайный съезд

…и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

Символ веры

10.1. Резолюция

Морозы в декабре стояли такие, каких старики не помнили с девяносто третьего года.

Тридцать пять, тридцать восемь, сорок. Воздух звенел. Дым из труб не поднимался столбом, а стлался по крышам, тяжёлый, сизый, и город по утрам тонул в нём, как в тумане. Птицы замерзали на лету и падали на снег, и мальчишки подбирали их и отогревали за пазухой. Светало в девятом часу, темнело в четвёртом. Свет экономили по-прежнему, и в четыре часа дня Томск погружался в синюю, морозную, звёздную тьму, в которой скрипели полозья, лаяли собаки и изредка, вдалеке, хлопал выстрел.

Второго декабря Россия заключила перемирие с Германией.

Отец принёс телеграмму вечером, редкий вечер, когда он пришёл домой ужинать. Прочитал её за столом вслух, медленно, раздельно, как когда-то Великопольский читал с тумбы телеграмму об отречении. Перемирие на всём фронте, от Балтики до Чёрного моря. Прекращение огня. Переговоры в Брест-Литовске.

— Мир, Леночка, — сказал он и снял очки. — Мир. Как обещали. Три года, три с половиной года — и вот. Не Керенский, не Милюков, не Корнилов. Мы.

Фёкла, подававшая щи, поставила миску на стол, перекрестилась и заплакала.

— Может, мужики вернутся, — сказала она, утирая глаза фартуком. — Племянник мой, Ванятка, в Галиции. Может, вернётся.

Лена смотрела на отца. Он сидел над телеграммой, без очков, и лицо у него было такое, какого она не видела у него с марта: тихое, светлое, почти детское. Он верил в то, что говорил. Он двадцать лет ждал мира и революции, и вот — мир. Ей захотелось обнять его. И она не обняла, потому что вспомнила бабу из Барабинска, которая спрашивала, когда вернут мужика, — и подумала, что баба, может быть, теперь и дождётся. И что это сделали они, отец и его партия, а не эсеры, не Учредительное собрание, не Сибирская дума, которой она так верила.

Это было неприятное, холодное понимание, и она отложила его, как откладывала всё неприятное в этот год: на потом.

Шестого декабря, в среду, в университете была студенческая сходка.

Её созвали инициативной группой в физическом корпусе, в той самой аудитории, где в марте собиралась студенческая милиция и раздавала белые повязки. Повод был один: Учредительное собрание. Его назначили на пятое января, депутатов уже выбрали — от Томской губернии двенадцать человек, одиннадцать эсеров, — а из Петрограда шли слухи, что Совнарком собирание собрания затягивает, что кадетских депутатов арестовывают, что Ленин говорит о «буржуазном парламентаризме» и что собрание разгонят, едва оно откроется. Студенты хотели сказать своё слово.

Сказали. В аудитории было человек двести; резолюцию подписали сто семьдесят три. Резолюция была короткая и резкая: студенчество Томского университета считает Учредительное собрание единственным законным выразителем воли народа и всякое посягательство на него — преступлением против революции; студенчество готово защищать собрание всеми доступными средствами.

Лена подписала одной из первых, «Ватерманом», полным именем: Е. П. Трофимова, мед. ф-т, 3 курс. Рядом, через строчку, подписал Великопольский — крупно, размашисто, с завитком, как подписывают на тумбе. Шульц долго мялся у стола, читал резолюцию, перечитывал, протирал пенсне, говорил, что подписи — это документ, а документ — это всегда опасно, осо-

бенно сейчас, и что отец его, аптекарь, всегда учил ничего не подписывать, не прочитав трижды. Прочитал трижды. Подписал последним, мелко, неразборчиво, с краю.

В углу аудитории, на подоконнике, всю сходку сидел человек в кожаной куртке и папахе. Его никто не знал. Он ничего не говорил, не голосовал, не подписывал. Он смотрел и записывал что-то в маленькую книжку огрызком карандаша. Студенты косились на него, кто-то спросил громко, кто он такой, и он сказал спокойно: «Представитель губкома РСДРП(б). Слежу за настроениями студенчества». И продолжал записывать. Ему не стали мешать: у него на поясе висела кобура.

Через три дня отец положил перед ней на стол лист.

Это была машинописная копия резолюции — Лена узнала шрифт «Ремингтона» эсеровского губкома, на котором сама печатала: копию, видимо, сделали там, а потом кто-то отнёс её в ревком. Под текстом шли фамилии. Сто семьдесят три. Седьмой — её.

Отец ничего не сказал. Он стоял у стола в пальто, с белой повязкой ревкома, и смотрел на неё. И когда наконец заговорил, Лена не узнала его голоса.

Это был не тот голос, которым он читал лекции о белковых телах, — увлечённый, весёлый, путающийся. Не тот, которым он говорил «вода течёт вниз». Не тот, которым он рассказывал ей в детстве о маме. Это был новый голос — сухой, ровный, негромкий, без интонаций, — голос человека, который давно привык, что его слушают, и говорит не для того, чтобы убедить, а для того, чтобы сообщить.

— Я эту бумагу видел, — сказал отец. — В ревкоме. Видели и другие. Твоя фамилия — седьмая. — Он помолчал. — Ты понимаешь, что это значит?

— Что я за Учредительное собрание, — сказала Лена.

— Это значит, что ты в списке. — Отец снял очки, протёр, надел. — Пока это просто список. Подписи под резолюцией. Ничего. Бумага. Но списки, Леночка, имеют свойство… — Он поискал слово. — Пригождаться. Потом.

— Кому?

Он не ответил. Взял лист со стола, сложил вчетверо и убрал во внутренний карман пальто.

— Я его заберу, — сказал он. — Эту копию. Пусть будет у меня.

И ушёл, не поужинав.

Лена сидела в столовой, под медной трубой граммофона, и думала о его голосе. Она знала, где слышала такой. Не у отца — у жандармского ротмистра в гостинице на Почтамтской, в марте, когда она перевязывала ему висок и он сказал «Любопытно». И ещё у Яницкого на лестнице редакции, в июле: «не судом». Голос людей, которые знают, что списки пригождаются.

Седьмого декабря пришла телеграмма из Петрограда: при Совете народных комиссаров учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председатель — Дзержинский.

Отец прочитал её за ужином вслух — в тот вечер он ужинал дома — и, дочитав, сказал задумчиво, с уважением, без всякой иронии:

— Дзержинский. Феликс Эдмундович. Я о нём слышал ещё в девятьсот шестом. Поляк, из дворян. Одиннадцать лет тюрем и каторги. Говорят, кристальный человек. Аскет. Ничего себе. Всё — делу. — Он сложил телеграмму. — Такие нужны. Без таких революция захлебнётся.

Лена посмотрела на Фёклу. Фёкла убирала со стола и не подняла глаз.

10.2. Чрезвычайный съезд

Чрезвычайный общесибирский областной съезд открылся седьмого декабря в здании духовной семинарии, на Соляной площади, в актовом зале, где ещё висели на стенах портреты архиереев.

Зал не топили. Дров не было — семинарские дрова ещё в ноябре реквизировали для госпиталя, — и делегаты сидели в шубах, тулупах, валенках, малахаях, башлыках, а якутский делегат — в оленьей кухлянке мехом наружу, и ему завидовали. Дыхание поднималось над рядами густым паром, и в этом пару, под портретами архиереев, при свечах — электричества не давали, — съезд был похож не на заседание, а на старообрядческое моление в лесном скиту. Чернила в чернильницах замерзали. Лена, секретарь съезда, ведшая протокол главных заседаний, отогревала «Ватерман» дыханием и держала его за пазухой, у тела, между записями.

Делегатов съехалось около ста шестидесяти: эсеры, областники, кооператоры, земцы, представители национальностей, меньшевики. Большевиков почти не было, а те немногие, что пришли, ушли на второй день с заявлением, — так же, как в октябре, только уже без шума: к этому привыкли. Съезд, по сути, решал один вопрос: что делать, если в Петрограде разгонят Учредительное собрание. И решал его так, как решала Сибирь всё в этот год, — с верой в бумагу.

Съезд избрал Временный Сибирский областной совет. Назначил выборы в Сибирское учредительное собрание, — на март, — которое должно было собраться в Томске. Объявил, что Сибирь не признаёт власти Совнаркома и признаёт только власть Всероссийского Учредительного собрания. Провозгласил автономию. Принял постановления о земле, о продовольствии, о войне. Принял приветствие Учредительному собранию. Принял приветствие сибирским солдатам на фронте, которые уже бросали фронт и ехали домой. Принял всё.

Потанина снова вывели под руки.

Он был совсем плох. Он почти ничего не видел и почти ничего не слышал. Его усадили в кресло под портретом митрополита Макария, укутали пледом, поставили у ног жаровню. Он сидел, маленький, белый, в старом сюртуке под пледом, и, когда кто-нибудь говорил особенно громко, поворачивал к говорящему лицо и улыбался. Когда объявили избрание Временного Сибирского областного совета, — правительства Сибири, — его подвели к кафедре, и он, держась за неё обеими руками, долго молчал, а потом сказал несколько слов, которых не расслышал никто, кроме двух молодых людей, державших его под локти. Молодые люди потом передали залу: Григорий Николаевич благословляет. Зал встал и пел «Славное море, священный Байкал». Пели в шубах, при свечах, выдыхая пар. Потанин плакал.

Лена записывала. Правительство Сибири. У этого правительства не было ни солдат — гарнизон голосовал за большевиков, — ни денег — банки стояли пустые, — ни телеграфа — телеграф контролировал ревком. У него не было даже дров для зала, в котором его избрали. Оно было избрано при свечах, в шубах, под портретами архиереев, и благословлено стариком, который не слышал, что его просят благословить. Лена записывала — и любила его, это правительство. Любила, как любят больного ребёнка, у которого нет шансов. Марья Павловна в первом ряду, в енотовой шубе, сидела с лицом, какое было у неё на станции Тайга, когда бабы несли красные флаги из юбок. Счастливым.

После заседаний Лена бежала в «Европу».

Это было новое. В ноябре она отвечала рассыльному «занята». В декабре рассыльный был не нужен. Она шла сама, почти каждый вечер, — из семинарии, по морозу, через площадь, мимо собора, — и поднималась по лестнице «Европы» мимо швейцара, который уже не поднимал на неё глаз, — и стучала в номер четырнадцатый. Не он ждал. Она.

И перед каждым визитом она красилась.

Это началось в конце ноября, после третьего раза, когда далёкий колокол прозвучал ближе. Она поймала себя на том, что, собираясь к нему, стоит перед маминым зеркалом дольше, чем нужно, чтобы заколоть волосы. Что разглядывает губы. Что щиплет щёки, как щиплют деревенские девки перед вечёркой, чтобы зарумянились. А в первую неделю декабря, проходя по Почтамтской мимо парфюмерного отдела у Второва, она зашла внутрь.

В парфюмерном отделе пахло так, как пахнет, наверное, в раю, если рай — магазин: фиалкой, розой, жасмином, мускусом, рисовой пудрой, лавандой, цитроном, ванилью, — всем сразу, и голова от этого кружилась. За стеклом прилавка, на бархате, стояли флаконы и баночки — всё, что ещё оставалось с довоенных завозов, всё, что не раскупили беженцы, всё, что приказчик, щеголеватый молодой человек с напомаженным пробором, называл «последним, мадемуазель, больше не будет никогда». Цены были такие, что Лена засмеялась вслух. И купила почти всё.

Вечером, перед зеркалом в мезонине, при маминой лампе, она разложила покупки на комоде, как раскладывают инструменты перед операцией.

Сначала — лицо. Она умылась холодной водой, растёрлась докрасна, как учил отец, и потом, впервые в жизни, взяла из фарфоровой баночки с надписью «Брокаръ и Ко. Кольдкремъ» — твёрдый знак на баночке ещё был, довоенный, — немного белого, прохладного, пахнущего розовым маслом крема и втёрла в кожу лба, щёк, подбородка. Медичка отметила: воск, спермацет, миндальное масло, розовая вода, — классический рецепт Галена, почти без изменений с античности. Крем таял от тепла пальцев и впитывался, и кожа становилась мягкой, как у ребёнка.

Потом пудра. Рисовая, «Ралле», в круглой картонной коробке с серебряными буквами и с пуховкой из лебяжьего пуха внутри, — белой, лёгкой, щекочущей. Пудра была телесно-розовая, «рашель», и пахла фиалкой. Лена знала, что раньше, в старину, белились свинцовыми белилами, от которых выпадали зубы и волосы и которые убивали, медленно, за годы; знала, что дешёвые пудры и теперь содержат висмут. Эта была безопасная, на окиси цинка и рисовом крахмале, — она прочла состав на коробке, по-французски, и проверила по памяти фармакопею. Она обмакнула пуховку и легко, едва касаясь, провела по лицу — по лбу, по носу, по скулам, по подбородку, по шее, по ключицам в вырезе платья. Кожа в зеркале стала матовой, ровной, чуть светящейся, как фарфор, и родинка на левой скуле, которую она никогда не замечала, вдруг стала видна, тёмная, маленькая, — как мушка у дам на старинных портретах.

Потом румяна. Сухие, в крошечной плоской серебряной пудренице с зеркальцем в крышке, «Сиу и Ко», цвета «роза»: прессованный розовый порошок, — кармин, медичка знала, краситель из сушёной кошенили, мексиканского червеца, тысячи крошечных насекомых на одну пудреницу, — и тальк. Она нанесла их пальцем, едва-едва, на скулы, повыше, к вискам, и растушевала, — и лицо в зеркале вдруг ожило, проснулось, будто она только что пришла с мороза или только что встала с постели после того, что бывает в постели.

Потом брови. Они у неё были тёмные, густые, сросшиеся к переносице, — она никогда о них не думала, а теперь взяла пинцет из своего хирургического набора, — тот, которым в анатомичке отпрепаровывала нервы, — и выщипнула несколько волосков на переносице, морщась от неожиданно острой боли, и брови разошлись, стали двумя отдельными дугами, и лицо стало открытее и, кажется, удивлённее. Потом провела по ним тонким чёрным карандашом из сурьмы и воска, удлиняя к вискам.

Потом ресницы. Для ресниц приказчик продал ей маленький плоский брусок чёрной туши в жестяной коробочке, с крохотной щёточкой: тушь надо было смочить водой — или, как стыдливо пояснил приказчик, слюной, — растереть щёточкой и наносить на ресницы снизу вверх. Лена смочила водой. Ресницы у неё и так были длинные и тёмные, но после туши стали гуще, тяжелее, и глаза в зеркале стали больше и темнее, и левый, чуть косящий, — кажется, косил теперь чуть сильнее, или ей так показалось, и в этом было что-то тревожное и притягательное.

Потом губы. Помада была в маленьком золочёном футляре-цилиндре, новинка, «по американскому образцу», как сказал приказчик: повернёшь донце — и выдвигается красный столбик, похожий на сургуч. Цвет назывался «Кармен». Тот же кармин, та же кошениль, но с пчелиным воском и касторовым маслом. Лена провела по верхней губе, по нижней, сжала губы,

разжала. Губы стали тёмно-красными, влажными, полными, — вишнёвыми, как бархат того платья, в котором она пришла к нему в ночь на двадцать пятое.

И наконец — духи.

Приказчик показал ей много: «Персидскую сирень» Брокара, сладкую, как варенье; «Любимый букет императрицы» того же Брокара, с которого уже кто-то соскоблил с этикетки слово «императрицы»; «Ралле № 1»; «Кельнскую воду». Она выбрала маленький флакон с притёртой стеклянной пробкой, французский, Герлен, «L'Heure Bleue», — «Синий час», — последний, сказал приказчик, привезли ещё до войны, в тринадцатом году, и никто не брал, потому что дорого. Духи пахли странно: не цветком, а сумерками — гвоздикой, ирисом, ванилью, чем-то пудровым, сладким и печальным одновременно, — тем часом, объяснил приказчик, когда солнце уже село, а ночь ещё не наступила. Лена вынула пробку, коснулась ею за ушами, на шее, под волосами, на тот самый участок у затылка, где в ночь корниловщины лежали его пальцы, — на запястьях, во впадинке между ключицами, — подумала, — и ещё ниже, в ложбинку, под вырез сорочки.

Она посмотрела в зеркало.

Из зеркала на неё смотрела женщина, которую она уже видела однажды — в марте, в первую ночь, когда надела мамины серьги и брошь с александритом на холщовую сорочку. Только теперь эта женщина была не случайной, а сделанной. Она сделала её сама, вот этими руками, тем же пинцетом, каким препарировала нервы, по тем же законам, по каким препарировала: зная, что где лежит, что как устроено, на что как подействует. Матовая кожа, на которой ярче светятся глаза. Румянец, похожий на румянец после близости. Губы, похожие на губы после поцелуев. Запах, который он почувствует, когда наклонится к её шее. Всё это было для него. Всё это было приглашением. Она хотела его — впервые хотела, прямо, телом, — и лицо в зеркале говорило это яснее, чем сказала бы она сама.

Ей стало стыдно, и весело, и жарко. Она надела котиковую шубку и пошла.

Фёкла, увидев её в сенях, накрашенную, ахнула и закрестилась. Потом подошла ближе, поднесла свечу к её лицу, долго разглядывала, как разглядывают икону, — губы, ресницы, румяна, — и Лена ждала, что она скажет «срам» или «блудница».

— Барыня тоже, — сказала Фёкла тихо. — Бывало, вечером… перед зеркалом… Румянами, помадой… Только у неё баночки были попроще. Из аптеки. — Она помолчала. — А губы так же. Тёмные.

И ушла за печку.

Отец не заметил. Он видел её накрашенной дважды, оба раза мельком, в дверях, — она уходила, он приходил, — и оба раза сказал только: «Ты куда? На съезд? Поздно не возвращайся», — и не посмотрел на неё. Он смотрел на телеграммы.

Марья Павловна заметила.

Это было на съезде, на третий день, в перерыве. Лена задержалась после вечернего заседания, чтобы дописать протокол, и, торопясь, накрасилась прямо там, в пустой комнате семинарской канцелярии, при свече, перед маленьким зеркальцем в крышке пудреницы. Марья Павловна вошла за протоколом, остановилась в дверях и посмотрела на неё. На губы. На ресницы. На серебряную пудреницу в руке.

Она ничего не сказала. Совсем ничего. Только лицо её, сухое, тёмное, иссечённое морщинами, стало ещё суше и темнее, как будто на него упала тень. Она взяла протокол, повернулась и вышла.

Лена сидела с пудреницей в руке и чувствовала, как горят у неё щёки — под румянами, сквозь пудру, по-настоящему. Потом закрыла пудреницу и пошла в «Европу».

В «Европе» колокол звучал теперь почти каждый раз.

Не сразу, не всегда одинаково — то дальше, то ближе, то глуше, то отчётливее, — но почти каждый раз. Будто церковь, в которой звонили, с каждым вечером переходила на одну

улицу ближе и вот уже стояла почти рядом, за углом. Лена не наблюдала больше. Она не записывала. Тетрадь лежала в ящике стола, закрытая, с вопросительным знаком на последней странице, — и она её не открывала. Она закрывала глаза и переставала смотреть, и тело делало то, чего хотело, и тело хотело теперь то же, что она, — или она хотела того же, что тело, — она уже не знала, кто из них кого слушает.

Она больше не просила подарков. Не отвечала «занята». Не наклонялась за шишками, не снимала перчатки по одному пальцу, не позировала. Игра кончилась. Она кончилась сама, тихо, незаметно, как кончается снег в апреле: однажды смотришь — а его нет. Кончилась потому, что кончилось сопротивление. Ему не нужно было больше ждать, а ей — заставлять его ждать. Он получал то, чего хотел. Она получала то, чего хотела. Всё было просто.

И скучно.

Она поняла это не сразу. За ужином в ресторане «Европы», между стерлядью и шампанским, он рассказывал ей о петербургских процессах — о графине, отравившей мужа мышьяком, о купце, проигравшем в карты жену и выигравшем её обратно, о прокуроре, который был лыс, — и она поймала себя на том, что не слушает. Что знает, какую фразу он скажет следующей, и с какой складкой у рта, и где сделает паузу перед остротой. Графиню с мышьяком он рассказывал ей в октябре. Купца с женой — в ноябре. Остроты повторялись. Он был остроумен — по-прежнему, — но остроумие у него было как хорошо сшитый костюм: один, хороший, на все случаи.

Ей было интересно только то, что за аркой. А всё, что до неё и после, — ужин, разговор, его рассказы, его складка у рта, — стало чем-то вроде платы. Как плата за билет в ложу, где важен не разговор в антракте, а спектакль.

В ноябре было наоборот.

10.3. Шуба

С прохожих в Томске снимали шубы.

Это началось в конце ноября, а в декабре, когда ударили сорокаградусные морозы, стало обычным, как очереди за хлебом. По вечерам, в темноте, в пятом-шестом часу, когда свет уже погас, а улицы ещё не опустели, на площади Революции, бывшей Новособорной, на Почтамтской, у Думского моста, — люди в солдатских шинелях, с винтовками, по трое, по четверо, останавливали прохожих и снимали с них шубы, дохи, тулупы, бекеши, шапки, валенки. Не били, если отдавали. Если не отдавали — били. Двоих, говорили, убили.

Милиция Очумелова с декабря была вооружена винтовками — по приказу ревкома, — но валенок на всех милиционеров не хватало, и постовые, отстояв смену на сорокаградусном морозе, ходили в участок передавать валенки сменщику. Пост в это время стоял пустой. Об этом знал весь город, и грабители — тоже. Очумелов, отвечая на вопросы «Сибирской жизни», объяснил, что грабят не солдаты, а «переодетые в солдатские шинели контрреволюционные элементы, стремящиеся дискредитировать революционный гарнизон», и что милиция «ведёт энергичный розыск». Розыск шёл на складе отобранных у грабителей шуб — в подвале участка, где их было уже столько, что Очумелов, говорили, по вечерам выбирал себе каждый день новую.

Двенадцатого декабря, во вторник, в шестом часу вечера, Лена шла с Гомаровским из семинарии через площадь.

Было темно. Мороз стоял под сорок. Звёзды висели над собором частые, крупные, колючие, и снег под ногами скрипел так громко, что его, наверное, было слышно на другом конце площади. Фонари не горели. Только в окнах губернаторского дома, через площадь, где заседал ревком, светилось несколько жёлтых квадратов. Лена шла в котиковой шубке, в горностаевом воротнике, в валенках, — накрашенная, под шубкой вишнёвый бархат. Гомаровский шёл рядом, в бобрах, с тростью. Они шли в «Европу». Он говорил что-то о съезде — что-то

насмешливое, о правительстве, которому не хватает дров, — и она слушала вполуха и думала о том, что будет за аркой.

Их остановили посреди площади, у засыпанного снегом фонтана.

Четверо. Вышли из темноты, со стороны собора, — в шинелях, в папахах, с винтовками за плечами. Один встал впереди, двое по бокам, четвёртый сзади. Они двигались неторопливо, спокойно, привычно, — так, как, наверное, двигаются люди, делающие это не первый раз за вечер.

— Стоять, — сказал передний. — Шубку, барышня.

Лена узнала его по голосу раньше, чем разглядела лицо. Рябой. Здоровый, широкоплечий, с расстёгнутым на сорокаградусном морозе воротом. Из Лагерного сада. Из офицерского собрания тридцать девятого полка. Из продовольственной комиссии.

— Котиковая, — сказал рябой, разглядывая шубку. — Буржуйская. С горностаем. Скидывай, барышня, — и ступай себе с Богом. И вы, господин хороший, бобра сымайте.

Лена стояла и не двигалась. Ей не было страшно — она удивилась этому потом. Было что-то другое: оцепенение, как во сне, когда видишь, что надвигается, и не можешь пошевелиться.

Гомаровский наклонился к ней. Спокойно. Вполголоса.

— Отдайте, мадемуазель, — сказал он. — Это вещь. Их четверо, у них винтовки. Я куплю вам другую.

И не двинулся.

Он стоял рядом с ней, в бобрах, с тростью в руке, чуть наклонив голову, — так же спокойно, как стоял у камина в номере четырнадцатом, когда она вырвалась от него в ночь на двадцать четвёртое. Он был прав. Совершенно прав. Их четверо, у них винтовки, а у него трость. Шуба — вещь. Жизнь дороже шубы. Он купит ей другую — она знала, что купит, и лучше этой. Всё было разумно. Всё было правильно.

Но он стоял. И Лена видела, что он стоит.

Она медленно подняла руки к горностаевому воротнику, к застёжке.

И тогда из темноты, со стороны собора, кто-то крикнул — высоким, срывающимся, мальчишеским голосом:

— Не сметь! Не сметь её трогать!

Человек бежал к ним через площадь, по скрипящему снегу, проваливаясь в сугробы. Без папахи, в штатском пальто, распахнутом, развевающемся, с непокрытой головой, на которой белели светлые волосы. Он бежал, раскинув руки, как бегут, когда хотят что-то заслонить, — и Лена узнала его, когда он был уже в десяти шагах. По бегу. По этим раскинутым рукам. По тому, как он бежал — не красиво, не картинно, неуклюже, по-детски.

Грушницкий.

Он врезался между нею и рябым, загородил её собой, раскинул руки. Без шашки. Без револьвера. Без ничего.

— Не сметь, — повторил он, задыхаясь. — Это… это дама. Уходите.

Рябой отступил на шаг. Посмотрел на него. И вдруг, разглядев в темноте лицо, засмеялся — коротко, удовлетворённо, как смеются, увидев давно ожидаемое.

— А-а, — сказал он. — Корниловец. Ваше благородие. Без погон теперь. — Он сплюнул в снег. — Вот где встретились. Я ж тебе говорил — в Томске не жить.

— Уходите, — сказал Грушницкий. — Уходите, и я…

Он не договорил.

Лена не видела, что именно произошло. Было темно. Рябой сделал короткое движение — снизу, от пояса, — и Грушницкий вдруг перестал говорить, качнулся, как будто его толкнули в грудь, и стал медленно оседать в снег. Что-то блеснуло в руке у рябого — нож или штык, отомкнутый от винтовки. Лена потом так и не могла вспомнить, нож или штык. Только блеск, короткий, в свете звёзд.

— Тикаем, — сказал кто-то из солдат.

Рябой рванул с Лены шубку — застёжка, которую она уже расстегнула, подалась, — горностаевый воротник скользнул по её шее, по щеке, по уху, — и шубка исчезла, и четверо исчезли с ней, в темноте, со стороны собора, бегом, по скрипящему снегу, и снег скрипел всё тише, тише.

Лена упала на колени рядом с Грушницким.

Она была в одном вишнёвом бархатном платье, на сорокаградусном морозе, посреди тёмной площади, на коленях в снегу, — и не чувствовала холода. Руки сами делали то, чему их учили. Расстегнуть пальто. Найти рану. Рана была в груди, слева, под рёбрами, — небольшая, узкая, колотая, — и из неё толчками, в ритме сердца, шла тёмная кровь, горячая, дымящаяся на морозе. Лена зажала её ладонью. Потом обеими ладонями. Кровь шла между пальцев. Она знала, что это значит. Сердце или крупный сосуд. Левый желудочек, может быть, или аорта, или лёгочная артерия. Здесь, в снегу, без хирурга, без света, без инструментов, — ничего нельзя было сделать. Она знала это так же точно, как знала таблицу умножения. И держала ладони на ране, и давила, давила изо всех сил, как будто могла удержать кровь силой рук.

Он смотрел на неё.

Лицо у него было белое, как снег вокруг, и шрам на щеке — тот, от гвоздя, который он в июне выдавал за след ножа, — был теперь не виден на этой белизне. Глаза были открыты и смотрели на неё снизу, из снега, — светлые, мальчишеские, удивлённые. Без позы. Совсем без позы. Он не позировал больше ни для кого. Он лежал в снегу посреди площади Революции и смотрел на Лену, и губы у него шевелились.

Она наклонилась ниже, к самым губам.

— Лена, — сказал он. Совсем тихо, одним выдохом, белым паром на морозе.

И всё.

Пар у его губ больше не появлялся. Она держала ладони на ране ещё минуту. Две. Кровь под ладонями перестала толкаться. Остыла. Застыла на морозе. Она убрала руки, и руки были чёрные в свете звёзд, по запястья.

Гомаровский стоял рядом.

Он не двинулся с места за всё это время. Теперь он снял с себя бобровое пальто и накинул ей на плечи, — молча, осторожно, — и придержал, чтобы не упало. И это было всё, что он сделал. Лена потом много раз вспоминала эту минуту: он стоял над ней, в одном пиджаке на сорокаградусном морозе, и держал на ней своё пальто, — и ничего больше. Не наклонился к Грушницкому. Не позвал на помощь. Не побежал за солдатами. Он сделал единственное, что было разумно: укрыл её от мороза, чтобы она не замёрзла. Всё остальное было неразумно и бесполезно, и он этого не делал.

Потом прибежали люди — из губернаторского дома, от ревкома, — с фонарями, кто-то закричал, кто-то побежал за милицией. Пришёл Очумелов, запыхавшись, без валенок, в одних сапогах, и долго стоял над телом, шевеля усами, и наконец сказал: «Переодетые контрреволюционные элементы», — и велел Елдырину составить протокол.

Лену увёз извозчик. Гомаровский усадил её в сани, укутал в своё пальто и медвежью полость, сказал кучеру адрес — не «Европы», а дома на горе, — и остался на площади. Она не помнила, как доехала. Помнила только, что всю дорогу смотрела на свои руки, чёрные в темноте, и не могла их согреть.

Фёкла отмывала ей руки в тазу с тёплой водой, долго, молча, крестясь, и вода в тазу становилась розовой. Потом смывала с лица румяна, пудру, тушь, помаду, и вода становилась серой. Лена сидела на табурете у печки в разорванном вишнёвом платье и смотрела в таз.

Утром рассыльный из «Европы» принёс большую коробку.

В коробке, в папиросной бумаге, лежала новая котиковая шубка. Лучше прежней: мех темнее и глубже, воротник не горностаевый, а соболий, подкладка из лилового шёлка. Без записки.

Лена смотрела на неё долго. Потом закрыла коробку, отнесла её в чулан и положила в мамин сундук, на самое дно, под старые платья.

А из сундука достала мамину шубу. Старую, лисью, вытертую, рыжую, пахнущую нафталином и двадцатью годами, — ту самую, в подкладку которой в августе, после жилищной комиссии, она зашила половину золота. Шуба была тяжёлая. Тяжелее, чем должна была быть. Лена встряхнула её, и в подоле что-то глухо стукнуло — червонцы в холсте.

Она надела её. Шуба была ей велика в плечах и коротка в рукавах, — мама, видно, была ниже ростом и шире в кости, — и пахла чем-то чужим, давним, не нафталином и не лисой, а тем, чем пахнут вещи, которые очень долго лежали в темноте.

С этого дня она ходила в ней.

10.4. Чайка

Пятнадцатого декабря у Думского моста женщины отбили у возчиков муку.

Четыре воза, двести пудов, — их везли с пристани на склад продовольственной комиссии, и у моста через Ушайку обоз остановила толпа баб: солдатки, работницы, жёны мастеровых с Песков и с Болота. Карточки не отоваривались две недели, хлеба не было, дети голодали. Бабы не кричали и не били. Они молча взяли лошадей под уздцы, молча стащили с возов мешки и молча понесли их по льду Ушайки, в разные стороны, — по мешку на двоих, по мешку на троих, — кто к себе, кто к соседям. Возчики стояли и не мешали. Милиционер на мосту — в одних сапогах, валенки он только что отнёс сменщику — смотрел и тоже не мешал.

Лена видела это по дороге из клиники. Она шла в маминой лисьей шубе по Почтамтской и видела, как по белому льду Ушайки, под мостом, бегут бабы с мешками на спинах, — тёмные фигурки на белом, согнутые, торопливые, как муравьи, тащащие соломинки в муравейник. Мука сыпалась из прорех в мешках, и за бабами по льду оставались белые следы, ещё белее снега.

В тот же вечер городской голова Пучков докладывал думе, что муки в городе осталось на десять дней, что «хвосты» у лавок растут, что дума ничего не может сделать, потому что дорога забита эшелонами с фронта, а ревком не даёт вагонов. Дума выслушала и приняла резолюцию.

В ту же ночь горел манеж Общества физического развития на Магистратской — деревянный, старый, где до войны гимназисты занимались гимнастикой, а теперь стояли на постое солдаты. Сгорел до основания. Погибли трое. В клинику везли обожжённых, и Лена работала до утра, накладывая повязки с рыбьим жиром и танином на пузыри, на мокнущее розовое мясо, на обугленные пальцы, — и всё время думала о том, что будет завтра.

Завтра, шестнадцатого декабря, в субботу, хоронили Грушницкого.

Его хоронили на Вознесенском кладбище — не на Преображенском, где хоронили почётных, и не на военном, где лежали офицеры, павшие на фронте, а на Вознесенском, у станции Томск-II, на окраине, за Заисточьем, потому что там было дешевле и потому что мать его, приехавшая из Мариинска, не знала в Томске никого и никуда больше не сумела договориться.

Народу пришло мало. Мать — маленькая, сгорбленная старушка в салопе и шерстяном платке, с красными от мороза и слёз глазами, вдова уездного почтмейстера. Двое офицеров тридцать девятого полка — в штатском, в чужих пальто, с поднятыми воротниками, оглядывающиеся. Священник — молодой, замёрзший, торопливый. Двое могильщиков, которые три дня отогревали землю кострами, как отогревали её в марте Лена и Марья Павловна у чайки. И Лена.

Полковой комитет не пришёл. Полк не прислал ни оркестра, ни салюта, ни венка. Убитый был «корниловец», лишённый звания. В «Сибирской жизни» о нём написали три строчки: «12 декабря на площади Революции грабителями убит бывший прапорщик 39-го полка Груш-

ницкий, пытавшийся воспрепятствовать ограблению гражданки. Ведётся розыск». Гражданку не назвали.

Гроб был простой, сосновый, некрашеный — такой же, подумала Лена, какие стояли в июне на лафетах на похоронах жертв облавы. Крышку открыли перед тем, как опустить, чтобы мать простилась. Лена подошла тоже.

Он лежал в гробу в чужом сюртуке — мать купила на Базаре, — с руками, сложенными на груди, со свечкой в пальцах. Лицо было спокойное, белое, восковое, совсем молодое. Шрам на щеке был виден теперь отчётливо — тонкая белая полоска от виска к скуле, от гвоздя, через который он перелезал в ночь облавы, — тот самый, который он выдавал за след бандитского ножа. Теперь он был без позы. Совсем. Он лежал в сосновом гробу на Вознесенском кладбище, на морозе, никого не изображая, и Лена смотрела на него и думала, что только сейчас видит его по-настоящему — каким он был под всеми перевязями, портупеями и Байронами. Мальчиком. Которого никто не любил всерьёз. И который один из всех бросился через тёмную площадь, раскинув руки, без шашки и без револьвера, — за неё. За девушку, которая смеялась ему в лицо.

Мать плакала тихо, по-старушечьи, вцепившись в край гроба. Лена обняла её за плечи. Старушка подняла на неё красные глаза.

— Вы — та барышня? — спросила она шёпотом. — За которую он?..

— Да, — сказала Лена.

Старушка смотрела на неё долго. Потом сказала:

— Он вас любил. Писал мне. Каждое письмо — про вас. Барышня, медичка, учёная, красавица. Что он женится. Что вы — гордая. — Она помолчала. — Я думала — выдумывает. Он всегда выдумывал. С детства. Про себя — что герой.

— Он и был, — сказала Лена.

Гроб опустили. Могильщики засыпали мёрзлые комья земли. Священник, торопясь, дочитал литию и ушёл греться. Офицеры в штатском постояли и ушли, оглядываясь. Мать увели под руки какие-то знакомые из Мариинска, приехавшие вместе с ней.

Лена осталась у свежего холма.

Он был недалеко от чайки — шагах в пятидесяти, через две ограды. Лена знала это, ещё когда шла за гробом. Отсюда было видно белое мраморное крыло над сугробами.

К ней подошла Марья Павловна.

Она пришла на похороны ради Лены — сама, без приглашения, — и всё время стояла в стороне, у ограды, в своей енотовой шубе, прямая, тёмная, с непокрытой седой головой. Теперь подошла и встала рядом.

— Пойдёмте к ней, — сказала она. — Раз уж мы здесь.

Они пошли к чайке.

Чайка стояла на холме, белая на белом, засыпанная почти по самые крылья, — как в марте. Только не было больше чёрного пятна от костра: его давно засыпало. Марья Павловна смела снег с постамента рукавом. Надпись проступила: «НИНА. АРТИСТКА». Лена положила на постамент еловую ветку и пучок бумажных цветов — красных и белых, купленных у китаянки на Базаре: живых цветов в декабре в Томске не было.

— Маме, — сказала она. — Маме-героине.

Марья Павловна кивнула. Постояла. Потом заговорила, глядя на чайку, — тем ровным, сухим голосом, каким всегда говорила о Кате:

— Она бы гордилась вами, Лена. Вы — секретарь Чрезвычайного съезда. Вы подписали резолюцию. Вы — в партии. Вы делаете то, что она делала. Вы её продолжаете. — Она помолчала. — Она отомщена. Царя нет. Жандармов нет. Сибирь свободна. Учредительное собрание избрано, восемьдесят пять процентов за нас. Через три недели оно соберётся. Всё, за что она… Всё, за что мы…

Лена слушала и не слышала.

Она смотрела не на чайку. Она смотрела через две ограды, на свежий холм, на мёрзлые комья, на маленький деревянный крест, который поставили могильщики, — на кресте химическим карандашом было написано имя и дата, и карандаш на морозе выцвел. Она думала о том, что Марья Павловна так и не спросила, кто он, этот мальчик, и за что он умер. И что если бы Лена сказала, Марья Павловна, наверное, ответила бы: «Корниловец? Офицер? Ну что ж. Жаль, конечно. Но…»

Она думала о его губах, белых, и о белом паре, который перестал появляться.

Она думала о том, что Гомаровский стоял.

Шёл снег. Мелкий, сухой, колючий. Он ложился на чайку, на бумажные цветы, на еловую ветку, на енотовую шубу Марьи Павловны и на лисью шубу Лены — мамину, тяжёлую, с золотом в подоле.

Шестнадцатое декабря. Ни Лена, ни Марья Павловна не знали, что ровно восемнадцать лет назад, шестнадцатого декабря тысяча восемьсот девяносто девятого года, в морозный день, такой же, как этот, Катерина Михайловна Трофимова, урождённая Маслова, — женщина, которой Лена принесла сейчас бумажные цветы, — села в возок к сенатору Вольфу. И что из возка вышла одна.

10.5. Рама

Лена решила проверить его во вторую неделю после похорон.

Она не знала, зачем. Может быть, из-за той минуты на площади, когда он стоял. Может быть, из-за его голоса, — «Я куплю вам другую», — и из-за новой шубы с соболем, лежащей на дне маминого сундука. Может быть, из-за того, что в ноябре, застёгивая запонку, он спросил, зачем такая рама для такой картинки, — и она с тех пор не знала, догадался он или нет. Ей нужно было знать. Не для того, чтобы перестать с ним встречаться: она знала, что не перестанет, тело не перестанет. А для того, чтобы знать, кто он.

Отец ночевал в ревкоме. Она позвала Гомаровского в дом, в мезонин, в субботу вечером. Он пришёл, как приходил теперь — через калитку, мимо Фёклиной занавески, — и Фёкла, как всегда, перекрестилась ему вслед.

В мезонине было тепло: Фёкла натопила печь докрасна. Мамина лампа горела на столе. Канарейка в клетке у окна спала под платком. На столе, рядом с микроскопом и «Ундервудом», лежал серый том Ленина, раскрытый. Над кроватью висело «Утро в сосновом лесу».

— Я спущусь за самоваром, — сказала Лена. — Фёкла уже спит. Подождите.

— Конечно, — сказал Гомаровский и сел в кресло у стола.

Она спустилась. Прошла на кухню, села на табурет у печи, рядом с Фёклиной занавеской. Самовар стоял холодный. Она не стала его ставить. Она сидела и считала.

Минута. Две. Пять.

За занавеской Фёкла не спала — Лена слышала, как она шепчет молитву. Потом молитва стихла, и Фёкла сказала из-за занавески, не выглядывая:

— Чего сидишь, барышня? Самовар-то не ставишь.

— Жду, — сказала Лена.

— Чего?

Лена не ответила. Фёкла помолчала, потом вздохнула, будто поняла.

Десять минут. Двенадцать. Пятнадцать.

Наверху было тихо. Ни скрипа половиц, ни стука, ни шороха. Мезонин был маленький, низкий, и каждый шаг в нём отдавался внизу, на кухне, — Лена знала это с детства, когда отец ходил над головой по ночам. Сейчас над головой не ходили. Не двигали стулья. Не снимали со стены тяжёлую раму.

Она поставила самовар. Подождала, пока закипит. Поднялась наверх с самоваром в руках.

Гомаровский сидел в кресле у стола, где она его оставила, под маминой лампой, нога на ногу, — и читал «Материализм и эмпириокритицизм». Он перелистывал страницы медленно, внимательно, с тем выражением, с каким, наверное, читал в суде показания противной стороны. Медведи висели над кроватью ровно. Лена поставила самовар на стол и, наливая ему чай, встала так, чтобы он не видел, и провела пальцем по верхней планке рамы. Палец был серый. Пыль. Нетронутая, ровная, недельная. Фёкла вытирала в мезонине пыль по субботам, и сегодня была суббота, но раму Фёкла не трогала никогда — Лена сама однажды запретила, давно, ещё в двенадцать лет.

Она вытерла палец о платье и подала ему чашку.

— Любопытно, — сказал Гомаровский, не отрываясь от книги. — Ваш Ленин ругается, как присяжный поверенный, проигрывающий процесс. Знаете, мадемуазель, по моему опыту: когда адвокат начинает называть свидетеля противной стороны лакеем и поповщиной — значит, у него нет доводов по существу, и он работает на присяжных. На публику. — Он перевернул страницу. — Этот ваш Мах, судя по цитатам, человек скучный и честный. А Ленин — нет. Ленин — блестящий. Я бы его нанял.

— Он не мой, — сказала Лена.

— Отцовский, — сказал Гомаровский. Закрыл книгу и положил на стол. Взял чашку. Отпил. И посмотрел на неё — поверх чашки, прямо, спокойно, с той короткой складкой у рта.

— Пятнадцать минут, — сказал он. — Хороший срок. Достаточный.

Лена замерла с чайником в руке.

— Что бы ни было за этой рамой, мадемуазель, — сказал он ровно, тем же голосом, каким говорил о Ленине, — это ваше. Я беру только то, что мне дают.

Он поставил чашку. Не отвёл глаз.

Она стояла посреди мезонина с чайником и не знала, что сказать. Он знал. Или угадал — как угадывал размер её перчаток, как угадал фамилию рябого на ремне в Лагерном саду: по раме, слишком тяжёлой для литографии, по её лицу в ноябре, когда он спросил про раму, по тому, что она ни разу не позволила ему остаться в мезонине одному, — по тому, наконец, откуда у дочери профессора, у которого нет тридцати рублей на бумагу для газеты, деньги на «Ундервуд», микроскоп, велосипед, шляпы с вишнями, вишнёвый бархат, на всё то, что она покупала до него. Он сложил всё это так же, как складывал доказательства по делу. Он знал. И пятнадцать минут сидел один в этой комнате, в двух шагах от рамы, и читал Ленина.

Облегчение, — подумала она. Это облегчение. Он не вор. Он сказал правду в июне: закон для тех, у кого нет силы его не замечать, — но сам он воровать не станет. Он берёт только то, что дают. Он платит. Он всегда платил: галоши, перчатки, шаль, перо, шубку, лист керенок на комоде. Он и её брал так же: не крал, а платил.

Благодарность, — подумала она. Он мог взять. Мог прийти сюда в любую ночь, когда отца нет. Мог сказать Яницкому, ревкому, Очумелову — он знал всех. Не сказал. Не взял.

Страх, — подумала она. Он знает. Теперь он знает то, чего не знает никто, кроме неё. Даже отец. Даже Марья Павловна. Он держит это знание так же, как держит восьмой снимок: на всякий случай.

И было ещё что-то. Четвёртое. Она не сразу узнала его, а когда узнала, ей стало смешно и горько. Разочарование. Его даже это не интересовало. Мамино золото, клад из-под чайки, тайна, которую она хранила девять месяцев, ради которой лгала отцу, из-за которой холодела, когда приходила жилищная комиссия, — ему это было неинтересно. Как неинтересен ему был Грушницкий в снегу. Как неинтересно ему было Учредительное собрание. Он брал только то, что ему давали, а остального не видел.

— Вы не спросите, что там? — сказала она.

— Нет, — сказал Гомаровский. — Зачем? — Он поднялся с кресла, подошёл к ней, взял из её рук чайник, поставил на стол. — Я юрист, мадемуазель. Меня интересует только то, что может стать предметом договора.

И поцеловал её.

То, что было потом, под маминой лампой, под медведями, за которыми лежало мамино золото, — было не похоже ни на что прежнее.

Это был уже не далёкий колокол. Это была волна. Она поднялась откуда-то из самой глубины, медленно, долго, как поднимается весной вода в Томи перед ледоходом, — и Лена чувствовала её приближение и не могла ни остановить её, ни ускорить, — и потом накрыла, вся сразу, с головой, и Лена перестала быть. Перестала быть медичкой, студенткой, секретарём Чрезвычайного съезда, членом партии номер четыреста двенадцать, дочерью, наследницей. Перестала знать латынь. Перестала помнить, где она, кто она, кто рядом. Было только это — огромное, горячее, тёмное, ослепительное, — и она закричала, и не услышала своего крика, и вцепилась в него так, что потом на его плечах остались следы ногтей.

Потом волна отхлынула. Медленно. Оставляя её на берегу — мокрую, опустошённую, дрожащую, со слезами на щеках, которых она не заметила.

Она лежала под маминой лампой и смотрела на «Утро в сосновом лесу». Медведи на поваленной сосне. Мать-медведица и три медвежонка. Плохая литография. Тяжёлая рама.

За рамой лежало мамино золото. Рядом лежал человек, который знал об этом и не взял.

Тетрадь наблюдений она с того вечера больше не открывала. Ни разу.

Отец ничего не замечал.

Он приходил домой раз в три дня, на час, переодеться и поесть. Говорил о ЧК, — в Томске, говорят, тоже будет своя, — о декретах, о кадетах, которых «следует изолировать до выяснения», о том, что Учредительное собрание «покажет своё лицо». Говорил тем новым, сухим голосом, к которому Лена так и не привыкла. Ел быстро, не глядя в тарелку. Однажды, проходя через столовую, остановился у граммофона, посмотрел на медную трубу, разинутую в потолок, и сказал рассеянно:

— Надо бы вернуть его знакомым. Раз они в Харбин уехали. Неудобно держать чужое.

И забыл. И ушёл.

Он не заметил ни мамину лисью шубу на вешалке в сенях вместо котиковой. Ни новые духи — «Синий час», запах сумерек, — которыми теперь пахло в мезонине и на лестнице. Ни того, что у дочери выщипаны брови. Ни следов помады на её чашке. Он видел телеграммы, декреты и списки. Однажды, уже уходя, он остановился в дверях, посмотрел на Лену, сидевшую над учебником, и сказал:

— Ты похудела, Леночка. Ты ешь? Фёкла, ты её кормишь?

— Кормлю, батюшка, — сказала Фёкла.

— Ну хорошо, — сказал отец. И ушёл.

Восемнадцатого и девятнадцатого декабря Совнарком издал декреты о гражданском браке и о расторжении брака. Брак отныне заключался не в церкви, а в отделе записей актов гражданского состояния, при двух свидетелях, по заявлению сторон. Развод — по заявлению одной из сторон, без суда, без консистории, без объяснения причин.

Зинаида Павловна Кошеварова, прочитав об этом, слегла на два дня.

— Душенька, — говорила она Лене, лёжа на кушетке с мокрым полотенцем на лбу, в гостиной, где когда-то по вторникам подписывали адрес Золя, — душенька, вы понимаете, что это значит? Это значит, что теперь развод — как заказать извозчика! Подал записочку — и свободен! Я сорок лет прожила с покойным Иваном Аркадьевичем, царствие ему небесное, и он, между нами говоря, был не подарок, — и ни разу, ни разу, душенька, мне даже в голову… А теперь — записочку! Куда мы идём? Куда?

Фёкла, услышав про декреты от Лены, долго крестилась и сказала, что это последние времена, что так и в Писании сказано, и что старообрядка, которая летом плюнула Лене под велосипед, была права.

Гомаровский, услышав, засмеялся.

— Очень разумно, — сказал он. — Очень практично. Можно расписаться в комиссариате утром и развестись к обеду. Очень удобно для людей занятых. — Он посмотрел на Лену. — Хотите, мадемуазель? Сходим завтра? Распишемся, а в среду разведёмся. Для опыта. Вы ведь любите наблюдения.

Лена не засмеялась. Она смотрела на него и думала, что ещё в октябре засмеялась бы.

10.6. Рождество

Бальное платье Лена сшила к Сочельнику.

Шёлк она купила у петроградской беженки, княгини Т., которая сняла в Томске комнату на Монастырской и распродавала гардероб, чтобы жить. Княгиня была старая, высохшая, с седыми буклями и с прекрасными руками, на которых не было ни одного кольца: кольца ушли первыми. Она приняла Лену в комнате, увешанной платьями, как увешана театральная уборная, и показывала их одно за другим, называя по именам: это — для бала в Аничковом дворце в девятьсот третьем, это — для оперы, это — для визитов. Лена выбрала отрез, который ещё не успели раскроить: белый шёлк, тяжёлый, матовый, с серебряной нитью, вытканной узором из ветвей и листьев. Княгиня взяла за него золотом — тремя червонцами, — посмотрев на Лену очень внимательно, когда та их выкладывала. Червонцы в декабре семнадцатого года в Томске были у немногих.

Портниха с Акимовской шила неделю. Платье вышло белое, с серебром, с открытыми плечами, с длинной узкой юбкой и маленьким шлейфом, — бальное, такое, в каком ездили на балы до войны. Балов не было. Ни в Общественном собрании, ни в офицерском, ни у губернатора — губернатора не было. Лена шила его для Сочельника у Гомаровского.

Сочельник в номере четырнадцатом был таким, каким, наверное, бывал Сочельник в Петербурге до войны в хороших домах.

Ёлку он велел поставить ещё за три дня — настоящую, пушистую, до потолка, из тайги, — и в «Европе» её нарядили так, что Лена ахнула с порога: стеклянные шары, золотые орехи, серебряный дождь, бумажные ангелы, свечи — восковые, настоящие, тонкие, в жестяных подсвечниках-прищепках на ветках, — и на верхушке звезда из золочёной фольги. Свечи горели. Камин горел. На столе, накрытом белой скатертью, — стерлядь, рябчики, поросёнок с хреном, кутья, взвар, шампанское во льду, мандарины, — мандарины, которых в Томске не видели с четырнадцатого года, золотые, пахнущие так, что от одного запаха кружилась голова. Где он их достал, Лена не спрашивала.

Она пришла в белом платье под маминой лисьей шубой. Накрашенная — тщательнее, чем когда-либо: пудра «Ралле», румяна «роза», брови, ресницы, губы «Кармен», «Синий час» за ушами и в ложбинке под вырезом. В маминых серьгах. С жемчугом на шее — маминым, из бархатной коробочки, двумя нитками.

Он встретил её в дверях, во фраке, и, когда она сбросила ему на руки лисью шубу и осталась в белом шёлке с серебром, с голыми плечами, с жемчугом, — он смотрел на неё долго, молча, — и сказал наконец:

— Вы похожи на Снегурочку, которая решила не таять.

Он подарил ей часики. Маленькие, золотые, швейцарские, на тонком браслете, с крошечными бриллиантами вокруг циферблата. Вынул их из бархатного футляра, сам застегнул у неё на запястье. Они тикали тихо, как сердце у ребёнка.

Лена посмотрела на них. Сказала «спасибо». Улыбнулась.

Глаза у неё не блестели.

Она заметила это сама — по его лицу, когда он поднял глаза от застёжки браслета. Он ждал блеска. Того, который был в июле над облигацией, в августе над «Ватерманом», в октябре над галошами, в ноябре над канарейкой. Того, ради которого, она понимала теперь, он и дарил. Блеска не было. Был вежливый взгляд, вежливая улыбка, вежливое «спасибо». Часики были дорогие, красивые, швейцарские, — и безличные, как подарок клиентке к Рождеству. Он, кажется, тоже это понял. Складка у его рта стала на мгновение жёстче.

Ужинали при свечах. Он рассказывал о Рождестве в Петербурге — о ёлке в Зимнем дворце, на которую его однажды, мальчиком, водил отец, чиновник министерства юстиции; о катании на тройках на острова; о Сочельнике у Кюба. Лена слушала. Некоторые истории она уже слышала — в ноябре. Она ела мандарины и смотрела на ёлочные свечи.

Об Учредительном собрании заговорил он.

— Пятого января, — сказал он, разливая шампанское, — ваше собрание соберётся в Таврическом дворце. Восемьсот депутатов. Эсеры, кадеты, меньшевики, большевики. — Он поднял бокал и посмотрел на свет сквозь шампанское. — Я вам скажу, как это будет. Они откроют заседание. Выберут председателя — вашего Чернова, конечно. Будут говорить речи. До ночи, до утра. Большевики уйдут, как уходят у вас в Томске, — с заявлением. Потом в зал войдёт какой-нибудь матрос — матрос с маузером, — и скажет: «Караул устал». И все пойдут домой. Спать. — Он отпил. — И больше не соберутся. Никогда. Восемьдесят пять процентов уйдут спать.

— Этого не будет, — сказала Лена.

— Будет, мадемуазель. — Он поставил бокал. — Я видел, как разгоняют. Я видел, как распускали Вторую думу в девятьсот седьмом. Указ — и всё. Никто не вышел на улицу. Никто. Ваш народ, ваши восемьдесят пять процентов, сидит по деревням и ждёт, когда ему дадут землю. А землю ему уже дал декрет. Зачем ему собрание?

— Затем, что это — закон, — сказала Лена. — Это воля народа. Это… это первый раз за тысячу лет, когда все — все, мужики, бабы, солдаты, — сказали, как им жить. Это то, за что мама… за что Марья Павловна… за что сто лет… Баба из Барабинска ехала двое суток в теплушке, чтобы…

— Баба из Барабинска, — сказал Гомаровский, — хотела, чтобы вернули мужа. Её муж, если он жив, сейчас едет домой с фронта, потому что большевики заключили перемирие. Не ваше собрание. Большевики. — Он улыбнулся. — Вы взрослая женщина, Лена. Вы врач. Вы видели, как люди умирают от перитонита, и знаете, что молитва не помогает. Пора перестать верить в бумагу. Закон — для тех, у кого нет силы его не замечать. Я вам это говорил ещё в купальне.

Лена встала.

Она не знала, что скажет. Она стояла посреди номера, у ёлки, в белом шёлке с серебром, с голыми плечами, с маминым жемчугом, накрашенная, — и чувствовала, как в ней поднимается то, чего она не чувствовала с ним никогда: не обида, не досада, не злость на его расчёт, как в ночь на двадцать четвёртое, — а ярость. Настоящая. Белая, холодная, как мороз за окном.

— Вы стояли, — сказала она.

Он поднял бровь.

— На площади. Двенадцатого. Вы стояли. Их было четверо, у них были винтовки, — да. Вы были правы. Шуба — вещь, вы купите другую, — да. Вы и купили. Лучше. С соболем. — Голос у неё звенел. — А он бежал. Через всю площадь. Без ничего. С голыми руками. Смешной. Глупый. Корниловец. Который всю жизнь врал, что он герой. И он умер. У меня на руках. А вы стояли. И держали на мне пальто. Чтобы я не простудилась.

Гомаровский смотрел на неё спокойно. Совершенно спокойно. Как всегда.

— Да, — сказал он. — Я стоял. Поэтому я жив, а он — нет. Поэтому вы сейчас в белом платье, а не в трауре по двоим. Это не трусость, Лена. Это — арифметика. — Он помолчал. —

Ваш прапорщик был храбр. Храбрость — прекрасная вещь, когда у тебя в руках шашка и за спиной полк. Без шашки и без полка это просто способ умереть красиво. Он всю жизнь хотел умереть красиво. Ему удалось. Я за него рад.

Лена смотрела на него. На его лицо — тонкое, резкое, гладко выбритое, с глубокими складками у рта, с седыми висками. На его руки — сухие, загорелые, с длинными пальцами, которые лежали на скатерти рядом с бокалом совершенно спокойно. Он не лгал. Он никогда не лгал ей. Он говорил то, что думал, и думал то, что было правдой, — по-своему. И от этой правды ей хотелось кричать.

— Вы ничего не любите, — сказала она.

— Я люблю многое, — сказал он. — Хорошее вино. Хорошую сигару. Хорошо выигранный процесс. Вас. — Он произнёс это последнее слово так же ровно, как остальные. — Я просто не люблю того, чего нет. Учредительного собрания. Сибирской республики. Героизма. Бумаги. Этого нет, мадемуазель. Есть только то, что можно взять в руки. Или дать.

Он встал. Подошёл к окну. Посмотрел на тёмную Почтамтскую, на снег.

— После Нового года, — сказал он, не оборачиваясь, — здесь станет нечем дышать. Я это вижу так же ясно, как вижу вашу ёлку. Ревком, ЧК, списки. Ваш отец, мадемуазель, — он произнёс это спокойно, без насмешки, — ваш отец будет одним из тех, кто составляет списки. Я в них буду. Вы, может быть, тоже. — Он помолчал. — Я уеду. В Харбин. Там масло, рестораны, японский шёлк, французское шампанское и никакого Учредительного собрания. Там нужны юристы. — Он обернулся. — Поедемте со мной.

Лена не ответила.

Она стояла у ёлки, в белом платье, и смотрела на него. Харбин. Масло, шёлк, шампанское. Никакого Учредительного собрания. Никакой Сибирской думы. Никакого отца, никакой Марьи Павловны, никакой партии номер четыреста двенадцать, никакой клиники. Никакой чайки на Вознесенском. Никакого свежего холма с выцветшим крестом.

Она не ответила ни «да», ни «нет». Она ничего не сказала.

Он подошёл к ней. Взял за плечи — голые, в белом шёлке. И она не отстранилась.

То, что было потом, было сильнее всего, что было до этого.

Злость и тело слились в одно. Она не помнила потом, кто из них начал. Она помнила, как ёлочные свечи качались и мигали над ними, как с ветки упал стеклянный шар и разбился о паркет, тонко, как льдинка, — и никто не обернулся. Помнила, как рвала на нём фрачную рубашку, как в ночь на двадцать пятое, — только теперь не от напора и не от реванша, а от ярости. Как он держал её запястья — то, на котором тикали швейцарские часики, — и она вырывала их и снова отдавала. Как волна, та, что пришла впервые в мезонине, поднялась на этот раз не из глубины, а отовсюду сразу — из злости, из горя, из мороза за окном, из белой рубашки Грушницкого в снегу, из «вы похожи на Снегурочку», из Харбина, из всего, — и накрыла её так, что она, кажется, на мгновение потеряла сознание.

Потом она лежала за аркой, на смятой постели, и смотрела в потолок — на лепную розетку, в которой не хватало одного листа. Ёлочные свечи догорали. Камин погас. Рядом ровно дышал человек, которого она только что ненавидела так, как не ненавидела никого в жизни.

И она понимала.

Он ей скучен. Его рассказы, его остроты, его графиня с мышьяком, его «закон — для тех, у кого нет силы», его арифметика, его Харбин, его часики, его правда, в которой нет ничего, кроме того, что можно взять в руки, — всё это ей скучно. Скучно и чуждо. Он стоял на площади. Он никогда не побежит через площадь с голыми руками — ни за неё, ни за кого. Он ничего не любит, кроме того, что можно взять или дать.

А тело без него уже не может.

Это было то, что испугало её больше всего за весь год. Больше, чем пальцы на затылке в библиотеке. Больше, чем боль в ночь на двадцать пятое. Больше, чем кровь Грушницкого на её ладонях. Она лежала рядом с человеком, которого не уважала, — и знала, что придёт к нему завтра. И послезавтра. Что тело будет требовать — снова и снова, — и она пойдёт, накрашенная, в маминой шубе, по морозу, мимо швейцара, и постучит в номер четырнадцатый. Что голова тут ни при чём. Что в человеке хочет гормон, как говорил отец с кафедры. Что «Я неспасаемо», как писал Мах. Что нет никакой Лены, которая могла бы встать и уйти навсегда, — есть только комплекс ощущений, и среди них одно, самое сильное, тянущее, требовательное, не спрашивающее её разрешения.

Она встала. Оделась — в белое платье, медленно, не попадая в крючки, потом попав. Надела мамины серьги, мамин жемчуг. Швейцарские часики сняла и положила на комод — туда, где в октябре лежал лист керенок. Подумала. Взяла их снова и надела. Накинула мамину лисью шубу.

Он, кажется, спал. Или делал вид.

Она вышла из номера четырнадцатого во втором часу ночи — в рождественскую ночь, — и спустилась по лестнице мимо спящего швейцара, и вышла на Почтамтскую.

10.7. На живых и на мёртвых

Она пошла не домой.

Она сама не знала, куда идёт, пока не поняла, что идёт по Почтамтской вниз, к Базарному мосту, а потом через мост, через Ушайку, в Заисточье, — тем самым путём, каким шла в марте с Марьей Павловной, с лопатой на плече и мешком бересты, копать клад. По тем же улицам. Мимо тех же тёмных домов. Мимо будок, где в марте не было городовых, а теперь не было милиционеров: они ушли в участок передавать валенки.

Был мороз под сорок. Ночь была ясная, безлунная, звёздная — такая, какие бывают в Сибири только в самые сильные морозы, когда воздух становится прозрачным, как стекло, и звёзды висят так низко, что кажется — подними руку, и достанешь. Снег скрипел под валенками громко, на всю улицу. Дым из труб стоял прямо, белыми столбами, как свечи. Где-то далеко, в Заисточье, лаяла собака. Где-то в соборе, за спиной, звонили к ранней обедне — рождественской, — и звон летел над городом в морозном воздухе далеко, отчётливо, как никогда не летит в оттепель.

Рождество Христово. Девятьсот семнадцатое.

Лена шла в белом бальном платье с серебром, под маминой лисьей шубой, с маминым жемчугом на шее и с маминым золотом в подоле, — шуба била её по ногам тяжёлым подолом, и в подоле глухо постукивали червонцы, зашитые в холст хирургическим швом. Мамины серьги холодили мочки ушей. Швейцарские часики тикали на запястье. Лицо было накрашено — пудра, румяна, ресницы, губы, — и на морозе, она чувствовала, пудра стягивала кожу, как маска.

У последнего дома Заисточья, у станции Томск-II, вместо фонаря висело полено на верёвке. Оно висело там с марта. Никто его не убрал. Лена прошла под ним.

Ворота кладбища были не заперты.

Она шла между крестами по пояс в снегу, между оградами, между голыми берёзами, на которых иней лежал так густо, что они казались белыми, хрустальными, как ёлочные украшения. Она знала дорогу. Её водили сюда с двух лет.

Свежий холм был по пути. Мёрзлые комья земли, уже чуть присыпанные снегом. Деревянный крест, на котором выцвел химический карандаш. Лена остановилась у него. Постояла. Ничего не сказала. Потом сняла с шеи нитку маминого жемчуга — одну из двух — и положила на холм, в снег, у креста. Жемчуг на снегу был почти не виден: белое на белом.

Потом пошла дальше, через две ограды, к чайке.

Чайка стояла на холме, белая на белом, засыпанная почти по самые крылья. Раскинутые мраморные крылья с тонко прорезанными перьями, голова, повёрнутая в сторону, к реке. Еловая ветка и бумажные цветы, которые Лена положила девять дней назад, на похоронах, ещё лежали на постаменте, занесённые снегом, — красные и белые бумажные лепестки чуть проглядывали из-под снега, как кровь сквозь бинт.

Лена смела снег с постамента рукавом лисьей шубы. «НИНА. АРТИСТКА».

Она достала из кармана шубы свечу — ёлочную, тонкую, восковую, которую сняла с ёлки в номере четырнадцатом, сама не зная зачем, когда одевалась, — и спички. Поставила свечу на постамент, у подножия мраморных крыльев, в маленькую ямку в снегу. Чиркнула спичкой. Спичка вспыхнула и погасла на морозе. Вторая — тоже. Третью она прикрыла ладонями, обеими, как прикрывают огонь от ветра, хотя ветра не было, — и поднесла к фитилю.

Фитиль занялся.

Свеча горела. Маленьким ровным огоньком, прямо, не колеблясь, — в мёртвом морозном воздухе пламя стояло неподвижно, как нарисованное. Свет был тёплый, жёлтый, крошечный. Он ложился на снег вокруг свечи — и снег становился золотым. Он ложился на мраморные крылья чайки снизу — и чайка становилась розовой, как в марте, когда у её подножия горел костёр и от растопленной земли поднимался пар. Он ложился на бумажные цветы, на еловую ветку, на рыжий мех маминой шубы, на белый шёлк бального платья, на серебряные листья, вытканные в шёлке.

Лена стояла перед чайкой на коленях в снегу и смотрела на огонь.

Она ни о чём не думала. Она не плакала. Она не молилась — она не умела, а если бы умела, не знала бы, кому и о чём. Она стояла на коленях — в мамином жемчуге, в маминых серьгах, в маминой шубе, с маминым золотом в подоле, — накрашенная, после ночи с человеком, которого не уважала и без которого тело уже не могло, — перед мраморной чайкой, под которой ничего больше не было, кроме земли и того, что лежит в земле, — в девяти днях от свежего холма, где лежал мальчик, который всю жизнь врал, что он герой, и однажды не соврал.

Где-то за спиной, далеко, в соборе, звонили к рождественской обедне.

Свеча горела ровно.

Снег ложился на землю. На живых и на мёртвых.

Конец десятой главы.



Часть вторая

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918…
М. Булгаков, «Белая гвардия»

Глава 11. Караул устал

Наших дедов мечта невозможная, Наших героев жертва острожная, Наша молитва устами несмелыми, Наша надежда и воздыхание, — Учредительное Собрание, — Что мы с ним сделали…?

З. Гиппиус, «У. С.», ноябрь 1917

11.1. Новый год

В номере четырнадцатом не топили третий день.

Камин стоял чёрный, выметенный, с холодной решёткой, на которой ещё лежала забытая с Рождества еловая лапа, порыжевшая и осыпавшаяся. Лепная розетка на потолке, та самая, с отбитым листом, смотрела вниз на комнату, которую Лена знала теперь лучше своего мезонина, и не узнавала её. Комнаты не было. Были чемоданы.

Они стояли везде: у стены, на ковре, на кресле, на столе, где ещё неделю назад стояла ёлка. Два больших кожаных, жёлтых, с медными углами и наклейками отелей, которых Лена никогда не видела и, вероятно, никогда не увидит: Ницца, Карлсбад, Гельсингфорс. Один узкий, чёрный, адвокатский, с бумагами. Сундук-гардероб, поставленный на попа, раскрытый, как книга, с костюмами на плечиках внутри. Шляпная картонка. Несессер крокодиловой кожи. Ящик с книгами, заколоченный, и на крышке мелом, его почерком, крупно: «Харбин. Не кантовать». Всё было перетянуто ремнями, перевязано, застёгнуто, сложено с той аккуратностью, с какой этот человек делал всё на свете, от перепечатки положения об областной думе до любви, — и эта аккуратность была страшнее, чем если бы он кидал вещи как попало.

— Зачем топить комнату, из которой уезжаешь, — сказал он, когда она, войдя, остановилась у порога и посмотрела на камин. — Дрова нынче по сто восемьдесят рублей сажень, а коридорный, я уверен, продаёт их на сторону по двести. Я не хочу поощрять ни инфляцию, ни коридорного.

Он был в шубе. Сидел в кресле, единственном не занятом чемоданом, в своей длинной хорьковой шубе нараспашку, нога на ногу, с сигарой, и смотрел на неё снизу вверх тем спокойным, вежливым, чуть насмешливым взглядом, которым смотрел в июне на купальню, в июле — на Лагерный сад, в августе — на неё за машинкой, и всегда. Седые виски. Отличные руки на подлокотнике. В комнате было так холодно, что дым от сигары стоял над ним неподвижно, как над прорубью.

Был вечер тридцать первого декабря. Последний вечер семнадцатого года.

Лена не сняла шубы. Мамину лисью, рыжую, тяжёлую, потёртую на сгибах, — ту самую, в подол которой было зашито полкилограмма золота хирургическим швом и которую она носила с того вечера на площади Революции, когда с неё сняли котиковую. Она прошла к окну, между чемоданами, как между надгробиями, и встала, глядя на улицу.

Внизу, на Почтамтской, горели два фонаря из восьми. Под ними, в жёлтом круге, стоял извозчик с заиндевевшей лошадью и ждал седока, которого не было. Мимо прошёл патруль — трое в шинелях, с винтовками, у одного на штыке болтался чей-то пуховый платок, неизвестно откуда взятый. Дальше, у редакции «Сибирской жизни», белела на стене свежая афиша, и Лена знала, не читая, что на ней: приказ ревкома о сдаче оружия и о запрещении стрельбы в новогоднюю ночь. Её всё равно будут стрелять. Её стреляли в прошлом году, в позапрошлом, при царе, при Керенском — и будут при ревкоме.

— Вы сказали — второго, — сказала она, не оборачиваясь.

— Второго. Поезд на Иркутск в одиннадцать сорок утра, если будет. Если не будет — в одиннадцать сорок вечера. Если не будет и тогда — в любое время, когда начальник станции получит свою мзду. — Он стряхнул пепел в пустую пепельницу, аккуратно. — Я заплатил трём

начальникам на трёх станциях вперёд. Они оказались недороги. Новая власть пока не успела поднять тарифы.

— До пятого.

Он понял её сразу. Он всегда понимал её сразу, это было едва ли не самое невыносимое в нём.

— До пятого, — согласился он. — Учредительное собрание открывается пятого. Я не хочу быть в России, когда его закроют.

— Его ещё не закрыли.

— Его закроют в ночь на шестое, — сказал он спокойно, тем тоном, каким говорят, что завтра будет мороз. — Или, если у Ленина болит голова и он лёг рано спать, — в ночь на седьмое. Я, Лена, не люблю присутствовать при том, что предсказал. Это скучно. Адвокат, который выиграл процесс, не остаётся в зале смотреть, как уводят осуждённого. Он едет обедать.

Она повернулась к нему.

Ей хотелось сказать что-нибудь резкое, как в Сочельник, когда она кричала на него — «вы стояли!» — и он смеялся. Но кричать не хотелось. Хотелось — и это было хуже — сесть к нему на колени, в эту хорьковую шубу, и ничего не говорить. Она стояла у окна, в рыжей маминой лисе, и чувствовала, как тело, её тело, которое с декабря жило отдельно от неё, своей жизнью, по своему расписанию, тянется к креслу так, как тянется стрелка компаса, — и ей было стыдно не самого желания, а того, что оно ничего не спрашивало у головы.

— Поедемте, — сказал он.

Он сказал это в третий раз. Первый раз — в Сочельник, за стерлядью. Второй — через три дня, в санях, между делом. Теперь — без всякого нажима, как спрашивают у попутчика, не опустить ли окно.

— Билет на двоих, мадемуазель. Купе. Я взял купе, хотя понимаю, что это может быть одна полка в теплушке. В Харбине — масло. Настоящее, вологодское, в бочках, у русских купцов. Японский шёлк. Китайский фарфор, за который здесь отдали бы корову. Рестораны, где официанты не говорят «товарищ». Ипподром. Опера, кажется, тоже есть, хотя скверная. И никакого Учредительного собрания. — Он улыбнулся. — Вы будете учиться. Там, кажется, открывают курсы. Или не будете — как захотите. Вы сможете, наконец, ничего не защищать.

— У меня дума, — сказала Лена.

Это прозвучало так глупо, что она сама услышала. «У меня дума» — как говорят «у меня мигрень» или «у меня завтра зачёт». Он засмеялся — не обидно, коротко, почти нежно.

— Сибирская областная дума, — сказал он. — Да. Я помню. Я переписывал для неё положение в августе, по таксе. Двенадцать рублей девяносто копеек. Её соберут к концу месяца, и её разгонят так же. Это одна и та же арифметика, Лена: у них винтовки, у вас — стенограмма. Я бы поставил на последнюю неделю января. Если хотите, можем пари.

— Я знаю, — сказала она.

И это была правда. Она знала. Она знала это так же ясно, как знала, что у Грушницкого была проколота аорта, когда держала его на площади, и что держать бесполезно, и всё-таки держала. Она знала, что думу разгонят. Она знала, что он прав. И именно поэтому — она не могла бы объяснить это ни ему, ни себе — она оставалась. Если бы он ошибался, она, может быть, и поехала бы. Но он был прав, а уехать от того, что разгонят, когда знаешь, что разгонят, — значило согласиться с ним. Сказать «арифметика». Сказать «караул устал». А она не хотела быть человеком, который знает и едет обедать.

Она сняла шубу.

Она сняла её сама, не дожидаясь, пока он встанет, — и положила не на кресло, а прямо на жёлтый чемодан с наклейкой «Ницца», и шуба легла на него тяжело, звякнув подолом, и он поднял бровь на этот звук, но ничего не сказал. На ней было серое платье, то самое, деловое, в котором она стенографировала съезд в неотапливаемой семинарии; она нарочно надела его,

а не вишнёвое, не бальное, не чёрный бархат. В холоде комнаты по плечам сразу побежали мурашки.

— Вы замёрзнете, — сказал он.

— Не говорите ничего, — сказала Лена.

Он посмотрел на неё — и замолчал. Это было первый раз за полгода, когда он замолчал оттого, что она велела.

Она подошла к креслу. Встала перед ним. Он сидел, она стояла — и так было правильно; так было в ноябре, когда она выманивала у него канарейку и граммофон и говорила «право — это сила», и он спрашивал «кто сильнее?», а она отвечала «я», — и не верила. Теперь верила. Это она оставалась. Это она его оставляла. Он уезжал, а она — оставляла, и между этими двумя вещами была разница, которую понимала, может быть, только она одна, но которая была сейчас для неё важнее всего.

Она взяла его руку — правую, ту, что лежала на подлокотнике, — и вынула из неё сигару, и положила сигару в пустую пепельницу, и он позволил. Потом она взяла эту руку обеими своими и стала смотреть на неё.

Отличные руки. Она заметила их ещё в июне, на купальне, раньше, чем лицо, — и с тех пор знала их, как знают инструмент: длинные пальцы, сухие, тёплые даже сейчас, в нетопленой комнате; широкая ладонь с тонкой, почти женской кожей, какой не бывает у тех, кто работает; маленький белый шрам у основания большого пальца, о котором он никогда не рассказывал; перстень с тёмным камнем на мизинце; ногти, подпиленные так ровно, будто их делал ювелир. Она держала эту руку и смотрела на неё так, как смотрела в анатомичке на препарат, который нужно запомнить к экзамену: каждую складку, каждую жилку, место, где под кожей голубеет вена, — и он сидел и не мешал, и это было почти невыносимо, и она знала, что он понимает, что она делает, и это тоже было почти невыносимо.

Потом она поднесла эту руку к своему лицу. К щеке. И подержала. И потом — к шее, к тому месту под ухом, где бьётся пульс, и там тоже подержала.

Свеча на камине — единственная в комнате, он зажёг её к её приходу, и она горела в холоде ровно, не мигая, — дрожала, когда Лена выдыхала. Пар шёл у неё изо рта. У него тоже. Они дышали паром друг на друга, как лошади на морозе.

Дальше всё было так, как решила она. Медленно. Она не дала ему встать. Она не дала ему говорить — дважды, когда он открывал рот, она клала ему пальцы на губы, и он замолкал. Хорьковая шуба, пахнущая табаком и одеколоном и чуть-чуть нафталином, стала одеялом; кресло — слишком тесным; ковёр между чемоданами — холодным, как лёд на Томи, и они смеялись над этим, впервые за всё время смеялись вместе, по-настоящему, когда её голая спина коснулась ковра и она вскрикнула не от того, от чего вскрикивала обычно. Под шубой было тепло, как в норе. Над шубой — пар.

Она не закрывала глаз. Ни разу. Даже тогда, когда волна, которую она знала с декабря, — не колокол уже, не далёкий звон, а волна, тяжёлая, тёмная, накрывающая с головой, — пришла и накрыла, и комната с розеткой и чемоданами поплыла, — даже тогда она смотрела. На его лицо. На седые виски, на складку у рта, на то, как дрогнули у него веки — один раз, и больше не дрогнули. На его руки. Она смотрела и запоминала, потому что знала: это всё. Больше этого не будет. А тело — тело не знало, тело думало, что будет завтра, и послезавтра, и каждый вечер, как в декабре, и тело было глупее её, и она это знала, и от этого знания волна была сильнее, а не слабее.

Потом она лежала под шубой, и он лежал рядом, и в холоде было слышно, как тикают на его жилете часы, и как внизу, в ресторане, настраивает скрипку румын, которого «Европа» держала по старой памяти, хотя ресторан теперь назывался «общественной столовой номер два».

— Вы смотрели на меня, — сказал он. — Всё время. Как на экзамене.

— Я запоминала, — сказала Лена.

— Зачем?

Она не ответила.

В полночь начали стрелять.

Сначала где-то далеко, за Ушайкой, одиночный выстрел, сухой, как треск полена в печи. Потом второй, ближе. Потом сразу много — с горы, с Болота, из Заисточья, из казарм, — винтовки, наганы, охотничьи ружья, где-то даже, кажется, пулемёт, коротко, на три патрона, для порядка. Это была новогодняя ночь, и приказ ревкома о запрещении стрельбы висел на стене редакции, и под ним, на Почтамтской, патруль тоже стрелял в небо, в звёзды, в восемнадцатый год. Румын внизу заиграл что-то — то ли «Боже, царя храни», то ли «Марсельезу», то ли то и другое по очереди, Лена не разобрала.

Гомаровский встал, оделся — быстро, аккуратно, как всегда, — достал из адвокатского чемодана бутылку и два бокала, завёрнутые в салфетку, налил. Шампанское было ледяное: оно простояло в нетопленой комнате весь день, и ведёрко со льдом было ни к чему.

— За что? — спросила Лена. Она сидела на ковре, закутавшись в его шубу, с голыми плечами, и бокал в её руке запотел и сразу покрылся инеем.

— За восемнадцатый, — сказал он. — Я пью за то, что он будет интересным. Это всё, что я могу о нём сказать с уверенностью.

— А я — за думу, — сказала Лена.

— Хорошо, — сказал он. — Это одно и то же.

Они выпили.

Она оделась сама. Он не помогал — стоял у окна, курил новую сигару, смотрел на стреляющий город, — и она застёгивала серое платье на холодные крючки, один за другим, двадцать четыре крючка, и пальцы не слушались, и она не просила помощи. Надела мамину шубу. Звякнул подол.

— Подождите, — сказал он у двери.

Она остановилась. Он подошёл, достал из внутреннего кармана сюртука плоский бумажник — и она подумала, на одну страшную секунду, что сейчас он даст ей денег, как тогда, в октябре, когда на комоде лежал неразрезанный лист керенок, — и рука у неё сама сжалась в кулак. Но он достал не деньги. Он достал фотографию. Маленькую, наклеенную на картон, с тиснёной золотом маркой ателье «Модерн» в углу.

Восьмой снимок из мансарды.

Она узнала его сразу: распущенные волосы, голые плечи, босые ноги, магниевый свет, лицо, которое не было её лицом, — лицо той женщины из маминого зеркала, которую она увидела впервые в марте, у ниши с золотом.

— Я не отдаю его вам, — сказал он. — Вы, я думаю, решили, что я отдаю. Нет. Я показываю, что он со мной. Юрист не отдаёт доказательств, Лена. Никогда. Даже когда процесс кончен.

— Доказательство чего?

Он подумал.

— Того, что это было, — сказал он. — Через год вы будете думать, что этого не было. Что это была не вы. А у меня будет картонка с маркой «Модерна», которая скажет: была. — Он убрал снимок. — Номер оплачен до первого февраля. Он ваш. Если захотите посидеть у камина — коридорный растопит. Я ему заплатил. Вперёд, как начальникам станций.

Она вышла, не обернувшись. Она решила это заранее — что не обернётся, — и не обернулась, и спустилась по лестнице мимо столовой номер два, где румын играл теперь «На сопках Маньчжурии» и где за столиками сидели, обнявшись, двое солдат, пьяная барышня в каракуле и старик-официант во фраке, которого все звали «товарищ Луи», — и вышла на мороз, в стрельбу, в Новый год.

Извозчик под фонарём всё ещё стоял. Она взяла его. Ехала через весь город, через стреляющую гору, и лошадь шарахалась от выстрелов, а извозчик, бородатый, в тулупе, крестился на каждый, приговаривая: «Новый год, барышня. Новый год. Господи, помилуй. Новый год». Она сидела в санях прямо, в рыжей лисе, и не плакала, и думала только об одном: что не обернулась. Что ушла первой.

Это была её победа. Единственная, какую она могла себе позволить.

11.2. Томск-I

Второго января с утра на город лёг туман.

Он поднялся с Томи ещё ночью — мороз стоял под сорок, и река, схваченная льдом, дышала из полыней и прорубей, как загнанная лошадь, — и к рассвету затопил всё: Болото, Заисточье, Почтамтскую, гору. Дома стояли в нём по колено, потом по пояс, потом по крышу. Колокольни торчали из тумана одними крестами. Фонари не светили, а тлели, каждый в своём мутном шаре, как гнилушки. Люди выходили из тумана и уходили в туман, без ног, без лиц, одни голоса и скрип валенок, и казалось, что весь город — один огромный вокзал, с которого все уезжают.

На вокзале Томск-I так и было.

Лена пришла пешком. Она не взяла извозчика нарочно — ей хотелось идти, двигаться, считать шаги, чтобы не думать, — и шла через весь город почти час, в маминой лисе, в валенках, в пуховом платке поверх шляпы, и ресницы у неё смёрзлись, и платок у рта оброс инеем, как борода. Она не знала, зачем идёт. Вчера, первого, она весь день просидела в мезонине, перебирая гербарий, и не пошла, и решила, что не пойдёт, — и утром второго встала в шесть, оделась и пошла.

Вокзал гудел.

Перрон, зал третьего класса, зал первого класса, буфет, площадь перед вокзалом, пути — всё было забито людьми, вещами, санями, лошадьми, и всё это двигалось, кричало, толкалось, плакало, бранилось, и над всем этим стоял пар — от дыхания, от лошадей, от паровоза, который уже стоял у перрона, длинный, чёрный, обросший сосульками, и пыхтел, и в тумане казался не паровозом, а живым зверем, который ждёт, когда ему дадут поесть.

Все ехали на восток.

Лена смотрела и не могла понять, откуда их столько. Дамы в каракуле и котике, с собачками за пазухой, с картонками, с клетками, в которых сидели попугаи и канарейки, замотанные в шали. Господа в бобрах, с портфелями, прижатыми к груди так, как прижимают младенцев. Офицеры в штатском — их было видно сразу, по выправке, по тому, как они стояли, по усам, по сапогам из-под чужих пальто, — и они старались не смотреть друг на друга. Купцы с семьями, с самоварами, с перинами, с сундуками, окованными железом, которые носильщики-татары таскали вчетвером, кряхтя. Мешочники с мешками — эти ехали не в Харбин, а до Тайги, до Мариинска, до Ачинска, за мукой, за маслом, за чем придётся, — и их было больше всех, и они лезли в вагоны в окна, потому что в двери лезли все остальные. Студенты с чемоданчиками. Монашки. Китайцы с коробами. Какой-то старый генерал, настоящий, в шинели с красной подкладкой, но без погон, на месте которых темнели невыгоревшие полосы, — он сидел на сундуке посреди перрона, прямой, с палкой между колен, и смотрел перед собой, не мигая, и вокруг него обтекала толпа, как вода обтекает камень.

— Восток! — кричал кто-то. — Харбин! Там Хорват! Там порядок! Там, говорят, жалованье золотом!

— Японцы, говорят, Владивосток заняли!

— Не заняли ещё — займут!

— Почём до Иркутска? Почём? Даю триста! Пятьсот!

Состав был сборный, такие теперь ходили: два классных вагона, синий и жёлтый, старые, облезлые, а за ними — теплушки, теплушки, теплушки, и на крышах теплушек уже сидели

люди, закутанные во что попало, похожие на мешки. В синем вагоне первого класса были выбиты стёкла — не все, но через одно, — и вместо них вставлена фанера, и на фанере кто-то вывел углём: «Бурж. вагон. Буржуев бить». Надпись пытались стереть, но только размазали, и теперь было написано: «Бурж. вагон. Буржуев б…» — и это смотрелось даже хуже.

Гомаровского она увидела не сразу. Сначала она увидела его чемоданы — жёлтые, с наклейками, — их несли двое носильщиков, и за ними, неторопливо, прогулочным шагом, как по Невскому, шёл он, в хорьковой шубе, в бобровой шапке, с тростью, которую ему в этой давке было совершенно некуда девать и которую он нёс так, будто она была необходима.

Он увидел её тоже. И не удивился. Он, кажется, вообще никогда ни от чего не удивлялся — только поднимал бровь.

— Вы пришли, — сказал он.

— Я шла мимо.

— Конечно. Вокзал — самое оживлённое место для прогулок в сорокаградусный мороз.

У вагона стоял патруль: двое красногвардейцев с винтовками и человек в шинели с огромным красным бантом на груди — бант был так велик, что выглядел не украшением, а повязкой на ране. У человека были пышные усы, заиндевевшие, и красное, распаренное морозом и, видимо, чем-то ещё лицо. За ним, с фонарём, хотя был день, стоял ещё один — пожилой, с покорным лицом, в старой полицейской шинели, перешитой на милицейскую.

— Документики, граждане! — кричал человек с бантом, перекрывая гул. — Документики! По поручению ревкома! Контроль за отъездом лиц! Предъявляйте! Не толкайтесь, гражданка, вы не в церкви! Елдырин, свети!

Это был Очумелов.

Лена знала его с марта — с той самой минуты, когда он вёл через Почтамтскую арестованных жандармов и кричал «революционным шагом!», — и с тех пор он был при всех властях: при Комитете, при Совете, при ревкоме. Он менял банты, как Фёкла меняла скатерти, и всякий раз оказывался «внедрённым по заданию». Сейчас он проверял документы у отъезжающих — с наслаждением, с важностью, щупая каждую бумажку, поднося её к носу, будто нюхал, и возвращая не сразу.

— Так-с. Купец второй гильдии. Куда едем, купец второй гильдии? В Харбин? А зачем это нам в Харбин? Там же, извините, капитал. Там же, можно сказать, контрреволюция пустила корни. Не к Хорвату ли? Елдырин, запиши. — Он оборачивался к следующей. — Так-с. Мадам. А в мешочке что? Кофе? Настоящий? Фунт? — Он принюхался к мешочку, и лицо его стало строгим и мечтательным одновременно. — Кофе, мадам, по нынешним временам продукт стратегический. Подлежит. Для экспертизы. На предмет содержания. Елдырин, прими.

Елдырин принял. Дама в каракуле открыла рот и закрыла. Мешочек исчез под шинелью Елдырина с ловкостью, которой нельзя было ожидать от человека с таким покорным лицом.

Очередь дошла до Гомаровского.

Он подал бумаги — не торопясь, двумя пальцами, как подают визитную карточку в приличном доме. Очумелов взял их, развернул, поднёс к носу, начал читать — и вдруг лицо его изменилось. Распаренное, строгое, начальственное лицо вдруг поплыло, обмякло, заулыбалось, усы поднялись, и рука сама, без спросу, поползла к шапке.

— Присяжный поверенный, — прочитал он почти благоговейно. — Округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Юрисконсульт «Закупсбыта». — Он поднял глаза на Гомаровского и окончательно отдал честь. — Евгений Станиславович! Как же. Как же, наслышан! Крупный человек. Можно сказать — светило. Елдырин! Ты видишь, кто перед тобой? Светило! Юриспруденции! — Он вернул бумаги двумя руками, с поклоном. — Счастливого пути, Евгений Станиславович. В Харбин? Правильно. Совершенно правильно. Там, говорят, сейчас для юриста — простор. Я и сам, может, когда-нибудь… Ну, проходите, проходите. Не задерживаем. Чемоданчики не досматриваем. Елдырин, чемоданчики — не трогать!

— Благодарю, — сказал Гомаровский.

— А вы, барышня? — Очумелов перевёл взгляд на Лену и прищурился. — Тоже едем?

— Провожаю, — сказала Лена.

— Провожаете. — Очумелов посмотрел на неё внимательно, потом на Гомаровского, потом снова на неё, и в его глазах что-то зашевелилось — не мысль, а то, что у него заменяло мысль: чутьё собаки, которая ещё не знает, кого кусать, но уже знает, что кого-то придётся. — Трофимова? Профессора Трофимова дочка? Петра Сергеевича, члена ревкома? — Он снова поднёс руку к шапке, теперь уже ей, и сразу отдёрнул, не зная, можно ли. — Как же, как же. Провожайте, барышня. Провожайте. Это не возбраняется.

И отошёл, оглядываясь.

Они остались у вагона вдвоём.

Носильщики затащили чемоданы. Паровоз пыхтел. Вокруг кричали, толкались, кто-то лез в окно теплушки, и его втаскивали за руки и за ворот, и он болтал в воздухе ногами в валенках. Старый генерал без погон всё сидел на своём сундуке, и к нему подошёл носильщик и что-то сказал, а генерал не ответил, и носильщик махнул рукой и ушёл.

— Ну вот, — сказал Гомаровский.

Он стоял перед ней, высокий, в шубе, в бобровой шапке, и смотрел на неё сверху. И Лена ждала, что он скажет что-нибудь — она не знала что. Что-нибудь из тех фраз, которые он умел говорить, остроумных, точных, про право и силу, про арифметику, про то, что юрист не отдаёт доказательств. Последнюю фразу. Ту, которую она будет помнить.

Он обнял её.

Это было неожиданно — он никогда не обнимал её на людях, ни разу, за полгода, — и неловко, через две шубы, его хорьковую и её лисью, как обнимаются два медведя. И она почувствовала, как его руки, обхватив её, задержались на бёдрах, на спине, — не так, как задерживались ночью, а иначе, как задерживается рука врача, который что-то нащупал, — и как он чуть качнул её, будто взвешивая.

— Тяжёлая, — сказал он ей в ухо, негромко. — Ваша шуба, Лена. Вы носите на себе своё приданое.

Она замерла.

— Не ходите в ней по площади Революции, — сказал он. — И вообще — по вечерам. И не давайте её в чистку. И когда будут обыски — а они будут, весной, — не прячьте её в сундук, там ищут первым делом. Вешайте на гвоздь в сенях, рядом с Фёклиным тулупом. Никто не ищет золото в сенях.

Он отпустил её.

— Это всё, — сказал он. — Я хотел сказать что-нибудь красивое. Но красивое вы бы запомнили неправильно. А это вам пригодится.

И поднялся в вагон.

Паровоз дал свисток — длинный, хриплый, тоскливый, — и состав дёрнулся, лязгнул всеми буферами от головы до хвоста, и с крыш теплушек посыпался снег, и кто-то закричал «Стой! Стой! Мешок!», и на перроне заплакала женщина, и поезд пошёл. Медленно, как идут похоронные дроги. Синий вагон поплыл мимо Лены, и она смотрела в окно — но окно было фанерное, с надписью «Буржуев б…», и за фанерой ничего не было видно. Ни лица. Ни руки. Ни седых висков.

Она не махала.

Она стояла на перроне, пока последняя теплушка с мешками на крыше не ушла в туман и туман не закрылся за ней, как вода. Потом повернулась и пошла.

Она пошла не на площадь, где стояли извозчики, а вдоль путей, по шпалам, по снегу — ей не хотелось никого видеть, ни извозчиков, ни Очумелова, ни людей, — и шла долго, мимо пакгаузов, мимо водокачки, мимо стоящих на запасных путях вагонов, в которых жили беженцы

и из труб которых шёл дым, мимо будки стрелочника, где стрелочник пил чай и смотрел на неё через окно с изумлением. Туман редел. Где-то впереди, над Болотом, проступило солнце — маленькое, белое, без лучей, как пятно от монеты на замёрзшем стекле.

И Лена поняла, что не плачет.

Она проверила это — как проверяла пульс: остановилась, приложила варежку к щеке. Сухо. Только иней на ресницах. Она не плакала на перроне, не плакала, когда поезд ушёл, не плакала сейчас. Это было странно. Она ждала, что будет плакать, и приготовилась, и даже думала, где это лучше сделать, чтобы никто не видел. А слёз не было.

Было другое. Ей было холодно.

Это было так неожиданно, что она засмеялась вслух, одна, посреди путей. Ей было холодно — впервые за всю зиму. В декабре, в сорокаградусные морозы, она бегала в «Европу» в одном платье под шубой и не мёрзла; она стояла на площади Революции в одном платье, на коленях в снегу, над Грушницким, и не замечала холода; она весь декабрь ходила, как печка, как будто внутри у неё что-то горело. А теперь — второго января, в маминой шубе, в валенках, в пуховом платке — ей было холодно. До костей. До зубов. Будто печку погасили.

Медичка в ней назвала это сразу: вазоконстрикция. Спазм периферических сосудов. Падение адреналина после эмоционального напряжения. Отец рассказал бы про надпочечники.

Отец ничего бы не рассказал. Отца не было дома третью ночь.

Ночью она не спала.

Она легла рано, в девять, потому что делать было нечего, и Фёкла ушла к себе, и в доме было тихо, только тикали часы в столовой и потрескивала печь. Она легла, укрылась двумя одеялами и маминой шубой поверх — шуба звякнула подолом, и Лена вспомнила его голос в ухо: «тяжёлая», — и повернулась на бок.

И тело не дало ей уснуть.

Оно ждало. Как ждало весь декабрь, каждый вечер, к восьми часам, когда она одевалась, красилась перед маминым зеркалом и шла в «Европу», — оно ждало и сейчас, по привычке, по расписанию, глупое, как собака, которая каждый вечер выходит встречать хозяина к калитке и не знает, что хозяин уехал. Ей было жарко под двумя одеялами и под шубой, и холодно без них. Она ворочалась. Считала до тысячи. Повторяла кости запястья — os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, — как повторяла перед экзаменом. Не помогало. Медичка знала слова и для этого: условный рефлекс, Павлов, слюна у собаки на звонок. Звонок звенел, а еды не было. Слова были правильные и не помогали ничуть.

В третьем часу она встала. Спустилась на кухню босиком, по ледяному полу, зачерпнула ковшом из кадки воды — воды с ледком, с тонкой хрусткой корочкой, — наклонилась над тазом и вылила себе на голову.

Это было как удар. Дыхание перехватило, в глазах потемнело, сердце сбилось и пошло вскачь. Она стояла над тазом, мокрая, с волос текло за ворот рубашки, по спине, по груди, и зубы стучали, и она смеялась.

— Господи Исусе, — сказала Фёкла с порога, в одной рубахе, со свечой, крестясь. — Барышня. Да что ж это. Да вы никак ополоумели.

— Это гигиена, Фёкла, — сказала Лена, стуча зубами. — По Кнейппу. Немецкий метод.

Фёкла посмотрела на неё долго, со свечой, при которой её старое лицо было жёлтым, как пергамент.

— Немецкий, — сказала она. — Ага. А барыня-то, бывало, тоже. Как от гостей придёт — так в баню, хоть ночью. Хоть в мороз. — Она подумала. — Она это не по немецкому. Она это — чтобы смыть.

И ушла, не договорив, как всегда.

Лена вытерлась, поднялась в мезонин и уснула сразу, как убитая. И во сне не видела ничего.

11.3. Иордань

На Крещение Фёкла подняла Лену затемно.

— Пойдём, барышня. На иордань. Пойдём, Христа ради. В последний раз, может. Говорят, запретят скоро — и крестный ход, и иордань, и всё. Говорят, указ будет, чтоб церковь отдельно, а мы отдельно. Это как же — отдельно? Это мы, значит, сами по себе, а Бог сам по себе? — Она стояла над постелью в праздничном платке, в новых, ни разу не надёванных валенках, которые берегла с девятьсот четырнадцатого года, и в руках держала бидон для святой воды. — Пойдём. Ты всё равно не спишь. Я слышу, как ты не спишь.

Лена пошла.

Мороз в тот день был такой, что воздух звенел. Небо — бледное, высокое, без единого облака, с маленьким красным солнцем над заречьем, которое не грело, а только светило, как фонарь. Снег скрипел так громко, что крестный ход было слышно за версту — скрип тысяч валенок, сапог, лаптей, и над ним колокола, все сразу, с собора, с Воскресенской, с Троицкой, с Благовещенской, вразнобой, как в марте, но не весело, как в марте, а упрямо. Будто колокола знали, что их скоро тоже отделят, и звонили назло.

Ход спускался к Томи от собора.

Впереди несли хоругви, золотые и малиновые, обросшие инеем, — хоругвеносцы шли, наклонясь вперёд, против ветра, и хоругви плыли над толпой, как паруса. За ними — духовенство, в золотых ризах поверх шуб, с крестами, с кадилами, из которых шёл не дым, а пар. Архиерей — старый, маленький, в митре, под которой виден был красный от мороза нос, — шёл, опираясь на посох, и двое дьяконов поддерживали его под локти. За ними — народ. Бабы, мужики, купцы, старухи, дети на плечах, гимназисты, какие-то барышни в шубках с муфтами, нищие, солдаты в шинелях — много солдат, — и все пели, нестройно, хрипло, в мороз: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…»

На реке, у берега, была вырублена иордань — прорубь крестом, большая, с саженный крест, с краями, обложенными ледяными глыбами, — и над прорубью стоял крест из льда, выпиленный артелью, прозрачный, с голубым отсветом, политый свекольным квасом, чтобы был красный, — и красный лёд на солнце горел, как рубин. Вода в проруби дымилась. Чёрная, живая, страшная.

А на берегу, на высоком яру над рекой, стояли красногвардейцы.

Их было человек тридцать. В шинелях, в папахах, в обмотках, с винтовками, с красными повязками на рукавах. Стояли цепью, не мешали. Смотрели. Ревком решил, видимо, что запрещать иордань пока рано, а не присматривать — опасно, и прислал присматривать. Они стояли и смотрели вниз, на крестный ход, на хоругви, на ризы, на ледяной крест, на баб с бидонами — и у большинства лица были скучные, замёрзшие, нетерпеливые: когда кончится. Но Лена видела — потому что смотрела, — как один, молодой, крайний, с лицом конопатым, деревенским, совсем мальчишеским, вдруг, когда архиерей опустил крест в прорубь в первый раз и толпа ахнула и запела громче, — быстро, украдкой, мелко, под шинелью, у самого пояса, чтобы не видели свои, перекрестился. И тут же сделал вид, что поправлял ремень.

И Лена узнала его. Это был конопатый солдат с гармонью — тот, из Ботанического сада, в июле, который стоял на прострелах. Она гнала его тогда латынью. Теперь он стоял над иорданью в красной повязке и крестился под шинелью.

Архиерей окунул крест трижды. Хор грянул. Голуби — кто-то выпустил голубей, как в старое время, — взлетели над прорубью, белые, ошалевшие от мороза, и сделали круг, и полетели к собору. И тогда мужики полезли в воду.

Они раздевались прямо на льду — скидывали тулупы, полушубки, валенки, рубахи, — оставались в одних подштанниках, красные, распаренные, синие, и, крестясь, крякая, ухая,

прыгали в прорубь. По одному. Окунались с головой — трижды — и вылезали, и их вытягивали за руки, и они стояли на льду, голые, дымящиеся, как самовары, и от них шёл пар, и они хохотали, и им подавали тулупы и стаканы, в которых было что-то, что ревком запретил ещё в ноябре.

— Господи, — шептала Фёкла, крестясь. — Господи, сохрани.

Среди мужиков, прыгавших в прорубь, Лена увидела знакомую фигуру.

Длинную, тощую, белую, как ощипанный гусь, с седой бородой до пупа, в одних холщовых подштанниках, босую. Человек этот стоял у края проруби, чуть в стороне от других, и не крестился, а сложил руки на груди и смотрел в чёрную воду, как смотрят в книгу. Это был Нехлюдов.

— Князь, — сказала Лена. — Дмитрий Иванович.

— Барышня Трофимова! — Нехлюдов обернулся, и лицо его, старое, румяное, в бороде, засияло. — Христос с вами! Вы видите? Вы видите? Вот — народ! Вот — вера! Не церковная, не казённая — народная! Эти люди не знают ни Никейского собора, ни догмата о Троице, а знают воду и Бога в ней. Лев Николаевич говорил… — Он поднял палец. — Нет, я не буду говорить, что говорил Лев Николаевич. Я сделаю, как он делал. Я окунусь с народом. Без попов. Но — с народом!

— Вы простудитесь, — сказала Лена. — Вам семьдесят лет.

— Семьдесят три! — сказал Нехлюдов с гордостью. — И я ни разу не болел с девяносто первого года, с голода, когда спал в избах на соломе. Тело, барышня, — это храм. Его надо закалять. Как у вас, у медиков, говорят? Гигиена! — И, прежде чем она успела ответить, он перекрестился — всё-таки перекрестился, по-православному, широко, — и прыгнул.

Вода сомкнулась над седой головой. Толпа ахнула. Мужики загоготали. Потом из чёрной воды вынырнула борода, за ней — красное лицо с вытаращенными глазами и раскрытым ртом, из которого вырвалось что-то совершенно не толстовское. Его вытащили два мужика, хохоча, и закутали в чей-то тулуп, и сунули ему в руку стакан, и он выпил, не глядя, и закашлялся, и сказал хрипло, с восторгом:

— С народом!

Фёкла набрала святой воды в бидон, долго выбирая место, где почище. На обратном пути, на подъёме, она остановилась передохнуть, оглянулась на реку — на прорубь, на ледяной крест, на красногвардейцев на яру — и сказала:

— Мужики говорят: кто в проруби крестился — тот за собрание. А кто на берегу стоял — тот за большевиков. — Она подумала. — А кто и там и там — тот, стало быть, за Россию.

— А кто дома сидел? — спросила Лена.

— Тот за себя, — сказала Фёкла. И пошла дальше.

Телеграмма пришла на третий день.

Она пришла раньше — Лена потом узнала, что телеграф принял её ещё седьмого, к вечеру, — но ревком держал её сутки: решали, как печатать. Как событие или как мелочь. С ликованием или с объяснением. Решили — с объяснением.

Отец пришёл домой девятого, вечером.

Он теперь приходил редко — раз в три дня, раз в неделю, — ночевал в губернаторском доме, где помещался ревком, на диване в бывшей приёмной, под портретом, с которого сняли царя и не повесили никого. Приходил усталый, серый, небритый, в шинели поверх старого сюртука, пахнущий не аммиаком, как раньше, а табаком, сургучом и чужими людьми. Фёкла молча ставила перед ним щи. Он ел молча. Говорил мало. Раньше он говорил за обедом без умолку — о гормонах, о Старлинге, о секретине, о том, что жизнь есть способ существования белковых тел, — а теперь молчал, и это было непривычно, как непривычна тишина в доме, где всегда тикали часы и вдруг перестали.

Девятого он пришёл, сел к столу, съел щи и достал из кармана шинели листок.

Узкий, серый, с машинописным текстом, с лиловым штампом ревкома в углу. Такие листки ревком вывешивал на стенах и раздавал газетчикам.

— Учредительное собрание распущено, — прочитал он.

Он прочитал это тем голосом — новым, сухим, ровным, — который Лена впервые услышала в декабре, когда он принёс домой копию студенческого списка с её подписью. Голосом без интонации. Голосом, которым читают протокол. Он прочитал, что пятого января в Таврическом дворце открылось Учредительное собрание, что большинство его, правые эсеры, отказалось обсуждать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, что большевики и левые эсеры покинули зал, что в пятом часу утра начальник караула матрос Железняков предложил оставшимся депутатам разойтись, ибо «караул устал», и что декретом Центрального исполнительного комитета Учредительное собрание распущено.

«Караул устал».

Он прочитал это — и не поднял глаз от листка. Не улыбнулся. Не торжествовал. Лена ждала, что он будет торжествовать, — она приготовилась, как приготовилась плакать на вокзале, — и он не торжествовал. Он сидел над листком и, кажется, не знал, что с ним делать дальше: сложить, порвать, оставить на столе. Ему было почти неловко. Он прочитал вслух дочери, которая подписала резолюцию в защиту этого собрания седьмой из ста семидесяти трёх, что это собрание разогнали, — и теперь сидел, как человек, который сказал что-то неуместное в гостях и не знает, как загладить.

И это было хуже, чем если бы он торжествовал.

— Караул устал, — сказала Лена.

Она услышала свой голос и не узнала его. Она услышала другой голос — в Сочельник, в номере четырнадцатом, над стерлядью, под ёлкой: «Ваше собрание разгонят за один вечер. Матрос скажет “караул устал” — и все пойдут домой». Он сказал это слово в слово. Слово в слово — за двенадцать дней. Он даже матроса угадал.

И его не было. Он уехал второго. Он не любил присутствовать при том, что предсказал.

— Леночка, — сказал отец. Он поднял наконец глаза от листка, снял очки, и без очков глаза у него были беззащитные, близорукие, усталые, такие, как в ту ночь в марте, когда он говорил про пельмени с перцем. — Леночка, ты должна понять. Это собрание выбирали в ноябре. По старым спискам. Ещё до того, как левые эсеры откололись от правых. Народ голосовал за эсеров, не зная, что эсеры — это уже две партии. Это собрание не выражало…

Он говорил правильные слова. Те, что были напечатаны ниже на листке, мелким шрифтом, — Лена видела их вверх ногами. Он говорил их ровно, по порядку, и сбивался — в одном месте, на слове «временно», — и начинал снова. Она смотрела на него и не слышала. Она думала: он предсказал. А отец — объясняет. Один знал заранее, другой объясняет потом. И оба — правы.

Она встала из-за стола, не доев.

— Лена, — сказал отец ей в спину.

Она не обернулась. Второй раз за неделю.

Про Шингарёва и Кокошкина она узнала через день, в клиниках.

Это рассказал Мыш — Владимир Михайлович, хирург, профессор, у которого она работала с осени. Рассказал в ординаторской, при всех, не понижая голоса, с газетой в руке — петроградской, неизвестно как дошедшей, с оборванным углом. Рассказал сухо, как рассказывал на обходе историю болезни, и от этой сухости было страшнее.

Андрей Иванович Шингарёв и Фёдор Фёдорович Кокошкин, депутаты Учредительного собрания, кадеты, бывшие министры Временного правительства, арестованные ещё в ноябре и сидевшие в Петропавловской крепости, были больны. Шингарёв — врач, земский врач из-под Воронежа, автор книги о вымирающей деревне, которую Мыш знал и ценил, — болел плевритом. У Кокошкина был туберкулёз. Их перевели из крепости в Мариинскую больницу, в

палату, на койки. И в ночь на седьмое января в больницу пришли матросы и красногвардейцы, и прошли в палату, и закололи их — больных, лежащих в постелях, — штыками и застрелили. Кокошкина — в постели. Шингарёва — в постели.

— В постели, — повторил Мыш. Он положил газету на стол, разгладил её ладонью. — Больной лежит на больничной койке. Под одеялом. С температурой. Это, господа, единственное место на свете, где человек беззащитен совершенно. Даже на войне, даже в плену — нет. А на койке — да. Койка — это договор. Человек ложится и говорит: делайте со мной что хотите, я вам верю. — Он помолчал. — Я тридцать лет работаю в клиниках. Я не знаю, что сказать.

Никто ничего не сказал.

Лена стояла у окна ординаторской, в белом халате, с руками, ещё мокрыми после мытья, и смотрела на двор клиник, на сугробы, на дрова, на санитарную лошадь, жующую сено. И не могла это вместить. Она видела лица — она видела фотографию Шингарёва в «Ниве», бородатого, в пенсне, доброго, похожего на отца, — и видела койку, обычную больничную койку, железную, крашенную белым, с серым одеялом, такую, какие стояли сейчас за стеной, в палате, где она утром мерила температуру солдату с гангреной стопы. И штык. Она не могла соединить койку и штык. В её голове они лежали в разных ящиках, как лежали в анатомичке разные кости, и не соединялись, и она пыталась соединить их, и голова болела.

И тогда в голове у неё сказал голос. Спокойный, вежливый, чуть насмешливый, с седыми висками.

«Арифметика, Лена. В больнице не было караула. Или он тоже устал».

Она вздрогнула и обернулась — будто он стоял за спиной. В ординаторской никого не было, кроме Мыша, который сидел над газетой, и молоденького ассистента, который курил у печки.

Она поняла, что он не уехал. Он уехал второго, в фанерном вагоне, на восток. А голос остался. И будет теперь говорить у неё в голове — каждый раз, когда случится то, что он предсказал. А случаться будет часто.

11.4. «У. С.»

Павел Яковлевич Михайлов вернулся из Петрограда восемнадцатого января, через двенадцать дней после того, как его разогнали.

Он ехал одиннадцать суток: из Петрограда до Вологды в теплушке с демобилизованными, от Вологды до Вятки — на крыше, от Вятки до Перми — снова в теплушке, от Перми до Екатеринбурга — неизвестно как, он сам не помнил, от Екатеринбурга до Омска в классном вагоне, где у него украли сапоги, пока он спал, и от Омска до Тайги — в валенках, купленных на станции у бабы за последние деньги. С Тайги в Томск его довёз на санях мужик из Семилужков, который голосовал за эсеров и, узнав, что везёт депутата Учредительного собрания, не взял с него ни копейки и всю дорогу расспрашивал, когда дадут землю.

— Я ему сказал — скоро, — говорил Михайлов. — Я ему сказал: скоро, отец. А он мне: так ведь собрание-то ваше разогнали? А я ему: разогнали. А он: как же тогда скоро? — Михайлов развёл руками. — И я не знал, что ему ответить. Я, депутат Учредительного собрания от Томской губернии, избранный пятьюстами сорока одной тысячей голосов, не знал, что ответить мужику из Семилужков. Двадцать вёрст молчали.

Он сидел в губернском комитете партии социалистов-революционеров, в задней комнате дома на Монастырской, где Лена с июля перепечатывала на машинке воззвания и протоколы. Комната была маленькая, жаркая, натопленная, прокуренная до синевы, и набилось в неё человек сорок: все, кто был в городе из комитета, из фракции, из земской управы, из кооперации, из студенческой группы. Сидели на стульях, на подоконниках, на полу, стояли у стен, в дверях, в коридоре. Марья Павловна сидела у самой печки, прямая, в своей енотовой шубе, хотя было жарко, и смотрела на Михайлова неподвижно, не мигая, как смотрела на Тайге на красные флаги.

Михайлов был небрит, худ, в чужом пиджаке, который был ему велик, и в тех самых валенках с Тайги. Он говорил тихо, хрипло — простудил горло на крыше под Вяткой — и часто останавливался, чтобы отпить из кружки остывший чай.

Он рассказывал ночь.

Как пятого с утра по Петрограду шли демонстрации в поддержку собрания — рабочие, студенты, служащие, с красными флагами, с плакатами «Вся власть Учредительному собранию!» — и как у Литейного по ним дали залп из винтовок, и как он видел на снегу убитых, и среди них девушку в студенческой шапочке. Как в Таврическом дворце, в Белом зале, где раньше заседала Дума, хоры были набиты матросами и солдатами с винтовками, и как они кричали, свистели, топали, щёлкали затворами, целились в депутатов — шутки ради, — пока Чернов, избранный председателем, говорил свою речь. Как Чернов говорил три часа, и его перебивали, и он продолжал. Как большевики ушли из зала. Как потом ушли левые эсеры. Как остались они — правые, центр, кадетов почти не было, кадеты были в крепости, — и принимали закон о земле, торопясь, в пятом часу утра, при свете, который мигал и гас: кто-то в подвале выключал электричество и снова включал, как будто баловался. И как к председательскому столу подошёл матрос — молодой, широкоплечий, с наганом на поясе, — и тронул Чернова за плечо, и сказал, что караул устал и что пора расходиться.

— Он не был груб, — сказал Михайлов. — Вот что я помню. Он не кричал, не угрожал. Он сказал это почти вежливо. Как говорит дворник жильцам, засидевшимся на лавке: пора, господа, ворота запираю. И мы… — он замолчал. — И мы разошлись. Чернов дочитал закон о земле — скороговоркой, в пустом зале, — и мы проголосовали, и разошлись. В пятом часу утра. На улицу. В темноту. Нас никто не тронул. Нас никто не держал. Мы просто… вышли.

Он отпил чаю.

— А шестого днём мы пришли к дворцу — и двери были заперты, и у дверей стоял караул с пулемётом. Другой караул. Свежий. Не уставший.

В комнате никто не засмеялся.

— А седьмого, ночью, убили Шингарёва и Кокошкина, — сказал Михайлов. — Вы уже знаете. Я видел их тела. В мертвецкой при больнице. Я ходил опознавать — меня попросили, потому что больше никто из депутатов не решился. — Он помолчал. — Я не врач. Я не умею описывать раны. Я скажу только, что у Андрея Ивановича было лицо… спокойное. Как у человека, который спит.

Марья Павловна у печки шевельнулась. Лена увидела, как у неё на скулах выступили красные пятна.

Потом Михайлов полез во внутренний карман чужого пиджака, долго шарил там, достал бумажник — потёртый, пустой — и из бумажника вырезку. Маленькую, газетную, сложенную вчетверо, истёртую на сгибах.

— Это мне дали в Петрограде, — сказал он. — Знакомая. Курсистка. Она сказала: увезите в Сибирь, пусть там прочтут. Это Гиппиус. Зинаида Николаевна. Она написала это ещё в ноябре, после выборов, когда стало ясно… когда стало понятно, к чему идёт. Её печатали в «Новых ведомостях», что ли, или в «Нашем веке», я не помню. — Он протянул вырезку. — Я не умею читать стихи. Пусть кто-нибудь…

Вырезку взяла Марья Павловна.

Она развернула её, поднесла к лампе, прищурилась — она была дальнозорка и не носила очков из гордости, — и прочитала. Вслух. Своим хриплым, сухим, надсаженным голосом, каким пела на площади «Марсельезу» в марте. Медленно. Раздельно. Как читала, наверное, на каторге Символ веры.

— «Наших дедов мечта невозможная…»

Комната затихла. Даже в коридоре перестали шептаться.

— «Наших героев жертва острожная…»

Марья Павловна остановилась.

Она остановилась на этой строке и не могла читать дальше. Она смотрела на вырезку, и губы у неё шевелились, а голоса не было. Лена видела, как дрожит вырезка в её тёмной узловатой руке, в шрамах, с обломанными ногтями. Потом Марья Павловна подняла глаза — не на Михайлова, не на людей в комнате, а на Лену. Прямо на неё, через всю комнату, через табачный дым.

— Это про Катю, — сказала она.

Она сказала это тихо, но все услышали. И все — Лена не поняла, кто первый, — все встали. Те, кто сидел на стульях, на подоконниках, на полу, — встали. Молча. Как встают, когда входит гроб. Михайлов встал в своих валенках. Студенты у стены встали. Старик-кооператор, который весь вечер дремал в углу, — встал, опираясь на палку.

Встала и Лена.

Она стояла со всеми, в табачном дыму, в духоте, и Марья Павловна дочитывала — твёрдо теперь, громко, до конца: «Наша молитва устами несмелыми, наша надежда и воздыхание — Учредительное Собрание — что мы с ним сделали?..» — и последняя строка повисла в воздухе вопросом, на который никто не ответил.

И Лена думала о матери. О маме, которая шла по этапу и отказывалась встать перед начальником тюрьмы, которая читала в карцере Символ веры, которая отдавала больным свою пайку и учила уголовных грамоте. О жертве острожной. Она думала об этом — и вдруг поймала себя на том, что думает о другом. О Сочельнике. О ёлке в номере четырнадцатом, о стерляди на серебряном блюде, о французском шампанском. О человеке с седыми висками, который сказал ей тогда, под ёлкой, смеясь: «Вы взрослая женщина, Лена. Пора перестать верить в бумагу».

Он предсказал всё это — и матроса, и «караул устал», и запертые двери — между стерлядью и мандаринами. И уехал обедать в Харбин.

А они стояли. Сорок человек, в прокуренной комнате на Монастырской, и стояли перед газетной вырезкой, как перед иконой.

Лене стало стыдно. Она не знала, за кого: за них или за себя. За то, что она стоит с ними. Или за то, что ей стыдно стоять.

Вырезку она унесла домой.

Она попросила — Марья Павловна отдала, не спрашивая зачем, — и Лена несла её через весь город в варежке, зажав в кулаке, как несут что-то живое, что может улететь. Дома было пусто: Фёкла спала, отец ночевал в ревкоме. Она поднялась в мезонин, затопила печку, зажгла лампу под зелёным абажуром, достала «Ундервуд».

Она купила его в мае, на золото, вместе с курсами стенографии, и с тех пор напечатала на нём столько, сколько не напечатала бы за всю жизнь: протоколы областной конференции, положение о думе, резолюции, воззвания комитета, «граждане и братья», отчёты съездов. Всё это было законно. Всё это было — работа. Секретарская, стенографическая, машинописная работа, за которую иногда даже платили. Она печатала чужие слова, и слова уходили, и она за них не отвечала.

Теперь она заложила в машинку папиросную бумагу — тонкую, почти прозрачную, которую курильщики покупали в лавках пачками, чтобы крутить цигарки, — и между листами копирку. Пять листов. Больше машинка не пробивала.

И напечатала:

«У. С.

Наших дедов мечта невозможная…»

Она печатала до трёх часов ночи. Двести экземпляров. Сорок закладок по пять листов. Пальцы болели, плечи затекли, в глазах рябило от лиловых букв на папиросной бумаге. Печка прогорела, и в мезонине стало холодно, и она печатала в маминой шубе, накинутой на плечи, — подол звякал о стул на каждой каретке. Машинка стучала в ночном доме так громко, что

казалось, её слышно на всей горе, и Лена дважды останавливалась и прислушивалась: не идёт ли кто по улице, не остановился ли у калитки. Никто не шёл.

И она понимала — с каждым ударом по клавишам всё яснее, — что это уже не работа.

Это уже было другое. Перепечатка стихов о разогнанном Учредительном собрании — на машинке, двести экземпляров, ночью, для распространения, — при власти, которая это собрание разогнала, которая закрывала газеты, которая завела Чрезвычайную комиссию и копировала студенческие списки, — это было то, что в старое время называлось «распространением противоправительственных воззваний», и за это в старое время давали ссылку. В Нарым. На Кафтан. Туда, где была мама.

Это было — подполье. Первый раз в её жизни.

И от этого слова, которое она произнесла про себя впервые, у неё чаще забилось сердце — сто, сто десять, она не стала считать, — и это было похоже на то, что она чувствовала в ноябре, когда выманивала у Гомаровского канарейку: власть. Не над ним — над чем-то большим. Над собой. Она делала то, что решила сама. Не секретарь, не стенографистка, не машинистка, перепечатывающая чужое за двенадцать рублей девяносто копеек. Она.

Внизу, в третьем часу, хлопнула дверь.

Лена замерла с поднятыми руками над клавишами.

Шаги в сенях. Тяжёлые, усталые, знакомые. Кашель — сухой, табачный. Отец. Он не ночевал в ревкоме, он пришёл домой. Скрипнула дверь в столовую. Чиркнула спичка. Долго было тихо. Потом скрипнул диван — он лёг в столовой, не поднимаясь к себе, как ложился теперь часто, когда приходил поздно.

Лена сидела над машинкой, не дыша, минут десять. Потом услышала внизу его храп — ровный, с присвистом. Тогда она медленно, очень медленно, стараясь, чтобы каретка не звякнула, вынула последнюю закладку, разобрала листы, сложила все двести в стопку, обернула газетой и спрятала под матрас. Вырезку — в Новый Завет матери, между страниц. Машинку закрыла чехлом. И легла, не раздеваясь, и пролежала до утра с открытыми глазами, слушая храп внизу.

Утром она спустилась к чаю.

Отец уже сидел за столом — в старом сюртуке, без шинели, небритый, с красными глазами. Пил чай с блюдца, как пил всегда, когда никто не видел, по-студенчески, по-никитински. Перед ним на скатерти лежал лист папиросной бумаги.

Один. Лиловые буквы.

Лена остановилась в дверях.

Она поняла сразу — как понимают на экзамене, что забыли самое главное, — что один лист выпал. Когда она несла стопку к кровати? Когда заворачивала в газету? Он выпал, и упал, и его сквозняком вынесло на лестницу, или она сама наступила на него, когда спускалась, и не заметила, — она не знала. Она знала только, что он лежит теперь на скатерти перед отцом, рядом с сахарницей, и отец его читает.

Он читал долго. Шесть строк — а он читал, наверное, минуту. Потом положил лист, отпил чаю с блюдца, поставил блюдце, вытер бороду.

— Хорошие стихи, — сказал он.

Лена молчала.

Он помолчал тоже. Он смотрел не на неё — на лист, на лиловые буквы, на слово «острожная». Она видела, что он думает о чём-то, о чём не скажет. Может быть, о маме. Может быть, о «жертве острожной». Может быть — о том, что знал про маму он один, а она не знала. Лицо у него было неподвижное, как в ту ночь в марте, когда Марья Павловна говорила «она была святая», а он сжимал в пальцах кусок сахару, пока сахар не рассыпался.

— Буржуазные, — сказал он.

И сложил лист — вчетверо, аккуратно, по сгибам, — и положил его во внутренний нагрудный карман сюртука. Туда, где, Лена знала, лежала копия студенческого списка, которую он принёс в декабре и сказал тогда тем сухим голосом: «Списки имеют свойство пригождаться». Лист со стихами лёг к списку.

Он ничего больше не сказал. Ни слова. Не спросил, откуда. Не спросил, сколько. Не спросил, для кого. Допил чай, надел шинель, взял шапку и ушёл в ревком.

Лена стояла в дверях столовой и не знала, что он сделает с этим листом. Порвёт. Сожжёт. Забудет в кармане. Отдаст тем, в кожанках, которые записывали фамилии на студенческой сходке. Или будет носить у сердца, рядом со списком, — просто так, потому что хорошие стихи.

Она не знала. И это незнание было хуже всего.

Двести экземпляров ушли за три дня. Их раздавали в университете, в Технологическом, на женских курсах, в земской управе, в кооперации, на Базаре, в очередях за хлебом. Их наклеивали на стены по ночам, рядом с приказами ревкома, и утром их срывали, а к вечеру наклеивали новые. Кто-то — Лена не знала кто — переписал стихи от руки и продолжал переписывать, и через неделю «У. С.» ходило по Томску в десятках списков, с ошибками, с пропущенными строками, с приписками. Лена видела один такой список на стене у Думского моста: внизу, под «что мы с ним сделали?», кто-то приписал карандашом, корявыми буквами: «А ничо не сделали. Разошлись». И ещё ниже, другой рукой: «Караул устал».

11.5. Свадебный генерал

Сибирская областная дума съезжалась в Томск всю вторую половину января, и город смотрел на неё, как смотрят на цирк, приехавший в неурочное время.

Депутаты ехали отовсюду. Из Иркутска и Красноярска, из Барнаула и Бийска, из Семипалатинска и Акмолинска, из Якутска и Верхнеудинска, из Читы и даже, говорили, из Владивостока, хотя владивостокского никто не видел. Ехали по той же магистрали, по которой второго января уехал на восток фанерный вагон, только в обратную сторону, — в теплушках, на тормозных площадках, в почтовых вагонах, в санях по тракту, по сорок, по пятьдесят градусов. Приезжали обмороженные, с чёрными пятнами на щеках, с перевязанными пальцами. Один, из Минусинска, ехал на перекладных три недели и приехал с воспалением лёгких, и его прямо с саней увезли в клиники, где Лена потом мерила ему температуру и он в бреду требовал слова по порядку ведения.

Их селили где придётся: в «Европе», пока хватало номеров, потом в «Метрополе», потом по частным квартирам, у сочувствующих, в земской управе на столах, в кооперативном союзе на мешках с мукой. Двое бурятов жили неделю в библиотеке университета, в той самой читальне, где в августе Лена стенографировала областную конференцию, и спали на сдвинутых столах под портретом Потанина.

«Фракция национальностей» была самой заметной. Её боялись и ею любовались. Буряты в синих халатах на меху, подпоясанных шёлковыми кушаками, в остроконечных шапках с красными кистями. Якуты в оленьих дохах мехом наружу, в торбасах, расшитых бисером, с лицами, тёмными от мороза и солнца. Киргиз из Семипалатинска в малахае с лисьими ушами и в стёганом чапане, с плёткой за голенищем. Татары в тюбетейках и шубах. Алтаец в шапке из рыси. Они ходили по Почтамтской группой, неторопливо, с достоинством, и за ними бегали мальчишки, и лавочники выходили на крыльцо, и бабы крестились. Город смотрел на них, как на зверинец.

А они смотрели на город, как на Учредительное собрание.

Лена поняла это, когда стенографировала для них в земской управе предварительное совещание фракции. Старик-якут, депутат от Вилюйского округа, говорил через переводчика долго, медленно, и переводчик переводил: «Он говорит, что никогда никто не спрашивал якутов, как им жить. Царь не спрашивал. Губернатор не спрашивал. Купец не спрашивал. Он говорит, что впервые за триста лет якутов спросили. И он приехал ответить. Он ехал сорок

дней. Он говорит, что если его не выслушают, он поедет обратно ещё сорок дней и скажет своим: нас опять не спросили». Старик закончил и сел, положив на колени тёмные руки, и смотрел на Лену, которая записывала, будто от её записи что-то зависело.

У Лены дрогнул карандаш. Она переписала эту речь потом набело, на машинке, два раза — один экземпляр в протокол, другой себе.

Двадцать второго января депутаты пошли к Потанину.

Это решил Якушев — Иван Александрович Якушев, эсер, председатель организационного комитета думы, худой, бледный, нервный, с лихорадочными глазами, бывший иркутский ссыльный, который в эти дни не спал, кажется, вовсе, а только говорил, писал, рассылал, договаривался, искал квартиры, деньги, дрова, бумагу и всё время держал руку в кармане пальто, где, все знали, лежал браунинг. Якушев сказал, что перед открытием думы нужно получить благословение. «Григорий Николаевич — это совесть Сибири, — сказал он. — Мы не можем открыться без него. Это будет неправильно. Это будет — не по завету».

Потанин жил в маленькой квартире на втором этаже деревянного дома — две комнаты, кухня, сени. Книги — везде: на полках до потолка, на столе, на стульях, на подоконниках, на полу стопками, перевязанными бечёвкой. Карты Монголии и Китая на стенах. Чучело какой-то степной птицы с пыльными стеклянными глазами. Старый тибетский бронзовый божок на комоде, которого Фёкла, будь она здесь, перекрестила бы. Печь, натопленная до звона. И запах — старой бумаги, старого человека, лекарств, чая и мышей.

Депутатов пускали по пять человек. Больше в комнату не помещалось.

Лена стояла у двери с тетрадью — вела список приходящих, по просьбе Якушева, «для истории». Она видела всё.

Потанин сидел в кресле у печки, укрытый клетчатым пледом до подбородка, хотя было жарко. Ему было восемьдесят два года. Он был маленький, высохший, совершенно белый — белая борода, белые волосы, белые брови, белое лицо, на котором только глаза были живые: голубые, выцветшие, детские, мокрые. Он почти ничего не видел. Он почти ничего не слышал. Его поддерживала под руку молоденькая племянница или воспитанница — Лена так и не поняла кто — и громко, в самое ухо, повторяла ему фамилии входящих.

— Дедушка, это из Иркутска! Депутат Иркутской губернии!

— Из Иркутска, — повторял Потанин дребезжащим голосом и протягивал руку. — Из Иркутска. Это хорошо. Я в Иркутске сидел. В шестьдесят пятом. Нет. В шестьдесят восьмом. Нет… Я в Омске сидел. В Иркутске я был проездом. На каторгу. Это хорошо, что из Иркутска.

Депутат из Иркутска, мужчина лет сорока, в пенсне и в бурках, наклонялся, и Потанин клал ему на голову сухую, лёгкую, как осенний лист, ладонь, и держал, и что-то шептал, и депутат выпрямлялся с мокрыми глазами.

— Григорий Николаевич доволен, — говорил Якушев вполголоса каждому, провожая к двери. — Григорий Николаевич очень доволен. Он благословил.

Входили следующие пятеро.

— Дедушка, это буряты! Из Забайкалья!

— Монголы! — Потанин оживился, приподнялся в кресле, и плед сполз. — Монголы! Я был в Монголии. Я ездил с Александрой Викторовной, с покойницей, в восемьдесят шестом… Нет, в семьдесят шестом. Сайн байна! — Он сказал это по-монгольски, громко, радостно, и буряты переглянулись и заулыбались, и старший из них, в синем халате, что-то ответил по-бурятски, длинно и почтительно, и поклонился в пояс. Потанин ничего не расслышал, но кивал и плакал. — Сайн байна. Хорошо. Это хорошо, что монголы.

Буряты не стали объяснять, что они не монголы.

Входили якуты. Потанин назвал их тунгусами. Входил киргиз — Потанин назвал его казаком и долго вспоминал казачьего офицера, с которым служил в шестидесятых, и благосло-

вил киргиза за этого офицера. Входил татарин. Потанин спросил его, как здоровье Ядринцева. Ядринцев умер в девяносто четвёртом году. Татарин ответил, что, слава Аллаху, хорошо.

— Григорий Николаевич доволен, — говорил Якушев.

Потом кухарка внесла самовар.

Она была толстая, рябая, в фартуке, с красными руками, — и, внося самовар, тяжёлый, ведёрный, пыхтящий, наклонилась над столом у самого кресла. И Потанин, который в эту минуту поднял руку, чтобы благословить очередного депутата, — кажется, из Барнаула, — промахнулся, и сухая ладонь опустилась на голову кухарки, на её ситцевый платок.

— Сибирь, — сказал Потанин дрожащим голосом, держа руку на платке. — Сибирь будет свободной. Помните. Помните это. Областная дума — это… это мечта наша. С Ядринцевым. С шестидесятых. Вы — исполнители. Благословляю.

Кухарка замерла с самоваром в руках. Посмотрела на Якушева. Якушев посмотрел на неё. Кто-то из депутатов у двери фыркнул и закашлялся в кулак.

— Григорий Николаевич доволен, — сказал Якушев кухарке, совершенно серьёзно.

Кухарка поставила самовар, перекрестилась и ушла, пятясь.

Лена записала в тетрадь — она записывала всех, по порядку, как велели, — «Аграфена, кухарка», и поставила против этого имени номер, как против депутатов. Двадцать третий. Потом посмотрела на запись и не стала зачёркивать.

Ей было смешно. И больно. И она не могла понять, чего больше, и стояла у двери, прижимая тетрадь к груди, и чувствовала, как у неё дрожат губы — то ли от смеха, то ли от слёз, — и вспоминала август, библиотеку, бело-зелёный флаг, который поднимали над крыльцом, и как она плакала тогда, глядя на него, и как этот же старик стоял тогда на крыльце, поддерживаемый под руки, и плакал вместе с ней. Он был тогда тоже глухой. И тоже путал годы. Но тогда это было трогательно. А теперь — когда за окном стоял ревком, и красногвардейцы, и приказ о сдаче оружия, и Учредительное собрание разогнали в Петрограде за одну ночь, — теперь это было… Она не знала, как это назвать. Свадьба, на которую позвали генерала. Генерал пришёл, и его посадили во главу стола, и он сидит и благословляет, а невесту в это время уже уводят.

Свадебный генерал, подумала она. Так было у Чехова. Она читала это в гимназии.

В сенях, у вешалки, она столкнулась с Нехлюдовым.

Он стоял, снимая калоши, в старой бобровой шубе, в которой ходил, кажется, ещё при Александре Третьем, и был необыкновенно возбуждён. На левом рукаве шубы у него была нашита траурная лента — широкая, креповая, чёрная, — а лицо сияло так, как сияло на иордани.

— Барышня Трофимова! — Он схватил её руку обеими своими. — Вы слышали? Вы слышали, что они сделали?

— Кто?

— Они! Совнарком! Двадцатого января! Декрет! Об отделении церкви от государства и школы от церкви! — Нехлюдов задыхался от счастья. — Вы понимаете? Вы понимаете, что это значит? Это значит — Синод больше не государственное учреждение! Это значит — попы больше не чиновники! Это значит — никто больше не может отлучить человека от церкви по указу! Лев Николаевич! — Голос его сорвался. — Его отлучили в девятьсот первом году, по определению Синода, как чиновника, как… как неблагонадёжного. А теперь — нет Синода! То есть он есть, но он — никто! Он — частное общество! Как кружок любителей пения! — Он засмеялся, мокро, по-стариковски. — Вы понимаете? Лев Николаевич победил! Через семнадцать лет! Через восемь лет после смерти! Большевики исполнили завет Толстого!

— А лента? — спросила Лена, глядя на его рукав.

Нехлюдов посмотрел на ленту. Лицо его мгновенно изменилось — из сияющего стало скорбным, губы задрожали, глаза наполнились слезами.

— Шингарёв, — сказал он. — И Кокошкин. Фёдор Фёдорович. Я знал его. Мы вместе были в партии, в центральном комитете, в пятом году… Он был — ум. Он был — совесть. Он писал положение о выборах. В Учредительное собрание. Он создал этот закон, по которому всех выбрали. И его закололи. Большевики. В постели. — Нехлюдов вытер глаза рукавом — тем, на котором была лента. — Звери. Звери, барышня. Изверги.

— Те же самые, — сказала Лена. — Которые исполнили завет Толстого.

Нехлюдов открыл рот. Закрыл. Посмотрел на неё растерянно, как ребёнок, которому показали, что левая рука и правая — его собственные.

— Да, — сказал он наконец. — Да. Те же. — Он подумал. — Но это ведь… это ведь можно и так и так. Добро и зло — в одном и том же. Лев Николаевич говорил… — Он оборвал себя. — Нет. Не буду. Я, знаете, плачу и радуюсь. С утра. Плачу — и радуюсь. Одновременно. Жена говорит — это нервы. А я думаю — это и есть жизнь.

И пошёл к Потанину, в калошах, забыв их снять.

Последней в тот день пришла Кошеварова.

Зинаида Павловна вошла в сени, как входит в гавань корабль после бури: величественно, медленно, с креном. В каракулевой шубе, в шляпе с вуалеткой, с огромной корзиной в обеих руках, накрытой полотнищем — бело-зелёным, шёлковым, с бахромой, — флагом дамского комитета, который в августе поднимали над библиотекой, а потом хранили в шкафу у Кошеваровой «до лучших времён». Лучшие времена, по её мнению, наступили.

— Пироги, — объявила она. — Для депутатов. С капустой, с грибами, с рыбой. Рыба — нельма, настоящая, с Оби, мне привезли. И ватрушки. Господа депутаты, вы же не ели, вы же с дороги, я знаю, я вижу! — Она сдёрнула флаг с корзины, и по сеням поплыл запах печёного теста и рыбы, такой густой и прекрасный, что буряты в комнате у Потанина обернулись. — Мы, дамы, не можем голосовать в думе. Но мы можем кормить тех, кто голосует. Это наш вклад в народоправство.

— Зинаида Павловна, — сказала Лена, — флаг…

— Что флаг? — Кошеварова посмотрела на полотнище, которое держала в руке, как полотенце. — Флаг чистый. Я его стирала. В щёлоке. Он для того и есть, чтобы служить делу. — Она понизила голос. — А вы знаете, Леночка, что открытие назначено на первое февраля? Уже нашли зал, уже ставят стулья. Я обещала принести скатерти. И цветы — хотя где сейчас взять цветы? Бумажные, наверное. Как в марте.

— Его не откроют, — сказала Лена.

Кошеварова посмотрела на неё. Улыбка у неё на лице не исчезла, но застыла, как застывает вода, когда на неё дохнёт мороз.

— Почему?

— Потому что Совет не допустит.

— Ну что вы, — сказала Кошеварова. — Ну что вы, Леночка. Это же дума. Это же выбранные люди. Это же… — Она замолчала. Потом улыбнулась снова, шире. — Ну, мы посмотрим. Скатерти я всё равно принесу.

Лена смотрела ей вслед — как она идёт в комнату к Потанину, с корзиной, с бело-зелёным флагом через руку, большая, тёплая, пахнущая пирогами и духами, — и думала, что все здесь знают. Якушев знает: потому и держит руку в кармане на браунинге. Депутаты знают: потому и ходят к Потанину, как ходят к причастию перед операцией. Михайлов знает — он видел запертые двери Таврического и свежий караул с пулемётом. Даже Нехлюдов, наверное, знает, где-то в глубине, под своим «плачу и радуюсь». Даже Кошеварова — потому и улыбается так широко.

Все знают, что думу не откроют. И все делают вид, что не знают. И ставят стулья. И несут скатерти. И пекут пироги с нельмой. И получают благословение от глухого старика, который благословляет кухарку.

И она — тоже. Она стояла у двери с тетрадью и вела список приходящих, «для истории», и знала. Знала лучше всех — потому что в голове у неё говорил спокойный насмешливый голос: «Я бы поставил на последнюю неделю января. Если хотите, можем пари».

Она не стала с ним спорить. Она записала в тетрадь последнее имя за этот день — «Кошеварова З. П., пироги» — и поставила номер. Тридцать первый.

11.6. Ночь на двадцать шестое

Двадцать пятого января к вечеру мороз отпустил — до двадцати, — и пошёл снег. Крупный, мягкий, тихий, он падал на город отвесно, без ветра, и засыпал следы, крыши, приказы ревкома на стенах, списки «У. С.» рядом с ними, — засыпал всё ровно, без разбора, как засыпают могилу.

Частное совещание депутатов назначили на восемь.

Это было не заседание — заседание было назначено на первое, и до первого оставалась неделя, — а именно совещание, частное, как подчёркивал Якушев: собрались члены думы, приехавшие в город, чтобы обсудить порядок открытия, регламент, выборы президиума, вопрос о фракциях. Ничего противозаконного. Люди сидят и разговаривают. Собрались в большой квартире на втором этаже каменного дома недалеко от Почтамтской, где квартировал один из томских кооператоров, — две смежные комнаты, двери между ними сняли с петель, внесли стулья, какие нашли, — венские, кухонные, табуретки, — поставили в конце стол, накрыли его зелёным сукном с ломберного столика. На столе — лампа, графин с водой, колокольчик. Колокольчик принёс Якушев. Он считал, что без колокольчика заседание — не заседание.

Пришло человек шестьдесят. Шубы свалили в передней горой, до потолка. Буряты сидели в халатах, якуты сняли дохи и остались в расшитых бисером рубахах, киргиз так и не снял малахая. Михайлов сидел в первом ряду в своих тайгинских валенках. Лена сидела сбоку от стола, за маленьким столиком у окна, с тетрадью и «Ватерманом», — она была секретарём, как на всех съездах семнадцатого года, и Якушев, увидев её, кивнул ей так, будто она была частью мебели, необходимой для заседания, как колокольчик.

Окна были занавешены. Не наглухо, но занавешены.

Говорили до половины двенадцатого. О регламенте — долго, скучно, с поправками и поправками к поправкам, с голосованием. О президиуме — горячее: эсеры хотели председателем Якушева, областники — кого-то своего, «национальности» требовали товарища председателя от себя и грозили уйти. О том, как быть, если Совет не позволит открыть думу первого. Об этом говорили меньше всего. Об этом говорили так, как говорят у постели больного о том, что он, может быть, умрёт, — вполголоса, не глядя друг на друга, и быстро переходили на другое.

Лена записывала. Стенографией, быстро, привычно. Она писала и думала о том, что пишет это, может быть, для никого. Протокол заседания, которое никто не прочтёт. Как протоколы Учредительного собрания, которые, говорил Михайлов, остались лежать в Таврическом на председательском столе, и наутро их смела уборщица.

В половине двенадцатого в передней позвонили.

Звонок был длинный, настойчивый, — так звонят не гости. Все замолчали. Якушев, стоявший у стола с колокольчиком в руке, медленно опустил колокольчик на сукно — тихо, чтобы не звякнул. Кооператор, хозяин квартиры, пошёл открывать. Лена видела, как у него дрожат руки, когда он поправлял пенсне.

Дверь открылась — и в переднюю, а потом в комнаты, хлынул холод, снег и люди.

Их было человек двадцать. Красногвардейцы в шинелях и полушубках, в папахах, с красными повязками, с винтовками, на штыках таял снег. И с ними — другие: в серо-голубых, чужих, не русских шинелях, в кепи с наушниками, с другими, не русскими винтовками, коротенькими, — мадьяры. Пленные из интернационального отряда. Они вошли молча, как входят

в чужой дом, где уже бывали, и встали вдоль стен, и посмотрели на бурятов в халатах с тем же любопытством, с каким буряты смотрели на них.

У одного из мадьяр, молодого, с рыжими усами, на штыке висела снежная шапка, и он стряхнул её на ковёр, и снег растаял.

Впереди шёл человек в кожанке, с маузером в деревянной кобуре на боку, — Лена его не знала. Молодой, бритый, с невыспавшимся злым лицом. Он оглядел комнату, стулья, стол с зелёным сукном, колокольчик, бурятов, якутов, Якушева, Михайлова в валенках, — и сказал громко, отчётливо, как читают по бумажке, хотя бумажки у него в руках не было:

— По постановлению Томского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов собрание так называемой Сибирской областной думы объявляется контрреволюционным сборищем и распускается. Члены думы, присутствующие здесь, подлежат задержанию до выяснения. Сопротивление бесполезно. Прошу не двигаться с мест.

Никто и не двигался.

Якушев стоял у стола, белый, с рукой в кармане пальто — Лена видела эту руку, видела, как она сжата там, в кармане, на браунинге, — и смотрел на человека в кожанке. Секунду. Две. Лена считала, не замечая, что считает: три, четыре. Потом рука Якушева медленно вышла из кармана — пустая — и легла на зелёное сукно рядом с колокольчиком.

— Я протестую, — сказал Якушев. Голос у него был ровный, только чуть выше обычного. — Это частное совещание выборных членов Сибирской областной думы. Мы выбраны народом Сибири. Вы не имеете права…

— Имеем, — сказал человек в кожанке. — Право имеет тот, у кого винтовка. Это сейчас — мы.

Лена вздрогнула. Это была его фраза. Почти слово в слово. «Право — это сила. Кто сильнее?» Гомаровский говорил это в ноябре, у неё в мезонине, смеясь, глядя на канарейку в клетке. Человек в кожанке, конечно, Гомаровского не знал. Просто они думали одинаково.

— Фамилии, — сказал человек в кожанке. — Зачитывай.

И из-за его спины, из передней, вышел Очумелов.

Он был в той же шинели, с тем же огромным бантом, который на этот раз был приколот не на грудь, а на папаху — видимо, на груди уже не держался, — и в руках у него была бумага. Длинная, исписанная, со штампом. Он развернул её, откашлялся, поднёс к глазам, потом отставил на вытянутую руку — он был дальнозорок, как Марья Павловна, но, в отличие от неё, не из гордости, а потому что очки забыл, — и стал читать.

— Граждане, задерживаемые… — Он прищурился. — Якушев Иван… э… Алексан-дрович. Здесь?

— Здесь, — сказал Якушев.

— Так-с. Принято. Дальше. Тюр… Тюрбеев? Тюрбеев. Ага, — он посмотрел на бурята в синем халате, — вы, стало быть, Тюрбеев?

Бурят что-то ответил по-бурятски, длинно.

— Так-с. Принято. Не возражает. — Очумелов поставил галочку. — Дальше. Новосё… Новосёлов. Нет? Не прибыл? Елдырин, отметь — не прибыл, уклоняется. Дальше. Михайлов. Михайлов Павел Яковлевич! Здесь?

— Здесь, — сказал Михайлов из первого ряда.

— А, гражданин депутат Учредительного! — Очумелов просиял, будто встретил старого знакомого. — Как же, как же. Наслышаны. Из самого Петрограда. Разогнанный, можно сказать, дважды. — Он поставил галочку и, подумав, поставил вторую. — Дальше…

Он читал долго. Путал ударения, путал буквы, путал имена с отчествами, якута Никифорова назвал Никифоровым-Якутским, киргиза — «гражданином из малахая», двух эсеров с похожими фамилиями объединил в одного и долго не мог понять, почему отзываются двое.

Красногвардейцы у стен скучали. Мадьяры не понимали ни слова и смотрели в окна. Человек в кожанке стоял, расставив ноги, и смотрел на часы.

Лена сидела за своим столиком у окна, с раскрытой тетрадью, с «Ватерманом» в руке, и записывала. Она не знала, зачем. Рука писала сама. «23 ч. 35 м. Вошёл вооружённый отряд. Заявление о роспуске. Протест председателя. Зачитывание списка…» Она записывала разгон думы, как записывала регламент, — стенографией, быстро, — и ей казалось, что если она перестанет писать, то случится что-то совсем страшное, а пока пишет — это ещё заседание. Протокол. История.

И тогда в дверях, за спиной человека в кожанке, она увидела отца.

Он стоял в передней, среди наваленных шуб, в своей шинели поверх старого сюртука, в своей старой шапке, с запотевшими очками, которые он только что снял и протирал платком, — и надевал. Высокий, сутулый, с жидкой седой бородкой. Так же, как в марте, на вокзале, когда встречал их с Тайги. Так же, как в девятьсот двенадцатом, когда к ним приходили с обыском жандармы и он стоял в сенях и извинялся перед ними за беспорядок.

Только теперь он стоял не в своих сенях. И извиняться пришёл не он.

Он надел очки и увидел её.

Лена видела, как он её увидел. Видела, как у него дрогнуло лицо — один раз, как дрогнули веки у Гомаровского в ту ночь, под шубой, — и стало неподвижным. Он не знал, что она здесь. Или знал. Она не могла понять. Он смотрел на неё через всю комнату — через стулья, через бурятов, через Очумелова с бумагой, через красногвардейцев, — и она смотрела на него.

Они смотрели друг на друга, может быть, полминуты. В комнате читали фамилии. Скрипели сапоги. Кто-то из депутатов кашлял.

Потом отец вошёл в комнату. Прошёл мимо человека в кожанке — тот посторонился, почтительно, как перед старшим, — мимо Очумелова, который замолчал на полуслове и вытянулся, мимо стульев, мимо Якушева, мимо Михайлова, — и подошёл к её столику у окна. Встал перед ней. Она сидела, он стоял. Как она стояла перед креслом Гомаровского тридцать первого декабря.

— Это секретарь, — сказал он. Не ей. Человеку в кожанке, не оборачиваясь. — Техническая служащая. Машинистка. Она не член думы.

Он сказал это тем голосом. Сухим, ровным. Голосом, которым читают протокол.

— Гражданка Трофимова, — сказал он, глядя на неё сверху, и она увидела у него на скулах красные пятна, как у Марьи Павловны над вырезкой Гиппиус, — техническая служащая, — свободна.

В комнате стало тихо.

Все поняли. Все знали фамилию. Очумелов знал — он открыл рот и закрыл. Якушев знал — он смотрел на Лену, и в лице у него было что-то, что Лена не хотела видеть: не презрение, а хуже — понимание. Михайлов знал. Буряты не знали, но поняли по лицам. Человек в кожанке пожал плечами — ему было всё равно, одной машинисткой больше, одной меньше.

— Я не уйду, — сказала Лена.

Она сказала это тихо, сидя, и голос у неё был не её, а какой-то чужой, высокий, детский.

— Я не уйду без остальных. Я веду протокол. Я — секретарь заседания. Если задерживают думу — задерживайте и меня.

— Лена, — сказал отец.

Только это. Её имя. Тем же сухим голосом — и в этом голосе, под сухостью, на самом дне, что-то было. Она не поняла что. Мольба? Приказ? Страх? Стыд? Или ничего — только усталость человека, который не спал трое суток?

— Гражданка, — сказал человек в кожанке нетерпеливо. — Вас отпускают. Идите. Не создавайте.

Она не встала.

Тогда двое красногвардейцев подошли к её столику — молодые, деревенские, в шинелях, пахнущих мокрой шерстью и махоркой, — и взяли её под руки. Осторожно. Почти бережно. Как берут под руки барышню, которой стало дурно на балу. Один из них, конопатый, со смешными оттопыренными ушами, сказал ей вполголоса, почти ласково: «Пойдёмте, барышня. Пойдёмте. Не надо. Батюшка ваш велел». И она узнала его — тот самый, с иордани, который крестился под шинелью. И с гармонью, из Ботанического сада. Он, видно, был теперь везде.

Её подняли со стула. Тетрадь упала на пол. Она хотела нагнуться за ней — её не пустили, — и тетрадь подобрал отец. Подобрал, закрыл, не глядя, и протянул ей. Она взяла.

Её вывели. Через комнату, мимо стульев, мимо бурятов, мимо Якушева — он отвернулся, — мимо Михайлова — он посмотрел ей в лицо и вдруг кивнул, коротко, как кивают своему, и от этого кивка ей стало хуже, чем от всего остального, — мимо Очумелова, который почтительно посторонился и сказал ей вслед: «Счастливо, барышня, счастливо, папеньке поклон», — в переднюю, к горе шуб.

Там её отпустили. Конопатый нашёл в горе шуб её лисью — по звону, что ли, или просто угадал, — и подал ей, и помог надеть. Подол звякнул. Конопатый посмотрел на подол, потом на неё, и ничего не сказал.

Дверь закрылась за ней.

Она стояла на лестнице, на площадке второго этажа, в маминой шубе, с тетрадью в руке, и слышала из-за двери голос Очумелова, читающего фамилии, и скрип сапог, и голос Якушева: «Я протестую», — и снова Очумелова: «Так-с. Принято».

Её не арестовали.

Её — пощадили.

Это было хуже ареста. Она поняла это сразу, на лестнице, в ту же секунду, как дверь закрылась, и понимала потом всю ночь, и неделю, и, может быть, всю жизнь. Если бы её арестовали — она была бы с ними. С Якушевым, с Михайловым, с бурятами, с якутом, который ехал сорок дней, чтобы ответить на вопрос, который ему никто не задал. Она сидела бы в той же камере, или в том же подвале, или где их будут держать, — и была бы своей. Жертвой острожной. Как мама.

А её отпустили. По слову отца. При всех. Как отпускают ребёнка, который случайно забрёл туда, где взрослые занимаются серьёзными делами. Как барышню. Как дочь члена ревкома.

И Михайлов кивнул ей. Как своей.

Она спустилась по лестнице и вышла на улицу.

Снег всё шёл. Крупный, тихий, отвесный. На улице у подъезда стояли сани — трое, четверо, — и около них красногвардейцы с винтовками, и лошади, заиндевевшие, и фонарь, вокруг которого кружился снег, как мошкара вокруг лампы летом. Скоро из подъезда начнут выводить депутатов. Лена не стала ждать. Она пошла.

Она шла домой через весь город, по ночным улицам, по снегу, который засыпал её следы сразу, как только она поднимала ногу. Шла медленно. Ей некуда было торопиться. Дома была Фёкла — спит. И отца не будет — он остался там, наверху, в квартире кооператора, с человеком в кожанке, с Очумеловым, со списком.

Он не пришёл домой в ту ночь. И на следующую тоже.

А тетрадь с протоколом — с регламентом, с президиумом, с поправками к поправкам, и с последними строками: «23 ч. 35 м. Вошёл вооружённый отряд…» — она принесла домой и положила на стол в мезонине, под лампу с зелёным абажуром. И долго сидела над ней, не раскрывая. Потом раскрыла и дописала, внизу, мелко, своим почерком, — тем, которым писала когда-то в тетради наблюдений «пульс 96»:

«23 ч. 52 м. Секретарь заседания Трофимова Е. П. освобождена по распоряжению члена ревкома Трофимова П. С. Протокол не закончен».

Подумала. И не стала зачёркивать ни одного слова.

11.7. Подполье

Михайлов пришёл двадцать восьмого, под вечер, когда уже темнело.

Он постучал не в парадную дверь, а в окно кухни, со двора, — три раза, потом ещё раз, — и Фёкла, открыв, долго разглядывала через щель небритого человека в чужом пальто и валенках, прежде чем впустить. Он вошёл, отряхнул снег, снял шапку и встал у печки, не раздеваясь, как стоят люди, которые зашли на минуту и в любую секунду готовы уйти.

— Нас выпустили, — сказал он Лене, когда она спустилась. — Почти всех. На следующий день. Под расписку. «До выяснения». — Он усмехнулся. — Выяснять, видимо, некому. Или незачем. Человек десять ещё держат, в том числе двоих бурятов, — не знаю почему. Наверное, потому что в халатах. Подозрительно.

— А Якушев?

— Якушева — тоже. Утром. Он вышел и сразу поехал… неважно куда. — Михайлов помолчал, глядя на неё. Глаза у него были красные, воспалённые, но спокойные. — Елена Петровна. Сегодня ночью — заседание. Настоящее. Не частное совещание. Дума. Те, кто остался в городе, — больше половины. Нам нужен секретарь.

Лена молчала.

— Я понимаю, — сказал Михайлов. — Я видел, как вас вывели. Я видел, кто вас вывел. Я понимаю, что вы, может быть, не захотите. Или вам нельзя. Или… — он поискал слово, — или вам будет трудно. Ваш отец… — Он не договорил. — Но нам нужен человек, который пишет стенографией. Который писал на всех съездах. Которому можно верить. Якушев сказал: «Позовите Трофимову». Я сказал: «После того, что было?» А он сказал: «Именно после того, что было».

Лена посмотрела на него. Потом на Фёклу, которая стояла у печки с ухватом и слушала, не скрываясь, со своим обычным непроницаемым лицом.

— Где? — спросила Лена.

— Я отведу.

Она пошла наверх за шубой.

Конспиративная квартира была на краю города, в Заисточье, в деревянном доме, вросшем в сугробы по окна, — во флигеле во дворе, за поленницей, за собачьей будкой, в которой злая лохматая собака рвалась на цепи и хрипела, пока хозяйка, старуха в шали, не цыкнула на неё. Две комнаты. Низкие потолки. Русская печь. Окна завешены одеялами — не шторами, а именно одеялами, ватными, лоскутными, прибитыми к рамам гвоздями, чтобы с улицы не было видно ни щёлочки света. У двери в сенях, на табуретке, сидел молодой человек в студенческой шинели, с наганом на коленях, и курил, пуская дым в рукав.

Свет — одна свеча. На столе посреди комнаты, в бутылке из-под кваса.

Людей было много — больше, чем казалось, что может поместиться в двух таких комнатах. Сидели на лавках вдоль стен, на сундуках, на полу, на печи, на подоконниках за одеялами. В шубах — топить сильнее хозяйка боялась, дым из трубы ночью мог показаться подозрительным. Лица в свете одной свечи были жёлтые, резкие, с глубокими тенями под глазами, как на старых иконах. Многих Лена узнала: того, из Иркутска, которого Потанин благословил за Иркутск; старика-якута; Михайлова; двух эсеров с похожими фамилиями, которых Очумелов объединил в одного; киргиза — без малахая теперь, с бритой головой, на которой блестел пот. Буряты сидели в углу, в халатах, тихо, как будто их и не было. Из двоих арестованных бурятов один, видимо, уже вышел: Лена насчитала троих.

Якушев сидел за столом, у свечи.

Он был ещё бледнее, чем у Потанина, ещё худее, и глаза у него ещё сильнее блестели — так блестят глаза у людей с температурой. Он не спал, наверное, с той ночи. Колокольчика на столе не было. Он председательствовал шёпотом.

— Заседание Сибирской областной думы объявляю открытым, — сказал он шёпотом, когда Лена села рядом с ним, на табуретку, с тетрадью на коленях. — Секретарь — Трофимова. Возражений нет? Нет. Протокол ведётся.

И Лена стала писать.

Она писала на коленях — стола для неё не было, на столе стояла свеча и лежали бумаги Якушева, — «Ватерманом», который снова, как в декабре в семинарии, приходилось отогревать дыханием: в комнате было так холодно, что чернила густели. Стенографией. Быстро. Говорили все шёпотом, и она наклонялась, чтобы расслышать, и иногда переспрашивала, и ей отвечали шёпотом, и казалось, что это не заседание, а исповедь — сорок человек исповедуются друг другу при одной свече.

Говорили о том, что дума не может быть распущена Советом, ибо Совет не выбирал её и не имеет над ней власти. Что дума продолжает существовать, хотя и не может собраться открыто. Что нужно правительство. Временное правительство автономной Сибири — исполнительный орган думы, который будет действовать от её имени, пока дума не сможет собраться. Что это правительство не может оставаться в Томске, где его арестуют, — оно должно уехать. На восток. Туда, где нет Советов. Во Владивосток. В Харбин.

В Харбин.

Лена записала это слово и на секунду остановилась. Перо замерло над бумагой. Харбин — в третий раз за месяц. Первый раз — в Сочельник, под ёлкой, со стерлядью. Второй — тридцать первого, среди чемоданов: «Масло. Японский шёлк. Никакого Учредительного собрания». Третий — сейчас, шёпотом, при одной свече, в Заисточье, в доме за собачьей будкой: правительство автономной Сибири уезжает в Харбин.

Все едут в Харбин, подумала она. Одни — от Учредительного собрания. Другие — с ним.

Потом выбирали.

Это было странно, и Лена записывала это так же, как записывала всё, — подробно, точно, — и не знала, смешно это или страшно. Выбирали министров. Председателем правительства и министром земледелия — Петра Яковлевича Дербера, эсера, молодого ещё, черноволосого, с бородкой, который сидел на сундуке у печи и, когда назвали его фамилию, встал, поклонился и сел обратно, и лицо у него было такое, будто его выбрали не в министры, а в ссылку. Военным министром — Краковецкого, подполковника, который тоже был здесь, в штатском, с военной выправкой, и тоже встал и поклонился. Министром внутренних дел — Новосёлова, которого здесь не было, — он был где-то на Дальнем Востоке, в пути, и его выбрали заочно. Ещё кого-то — министром финансов, министром продовольствия, министром путей сообщения. Министров выбирали шёпотом, голосовали поднятием рук — руки в рукавах шуб поднимались в темноте и опускались, и Якушев считал их шёпотом, шевеля губами.

— Министром иностранных дел, — прошептал Якушев, — предлагается Пётр Васильевич Вологодский.

— Его нет, — сказал кто-то из угла.

— Его нет, — согласился Якушев. — Он не знает о нашем заседании. Он отказался приехать. Он… осторожен. — Пауза. — Но он нужен. Его знает вся Сибирь. Он был членом Второй Государственной думы. Он юрист. Его уважают. Кто за то, чтобы избрать Вологодского министром иностранных дел — заочно?

Руки поднялись.

Лена записала: «Избран заочно, без согласия». Подумала. Подчеркнула «без согласия». Человека выбрали министром правительства, которое собирается в Заисточье за собачьей будкой при одной свече, — выбрали без его ведома, и он завтра утром проснётся у себя дома министром иностранных дел автономной Сибири и ничего об этом не узнает. Иностранных дел. Каких? С кем? С Японией? С Китаем? С Харбином?

Ей захотелось засмеяться — и она прикусила губу, сильно, до боли, и пером продолжала писать. И одновременно — в ту же секунду, под смехом — ей захотелось плакать. Как у Потанина. Как с кухаркой Аграфеной под номером двадцать третьим.

Она подумала: что сказал бы он?

И голос в голове ответил сразу, будто ждал: «Правительство без территории, без армии, без денег, без телеграфа и без министра иностранных дел, который знает, что он министр. Великолепно. Я бы взял этот процесс бесплатно, Лена. Ради удовольствия».

Она тряхнула головой, как от мухи, и голос замолчал.

Заседание кончилось перед рассветом. Около шести. Свеча в квасной бутылке догорала, оплывая на горлышко, и кто-то зажёг от неё вторую, и стало чуть светлее. Говорить было больше не о чем. Правительство было выбрано. Министры знали, что им надо уехать, и уехать скоро, и что уезжать надо по одному, разными поездами, под чужими фамилиями. Остальные знали, что остаются. В Томске. С Советом, с ревкомом, с человеком в кожанке, с Очумеловым и его списками.

И тогда, перед тем как расходиться, кто-то в углу — Лена не видела кто, свет туда не доставал, — сказал вполголоса, негромко, почти себе:

— «Учредительное Собрание — что мы с ним сделали?..»

Это была последняя строка Гиппиус. Из той вырезки, которую Михайлов привёз из Петрограда в бумажнике, которую Марья Павловна читала у печки на Монастырской, которую Лена перепечатала двести раз на папиросной бумаге. Двести экземпляров — и вот одна строка из них вернулась к ней сюда, в Заисточье, в темноту.

Никто не ответил.

Они сидели в темноте — сорок человек, правительство автономной Сибири и Сибирская областная дума, — и молчали. И Лена молчала. И было слышно, как за одеялами на окнах воет ветер, поднявшийся под утро, и как во дворе гремит цепью собака, и как в сенях кашляет студент с наганом.

Потом Якушев сказал шёпотом: «Заседание закрыто», — и все стали расходиться. По одному. Через десять минут. Через дворы.

Лена вернулась домой, когда уже светало.

Отца не было. Фёкла не спала — сидела на кухне у печки, одетая, в платке, и, когда Лена вошла, встала, молча налила ей чаю, молча поставила перед ней и молча ушла к себе. Лена выпила чай стоя, в шубе, не чувствуя вкуса. Потом поднялась в мезонин.

Она затопила печку. Зажгла лампу под зелёным абажуром — маминым. Сняла с «Ундервуда» чехол. Заложила лист — обычной бумаги, хорошей, плотной, последней из запаса, который купила ещё в мае, — один лист, без копирки.

И перепечатала протокол.

Набело. Начисто. С расшифровкой стенограммы. «Заседание Сибирской областной думы. Томск. Ночь с 28 на 29 января 1918 года. Председательствующий — Якушев И. А. Секретарь — Трофимова Е. П. Присутствовали…» — и дальше фамилии, все, каких запомнила, и тех, кого не запомнила по фамилии, — «депутат от Вилюйского округа (якут)», «депутаты от бурятского населения Забайкалья (трое)». Повестка. Прения. Постановления. Избранные министры, по порядку. «Вологодский П. В. — министр иностранных дел. Избран заочно, без согласия». «Новосёлов А. Е. — министр внутренних дел. Избран заочно». «Решено: членам правительства выехать на Дальний Восток». И последнюю строку, после «заседание закрыто», она допечатала от себя, хотя её не было в стенограмме и хотя секретарь не должен так делать:

«Перед закрытием одним из присутствующих была прочитана строка из стихотворения З. Гиппиус “У. С.” Ответа не последовало».

Она вынула лист из машинки. Перечитала. Он был ровный, чистый, с аккуратными лиловыми буквами, один-единственный экземпляр. Протокол правительства, у которого не было ничего, кроме этого протокола.

Потом встала, подошла к стене над столом, где висели медведи.

«Утро в сосновом лесу». Литография в простой раме, которую она помнила с детства. Медведица и медвежата на поваленной сосне, в тумане, в утреннем свете. Она отодвинула раму, открыла маленькую деревянную дверцу ниши, которую нашла в двенадцать лет и которую — она теперь понимала это — кто-то сделал именно для того, чтобы прятать.

В нише лежало всё, что она прятала за этот год. Половина маминого золота — свёртки в промасленной бумаге. Бархатная коробочка с серьгами, кольцами и брошью-александритом. Синяя ситцевая думка «Ленке на приданое», зашитая чужой рукой. Две облигации «Займа свободы», одна именная, другая на предъявителя, обе — бумага. Неразрезанный лист керенок, сорок на двадцать рублей, утро двадцать пятого октября. Конверт со снимками из мансарды — семь штук и негатив; восьмой ехал сейчас в Харбин в адвокатском бумажнике.

Всё, что было её. Её золото. Её тело. Её деньги. Её стыд.

Она положила протокол поверх.

Лист лёг на конверт со снимками, на керенки, на облигации, на золото. Белый, тонкий, с лиловыми буквами. Теперь в нише лежало не только её приданое. Теперь там лежало её правительство.

Она закрыла дверцу. Вернула медведей на место. Медведица смотрела с поваленной сосны в утренний туман, как смотрела всегда, спокойно, ничего не зная о том, что у неё за спиной.

За окном светало. Ветер стих. Над Томском, над горой, над Заисточьем, где во флигеле за собачьей будкой старуха снимала с окон ватные одеяла, вставало маленькое белое солнце. Двадцать девятое января. Через три дня — первое февраля, на которое было назначено открытие думы. Только первого февраля не будет: после тридцать первого января сразу наступит четырнадцатое, и двух недель не будет вовсе.

Лена легла не раздеваясь, в шубе, и уснула сразу.

Протокол не закончен, подумала она, засыпая.

Конец одиннадцатой главы.



Глава 12. Две недели, которых не было

Если гаснет свет — я ничего не вижу. Если человек зверь — я его ненавижу. Если человек хуже зверя — я его убиваю. Если кончена моя Россия — я умираю.

З. Гиппиус, февраль 1918

12.1. Номер четырнадцатый

Номер был оплачен до первого февраля, и тридцать первого января, в последний вечер, Лена пошла туда.

Она не собиралась идти. Она весь месяц обходила «Европу» стороной — шла в клиники не по Почтамтской, а переулками, через Ямской, через Магистратскую, лишь бы не видеть этого подъезда с чугунным козырьком, этих окон второго этажа, угловых, с полукруглым верхом, в которых теперь было темно. Она решила, что не пойдёт, ещё тридцать первого декабря, в санях, под новогоднюю стрельбу, — и держала это решение, как держат на языке горькую таблетку, не глотая и не выплёвывая. А тридцать первого января, вечером, после клиник, когда на город уже легла ранняя синяя темнота и фонари зажглись — два из восьми, — она вдруг обнаружила, что стоит перед этим подъездом. Ноги привели. Как приводили весь декабрь, к восьми часам, по расписанию.

Швейцар у дверей был новый — старого, с галунами, уволили в ноябре как «лакея буржуазии», — молодой, в солдатской шинели без погон и в швейцарской фуражке, которая была ему велика. Он посмотрел на неё равнодушно и пропустил. Ему было всё равно, кто входит в бывшую гостиницу «Европа», ныне общежитие ответственных работников и столовую номер два.

Коридорный был старый.

Он стоял у конторки на втором этаже — маленький, лысый, с бакенбардами, в потёртом сюртуке с медными пуговицами, — тот самый, который в октябре носил ей наверх шампанское в ведёрке и отводил глаза, который в ноябре приносил ей котиковую шубку в картонке и отводил глаза, который в декабре видел её каждый вечер и отводил глаза. Сейчас он глаз не отвёл. Он посмотрел на неё прямо, и в его старом, морщинистом, лакейском лице мелькнуло что-то, чего Лена не ожидала: не насмешка и не любопытство, а что-то похожее на сочувствие.

— Барышня, — сказал он и вышел из-за конторки. — Я ждал. Евгений Станиславович велели. Велели: если барышня придёт — растопить камин. И подать чаю. Заплачено. — Он помолчал. — До первого числа. Вы как раз успели. Завтра — уже нельзя: завтра номер отдают товарищу из губпродкома, он уже приходил, смотрел, сказал — «буржуазно, но сойдёт».

Он открыл дверь номера четырнадцатого своим ключом.

Комната была пуста.

Чемоданов не было. Ящика с надписью «Харбин. Не кантовать» не было. Сундука-гардероба не было. Еловой лапы на решётке камина не было — коридорный выбросил. Ковёр, на котором они лежали под хорьковой шубой и смеялись, когда её голая спина коснулась ледяного ворса, был свёрнут в трубку и стоял в углу, перевязанный бечёвкой, — его тоже, видимо, отдавали товарищу из губпродкома, или продавали, или уже продали. Голые доски пола, крашенные охрой, со следами от ножек мебели. Кровать — без белья, с голым полосатым матрацем. Комод — пустой, с выдвинутыми ящиками. Зеркало над комодом. Кресло у камина.

И розетка на потолке — лепная, гипсовая, с отбитым листом. Она осталась. Её нельзя было свернуть в трубку и вынести.

Коридорный растопил камин. Он сделал это быстро, умело, привычными движениями человека, который сорок лет растапливает чужие камины: лучина, береста, два полена, спичка, — и огонь пошёл, сначала робко, потом увереннее, и в холодной комнате запахло дымом, смолой, берёзой. Потом он принёс чай — на подносе, в стакане с подстаканником, с двумя кусками

сахара на блюдечке и с ломтиком лимона, неизвестно откуда взятого в Томске в январе восемнадцатого года, — поставил на каминную полку и ушёл, прикрыв дверь. На пороге обернулся.

— Дрова — до десяти, — сказал он. — Евгений Станиславович на десять поленьев заплатили. Больше нету.

И ушёл.

Лена села в кресло.

Это было его кресло. В нём он сидел тридцать первого декабря, в хорьковой шубе, нога на ногу, с сигарой, и смотрел на неё снизу вверх. В нём он сидел весь ноябрь и весь декабрь, читая газеты, пока она одевалась. Кресло было глубокое, обитое старым зелёным плюшем, вытертым на подлокотниках, — и когда она опустилась в него, плюш вздохнул под ней, и из обивки поднялся запах.

Его запах.

Табак — его табак, турецкий, крепкий, сладковатый, который он покупал у какого-то грека на Базаре по безумной цене. Одеколон — горьковатый, с бергамотом, «Шипр» или что-то похожее, французское, с этикеткой, которую она так и не прочитала. И ещё что-то, третье, — то, что не называется словами и что она знала по ноябрьским и декабрьским ночам: запах его кожи, его волос, его шеи под воротником. Плюш хранил всё это, как хранят запах старые шубы и старые письма. Месяц прошёл — а плюш хранил.

И тело узнало этот запах раньше, чем голова.

Лена почувствовала это так ясно, так физиологически точно, как чувствовала на практических занятиях пульсацию лучевой артерии под пальцами: сначала — тепло, поднимающееся откуда-то снизу, из живота, медленное, тяжёлое, как прилив; потом — учащение пульса, она не стала считать, но знала, что под сто; потом — кожа, вся кожа сразу, от затылка до колен, будто её погладили изнутри. Тело сидело в его кресле, дышало его запахом и отзывалось. Как собака, которая нашла хозяйскую рукавицу и легла на неё.

А хозяина не было. Хозяин был в Харбине. Или в Иркутске. Или в Чите. Или в купе, или в теплушке, или на станции, где ждал паровоза и платил начальнику станции, недорогому. Хозяин был за три тысячи вёрст и, вероятно, не думал о ней вовсе.

Лена сидела в кресле, смотрела в огонь и ненавидела своё тело.

Она ненавидела его спокойно, без истерики, по-медицински: как ненавидят болезнь, течение которой известно и которую нельзя остановить. Тело было глупее её. Тело не знало, что он уехал. Тело не знало, что он скучен, что повторяет истории, что сказал «арифметика» над Грушницким и «отдайте, я куплю другую» на площади Революции. Тело знало только запах, и тепло, и плюш, и то, что в этой комнате, в этом кресле, на этом ковре, свёрнутом теперь в трубку, ему было хорошо так, как не было хорошо никогда в жизни. И тело хотело, чтобы это повторилось. Всё остальное его не интересовало.

Она встала.

Она встала резко, будто кресло обожгло, и отошла к комоду. И увидела себя в зеркале — в маминой рыжей лисе, в пуховом платке, сбившемся на затылок, с красными от мороза щеками и тёмными глазами, — и левый, как всегда, смотрел чуть мимо, чуть в сторону, за плечо.

И она сделала то, чего не собиралась делать.

Она сняла шубу и бросила её на голый матрац — подол звякнул. Сняла платок. Вынула шпильки — одну за другой, медленно, и волосы упали на плечи, тяжёлые, тёмные. Расстегнула серое платье — двадцать четыре крючка, как тридцать первого декабря, только теперь сверху вниз, — и платье упало к ногам. Нижняя юбка. Чулки — она отстегнула их от подвязок и скатала вниз, по одному, сидя на краю голой кровати, и голые ступни коснулись холодных крашеных досок. Сорочка — шёлковая, кремовая, из тех, что она купила в апреле, на первое золото, тайком, и которая значила для неё больше, чем все платья, — осталась.

Она стояла перед зеркалом в одной сорочке, босая, при огне камина, с распущенными волосами, — как стояла в марте, в первую ночь клада, перед маминым зеркалом в мезонине, с маминым жемчугом на голой шее и маминым александритом на груди. Только жемчуга не было. И александрита. И мамы не было. И его не было.

И смотреть было некому.

Это было страшнее, чем всё остальное. Страшнее, чем вокзал, чем фанерный вагон, чем ночь второго января, когда тело не давало спать. Она стояла перед зеркалом, и зеркало показывало ей женщину — ту самую, из марта, из мансарды, с восьмого снимка, — красивую, тёмную, бледную, с белыми плечами в отсвете огня, с грудью под тонким шёлком, с длинной шеей. Женщину, на которую стоило смотреть. И никто не смотрел. Ни он из кресла, ни Лебядкин с магнием, ни двадцать человек в мансарде, ни Гомаровский из угла, ни Грушницкий из-за калитки, ни Великопольский у костра. Комната была пустая, и камин горел для неё одной, и зеркало отражало её для неё одной.

А для себя одной — Лена поняла это сейчас, перед зеркалом, с ледяными ногами на крашеных досках, — для себя одной она была не нужна. Ей не нужно было её тело, если на него никто не смотрел. Оно существовало, только когда его видели. Как свеча в тёмной комнате существует, только пока кто-то видит свет.

Она подумала: может быть, это и есть то, что Марья Павловна называла «кандалами». Не любовь. Не он. А вот это — потребность, чтобы смотрели.

И отвернулась от зеркала.

Она оделась — быстро, не глядя, путаясь в крючках. Подкинула в камин последние поленья — коридорный сказал, до десяти, и было уже без четверти. Села не в кресло, а на пол, на голые доски, у самого огня, обхватив колени. И сидела так, пока не кончились дрова.

Когда огонь осел и угли подёрнулись пеплом, она стала ворошить их кочергой — бездумно, чтобы занять руки, — и в золе у задней стенки камина, под решёткой, увидела что-то белое. Бумажку. Клочок. Он не догорел — завалился за решётку, в угол, куда не доставал жар, и только обуглился по краю.

Она вынула его кочергой и подула на пальцы.

Это был уголок листа. Плотной, дорогой, писчей бумаги, кремовой, с водяным знаком. Почерк — его, острый, наклонный, адвокатский, она знала его по запискам при подарках: «Слякоть — тоже форма власти», «Е. Г.». На клочке уцелело три строчки, оборванные справа и снизу:

«…Харбин, Пристань, Китайская ул., д… …до востребования, на имя… …если когда-нибудь…»

И всё. Дальше — обугленный край.

Лена держала клочок на ладони, у самого огня, и читала его снова и снова. Адрес? Черновик письма? Кому — ей? Он сжёг его — зачем? Передумал писать? Написал набело и отправил — куда? Или это было не ей, а кому-то другому — Ольге из «Интимного театра», клиенту, банкиру, начальнику станции? «Если когда-нибудь…» — что? Если когда-нибудь вы передумаете? Если когда-нибудь вам понадобится? Если когда-нибудь вас будут обыскивать?

Она не знала. И это незнание, как всё, что было связано с ним, было одновременно невыносимо и сладко.

Она сложила клочок вдвое и спрятала в муфту.

Снизу, из столовой номер два, донёсся гул голосов — громкий, удивлённый, смеющийся. Кто-то кричал, кто-то хохотал, кто-то стучал ложкой по стакану. Румын заиграл вальс. Лена прислушалась, но не разобрала слов.

Коридорный ждал её у конторки, когда она вышла. Он подал ей пальто, которое она забыла на кровати — нет, шубу, мамину лису, — и помог надеть, и подол звякнул, и он, как конопатый красногвардеец в ночь разгона, посмотрел на подол и ничего не сказал.

— Что там внизу? — спросила Лена.

— А это, барышня, им газету принесли, — сказал коридорный. — Вечерний выпуск. Там декрет. Что завтра будет не первое. — Он помолчал, будто сам не верил тому, что говорит. — Завтра будет четырнадцатое. Февраля. А первого — не будет. И второго не будет. И до тринадцатого — ничего не будет. Отменили.

— Кто отменил?

— Совнарком, — сказал коридорный. — Декретом. Как в Европе, говорят. Чтобы — как у всех. — Он покачал лысой головой. — Я вот думаю, барышня: а жалованье за эти две недели — дадут? Или тоже отменили?

Лена не ответила.

Она спускалась по лестнице, мимо столовой номер два, где за столиками сидели ответственные работники и спорили, сколько им теперь лет, — и думала о том, что номер был оплачен до первого февраля. А первого февраля не будет. Значит, Гомаровский заплатил за день, которого нет.

Он, наверное, это знал. Он знал всё заранее.

У дверей, уже на улице, под чугунным козырьком, её догнал голос коридорного — он вышел за ней на крыльцо, в своём сюртуке с медными пуговицами, на мороз, без шапки:

— С четырнадцатым вас, барышня!

Она обернулась. Он стоял на крыльце, маленький, лысый, старый, и махал ей рукой, и улыбался беззубым ртом. И она вдруг тоже улыбнулась ему — впервые за месяц, кажется, улыбнулась кому-то, — и помахала в ответ муфтой, в которой лежал обугленный клочок.

Часы на соборе били полночь. Тридцать первое января кончалось. Первое февраля не начиналось.

Город проваливался через две недели, как проваливаются сани в полынью на льду, — сразу, без звука, и снег над ними смыкался.

12.2. Дьяволиада

Фёкла не приняла новый стиль.

Она узнала о нём четырнадцатого утром — от молочницы, которая привезла с Заисточья бидон и сказала, ставя его на лавку в сенях, что сегодня, стало быть, не первое, а четырнадцатое, и что так велели большевики, и что в церкви батюшка сказал служить по-старому, а в управе сказали писать по-новому, и что она, молочница, теперь не знает, когда у неё Масленица.

Фёкла выслушала это молча. Потом пошла в свою каморку за кухней, где у неё в углу висели иконы — Казанская, Никола, Параскева Пятница, Флор и Лавр, покровители скота, — и под ними на гвоздике висел отрывной календарь, Сытинский, на восемнадцатый год, купленный ещё в декабре на Базаре за сорок копеек. На календаре было первое февраля. Святой мученик Трифон. Фёкла посмотрела на Трифона долго. Потом взяла календарь, понесла его на кухню, положила на стол и спросила Лену, которая пила чай перед клиниками:

— Барышня. А куда они его дели?

— Кого, Фёкла?

— Трифона. — Фёкла ткнула пальцем в листок. — И Сретенье. Второе февраля — Сретенье Господне. Двунадесятый праздник. Симеон Богоприимец младенца на руки принял. А третьего — Симеона и Анны. А шестого — Ксении, Петербургской, блаженной. А пятого — Агафьи-коровницы, на Агафью Мадамке молебен служить надо, от падежа. — Она перелистывала листки, один за другим, корявым пальцем. — А десятого — Харлампия. А одиннадцатого… Это что ж, барышня, всё отменили? Это они, стало быть, у Бога две недели украли? А куда дели? Под стол положили? В ревком унесли?

Лена не знала, что ответить. Она пыталась объяснить — про юлианский календарь и григорианский, про папу Григория Тринадцатого, про то, что в Европе так уже триста лет и что разница накопилась за века, потому что юлианский год длиннее солнечного на одиннадцать

минут, — и видела, что Фёкла слушает её так же, как слушала когда-то отца, объяснявшего ей, что гром — это электричество: вежливо, терпеливо и с полной уверенностью, что барышня говорит глупости.

— Одиннадцать минут, — повторила Фёкла. — Ага. А из одиннадцати минут, стало быть, две недели вышло. Это как у купца Шустова: копейку взял — рубль отдай. — Она забрала календарь со стола. — Нет уж. Я по-Божьему буду. А они пусть по-своему. Бог — он по-новому не умеет. Он старый.

И пятнадцатого февраля — по-старому второго — Фёкла пошла в церковь на Сретенье.

Она пошла в праздничном платке и в тех самых новых валенках, которые надевала на иордань, и вернулась к обеду с просфорой и со свечкой, и поставила свечку под Казанскую, и отрывала с тех пор листки своего календаря по одному, каждое утро, Трифона, Сретенье, Агафью, — на тринадцать дней позади всего города. Агафья-коровница пришла у неё восемнадцатого. Она отслужила с батюшкой молебен в хлеву, над Мадамкой, и батюшка — старый, из Воскресенской церкви, отец Василий, — окропил корову святой водой и сказал Фёкле, что большевики, конечно, антихристы, но корова тут ни при чём, и молебен засчитывается в любом стиле.

— Он у меня теперь отстающий, — сказала Фёкла Лене про свой календарь. — Как часы. Отстаёт. А что — часы отстают, и ничего. Живут же люди.

В городской управе было хуже.

Лена пришла туда на второй день нового стиля — пятнадцатого, с утра, — за справкой для клиник: Мыш затребовал у городского санитарного бюро сведения о сыпном тифе в Заисточье, бюро направило в управу, управа — в отдел статистики, отдел статистики — к конторщику, который «ведает исходящими». Лене дали номер комнаты. Комната была на втором этаже, в конце коридора, мимо дверей, на которых висели бумажки с новыми названиями отделов, написанные от руки и наклеенные поверх старых медных табличек. Старые таблички были видны из-под бумажек, и получалось так: на меди — «Городской голова», а на бумажке поверх — «Комиссар по делам городского хозяйства»; на меди — «Казначей», а на бумажке — «Финансовый подотдел»; на меди — «Уборная для господ гласных», а на бумажке, крупно, химическим карандашом, — «Уборная для всех».

Конторщик, ведавший исходящими, сидел в маленькой комнате с одним окном, за столом, заваленным бумагами, и на краю стола, отдельно от бумаг, аккуратной стеной, в три ряда, стояли спичечные коробки.

Их было много. Лена потом сосчитала — сорок. Жёлтые, с синей этикеткой, на которой был нарисован лев, держащий в лапе факел, и надпись по-старому: «Спички безопасныя. Фабрика…» — дальше стёрто. Коробки стояли стеной, как стоят книги на полке, ровно, корешок к корешку, и за этой стеной сидел конторщик.

Он был маленький, бледный, белобрысый, в аккуратном, но очень старом пиджаке, в нарукавниках, в крахмальном воротничке, который давно уже не был крахмальным, и в пенсне на шнурке. Лет тридцати пяти — или пятидесяти, по нему нельзя было сказать. Лицо — бесцветное, с белёсыми бровями, гладкое, канцелярское, лицо человека, который двадцать лет сидит в одной и той же комнате и пишет одни и те же бумаги. Табличка на столе, тоже медная, тоже заклеенная поверх, говорила по-новому: «Делопроизводитель исх. корресп. т. Коротков».

— Справку? — сказал Коротков. — О тифе? Пожалуйста. Сейчас. Одну минуту.

Он взял лист, обмакнул перо, написал справку — быстро, красиво, канцелярским почерком с завитками, — и, дойдя до даты, остановился.

Перо повисло над бумагой. Коротков смотрел на лист. Потом посмотрел на Лену поверх пенсне.

— Какое сегодня число? — спросил он.

— Пятнадцатое, — сказала Лена.

— Пятнадцатое, — повторил Коротков. — Февраля.

— Февраля.

— А вчера было?

— Четырнадцатое.

— А позавчера?

— Тридцать первое января. — Коротков кивнул, будто проверял урок. — Так, — сказал Коротков. — Так. — Он положил перо. — Тридцать первое января, а потом сразу четырнадцатое февраля. А первое? А второе? А пятое? — Он выдвинул ящик стола, достал оттуда папку, раскрыл. — Вот. Вот, смотрите. Бумага от губпродкома. О выдаче керосина. Датирована пятым февраля. Пятым! Её написали неделю назад, когда было ещё по-старому, и написали пятое, потому что думали, что пятое будет. А пятого — не было. И я её завожу во входящие — каким числом? Пятым — нельзя, пятого нет. Четырнадцатым — нельзя, она раньше написана. Тридцать первым января — нельзя, она позже. — Он поднял на Лену глаза, и Лена увидела, что глаза у него за пенсне светлые, водянистые и совершенно неподвижные. — Её некуда завести. Её — нет. А керосин по ней уже выдали. Понимаете? Керосин есть — а бумаги, по которой его выдали, нет. Потому что её число — отменено.

— Напишите двойную дату, — сказала Лена. — Как в газетах. Пятое по-старому, восемнадцатое по-новому.

— Пробовал, — сказал Коротков. — Пробовал. Мне вернули. Сказали — контрреволюция. Старый стиль — это контрреволюция. Тогда я написал только новое — восемнадцатое. Мне вернули из казначейства — сказали: такого числа ещё не было, когда бумагу писали, это подлог. — Он закрыл папку. — Тогда я перестал ставить числа.

— Совсем?

— Совсем. — Коротков посмотрел на справку, которую начал для Лены, на пустое место после «февраля». — Я теперь пишу так: «Февраля сего года». Без числа. Пусть сами решают, какое было.

Он дописал справку: «Дана в том, что… февраля сего года». Промокнул. Подышал на печать — печать была старая, с орлом, у орла кто-то тщательно срезал перочинным ножом корону, и от этого орёл стал похож на ощипанную курицу, — и шлёпнул.

— Пожалуйста.

Лена взяла справку. И, уже взяв, не удержалась — кивнула на стену из спичечных коробков:

— А это?

Коротков посмотрел на коробки. Лицо его не изменилось. Только пенсне чуть дрогнуло на носу.

— Жалованье, — сказал он. — За январь.

— Спичками?

— Спичками. Сорок коробков. — Он поправил один коробок, который стоял чуть криво. — В кассе денег нет. Совнархоз реквизировал склад лавки Второва — там спички, мыло, гвозди, синька. Мыло роздали в продкоме, гвозди — в отдел ремонта, синьку — неизвестно кому. А нам, делопроизводителям, — спички. Из расчёта… — он подумал, — из расчёта, что коробок спичек на Базаре стоит сейчас рубль двадцать. Значит, сорок коробков — сорок восемь рублей. Моё жалованье — сорок восемь рублей. Всё правильно.

— А почему вы их не продадите? На Базаре?

— Продавал, — сказал Коротков. — Пошёл в субботу на Базар. Встал. А там стоят ещё двадцать человек из управы — со спичками. И продают по восемьдесят копеек. А потом — по пятьдесят. А потом пришёл милиционер и сказал, что торговля реквизированным имуществом — спекуляция, и забрал у троих. — Коротков помолчал. — Я ушёл. Я попробовал сдать их обратно в кассу. Сказал: выдайте лучше деньгами, когда будут. Касса не принимает. Касса

говорит: жалованье выдано, расписка есть, вопрос закрыт. — Он снова поправил коробок. — Вот я их и держу. Здесь. Чтобы не потерять. Мне кажется — если я их унесу домой, то потеряю. А здесь они стоят. Видно. Сорок. Я их каждое утро пересчитываю.

Он взял один коробок, открыл, вынул спичку, посмотрел на неё — и аккуратно положил обратно.

— Иногда мне кажется, что их тридцать девять, — сказал он тихо, глядя на коробок. — Я пересчитываю — сорок. А мне кажется — тридцать девять. И что одного не хватает. И я его ищу. А он — здесь. Я его вижу. А мне всё равно кажется, что его нет. Как пятого февраля. Оно — было же. Я помню. Я ждал его. Я в тот день должен был… — Он замолчал. — Неважно. А его — нет.

Лена смотрела на него.

Она смотрела, как медичка, — и видела. Неподвижный взгляд. Однообразные, навязчивые движения рук: поправить коробок, пересчитать, поправить. Застывшее лицо. Мысль, которая ходит по кругу и не может выйти. Она видела это в клиниках, в нервном отделении, у профессора, который читал им курс психиатрии, — там был один такой: бывший почтовый чиновник, который считал письма. Он считал их день и ночь, письма, которых не было, и всегда одного не хватало. Его привезли в шестнадцатом. Он до сих пор лежал в клиниках, и до сих пор считал.

— Вам надо отдохнуть, — сказала она. — Взять отпуск. Хотя бы неделю.

— Отпуск, — сказал Коротков. — Да. Я подавал. Мне сказали: подайте с указанием дат. С какого числа по какое. — Он посмотрел на неё поверх пенсне, и в его водянистых глазах на секунду мелькнуло что-то живое — страх, отчаяние, просьба. — А какие даты я укажу? Какие? Кто мне скажет, какие даты теперь — настоящие?

Лена не знала.

Она вышла из управы на мороз и долго стояла на крыльце, держа в руке справку с датой «февраля сего года». Ей было его жалко — так жалко, что щипало в носу, — и смешно, и страшно, и она не могла разобрать, чего больше. Как у Потанина. Как с кухаркой Аграфеной. Как всё в этом году.

Через неделю она узнала, что Короткова увезли в клиники. В нервное отделение. Он пришёл утром в управу, сел за стол, пересчитал спички — и не нашёл сорокового коробка. Он искал его до вечера: под столом, в ящиках, в шкафу, в коридоре, в уборной для всех. Его нашли там же ночью, в комнате, — он сидел на полу среди бумаг и чиркал спички одну за другой, и складывал горелые в ряд, и говорил: «Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое…» — и так до тринадцатого. А потом начинал сначала.

Его положили в ту же палату, где лежал почтовый чиновник, считавший письма. Говорили, они подружились.

На стене управы, у входа, висел другой документ, о котором говорил тогда весь город.

Это был рапорт Очумелова.

Очумелов служил теперь при милиции ревкома — как служил при Комитете общественного порядка, при Совете, при думе, при всех, — и, как все служащие, получил в феврале жалованье за половину месяца: за пятнадцать дней, с четырнадцатого по двадцать восьмое. Получил — и написал рапорт. Рапорт был адресован в ревком, в губисполком, в комиссариат финансов и почему-то в губернский Совет крестьянских депутатов. Копию рапорта Очумелов вывесил у входа в управу, «для сведения трудящихся».

Лена прочла его в то же утро, выходя от Короткова.

«В Революционный комитет г. Томска. От заместителя начальника районной милиции Е. П. Очумелова. Рапорт. Сим довожу до сведения, что согласно декрета Совнаркома о введении западноевропейского календаря из февраля месяца сего года изъяты тринадцать дней, с первого по тринадцатое включительно. Однако же служба в оные дни во вверенном мне районе

несомненно неслась, а именно: производились обходы, задержания, составлялись протоколы, ловились воры и спекулянты, коих в изъятые дни, как мне доподлинно известно, никто не отменял. Посему ходатайствую о выплате личному составу милиции жалованья за тринадцать изъятых дней, ибо работали в них, хоть их и не было, и тем приносили пользу революции. Заместитель начальника районной милиции Очумелов».

А через три дня рядом появился второй рапорт, того же Очумелова, — Лена прочла его, когда бежала мимо управы в клиники за лекарствами для отца:

«В Революционный комитет. Рапорт. Довожу до сведения, что отдельные несознательные элементы из числа старорежимного населения продолжают праздновать религиозные праздники по старому, отменённому стилю, а именно: Сретенье Господне 15 февраля и Агафью-коровницу 18 февраля, тем самым саботируя декрет о календаре и выражая скрытую контрреволюционную враждебность. Особо отмечаю случай служения молебна над коровой в хлеву на Воскресенской горе с участием попа и старухи с бидоном. Прошу принять меры. Очумелов».

Лена дочитала. Постояла. Потом засмеялась — громко, на всю улицу, так что прохожие обернулись, — и пошла домой, и смеялась всю дорогу, и не могла остановиться, и, только подходя к калитке, вдруг поняла, что уже не смеётся, а у неё дрожат губы.

Старуха с бидоном была Фёкла.

Фёкла, когда Лена ей рассказала, выслушала молча. Потом спросила:

— Это который? С бантом? Елисей Петрович? Петра Семёныча покойного сынок?

— Он.

— Ага, — сказала Фёкла. — Знаю. Петра Семёныча знала. Он у барыни бывал. — Она помолчала. — Ничего. Пусть пишет. Бог прочтёт.

И пошла доить Мадамку, которую окропили по-старому.

Через несколько дней, ночью, у постели больного отца, Лена села писать — она обещала Мышу записку для санитарного бюро о тифе, — и, написав первую фразу, остановилась. Она писала по-старому. С ятями, с твёрдыми знаками, с «і» десятеричным, как учили в Мариинской гимназии. Советские газеты печатались уже без ятей — по новой орфографии, по декрету. «Сибирская жизнь» — с ятями, но без твёрдого знака, который отменила ещё в сентябре из-за нехватки бумаги. В клиниках профессора писали по-старому. Отец писал по-новому — с декабря, из принципа, хотя рука сбивалась, и в его записках через слово стоял зачёркнутый ять.

Лена посмотрела на свою фразу. «Въ Заисточьи наблюдаются случаи сыпного тифа…»

Её рука была контрреволюционной. Сама. Без её ведома. Она писала, как писала двенадцать лет, и каждая буква «ѣ» под её пером была теперь — позиция. Выбор. Лагерь. Как бело-зелёный флаг. Как стихи Гиппиус на папиросной бумаге.

Она подумала — и не стала переписывать.

12.3. Болезнь

Отца привезли пятнадцатого, к вечеру, на санях ревкома.

Лена была дома — вернулась из управы и из клиник раньше обычного, потому что в клиниках кончился карбол и Мыш отпустил практикантов, — и увидела из окна мезонина, как у калитки остановились сани, крытые, с кожаным верхом, бывшие губернаторские, с гербом, замазанным краской, и как из них вылезли двое в шинелях и стали вытаскивать что-то длинное, завёрнутое в тулуп. Она не сразу поняла, что это отец.

Она сбежала вниз, как была, в домашнем платье, в туфлях, по снегу, — и увидела его лицо в отвороте тулупа: серое, мокрое, с запавшими глазами, с красными пятнами на скулах, с бородой, слипшейся от пота, без очков. Он был в сознании. Он посмотрел на неё мутно и сказал, сипло, с трудом:

— Леночка. Ничего. Простыл. Ничего.

И закашлялся.

Она слышала этот кашель — и узнала его, и у неё похолодело в животе. Это был не тот кашель, сухой, табачный, от донника, которым он кашлял всю зиму. Это был другой — глубокий, влажный, тяжёлый, с хрипом где-то внизу, справа, — кашель, который она слышала в клиниках, в терапевтическом отделении, у постелей, над которыми профессор на обходе молча качал головой.

— Сорок и две, — сказал один из шинелей, молодой, с испуганным лицом. — Мерили в ревкоме. Товарищ Беленец велел домой везти. Сказал — у него дочка доктор.

— Я не доктор, — сказала Лена. — Несите. Наверх. Нет — в столовую, на диван. Наверх не донесёте. Фёкла! Самовар! Воду! Простыни!

Фёкла уже стояла в сенях, с открытым ртом, и, услышав своё имя, перекрестилась и побежала.

Инфлюэнца. Это Лена поняла в первый же час, когда раздела его, обтёрла уксусом и послушала — у неё был свой стетоскоп, деревянный, купленный весной у вдовы того же приват-доцента, у которой она купила микроскоп. Инфлюэнца, которая ходила по городу с января, — в казармах, в теплушках, в очередях, в ревкоме, где спали вповалку на диванах и на полу, курили, не открывая окон, и ели что придётся. А на инфлюэнцу — плеврит. Справа, внизу. Она слышала шум трения плевры — тихий, сухой, как скрип снега под ногой, — и притупление звука, когда простукивала. И под всем этим — старое. То, о чём отец рассказывал как о смешном случае. Девяносто девятый год, Никитинская, каморка у вдовы, кровь на платке, врач, который отпустил его «до весны». Старый очаг в правой верхушке, обызвествлённый, спавший восемнадцать лет, — и теперь, под плевритом, под жаром, под инфлюэнцей, он мог проснуться.

Она знала, что это значит. Она видела это в клиниках.

Наутро пришёл терапевт из клиник — старый, седой, неторопливый, которого все звали «дедушкой», хотя он был всего на десять лет старше отца, — послушал, простучал, посчитал пульс, посмотрел мокроту, которую Лена собрала в баночку, и долго молчал, глядя в окно на снег.

— Режим, — сказал он наконец. — Покой. Тепло. Молоко. Креозот. Банки — можно. Компрессы. Кислород, если будет задыхаться, — пошлите в клиники, кислородную подушку дадим. Никаких заседаний. Никаких ревкомов. Никаких газет. — Он посмотрел на Лену поверх пенсне. — Вы понимаете, коллега?

Он сказал «коллега». Как Грамматикати. Лена кивнула.

— До весны, — сказал терапевт тихо, уже в сенях, надевая калоши. — До весны, коллега, будет ясно. Или туда, или сюда. Вы сами знаете.

Она знала. Она слышала эти слова — «до весны» — от отца. Он рассказывал, смеясь: врач в девяносто девятом году сказал ему «до весны», не чая, что он доживёт. А он дожил. Потому что пришла какая-то женщина — отец всегда говорил о ней коротко, неохотно, «одна знакомая», — и выходила его.

Лена взяла в клиниках отпуск на две недели. Мыш подписал, не спрашивая.

И стала выхаживать.

Она делала всё так, как учили. Она делала это лучше, чем учили, — потому что это был отец, и потому что она была лучшая на курсе, и потому что ей некуда было больше девать себя, своё тело, свои руки, свои ночи, — и она отдала всё это ему. Банки — она ставила их сама, стеклянные, медицинские, из клиник: обжигала изнутри спиртовым факелом, быстро, точно, и прижимала к его спине, худой, костлявой, с торчащими лопатками и позвонками, как ступеньки, — и банки присасывались с чмоканьем, и кожа под ними вздувалась лиловыми буграми, и он стонал сквозь зубы и говорил: «Изверг. Палач. Инквизиция», — и она смеялась, и он смеялся, и кашлял. Компрессы — водочные, на грудь, под вощёную бумагу и шерстяной платок; водку Фёкла достала у кого-то на Болоте за два червонца керенками и полфунта сахару.

Креозот — в каплях, на молоке, горький, вонючий, от которого его тошнило. Молоко — от Мадамки, тёплое, парное, с мёдом. Бульон — Фёкла сварила курицу, единственную, старую, которая уже два года не неслась и которую берегли «на крайний случай». Крайний случай настал.

Ночами она сидела у дивана в столовой, при лампе, прикрученной до синего огонька, в маминой шубе на плечах, и слушала его дыхание.

Оно было частое, поверхностное, с хрипом. Иногда — она считала — тридцать в минуту, иногда — тридцать шесть. Пульс — сто десять, сто двадцать, на высоте жара — сто тридцать, нитевидный, сбивающийся. Температура — сорок, тридцать девять и восемь, к утру тридцать восемь, к вечеру снова сорок. Она записывала всё это в тетрадь. В ту самую — тетрадь наблюдений, которую не открывала с декабря, с того дня, когда написала в ней последнее «наблюдение продолжить?» и закрыла, потому что наблюдать себя больше не могла. Теперь она открыла её снова, на чистой странице, и стала наблюдать отца. Цифры. Только цифры. Пульс, дыхание, температура, мокрота. Это было легко. Это было то, что она умела. Это спасало.

Фёкла приходила ночью, в одной рубахе, со свечой, становилась в дверях столовой и смотрела. Долго. Потом говорила:

— Иди, барышня, поспи. Я посижу.

— Не надо, Фёкла.

— Иди. Ты на ногах не стоишь.

— Я стою.

Фёкла не уходила. Стояла в дверях со свечой, жёлтая, старая, похожая на икону. Однажды, на третью ночь, когда отец метался в жару и Лена меняла ему мокрую от пота рубашку, Фёкла сказала из дверей, тихо, не Лене, а будто себе:

— Барыня-то тоже. С корзиной. Каждый день, в полдень. На Никитинскую. Пешком. В любую погоду. — Пауза. — Он тогда тоже — вот так. Кашлял. Кровью. А она — с корзиной. Банки ставила. Креозот. Печку топила. Пол мыла. Всю зиму. — Пауза. — Выходила.

Лена замерла с мокрой рубашкой в руках.

— Мама? — спросила она. — Мама его выходила? В девяносто девятом? Он говорил — «одна знакомая»…

Фёкла посмотрела на неё. Долго. Со свечой.

— Знакомая, — сказала она. — Ага. — И перекрестилась. — Иди спать, барышня. Я посижу.

И больше ничего не сказала, сколько Лена ни спрашивала. Ни в ту ночь, ни потом.

А Лена сидела потом до утра у дивана, держа отца за руку — горячую, сухую, в жёлтых пятнах от реактивов, — и думала о маме. О маме, которая приходила в полдень с корзиной, пешком, по Никитинской, в любую погоду, и ставила банки, и топила печь, и мыла пол, и выходила его. Мама — каторжанка, героиня, эсерка, жертва острожная. Мама — с корзиной и с банками. Она не могла соединить эти два образа, как не могла соединить в январе больничную койку и штык. Они лежали в разных ящиках.

И ещё она думала — и от этой мысли у неё было странно, тепло и больно в груди, — что она делает сейчас то же самое. Банки. Креозот. Печку. Не зная. Восемнадцать лет спустя — то же самое, тем же движением, над тем же человеком. Как будто мамины руки нашли её руки и двигают ими.

На четвёртую ночь у отца был кризис.

Температура поднялась к полуночи до сорока и шести, пульс — сто сорок, дыхание — сорок. Он перестал узнавать её. Лена послала Фёклу в клиники за кислородной подушкой — Фёкла побежала в ночь, в метель, в одном полушубке, семидесятилетняя, и принесла через час, задыхаясь, с подушкой под мышкой, как с младенцем. Лена давала ему кислород — через воронку, подставленную ко рту, — и считала пульс, и обтирала уксусом, и меняла компрессы,

и ничего больше сделать не могла. Это был кризис. Его надо было пережить. Тело само решало — туда или сюда.

И в бреду он заговорил.

Сначала — неразборчиво. Обрывки. Формулы — что-то про альбумин, про казеин, про белковые тела. Потом — фамилии, которых Лена не знала. Потом — вдруг ясно, отчётливо, громко, с той интонацией, с какой говорят живому человеку, стоящему в комнате:

— Катя.

Лена наклонилась к нему.

— Катя… — Он мотал головой по подушке, мокрые седые волосы прилипли ко лбу. — Катя, не ходи туда. Не ходи. Там Вольф. Он тебя… он… Не ходи туда, Катя!

— Папа, — сказала Лена. — Папа, это я. Лена.

Он не слышал.

— Стекло, — сказал он. — Стекло… Зачем стекло? Они смотрят… Катя, они же смотрят через стекло… — Он заплакал — во сне, в бреду, без слёз, только лицо скривилось, как у ребёнка. — Болото. Я на Болото не пойду. Не пойду туда. Я не могу туда… Катя, уйдём. Уйдём отсюда. Я тебя увезу. На кумыс. В степь. Там нет стекла…

Потом он затих. Только губы шевелились. Лена наклонилась ещё ниже — к самым губам — и расслышала:

— …я тебя не сужу. Я никогда… Я не сужу, Катя.

И больше ничего.

К утру температура упала. Сразу, обвалом, — с сорока и шести до тридцати шести и пяти, — и он весь покрылся потом, крупным, холодным, и Лена меняла рубашки одну за другой, три рубашки за час, и простыни, и он спал, и дыхание стало реже — двадцать четыре, двадцать, — и пульс — девяносто, восемьдесят шесть, ровный, наполненный. Кризис кончился. Тело решило — сюда.

Лена сидела у дивана, держа его руку, и плакала — первый раз с вокзала, с Грушницкого, с декабря, — плакала долго, беззвучно, не вытирая слёз, и слёзы капали на его руку, на жёлтые пятна от реактивов. Фёкла стояла в дверях и крестилась.

Утром, когда он проснулся — слабый, бледный, ясный, в очках, которые она ему надела, — Лена принесла ему бульону и, пока он ел с ложки, спросила:

— Папа. Кто такой Вольф?

Ложка остановилась на полпути.

Отец посмотрел на неё. Поверх очков. Долго. Тем взглядом, которым смотрел на неё всегда, особенно в последние годы, — будто сравнивал с кем-то. Потом опустил глаза в тарелку.

— Не знаю, — сказал он. — Какой Вольф?

— Ты говорил ночью. В бреду. «Катя, не ходи туда, там Вольф». И про стекло. И про Болото.

Отец доел бульон. Медленно. Ложку за ложкой. Потом отдал ей тарелку.

— Не помню, — сказал он. — Бред, Леночка. Ты же медик. При сорока шести человек может говорить что угодно. Про Вольфа, про стекло, про Наполеона. — Он слабо улыбнулся. — Я, может быть, Шиллера вспоминал. Или Вольфа, химика, — был такой, Вольф, в Лейпциге, у которого я хотел стажироваться в девятьсот третьем. — Он закрыл глаза. — Я устал. Я посплю.

Лена смотрела на него. Он лгал. Она знала, что он лжёт, — так же ясно, как знала по звуку при простукивании, где плеврит, а где здоровое лёгкое. Он лгал неумело, как лгут люди, которые не привыкли лгать, — слишком подробно, с лишними объяснениями, с химиком из Лейпцига, — и он знал, что она знает.

Она не стала спрашивать дальше.

Она поднялась в мезонин, раскрыла тетрадь наблюдений — ту самую, с пульсом и температурой отца, — и на полях последней страницы, мелко, карандашом, записала:

«Вольф. Стекло. Болото. “Я не сужу, Катя”».

Посмотрела на запись. И, подумав, приписала ниже, по-латыни, как пишут в истории болезни, когда диагноз не ясен:

«Diagnosis dubia. Наблюдение продолжить».

12.4. «Государство и революция»

Книгу принёс Беленец.

Он пришёл навестить отца на пятый день болезни — двадцатого, наутро после кризиса, — когда температура уже держалась ровно, тридцать семь и две, тридцать семь и четыре, и отец сидел на диване, обложенный подушками, в старом халате, в пледе, в очках, и капризничал, как все выздоравливающие: требовал газет, которые Лена прятала, и папирос, которые она отобрала. Беленец был председателем ревкома, человеком лет сорока, бывшим ссыльным, с тяжёлым, широким, непроницаемым лицом, в кожанке поверх косоворотки, — и в столовой, с её буфетом, граммофоном, которого никто никогда не заводил, и скатертью с бахромой, он выглядел, как медведь, забредший в гостиную. Он принёс отцу банку мёда — настоящего, алтайского, — и пачку бумаги, перевязанную бечёвкой.

— Вот, Пётр Сергеевич, — сказал он. — Чтобы не скучали. Из Петрограда прислали. Ильича новое. Ещё не издано — только готовят. Гранки. Для агитаторов, для губкомов, для своих. По одному экземпляру на губернию. — Он положил пачку на одеяло. — Говорят, это — главное. Там всё объяснено. Что мы делаем и зачем.

Отец взял пачку обеими руками. Бережно, как берут младенца. Развязал бечёвку. На верхнем листе, серой, рыхлой бумаге, крупно, типографским шрифтом, ещё не обрезанным, с полями для корректуры, было напечатано: «Н. Ленин. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции».

Лена видела, как у отца загорелись глаза.

Он читал весь день и половину ночи. Читал, не отрываясь, с карандашом, отмечая на полях, подчёркивая, ставя восклицательные знаки, — читал так, как, наверное, читал в девяносто пятом году на Шпалерной, в одиночке, «Анти-Дюринга». Он забыл про газеты и про папиросы. Он почти не ел. Лена дважды отбирала у него гранки и прятала, потому что у него поднималась температура — тридцать семь и восемь от одного волнения, — и дважды он находил их, и смотрел на неё жалобно, как ребёнок, у которого отобрали игрушку, и она отдавала.

На следующий вечер, двадцать первого, он протянул ей пачку.

— Прочти, — сказал он. — Леночка. Я прошу. Прочти. Ты говорила про Маха — что Мах честнее. Хорошо. Мах — это теория познания. Это про ощущения. А это — про жизнь. Про то, что мы делаем. Здесь — всё. Вся программа. — Он постучал пальцем по гранкам. — Ты спрашивала меня: зачем ЧК, зачем разгон, зачем цензура, зачем расстрел на месте. Здесь ответ. Здесь — почему всё это необходимо. И почему — временно. Прочти. А потом поговорим. По-настоящему. Как в ноябре обещали.

«Потом поговорим». Он сказал это ей в ноябре, у избирательного участка, над полбутербродом с салом, когда она сказала «Мах честнее». И они так и не поговорили. Три месяца.

Лена взяла гранки и унесла наверх.

Она читала всю ночь.

Она читала при лампе под зелёным абажуром, в маминой шубе на плечах, с ногами на стуле, — и сначала читала медленно, внимательно, честно, как читала учебник физиологии перед экзаменом: желая понять. Она хотела понять. Она хотела — она не призналась бы себе в этом, но это было так, — она хотела, чтобы отец оказался прав. Чтобы в этой серой рыхлой пачке был ответ. Чтобы можно было прочитать и сказать: да, я понимаю, это страшно, но это нужно, и это временно, и потом будет хорошо. Ей очень хотелось, чтобы потом было хорошо.

К двум часам ночи она поняла, что не понимает.

Не потому, что было трудно. Было не трудно — было даже легко, ясно, гладко, с цитатами из Маркса и Энгельса на каждой странице, с объяснениями, с примерами — Парижская коммуна, 1871 год, Франция. Она не понимала другого. Она не понимала, чего хочет автор.

Он писал — на одной странице, — что государство есть «продукт и проявление непримиримости классовых противоречий», машина для угнетения одного класса другим, и что оно должно быть уничтожено. И что оно «отомрёт». Он цитировал Энгельса про «отмирание», много раз, с восторгом. Он писал, что пролетариату нужно государство только «отмирающее», такое, которое «немедленно начинает отмирать и не может не отмирать». Он писал — и Лена подчеркнула это, и перечитала три раза, — «пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

И это было хорошо. Это было почти то, что говорил Кропоткин. То, что говорили анархисты, которых отец всю жизнь презирал. То, что говорила когда-то мама — Марья Павловна рассказывала, что мама на каторге спорила с марксистками и называла себя «ничьей».

А на другой странице — через десять страниц, через двадцать — он писал, что старую государственную машину надо «сломать», «разбить», — и тут же, сразу, построить новую. Диктатуру пролетариата. Которая будет «подавлять» сопротивление эксплуататоров. Организованное насилие. Вооружённый народ. Централизм. Строжайшую дисциплину. Учёт и контроль — «всё общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы».

Одной конторой. Лена вспомнила Короткова за стеной из спичечных коробков. Одной фабрикой.

Она читала дальше. Армию и полицию — «особые отряды вооружённых людей» — заменит «вооружённый народ». Чиновников — выборные, сменяемые в любое время, с жалованьем «не выше заработной платы рабочего». Парламент — «говорильню» — заменят работающие учреждения, которые сами пишут законы и сами их исполняют.

И Лена отложила гранки, встала и подошла к окну.

За окном был ночной Томск, тёмный, в снегу, с двумя фонарями на горе. Где-то там, в губернаторском доме, в ревкоме, спали на диванах люди, которые эту книгу ещё не прочли, но уже делали всё, что в ней написано, — или всё, что в ней не написано? Она не могла понять. Вооружённый народ — вместо полиции. А Чрезвычайная комиссия? А Очумелов с бантом? А человек в кожанке с маузером, который сказал в ночь разгона: «Право имеет тот, у кого винтовка»? Жалованье не выше рабочего. А сани с гербом, замазанным краской, на которых привезли отца? А автомобиль Второва, реквизированный, на котором теперь ездил Беленец? Парламент — говорильня. А Учредительное собрание, которое разогнал матрос, потому что караул устал? А Сибирская дума, которую разогнали красногвардейцы с мадьярами, а она стенографировала?

Чего он хочет — уничтожить государство или усилить его?

На бумаге — уничтожить. А на деле, в Томске, в ревкоме, в декретах, в ночь на двадцать шестое января, — усилить. Сделать таким, каким не было при царе. Царь не разгонял Учредительное собрание — у царя его не было. Царь не закалывал больных в постелях. Царь не расстреливал на месте без суда — или расстреливал? Она не знала. Ей было девятнадцать лет — уже почти двадцать — и она не знала, что делал царь. Она знала только, что делают эти.

И было ещё одно. Хуже.

Стиль.

Лена не могла бы объяснить это отцу — она пыталась потом и не смогла, — но это было для неё важнее, чем все противоречия. Это было не в голове. Это было где-то глубже, в теле, в коже, в том месте, где она чувствовала, приятен ей человек или нет, задолго до того, как он открывал рот. Она читала эту книгу — и ей было неприятно. Физически. Как бывает неприятно, когда в комнате кто-то громко чавкает, или кричит на прислугу, или хлопает по плечу.

Он ругался. Он ругался на каждой странице. «Оппортунисты». «Мелкобуржуазные демократы». «Филистеры». «Лакеи буржуазии». «Пошлость». «Опошление». «Извращение». «Каутскианство». Он ругал Каутского так, будто Каутский лично украл у него кошелёк. Он ругал Плеханова, Бернштейна, меньшевиков, эсеров — «господа эсеры и меньшевики», — и в этом «господа» была такая издевка, такая злоба, что Лена, читая, морщилась. Он не спорил с ними — он их высмеивал, обзывал, отлучал. Как архиерей отлучает еретика. Как Синод отлучал Толстого. Курсивы — на каждой странице, по десятку: слово, ещё слово, ещё — будто он кричал, будто стучал кулаком по столу, будто боялся, что его не услышат. Восклицательные знаки. Повторы — одно и то же, по три, по четыре раза, другими словами, и снова, и снова. Скобки, в которых он ещё раз ругался. «Т. е.» — «то есть» — двадцать раз на странице: то есть, то есть, то есть, как будто он всё время поправлял себя и всё время боялся, что поймут неправильно.

Лена была медичкой. Она видела в клиниках нервных больных. Она видела, как говорит человек, который боится. Который не уверен. Который кричит, потому что не может доказать. Который ругается, потому что у него нет доводов. Она видела это у мужчин — у Грушницкого, когда он рассказывал про шрам от гвоздя, который выдавал за след ножа; у Передонова, когда он писал про «порнографию на томской сцене»; у Очумелова, когда он кричал «не знаю я вас!» арестованному жандарму, с которым пил коньяк у Беляева. Тон человека, который лжёт — не словами, а голосом, — она узнавала сразу, телом, как узнаёшь запах гари раньше, чем увидишь дым.

И она узнала его здесь.

За этими курсивами, за «лакеями» и «филистерами», за «т. е.» и восклицательными знаками — она чувствовала его. Автора. Человека. Нервного. Злого. Неуверенного — и потому крикливого. Который пишет о свободе и об отмирании государства, — а сам хочет одного: чтобы его слушали. Чтобы ему подчинялись. Чтобы не спорили. Человека, у которого — Лена не знала, откуда это слово пришло ей в голову, но оно пришло и осталось — жажда власти. Как у Гомаровского — «право — это сила» — только Гомаровский говорил это спокойно, с усмешкой, честно, не прикрываясь Энгельсом. А этот — прикрывался. И кричал.

В конце, в послесловии, датированном тридцатым ноября, была фраза, которую Лена перечитала четыре раза. Автор писал, что не успел дописать последнюю главу, потому что ему «помешал» политический кризис — канун Октябрьской революции, — и что «такой помехе можно только радоваться», ибо «приятнее и полезнее “опыт революции” проделывать, чем о нём писать».

Приятнее. Лена положила гранки на стол и долго сидела, глядя на это слово. Приятнее — делать, чем писать. Он сам это сказал. Он бросил книгу о том, как отомрёт государство, на полуслове — потому что ему стало приятнее брать государство в руки.

Она легла под утро и не уснула.

Разговор был днём, двадцать второго.

Был февральский солнечный день, первый после метелей. Солнце било в окна кабинета, куда отца перенесли накануне, когда в гостиную вселили постояльца, яркое, низкое, слепящее, отражённое от снега, — и в его свете были видны пылинки в воздухе, и трещины на скатерти, и седина в бороде отца, и то, как он похудел за неделю: лицо осунулось, скулы торчали, шея в вороте халата стала тонкой, стариковской. Фёкла поставила самовар. Лена принесла мёд Беленца, разлила чай. Гранки лежали на столе между ними.

— Ну? — сказал отец.

Он сказал это так же, как сказал в ноябре, у избирательного участка: «Ну?» — с надеждой. Он ждал. Он сидел на диване, в пледе, в очках, с чашкой в руке, — и ждал, что она скажет: да, папа, я поняла. Лена видела это по его лицу. И ей стало его так жалко, что захотелось соврать.

Она не соврала.

— Он сам не знает, чего хочет, — сказала она.

Отец поставил чашку.

— Объясни.

И она объяснила. Всё, что думала ночью, — по порядку, как отвечала на экзамене: государство отмирает — и государство усиливается; вооружённый народ вместо полиции — и Чрезвычайная комиссия; жалованье не выше рабочего — и сани с гербом; парламент — говорильня, но Учредительное собрание разогнали не потому, что оно говорило, а потому, что в нём было большинство не у вас. Свобода — это когда нет государства; но пока его нет, будет диктатура; а когда кончится диктатура — сказано, но не сказано когда. Она говорила, что это смесь — Маркса с Кропоткиным, коммуны с казармой, почти эсеровских Советов с якобинским террором, — и что смесь эта не держится, расслаивается, как эмульсия, которую плохо взболтали. И что, судя по тому, что они делают в Томске, — побеждает тот слой, который тяжелее. Государство. Не отмирающее, а растущее.

Отец слушал её молча. Сначала — с интересом. Потом — хмурясь. Потом — с тем выражением, с каким слушал на кафедре студента, который отвечает бойко, но неправильно.

— Ты читаешь глазами барышни, — сказал он, когда она замолчала. — Прости. Но это так. Ты ищешь логику, как в учебнике. А это — диалектика. Это не «или — или». Это «через». Государство отмирает через диктатуру. Как… — он поискал сравнение, и Лена увидела, что он нашёл и обрадовался, — как болезнь проходит через кризис. Ты же видела. Неделю назад у меня было сорок и шесть. Пульс сто сорок. Это было страшно. Это было — хуже, чем болезнь. Но без этого кризиса я бы не выздоровел. Тело должно было пройти через жар, чтобы победить. Диктатура пролетариата — это жар. Это кризис. Это страшно. Но это — временно. А потом — выздоровление. Отмирание. Свобода.

— А если не выздоровление? — сказала Лена.

— Что?

— А если не жар, папа? Если гангрена?

Отец посмотрел на неё.

— Жар проходит сам, — сказала Лена. — Ты прав. Его пережидают. Ставят банки, дают креозот, сидят у постели — и ждут. Тело решает. А гангрену не пережидают. Её ампутируют. Иначе она поднимается вверх, по ноге, до паха, до живота, — и больной умирает. Я видела в клиниках, у Мыша. Солдат со стопой. Он не хотел ампутации, боялся, — и его ждали, неделю, — и гангрена поднялась до колена, потом до бедра. Ему отняли ногу по самый пах. Он всё равно умер.

— При чём здесь…

— При том, что вы говорите «временно», — сказала Лена. Голос у неё стал выше, и она это слышала и не могла остановить. — Вы все говорите «временно». Ты говорил «временно» про цензуру в октябре — и не договорил. Ты говорил «временно» про списки. Он пишет «временно» про диктатуру. А Шингарёва закололи не временно. Его закололи навсегда. В постели, папа. Больного. Врача. Он был врач, земский, он книгу написал про вымирающую деревню, Мыш её знает. Его закололи на больничной койке. Это — тоже жар? Это пройдёт?

Отец молчал.

— А Учредительное собрание? — сказала Лена. — Его разогнали временно? Его соберут, когда кончится диктатура? Когда? Кто его соберёт? Матрос Железняков? Когда у него караул отдохнёт?

— Лена.

— А этот стиль, папа! — Она схватила гранки со стола, тряхнула ими. — Ты читал, как он пишет? «Лакеи». «Филистеры». «Пошлость». «Господа эсеры». Каждая страница — ругань. Он не спорит — он обзывает. Он не доказывает — он кричит. Курсивами. Восклицаниями. «То

есть, то есть, то есть». Так пишет не учёный. Ты — учёный, ты так не пишешь. Ты пишешь — «по-видимому», «можно предположить», «требует проверки». А он — «несомненно», «только идиоты», «лакеи». Так пишет человек, который боится, что ему не поверят. И поэтому кричит.

— Это полемика, — сказал отец. Он побледнел, на скулах проступили красные пятна. — Это жанр. У Маркса — то же самое. Ты читала, как Маркс писал о Прудоне? О Лассале? Маркс ругался хуже. Энгельс — хуже. Это — традиция. Полемическая традиция. Нельзя бороться с врагом в перчатках.

— Маркс не был у власти, — сказала Лена. — Маркс ругался в Лондоне, в библиотеке. А этот — в Смольном. С матросами. Ругань человека в библиотеке — это ругань. А ругань человека, у которого матросы, — это приговор. Он пишет «лакеи буржуазии» — а матрос читает и идёт в Мариинскую больницу. Ты понимаешь разницу?

Отец не ответил.

— И ещё, — сказала Лена. Она уже не могла остановиться. — Вот это. Послесловие. — Она нашла страницу, ткнула пальцем. — «Приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нём писать». Приятнее, папа. Он сам говорит. Он бросил книгу на половине, на главе о том, как будет отмирать государство, — бросил, потому что ему стало приятнее брать власть. Он не дописал, как отомрёт. Он дописал только, как взять. — Она положила гранки. — Я не знаю, что он за человек. Я его не видела. Но я читаю его — и мне неприятно. Как будто в комнате кто-то… — она поискала слово, — кто-то лжёт. Не словами. Голосом. Я чувствую это, папа. Как запах. Я не могу объяснить, но я чувствую. Он нервный. Он злой. И он хочет власти. Не свободы — власти. А свобода — это для красоты. Как бант у Очумелова.

Она замолчала.

В кабинете было тихо. Солнце било в окна, и пылинки плавали в его лучах. Самовар остывал. Где-то за стеной, в кухне, Фёкла гремела ухватом.

Отец сидел, опустив голову. Он долго молчал. Потом закашлялся — тяжело, с хрипом, тем кашлем, от которого у Лены холодело в животе, — и она, сама не заметив как, оказалась рядом с ним, на краю дивана, и держала его за запястье, и считала пульс. Сто четыре. Частит. Она считала — и одновременно поняла, что сделала это посреди собственной фразы, посреди спора, посреди «он хочет власти», — бросила спор и стала считать пульс. Врач победил спорщицу. Без всякого её решения. Руки сами.

— Девяносто восемь, — сказала она. — Тебе нельзя волноваться.

— Мне нельзя, — сказал отец. — А тебе можно.

Он отнял руку. Не грубо — просто отнял. Снял очки, потёр глаза. Без очков глаза у него были близорукие, беззащитные, детские.

— Может быть, ты права, — сказал он тихо. — Про стиль. Может быть. Я не знаю. Я тоже… иногда морщусь. — Пауза. — Но ты не права про главное. Это не гангрена, Лена. Это — роды. Рождение нового мира. А роды — это кровь. Это крик. Это боль, хуже которой нет. Ты же акушерство проходила. Ты видела. Женщина кричит, ругается, проклинает мужа, Бога, всех, — а потом рождается ребёнок. И она всё забывает.

— Иногда роженица умирает, — сказала Лена. — И ребёнок тоже. Это я тоже видела.

Отец надел очки. Посмотрел на неё — долго, тем взглядом, будто сравнивал с кем-то.

— Ты говоришь, как она, — сказал он.

— Как мама? — Лена подалась к нему.

Отец помолчал.

— Нет, — сказал он. — Не как мама. Как… — Он запнулся. — Как те, с кем она спорила.

И отвернулся к стене, к узору обоев, к выцветшим лиловым ирисам, которые помнили, может быть, девяносто девятый год.

— Я устал, Леночка. Я посплю. Потом договорим.

Лена сидела на краю дивана и смотрела на его спину, на худые лопатки под халатом, на которых ещё не сошли лиловые круги от её банок. «Как те, с кем она спорила». С кем спорила мама? С марксистками на каторге — Марья Павловна рассказывала. С жандармами? С судьями? С ним самим? Отец, значит, слышал, как мама спорит. И не с ним — с другими. И Лена говорит, как эти другие.

Она не понимала. Она понимала только, что отец сказал больше, чем хотел. Как в бреду. Как про Вольфа.

Гранки остались на столе. Она не взяла их. Вечером, когда отец спал, Фёкла убирала в кабинете посуду и, взяв серую рыхлую пачку, долго смотрела на неё — Фёкла не умела читать, — потом спросила:

— Это что, барышня? Святое?

— Нет, Фёкла, — сказала Лена. — Это книга. О государстве.

— А, — сказала Фёкла. — О государстве. — Она подумала. — Это которое отменили? Как Сретенье?

— Нет. Которое будет. Без государства.

Фёкла посмотрела на пачку с уважением и положила её на буфет, рядом с граммофоном, который никто никогда не заводил.

— Без государства, — повторила она. — Ага. Это как в раю, стало быть. А до рая, барышня, всегда сперва помереть надо.

И пошла мыть посуду.

12.5. Уплотнение

Швондер пришёл на третий день болезни, восемнадцатого, — в самый жар, когда отец лежал в столовой с температурой сорок и Лена ставила ему банки.

Он постучал в парадную дверь — вежливо, три раза, костяшками пальцев, — и когда Фёкла открыла, вошёл, не дожидаясь приглашения, и встал в сенях, снимая шапку, и снег с его сапог потёк на половик. За ним вошли ещё двое: женщина в кожаной куртке и мужском картузе, с папкой под мышкой, и молодой человек в студенческой фуражке и в пальто, из-под которого торчала гимнастёрка, — с блокнотом и карандашом. Все трое смотрели на сени, на вешалку, на Фёклин тулуп, на мамину лисью шубу, висевшую рядом с тулупом на гвозде, — так, как смотрят оценщики в ломбарде.

— Председатель домового комитета Воскресенской горы, — сказал он, — и член жилищной комиссии губисполкома. Швондер.

Он был невысокий, худощавый, лет тридцати, с бородкой клинышком, тёмной, аккуратно подстриженной, в пенсне без оправы, в кожаной тужурке, перетянутой ремнём, с папкой — другой, своей, коричневой, потёртой, — под мышкой. Лицо у него было бледное, умное, с тонким носом и тонкими губами, и на лице было выражение спокойной, вежливой, совершенно непоколебимой уверенности. Так, подумала Лена, выйдя на голоса в сени с банкой в руке, — так смотрит человек, у которого в папке мандат. И который знает, что мандат сильнее всего, что есть в этом доме.

— Гражданка Трофимова? — сказал Швондер. — Елена Петровна?

— Да.

— Мы по вопросу о вашей жилплощади. — Он раскрыл папку, достал лист. — По данным переписи, произведённой в декабре, в доме номер… на Воскресенской горе проживают: гражданин Трофимов Пётр Сергеевич, профессор, член ревкома; гражданка Трофимова Елена Петровна, студентка; гражданка Фёкла… — он поискал, — Фёкла, без фамилии, прислуга. Итого три человека. Жилая площадь: пять комнат, кухня, мезонин. — Он поднял на Лену глаза поверх пенсне. — Пять комнат и мезонин на троих. При норме — одна комната на одного трудящегося. В городе — острый жилищный кризис. Красная гвардия, интернациональные

отряды, беженцы из Петрограда, из Пермской губернии, рабочие семьи из бараков. Люди спят в конюшнях. Мезонин подлежит. И одна из комнат внизу — подлежит.

— Мезонин — моя комната, — сказала Лена.

— Вы можете переехать вниз, — сказал Швондер. — Внизу пять комнат. Вам, гражданину профессору и прислуге — три. Две — уплотняются. Мезонин — уплотняется. — Он сделал пометку в листе. — Мы бы хотели осмотреть.

— Отец болен, — сказала Лена. — У него сорок. Плеврит. Сейчас нельзя.

Швондер посмотрел на банку у неё в руке. Потом — через её плечо — на открытую дверь столовой, где на диване, под пледом, с лиловыми буграми на спине, лежал отец и кашлял. Потом снова на Лену.

— Мы не будем беспокоить больного, — сказал он. — Мы осмотрим мезонин. Это наверху.

И пошёл к лестнице.

Лена шагнула ему наперерез — с банкой, — и в эту секунду из столовой раздался голос отца. Слабый, сиплый, задыхающийся, но отчётливый:

— Леночка. Кто там?

Швондер остановился. Повернулся к двери столовой. И лицо его — Лена видела это — изменилось. Чуть-чуть. Вежливая непоколебимость стала почтительной непоколебимостью.

— Товарищ Трофимов, — сказал он, подойдя к двери столовой и встав на пороге. — Швондер, жилкомиссия. Извините за беспокойство. Мы по вопросу уплотнения. Вашего дома.

Отец приподнялся на локте. Без очков, мокрый, серый, с красными пятнами на скулах. Он смотрел на Швондера мутно — Лена знала, что без очков он видит только пятно, — и молчал. Потом сказал:

— Уплотнения. Да. Конечно.

— Пять комнат и мезонин на троих, товарищ Трофимов, — сказал Швондер. — При острейшем кризисе. Вы понимаете. Как член ревкома…

— Понимаю, — сказал отец. — Конечно. Член ревкома должен… — Он закашлялся, долго, тяжело, и Лена бросилась к нему, но он отстранил её рукой. — Должен показывать пример. Разумеется. Берите. Что подлежит — берите. Мезонин? Мезонин — Ленин. Лена переедет вниз. В мамину… — он запнулся, — в маленькую комнату. Там тепло.

— Папа, — сказала Лена.

— Леночка, это правильно, — сказал отец, откидываясь на подушку. — Это справедливо. Люди спят в конюшнях. Великопольский спал в конюшне. С крысой. Вирхов, помнишь? А у нас — мезонин. Пустой. Ты всё равно… ты всё равно там только спишь. И книги. Книги перенесём.

Он закрыл глаза. Он говорил совершенно искренне, и Лена это видела, и от этого было хуже. Он не знал. Он ничего не знал — ни про нишу, ни про медведей, ни про то, что лежало за медведями. Он отдавал мезонин так же, как отдал когда-то, в девятьсот пятом, последние деньги «на партию», как отдавал свою пайку соли студентам, как отдал бы рубашку. Он был щедр. И его щедрость сейчас была для Лены страшнее любого обыска.

Потому что за медведями лежала половина маминого золота. И бархатная коробочка. И синяя думка «Ленке на приданое». И облигации, и керенки. И снимки из мансарды. И протокол подпольного заседания думы, напечатанный набело, с фамилиями — Якушев, Дербер, Краковецкий, Вологодский, Новосёлов, — и с её собственной: «Секретарь — Трофимова Е. П.».

Если в мезонин вселят чужих людей — красногвардейцев, беженцев, кого угодно, — рано или поздно кто-нибудь снимет медведей со стены. Чтобы повесить свою картинку. Или просто так, из любопытства. Или чтобы растопить печку рамой.

— Спасибо, товарищ Трофимов, — сказал Швондер. — Сознательно. Мы так и запишем. Добровольно. — Он кивнул молодому человеку с блокнотом, и тот записал. — Разрешите осмотреть мезонин?

— Смотрите, — сказал отец, не открывая глаз.

И тогда Фёкла, которая всё это время стояла в сенях у вешалки со скрещёнными на груди руками и молчала, — Фёкла вдруг охнула. Громко. Протяжно. По-деревенски. И схватилась за сердце.

— Ой, батюшки, — сказала Фёкла. — Ой, Господи Исусе. Да как же это. Да туда ж нельзя.

Все обернулись.

— Да туда ж — чахоточная, — сказала Фёкла. Она сказала это с таким ужасом, с таким неподдельным, натуральным, мужицким ужасом, что даже Лена на секунду поверила. — Там же барыня жила. Покойница. С чахоткой. Харкала кровью — во, в плевательницу, медную, вон она и сейчас под кроватью стоит, я её не выношу, боюсь. Вся комната — заразная. Стены, пол, потолок. Я туда и не захожу. Барышня одна заходит — так барышня медичка, ей можно, она привычная. А вам-то — куда? — Фёкла перекрестилась. — У вас, может, детки будут. Внучата. Им туда — ни-ни. Помрут.

Швондер посмотрел на Фёклу. Потом на Лену. Пенсне блеснуло.

— Гражданка, — сказал он Фёкле, — это суеверие. Мещанские предрассудки. Советская власть…

— Нет, — сказала Лена. — Это не суеверие.

Она сказала это спокойно, холодно, с той интонацией, с какой Мыш говорил на обходе диагноз. И поставила банку на подоконник.

— Это не суеверие, товарищ Швондер. Это бактериология. Пойдёмте. Я вам покажу.

Она привела их наверх.

В мезонине было холодно — печь не топили с утра, Лене было некогда. На столе, под лампой с зелёным абажуром, стоял микроскоп. Цейс. Тот самый, купленный в апреле у вдовы профессора на первое золото, — латунный, тяжёлый, с тремя объективами на револьвере, с зеркальцем, — лучший микроскоп, кажется, во всём Томске, кроме клинического. Рядом — коробка с препаратами, стёклами, предметными и покровными, и баночки, и пипетки. Лена готовилась по бактериологии к весеннему экзамену и работала дома, по ночам, чтобы не ходить в лабораторию, где не было ни дров, ни керосина.

Она зажгла лампу. Порылась в коробке. Нашла стекло — то, что ей было нужно: мазок мокроты, окрашенный по Цилю — Нильсену, из клиник, из терапевтического отделения, от больного с открытой формой, она взяла его для практикума. Положила на столик. Навела. Подкрутила винт. Посмотрела сама — да, вот они. Красные палочки на синем фоне. Тонкие, чуть изогнутые, кучками.

— Посмотрите, — сказала она Швондеру. — Сюда. Одним глазом. Другой закройте.

Швондер колебался. Потом снял пенсне, наклонился к окуляру. Посмотрел.

— Что это? — спросил он.

— Mycobacterium tuberculosis, — сказала Лена. — Палочка Коха. Возбудитель туберкулёза. Чахотки. — Она помолчала. — Видите красные палочки? Это они. Каждая из них — живая. Она может жить в пыли, на полу, на стенах, в щелях, в обивке, в матрасе — месяцами. Годами. В темноте, в холоде. — Она снова помолчала. — Этот мазок я сделала здесь. В этой комнате. С подоконника. Вот с этого.

Это была ложь. Мазок был из клиник. Но Лена сказала это так спокойно, что сама на секунду поверила.

Швондер отпрянул от микроскопа. Медленно выпрямился. Надел пенсне. Посмотрел на подоконник. Потом на стены — на обои с лиловыми ирисами, выцветшие, кое-где отставшие. Потом на кровать. Потом на свои руки.

Женщина в кожаной куртке, стоявшая в дверях, отступила на шаг, на лестницу. Молодой человек с блокнотом перестал писать.

— Я медичка, — сказала Лена. — Третий курс. Я здесь живу, потому что у меня — она пожала плечами — привычка. И иммунитет, вероятно. Я переболела в детстве в лёгкой форме — отец тоже болел, в девяносто девятом, вы слышите, как он кашляет? Это не только плеврит. Это старое. Он заразился здесь. Мать умерла от того же. На каторге, но заразилась — здесь. — Это тоже была ложь, наполовину. — Я не против уплотнения, товарищ Швондер. Я понимаю. Люди спят в конюшнях. Но если вы поселите сюда рабочую семью с детьми — через год у вас будет три могилы на Вознесенском. И виноваты будете вы. Жилкомиссия. Губисполком. Советская власть. — Пауза. — Это будет вредительство. Санитарное.

Слово «вредительство» она где-то слышала — в ревкоме, от отца, — и сейчас оно пришлось кстати.

Швондер молчал. Он смотрел на неё долго, через пенсне, и Лена видела, как в его умном, бледном, тонком лице борются две вещи: мандат и палочка Коха. Он был образованный человек. Он, может быть, сам учился когда-то — на юридическом, на историко-филологическом, где-нибудь в Петербурге, в Киеве. Он знал, что такое туберкулёз. Он не хотел вредительства.

— Вам нужно заключение, — сказала Лена. — Письменное. Для комиссии. Я понимаю. — Она села к столу, взяла лист, обмакнула перо. — Сейчас.

И написала. Быстро, твёрдо, медицинским почерком, по-новому, без ятей — она нарочно писала без ятей, впервые в жизни, и рука сопротивлялась:

«Заключение. Настоящим удостоверяется, что жилое помещение (мезонин) в доме Трофимова на Воскресенской горе по санитарно-бактериологическому обследованию признано неблагополучным в отношении туберкулёзной инфекции (обнаружены возбудители, Mycobacterium tuberculosis, при микроскопии по Цилю — Нильсену) и к заселению, особенно детьми и лицами с ослабленным здоровьем, непригодно впредь до полной дезинфекции, каковая в настоящих условиях (отсутствие формалина, сулемы и серы в аптеках города) невозможна. Обследование произвела: студентка 3-го курса медицинского факультета, врем. исп. обяз. санитарного наблюдателя Е. Трофимова».

«Врем. исп. обяз. санитарного наблюдателя» — она придумала это на ходу. Такой должности не было. Но это было похоже на настоящее. Это было похоже на все те бумаги с заклеенными медными табличками, которые она видела в управе.

Печати у неё не было. Но в коробке с препаратами, на дне, лежал штамп клинической лаборатории — круглый, резиновый, с надписью по кругу «Клиническая лаборатория медицинского факультета Томского университета» и с номером в середине, — который она взяла в декабре для практикума, чтобы штамповать свои препараты, и забыла вернуть. Подушечки не было. Она подышала на штамп, как подышал Коротков на свою печать с ощипанным орлом, — и шлёпнула. Оттиск вышел бледный, но читаемый.

Она протянула лист Швондеру.

Швондер прочёл. Дважды. Потом ещё раз — губами. Потом аккуратно сложил лист и положил в свою коричневую папку.

— Хорошо, — сказал он. — Мезонин мы снимаем с учёта. Временно. До дезинфекции. — Он повернулся к молодому человеку с блокнотом. — Запиши: мезонин — санитарно неблагополучен, заключение лаборатории. — Потом снова к Лене. — Но столовая — подлежит. Столовая не заразна?

Лена подумала.

— Столовая — нет, — сказала она.

Отступать дальше было нельзя.

Мадьяра вселили через три дня.

Его привела та же женщина в кожаной куртке, с папкой, — двадцать первого, утром, когда отец уже сидел в подушках и читал гранки Беленца. Мадьяр стоял в сенях, в серо-голубой шинели, в кепи с наушниками, с вещевым мешком за спиной, с короткой своей винтовкой на ремне и со скрипичным футляром под мышкой, — высокий, худой, рыжеусый, с бледными голубыми глазами и с лицом таким спокойным, будто его привели не в чужой дом, а в казарму, где ему предстояло прожить год.

— Ференц, — сказал он, коснувшись пальцами кепи. — Ференц Ковач. — И добавил, старательно, по-русски, с сильным акцентом, будто выучил наизусть: — Я не мешать. Я тихо.

Лена узнала его сразу.

Это был тот самый мадьяр — рыжеусый, молодой, — который в ночь на двадцать шестое января стоял у стены в квартире кооператора, когда Очумелов читал фамилии, и стряхнул со штыка снежную шапку на ковёр. Она запомнила его лицо — одно из немногих в ту ночь, — потому что он один из всех смотрел не на депутатов и не на неё, а в окно, на снег, и лицо у него было скучающее и печальное, как у человека, который думает о чём-то очень далёком.

Он её тоже узнал. Она видела, как дрогнули его бледные глаза, когда он увидел её на лестнице. Потом он опустил глаза и снова коснулся пальцами кепи.

— Я не мешать, — повторил он.

Его поселили в столовой. Не в самой — в смежной маленькой комнате, за столовой, бывшей гостиной, где стоял старый рояль, на котором никто не играл с тех пор, как Лена бросила уроки в двенадцать лет, — а отца перенесли из столовой в его кабинет, на кушетку. Ференц поставил свою винтовку в угол, рядом с роялем. Повесил шинель на гвоздь. Положил вещевой мешок под кушетку, которую ему дали. И сел на кушетку, и сидел, положив руки на колени, и смотрел на рояль.

Фёкла ходила мимо и крестилась ему в спину.

— Немец, — шептала она Лене на кухне. — Пленный. Антихрист. Из тех, что наших в окопах травили. — Потом подумала. — Худой какой. Не кормят их, что ли, в ихней Красной гвардии? — И в обед поставила перед ним миску щей с говяжьей костью, той, что оставалась от бульона для отца, и хлеба, и стояла над ним, скрестив руки, пока он ел, и смотрела, как он ест, — быстро, жадно, низко наклонившись над миской, как едят солдаты, — и, когда он доел и поднял на неё бледные глаза и сказал «спасибо, мать», — Фёкла поджала губы, отвернулась и ушла на кухню. И там, Лена слышала, долго сморкалась.

Вечером Ференц открыл скрипичный футляр.

Скрипка была старая, тёмная, с трещиной на деке, заклеенной чем-то, и со струнами, одна из которых была явно не скрипичная, а от чего-то другого, толще и темнее. Он настраивал её долго, тихо, склонив рыжую голову к грифу, — а потом заиграл.

Лена сидела в кабинете у отца, при лампе, и считала ему пульс. И замерла.

Он играл что-то, чего она никогда не слышала. Не вальс, не романс, не «Марсельезу». Что-то медленное, тягучее, печальное, с переливами, с какими-то странными, не русскими поворотами, — что-то, от чего сжималось горло, как от «Вы жертвою пали» в поезде с Тайги. Скрипка плакала. Ференц играл, сидя на кушетке у рояля, в одной гимнастёрке, с закрытыми глазами, и за окном шёл снег, и в углу стояла его короткая винтовка.

Отец открыл глаза.

— Это венгерское, — сказал он тихо. — Народное. Я слышал в Вене, в девятьсот третьем. Там цыгане играли так. — Он помолчал. — Он, наверное, по дому тоскует.

Фёкла стояла в дверях кухни и слушала, и лицо у неё было неподвижное, жёлтое, старое, и по щеке текла слеза, и она её не вытирала.

На следующее утро Ференц сидел за обеденным столом в столовой — на скатерти с бахромой, у граммофона, которого никто никогда не заводил, — и чистил винтовку. Разобрал затвор,

разложил части на газете, макал тряпочку в масло, протирал. Масло пахло на весь дом. Фёкла увидела это — и встала в дверях, уперев руки в бока.

— Это что? — сказала она. — На скатерти? Ружьё? Где люди едят?

Ференц поднял голову, посмотрел на неё бледными глазами, не понимая.

— На скатерти, — сказала Фёкла. — Где хлеб. Хлеб — святое. А ты — ружьё.

Ференц посмотрел на скатерть. На газету. На затвор. Потом снова на Фёклу. И вдруг понял. Покраснел — весь, до корней рыжих волос, как краснеют рыжие, — вскочил, собрал части винтовки в газету, вместе с маслом, с тряпочкой, прижал к груди и ушёл к себе за рояль. И больше никогда не чистил винтовку на обеденном столе. Он чистил её на полу, у рояля, подстелив свою шинель.

Ночью Лена поднялась в мезонин, заперла дверь на крючок, отодвинула медведей, открыла нишу.

Всё было на месте. Золото. Коробочка. Думка. Облигации. Керенки. Конверт со снимками. Протокол. Она пересчитала свёртки, как Коротков пересчитывал спички, — один, два, три… — и все были на месте. Ни одного не хватало.

Но теперь в доме был чужой. С винтовкой. Из того самого отряда, который разгонял думу, протокол которой лежал в нише поверх золота. Тихий, рыжий, играющий на скрипке, краснеющий от Фёклиного выговора, — чужой.

И Лена вспомнила голос — тот, в ухо, на перроне, второго января: «Когда будут обыски — а они будут, весной, — не прячьте её в сундук. Вешайте на гвоздь в сенях, рядом с Фёклиным тулупом. Никто не ищет золото в сенях».

Мамина шуба висела в сенях на гвозде, рядом с Фёклиным тулупом, с того самого дня. Лена послушалась его в первый же вечер.

Она закрыла нишу, повесила медведей и долго стояла перед ними, держа руку на раме.

Он был прав. Он всегда был прав. Его не было — а он всё ещё был прав. Это было невыносимо.

12.6. Отечество в опасности

Газету принёс Ференц.

Он принёс её вечером того же дня, двадцать второго, — вернулся из своего отряда, из казарм на Иркутском тракте, где интернационалисты жили в бывших военных складах, в шинели, запорошенной снегом, и, сняв кепи в сенях, достал из-за пазухи сложенный вчетверо лист и протянул Лене. Молча. Будто знал, что это нужно отдать именно ей, а не отцу.

Это был экстренный выпуск «Знамени революции» — томской большевистской газеты, — на одной стороне листа, на серой бумаге, жирным шрифтом. Наверху, через всю полосу, крупно:

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!»

Лена прочла это стоя, в сенях, при свете керосиновой лампы, которую держала Фёкла.

Немцы наступали. Восемнадцатого февраля, после того как переговоры в Брест-Литовске прервались — Троцкий объявил «ни мира, ни войны» и уехал, — германская армия двинулась по всему фронту. Без сопротивления. Фронта не было: старая армия разбежалась, новой ещё не было. Немцы шли по железным дорогам, занимали город за городом — Двинск, Минск, Полоцк, Режицу, — шли к Пскову, к Ревелю, к Петрограду. Говорили, что они берут города с горсткой солдат на дрезине. Говорили, что в одном городе вокзал занял немецкий фельдфебель с четырьмя рядовыми.

И Совнарком обращался к народу.

Лена читала пункты декрета. Все силы и средства страны — на революционную оборону. Защищать каждую позицию до последней капли крови. Железнодорожникам — уничтожать пути при отступлении. Буржуазию — в батальоны рытья окопов, под надзором красногвардей-

цев, сопротивляющихся — расстреливать. Издания, противодействующие обороне, — закрывать.

И восьмой пункт.

Лена перечитала его трижды.

«Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления».

На месте. Без суда. Без следствия. Без адвоката, без прокурора, без присяжных. На месте.

Она стояла в сенях, держа газету, и смотрела на это слово — «на месте», — и ей казалось, что буквы шевелятся, как палочки Коха под микроскопом.

— Барышня, — сказала Фёкла. — Чего там? Война опять?

— Война, Фёкла.

— Немцы? — Фёкла перекрестилась. — Опять? Так ведь мир же был? Ведь перемирие в декабре было? Петр Сергеич радовались — мир, говорили, мир, как обещали…

— Немцы, — сказала Лена.

Ференц стоял у вешалки, в гимнастёрке, со своим кепи в руках, и смотрел на неё бледными глазами. Он не понимал по-русски почти ничего, кроме «хлеб», «спасибо», «товарищ» и «я не мешать». Но слово «немцы» он понял. И слово «война». Лицо у него было — как в ночь разгона, когда он смотрел в окно на снег: далёкое, печальное, усталое.

Он был австро-венгерский подданный. Пленный. Его взяли в плен в пятнадцатом году — Лена узнала потом — в Карпатах, и с тех пор он был в Сибири: в лагере под Омском, потом в Томске, на работах, потом — в Красной гвардии, потому что там кормили. Немцы, которые шли сейчас на Петроград, были его союзниками. Его армия. Его кайзер — нет, не его, у него был свой император, австрийский, старый, недавно умерший, — но союзник. И он стоял в сенях профессорского дома в Томске, с русской красногвардейской повязкой на рукаве, и смотрел, как русская барышня читает о том, что его союзники наступают на её столицу.

— Ференц, — сказала Лена. — Вы понимаете? Немцы. Наступают. На Петроград.

Он кивнул.

— Я понимать, — сказал он медленно. — Я — не немец. Я — мадьяр. — Он подумал, подбирая слова. — Мадьяр — не любить немец. Немец — не любить мадьяр. Я — красный. — Он коснулся повязки на рукаве. — Я — против. Все — против. Война — плохо. Я хотеть домой.

И, коснувшись пальцами кепи, ушёл к себе, за рояль.

Через несколько минут оттуда донеслась скрипка. То же самое — медленное, печальное, венгерское.

Отец читал декрет, сидя на кушетке в кабинете, в очках, при лампе.

Он читал его долго — дольше, чем нужно было, чтобы прочитать один лист. Лена стояла у двери и смотрела на него. Она видела, как он читает первые пункты — с интересом, хмурясь, кивая. Видела, как он дошёл до пятого — буржуазия в окопы, сопротивляющиеся расстреливаются, — и как у него дрогнули губы. Видела, как он дошёл до восьмого.

Он не поднял глаз.

— Это война, — сказал он. Тем голосом. Сухим, ровным. — Леночка, это война. Немцы под Псковом. Если они возьмут Петроград — всё кончится. Революция кончится. Всё, что мы… — Он остановился. — В войну так всегда. При любой власти. Военно-полевые суды. Расстрел на месте. При Керенском — помнишь? — восстановили смертную казнь на фронте. Марья Павловна плакала тогда, ты рассказывала. Это — война.

— При Керенском был военно-полевой суд, — сказала Лена. — Суд, папа. Трибунал. Офицеры. Протокол. Приговор. А здесь — «на месте». Кто решает, что человек — спекулянт? Кто решает, что он «контрреволюционный агитатор»? Красногвардеец с винтовкой? Конопатый, который крестился на иордани? Или Очумелов?

Отец молчал.

— А я, папа? — сказала Лена. Она подошла ближе. — Я — контрреволюционный агитатор? Я перепечатала Гиппиус. Двести экземпляров. Ты знаешь. Ты положил один в карман. Рядом со списком. — Голос у неё дрогнул. — Меня можно — на месте?

— Лена, не говори глупостей.

— Это не глупости! — Она сама испугалась своего крика — и не остановилась. — Это написано! Здесь! «Контрреволюционные агитаторы расстреливаются на месте»! Я — агитатор! Я была секретарём на подпольном заседании думы! Это — контрреволюция, по-вашему! Ты сам меня выпустил — оттуда, из квартиры кооператора, — а если бы там был не ты, а этот, в кожанке, с маузером? Он бы меня выпустил? Или — на месте?

Отец снял очки. Положил газету на одеяло.

— Это при царе так было? — сказала Лена тише. — При Плеве? При Столыпине? Мама за это бросала бомбу — за то, чтобы людей расстреливали на месте? За «столыпинские галстуки»? За военно-полевые суды? Мама за это пошла на каторгу — за то, чтобы вы потом сделали то же самое, только с красным бантом?

— Мама бы поняла, — сказал отец.

Он сказал это тихо, но твёрдо. Не глядя на неё.

— Мама бы поняла, Лена. Она знала, что такое война. Она знала, что такое… — Он запнулся. — Она знала, что иногда нужно убить. Чтобы… Она сама… — И замолчал.

— Мама была эсеркой, — сказала Лена. — Мама бы стояла с теми, кого вы разогнали. С Михайловым. С Якушевым. С бурятами. С Учредительным собранием. Марья Павловна говорит — мама была как Перовская. Перовская убила царя — за свободу. Не за то, чтобы на месте!

— Ты ничего не знаешь о маме, Лена.

Отец сказал это — и сам, кажется, испугался.

Лена видела, как изменилось его лицо. Как будто он сказал то, что держал за зубами восемнадцать лет, и оно вырвалось само, как кровь горлом при кавернах, — и он не успел остановить. Он смотрел на неё без очков, близорукими, беззащитными глазами, и в этих глазах было что-то, чего она никогда в них не видела. Страх. Не за себя. За неё. Или — перед ней.

— Ничего, — повторил он, уже тише, почти шёпотом. — Ничего не знаешь.

— Тогда расскажи.

Отец молчал.

— Расскажи мне, папа. — Лена опустилась на колени у кушетки, взяла его руку — горячую, сухую, в жёлтых пятнах. — Расскажи, что я не знаю. Про Вольфа. Про стекло. Про Болото. Про то, почему Фёкла говорит «барыня тоже» и не договаривает. Про то, почему ты говоришь «я не сужу, Катя». Что я не знаю о маме? Расскажи.

Отец смотрел на неё долго. Очень долго. Его рука в её руке была неподвижна.

Потом он надел очки.

— Потом, — сказал он. — Потом, Леночка. Когда кончится война. Когда… — Он отвёл глаза. — Когда будет время. Я обещаю.

— Ты всегда говоришь «потом».

— Да, — сказал отец. — Я всегда говорю «потом».

И отвернулся к стене.

Лена стояла на коленях у кушетки, держа его руку, которую он не отнимал, но и не сжимал в ответ, — и чувствовала, как что-то внутри неё, что держалось весь этот год, весь месяц, все эти ночи у постели, — что-то тихо и окончательно надламывается. Как надламывается сухая ветка под снегом: без звука, без треска, — просто в какую-то секунду она уже не держит.

«Ты ничего не знаешь о маме».

Это было самое страшное, что он сказал ей за всю жизнь. Страшнее, чем «караул устал», страшнее, чем «гражданка Трофимова, техническая служащая, — свободна». Потому что за этим не было ничего. Пустота. Как за медведями в нише, до того, как она положила туда золото.

Она не знала, что там. Она знала только, что там что-то есть.

Марья Павловна пришла на следующий день, двадцать третьего, утром.

Она пришла с банкой мёда — гречишного, тёмного, в глиняном горшке, обвязанном холстиной, — и с узелком, в котором были сухари. Мёд, сказала она, от знакомых эсеров из Семилужков; сухари — сама сушила. «Для Петра Сергеевича. От плеврита. Мёд с редькой — лучшее средство, у нас на Мальцевской так лечили». Она стояла в сенях, высокая, прямая, в своей енотовой шубе, в мужском треухе, со стриженой седой головой, и не раздевалась.

— Я ненадолго, — сказала она. — Я только узнать.

Лена провела её в кабинет.

Отец сидел на кушетке — ему было лучше, он сидел уже второй день, — в халате, в пледе, в очках, с гранками Беленца на коленях. Увидев Марью Павловну, он поднял голову и снял очки. Она остановилась на пороге.

Они не виделись с декабря. С Чрезвычайного съезда — нет, раньше, — с ноября, с выборов в Учредительное собрание, когда отец агитировал за список номер три, а Марья Павловна — за список номер два. И с тех пор между ними было: разгон Учредительного собрания, разгон думы, ночь на двадцать шестое, человек в кожанке, Очумелов со списком, двадцать арестованных депутатов, которых Марья Павловна знала всех по именам. Двое бурятов, которые всё ещё сидели. «Расстреливаются на месте».

— Пётр Сергеевич, — сказала Марья Павловна. — Здравствуйте. Я слышала, вы больны. Я принесла мёд.

— Марья Павловна, — сказал отец. — Спасибо. Садитесь.

Она не села. Поставила горшок с мёдом на стол, рядом с гранками. Узелок с сухарями — рядом. И стояла. Прямая, как палка.

— Как вы себя чувствуете?

— Лучше. Лена выходила. — Отец попытался улыбнуться. — Она у меня врач. Почти.

— Да, — сказала Марья Павловна. — Она в мать.

Пауза. Долгая.

— Вы читали вчерашнее? — спросила Марья Павловна. — Декрет?

— Читал.

— «Расстреливаются на месте». — Она произнесла это ровно, без выражения, как произносят диагноз. — Я двадцать лет просидела в царских тюрьмах, Пётр Сергеевич. Я видела военно-полевые суды девятьсот шестого года. Я видела, как вешали в Иркутске — я рассказывала Лене. Тогда хоть был суд. Плохой, скорый, неправый, — но суд. А теперь — на месте.

— Это война, Марья Павловна. Немцы под Псковом.

— Немцы под Псковом, — повторила она. — Да. Потому что вы сами открыли им дорогу. Вы развалили армию. Вы разогнали Учредительное собрание, которое могло бы… — Она остановилась. — И теперь вы подпишете с ними мир. На любых условиях. Вы отдадите им Украину, Польшу, Прибалтику, Финляндию — всё. Вы это знаете. Ленин этого хочет. Он требует мира любой ценой.

— Это передышка, — сказал отец. — Мы выиграем время. Германия сама рухнет — там тоже будет революция. Через полгода, через год. А мы — сохраним Советскую власть. Это главное.

— Это — предательство, — сказала Марья Павловна.

Она сказала это тихо и отчётливо. Слово упало в кабинет, как камень в колодец.

— Это предательство, Пётр Сергеевич. Предательство России. Предательство союзников. Предательство всех, кто погиб на этой войне — трёх миллионов. Предательство Учре-

дительного собрания, которое единственное имело право решать о мире. И — предательство революции. Потому что революцию делали не для того, чтобы отдать полстраны кайзеру и получить взамен вашу власть.

Отец побелел. Лена видела, как у него на скулах выступили красные пятна — те самые, которые выступали на высоте жара.

— Марья Павловна, — сказал он. — Вы не понимаете…

— Я понимаю, — сказала Марья Павловна. — Я очень хорошо понимаю. Я понимаю, что вы — честный человек, Пётр Сергеевич. Я это знаю. Катерина Михайловна говорила мне: он лучше нас всех. Я помню. И я понимаю, что честные люди сейчас — хуже всего. Потому что честный человек верит. А когда честный человек верит в неправое дело — он делает его до конца. Без сомнений. С чистой совестью. — Она помолчала. — Подлец остановится, когда станет опасно. А честный — не остановится никогда.

Она взяла свой треух со стола — она положила его, войдя, рядом с мёдом, — и надела.

— Поправляйтесь, — сказала она. — Мёд с редькой. Три раза в день. Это помогает.

И вышла. Не попрощавшись. Мимо Лены в дверях — не взглянув на неё. Прямая, в енотовой шубе, широкой, чужой, с чужого плеча. Лена слышала, как она прошла через сени — твёрдо, по-мужски, ставя ногу ровно, — как хлопнула входная дверь, как заскрипел снег за калиткой и стих.

Отец сидел на кушетке и смотрел на дверь.

— Святая, — сказал он. Тихо. — Она — святая, Леночка. Марья Павловна. Я знаю. Катя говорила.

Пауза.

— Святые хуже всех, — сказал он. — Святые никогда не прощают. Им не надо — они безгрешные. Прощают только грешники. Те, кто сами… — Он не договорил.

Он взял горшок с мёдом. Развязал холстину. Понюхал — и Лена увидела, как у него дрогнуло лицо, как будто этот запах, гречишный, тёмный, деревенский, напомнил ему что-то давнее. Потом снова завязал холстину. Поставил горшок обратно. И не прикоснулся к нему больше.

Лена потом, вечером, доела этот мёд с редькой сама. Ложками, сидя на кухне у Фёклы, глядя в окно на снег. Мёд был сладкий, густой, горьковатый, — и она ела его и почему-то плакала.

А днём, двадцать третьего, на площади Революции, у бывшего губернаторского дома, у ревкома, шла запись в Красную армию.

Лена видела это из саней, когда ехала в клиники за кислородной подушкой — отцу она была уже не нужна, но её надо было вернуть. Площадь была полна народа — солдат, рабочих, мальчишек, мадьяр в серо-голубых шинелях, латышей, китайцев. У крыльца стоял стол, покрытый красным сукном, и за столом сидел человек в кожанке — тот самый, с маузером, из ночи разгона, — и записывал. Очередь шла от стола через всю площадь. Над столом висел плакат — свежий, ещё мокрый, кумачовый, с белыми буквами: «Социалистическое отечество в опасности! Все — на защиту революции!»

Первым в очереди, у самого стола, Лена увидела конопатого.

Того, с гармонью, из Ботанического сада. С иордани. Из ночи разгона. Он стоял у стола, держа шапку в руках, и что-то говорил человеку в кожанке, и тот записывал. А за спиной у конопатого висела гармонь — на ремне, через плечо. Он и в Красную армию шёл с гармонью.

Лена подумала, что он, наверное, запишется, и его отправят на фронт — на тот, на немецкий, под Псков, или на какой-нибудь другой, — и он будет там играть на своей гармони, и креститься под шинелью, и, может быть, убьёт кого-нибудь, а может быть, его убьют. И что она его больше никогда не увидит.

Она ошиблась. Она увидит его ещё раз. Но это будет не скоро.

12.7. Двадцать третье

Пирог Фёкла испекла «на всякий случай».

— По числу, — сказала она, ставя его на стол в столовой, под лампу, на скатерть с бахромой, ту самую, на которой Ференц чистил винтовку и с которой Фёкла потом три раза отстирывала масло щёлоком. — По числу, барышня. Двадцать третье февраля. Твоё число. Я двадцать лет на это число пеку. А что они там в ревкоме напутали — мне дела нет. Число — оно число и есть.

Пирог был с груздями. Постный. Как в прошлом году. Как всегда.

Лена смотрела на пирог и не знала, что сказать.

По числу — двадцать третье февраля. Её день рождения. Двадцать лет назад, в этот день — нет, не в этот, в тот, — она родилась на Болоте, в комнате с зелёным абажуром, под вальс тапёра снизу. Отец рассказывал про абажур, про вальс не рассказывал — про вальс она знала откуда-то сама, будто помнила. Двадцать третьего февраля. По старому стилю.

А по новому — двадцать третье февраля было сегодня. А её день — двадцать третье по-старому — наступит только восьмого марта. Через две недели. Те самые две недели, которых не было.

Значит, ей сегодня — ещё девятнадцать. Или уже двадцать? По числу — двадцать. По времени — девятнадцать. По Фёкле — двадцать. По декрету — девятнадцать. Лена посчитала на пальцах — и запуталась. Это была «Дьяволиада». Как у Короткова со спичками. Как у Очумелова с жалованьем за несуществующие дни.

А ещё — сегодня, двадцать третьего февраля по новому стилю, на площади Революции, у ревкома, записывали в Красную армию. И в Петрограде, писали в газетах, тоже. И по всей стране. Говорили, что этот день так и запомнят: день, когда родилась Красная армия.

Её день рождения — по числу — достался Красной армии.

— Садись, барышня, — сказала Фёкла. — Остынет.

Отец вышел к столу.

Он вышел сам — первый раз за восемь дней, — из кабинета, в халате, в пледе на плечах, держась за косяк, за стену, за спинку стула. Худой, бледный, с запавшими щеками, с отросшей седой бородой, в очках. Лена бросилась к нему — он отстранил её рукой, как отстранял, когда кашлял.

— Сам, — сказал он. — Сам, Леночка. Я — сам.

И сел. Медленно. Тяжело. Отдышался.

Фёкла внесла самовар. Ференц выглянул из-за двери гостиной, из-за рояля, — увидел пирог, отца, Лену, — понял, кажется, что что-то происходит, что-то семейное, — смутился и хотел скрыться. Отец его остановил.

— Ференц, — сказал он. — Садитесь. С нами. Пирог.

Ференц не понял. Отец показал на стул. Ференц понял — и покраснел — и сел, на край стула, в гимнастёрке, держа спину прямо, как на смотру.

Фёкла поставила перед ним тарелку. Отрезала пирога. Большой кусок, с краю, где больше груздей. Поджала губы и ушла за стаканами.

Отец налил себе чаю. Посмотрел на стакан. Потом — на Лену. Потом встал.

Он встал медленно, опираясь на стол обеими руками, — и Лена видела, как ему тяжело, как дрожат у него колени, как он бледнеет, — но встал. Потому что он всегда вставал, когда говорил что-нибудь важное. Студенческая привычка. С кружков. С диспутов. И двадцать лет — каждое двадцать третье февраля — он вставал за этим столом, поднимал стакан с чаем и говорил одно и то же.

Он поднял стакан.

— Выпьем, — сказал отец, — за то, чтобы Елена Петровна…

Он остановился.

Он смотрел на неё поверх стакана — и Лена видела, что он забыл. Не слова — слова он помнил. Он забыл, сколько ей лет. Он забыл, какое сегодня число. Он стоял, держа стакан с чаем, и смотрел на неё растерянно, как Коротков смотрел на сороковой коробок спичек.

— Леночка, — сказал он. — Тебе сегодня… — Пауза. — Двадцать? Или… Сегодня двадцать третье? Двадцать третье, да. Значит — двадцать. — Он нахмурился. — Нет. Подожди. По-старому — это… это будет восьмое. Восьмое марта. Значит, сегодня — ещё нет. Значит, тебе ещё… — Он замолчал. Снял очки. Потёр глаза. Надел. — Я запутался, Леночка. Прости. Я не знаю, сколько тебе лет.

Он сказал это так просто и так беспомощно, что у Лены сжалось горло.

— Неважно, папа, — сказала она. — Говори.

Отец поднял стакан выше.

— Выпьем за то, чтобы Елена Петровна окончила университет, — сказал он.

И сел. И выпил чай. И закашлялся.

А Лена думала о том, что этот тост — тот самый, который он говорил двадцать лет подряд, — в прошлом году, двадцать третьего февраля, звучал как мечта, несбыточная, невозможная, потому что женщинам не давали дипломов. А в марте мечта сбылась — революция, объявление в вестибюле, «зачисляются в действительные студентки». А теперь, через год, этот тост звучал как… она не знала как. Как вопрос. Окончит ли она университет? При ком? При этих? При тех, кто придёт за этими? Будет ли через год университет? Будет ли Томск? Будет ли Россия?

Ференц ел пирог. Медленно, аккуратно, отламывая вилкой маленькие кусочки, — не так, как ел Фёклины щи, жадно, по-солдатски, наклонившись над миской, — а так, как, наверное, ели у него дома, в Венгрии, по воскресеньям, за белой скатертью. И, доев, положил вилку, вытер усы салфеткой, посмотрел на Лену бледными глазами и сказал, старательно, по-русски, по слогам:

— Счаст-ли-во. Ваш день. Счастливо.

И поклонился. Сидя. Коротко. По-военному.

Лена засмеялась. Впервые за весь этот день. И Ференц, увидев, что она смеётся, — тоже засмеялся, тихо, смущённо, и покраснел до корней рыжих волос.

Вечером она пошла в Общественное собрание.

Она не знала зачем. Она увидела афишу — утром, на площади, рядом с плакатом «Социалистическое отечество в опасности!» — свежую, отпечатанную в губкомовской типографии на жёлтой обёрточной бумаге: «Сегодня, 23 февраля, в зале Общественного собрания — БОЛЬШОЙ МИТИНГ-КОНЦЕРТ по случаю записи в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Выступают товарищи из губкома и ревкома. В концертном отделении — артисты томских театров. Вход свободный». И весь день думала, что не пойдёт. А вечером, когда отец уснул в кабинете — тостом и пирогом он вымотал себя до изнеможения, — она надела серое платье, мамину лису, пуховый платок и пошла.

Зал был набит. Тот самый зал, где в марте прошлого года, на первом митинге, четыре тысячи человек пели «Вы жертвою пали». Тот самый, где в апреле совет старост закрывал университет. Теперь в нём были шинели, кожанки, гимнастёрки, косоворотки, красные повязки, красные банты; пахло махоркой, мокрой шерстью, потом и сапожной ваксой. Мадьяры стояли у стены, группой, в своих серо-голубых шинелях, — Лена поискала среди них Ференца и не нашла. Латыши. Китайцы. Конопатый с гармонью — она его не увидела, но слышала, где-то в задних рядах, гармонь пиликала «Яблочко».

Митинг был длинный. Говорили из губкома, из ревкома, из Совета. Беленец говорил — коротко, тяжело, как будто рубил дрова. Человек в кожанке, с маузером, говорил — долго, громко, о немцах, об империалистах, о буржуях, которых — «в окопы, товарищи, в окопы, рыть, под надзором, а кто не хочет — по декрету!» — и зал ревел. Лена стояла у колонны, в задних рядах, в маминой шубе, и не слушала. Она смотрела на сцену.

Потом был концерт.

Вышел оркестр — пять человек, из бывшего ресторанного, с румыном-скрипачом из «Европы», — сыграл «Интернационал». Зал встал. Лена встала тоже — все встали, и она встала. Потом вышел декламатор, лохматый, в косоворотке, и читал Демьяна Бедного. Потом — хор железнодорожников, «Смело, товарищи, в ногу». Потом — балалаечник.

А потом на сцену вышла она.

Лена узнала её сразу — ещё до того, как та открыла рот. По походке. По тому, как она вышла из-за кулис — неторопливо, с лёгкой ленцой, будто вышла не на сцену, а в гостиную, где её давно ждут. По повороту головы. По страусовому перу — нет, пера не было, перо было в сентябре, на Почтамтской, когда она шла под руку с Гомаровским в лиловом. Теперь на ней было тёмно-красное платье, простое, без отделки, с высоким воротом, — «пролетарское», догадалась Лена, — и красная лента в волосах.

Ольга. Актриса из «Интимного театра». «Весенние чары». Мансарда Лебядкина — «Я раздеваюсь каждый вечер. За жалованье». «Для сравнения» — сказал Гомаровский. «Она техничнее».

Ольга запела.

Она пела романс — «Отцвели уж давно хризантемы в саду», — и зал, тот самый зал, который только что ревел «в окопы, по декрету», — затих. Голос у неё был не сильный, но поставленный, грудной, тёплый, с хрипотцой, — и она пела так, как поют профессионалы: без надрыва, без лишнего, точно, — и именно поэтому так, что у солдат в первых рядах стали мокрые глаза. Потом — «Очи чёрные». Потом — и это было неожиданно — «Марсельезу». По-французски. Стоя у рампы, подняв руку, как на картине. Зал взревел. Красногвардейцы кидали на сцену шапки. Мадьяры у стены аплодировали стоя.

Лена стояла у колонны и смотрела.

Она смотрела, как Ольга кланяется — низко, небрежно, умело, — и думала, что ещё в октябре эта женщина так же пела юнкерам в «Интимном театре». И так же — им кидали шапки. И, наверное, так же она будет петь через полгода — кому? Тем, кто придёт за этими? Чехам? Японцам? Кому угодно. Она пела за жалованье. При любой власти.

После концерта Лена пошла за кулисы.

Она сама не знала, зачем. Ноги привели — как привели тридцать первого января к подъезду «Европы». Она прошла через боковую дверь, мимо пожарного, который дремал на табуретке, по узкому коридору, пахнущему пылью, гримом и мышами, — к двери с надписью мелом «Артистическая». Дверь была приоткрыта.

Ольга сидела перед зеркалом, при свече, и снимала грим. Она увидела Лену в зеркале — и не обернулась. Только рука с ватой, которой она стирала румяна, на секунду остановилась.

— А, — сказала Ольга в зеркало. — Мадемуазель из мансарды. Чёрный бархат. Босиком. — Она снова стала стирать румяна. — Входите. Закройте дверь. Тут дует.

Лена вошла и закрыла дверь.

Артистическая была крошечная — каморка с одним зеркалом, с вешалкой, на которой висела шубка Ольги — котиковая, с горностаем, точно такая, какую с Лены сняли на площади Революции, — с табуреткой и с ящиком вместо столика, на котором стояли баночки, коробочки, флакончики. Пахло кольдкремом, пудрой, «Шипром» — тем самым, горьковатым, с бергамотом, — и свечным воском.

— Вы хорошо поёте, — сказала Лена. Ничего другого ей в голову не пришло.

— Я знаю, — сказала Ольга. — Мне за это платят. Сегодня — фунт сахару и два фунта муки от губкома. И пропуск на выезд. — Она бросила вату в коробку, взяла другую. — В октябре мне платили юнкера. Шампанским. Тоже неплохо. — Она посмотрела на Лену в зеркало. — Вы пришли не за тем, чтобы сказать, что я хорошо пою.

Лена молчала.

— Вы пришли спросить про него, — сказала Ольга. — Он уехал второго. Я знаю. — Пауза. — Он и меня звал.

Лена вздрогнула.

— Не так, как вас, — сказала Ольга спокойно. — Не «поедемте». А — «если хотите, я возьму вам билет». Это разница. Вы же понимаете. — Она сняла с волос красную ленту, положила на ящик. — Я не поехала.

— Почему?

Ольга засмеялась. Коротко, без веселья.

— В Харбине своих актрис хватает, мадемуазель. Там сейчас пол-Петрограда. Пол-Москвы. Там будет — сто таких, как я, на один театр. А здесь я — одна. — Она повернулась на табуретке — впервые — и посмотрела на Лену прямо, не в зеркало. Лицо без грима было усталое, некрасивое, старше, чем казалось со сцены, — лет тридцати, с морщинками у глаз и с тонким шрамом под подбородком. — И потом — я не люблю, когда меня берут с собой. Как чемодан. Как граммофон. — Пауза. — А вас?

— Меня тоже звал, — сказала Лена. — Я тоже не поехала.

— Почему?

— У меня была дума.

Ольга посмотрела на неё. Долго. Потом снова засмеялась — и на этот раз в смехе было что-то другое, почти тёплое.

— Дума, — сказала она. — Ну конечно. Дума. — Она покачала головой. — Знаете, мадемуазель, он мне про вас говорил. Однажды. В октябре. Он сказал: «Она играет даром то, что вы играете за жалованье. Сравнение в её пользу, хотя вы техничнее». — Она помолчала. — Я тогда обиделась. А потом подумала — он прав. Я играю за жалованье при любой власти. А вы играете даром. За думу. За Учредительное собрание. За маму. — Ольга отвернулась к зеркалу. — Это, знаете, дороже. Когда даром. Даром всегда дороже всего обходится.

Лена не знала, что ответить. Она стояла у двери, в маминой лисьей шубе, и смотрела на Ольгу в зеркало, а Ольга смотрела на неё. Две женщины одного мужчины. Одна — за жалованье. Другая — даром.

— Приходите петь, — сказала вдруг Ольга.

— Что?

— Петь. Или танцевать. На сцену. — Ольга взяла баночку с кольдкремом, открыла, понюхала. — У вас фигура для сцены. Я видела снимок. Восьмой. — Она усмехнулась. — Да, он показывал. Мне. Он всем показывал, наверное. Не волнуйтесь — только мне. Он хвастался, как мальчишка. Как охотник медвежьей шкурой. — Она помолчала. — У вас есть то, чего нет у меня. Вы не знаете, что на вас смотрят. Вернее — знаете, но делаете вид, что нет. Это лучше любой техники. Это не выучишь.

— Я медичка, — сказала Лена. — Я не умею петь.

— Танцевать умеете?

Лена подумала. Гимназия. Уроки танцев у мадам Бурдо. Вальс на выпускном. Мансарда — босиком, по крашеным доскам, под магний.

— Немного.

— Этого хватит, — сказала Ольга. — Им — хватит. — Она кивнула в сторону зала, откуда ещё доносился гул голосов и пиликанье гармони. — Им нужно не умение. Им нужно, чтобы было на что смотреть. — Пауза. — Подумайте, мадемуазель. Весной будут вечера. Благотворительные. Советские. Всякие. Мне нужна партнёрша. А вам… — она снова посмотрела на Лену в зеркало, — а вам, по-моему, нужно, чтобы на вас смотрели. Я вижу. Это видно. Как у меня.

Лена вышла из артистической, не ответив.

Но в коридоре, у двери с надписью мелом, она остановилась и долго стояла, держа руку на холодной стене. «Вам нужно, чтобы на вас смотрели». Тридцать первого января, в номере четырнадцатом, перед пустым зеркалом, без зрителя. Ольга это увидела — сразу, за пять минут, в зеркале артистической. Как он видел всё сразу.

Они были одной породы, подумала Лена. Он и Ольга. Люди, которые видят.

У выхода, у боковой двери, на снегу, под фонарём, её окликнули.

— Барышня! Товарищ барышня!

Она обернулась. К ней шёл человек в шинели, в папахе с красной лентой, — молодой, лет двадцати пяти, с усиками, с весёлым круглым лицом, румяным от мороза и, кажется, от водки, которую ревком запретил в ноябре. Красный командир — она поняла это по нашивкам на рукаве, по портупее, по маузеру на боку, по тому, как он шёл, — по-хозяйски, широко, уверенно. Снег лежал у него на плечах, на папахе, на усиках.

— Барышня, — сказал он, подходя. — Я вас в зале приметил. У колонны. В лисе. Вы одна были. — Он улыбнулся. Зубы у него были белые, крепкие, молодые. — Позвольте проводить? Темно. На улицах — сами знаете. Шубы снимают. — Он похлопал по маузеру. — Со мной — не снимут.

Лена посмотрела на него.

И почувствовала — сразу, физиологически точно, как чувствовала в номере четырнадцатом, в кресле, — как тело откликается. Не на него. Не на усики, не на зубы, не на маузер. На то, что он мужчина. На то, что он близко. На то, что от него пахнет снегом и табаком — другим табаком, махоркой, но табаком. На то, что он смотрит. На то, что можно пойти с ним — сейчас, по тёмной улице, — и дальше — куда угодно, куда он поведёт, — и тело не будет спрашивать, кто он и как его зовут.

Тело было готово.

Она поняла это — и ей стало противно. Не он. Он был ни при чём — весёлый, молодой, румяный, ничем не плохой человек. Противно стало от себя. От этой готовности. От того, что тело, её тело, которое она держала месяц, как держат на цепи собаку, — что оно рвалось с цепи к первому встречному. К любому. К этому командиру с усиками. К Ференцу со скрипкой. К конопатому с гармонью. К кому угодно, кто подойдёт близко и посмотрит.

Марья Павловна называла это «кандалами». Отец — «гормонами». Медичка в ней — «условным рефлексом». А Лена стояла под фонарём, на снегу, и ей было стыдно и противно, как бывает стыдно и противно, когда находишь у себя на коже вошь.

— Нет, — сказала она. — Спасибо. Я сама.

— Да что вы, барышня, — сказал командир, не обижаясь. — Темно ж. Я ж ничего такого. Я ж провожу только.

— Нет.

Она сказала это так, что он перестал улыбаться. Посмотрел на неё — внимательнее. Потом пожал плечами.

— Ну, как знаете, — сказал он. — Товарищ барышня. — Козырнул. — Счастливо.

И ушёл, широко, по-хозяйски, в метель, насвистывая «Яблочко».

Снег с его плеча остался у неё на рукаве — он задел её, проходя. Мокрый, тающий, белый. Лена смотрела на него, пока он не растаял.

Отец не спал, когда она вернулась.

Он сидел в столовой, за столом, под лампой — встал сам, вышел из кабинета, — в халате и пледе, и пил чай из остывшего самовара. Перед ним на скатерти лежали гранки Беленца — «Государство и революция», серая рыхлая пачка с его пометками на полях. А рядом — Лена увидела это не сразу — лежала её книга. Мах. «Анализ ощущений», в мягкой обложке, купленный в октябре у вдовы приват-доцента, с её пометками. Он взял его из мезонина — значит, поднимался туда, пока её не было. Сам. По лестнице.

Он поднял на неё глаза поверх очков.

— Ты была на митинге, — сказал он.

— Да.

— Я знаю. Фёкла сказала. — Пауза. — А Ференц не пошёл. Я его спросил — сказал «не хотеть». Сидит у себя и играет. Слышишь?

Из-за двери гостиной, из-за рояля, тихо, едва слышно, звучала скрипка. То же самое. Медленное, печальное, венгерское.

Лена сняла шубу и села за стол напротив отца. Фёкла, неслышная, как тень, поставила перед ней стакан. Лена налила себе чаю из остывшего самовара. Чай был холодный, горький, перестоявший.

Они сидели друг против друга, отец и дочь, при лампе. Между ними на скатерти лежали Ленин и Мах. Рядом — остатки пирога «по числу», с груздями, постного. Самовар остыл совсем, и в нём больше ничего не гудело.

— Я посмотрел твоего Маха, — сказал отец. — Пока тебя не было. Пометки твои.

— И?

— Ты подчеркнула: «Я неспасаемо». — Он помолчал. — Почему?

Лена подумала.

— Потому что тогда не надо никого спасать, — сказала она. — Ни меня. Ни маму. Ни Россию. Никого. Если нет «я» — нечего спасать. Можно просто… жить. Наблюдать.

Отец смотрел на неё долго.

— Это страшно, Леночка, — сказал он тихо. — Это самое страшное, что ты мне сказала.

— Страшнее, чем «на месте»?

Отец не ответил. Он снял очки. Потёр переносицу. Надел. Посмотрел на гранки Ленина. Потом на Маха. Потом на неё.

— Потом договорим, — сказал он.

— Потом, — сказала Лена.

Они оба знали, что потом не будет.

Завтра он вернётся в ревком. Терапевт из клиник сказал — нельзя, ещё неделю, — но он вернётся. Немцы под Псковом. Отечество в опасности. Он нужен. Он уйдёт утром, в шинели поверх сюртука, худой, сутулый, с запавшими щеками, — и будет ночевать на диване в губернаторском доме под пустым портретом, — и будет приходить раз в неделю, раз в две, — и они будут сидеть за этим столом и молчать. А потом — Лена этого не знала, но где-то в глубине, в теле, в коже, уже чувствовала, как чувствуют перемену погоды, — потом и этого не будет.

Отец встал, опираясь на стол. Взял гранки Ленина. Посмотрел на Маха — и оставил его на столе. Пошёл к себе, держась за стену.

У двери кабинета он обернулся.

— Леночка, — сказал он. — С днём рождения.

— Он восьмого, папа.

— Я знаю, — сказал отец. — Я на всякий случай. По числу.

И ушёл.

Лена сидела одна при лампе, перед остывшим самоваром, перед книгой Маха и остатками пирога. Из-за рояля звучала скрипка Ференца. Фёкла на кухне гремела посудой. Часы на соборе били одиннадцать.

А на крыше, над окном столовой, что-то тихо, мерно, звонко стучало. Кап. Кап. Кап.

Лена подошла к окну, отодвинула штору.

С крыши капало. Первый раз за эту зиму. Двадцать третьего февраля — по новому стилю, по числу, по Фёкле, по Красной армии, по её несуществующему дню рождения — с крыши пошла капель. Сосулька над окном, длинная, толстая, мутная, висевшая с ноября, истекала

водой, и капли падали на подоконник снаружи, на снег, и пробивали в нём маленькие тёмные дырочки, одну за другой, ровно, как пули.

Оттепель.

Лена стояла у окна и смотрела, как капает. И думала о том, что через две недели ей исполнится двадцать. По-настоящему. Восьмого марта. И что за эти две недели — те самые, которые у страны отняли, — с крыши стечёт вся зима.

Конец двенадцатой главы.



Глава 13. Двадцать лет

…Так идут державным шагом — Позади — голодный пёс, Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.

А. Блок, «Двенадцать», январь 1918

13.1. Брест

Мир подписали третьего марта, в воскресенье, в Брест-Литовске, в бывшем офицерском собрании крепости, а в Томск об этом узнали четвёртого, в понедельник, к обеду, и до вечера город не знал, что делать — радоваться или плакать.

Лена узнала в клиниках.

Она мыла руки после перевязок — был седьмой час утра, Мыш начинал обход рано, — когда в ординаторскую вошёл молоденький ассистент, тот самый, что курил у печки в январе, когда Мыш рассказывал про Шингарёва. Он был в пальто, с газетой, мокрой от снега, и лицо у него было такое, будто он увидел привидение.

— Подписали, — сказал он. — Мир. С немцами.

Старый терапевт, которого в клиниках звали «дедушкой» и который сидел у стола над историей болезни, поднял голову.

— На каких условиях?

Ассистент развернул газету и стал читать — сбивчиво, перескакивая через строчки, как читают, когда не верят тому, что читают. Польша. Литва. Курляндия. Лифляндия. Эстляндия — «до линии, указанной…». Финляндия — вывести войска. Украина — признать независимость, заключить мир с Радой, которую сами же выгнали из Киева. Карс, Ардаган, Батум — туркам. Армия — демобилизовать. Флот — разоружить, увести в порты. Контрибуция — сумма не названа, будет «дополнительным соглашением».

Он дочитал и опустил газету.

В ординаторской было тихо. За окном, во дворе клиник, санитарная лошадь жевала сено. Капало с крыши — первый раз за неделю отпустило.

— Сколько это? — спросил дедушка. Тихо, сухо, как спрашивал на обходе температуру. — Сколько земли? Сколько людей?

Ассистент не знал. Никто не знал. Потом, через неделю, в газетах напишут: миллион квадратных вёрст, пятьдесят шесть миллионов населения, треть железных дорог, три четверти угля и железа. А сейчас никто не знал, и это было даже страшнее, чем знать.

— Ленин сам его назвал «похабным», — сказал ассистент. — Тут написано. Цитата. «Похабный мир». Сам.

Дедушка встал, подошёл к окну и долго смотрел на санитарную лошадь.

— Моя мать — из Ковно, — сказал он, не оборачиваясь. — Литва. Она там похоронена. — Пауза. — Теперь это Германия.

И пошёл на обход.

К обеду город раскололся.

У губернаторского дома, у ревкома, на площади Революции, собрался митинг. Небольшой — человек триста, четыреста: красногвардейцы, рабочие с железной дороги, мадьяры в серо-голубых шинелях, какие-то люди в кожанках. Оркестр — тот же, из пяти человек, с румыном-скрипачом из «Европы», — играл «Интернационал». На крыльце ревкома, под красным флагом, говорил Беленец. Лена шла мимо, из клиник, и слышала обрывки: «Передышка… выиграть время… сохранить Советскую власть… германский пролетариат поднимется… через полгода, товарищи, через год, на развалинах империализма…» Ему хлопали. Не все.

А через площадь, напротив, в соборе, звонили.

Никто не объявлял службы. Ревком не разрешал и не запрещал — ревком, кажется, просто забыл о соборе. Но в соборе звонили — медленно, тяжело, в один колокол, как звонят по покойнику, — и в собор шли люди. Сами. Без приказа. Старики в бобрах, бабы в платках, гимназисты, офицеры в штатском, купцы, чиновники с заклеенными кокардами, студенты. Шли молча, с опущенными головами, мимо митинга у ревкома, мимо оркестра, мимо Беленца на крыльце, — шли и входили в собор, и там, Лена знала, хотя сама не вошла, служили молебен «о страждущем Отечестве». Служили не по чину, не по уставу — по сердцу. Как служили в пятнадцатом году, когда сдали Варшаву.

Две толпы стояли друг против друга через площадь — у ревкома и у собора — и не смотрели друг на друга. И оркестр играл «Интернационал», а колокол бил по покойнику, и звуки смешивались над площадью, над талым снегом, над лужами, в которых отражалось серое мартовское небо, — и получалось что-то страшное и смешное сразу, как похороны с гармошкой.

А посередине, между двумя толпами, на углу у аптеки, стоял Очумелов.

Лена увидела его не сразу, а когда увидела — остановилась.

Он стоял в своей шинели, при шашке, которую ему вернули ещё в ноябре, при ревкоме, — и на груди у него, как всегда, алел огромный красный бант. А на левом рукаве, повыше локтя, чернела широкая креповая лента. Траурная. Как у Нехлюдова по Шингарёву.

Бант и креп. Сразу.

И Очумелов не просто стоял. Он поворачивался. Когда со стороны ревкома доносилось особенно громкое «ура» или к нему проходил кто-нибудь в кожанке, — он поворачивался к ревкому, грудью, бантом вперёд, а левую руку, с крепом, убирал за спину. А когда из собора выходил кто-нибудь в бобрах или мимо проходила барыня в каракуле, крестясь, — он поворачивался к собору, левым боком, крепом вперёд, и бант прикрывал правой рукой, будто от ветра, и лицо у него делалось скорбное, и он вздыхал.

— Елисей Петрович, — сказала Лена, подойдя. Она не могла удержаться. — Вы — за мир или против?

Очумелов посмотрел на неё. Узнал. Поднёс руку к фуражке — потом отдёрнул, не зная, можно ли, — она дочь члена ревкома, но она же и подпольщица, он что-то слышал, он не знал наверняка, — и опустил руку.

— Я, барышня, — сказал он с достоинством, — по обстоятельствам. — Пауза. — Мир — это, с одной стороны, конечно, передышка, и германский пролетариат, и всё такое. С другой стороны — Польша, Литва, Отечество. Обидно. — Он вздохнул. — А я человек служивый. Мне что прикажут — то и чувствую. А пока не приказали — я, стало быть, на всякий случай. И так, и этак.

— А Елдырин?

— Елдырин — со мной, — сказал Очумелов. — Елдырин, повернись к барышне.

Елдырин, стоявший за ним с фонарём, хотя был день, повернулся. У него тоже был бант. И тоже креп. Только поменьше — по чину.

Лена шла домой и смеялась. А потом перестала смеяться, потому что подумала: а чем Очумелов хуже всех? Всех, кто стоял на этой площади? Город был — бант и креп. Одна половина радовалась, другая плакала, и каждая была уверена, что права. А Очумелов просто носил на себе обе половины сразу. Он был — весь город. Честнее всех.

Отец пришёл вечером. На час. За бельём.

Он вернулся в ревком двадцать четвёртого, на следующий день после её не-дня-рождения, — терапевт из клиник ругался, Лена ругалась, Фёкла крестилась и плакала, — и ушёл, худой, сутулый, в шинели поверх сюртука, в пледе под шинелью, который Лена заставила его надеть. С тех пор он ночевал в губернаторском доме. Приходил раз в три дня, на час, за чистым бельём, за едой, которую Фёкла собирала ему в узелок, за лекарствами, которые Лена ему отмеряла. Кашлял меньше. Но кашлял.

Он вошёл, снял шапку и сел на лавку в сенях, не раздеваясь. Отдышался. Лицо у него было серое, усталое — и при этом какое-то странное, Лена не сразу поняла какое. Потом поняла. Он был счастлив. И виноват. Сразу. Как Очумелов с бантом и крепом.

— Ты знаешь? — сказал он.

— Знаю.

— Передышка, Леночка, — сказал отец. Он смотрел не на неё, а на свои калоши, мокрые, в грязи. — Это передышка. Мы выиграли время. Немцы стояли под Псковом. Ещё неделя — и они были бы в Петрограде. Тогда — всё. Конец. А так — мы живы. Советская власть жива. Революция жива. А земли… — Он поморщился, как от зубной боли. — Земли вернём. Германия долго не продержится. Там — голод. Там — забастовки. Там Либкнехт. Через полгода, через год — там будет то же, что у нас. И тогда этот договор — бумажка. Его порвут. Немецкие рабочие порвут.

— Вы проиграли полстраны, папа, — сказала Лена.

Отец поднял на неё глаза.

Он не стал спорить. Лена ждала, что он будет спорить, — как спорил в феврале, у постели, о диктатуре, о кризисе, о родах и гангрене. Она приготовилась. А он не стал. Он посмотрел на неё долгим, усталым взглядом поверх очков — и опустил глаза.

— Может быть, — сказал он. — Может быть, Леночка.

И это было хуже спора.

Он посидел ещё немного на лавке. Потом встал, взял узелок, который Фёкла сунула ему в руки, — щи в горшке, обвязанном полотенцем, хлеб, две варёные картошки, сало, — и пошёл к двери. У двери обернулся.

— Ваш терапевт… — сказал он. — Тот, что меня слушал. Он — из Ковно. Ты знала?

— Знаю. Сегодня сказал.

— Скажи ему… — Отец помолчал. — Нет. Ничего не говори.

И ушёл.

Ференц узнал о мире от своих.

Он пришёл вечером из казарм, позже обычного, — и Лена, сидевшая на кухне с Фёклой, услышала, как он долго стоит в сенях, не снимая шинели. Потом он вошёл в кухню — в шинели, в кепи, со снегом на плечах, — и встал у печки, и лицо у него было растерянное и светлое, как у ребёнка, которому сказали, что завтра Рождество, а он не знает, верить или нет.

— Мир, — сказал он. — Мир. Австрия — Россия — мир. Война — нет. — Он подумал, подбирая слова. — Пленный — домой. Можно. Обмен. Договор. — Он посмотрел на Лену. — Я — домой. Можно.

— Вы поедете? — спросила Лена.

Ференц молчал. Долго. Смотрел на печку, на огонь за заслонкой.

— Дома — кайзер, — сказал он наконец. — Карл. Новый. Старый — умер. Новый — тоже кайзер. Граф. Помещик. Поп. — Он загибал пальцы. — Я — батрак. Мой отец — батрак. Его отец — батрак. Граф Эстерхази. Земля — его. Я — домой, и опять — батрак. — Он покачал головой. — Здесь — революция. Земля — крестьянам. Декрет. Я видел. Я — красный. — Он коснулся повязки на рукаве. — Я — здесь.

Фёкла слушала это, сидя на лавке, с чашкой в руках, и Лена видела, как у неё дрогнули губы.

— Дурак, — сказала Фёкла. — Мать-то, небось, ждёт. Матери-то — всё одно, какая власть. Ей сын нужен.

Ференц понял слово «мать». Повернулся к Фёкле. Посмотрел на неё бледными глазами.

— Мать — нет, — сказал он. — Мать — умер. Пятнадцатый год. Я — в плену. Письмо — потом. Через Красный Крест. — Пауза. — Мать — нет.

Фёкла поставила чашку. Встала. Подошла к Ференцу — маленькая, сгорбленная, ему по плечо, — и, не говоря ни слова, стала снимать с него шинель. Как снимают с ребёнка. Сначала один рукав, потом другой. Отряхнула снег. Повесила на гвоздь. Потом сняла с него кепи. Потом посадила его на лавку, к печке, и налила ему щей.

Ференц сидел и ел щи, и не поднимал головы.

А вечером, за роялем, он играл — и не печальное. Впервые. Он играл что-то быстрое, огненное, с перебивами, с притопами — чардаш, сказал потом отец, когда Лена ему описала, венгерский танец, — и скрипка его не плакала, а смеялась, и хохотала, и кружилась, и Фёкла на кухне, Лена слышала, притоптывала валенком.

— Хоть похабный, — сказала Фёкла, когда скрипка смолкла, — да мир. Слава Тебе, Господи. Мужики вернутся. Наши-то, с фронта. Хоть кто-нибудь вернётся.

Она перекрестилась на Казанскую в углу. А потом, подумав, — на дверь гостиной, за которой сидел Ференц.

13.2. Сын лейтенанта Шмидта

Он приехал пятого марта, с востока, с иркутским поездом, и в тот же день о нём знал весь город.

Он вышел на перроне Томска-I — Лена потом слышала это от трёх разных людей, и все трое рассказывали одинаково, с теми же подробностями, будто видели своими глазами, хотя видел, вероятно, один, — вышел из вагона третьего класса, молодой, лет двадцати пяти, высокий, тонкий, в чёрной кожанке, перетянутой ремнём, в матросской бескозырке с ленточками, на которой золотом было написано «Очаков», в галифе и в жёлтых американских ботинках на толстой подошве, каких в Томске никто никогда не видел. Через плечо — маузер в деревянной кобуре. В руке — портфель. Крокодиловой кожи, с медными застёжками, — портфель, какой мог бы быть у Гомаровского.

Он остановил на перроне первого попавшегося красногвардейца и спросил, где ревком.

А через полчаса стоял в приёмной ревкома, в губернаторском доме, перед Беленцом, и, сняв бескозырку, говорил:

— Товарищи. Я — Шмидт. Сын. Сын лейтенанта Шмидта.

И в приёмной стало тихо.

Лейтенанта Шмидта знали все. Даже Фёкла. В ноябре девятьсот пятого года, в Севастополе, лейтенант Шмидт поднял на крейсере «Очаков» красный флаг и отправил телеграмму царю: «Командую флотом. Шмидт». Его расстреляли весной девятьсот шестого на острове Березань — вместе с тремя матросами, — и он стоял перед расстрелом без повязки, и, говорили, сказал матросам: «Умрём, как подобает». Его портреты продавали в киосках весь семнадцатый год. Его имя носили улицы, клубы, корабли. Керенский шёл за его гробом, когда прах перевозили из Березани в Севастополь, в мае семнадцатого. О нём писали стихи.

И вот перед ревкомом стоял его сын.

— Я — чрезвычайный уполномоченный, — сказал сын лейтенанта Шмидта, расстёгивая портфель. — Центросибири. По изъятию излишков ценностей у буржуазии Сибирских губерний — для нужд обороны Социалистического Отечества. — Он достал бумагу и положил на стол перед Беленцом. — Вот мандат.

Мандат был на бланке «Центросибири» — Центрального исполнительного комитета Советов Сибири, который сидел в Иркутске. С печатью. С подписями. С грифом «Совершенно секретно» и «Оказывать всемерное содействие». Печать, если присмотреться, была немного кривая, и в слове «Сибири» одна буква — «б» — была перевёрнута. Но никто не присматривался.

Беленец прочёл мандат. Медленно, тяжело, шевеля губами. Поднял глаза на сына лейтенанта Шмидта. И в его тяжёлом, широком, непроницаемом лице, — говорили потом, — что-то дрогнуло.

— Шмидт, — сказал Беленец. — Сын. Лейтенанта.

— Да, товарищ.

— Я в девятьсот шестом сидел в Бутырках, — сказал Беленец. — Когда его… когда отца вашего… Мы в камере пели. «Вы жертвою пали». Всю ночь.

Сын лейтенанта Шмидта опустил голову. Плечи его вздрогнули.

— Спасибо, товарищ, — сказал он глухо. — Спасибо.

Ему дали кабинет. В губернаторском доме, на втором этаже, — бывший кабинет вице-губернатора, с камином, с дубовыми панелями, с большим письменным столом, обитым зелёным сукном. Ему дали автомобиль — тот самый, реквизированный у Второва, единственный в городе исправный, на котором ездил Беленец. Беленец отдал ему автомобиль сам: «Вам нужнее. Вам ездить». Ему дали двух красногвардейцев для охраны. И Очумелова — для сопровождения, как знатока города: Очумелов знал, у какого купца сколько и где спрятано.

А вечером было заседание ревкома, и сын лейтенанта Шмидта сидел за длинным столом, покрытым красным сукном, рядом с Беленцом. А по другую руку от него — Лена узнала это потом, от самого отца, который рассказывал, глядя в сторону, с красными ушами, — по другую руку от него сидел отец. Член ревкома. Профессор. Пётр Сергеевич Трофимов.

— Он рассказывал про отца, — говорил потом отец. — Про лейтенанта. Как тот учил его маленького вязать морские узлы. Как читал ему Гюго. «Отверженных». Как в последний раз они виделись — в Очаковской тюрьме, перед судом, — и отец сказал ему: «Сын, живи так, чтобы мне не было за тебя стыдно». И он заплакал. Прямо на заседании. И мы все… — Отец замолчал. — Я тоже, Леночка. Я тоже. Я вспоминал девятьсот шестой. Как мы в Томске узнали про Березань. Как я пришёл домой… — Он осёкся. — Неважно. Я плакал. Я сидел рядом и плакал. И вспоминал «Очаков».

Два дня сын лейтенанта Шмидта изымал излишки.

Он ездил по городу на автомобиле Второва — с откинутым верхом, в мартовскую слякоть, в бескозырке «Очаков», с маузером через плечо, — и за ним бежали мальчишки, и бабы выходили на крыльцо, и лавочники закрывали лавки. Рядом с ним сидел Очумелов, с бантом, и показывал дорогу. «Вот здесь, товарищ уполномоченный, пароходчик Мельников. У него в подполе — я доподлинно знаю — сундук. Серебро. От покойной матушки». «Вот здесь — хлеботорговец Кухтерин. У него — золото. В печке, за изразцами. Я, как бывший служащий старого режима, — знаю».

Автомобиль останавливался. Сын лейтенанта Шмидта входил в дом. Предъявлял мандат. Говорил — негромко, проникновенно, с печальной улыбкой, — о немцах под Псковом, об опасности, о том, что революции нужны средства на оборону, что каждый, кто любит Россию, — а он видит, что хозяин любит Россию, — должен сейчас отдать излишки. Добровольно. Под расписку. Расписки он писал на бланках «Центросибири», красивым почерком, с подписью «Чрезв. уполномоч. Шмидт».

И ему отдавали.

Отдавали — Лена потом не могла этого понять, сколько ни думала, — отдавали больше, чем могли бы отнять силой. Пароходчик Мельников отдал серебро из подпола — сам, своими руками, вынес, кряхтя, сундук. Хлеботорговец Кухтерин разобрал изразцы в печке. Вдова золотопромышленника отдала жемчуг. Аптекарь Шульц — отец Лениного однокурсника, разорившийся, — отдал последние три червонца, которые хранил на чёрный день, и плакал. Отдавали, потому что он был — сын лейтенанта Шмидта. Потому что «Очаков». Потому что Березань. Потому что — немцы под Псковом. Потому что он говорил так печально и так проникновенно и смотрел так честно серыми глазами из-под ленточек бескозырки.

Кошеварова отдала серьги.

Это Лена знала точно — от самой Кошеваровой, которая рассказывала об этом на «внеочередном вторнике» дамского комитета, промокая глаза кружевным платочком, — ещё до того, как сын лейтенанта Шмидта уехал на Тайгу.

— Фамильные, — говорила Кошеварова. — Бабушкины. Изумруды. Мне их на свадьбу… А он вошёл — такой молодой, такой бледный. В бескозырке. «Очаков». Я как увидела «Очаков» — у меня сердце… Я ведь в пятом году, девочкой ещё… то есть молодой дамой… я ведь его портрет в спальне держала! Лейтенанта! Муж ревновал. — Она всхлипнула. — А тут — сын. Живой. В моей гостиной. Пьёт мой чай. И говорит: «Зинаида Павловна, немцы под Псковом. Россия в опасности. Ваш вклад…» — И я сняла. Сама. Прямо из ушей. Он не просил серьги — он просил «что можете». А я сняла серьги. — Она подняла заплаканные глаза. — Это ведь на оборону, правда? Это же против немцев? Против кайзера?

Дамы молчали.

Нехлюдов сдал подстаканник. Серебряный, старинный, с вензелем, — единственная вещь, оставшаяся у него от матери, княгини, — сдал «как толстовец, по совести». «Собственность есть зло, — объяснял он потом Лене на улице, сияя. — Лев Николаевич учил: отдай. Я отдал. Мне легко. Мне так легко, барышня, вы не представляете! Я отдал серебро сыну героя на защиту Отечества!» И тут же, через минуту, со слезами: «Но ведь подстаканник — мамин. Мама из него пила чай. Каждое утро. Тридцать лет».

Очумелов козырял сыну лейтенанта Шмидта при каждом выходе из автомобиля и при каждом входе в автомобиль.

На третий день, седьмого марта, утром, сын лейтенанта Шмидта сказал Беленцу, что едет на станцию Тайга — встречать подкрепление из Иркутска. Отряд. Матросов. Для изъятия ценностей в уездах. Взял автомобиль Второва — с ценностями, уже упакованными в два мешка и сундук Мельникова, «для отправки в Иркутск, в Центросибирь, под охраной», — и уехал. Один. Без красногвардейцев. Без Очумелова.

И больше не вернулся.

Автомобиль Второва нашли к вечеру того же дня у станции Тайга — брошенный, с пустым баком, с откинутым верхом, полный талого снега. Ни мешков, ни сундука, ни сына лейтенанта Шмидта. Бескозырку «Очаков» нашли на сиденье. Под бескозыркой лежала расписка на бланке «Центросибири»: «Получено от Томского ревкома: автомобиль — 1 (один). Возвращаю. С революционным приветом. Шмидт».

А вечером из Омска, а потом из Новониколаевска, а потом из Красноярска пришли телеграммы — ревком запросил по проводу, и ответы посыпались один за другим. В Омске в феврале был сын лейтенанта Шмидта — в бескозырке, с мандатом, — и изъял излишки у купцов на сорок тысяч. В Новониколаевске — тоже сын лейтенанта Шмидта, но другой: рыжий, низенький, в студенческой тужурке, — изъял на двадцать. В Красноярске — третий: этот назвался внуком, но его не поймали тоже.

По Сибири гуляли трое сыновей лейтенанта Шмидта. Как минимум.

Лена узнала всю историю от отца, поздно вечером седьмого — накануне своего двадцатилетия.

Он пришёл домой — не за бельём, а просто так, впервые за две недели, — сел за стол в столовой, под лампу, и рассказал. Всё. Про Березань, про морские узлы, про «Отверженных», про «живи так, чтобы мне не было за тебя стыдно». Про то, как он сидел рядом и плакал. Про автомобиль и бескозырку. Про три телеграммы.

Он рассказывал, глядя в сторону, в угол, на граммофон, которого никто никогда не заводил, — и уши у него были красные, как у мальчишки, пойманного на краже яблок.

А Лена слушала — и смеялась.

Она не могла остановиться. Она смеялась так, как не смеялась с декабря, — нет, с ноября, с октября, с того вечера в августе, когда они с отцом разоблачили «тибетского врача Цоя» и

шли домой и хохотали всю дорогу. Она смеялась до слёз, до колик, держась за живот, сидя на стуле и раскачиваясь, — и Фёкла выглянула из кухни с испуганным лицом, и Ференц выглянул из-за двери гостиной, — а она смеялась и не могла остановиться.

— «Получено от ревкома: автомобиль — один. Возвращаю», — повторяла она, задыхаясь. — «С революционным приветом». Папа! Папа! «Возвращаю»!

И отец, глядя на неё, сначала сидел с красными ушами. Потом губы у него дрогнули. Потом он снял очки. Потом — засмеялся тоже. Тихо сначала, потом громче, потом — взахлёб, кашляя, задыхаясь, вытирая глаза ладонью, — и они смеялись вдвоём, отец и дочь, за столом в столовой, под лампой, и Фёкла стояла в дверях кухни и крестилась, и Ференц стоял в дверях гостиной и не понимал, но улыбался.

— Он плакал, — говорил отец, задыхаясь. — Леночка, он плакал. Настоящими слезами. Про морские узлы. Я… я ему платок дал! Свой платок! Он его тоже… тоже, наверное… изъял…

— «Излишки», — сказала Лена. — Твой платок был излишком.

— Беленец, — сказал отец, — Беленец ему автомобиль отдал. Сам. «Вам нужнее». А сам — пешком теперь. Второй день пешком ходит. В ревком. Через всю площадь. И все смотрят.

И они снова хохотали.

Потом смех кончился. Как кончается дождь — сразу. Отец вытер глаза, надел очки. Лена отдышалась. Они сидели за столом и смотрели друг на друга. И Лена увидела его лицо — худое, серое, с запавшими щеками, с мокрыми от смеха глазами, — и ей стало его так жалко, так нестерпимо жалко, что заболело в груди.

Он был честный. Он был добрый. Он плакал рядом с самозванцем, потому что вспомнил девятьсот шестой и Березань. Он отдал самозванцу свой платок. Он верил — всему: «Очакову», мандату с перевёрнутой буквой, «Государству и революции», «передышке», «временно». Он верил, потому что был честный, а честные верят. Марья Павловна сказала: «Честные сейчас хуже всего». Может быть. Но сейчас, за столом, под лампой, с мокрыми от смеха глазами, — он был просто отец. Её отец. Который смеялся над собой вместе с ней.

И Лена поняла — не головой, а чем-то другим, тем, чем понимала, приятен человек или нет, чем узнавала ложь в «Государстве и революции», — что это последний раз. Что больше они так смеяться не будут. Никогда. Что это — последнее тёплое, что между ними будет. Она не знала, почему так решила. Но знала.

Она встала, обошла стол и поцеловала его в макушку — в седые редкие волосы, пахнущие табаком и сургучом, — как он целовал её в лоб, когда она была маленькая.

Отец замер.

— Леночка, — сказал он.

— Ничего, папа, — сказала она. — Ничего. Просто так.

И ушла наверх.

А в мезонине она долго сидела у окна и смотрела на ночной Томск, на мокрые крыши, на лужи, в которых отражались два фонаря, — и думала о сыне лейтенанта Шмидта. О том, что он, в сущности, сделал то же самое, что делали все в этом году. Взял чужое имя. Чужой мандат. Чужое прошлое — «Очаков», Березань, героя. И пошёл изымать излишки. Как ревком. Как Очумелов. Как сам лейтенант Шмидт, может быть, — кто знает, каким он был на самом деле, этот лейтенант? Как мама в легенде Марьи Павловны.

Все носили чужие имена. И все во что-то верили. А кто-то в это время уезжал на Тайгу с мешками.

Лена подумала о Гомаровском. Он бы оценил. Он бы сказал: «Талантливый молодой человек. Я бы взял его в помощники».

Она поймала себя на этой мысли — и рассердилась на себя. И легла спать.

13.3. Декрет о социализации женщин

Листок принесла Кошеварова — в тот же «внеочередной вторник», на котором рассказывала про серьги.

«Внеочередные вторники» дамского комитета собирались теперь не по вторникам — по вторникам Зинаиду Павловну вызывали в жилкомиссию, где Швондер уплотнял её особняк на Миллионной, — а когда придётся, и не в особняке, а в маленькой гостиной генеральши Перфильевой на Белозерской, в деревянном доме с мезонином, который был так стар и так мал, что жилкомиссия его пока не замечала. В гостиной было тесно, жарко, пахло нафталином, валерьянкой и вчерашними пирогами, и на стенах висели фотографии генерала Перфильева во всех чинах — от подпоручика до генерал-лейтенанта, — и под каждой фотографией горела лампадка, как под иконой.

Лену позвала Кошеварова. Лена приходила на «вторники» с лета — по старой памяти, из вежливости, потому что Зинаида Павловна знала маму и говорила о ней загадками, — и сидела в углу, и молчала, и слушала, как дамы обсуждают декреты, цены, уплотнение, Керенского, которого нет, и Учредительное собрание, которого тоже нет. Это было похоже на Чехова. На «Три сестры» — «В Москву, в Москву!». Только вместо Москвы у дам был Петербург девятьсот тринадцатого года, и они так же знали, что никогда туда не вернутся.

В этот раз Кошеварова пришла последней. Она вошла, как входила всегда, — величественно, с креном, — в каракулевой шубе, без серёг (мочки ушей у неё были голые, розовые, с дырочками, и она всё время трогала их пальцами), — и, не снимая шубы, остановилась посреди гостиной и подняла над головой лист бумаги.

— Дамы, — сказала она. Голос у неё дрожал. — Дамы. Вы должны это знать. Вы обязаны.

Это был листок — серый, гектографированный, с бледными лиловыми буквами, расплывшимися от сырости. Такие листки Лена видела в декабре на студенческой сходке, в январе — в губкоме. Их печатали на гектографе: желатиновая масса в противне, лист с текстом, написанным особыми чернилами, прижимали к массе, а потом снимали оттиски — тридцать, сорок, пятьдесят, пока не бледнело совсем. Этот был, видимо, сороковой.

Кошеварова передала его генеральше. Генеральша надела лорнет. Прочла первые строки — и выронила лорнет.

Листок пошёл по рукам.

Лена получила его последней — из рук жены ветеринара, которая держала его двумя пальцами, как дохлую мышь, и, отдавая, сказала шёпотом: «Читайте, Леночка. Вы медичка. Вам — можно».

Наверху, крупно, было напечатано:

«ДЕКРЕТ об отмене частного владения женщинами».

И дальше — пунктами. Лена читала и не верила. Читала — и начинала понимать.

«…Законный брак, имевший место до последнего времени, несомненно является продуктом того социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской Республике…»

«…С 1 марта 1918 года все женщины в возрасте от 17 до 32 лет изъяты из частного владения и объявляются достоянием (собственностью) народа…»

«…Распределение и пользование экземплярами отчуждённых женщин производится Советом анархистов…»

«…Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром общенародного достояния, должен представить удостоверение от фабрично-заводского комитета о своей принадлежности к трудовой семье…»

«…Срок пользования — не более трёх часов в сутки…»

«…Женщины, не подчинившиеся сему декрету, объявляются саботажницами и привлекаются к ответственности…»

И подпись внизу — неразборчивая. И место: «Саратов».

Лена дочитала. Подняла глаза.

Гостиная генеральши Перфильевой была похожа на палату в нервном отделении после того, как сообщили о пожаре. Генеральша сидела в кресле под фотографией генерала-подпоручика и обмахивалась веером, хотя было не жарко, а душно. Её компаньонка — старая дева, сухая, как вобла, лет пятидесяти, — стояла у окна и молилась шёпотом. Жена податного инспектора плакала. Жена ветеринара — полная, румяная, лет тридцати — сидела на диване и, шевеля губами, что-то высчитывала на пальцах.

А Кошеварова стояла посреди гостиной, в каракулевой шубе, с голыми мочками, и говорила:

— …и вот я спрашиваю вас, дамы: что дальше? Что дальше? Сначала — серьги. Потом — особняк. Потом — мы. Мы сами! Как серьги! Как подстаканник Дмитрия Ивановича! «Экземпляры»! Вы слышите — «экземпляры»! По ордеру! По удостоверению фабзавкома! Три часа в сутки! — Голос её взлетел до визга. — Три часа! Как в бане!

— Зинаида Павловна, — сказала генеральша из кресла. — Зинаида Павловна, надо телеграфировать.

— Кому?

— Керенскому.

— Керенского нет, — сказала жена податного инспектора сквозь слёзы. — Его нет с октября.

— Тогда — Учредительному собранию.

— Его тоже нет.

— Тогда — архиерею!

Кошеварова открыла рот, чтобы ответить, — и посмотрела на листок, который Лена держала в руках. На слово «ордер». И вдруг побледнела — вся, сразу, от лба до подбородка, — схватилась рукой за горло, качнулась, — и стала падать. Медленно, величественно, с креном, как падает корабль, получивший пробоину ниже ватерлинии.

Лена поймала её. Она была ближе всех. Она подхватила Кошеварову под мышки — тяжёлую, мягкую, пахнущую духами и нафталином, — и опустила на ковёр, и расстегнула ей шубу, и воротник, и стала искать пульс. Пульс был — частый, слабый, но был. Обморок. Вазовагальный. Ничего страшного. Медичка в ней работала сама, как работала у постели отца: голову ниже, ноги выше, воздух, нашатырь.

— Нашатырь! — сказала Лена. — У кого-нибудь есть нашатырь?

Нашатырь был у компаньонки. В флакончике, в сумочке, вместе с молитвенником. Лена поднесла его к носу Кошеваровой, и та чихнула, и открыла глаза, и посмотрела на Лену снизу вверх, мутно, — и сказала слабым голосом:

— Леночка. Вам же — двадцать. Завтра. Вы — подпадаете.

И снова закрыла глаза.

Жена ветеринара на диване наконец досчитала.

— Тридцать два, — сказала она вслух, растерянно. — Мне в июне — тридцать два. Значит, с первого марта… и до июня. — Она посмотрела на дам. На лице у неё было выражение, которого Лена не могла разобрать. — Три месяца. Только три месяца. А потом — уже не подпадаю.

Она замолчала. И Лена увидела — с изумлением, с ужасом, со смехом, который подступил к горлу и который она едва удержала, — что жена ветеринара не может решить, рада она или в ужасе. Что на её румяном, круглом, тридцатиодногодичном лице борются обе эти вещи сразу — и ни одна не побеждает.

Дмитрий Иванович Нехлюдов пришёл на «вторник» с опозданием, — его звали иногда как единственного мужчину, «для солидности», — и застал дам над листком, а Кошеварову — на диване, с мокрым полотенцем на лбу.

Он прочёл листок. Медленно, внимательно, шевеля бородой. Дочитал. Положил на стол. И сказал — тихо, торжественно, почти с удовлетворением:

— Лев Николаевич предупреждал.

Все посмотрели на него.

— «Крейцерова соната», — сказал Нехлюдов. — Девяностый год. «Половая любовь есть зло». Лев Николаевич писал: брак — это узаконенный разврат. Мужчина владеет женщиной, как вещью. Как собственностью. — Он поднял палец. — И вот — они это поняли. Большевики. Анархисты. Неважно. Они поняли, что брак — это собственность. И они отменили собственность. — Он помолчал. — Только они не поняли главного. Лев Николаевич говорил: надо отменить не собственность на женщину. Надо отменить — само желание. Половую любовь. Совсем. Стремиться к целомудрию. Даже в браке. — Он вздохнул. — А они — наоборот. Они национализировали. — Голос его дрогнул. — Национализировали половую любовь.

И Нехлюдов заплакал — и одновременно, Лена видела, был почти счастлив, как на иордани, как с декретом о церкви. Потому что Лев Николаевич опять оказался прав.

— Дмитрий Иванович, — сказала генеральша из кресла. — Вы-то чему радуетесь?

— Я не радуюсь, — сказал Нехлюдов, утирая слёзы бородой. — Я плачу. Я — и то, и другое. Как всегда.

Очумелову листок попал в руки тем же вечером — кто-то из дам, кажется, жена податного инспектора, отнесла его в милицию «для сведения властей», — и на следующее утро Очумелов уже действовал.

Лена узнала об этом от Фёклы, которая узнала от молочницы, которая узнала от дворника губернаторского дома. Очумелов, получив листок, долго его изучал. Потом — по свидетельству дворника — спросил у Елдырина, что такое «экземпляр общенародного достояния». Елдырин не знал. Потом Очумелов вызвал писаря и продиктовал ему распоряжение.

Распоряжение называлось: «О составлении предварительного списка граждан женского пола в возрасте от 17 до 32 лет по вверенному району».

«…ввиду поступления сведений о возможном введении декрета об отмене частного владения женщинами, — диктовал Очумелов, — и во избежание беспорядка и неразберихи при распределении в случае, если вышеозначенный декрет дойдёт до Томской губернии, предписываю участковым составить предварительный список означенных граждан с указанием возраста, адреса, семейного положения и… — он подумал, — и наружности. На всякий случай. Список хранить в секрете. Очумелов».

Список составили за два дня. В нём было четыреста двенадцать фамилий. Лена была в нём под номером двести шестым: «Трофимова Елена Петровна, 19 лет (с 8 марта — 20), дочь члена ревкома, студентка, незамужняя, проживает на Воскресенской горе, наружность — брюнетка, глаз косит (левый)».

Список, конечно, не хранился в секрете. Его через неделю читал весь город, и над ним смеялись, и его перепечатывали от руки, и кто-то вывесил его копию на стене управы рядом с рапортом Очумелова о жалованье за несуществующие дни. Очумелов объяснял потом, что составлял список «в целях защиты граждан женского пола от анархистского произвола», чтобы знать, кого охранять. Ему никто не верил, и никто не наказал.

А «глаз косит (левый)» Лена запомнила.

Она пришла домой с «вторника» и долго ходила по мезонину, от окна к двери и обратно, — смеясь, и не смеясь, и снова смеясь. Это было смешно. Это было чудовищно смешно: Кошеварова на ковре, жена ветеринара со своими тридцатью двумя годами, Нехлюдов с «Крейцеровой сонатой», генеральша, которая хотела телеграфировать архиерею. «Три часа — как в бане». Она хохотала, вспоминая, — одна, в мезонине, при лампе.

А потом перестала смеяться.

Потому что поняла — медленно, по-медицински, как ставят диагноз, сначала по симптомам, потом по сумме симптомов, — что страшно не это. Не листок. Листок был глупый, грубый, безграмотный, с опечатками, подписанный неизвестно кем, неизвестно где — в Саратове? У анархистов? Его сочинил, наверное, какой-нибудь пьяный шутник, или провокатор, или гимназист. Это было видно сразу. Любой, кто прочёл хотя бы один настоящий декрет — о мире, о земле, о браке, о церкви, — видел: это не декрет. Стиль не тот. Слова не те.

Страшно было другое. Страшно было, что они поверили.

Не дуры. Не старухи. Кошеварова — образованная женщина, читала Мопассана в подлиннике. Генеральша — дочь сенатора. Жена податного инспектора кончила Высшие женские курсы в Петербурге. Они прочли — и поверили. Сразу. Без сомнения. Как Лена поверила бы в декабре, что в Петрограде восстание, если бы ей сказали.

Почему?

Потому что после «на месте» — можно поверить во что угодно. После заколотых в постелях — можно. После «караул устал». После «гражданка Трофимова, техническая служащая, свободна». После контрибуции, после реквизиций, после Швондера с его «мезонин подлежит». После того, как самозванец в бескозырке собрал серьги и серебро за два дня, а ревком отдал ему автомобиль. Если можно — это, — почему нельзя «экземпляры по ордеру»? Где граница? Кто её проведёт?

Её больше не было. Границы. Вот что было страшно. Не то, что сделали, а то, что теперь любому слуху верили, потому что больше не было ничего, во что нельзя было бы поверить.

Отец пришёл вечером, за бельём, — за день до того вечера, когда они смеялись над сыном лейтенанта Шмидта, — и она показала ему листок.

Отец прочёл. Поморщился — как морщатся от дурного запаха.

— Анархистская провокация, — сказал он. — Саратов. Мы знаем. Это напечатали в какой-то бульварной газетке в Саратове, анархисты-индивидуалисты, а может, и не анархисты — может, черносотенцы. Чтобы дискредитировать. Его уже опровергли. В «Известиях». И в «Правде». — Он положил листок на стол. — Мерзость. Грязная мерзость.

— А вы бы смогли? — спросила Лена.

Отец поднял глаза.

— Что?

— Издать такой. Настоящий. — Лена смотрела на него. — Если бы это было нужно для революции. Если бы Ленин сказал: это нужно. Это — классовая необходимость. Брак — буржуазный институт, вы же сами пишете. Энгельс пишет — «Происхождение семьи». Если бы сказали: отмирание семьи, как отмирание государства, через диктатуру, временно, — вы бы смогли?

Отец молчал.

Он молчал долго. Не потому, что не знал ответа, — Лена видела, что он знает. Он молчал, потому что ответ был — и он его взвешивал. Как взвешивают на аптекарских весах: сколько можно, а сколько уже яд. Он смотрел на листок, на лиловые расплывшиеся буквы, — и Лена видела, как у него в голове идёт эта работа: Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», отмирание, Коллонтай, «свободная любовь», декрет о гражданском браке, декрет о разводе… Он искал границу. Где она? Здесь? Или дальше?

— Нет, — сказал отец наконец.

Но он сказал это не сразу. Через полминуты. Через тридцать секунд. Лена посчитала — машинально, как пульс: двадцать восемь, двадцать девять, тридцать.

И эти тридцать секунд были страшнее декрета.

Потому что честный человек, её отец, профессор, который плакал рядом с самозванцем, вспоминая «Очаков», который выхаживал в девяносто девятом году студентов, который отда-

вал последние деньги на партию, — честный человек не знал сразу. Ему нужно было тридцать секунд, чтобы найти, где граница. Он нашёл. Он сказал «нет». Но — через тридцать секунд.

А что будет, когда ему понадобится сорок? Минута? Когда граница отодвинется ещё — на один декрет, на одну передышку, на одно «временно»?

Лена взяла листок со стола, сложила вчетверо и спрятала в карман. Отец смотрел на неё.

— Зачем тебе?

— Для коллекции, — сказала Лена. — У тебя — списки. У меня — декреты.

И ушла наверх. А отец остался в столовой, под лампой, один, и долго сидел, глядя в стол.

Листок она положила в нишу. За медведей. Поверх протокола думы, поверх снимков из мансарды, поверх керенок, облигаций и маминого золота. Это был первый документ её подполья. Она ещё не была в подполье — это будет через несколько часов, этой же ночью. Но листок она уже положила туда.

13.4. Подполье

Марья Павловна пришла в ту же ночь — с шестого на седьмое, — во втором часу, когда весь дом спал.

Она постучала не в дверь, а в окно мезонина. Камешком. Тихо — раз, другой, третий. Лена не спала — она лежала в темноте и думала о листке с «экземплярами», который только что положила в нишу, о тридцати секундах отцовского молчания, — и, услышав стук, сначала решила, что это капель. Потом поняла. Подошла к окну. Внизу, у калитки, на снегу, в синей мартовской темноте стояла высокая прямая фигура в широкой шубе и мужском треухе.

Лена спустилась — босиком, в шубе поверх рубашки, с валенками в руке, мимо кабинета, где никого не было, мимо гостиной, где за роялем спал Ференц, — она слышала его дыхание, ровное, сонное, — мимо кухни, где храпела Фёкла. Открыла дверь.

— Одевайся, — сказала Марья Павловна. — Тепло. Мы далеко.

— Куда?

Марья Павловна посмотрела на неё. Лицо её в темноте было неразличимо — только глаза, светлые, ясные, блестели.

— Ты дочь Катерины Михайловны, — сказала она. — Пора.

Они шли через весь город, как шли год назад, в марте, на Вознесенское кладбище копать клад. Тем же путём — через Заисточье, через спящие улицы, мимо тёмных домов, — только теперь была не мёрзлая зима, а мартовская оттепель, и под ногами вместо скрипучего снега была каша, слякоть, лужи, затянутые к ночи тонким ледком, который хрустел и проваливался, и валенки промокали. Марья Павловна шла впереди, не оглядываясь, прямая, как палка, и Лена шла за ней, и обе молчали.

Только на углу Татарской, у мечети, Марья Павловна остановилась и сказала, не оборачиваясь:

— Ты знаешь, на что идёшь?

— Знаю.

— Нет, не знаешь. — Марья Павловна помолчала. — Это не перепечатка стихов. Это не секретарство на съезде. Это — подполье. Если возьмут — не отпустят. Отец не поможет. Отец, может быть, сам подпишет. — Пауза. — Слышала про «на месте»?

— Слышала.

— Это про нас. — Марья Павловна повернулась к ней. — Я не должна тебя вести. Я обещала Катерине Михайловне, что ты будешь жить. Учиться. Врачом. С дипломом. Она хотела, чтобы ты жила. А я веду тебя туда, где убивают. — Она помолчала. — Но она бы пошла. Она бы сама пошла. Ты — её дочь. Я не могу тебя не вести.

Лена молчала.

— Можешь вернуться, — сказала Марья Павловна. — Сейчас. Я пойму. Я никому не скажу. И она бы поняла.

Лена посмотрела назад — на тёмную улицу, на гору, где за домами был её дом, мезонин, медведи, ниша, — и вперёд, на Марью Павловну, на её светлые глаза в темноте.

— Пойдёмте, — сказала она.

И они пошли дальше.

Это был тот же флигель. Лена узнала его сразу: деревянный дом в Заисточье, вросший в землю, — теперь не в сугробы, а в серую ноздреватую кашу, — двор, поленница, собачья будка. И собака — та же, лохматая, злая, на цепи, — рвалась и хрипела, и та же старуха в шали вышла на крыльцо и цыкнула на неё. Ватные одеяла на окнах. Студент с наганом в сенях — другой, не тот, что в январе, но такой же: молодой, бледный, в шинели, с папиросой в рукаве.

В январе здесь было заседание думы. Сорок человек при одной свече. Правительство автономной Сибири. Министры, которых выбирали шёпотом, и Вологодский, избранный заочно, без согласия.

Теперь здесь было пятеро. И две свечи.

Михайлов сидел за столом, у свечи, — в том же чужом пиджаке, в тех же валенках с Тайги, только побритый, — и что-то писал. Рядом с ним сидел человек, которого Лена знала по съездам семнадцатого года: Марков, эсер, депутат Учредительного собрания от той же Томской губернии, — сухой, с бородкой, в очках, похожий на земского учителя. Третий — Линдберг, тоже депутат, тоже эсер, — высокий, светловолосый, с северным, как будто финским, лицом. Они — Лена знала, Марья Павловна говорила по дороге, — были то, что осталось в Томске от январского правительства. Дербер уехал во Владивосток. Министры разъехались — кто в Харбин, кто в Читу, кто неизвестно куда. А эти остались. Чтобы готовить.

— Готовить что? — спросила тогда Лена.

— Весну, — ответила Марья Павловна.

А у печки, в тени, сидели двое военных.

Они были в штатском. Но Лена поняла, что они военные, ещё с порога — так, как понимала на вокзале второго января, глядя на офицеров в чужих пальто: по тому, как они сидели, как держали плечи, как повернули головы на скрип двери. Один был старше — лет под сорок, высокий, плотный, с тёмными усами, закрученными чуть кверху, с красивым, крупным, властным лицом и с той особенной осанкой, какая бывает у людей, которые знают, что на них смотрят, и которым это нравится. Он был одет хорошо, даже щеголевато, — в тёмную пиджачную пару, в крахмальный воротничок, в галстук с булавкой, — и сидел нога на ногу, как сидят в партере. Второй — моложе, гораздо моложе, лет двадцати семи, невысокий, широкоплечий, в простом сером пальто не по росту, слишком длинном, с подвёрнутыми рукавами, — сидел на лавке у печки, наклонившись вперёд, опершись локтями о колени, и грел руки.

— Товарищи, — сказала Марья Павловна. — Это Трофимова. Елена Петровна. Я за неё ручаюсь.

Михайлов поднял голову от бумаг и кивнул — коротко, как кивнул в ночь разгона, когда её выводили. Своей.

— Мы знакомы, — сказал он. — Елена Петровна вела протокол в январе. Здесь же. — Он помолчал. — И раньше. Её вывели из квартиры кооператора по распоряжению отца. Она не хотела уходить.

Старший из военных посмотрел на Лену внимательно. Чуть прищурясь. Как смотрят из партера на актрису, вышедшую на сцену в первый раз.

— Дочь Трофимова? — сказал он. Голос у него был звучный, поставленный, бархатный — голос, который привык, чтобы его слушали. — Члена ревкома?

— Да, — сказала Лена.

— Любопытно, — сказал он. И улыбнулся. Улыбка была красивая и холодная. — Очень любопытно. Дочь члена ревкома — в подполье против ревкома. — Он повернулся к Михайлову. — Павел Яковлевич, вы уверены?

— Я уверена, — сказала Марья Павловна.

Старший посмотрел на неё — на её стриженую седую голову, на енотовую шубу, на руки в шрамах. И улыбка у него стала чуть другой — почтительной.

— Если Марья Павловна уверена, — сказал он, — то и я уверен.

Он встал и поклонился Лене — коротко, по-военному, щёлкнув каблуками, хотя был в штатских ботинках, и щелчка не получилось. Протянул руку.

— Алмазов, — сказал он.

Только это. Фамилию — или то, что выдавал за фамилию.

Рука у него была сухая, сильная, тёплая. Он задержал её руку в своей на секунду дольше, чем нужно, — Лена это заметила, она теперь замечала такие вещи, Гомаровский научил, — и отпустил.

— Полковник… — начал было Михайлов.

— Просто Алмазов, — сказал Алмазов. — Служащий кооперативного союза «Закупсбыт». Вот мои документы. — Он похлопал себя по карману. — Вполне законные. Почти.

«Закупсбыт».

Лена вздрогнула. Он заметил — он, кажется, замечал всё.

— Вам знаком «Закупсбыт», Елена Петровна?

— Немного, — сказала Лена. Голос у неё был почти ровный. — Я перепечатывала для них. Летом. Для их юрисконсульта.

— Для Гомаровского? — Алмазов поднял бровь. Совершенно так, как поднимал бровь Гомаровский. — Евгения Станиславовича? Как же. Знаю. Блестящий юрист. Блестящий циник. Уехал, кажется, в Харбин? Умный человек. — Он сел обратно, нога на ногу. — Через него «Закупсбыт» и дал нам первые удостоверения. Он оставил кое-какие… бланки. Перед отъездом. В конторе. — Пауза. — Он ничего не делает даром, этот господин. Но иногда он делает что-то, ничего не говоря.

Лена молчала. Сердце у неё стучало. Гомаровский — оставил бланки. Для подполья. Перед отъездом. «Я беру только то, что мне дают». А сам — давал. Молча. Как оставил ей номер четырнадцатый до первого февраля. Как оставил клочок в камине. Как сказал про шубу.

— У вас, Елена Петровна, — сказал Алмазов, — случайно не сохранилось чистых бланков «Закупсбыта»? С лета? С шапкой? Нам нужно ещё удостоверения. Для людей. Служащим кооперации ездить по губернии — можно. Офицерам — нельзя.

Лена подумала.

Бланки были. Пачка — штук сорок, — плотная хорошая бумага, с типографской шапкой «Сибирский кооперативный союз “Закупсбыт”. Томское отделение», — лежала у неё в мезонине, в ящике стола, под гербарием. Гомаровский дал ей их в августе, когда она перепечатывала проект положения об областной думе, — «на черновики, мадемуазель, у нас её много», — и она так и не использовала их: жалко было, слишком хорошая бумага.

— Есть, — сказала она. — Сорок штук.

Алмазов улыбнулся — уже не холодно.

— Мадемуазель, — сказал он, — вы клад.

Она не знала, что ответить, — и в эту секунду младший у печки, тот, что грел руки, поднял голову и сказал негромко:

— Алексей Николаевич, не пугайте барышню. Она к нам не за комплиментами пришла.

И Лена посмотрела на него.

Он встал. Невысокий — ниже её на полголовы, может быть. Широкоплечий, крепкий, ладный, как бывают ладны крестьянские парни, которые с детства косят и колют дрова. Пальто на нём было действительно не по росту — чужое, с чужого плеча, как у Марьи Павловны енотовая шуба, — с рукавами, подвёрнутыми на два оборота. Лицо — простое, открытое, широкоскулое, совсем не офицерское, скорее мужицкое: светлые, почти белые брови, светлые глаза

— серые, прозрачные, спокойные, — нос картошкой, твёрдый подбородок, короткие светлые усы. Волосы — русые, коротко остриженные, торчащие ёжиком. Ни красоты, ни осанки Алмазова, ни его бархатного голоса. Обыкновенный. Его можно было принять за приказчика, за мастерового, за сельского учителя.

Только на груди, под распахнутым пальто, на сером штатском пиджаке, Лена увидела — маленькую, едва заметную, — розетку. Ленточку. Оранжевую с чёрным. Георгиевскую.

— Пепеляев, — сказал он. — Анатолий Николаевич.

Он протянул руку — и Лена пожала её. Рука была шершавая, жёсткая, с мозолями на ладони — от шашки? от поводьев? от лопаты в окопах? — тёплая, сильная. Он пожал её руку коротко, крепко, как жмут руку товарищу, — и сразу отпустил. Не задержал ни на секунду.

— Вы томичка, — сказал он. Не спросил — сказал. Он чуть окал, по-сибирски, мягко, как окали все старожилы, как окала Фёкла. — Я тоже. Здешний. Отец — генерал, в отставке теперь, здесь же живёт. Может, видели — старик с палкой, по утрам гуляет.

— Видела, — сказала Лена. Она действительно видела — высокого седого старика с палкой, в генеральской шинели без погон. — Он кормит голубей у собора.

— Кормит, — сказал Пепеляев и улыбнулся. Улыбка у него была неожиданная — широкая, детская, с ямочкой на щеке, — и лицо от неё стало совсем молодым, моложе двадцати семи. — Это он любит. Голубей. Говорит — единственные, кто его теперь слушается.

Лена засмеялась.

Потом они сидели у печки — все, кроме Михайлова, который писал, — и говорили. Вернее, говорили Алмазов и Михайлов, и Марков, и Линдберг. О весне. О чехах. Чехословацкие эшелоны шли через Тайгу на восток, во Владивосток, — пятьдесят, шестьдесят тысяч человек, вооружённых, организованных, с офицерами, — шли по договору с Совнаркомом, на родину, через Японию и Америку, на Западный фронт, воевать с Германией. И с ними можно было договориться. Если правильно поговорить. Если — весной — что-нибудь случится. О Новониколаевске, где у Алмазова была своя организация. Об Омске. О Красноярске. О том, сколько в Томске офицеров — бывших, демобилизованных, сидящих по квартирам без дела, без денег, без погон, — и сколько из них готовы. О винтовках. О патронах. О том, где их взять.

Лена слушала — и запоминала. Как запоминала на лекциях. Это было — её дело. Она поняла это сразу.

Её дело было: машинка, бумага, ниша.

Михайлов объяснил потом, в конце, когда все уже собирались. Ей нужно будет печатать — воззвания, списки, шифры, удостоверения на бланках «Закупсбыта». Хранить — у себя, в надёжном месте, — бумаги, которые нельзя держать здесь, во флигеле, где могут быть обыски. Носить — из флигеля в город, из города во флигель, на Тайгу, на пристань, в казармы, в лазареты, — записки, пакеты, иногда деньги.

— Вы медичка, — сказал Михайлов. — Вам все двери открыты. В казармы — к больным. В лазареты. В тюрьму даже — там тиф, туда врачей пускают. В ревком — к отцу. Никто не обыщет медичку с сумкой. — Он помолчал. — И у вас дома стоит красногвардеец. Мадьяр. Из интернационального отряда. Нам говорили. Это — лучшая защита. Кто будет искать подполье в доме, где живёт красногвардеец?

— Есть надёжное место? — спросил Алмазов.

Лена подумала о медведях. О нише. О золоте, о керенках, о снимках, о протоколе думы, о листке с «экземплярами».

— Есть, — сказала она.

Алмазов посмотрел на неё внимательно, с тем же прищуром — как из партера.

— Не спрашиваю где, — сказал он. — Чем меньше знают, тем лучше. — И улыбнулся. — Вы, мадемуазель, кажется, созданы для этого дела. Самообладание. Голова. Внешность —

располагающая и… незабываемая. — Он помолчал. — Опасное сочетание. Для подполья — незабываемая внешность плохо. А для сцены — прекрасно. Вы не пробовали на сцену?

— Нет, — сказала Лена. И вспомнила Ольгу в артистической: «У вас фигура для сцены».

— Попробуйте, — сказал Алмазов. — Театр — лучшее прикрытие на свете. В театре все кого-то играют. Никто не удивится, что вы — не та, за кого себя выдаёте. — Он встал, надел пальто — хорошее, с бобровым воротником. — Я сам когда-то думал — не пойти ли в актёры. Не вышло. — Он засмеялся. — А теперь я играю каждый день. Служащий «Закупсбыта» Алмазов. Хорошая роль. Маруся — жена — говорит, мне идёт.

И, поклонившись Марье Павловне, вышел первым — в сени, во двор, мимо собаки, которая на него почему-то не залаяла.

Лена смотрела ему вслед. В нём было что-то от актёра — Алмазов сам это знал и, кажется, этим гордился: голос, осанка, улыбка, жест, то, как он вставал, как кланялся, как держал руку, как смотрел. Как будто он всё время был на сцене и видел зал. Он ей понравился — и не понравился. Он был похож на Гомаровского — и не был. Гомаровский смотрел, как юрист: оценивая. Алмазов смотрел, как актёр: проверяя, какое производит впечатление.

— Он себя любит, — сказала Марья Павловна тихо, у Лены над ухом. — Очень. Но он храбрый. И умный. И он нужен. — Пауза. — Таких, как он, история любит. Ненадолго.

Пепеляев уходил последним.

Он задержался у печки — заливал угли водой из ковша, чтобы не было дыма из трубы, когда рассветёт, — аккуратно, неторопливо, по-хозяйски, как, наверное, заливал костры в окопах. Потом надел шапку — простую, ушанку, — и пошёл к двери. Лена с Марьей Павловной стояли в сенях.

Во дворе было темно и скользко. Ночью подморозило, и лужи затянуло ледком, и двор был — сплошной каток. Собака лежала у будки, свернувшись, и смотрела на них жёлтыми глазами. Цепь её — длинная, тяжёлая, ржавая — тянулась через весь двор, от будки до крыльца, и лежала на льду поперёк дороги, как змея.

Пепеляев перешагнул через цепь. Обернулся. Увидел, что Лена — в валенках, на скользком крыльце, — остановилась перед цепью.

Он подал ей руку.

Просто, не думая, как подают руку женщине, которая перешагивает через канаву. Ладонь — открытую, шершавую, широкую. Лена взяла её. Шагнула через цепь. Нога поехала на льду — он удержал. Крепко. Одним движением.

И сразу отпустил.

Не задержал. Ни на секунду. Как будто её рука была не рукой женщины, а — рукой товарища, которому надо было помочь перешагнуть. Помог — и всё.

— Скользко, — сказал он. — Осторожней, Елена Петровна. До свидания. — И, кивнув Марье Павловне: — Марья Павловна.

И пошёл со двора — в темноту, в серое пальто не по росту, в ушанке, — и за калиткой свернул налево, к реке, и пропал.

Лена стояла во дворе, у собачьей цепи, и держала свою руку — правую, ту, за которую он её держал секунду, — в левой, как держат обожжённую.

Она не понимала, что с ней.

Он не смотрел на неё так, как смотрели все. Ни разу. За весь этот час у печки — ни разу. Алмазов смотрел — из партера, оценивая, задержав руку. Михайлов смотрел — как на свою, на товарища. Марков и Линдберг — не смотрели вовсе, им было не до того. А Пепеляев — смотрел. Но не так. Он смотрел на неё, как смотрят на человека. На равного. Слушал, когда она говорила, — внимательно, наклонив голову. Отвечал — просто, без комплиментов, без «мадемуазель». Он ни разу не посмотрел на её губы. На её шею. На её грудь под шубой. На

её ноги в валенках. Ни разу. Она это знала — она теперь знала, куда смотрят мужчины, она чувствовала это кожей, как чувствуют сквозняк.

И именно это — то, что он не смотрел, — было сильнее всего, что она чувствовала за этот год.

Полгода её брали. Гомаровский брал — подарками, деньгами, телом, «я беру только то, что мне дают». Грушницкий хотел взять — за калиткой, в Лагерном саду. Великопольский хотел — у костра, робко. Ионыч сватался — перечисляя доходы. Красный командир с усиками — «позвольте проводить». Даже Алмазов — сегодня, сейчас — задержал руку на секунду дольше.

А этот — не брал. Ничего. Подал руку через цепь — и отпустил.

У него было кольцо на пальце. Лена заметила — когда он грел руки у печки. Обручальное, гладкое, золотое, на безымянном. И он сказал — между делом, когда говорили о Новониколаевске, о том, где прятать оружие, — сказал: «У меня жена с сыном у отца. Если что — туда не ходите. За домом смотрят». Сказал просто. Без позы. Без вздоха. Жена с сыном. У отца. Если что.

— Хороший человек, — сказала Марья Павловна, когда они шли обратно, через Заисточье, по гололёду, в синих предрассветных сумерках. — Анатолий Николаевич. Таких мало. — Она помолчала. — Солдаты его любят. Он с ними — как с братьями. Он в окопах с ними сидел, из одного котла ел. Он им — не «ваше благородие». Он им — Анатолий Николаевич.

Лена молчала.

— Он женат, — сказала Марья Павловна. Не глядя на неё. — Очень. Жену любит. Сына. — Пауза. — Я видела, как ты на него смотрела.

— Я не смотрела.

— Смотрела, — сказала Марья Павловна. — Как Катерина Михайловна смотрела на Симонсона. На этапе. — Она помолчала. — Он ей тоже — ничего. Руку не задерживал. Он был — чистый. Как этот.

Лена остановилась.

— Мама… смотрела на Симонсона?

Марья Павловна не ответила. Она шла дальше, прямая, в енотовой шубе, по гололёду, ставя ногу ровно. Лена догнала её.

— Марья Павловна. Мама — смотрела на Симонсона? Как я? Так?

— Это было давно, — сказала Марья Павловна. — На этапе. В восемьдесят девятом. — И, помолчав: — Его убьют первым.

— Симонсона?

— Нет. Симонсон умер давно. — Марья Павловна посмотрела на неё. — Пепеляева. Таких, как он, убивают первыми. Или последними. Середины у них не бывает.

Лена шла рядом с ней и думала: как мама в легенде. Человек, который не берёт. Который подаёт руку через цепь — и отпускает. Который чистый.

Она не знала тогда, что ошибается. Что у Пепеляева будет середина — долгая, страшная, — и что его убьют не первым и не последним, а через двадцать лет, в тридцать восьмом, в Новосибирске, во дворе тюрьмы. Она не знала ничего этого. Она шла по гололёду в синих сумерках, держа правую руку в левой, как обожжённую.

Дома, в мезонине, она достала из ящика стола, из-под гербария, пачку бланков «Закупсбыта». Сорок штук. С типографской шапкой.

Гомаровский дал ей их в августе — «на черновики, мадемуазель». И оставил ещё — в конторе, перед отъездом, для подполья. Молча. Ничего не сказав.

Она положила бланки рядом с «Ундервудом». Завтра — нет, сегодня, уже светало — она начнёт печатать удостоверения. Для служащих «Закупсбыта» Алмазова и других.

Работа подполья — на бумаге Гомаровского.

Она подумала, что он бы оценил. И засмеялась вслух, одна, в мезонине, на рассвете. И этот смех был впервые не горький.

13.5. Баня

Седьмого, к вечеру, Фёкла затопила баню.

Баня стояла в огороде, за хлевом, где жила Мадамка, — маленькая, чёрная, по-старинному, с низкой дверью, в которую надо было входить согнувшись, с крохотным окошком, затянутым бычьим пузырём вместо стекла, с каменкой, сложенной из речных булыжников прямо на земляном полу, без трубы: дым уходил через дверь и через волоковое оконце под потолком, и стены внутри были чёрные, бархатные от сажи, и пахло там дымом, смолой, мокрым деревом и прошлогодним берёзовым листом. Её поставил ещё прежний хозяин дома, до того как отец купил его в девяносто девятом, и отец всегда собирался её снести и поставить новую, белую, с трубой, «гигиеническую», — и так и не снёс. Он в неё не ходил. Он мылся в кабинете, в цинковом корыте, по-немецки, по Кнейппу. А Фёкла ходила. И водила Лену — маленькую, лет до двенадцати, пока Лена не стала стесняться и не перешла на корыто, как отец.

Теперь — через восемь лет — Фёкла позвала её снова.

— Перед днём ангела надо смыть год, — сказала она, стоя в дверях мезонина, с охапкой берёзовых веников в руках, сухих, заготовленных ещё летом, на Троицу. — Положено так. Барыня, бывало, перед своим днём — всегда. Всю жизнь. — Пауза. — Пойдём, барышня. Протопила. Жарко. Как ты любишь.

Лена не помнила, чтобы любила. Но пошла.

Она пошла, потому что не спала всю ночь — подполье, флигель, собачья цепь, рука, которую держала в левой, как обожжённую, — и весь день потом печатала на бланках «Закупсбыта» удостоверения для служащих кооперации, и в глазах у неё рябило от лиловых букв, и спина болела, и плечи затекли, и она чувствовала себя так, будто её всю, с головы до ног, обвязали бечёвкой, как пачку гранок. Ей хотелось развязать бечёвку.

В предбаннике было темно и холодно. Фёкла раздевалась быстро, по-деревенски, без стыда, — скинула юбки, кофту, рубаху, — и стояла голая, маленькая, сгорбленная, высохшая, с тощими старушечьими ногами и с обвисшей, плоской, как пустые мешочки, грудью, — и Лене стало неловко смотреть, и она отвела глаза. Фёкла засмеялась.

— Чего глаза-то прячешь? — сказала она. — Чего я там не видела? Я тебя, барышня, голую в корыте купала. Из пелёнок вынимала. А ты — глаза.

Лена разделась.

Она раздевалась медленно — как раздевалась тридцать первого января в номере четырнадцатом, перед пустым зеркалом. Платье. Юбка. Чулки. Сорочка. Но тогда смотреть было некому, и это было страшно. А сейчас смотрела Фёкла — старуха, голая, сгорбленная, с веником в руках, — смотрела прямо, внимательно, не стесняясь, как смотрят на корову, которую выбирают на ярмарке, или на лошадь, или на хлеб, вынутый из печи: получился ли.

И это было — совсем не страшно.

В бане было жарко так, что перехватило дыхание. Каменка дышала жаром, камни были красные, малиновые, раскалённые, — Фёкла топила её с полудня, — и от них шёл сухой, плотный, звенящий жар, который обжигал лицо, грудь, плечи, и Лена, войдя, сразу присела на корточки у двери, где было пониже и не так жарко. Темнота. Только свет из бычьего пузыря — серый, мутный, вечерний, — и красные отблески от каменки на чёрных бархатных стенах. И запах — дыма, смолы, горячего камня, берёзы.

— На полок, — сказала Фёкла. — Ложись. На живот.

Полок был высокий, в три ступени, под самым потолком, где жар был самый густой. Лена забралась, легла на горячие, гладкие, отполированные тысячами тел доски, вытянулась, положила голову на руки. Доски жгли грудь, живот, бёдра. Пот выступил сразу — по всему телу, мгновенно, — на спине, на пояснице, под коленями, в сгибах локтей, на висках, — и потёк,

и Лена чувствовала, как он течёт, щекотно, ручейками, и как тело под жаром расслабляется, размякает, отпускает себя, как отпускает узел бечёвка, которую намочили.

Фёкла плеснула на каменку из ковша. Камни зашипели, взорвались белым паром, и пар ударил в потолок и опустился на Лену — горячий, влажный, тяжёлый, — и Лена охнула, и закрыла глаза, и вцепилась пальцами в край полка.

А потом Фёкла стала её парить.

Она парила по-старинному, по-сибирски, как парили, наверное, её мать и её бабка: сначала не била, а гладила — веником, распаренным в кипятке, мягким, пахучим, — вела им от пяток до затылка, медленно, едва касаясь, нагоняя жар, — и листья были горячие, влажные, шершавые, и щекотали, и обжигали. Потом — прижимала: клала веник на поясницу, на лопатки, на икры, и держала, и жар под листьями становился нестерпимым, и Лена стонала сквозь зубы. Потом — хлестала. Сначала легко, потом сильнее, потом — так, что тело вздрагивало от каждого удара, и кожа горела, и в глазах темнело, — но это была не боль, а что-то другое, что-то, у чего не было названия ни в физиологии, ни в патологии, что-то, от чего хотелось одновременно кричать и смеяться.

Фёкла парила — и разглядывала.

Лена чувствовала её взгляд — на спине, на пояснице, на бёдрах, на ногах, — сквозь пар, сквозь жар, сквозь закрытые веки. Старухин взгляд. Ничем не стеснённый, прямой, хозяйский, оценивающий. Без желания. Без жадности. Без того, что было во взглядах мужчин — у Гомаровского, у Грушницкого, у Лебядкина с магнием, у красного командира с усиками. Без того, что было в её собственном взгляде в зеркало. Просто — взгляд. Как смотрят на здоровое животное.

— Повернись, — сказала Фёкла.

Лена повернулась на спину. Пар висел над ней, густой, белый. Сквозь него она видела Фёклу — маленькую, голую, красную от жара, с веником в руке, с седыми волосами, прилипшими к лицу, — и Фёклины глаза, внимательные, старые, выцветшие.

— Грудь хорошая, — сказала Фёкла. Деловито. Как сказала бы про корову: вымя хорошее. — Крепкая. Высокая. Кормить будешь — хватит. — Она провела веником по животу Лены, и Лена вздрогнула. — Живот — плоский. Бёдра — широкие. Рожать — легко будешь. Как барыня. — Пауза. — Барыня тебя легко родила. Настасья Ивановна сказывала — часа три всего. Тапёр внизу и вальс доиграть не успел.

Лена открыла глаза.

— Тапёр?

— Ну, — сказала Фёкла и хлестнула её веником по бёдрам, так, что Лена ахнула. — Тапёр. Внизу. Играл. Вальс. Так Настасья Ивановна сказывала. — Она помолчала. — Это я так. Путаю. Старая.

— Какая Настасья Ивановна?

— Рыжая, — сказала Фёкла. — Что в Колывань уехала. — И больше ничего.

Лена смотрела на неё сквозь пар.

Тапёр. Вальс. Комната с зелёным абажуром на Болоте. Она знала это откуда-то — с детства, — будто помнила, хотя помнить не могла. Отец рассказывал про абажур. Про вальс — нет. Про вальс она знала сама. А Фёкла — тоже знала.

— Кожа — как у барыни, — сказала Фёкла, не давая ей спросить. — Белая. Тонкая. На ней след остаётся, от всего. От веника — вон, полосы. От пальца. — Она ткнула пальцем Лене в плечо, и на белой, распаренной коже остался розовый след. — Барыня тоже. Тронешь — и след. Она смеялась: я, говорит, Фёкла, как бумага — на мне всё пишется.

Она снова плеснула на каменку. Пар.

— Повернись-ка опять. На бок.

Лена повернулась. Фёкла провела веником по её спине, по лопаткам, — и вдруг остановилась. Отложила веник. И Лена почувствовала, как Фёклин палец — сухой, шершавый, старый — коснулся её спины. Под левой лопаткой. В одном месте. И задержался.

— А вот родинка, — сказала Фёкла тихо. — Ну точно. И у барыни тут же была. Под лопаткой. Слева. Такая же. Как горошинка. Тёмная. — Палец не уходил. — Я её, бывало, парю — и вижу. Каждую субботу. Тут, в этой бане, в ту зиму. И смеюсь: барыня, говорю, у вас тут мушка. Как у французской барыни, на портрете. А она: это меня, говорит, Фёкла, Бог пометил. Чтобы не потерялась.

Лена лежала на боку, на горячих досках, в пару, и не могла пошевелиться.

Она не знала, что у неё родинка под лопаткой. Она никогда не видела свою спину — кто видит свою спину? В зеркале — только если повернуться и изогнуться, а она никогда не поворачивалась и не изгибалась перед зеркалом спиной. Гомаровский — видел, наверное. Но не говорил. А Фёкла — видела. И у мамы — видела. Под лопаткой. Слева. Такую же.

— Фёкла, — сказала Лена. Голос у неё был хриплый от жара. — Фёкла. Ты маму — парила?

Фёкла молчала.

— Часто? Ты говоришь — «бывало», «каждую субботу». Мама жила здесь недолго — ты сама говорила, мама уехала, когда мне не было и двух. Одну зиму? Несколько суббот? А ты говоришь так, будто знала её всю жизнь.

Фёкла взяла веник. Окунула в шайку с кипятком. Вынула. Отряхнула.

— Ложись на живот, — сказала она.

— Фёкла…

— Ложись.

И хлестнула — так, что Лена вскрикнула. И ещё. И ещё. По спине, по пояснице, по бёдрам, по икрам, по пяткам — сильно, быстро, яростно, будто выбивала из неё вопросы, как выбивают пыль из ковра. Лена лежала, вцепившись в доски, и вскрикивала, и задыхалась, и в глазах у неё плыли красные круги, и жар был такой, что казалось — сейчас кожа слезет, как с варёной картошки. А Фёкла хлестала. Молча. И только между ударами, сквозь пар, сквозь свист веника, Лена расслышала:

— Барыню я, бывало, тоже… парила. Она любила. Чтоб до красноты. Чтоб — до костей. Она говорила: Фёкла, выбей из меня всё. Всё, что за неделю налипло. — Удар. — А налипало много. — Удар. — Ох, много налипало. — Удар. — Господи, прости.

И больше ничего.

Потом Фёкла отбросила веник, взяла ушат с ледяной водой — из колодца, с ледком, — и вылила Лене на спину. Весь. Сразу.

Лена закричала.

Это было — как удар молнии. Как смерть. Как рождение. Горячее тело, раскалённое, размякшее, распаренное до костей, — и ледяная вода, вся сразу, как обвал, — и всё тело содрогнулось, каждая мышца, каждый нерв, сердце остановилось и пошло вскачь, дыхание пропало и вернулось криком, — и Лена скатилась с полка, вскочила, — голая, красная, дымящаяся, с мокрыми волосами, облепившими плечи, — и, не думая, ничего не думая, ни о чём, ни о Пепеляеве, ни о родинке, ни о маме, ни о Гомаровском, ни о подполье, — распахнула низкую дверь и выбежала наружу.

На снег.

Огород был белый, синий, вечерний. Сугробы — подтаявшие, осевшие, ноздреватые, но ещё глубокие, по колено. Над огородом — небо, бледное, сиреневое, мартовское, с первой звездой над хлевом. Лена выбежала — босиком, голая, на снег, в сумерки, — и упала в сугроб.

Навзничь. Раскинув руки.

Снег обжёг. Тысячи иголок — в спину, в плечи, в бёдра, в ладони. Мокрый, тяжёлый, мартовский. Он таял под ней сразу, шипел, как камни на каменке, — она была горячая, как камень, — и от неё поднимался пар, и она лежала в облаке пара, в сугробе, в огороде, голая, и смотрела в сиреневое небо, на первую звезду, — и смеялась.

Она смеялась так, как смеялась в детстве. Когда ей было пять, шесть, семь, и Фёкла парила её в этой бане, и она выбегала и валилась в сугроб, и визжала, и Фёкла хохотала на пороге. Она забыла это. Совсем забыла. Восемь лет корыта по Кнейппу. А тело — помнило.

И тело было — просто тело.

Не товар. Не зрелище. Не орудие власти над мужчиной, как в Лагерном саду и в мансарде. Не собака на цепи, рвущаяся к первому встречному, как у подъезда Общественного собрания. Не пустая свеча в пустой комнате, которая горит, только пока на неё смотрят. Просто — тело. Двадцатилетнее. Здоровое. Красное от веника. Белое от снега. Живое. С родинкой под левой лопаткой, о которой она не знала.

Ей не было стыдно. Впервые за два месяца — нет, впервые за год, — ей не было стыдно своего тела. И не было тоскливо. Она лежала в сугробе и думала: вот оно. Вот что такое — тело само по себе. Без зеркала. Без «смотрят». Без него.

На пороге бани, в облаке пара, стояла Фёкла — голая, маленькая, красная, с веником в руке, — и хохотала. Хохотала беззубым ртом, запрокинув голову, держась за косяк, — так, как Лена никогда не слышала, чтобы она смеялась.

— Вставай, барышня! — кричала она сквозь смех. — Вставай! Застудишься! Простуду схватишь — будешь как Пётр Сергеич! Банки ставить некому!

Лена встала. Вся в снегу, облепленная им, как сахаром. И побежала обратно — в баню, в жар, в пар, — и Фёкла посторонилась, пропуская её, и шлёпнула её веником по мокрому заду, и обе хохотали.

Потом они сидели в предбаннике, закутанные в простыни, на лавке, и пили квас из ковша. Квас был ледяной, кислый, ядрёный, — Фёкла ставила его на хлебных корках в погребе ещё с Рождества. Пар поднимался от их плеч, от волос. За дверью темнело. В хлеву вздыхала Мадамка.

Лена смотрела на Фёклу. На её старое, красное, распаренное лицо, на седые мокрые волосы, на руки — узловатые, тёмные, в трещинах, — которые парили маму. Которые знали родинку под лопаткой. Которые вынимали её, Лену, из пелёнок. Которые служили в этом доме с девяносто девятого года.

С девяносто девятого. С той зимы, когда мама ещё была здесь. Несколько суббот. А говорит — будто всю жизнь.

— Фёкла, — сказала Лена. — Я вступила в подполье.

Она не собиралась это говорить. Слова вышли сами — как пар изо рта.

Фёкла поставила ковш на лавку.

Она долго молчала. Смотрела на дверь — на низкую чёрную дверь бани, из-под которой ещё тянуло дымом и жаром. Лицо у неё было неподвижное. Только губы шевелились — беззвучно, — будто она молилась. Или считала.

— Против Петра Сергеича? — спросила она наконец.

— Против них. Против ревкома. — Лена помолчала. — Да. Против папы.

Фёкла кивнула. Медленно. Будто ждала этого.

— Барыня тоже, — сказала она. — Ночами.

Лена замерла с ковшом в руке.

— Бумаги носила, — сказала Фёкла. — Ночами. В юбках прятала. В подоле. Зашивала, бывало, — я ей нитки подавала. Через весь город носила. Я её ждала, бывало, до утра. Сижу у окна и жду. Придёт — бледная, в снегу, юбки тяжёлые. И — спать. А я юбки распарываю,

бумаги достаю — я неграмотная, я и не знала, что там, — и прячу. Куда велела. — Она помолчала. — За картинку.

— За медведей?

Фёкла посмотрела на неё. Долго.

— За картинку, — повторила она. — Какая там картинка была — я уж не помню. Давно это было. — И отвела глаза. — Ты, барышня, тоже — в подол. Шубу-то мамину — не зря носишь. Подол-то у неё — крепкий. Я его сама подрубала. В девяносто девятом.

Лена молчала. В ушах у неё звенело — от жара, от холода, от кваса, от слов.

«За картинку». Ниша за медведями. Она нашла её в двенадцать лет — пустую, аккуратную, выдолбленную в стене, с деревянной дверцей на петлях — и решила, что это тайник прежнего хозяина. А это был мамин тайник. Мама прятала там бумаги. Партийные. Революционные. Фёкла распарывала мамины юбки и прятала бумаги за картинку. В ту зиму, в девяносто девятом.

И теперь — она, Лена, прячет туда свои. Протокол думы. Листок с «экземплярами». Удостоверения на бланках «Закупсбыта». Тот же тайник. Те же руки — мамины руки двигают её руками. Как с банками у постели отца.

Мама — тоже. Ночами. Бумаги носила.

Значит, это правда. Значит, легенда — правда. Мама была подпольщицей, держала кассу, прятала беглых, носила бумаги в подоле. Как говорила Марья Павловна.

Лене стало легко. Так легко, как было в сугробе. Она засмеялась — тихо — и обняла Фёклу, мокрую, маленькую, закутанную в простыню, пахнущую берёзой и дымом.

Фёкла не отстранилась. Сидела неподвижно в её объятиях, как сидела бы икона, если бы иконы можно было обнимать. А потом — Лена почувствовала — её сухая, шершавая рука легла Лене на мокрую голову. И погладила. Один раз. Как гладят маленьких.

— Ох, барышня, — сказала Фёкла тихо, в Ленины волосы. — Ох, яблочко ты моё. От яблоньки.

И Лена не услышала, что в её голосе было не только нежность. Что там было что-то ещё — что-то тяжёлое, старое, тёмное, как сажа на стенах бани. Она не услышала. Ей было легко.

Фёкла, конечно, говорила правду. Барыня действительно носила бумаги ночами. Действительно прятала их в подоле. Действительно — за картинку.

Только бумаги эти были не листовки и не партийные списки. Это была чёрная книга — «книга живых», в которую барыня вписывала тех, кого собиралась судить. И нишу за картинкой выдолбил не прежний хозяин дома, а рыжий человек, которого на Болоте звали Челкашом. А в ту зиму, в декабре девяносто девятого, барыня вернулась однажды ночью с Московского тракта, и юбки у неё были тяжёлые не от бумаг.

Но этого Лена не знала. И Фёкла ей не сказала.

13.6. Двадцать

Восьмого марта Лене исполнилось двадцать лет.

Она проснулась рано, в шестом часу, в мезонине, от света. Не от холода — холода больше не было, печь держала тепло до утра, на улице была оттепель, — а от света: мартовское солнце, низкое, ещё бледное, но уже весеннее, ударило в окно с востока, из-за колокольни Воскресенской церкви, и легло на потолок, на трещину-реку, которую она в детстве считала рекой. Лена лежала и смотрела на эту трещину. Двадцать лет. По-настоящему. Не по числу, как Фёкла. Не на всякий случай, как отец. А по-настоящему — двадцать лет назад, двадцать третьего февраля по старому стилю, восьмого марта по новому, в понедельник второй седмицы поста, на Болоте, под вальс тапёра снизу, — так сказывала рыжая Настасья Ивановна, которая уехала в Колывань.

Она вспомнила вчерашний вечер — баню, сугроб, Фёклу на пороге, родинку под лопаткой, «барыня тоже, ночами» — и улыбнулась.

Потом вспомнила другое: двадцать лет — это право голоса.

По закону Временного правительства, принятому двадцатого июля прошлого года — она стояла тогда в гостиной у Кошеваровой на «внеочередном вторнике», и генеральша Перфильева посылала телеграмму Керенскому, — по закону женщины получали право голоса с двадцати лет. Лене тогда было девятнадцать. Она не могла голосовать в сентябре, в городскую думу. Не могла в ноябре, в Учредительное собрание, — стояла у дверей Алексеевского училища с листовками за список номер два и не могла опустить свой бюллетень в урну. Она ждала двадцати. Она считала дни.

И вот — двадцать.

А голосовать было не за что.

Учредительное собрание разогнали. Сибирскую думу разогнали. Городскую думу — Лена не знала точно, что с ней, кажется, ревком её распустил ещё в декабре или превратил в «Совет городского хозяйства». Выборов больше не было. Были — Советы. А в Советы голосовали не все. В Советы голосовали рабочие, солдаты, крестьяне. А студентки-медички, дочери профессоров, — не голосовали. Были «лишенцы». Или нет — Лена не знала, она не разбиралась, как теперь устроено. Она знала только, что двадцать лет ей исполнилось — и право голоса тоже исполнилось, — и что это право теперь было как облигация «Займа свободы», которая лежала у неё в нише поверх золота: бумага с орлом, на которую ничего нельзя купить.

Она засмеялась — тихо, в подушку. Двадцать лет. Право голоса. Облигация.

«Равноправие», подумала она. Так называлась бы глава, если бы кто-нибудь написал роман про этот год. Сатирическая.

Митинг был в два часа, в Общественном собрании, в том же зале.

Лена увидела афишу ещё вчера — на стене управы, рядом с рапортом Очумелова и со списком «граждан женского пола от 17 до 32 лет», который кто-то уже успел переписать и наклеить: «8 марта — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИЦЫ. Все на митинг! Товарищи женщины! Советская власть дала вам равноправие! Приходите праздновать вашу свободу!» Внизу мелко: «Выступают товарищи из губкома, женотдела, профсоюзов. Концерт». И она пошла — потому что это был её день, и ей хотелось посмотреть, как празднуют её свободу.

Зал был полон баб.

Не дам — баб. В платках, в кацавейках, в полушубках, в валенках, в сапогах, в лаптях. Работницы табачной фабрики — Лена знала их по виду, по жёлтым от махорки пальцам, — работницы спичечной, работницы с винокуренного, который стоял с ноября, прачки, кухарки, швеи, торговки с Базара. Солдатки — с детьми на руках, с детьми у подола. Мадьярки — откуда-то, из пленных, тоже работницы, с консервного, в чужих, непонятных платках, повязанных не по-русски. И кое-где, редко, островками, — курсистки, учительницы, в шляпках, в пальто, — и Лена среди них, в маминой рыжей лисе.

На сцене, под кумачом, сидел президиум — пять женщин и два мужчины. Говорила женщина из губкома — молодая, стриженая, в кожанке, в пенсне, — говорила громко, резко, с жестами, как говорил человек с маузером в ночь разгона:

— Товарищи работницы! Восьмое марта — наш день! День, когда в девятьсот семнадцатом году работницы Петрограда вышли на улицы и начали революцию! Мы! Женщины! Мы начали! Не мужчины — мы! С пустыми корзинами! «Хлеба!» — кричали мы! И царь пал!

Зал ахнул. Захлопал. Бабы кричали «верно!», «так!», какая-то торговка с Базара заплакала в голос.

А Лена стояла у колонны — у той же самой, что двадцать третьего февраля, на митинге-концерте, — и думала: в девятьсот семнадцатом году работницы Петрограда вышли на улицы двадцать третьего февраля. По старому стилю. В день, когда ей исполнилось девятнадцать. День в день.

И вот теперь этот день — переехал на восьмое марта. По новому стилю. И стал — её днём. По-настоящему.

Её день рождения дважды стал революцией. Сначала — по числу, двадцать третьего февраля. Потом — по времени, восьмого марта. Было в этом что-то… Лена не знала что. Что-то от Короткова со спичками.

— Советская власть дала женщине всё! — кричала стриженая в кожанке. — Равные права! Равную плату! Право развода — без попов, без консистории! Гражданский брак! Право голоса — с восемнадцати лет! В Советы! Каждая работница — может быть избрана! Каждая кухарка — может управлять государством!

«С восемнадцати», подумала Лена. В Советы. Если ты работница. А она — дочь профессора, студентка, с маминым золотом в нише. Ей в Советы — нельзя. Ей — двадцать, а голосовать — никуда.

Потом был концерт. Хор работниц табачной фабрики пел «Смело, товарищи, в ногу», путая слова. Какая-то девочка лет двенадцати читала Некрасова — «Есть женщины в русских селеньях», — и бабы в зале плакали. Потом вышла Ольга.

Она пела «Марсельезу» и «Отцвели уж давно хризантемы». Тот же голос, грудной, тёплый, с хрипотцой. То же тёмно-красное «пролетарское» платье с высоким воротом. Те же бабы в зале — нет, другие, но так же — замолкали, когда она пела, и кидали на сцену — не шапки, как солдаты, а платки. Ольга поклонилась — низко, небрежно, умело. И, выпрямляясь, нашла глазами Лену у колонны. И чуть кивнула. Как кивают партнёрше.

Лена не ответила. Но и не отвернулась.

Посылку принесли, когда она вернулась домой.

Почтальон — старый, в форменной шинели почтового ведомства с заклеенными пуговицами, на которых были орлы, — стоял у калитки и разговаривал с Фёклой, и, увидев Лену, снял фуражку.

— Барышне Трофимовой. Елене Петровне, — сказал он. — Из Харбина. Шла три недели, через Иркутск, через Читу. Чудом дошла, барышня, — поезда-то нынче… — Он протянул пакет. — Распишитесь. Тут.

Пакет был небольшой, плоский, в плотной коричневой бумаге, перевязанный крест-накрест бечёвкой, запечатанный сургучом — тёмно-красным, с оттиском печатки: две буквы, переплетённые вензелем. «Е. Г.»

Лена расписалась. Руки у неё не дрожали. Она проверила.

Адрес отправителя на обёртке был написан его почерком — острым, наклонным, адвокатским: «Харбин, Пристань, Китайская ул., д. 23. Е. С. Гомаровский». Китайская улица. Пристань. Тот самый адрес, обрывок которого она нашла в золе камина тридцать первого января: «…Харбин, Пристань, Китайская ул., д…». Значит, это был — адрес. Не черновик чужого письма. Его адрес. И он написал его — тогда, перед отъездом, — и сжёг. А теперь написал снова. На посылке.

Она поднялась в мезонин, заперлась на крючок и развязала бечёвку.

Внутри, в мягкой серой бумаге, в которую в Петербурге заворачивали дорогие покупки в Гостином дворе, лежало три вещи.

Флакон. Хрустальный, гранёный, с притёртой пробкой, с бело-голубой этикеткой, на которой изящными буквами было написано: «Guerlain. L'Heure Bleue». Её духи. Её — с декабря, с того дня, когда она стала краситься перед визитами в номер четырнадцатый: кольд-крем Брокара, рисовая пудра, румяна, сурьма, помада «Кармен», и — «L'Heure Bleue». Голубой час. Флакон, который он подарил ей тогда, кончился в середине января — она нарочно не экономила, будто хотела, чтобы он кончился поскорее, — и она не купила новый. В Томске их больше не было. Их не было нигде, наверное, — во всей Сибири, — кроме Харбина.

Платок. Шёлковый, японский, тонкий, как паутина, большой, — цвета слоновой кости, с лиловыми птицами. Журавлями — нет, цаплями, длинноногими, длинношеими, летящими по шёлку косым клином. Она развернула его — и узнала. Не платок — птиц. Такие же птицы — лиловые на слоновой кости — были на китайской шали, которую он подарил ей в июле, в Лагерном саду, после того как прогнал пьяных солдат, назвав фамилию с ремня, и сказал: «Это и есть власть». Шаль она отдала Фёкле в ноябре — на платок, Фёкла носила её по праздникам. А птицы — вернулись. Из Харбина. На японском шёлке.

И карточка.

Плотная, кремовая, с золотым обрезом. На ней — его рукой, острым, наклонным почерком, тремя строчками:

«Двадцать лет — хороший срок. Е. Г. Харбин, 14 февраля 1918».

И больше ничего.

Ни «поздравляю». Ни «помню». Ни «приезжайте». Ни «я жду». Ни слова о том, как он доехал, как живёт, где служит, что видит. Ни слова о ней. Ни слова о себе. Три строчки. «Двадцать лет — хороший срок».

Лена сидела на кровати, держа карточку в руках, и перечитывала эти три строчки. Снова и снова.

«Пятнадцать минут — хороший срок». Он сказал это в декабре, в мезонине, когда она оставила его одного на четверть часа, чтобы проверить, тронет ли он раму с медведями, — а он не тронул, сидел и читал Ленина, и потом сказал, не отрываясь от книги: «Пятнадцать минут. Хороший срок. Что бы ни было за этой рамой — это ваше. Я беру только то, что мне дают». Пятнадцать минут — хороший срок, чтобы проверить человека. А двадцать лет?

Двадцать лет — хороший срок — для чего?

Чтобы стать взрослой? Чтобы перестать верить в бумагу? Чтобы понять, что он был прав? Чтобы — забыть его? Или чтобы — приехать?

Он не сказал. Он никогда не говорил главного. Он говорил — про шубу. Про начальников станций. Про дрова. Про бланки «Закупсбыта» — нет, про бланки он не говорил, он их просто оставил, молча. Он говорил то, что пригодится. А главное — оставлял ей самой.

Карточка датирована четырнадцатым февраля. Новым стилем. Он написал «14 февраля» — значит, в Харбине тоже перешли на новый? Или он нарочно написал по-новому, как писал отец, из принципа? Или — Лена вдруг поняла — он написал четырнадцатое, потому что это был первый день нового стиля. Первый день, которого раньше не было. Первое февраля, которое стало четырнадцатым. Он написал ей в тот день, когда номер четырнадцатый перестал быть её.

Номер четырнадцатый. Четырнадцатое февраля.

Совпадение? У него не бывало совпадений.

Она отложила карточку. Взяла флакон. Повертела в руках. Хрусталь был холодный, тяжёлый. Пробка — притёртая, плотная. Она подумала — и вынула пробку.

Запах вышел сразу.

Он вышел из флакона, как джинн из бутылки в сказке, — и заполнил мезонин, весь, сразу, до потолка, до трещины-реки. Ирис. Ваниль. Что-то пудровое, что-то медовое, что-то, что пахло сумерками, — голубым часом, тем часом, когда день уже кончился, а ночь ещё не началась. Запах декабря. Запах номера четырнадцатого. Запах её собственной кожи — шеи, запястий, ямки под ключицей, куда она наносила духи пробкой, медленно, перед маминым зеркалом, перед каждым визитом. Запах его рук на её коже. Запах его постели. Запах того, что было между ними, — всего, — от первой, разочаровавшей ночи двадцать четвёртого октября до последней, новогодней, под хорьковой шубой на ледяном ковре.

И тело откликнулось.

Сразу. Как в кресле, в номере четырнадцатом, тридцать первого января, когда плюш выдохнул его табак. Как у подъезда Общественного собрания, когда подошёл командир с усиками. Тепло — снизу, из живота, медленное, тяжёлое, как прилив. Пульс — она не стала считать. Кожа — вся, сразу, будто её погладили изнутри. И слабость в коленях. И то самое — ноющее, тянущее, пустое, — то, что медичка называла «условным рефлексом», Марья Павловна — «кандалами», отец — «гормонами», а сама она никак не называла, потому что любое название было ложью.

Она сидела на кровати с открытым флаконом в руке — и не могла пошевелиться.

А снизу, из кухни, донёсся голос Фёклы: «Барышня! Самовар!» — и звяканье посуды, и голос Ференца — «спасибо, мать», — и скрипка, первые ноты, кто-то трогал струны, настраивая.

Лена вздрогнула. Закрыла флакон. Плотно. Притёрла пробку до упора, так, что хрусталь скрипнул.

Она не надушилась. Ни капли.

Она встала, отодвинула медведей, открыла нишу — и поставила флакон туда. Поверх протокола думы. Поверх листка с «экземплярами». Поверх снимков из мансарды, керенок, облигаций, маминого золота. Флакон «L'Heure Bleue» встал в нише, как часовой.

Карточку она положила рядом. «Двадцать лет — хороший срок».

А платок — надела.

Она не знала, почему. Она стояла перед маминым зеркалом и накинула японский шёлк на плечи, и лиловые цапли легли ей на грудь, на плечи, на спину, косым клином, летящие куда-то на восток, в Харбин, — и она смотрела на себя в зеркало и думала, что он, наверное, этого и хотел. Чтобы флакон — в нишу, а платок — на плечи. Он знал её. Он знал, что она откроет флакон и закроет. И знал, что платок — наденет.

Он всё знал заранее.

Это было невыносимо.

Марья Павловна пришла вечером, к самовару.

Она пришла не одна — с узелком, в котором были пирожки с капустой (сама пекла, у хозяйки на Монастырской, в печи, первый раз в жизни, кажется, — пирожки были кривые, подгорелые снизу и сырые сверху), — и ещё с чем-то, что держала за пазухой, под енотовой шубой, и не доставала, пока не села за стол в столовой, пока Фёкла не налила ей чаю, пока Ференц, поклонившись ей, не ушёл к себе за рояль.

Отца не было. Отец был в ревкоме.

— С днём рождения, Лена, — сказала Марья Павловна. — Двадцать лет. — Она помолчала. — Катерине Михайловне было двадцать… в восемьдесят девятом. На Кафтане. Когда я её впервые увидела. Нет, ей было больше — двадцать шесть. Но выглядела на двадцать. — Она достала из-за пазухи плоский свёрток — обёрнутый в холстину, перевязанный суровой ниткой. — Это тебе. От неё. Я берегла. Восемь лет. Не знала, когда отдать. Решила — сегодня.

Лена развязала нитку. Развернула холстину.

Внутри была фотография.

Маленькая, в ладонь, наклеенная на картон, потёртый по краям, с загнутым углом. Тюремная — Лена поняла это сразу, по фону, серому, мутному, по тому, как была поставлена фигура, анфас, прямо, без позы, как ставят для полицейской карточки, — но не полицейская: на обороте не было ни номера, ни штампа. Только надпись. Чернилами. Крупным, твёрдым почерком — тем самым, с маминых гербарных папок:

«Маше — на память о Мальцевской. К. 1912».

Лена перевернула карточку.

С фотографии на неё смотрела женщина.

Лет пятидесяти — нет, сорока девяти, мама родилась в шестьдесят третьем. Стриженая — коротко, по-мужски, как Марья Павловна, — с седыми, наверное, волосами, на фотографии они были светло-серые. В арестантском бушлате, застёгнутом до горла. С худым лицом, с резкими скулами, с глубокими складками у рта. Лицо было измученное, старое, каторжное.

И — живое.

Лена смотрела и не могла оторваться. Это было её лицо. Её — через тридцать лет. Те же брови — тёмные, сходящиеся к переносице. Тот же разрез глаз — длинный, с чуть опущенными внешними уголками. Тот же подбородок. И левый глаз — чуть-чуть, совсем немного, так что заметить можно только вблизи и только если долго смотреть, — смотрел мимо. Чуть в сторону. За плечо. Будто видел что-то, чего не видел правый.

Но не это было главное.

Главное было — выражение. Лена ожидала — она не знала, чего ожидала. Святости? Скорби? Строгости? Того, что было на лице у Марьи Павловны, когда та говорила «она была святая»? Того, что было на портретах Перовской, которые продавали в киосках весь семнадцатый год, — суровое, чистое, отрешённое лицо мученицы?

А на фотографии было — другое.

Женщина в бушлате — улыбалась. Чуть-чуть. Одним уголком рта, левым. Не весело. Не горько. Насмешливо. Так, как улыбается человек, который знает что-то, чего не знает тот, кто на него смотрит. Как улыбался Гомаровский, когда говорил «Я беру только то, что мне дают». Как улыбалась Ольга в артистической, когда говорила «Даром всегда дороже всего обходится». Как улыбалась — Лена вдруг поняла это и похолодела — как улыбалась она сама. Перед маминым зеркалом. В марте. С жемчугом на голой шее и с александритом на груди. Когда увидела в зеркале не себя, а другую — тёмную, бледную, с глазами, которые были чёрные и огромные. Женщину, на которую стоило смотреть. И которая это знала.

Мама на фотографии знала, что на неё смотрят.

И ей это — нравилось.

— Это единственная, — сказала Марья Павловна. — Нас снимали в двенадцатом, на Мальцевской. Какой-то фотограф из Читы, от губернатора, для отчёта. Всех. Анфас и в профиль. А она потом подкупила его — я не знаю чем, — и он сделал ей одну карточку. Отдельно. Без номера. Она подарила мне. — Марья Павловна смотрела на фотографию в Лениных руках. — Она тут… не похожа на себя. Улыбается. Она редко улыбалась. На каторге. — Пауза. — Фотограф был молодой. Она с ним… разговаривала. Пока он снимал. Шутила. Он смеялся.

Лена не ответила.

Она смотрела на фотографию — на насмешливую улыбку уголком рта, на левый глаз, смотрящий мимо, — и думала, что это лицо не героини. Не святой. Не Перовской. Не жертвы острожной. Это было лицо живой женщины. Которая в сорок девять лет, стриженая, в арестантском бушлате, на Мальцевской каторге, шутила с молодым фотографом из Читы, и он смеялся, и она знала, что он смотрит, и ей это нравилось.

Это было лицо — как у неё.

Ей стало страшно. И — Лена не могла бы это объяснить ни Марье Павловне, ни себе — ей стало легко. Как в сугробе. Как будто кто-то снял с неё бечёвку.

— Спасибо, — сказала она. — Марья Павловна. Спасибо.

— Береги, — сказала Марья Павловна. — Больше нету. — Она встала, надела треух. — Пирожки съешь. Они кривые, но с капустой. — Пауза. — И — Лена. Завтра ночью — к Михайлову. Есть работа. Срочная.

И ушла. Прямая. В енотовой шубе.

Лена поставила фотографию к лампе. К маминой лампе под зелёным абажуром, на стол, рядом с «Ундервудом» и с пачкой бланков «Закупсбыта». Мама смотрела на неё с карточки — насмешливо, уголком рта, левым глазом мимо.

Лена смотрела на маму.

— Ты тоже, — сказала она вслух, тихо. — Ты тоже знала, что смотрят. Да?

Мама не ответила. Мама улыбалась.

13.7. Двадцать свечей

Пирог Фёкла испекла — «по-настоящему».

Не по числу, как двадцать третьего февраля, — не постный, с груздями, — а скоромный, большой, на всю сковороду, с рыбой и с мясом, с двумя начинками, разделёнными тестяной перегородкой посередине, как разделяют поле межой. Великий пост начнётся только восемнадцатого, — Фёкла считала по-старому, но и по-старому выходило, что пост ещё не начался, — а впереди была Масленица, и Фёкла уже ставила опару для блинов, и уже торговалась с молочницей насчёт сметаны.

— Двадцать лет, — сказала Фёкла, ставя пирог на стол в столовой, под лампу. — По-настоящему. Не по ихнему декрету. По Богу. — Она перекрестилась. — Двадцать.

На пироге стояли свечи.

Двадцать. Тоненькие, восковые, жёлтые, церковные — по копейке штука, — купленные Фёклой у свечного ящика в Воскресенской церкви, у старосты, который продал их ей без очереди, узнав, для чего. Фёкла воткнула их в верхнюю корку пирога — криво, неровно, где пришлось, кругом, по краю, как втыкают в песок колышки, — и зажгла. Одну от другой. Своей рукой.

Двадцать огоньков стояли над пирогом и дрожали, когда кто-нибудь проходил мимо.

Лена смотрела на них — и не могла сказать ни слова.

Отца не было.

В седьмом часу, когда Фёкла уже ставила пирог в печь, у калитки остановились сани — те же, губернаторские, с замазанным гербом, — и из них вылез красногвардеец, молодой, в шинели, с винтовкой за спиной, и постучал в дверь. Фёкла открыла. Красногвардеец козырнул, сказал «товарищу Трофимовой, от товарища Трофимова», сунул Фёкле в руку сложенную вчетверо бумажку и уехал.

Это была записка. На листке из отрывного блокнота, в клетку, карандашом, — отцовским почерком, торопливым, наклонным, с прыгающими буквами:

«Леночка! Поздравляю с двадцатилетием. Не могу прийти — в ревкоме до ночи. Брест, Москва (правительство переезжает), губисполком, продовольствие — всё сразу. Приду, как смогу. Завтра или послезавтра. Не сердись. Целую. Папа. P. S. Подарок — потом. Я помню».

Почерк был по-новому. Без ятей. Без твёрдых знаков. Только в одном месте — в слове «послезавтра», — рука сбилась, и он написал «послѣ», по-старому, с ятем, и зачеркнул ять, и написал сверху «е». Один зачёркнутый ять.

Лена смотрела на этот зачёркнутый ять долго.

Она знала, что он не придёт. Ни завтра, ни послезавтра. Он придёт через неделю, за бельём, на час, и скажет: «Леночка, прости, я забыл», — или не скажет ничего, потому что забудет, что забыл. И подарка не будет. Не потому, что он плохой, — потому, что Брест, и Москва, и губисполком, и продовольствие, и всё сразу. Потому что его не было. Уже давно. С октября. С того дня, когда он стал членом ревкома и заговорил новым, сухим голосом. А сегодня, в её двадцатилетие, это стало видно — как становится видно на рентгенограмме то, что давно было внутри.

Зачёркнутый ять. Последний след того отца, который двадцать лет вставал за этим столом и поднимал стакан с чаем: «Выпьем за то, чтобы Елена Петровна окончила университет».

Она сложила записку и положила в карман.

Ференц вышел к пирогу без приглашения.

Он, видимо, услышал — или учуял — или понял по суете Фёклы, по запаху из печи, по тому, как Лена спустилась в столовую в японском платке с лиловыми птицами на плечах, —

что сегодня — что-то. Он вышел из-за двери гостиной, из-за рояля, в чистой гимнастёрке, — он, видимо, постирал её днём, она была ещё чуть влажная, — с вымытыми руками, с причёсанными рыжими волосами, с подстриженными усами, — и встал в дверях, и смотрел на пирог со свечами, и лицо у него было такое, как у Короткова, когда тот считал спички: недоверчивое, осторожное, будто он боялся, что, если пошевелится, всё исчезнет.

— Двадцать, — сказала Лена. И показала на свечи. — Мне — двадцать. Сегодня.

Ференц посчитал свечи. Губами. По-венгерски. Потом посмотрел на неё.

— Двадцать, — сказал он. — Хорошо. Я — двадцать четыре. — Он подумал. — Я — двадцать, в плену. Карпаты. Пятнадцатый год. День рождения — в окоп. Без свеча. Без мать. — Пауза. — Двадцать — хорошо. Двадцать — молодой.

Фёкла поставила перед ним тарелку. Отрезала пирога — с той стороны, где мясо, большой кусок, с краю, где больше начинки. Поставила стакан чаю. И села сама — напротив, на край стула, — хотя никогда не садилась за стол в столовой, ни при барыне, ни при Петре Сергеевиче, ни при Лене.

Они сидели втроём — Лена, Фёкла, Ференц — под лампой, над пирогом с двадцатью свечами. Барышня, старуха-кухарка и пленный мадьяр-красногвардеец. Это была её семья в её двадцатилетие. Других не было.

— Задувай, — сказала Фёкла. — Барышня. Задувай. Желанье загадай.

— Какое желание?

— Какое хочешь. Только не говори. А то не сбудется.

Лена посмотрела на свечи. Двадцать огоньков. Двадцать лет. Мама в бушлате на фотографии наверху, у лампы. Гомаровский в Харбине, «двадцать лет — хороший срок». Отец в ревкоме, «приду, как смогу». Пепеляев, который подал ей руку через собачью цепь — и отпустил.

Она загадала. И задула.

Не все — с первого раза погасло шестнадцать. Четыре остались — с краю, там, где Фёкла воткнула их криво, — и дымили, и дрожали. Ференц засмеялся. Фёкла сказала «ничего, ничего, это к долгой жизни». Лена набрала воздуху и задула оставшиеся четыре.

Над пирогом поднялись двадцать тонких струек дыма — синих, кудрявых, пахнущих воском и церковью.

Фёкла перекрестилась.

А Ференц встал, ушёл к себе за рояль — и вернулся со скрипкой.

Он играл в столовой — первый раз; до этого всегда играл у себя, за дверью, — стоя у буфета, рядом с граммофоном, которого никто никогда не заводил. Он сначала настраивал, долго, склонив рыжую голову к грифу, трогая струны, — и Лена ждала, что он заиграет то печальное, венгерское, медленное, от которого сжималось горло. А он заиграл другое.

Быстрое. Весёлое. Огненное. Чардаш — тот самый, что играл в день Бреста, когда узнал, что можно домой, и решил остаться, — но ещё быстрее, ещё веселее, ещё огненнее, с перебивами, с притопами, со смехом в каждой ноте, — и скрипка его не плакала, а хохотала, кружилась, взлетала и падала, и Ференц играл, притопывая сапогом, закрыв глаза, улыбаясь, — и вдруг, не останавливаясь, без перехода, без паузы, — переломил мелодию — и заиграл «Ах вы, сени, мои сени».

Русскую. Плясовую. Ту, которую пела Фёкла, когда месила тесто.

Он выучил её у Фёклы. Лена поняла это сразу. Он слышал, как Фёкла поёт на кухне, — три недели, каждый день, — и выучил. По слуху. Без нот. И сейчас играл — для неё, для Фёклы, — с венгерскими переливами, с цыганскими перебивами, не совсем так, как пела Фёкла, но — её.

Фёкла встала.

Она встала со стула медленно, тяжело, держась за край стола. Постояла. Посмотрела на Ференца — он играл с закрытыми глазами, — на Лену — она сидела, прижав руки ко рту.

Потом поправила платок на голове. Одёрнула фартук. Подбоченилась — левой рукой, правую подняла над головой, с платочком, — и пошла.

Пошла плясать.

Медленно сначала, тяжело, притопывая валенками по крашеному полу, — раз, два, три, — поворачиваясь, помахивая платочком, — семидесятилетняя, сгорбленная, маленькая, в чёрном платье и в фартуке, — и с каждым шагом быстрее, и с каждым поворотом легче, будто сбрасывала с себя по году, по пять лет, по десять, — и лицо у неё было серьёзное, строгое, почти суровое, как у человека, который делает важное дело, — а глаза блестели. «Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои…» — пела скрипка, и Фёкла пела вместе с ней, беззубым ртом, хрипло, вполголоса: «Сени новые, кленовые, решётчатые…» — и притопывала, и поворачивалась, и платочек летал над её головой.

Лена смотрела — и смеялась.

И плакала.

Она не знала, когда в последний раз видела, чтобы Фёкла плясала. Никогда. Фёкла не плясала — двадцать лет. С девяносто девятого. С той зимы, когда барыня ещё жила в мезонине, и была Настасья Ивановна, рыжая, и, может быть, тогда — на Рождество, на Масленицу — плясали. А потом барыня уехала. И Настасья уехала в Колывань. И Фёкла осталась одна — с профессором, который читал ей про белковые тела, и с девочкой, которая каждое утро спрашивала «мама?». И перестала плясать.

А сейчас — плясала.

Под скрипку пленного мадьяра. В столовой профессора-большевика. В двадцатилетие барышни-подпольщицы. В доме, где наверху, за медведями, лежало мамино золото, и флакон «L'Heure Bleue», и протокол разогнанной думы, и листок с «экземплярами». В городе, где на площади стоял Очумелов с бантом и крепом. В стране, которая только что отдала полстраны кайзеру. Восьмого марта восемнадцатого года.

Плясала.

Скрипка кончила — оборвала на высокой ноте, со смехом, — и Фёкла остановилась посреди столовой, тяжело дыша, с платочком в поднятой руке, красная, растрёпанная, — и посмотрела на Ференца. И Ференц открыл глаза и посмотрел на неё. И оба засмеялись — сразу, вместе, — и Фёкла махнула на него платочком, и сказала: «Ах ты, басурман», — и пошла на кухню, и там, Лена слышала, долго гремела посудой и сморкалась.

Ночью, в мезонине, она печатала.

Работа, о которой сказала Марья Павловна — «завтра ночью к Михайлову, срочная», — пришла раньше: Михайлов передал её через Марью Павловну, в узелке с пирожками, под пирожками, сложенную в несколько раз. Список. Офицеров. Сорок шесть фамилий — бывших, демобилизованных, сидевших по квартирам в Томске, — с адресами, с чинами, с полками, с пометками: «надёжен», «колеблется», «связан с Алмазовым», «связан с П.». Его нужно было перепечатать — в трёх экземплярах — и зашифровать. Шифр был простой, гимназический: каждая буква заменялась другой по ключевому слову, — ключевое слово Михайлов написал на отдельном клочке, и Лена должна была его выучить наизусть и клочок сжечь. Ключевое слово было «Потанин».

Лена выучила. Сожгла клочок на свече. Пепел растёрла в пальцах.

И села за «Ундервуд».

Но, положив руки на клавиши, — остановилась.

В доме было тихо. Фёкла спала — Лена слышала её храп из каморки за кухней. Ференц не спал — Лена видела, поднимаясь, полоску света под дверью гостиной. А «Ундервуд» стучал громко. Очень громко. Каждый удар по клавише — как удар молотка по гвоздю. Каждый звонок каретки в конце строки — как колокольчик в тишине. В январе, когда она печатала Гиппиус, отец спал внизу и храпел, и она останавливалась, и прислушивалась, и боялась. А

теперь внизу спал — или не спал — красногвардеец. Из интернационального отряда. Из того самого, что разгонял думу. С винтовкой в углу у рояля.

Если он услышит стук машинки в три часа ночи — что он подумает? Что она пишет письма? Конспектирует лекции? В три часа ночи — на машинке?

Лена сидела над «Ундервудом» с поднятыми руками.

Потом встала, спустилась по лестнице, — тихо, босиком, в маминой шубе поверх рубашки, — и постучала в дверь гостиной.

Ференц открыл сразу. Он не спал. Он сидел на кушетке, в гимнастёрке, при свече, и чинил сапог — шилом и дратвой, — и, увидев её в дверях, вскочил, и сапог упал на пол.

— Ференц, — сказала Лена шёпотом. — Сыграйте. Пожалуйста.

Он не понял.

— Сыграйте, — повторила Лена. И показала на скрипку, лежавшую на рояле. И изобразила — смычком по воображаемым струнам. — Музыка. Пожалуйста. Мне — не спится. Я буду — работать. Наверху. — Она показала пальцем вверх. — Писать. А вы — играйте. Тихо. Мне так — лучше.

Ференц посмотрел на неё. Потом на потолок — туда, где был мезонин. Потом снова на неё. Бледными голубыми глазами, спокойными, внимательными.

Лена не знала, что он понял. Слово «писать»? Слово «работать»? Или — ничего, просто то, что барышня просит сыграть, потому что ей не спится в её двадцатилетие?

Он кивнул.

— Играть, — сказал он. — Да. Тихо.

И взял скрипку.

Лена поднялась наверх. Села за «Ундервуд». Заложила бумагу и копирку — три листа.

Снизу, из гостиной, пошла скрипка.

Не громко — вполсилы, — но в ночной тишине её было слышно по всему дому. Медленное, тягучее, печальное, венгерское — то самое, от которого сжималось горло. Оно поднималось по лестнице, сквозь пол, сквозь доски, — и заполняло мезонин, как утром заполнял его запах «L'Heure Bleue».

Лена начала печатать.

Стук «Ундервуда» тонул в скрипке. Не совсем — но почти. Удар по клавише — и скрипичный перелив над ним. Звонок каретки — и долгая нота, которая его покрывала. Если бы кто-нибудь стоял сейчас на улице, под окнами, — он услышал бы скрипку. Печальную, венгерскую, ночную. Красногвардеец играет на скрипке. По дому тоскует. Мало ли.

А под скрипкой — стучала машинка. И буквы ложились на бумагу — лиловые, зашифрованные по слову «Потанин», — фамилии, адреса, чины. Сорок шесть офицеров. «Надёжен». «Колеблется». «Связан с П.».

Ференц играл час. Потом второй. Он не остановился ни разу — пока Лена печатала. Переходил с одной мелодии на другую, с печальной на печальную, с венгерской на венгерскую, — иногда вдруг вплетал «Ах вы, сени», но тихо, медленно, совсем не плясово, будто вспоминал, — и снова венгерское. Он не поднялся наверх. Он не постучал. Он не спросил. Он играл.

А когда Лена вынула из машинки последний лист — сорок шестую фамилию, третий экземпляр, — и откинулась на стуле, и выдохнула, — скрипка внизу смолкла.

Сразу. На полуноте. Как будто он знал.

Лена сидела, не двигаясь, и слушала тишину. Внизу скрипнула кушетка. Потом погасла полоска света под дверью гостиной — она видела её с лестницы, через щель в полу. Потом — тишина.

Знал он или нет? Понял — или нет? Красногвардеец из интернационального отряда, разгонявшего думу, — прикрыл скрипкой подпольщицу, печатавшую список офицеров для

восстания против его власти. Знал — и прикрыл? Или не знал — и просто играл для барышни, которой не спится?

Лена не знала. И решила, что не будет спрашивать. Никогда.

Она сложила листы. Отодвинула медведей. Открыла нишу.

Список лёг туда — поверх всего. Поверх флакона «L'Heure Bleue». Поверх карточки «Двадцать лет — хороший срок». Поверх листка с «экземплярами». Поверх протокола подпольного заседания думы. Поверх конверта со снимками из мансарды, неразрезанного листа керенок, облигаций «Займа свободы», синей думки «Ленке на приданое», бархатной коробочки с серьгами и брошью-александритом. Поверх маминого золота.

Ниша была почти полна. Как память.

Она закрыла дверцу. Повесила медведей. Медведица на поваленной сосне смотрела в утренний туман, как всегда, спокойно, ничего не зная о том, что у неё за спиной.

На столе, у лампы под зелёным абажуром, стояла мамина фотография. Стриженая женщина в арестантском бушлате, с насмешливой улыбкой уголком рта, с левым глазом, смотрящим мимо. «Маше — на память о Мальцевской».

А внизу, в столовой, на скатерти с бахромой, стоял недоеденный пирог. С рыбой и с мясом. С двадцатью огарками в верхней корке. Свечи догорели до самого теста — Фёкла забыла их вынуть, — и от каждой осталась маленькая восковая лужица, жёлтая, застывшая, с чёрным фитильком посередине. Двадцать лужиц. Кругом, по краю, криво, как Фёкла воткнула.

Лена спустилась посмотреть на них — перед тем как лечь. Постояла над пирогом при свече. Потрогала одну лужицу пальцем — воск был ещё чуть тёплый.

Двадцать лет. Догорели.

За окном была мартовская ночь — тёплая, сырая, оттепельная. Капало с крыши — всю ночь, мерно, звонко. Над Воскресенской церковью, на голых берёзах, кричали грачи. Они прилетели сегодня — Лена видела их днём, когда шла с митинга, — первые, чёрные, крикливые, — и обсели берёзы у церкви, и теперь не спали, и кричали в темноте, хрипло, по-весеннему, как кричат грачи, которые прилетели на родину и нашли её не такой, какой оставили.

Лена стояла у окна столовой и слушала грачей.

Двадцать лет. Двадцать огарков. Одна ниша, почти полная. Одна фотография. Один флакон, который она не открыла. Одна рука, которую подали через собачью цепь — и отпустили.

И одна скрипка внизу, которая смолкла на полуноте, когда она кончила печатать.

Она легла под утро и уснула сразу. И ей впервые за много ночей ничего не снилось — ни лучевой нерв, ни номер четырнадцатый, ни мама. Только грачи. Чёрные, на голых берёзах. Кричали.

Конец тринадцатой главы.



Глава 14. Сцена

Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

В. Маяковский, «Послушайте!», 1914

14.1. Лебядь

Ольга пришла за ней второго апреля, в понедельник, в полдень, и стояла у калитки, не входя, в котиковой шубке с горностаем, в шляпке с вуалеткой, с муфтой, — как приходят дамы с визитом в провинциальный дом, где не уверены, что их примут.

Фёкла увидела её из кухонного окна, долго разглядывала, потом вытерла руки о фартук и пошла наверх.

— Барышня, — сказала она в дверях мезонина. — Там до тебя. Актёрка. — Она помолчала. — В котике. С горностаем. Как у тебя была, которую сняли.

Лена спустилась.

Она не видела Ольгу с восьмого марта, с митинга работниц, когда та кивнула ей со сцены, как партнёрше, а Лена не ответила, но и не отвернулась. Почти месяц. Месяц подполья — бланки «Закупсбыта», список офицеров по ключу «Потанин», ночные походы во флигель за собачьей будкой, Михайлов, Марков, Линдберг, Алмазов с его взглядом из партера, — и Пепеляев, которого она видела за этот месяц три раза, всегда при людях, всегда коротко, всегда через стол, и ни разу не дольше, чем нужно для дела. Месяц Великого поста, который Фёкла держала строго, по-старому, и Лена — вместе с ней, не из веры, а потому что мяса в городе всё равно не было.

— Мадемуазель, — сказала Ольга через калитку. — Я обещала, что весной будут вечера. Весна. — Она обвела муфтой мокрый двор, лужи, почерневшие сугробы у забора, капель с крыши. — Вечера будут. Пойдёмте. Я вас кое с кем познакомлю. Вы его, впрочем, знаете.

— Кого?

Ольга улыбнулась — той же улыбкой, что в артистической: усталой, некрасивой, умной.

— Лебядя, — сказала она. — Тима Лебядя. Помните мансарду?

Лена помнила.

Бывший «Интимный театр» был на Магистратской, в двухэтажном каменном доме с полукруглыми окнами, где до войны было «Варьете», до варьете — синематограф «Иллюзион», а ещё раньше, говорили, — портерная. Вход — с угла, под жестяным козырьком. Над входом, во всю ширину фасада, висела вывеска — старая, ещё с прошлого сентября, синими буквами по белому: «ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ», с твёрдым знаком, который «Сибирская жизнь» отменила, а вывеска нет. А поверх неё, на фанерном щите, прибитом гвоздями, красными буквами по белому, без твёрдого знака и без ятей: «ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ТЕАТР МИНИАТЮР ГУБНАРОБРАЗА». Щит был меньше старой вывески, и из-под него, по краям, торчали синие буквы: слева — «ИНТИ», справа — «ТРЪ». Получалось: «ИНТИ… ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ТЕАТР МИНИАТЮР ГУБНАРОБРАЗА… ТРЪ».

Как в управе, подумала Лена. Медь под бумагой. «Уборная для господ гласных» — «Уборная для всех».

В зале было холодно и пусто. Стулья — венские, в беспорядке, половина перевёрнута на столы. Люстра — без лампочек, в паутине. Сцена — маленькая, с занавесом из малинового плюша, выцветшего до розового, с прорехой посередине, зашитой грубыми стежками. На сцене — стол, на столе — керосиновая лампа, папка, графин и стакан. А перед столом, на авансцене, спиной к пустому залу, лицом к заднику, на котором была нарисована неизвестно чья фигура с молотом, — стоял человек и кричал:

— Нет! Нет! Нет! Цепи надо рвать не руками! Руками — это буржуазно! Это — Самсон! Это — Библия! Это — поповщина! Цепи надо рвать — грудью! Вдохом! Пролетарий вдыхает воздух свободы — и цепи лопаются! Сами! От объёма лёгких! Понимаете? От объёма лёгких!

Перед ним, на сцене, стояли трое: двое молодых рабочих в косоворотках и одна девица в трико, все трое обмотанные бутафорскими цепями из картона, покрашенного серебрянкой. Они слушали и не понимали.

— Тимофей Игнатьевич, — сказала Ольга из зала. Негромко, но так, что её услышали на сцене. — Я привела.

Человек обернулся.

Лена узнала его не сразу. В сентябре он был — жёлтая кофта, длинные волосы, грим на скулах, мензурка в руке вместо бокала, «тело — совершеннейшая машина, её не прячут под чехол». Теперь — кожанка. Чёрная, новая, скрипучая, перетянутая ремнём с портупеей. А из-под кожанки, у ворота, торчал воротник — жёлтый. Той самой кофты. Он не снял её. Он надел кожанку поверх. Волосы — остриженные, но не коротко, а так, что они торчали вверх, как у человека, которого только что ударило током. На носу — пенсне, которого в сентябре не было. На груди, на кожанке, — красный бант. И из кармана кожанки торчали бумаги — с печатями.

— Мадемуазель! — сказал Лебядкин. — То есть — гражданка! То есть — товарищ! — Он спрыгнул со сцены в зал, легко, по-молодому, и пошёл к ним между перевёрнутыми стульями, раскинув руки. — Ольга Константиновна говорила. Я не поверил. Вы! Здесь! В моём театре!

— В вашем? — сказала Лена.

— В моём! — Лебядкин вынул из кармана кожанки бумагу, развернул, показал. — Мандат. Заведующий театральной секцией губернского отдела народного образования. Тимофей Игнатьевич Лебядкин. Подписано — комиссар просвещения. Печать. — Он ткнул пальцем в лиловый оттиск. — Всё — моё. Театр. Труппа. Репертуар. Реквизит. Бюджет. — Он понизил голос. — Бюджет, правда, пока в проекте.

Лена смотрела на него — на кожанку поверх жёлтой кофты, на бант, на пенсне, на мандат с печатью, — и вспоминала мансарду. Сентябрь. Ателье «Модерн», где он проявлял снимки. Двадцать человек — петроградские поэты, курсистки, актриса Ольга с пером. «Тело — машина». «Новая женщина революции — без корсета, без стыда, без лжи, свободная, как мотор». И как она, Лена, сказала «а я бы — да», и сняла перчатку, и чулки, и ходила босиком по крашеным доскам под магний. И восемь снимков, которые он потом продал — все восемь, — за кулисы «Интимного», юнкерам, кому придётся, и Гомаровский выкупил семь и негатив, а восьмой оставил себе.

В сентябре он снимал «свободное тело» для буржуазной публики. Теперь — ставил то же самое для пролетарской. С мандатом.

«Хамелеон», подумала Лена. Как Очумелов. Только с другой стороны. Очумелов менял банты, оставаясь полицейским. Лебядкин менял публику, оставаясь футуристом.

— Я готовлю «Мистерию»! — говорил Лебядкин, ведя их к сцене между стульями. — К Первому мая! Массовое действо! Под открытым небом, на площади Революции, на ступенях собора, — я уже договариваюсь, — или здесь, если будет дождь. «Мистерия освобождённого тела»! Три картины! — Он загибал пальцы. — Первая: «Труд, разрывающий цепи». Это — вот, — он кивнул на сцену, на троих в картонных цепях, — репетируем. Вторая: «Сибирь, сбрасывающая оковы». Женская фигура в мехах — меха спадают, под ними — она, нагая, юная, освобождённая! — Он посмотрел на Лену. — И третья. Главная. Апофеоз. — Он остановился. Повернулся к ней. Снял пенсне. — «Свобода на баррикадах».

— По Делакруа? — спросила Лена.

— По Делакруа! — Лебядкин просиял. — Вы знаете! Я знал, что вы знаете! «Свобода, ведущая народ»! Тысяча восемьсот тридцатый год! Баррикада, дым, мёртвые, и над ними —

она! Во фригийском колпаке! С трёхцветным знаменем — у нас будет красное, разумеется, — с ружьём в другой руке! И грудь — обнажённая. — Он сказал это совершенно серьёзно, деловито, как сказал бы «и в руке — знамя». — Это важно. У Делакруа — обнажённая грудь. Это — символ. Свобода не прячется. Свобода — открыта. Как тело. Как правда.

Он смотрел на Лену. Не так, как смотрели мужчины, — не на губы, не на шею, не на грудь под шубой. Он смотрел, как смотрит фотограф на модель. Как Лена смотрела в анатомичке на препарат. Оценивая пропорции.

— Вы — идеальная Свобода, — сказал он. — Я знаю вашу… — Он поискал слово. — Вашу пластику. Я снимал вас. Помните? Восемь снимков. Я их помню наизусть. Каждый. Свет — справа, магний, ваше плечо, линия шеи, когда вы повернули голову. Восьмой — лучший. Вы смотрите прямо в объектив. Как будто — вызов. Как будто — «а я бы — да». — Он надел пенсне. — Это — Свобода. Вы — Свобода. Я понял это ещё тогда, в мансарде. Только тогда не было революции, которой нужна Свобода. А теперь — есть.

Лена молчала.

Она не знала, что чувствует. Стыд? Да — вспоминая мансарду, восемь снимков, которые ходили по рукам за кулисами и у юнкеров, — да, стыд. Гнев? Да — на него, на кожанку поверх жёлтой кофты, на то, как он сказал «я помню наизусть», как будто это было его, а не её. И — что-то ещё. Что-то, в чём она не хотела себе признаваться. Что-то, что вспыхнуло, когда он сказал «вы — Свобода». Когда он сказал «я помню каждый». Когда он посмотрел на неё — не как мужчина, а как художник на модель.

На неё смотрели. Её помнили. Её тело — помнили. Наизусть.

Это было — как запах «L'Heure Bleue» из флакона. Как плюш кресла в номере четырнадцатом. Тело откликнулось.

— Обнажённая грудь, — сказала она. — На ступенях собора. На площади Революции. Перед ревкомом.

— Перед народом! — сказал Лебядкин.

— Перед Очумеловым, — сказала Лена.

Ольга засмеялась.

Лебядкин посмотрел на неё растерянно, потом обиженно, потом засмеялся тоже — неуверенно, будто не понял, но решил, что так нужно.

— Ну, — сказал он, — грудь — обсудим. Это — вопрос художественной трактовки. Можно — полупрозрачная ткань. Можно — тень. Можно — прядь волос. Как у Боттичелли. — Он махнул рукой. — Главное — вы согласны?

— Я подумаю, — сказала Лена.

Она не стала говорить ему, что пришла сюда не ради Свободы на баррикадах. Что накануне, в воскресенье, во флигеле за собачьей будкой, Михайлов сказал ей — между делом, складывая бумаги: «Вас видела Ольга Константиновна. Актриса. Она говорит — вы могли бы выступать. Это хорошо. Это очень хорошо. Красные командиры ходят в театр. После театра — ужинают. С актрисами. Говорят. Пьют. Хвастаются». — И посмотрел на неё поверх очков. — «Вам ничего не нужно делать. Только быть там. И слушать».

Ольга, значит, говорила с Михайловым. Ольга, значит, знала. Ольга, которая «играет за жалованье при любой власти».

Лена посмотрела на неё. Ольга встретила её взгляд — спокойно, чуть насмешливо, — и чуть кивнула. Как кивнула со сцены восьмого марта. Как партнёрше.

Они начали в тот же день.

Не с «Мистерии» — «Мистерия» была Лебядкина, и Лебядкин репетировал её с рабочими в картонных цепях и спорил с ними об объёме лёгких, — а с другого. С того, что Ольга называла «номерами». Концертные вечера в Первом советском театре миниатюр шли по субботам и воскресеньям — «вечера отдыха трудящихся», «благотворительные вечера в пользу

Красной армии», «вечера смычки с интернационалистами», — и в программе каждого были «номера»: романсы, куплеты, декламация, «Яблочко», танцы. Танцовщицы у Ольги не было. Прежняя, из «Весенних чар», уехала в Харбин с каким-то интендантом ещё в январе.

— Ты — будешь танцевать, — сказала Ольга. Она перешла на «ты» сразу, как только они остались вдвоём за кулисами, без всякого предупреждения, как переходят на «ты» в труппе. — Не балет. Балета они не поймут, им скучно. И не канкан — канкан им понравится, но потом комиссар напишет в газету про «буржуазное разложение», и меня закроют. — Она подумала. — Что-нибудь… с тканью. С шалью. Восточное. Или испанское. Чтобы — тело видно, а голого — нет. Чтобы каждый думал, что видит больше, чем показывают. — Она посмотрела на Лену. — У тебя есть шаль?

Лена подумала о платке. Японском. Шёлковом, тонком, как паутина, цвета слоновой кости, с лиловыми цаплями, летящими косым клином. «Двадцать лет — хороший срок».

— Есть, — сказала она.

На следующий день она принесла его.

Ольга развернула платок за кулисами, при свете керосиновой лампы, — и долго молчала, держа его на вытянутых руках. Шёлк струился, переливался, цапли летели.

— Японский, — сказала Ольга. — Настоящий. Из Харбина. — Она посмотрела на Лену поверх платка. Долгим взглядом. — Это — от него?

Лена не ответила.

— От него, — сказала Ольга. Не спросила. — Он и мне присылал. Из Харбина. В марте. — Пауза. — Духи. «Л'Ориган» Коти. Мои. И карточку. «Тридцать лет — хороший возраст. Е. Г.» — Она усмехнулась. — Мне в феврале было тридцать. Он помнил.

Лена смотрела на неё.

— Он всем помнит, мадемуазель, — сказала Ольга, складывая платок. — Он — помнит. Это его… профессия. Юрист помнит всё. Даты, лица, цифры. И — тех, кому что нужно. — Она протянула платок Лене. — Мне — духи. Тебе — шаль с цаплями. Чтобы танцевала. Он знал, что ты будешь танцевать. Раньше, чем ты сама.

Лена взяла платок. Шёлк был холодный.

Значит, он писал обеим. Им обеим. Как оставил бланки «Закупсбыта» для подполья. Как заплатил коридорному за дрова и начальникам станций за паровоз. Он раздавал — всем — то, что каждому было нужно. И ничего не просил.

«Я беру только то, что мне дают». А сам — давал.

И ей вдруг стало смешно. По-настоящему смешно — от мысли о том, как он сидит где-то там, в Харбине, на Китайской улице, дом двадцать три, и рассылает по Сибири флаконы и платки с карточками, как начальник станции рассылает телеграммы. «Двадцать лет — хороший срок». «Тридцать лет — хороший возраст». Двум женщинам, которые теперь стоят за кулисами советского театра миниатюр и держат его подарки в руках.

Она засмеялась. Ольга посмотрела на неё — и засмеялась тоже. Сначала тихо, потом громче. И они стояли за кулисами, при керосиновой лампе, в холодном пустом театре, две женщины одного мужчины, — и хохотали. До слёз. До икоты. Лебядкин выглянул из-за занавеса с испуганным лицом — «товарищи, тише, у меня репетиция, у меня цепи!» — а они хохотали ещё сильнее.

— Даром, — сказала Ольга, задыхаясь, вытирая глаза. — Даром, мадемуазель. Он сам — даром. Всем — даром. Только он думает, что это за жалованье.

Потом они работали. Две недели.

Ольга учила её — всему, что знала сама. Как держать спину. Как ставить ногу — не на пятку, на носок, всегда на носок, даже когда идёшь по сцене просто так. Как поворачивать голову — медленно, медленнее, чем хочется, — чтобы зал успел увидеть шею. Как держать руки — не локтями наружу, а мягко, от плеча, как будто они в воде. Как смотреть в зал — не

смотреть. Никогда не смотреть в глаза никому в зале. Смотреть поверх голов, на последний ряд, на галёрку, на выход, — тогда каждому в зале кажется, что смотришь на него.

— Зал — это зверь, — говорила Ольга. — Большой, тёплый, глупый. Его не надо любить. Его не надо бояться. Его надо кормить. По чуть-чуть. Кусочек — и спрятала. Ещё кусочек — и спрятала. Пока он не начнёт тянуться за тобой. Тогда — твой. — Она помолчала. — Мужчины так же, кстати. Только по одному.

И грим. Ольга гримировала её сама, за кулисами, в крошечной артистической с одним зеркалом и с ящиком вместо столика, — той самой, где Лена говорила с ней в феврале. Кольд-крем Брокара. Пудра — не рисовая, «Рашель», а театральная, лейхнеровская, жирная, в железной коробке. Румяна — густые, кирпичные, на скулы, к вискам, — «чтобы из зала было видно, что у тебя есть скулы». Сурьма — на брови, на ресницы, толсто, — «чтобы из зала было видно, что у тебя есть глаза». Помада — тёмная, почти чёрная, — «чтобы из зала было видно, что у тебя есть рот».

Лена смотрела на себя в зеркало после грима — и не узнавала. Из зеркала смотрела маска. Яркая, грубая, преувеличенная, как у куклы в балагане. Скулы, глаза, рот. Больше ничего.

— Это ужасно, — сказала она.

— Это — вблизи, — сказала Ольга. — А из зала — это лицо. Твоё лицо, только видное. — Она положила руки Лене на плечи и посмотрела на неё в зеркало. — В театре всё наоборот, мадемуазель. Что вблизи — маска, то издали — правда. А что вблизи — правда, то издали — ничего. Пустое место.

И тело.

Тело вспомнило. Лена не ожидала этого — а оно вспомнило. Уроки танцев в Мариинской гимназии, у мадам Дюваль, — тощей, старой, бывшей балерины Мариинского театра, которая била девочек по ногам указкой и кричала «Plié! Plié! Вы не коровы, медемуазель, вы — лебеди!». Вальс на выпускном. Мансарда — босиком, по крашеным доскам, под магний, под взглядами двадцати человек и одного в углу. Номер четырнадцатый — перед зеркалом, без зрителя. Баня — в сугробе, голая, под Фёклиным хохотом.

Тело всё это помнило. И теперь, на сцене, в пустом холодном зале, под Ольгины команды, под расстроенное пианино, на котором аккомпанировал старый тапёр из «Европы», — тот самый, румын, который играл «На сопках Маньчжурии» в новогоднюю ночь, — тело двигалось. Само. Как двигались руки у постели отца, ставя банки. Как будто кто-то другой двигал им.

Мама, подумала Лена однажды, стоя посреди сцены с японским платком в поднятых руках. Мама тоже — танцевала?

Она не знала. Ей никто никогда не говорил. Но тело, кажется, знало.

На двенадцатый день Ольга посмотрела её танец — от начала до конца, сидя в пустом зале, в первом ряду, в котиковой шубке, нога на ногу, с папиросой, — и, когда Лена кончила и стояла посреди сцены, тяжело дыша, с японским платком на плечах, Ольга долго молчала.

Потом затушила папиросу о подошву.

— Хорошо, — сказала она. — Готово. В субботу.

— Я не готова.

— Никто не бывает готов, — сказала Ольга. — Это — как первая ночь. Готова — не готова, а надо. — Она встала. — В субботу, мадемуазель. Четырнадцатого. Вечер в пользу Красной армии. Будут все. — Пауза. — Все, кто тебе нужен. И все, кому нужна ты.

Лебядкин, сидевший в последнем ряду с папкой и следивший за репетицией сквозь пенсне, вскочил и зааплодировал.

— Свобода! — кричал он. — Это — Свобода! Я же говорил! Ольга Константиновна, я же говорил!

— Тимофей Игнатьевич, — сказала Ольга, не оборачиваясь. — Сядьте. Это не Свобода. Это — шаль.

Лебядкин сел.

А Лена стояла посреди сцены, на носках, как учила Ольга, с японским платком на плечах, — и смотрела в пустой тёмный зал, на перевёрнутые стулья, на люстру без лампочек, на галёрку, на выход. Поверх голов, которых не было. Как будто они уже были.

14.2. Тайга

Михайлов отправил её на Тайгу шестого апреля, в субботу, с утренним поездом.

— Вы едете к тифозным, — сказал он накануне во флигеле, протягивая ей бумагу. — Направление клиник. Мыш подписал. — Он помолчал. — Мыш ничего не спрашивал. Мыш вообще ничего не спрашивает. Он, по-моему, всё понимает и не хочет знать. — Он протянул второй листок, маленький, сложенный в несколько раз, плотный. — А это — к поручику Лукашу. Чехословацкий эшелон, Шестой полк, третий батальон. Он вас найдёт сам. Вы — в косынке сестры, с сумкой, у санитарного вагона. Он подойдёт и спросит, нет ли у вас хины. Вы ответите: «Только для своих». — Пауза. — Письмо — не в сумку. Сумку могут открыть.

— Знаю, — сказала Лена. — В подол.

Михайлов посмотрел на неё поверх очков.

— Вы быстро учитесь, Елена Петровна.

— Это не я, — сказала Лена. — Это шуба.

Поезд на Тайгу шёл так же, как шёл год назад, в марте, когда она везла белые гиацинты для мамы, которой уже не было: медленно, тяжело, с остановками на каждом разъезде, — только теперь не три часа, а пять, и не в вагоне второго класса, а в теплушке, потому что вагонов второго класса больше не было, их забрали под Красную гвардию. В теплушке было тесно, душно, пахло махоркой, мокрыми валенками, кислой капустой и людьми. Мешочники — с мешками, с корзинами, с бидонами, — бабы в платках, солдаты-фронтовики в рваных шинелях, без погон, с вещмешками, какие-то старики, какие-то дети. Лена сидела в углу на своей медицинской сумке, в маминой лисьей шубе — несмотря на апрель, утра были холодные, а в подоле лежало письмо к поручику Лукашу, — в белой косынке сестры с красным крестом, которую ей дали в клиниках.

Медичку никто не трогал. Её даже уважали: бабы подвинулись, дали место, а одна, с ребёнком, спросила, не посмотрит ли сестрица — у мальца третий день жар. Лена посмотрела. Корь. Она дала бабе порошок аспирина из сумки и велела поить морсом и держать в темноте.

На разъезде Литвиново в теплушку влез человек с газетой.

Он был — по виду — телеграфист, в форменной тужурке, с кокардой, заклеенной сургучом, и он влез на ходу, запыхавшийся, с выпученными глазами, и, отдышавшись, закричал на весь вагон:

— Японцы! Японцы высадились! Во Владивостоке! Вчера! Десант! Морская пехота! И англичане с ними!

Вагон замолк. Потом заговорил — весь сразу, все вместе.

— Слава Тебе, Господи! — крикнула баба с больным ребёнком и перекрестилась. — Спасители! Пришли!

— Какие спасители, дура! — рявкнул солдат-фронтовик. — Интервенты! Японцы! Мы с ними в пятом году воевали — помнишь Цусиму? Мукден? Порт-Артур? Мы им тогда… а они теперь — к нам! В Сибирь! Землю забирать!

— Это они от большевиков! — сказал старик в бобровой шапке, сидевший на мешке с мукой. — Порядок наводить! Я в газете читал — японцы — нация порядка!

— Порядка! — засмеялся другой солдат, молодой, рябой. — Они тебе такой порядок наведут, дед, — до Байкала китайцами говорить будешь!

— А мне всё одно, — сказал мешочник с бидоном. — Хоть японцы, хоть немцы, хоть черти с рогами. Лишь бы мука была. И керосин.

— Японцы — это хорошо, — сказала вдруг дама в каракуле, сидевшая на чемодане у двери. Лена её не замечала до сих пор — та сидела, закрыв лицо вуалью, как сидят в трауре. Теперь она подняла вуаль. — Японцы — это очень хорошо. Японцы к Пасхе будут в Томске. Я точно знаю.

Это была Кошеварова.

Лена узнала её сразу — и та узнала её. Зинаида Павловна просияла сквозь вуаль, замахала муфтой, полезла к ней через мешки и корзины.

— Леночка! Деточка! Вы куда? Вы тоже — к сестре? Нет, у вас нет сестры… А, вы — сестрой! — Она увидела косынку с крестом. — Сестрой милосердия! Как это благородно! Как это… как это в духе вашей матушки! Она тоже… — Кошеварова запнулась. — Она тоже была — милосердная.

— Вы куда, Зинаида Павловна?

— В Мариинск, — сказала Кошеварова. — К сестре. Мужа сестры… — она понизила голос, — мужа сестры арестовали в феврале. Как буржуя. Он пароходчик. Был. Пароходы взяли. Его посадили. Сестра одна, с детьми. Я везу… — она похлопала по чемодану, — кое-что. Немного. Что осталось. После того… сына лейтенанта Шмидта. — Она вздохнула. — Ах, Леночка. Но японцы! Вы слышали? Японцы! Я всегда говорила — Япония нам поможет. Это культурная нация. Микадо — потомок богини солнца. У них — рыцари. Самураи. Они сделают харакири, но не отступят. Они освободят Сибирь — до Урала, до Волги, до Москвы! К Пасхе! — Она перекрестилась. — Пасха — пятого мая. Месяц. За месяц они дойдут до Томска. По железной дороге. Это же быстро — по железной дороге. Я сама ездила во Владивосток в девятьсот девятом — девять дней. Значит, японцы дойдут за девять дней. Ну, за две недели. С боями — за три. Как раз — к Пасхе.

Солдат-фронтовик, слушавший это, хмыкнул.

— Барыня, — сказал он. — Японцы во Владивостоке высадились не для того, чтобы ехать в Томск. А для того, чтобы во Владивостоке сидеть. Склады стеречь. Там склады — американские. Пушки, снаряды, сапоги. На миллионы. Вот их и стерегут. А Томск им — тьфу.

— Вы ничего не понимаете, — сказала Кошеварова с достоинством. — Вы — солдат. А я — читаю газеты.

Солдат посмотрел на неё, на её каракуль, на вуаль, на голые мочки ушей, из которых сын лейтенанта Шмидта изъял фамильные изумруды, — и ничего не сказал. Отвернулся к стене.

Лена смотрела на Кошеварову и думала: «Союзники идут». Месяц назад, в марте, Зинаида Павловна отдала серьги самозванцу, потому что верила — «на оборону от немцев». Теперь она верила, что японцы будут в Томске к Пасхе. Ей нужно было во что-то верить. Как отцу — в «передышку». Как Нехлюдову — во Льва Николаевича. Как Марье Павловне — в маму. Как ей, Лене, — во что? В Пепеляева? В подполье? В думу, которую разогнали дважды?

Она не знала.

Станция Тайга была та же — деревянная, низкая, — только снег сошёл, и вместо сугробов по окна стояла грязь по колено, и в грязи, в лужах, в талой воде, отражалось апрельское небо, бледное, высокое, с облаками. И перрон был не тот — не таёжный, не мужицкий, как в марте прошлого года, когда бабы несли красные флаги из юбок и совали безрукому варёные яйца. Перрон был — чешский.

Эшелоны стояли на всех путях. Лена насчитала шесть — и это только те, что были видны. Длинные составы теплушек — по сорок, по пятьдесят вагонов, — с классными вагонами для офицеров в голове, с платформами, на которых стояли под брезентом какие-то угловатые предметы, — пушки, догадалась Лена, — и с паровозами, которые пыхтели, разведя пары, и не трогались. Чехословацкий корпус шёл на восток, во Владивосток, — пятьдесят, шестьдесят тысяч человек, — по договору с Советской властью, на родину, кругом света, через Тихий океан, через Америку, во Францию, на Западный фронт, — воевать с Германией за свою Чехию. Шёл

третий месяц. И всё никак не мог дойти. Эшелоны стояли на станциях неделями: то паровоза нет, то угля нет, то Совет не пропускает, то пропускает, но требует сдать оружие, то оружие сдали, но не всё.

И чехи жили на станциях, как живут в деревне.

Лена шла вдоль эшелона и смотрела.

Теплушки были — не такие, как русские. Аккуратные. Чистые. На каждой — надпись мелом, по-чешски, крупно, с завитушками: названия, имена, лозунги. «Na shledanou, Rusko!» «Do Prahy!» «Třetí rota — nejlepší!» На дверях — занавески. Ситцевые, в цветочек, явно купленные на станциях у баб. В окошках под крышей — цветы. Настоящие, живые, — где они их взяли в апреле в Сибири? — в консервных банках, в жестянках из-под американской тушёнки: герань, фикус, какой-то лук, который пророс и пустил зелёные стрелки. Над одной теплушкой висел флажок — бело-красный, с синим треугольником у древка. Над другой — сокольский: белый, с красным соколом.

А люди…

Солдаты были в русских шинелях — серых, длинных, — но шинели сидели на них иначе. Подогнаны, ушиты, подшиты, вычищены. Сапоги — начищены, хотя кругом грязь. На фуражках, на рукавах — бело-красные ленточки. И сами солдаты — молодые, румяные, выбритые, весёлые. Они брились прямо на перроне, у вагонов, — поставив на ящик осколок зеркала, взбивая мыльную пену в котелке, — и пели при этом. Они играли в футбол — на путях, между эшелонами, мячом из тряпок, туго стянутых бечёвкой, — и кричали что-то по-чешски, и хохотали, и один, вратарь, бросался в грязь за мячом и вставал весь чёрный и тоже хохотал. Они торговали — у вагонов, на ящиках, разложив товар: американские консервы, сахар, табак, мыло, иголки, нитки, пуговицы, — и бабы с окрестных деревень стояли перед ними с корзинами яиц, с крынками молока, с курами под мышкой, и торговались, и чехи торговались в ответ, на чудовищной смеси чешского и русского, и все понимали друг друга.

Это была — Европа. Маленькая, походная, в теплушках. На станции Тайга, посреди сибирской грязи.

Лена остановилась у одного вагона. Там, у открытой двери, на ящике из-под снарядов, сидел толстый человек и продавал собаку.

Он был невероятно толст — для солдата, для пленного, для третьего года войны, — круглый, как бочонок, с круглым добродушным лицом, румяным, с маленькими голубыми глазками, с носом пуговкой, — в шинели, которая сходилась на нём с трудом, на одну пуговицу, и в фуражке, сдвинутой на затылок. Собака сидела у его ног на верёвочке — маленькая, кривоногая, рыжая, лохматая, с одним ухом, торчащим вверх, и другим, висящим вниз, — явная дворняга, деревенская шавка, каких в каждом сибирском селе десяток. Только по рыжей шерсти у неё были разбросаны белые пятна, ровные, круглые, — и, присмотревшись, Лена поняла, что пятна нарисованы. Мелом. Или известью.

— Кра́сная со́бака! — кричал толстый, обращаясь к проходящим. Он говорил по-русски, но со страшным акцентом, ставя ударения куда попало. — Сибирская! Поро́дистая! Сибирская пятнистая гончая! Последняя! В целом свете — последняя! Порода — вымерла! Осталась — одна! Вот! Пятна — натуральные! Нос — холодный! Хвост — бубликом! Дёшево! Отдам за фунт сахару! Или за два фунта табаку!

Вокруг собрались бабы и мужики, смотрели на собаку, смеялись.

— Это ж Жучка, — сказал мужик в зипуне. — Это ж кузнеца Прохорова Жучка, с Тайги. Она третьего дня пропала. Я её знаю — у неё ухо одно стоит.

Толстый посмотрел на мужика с бесконечной доброжелательностью.

— Дико извиняюсь, — сказал он. — Но вы ошибаетесь. Это не Жучка. Это — сибирская пятнистая гончая. Очень редкая. Я её купил у одного графа. В Омске. Граф был очень бедный, потому что у него отобрали имение, и он продал мне последнюю сибирскую пятнистую гон-

чую. И плакал. — Он помолчал, глядя в небо. — У нас в Будейовицах, знаете, тоже был один ветеринар, пан Кадержабек. Так он однажды продал одной пани кошку под видом ангорского кролика. Он её постриг. Кошку. А уши ей приклеил. Длинные. Столярным клеем. И пани три года думала, что у неё кролик, и кормила его морковкой, а он не ел, и пани водила его к пану Кадержабеку лечить, и пан Кадержабек лечил, и брал по две кроны за визит. А когда пани умерла, кролик вдруг замяукал. Над гробом. Все так испугались — думали, это душа пани. А это был — просто кот. Вот какие бывают ветеринары.

Мужики захохотали. Бабы тоже.

К толпе подошёл патруль — двое красногвардейцев, русских, в шинелях, с винтовками, с красными повязками. Тайгинский Совет держал на станции патрули — следить за чехами, чтобы те не вывозили лишнего оружия и не грабили местных. Старший — бородатый, сердитый — протолкался к толстому.

— Ты! — сказал он. — Это что? Спекуляция? Собаками торгуешь?

Толстый встал. Отдал честь. Не по-русски — по-австрийски, двумя пальцами к козырьку, ладонью вперёд. Лицо у него было безмятежное, счастливое, идиотское.

— Так точно, товарищ, — сказал он. — Осмелюсь доложить — торгую. Сибирской пятнистой гончей. Последней в мире.

— Ты чей? Какого полка? Какой части?

— Осмелюсь доложить, товарищ, — сказал толстый, — я — Швейк. Йозеф Швейк. Бравый солдат. Я был в австрийской армии. Потом я попал в плен к русским. Потом русские сказали, что я теперь не пленный, а чехословацкий легионер, и что я должен воевать с австрийцами за свободу Чехии. Потом я поехал воевать с австрийцами за свободу Чехии. Через Сибирь. Во Францию. — Он помолчал. — Потом большевики сказали, что они тоже за свободу и против австрийцев и что мы — братья. А потом сказали, чтобы мы сдали винтовки, потому что мы — контрреволюция. А потом наш поручик сказал, что большевики — немецкие шпионы, и что мы, может быть, будем воевать с большевиками, а не с австрийцами. — Он посмотрел на красногвардейца с бесконечной кротостью. — Так что я, товарищ, осмелюсь доложить, дико извиняюсь, — совершенно не понимаю, с кем я теперь воюю. И пока я это не понимаю, я продаю собаку. Чтобы не терять времени.

Красногвардеец смотрел на него. Долго. Открыв рот. Потом посмотрел на своего напарника. Напарник пожал плечами.

— Тьфу, — сказал красногвардеец. — Дурак. Тьфу. — И пошёл прочь, плюясь.

Толстый проводил его кроткими голубыми глазами, сел обратно на ящик, погладил собаку и сказал ей ласково, по-чешски, что-то длинное, в чём Лена разобрала только слово «Будейовице».

И Лена засмеялась.

Она смеялась впервые за неделю — с того дня, когда в театре они с Ольгой хохотали над флаконами и платками. Смеялась у вагона, в грязи, в косынке с красным крестом, с медицинской сумкой и с письмом к поручику Лукашу в подоле маминой шубы. Смеялась — потому что этот толстый человек, Швейк, сказал вслух то, что думала вся Сибирь, весь Томск, весь этот вагон с мешочниками и Кошеваровой, — и что никто не решался сказать: что никто не понимает, кто с кем воюет и за что. И что пока не понимаешь — можно продавать собаку.

Швейк заметил её смех. Повернулся. Посмотрел на неё — на косынку, на крест, на шубу — с той же бесконечной доброжелательностью.

— Сестрица, — сказал он. — Купите собаку. Для лазарета. Раненые будут гладить. Это — полезно. Для нервов. У нас в Будейовицах один доктор…

— Швейк, — сказал кто-то за её спиной. По-русски, с мягким акцентом. — Опять? Я тебе что говорил про собак? Ещё в Праге, после пинчера полковника Крауса?

Лена обернулась.

Перед ней стоял офицер.

Молодой — лет тридцати, — высокий, худощавый, в русской офицерской шинели без погон, перетянутой ремнём, в фуражке с бело-красной ленточкой, в начищенных сапогах — начищенных так, что в них отражалось небо. Лицо — узкое, бледное, интеллигентное, тщательно выбритое, с тонкими светлыми усиками, с серыми глазами за пенсне в стальной оправе. Европейское лицо. Лицо из кафе на Вацлавской площади, из университетской библиотеки, из концертного зала. Не сибирское, не русское, не мужицкое — и не такое, как у Гомаровского: у Гомаровского было лицо петербургского адвоката, циничное, усталое, — а у этого — молодое, серьёзное, внимательное.

— Осмелюсь доложить, пан поручик, — сказал Швейк, вставая и отдавая честь двумя пальцами, — вы говорили, что собак продавать нельзя, потому что это позорит чехословацкое войско перед русским населением. А я не продаю. Я — меняю. На сахар. Это — товарообмен. Это — совсем другое.

Поручик посмотрел на собаку. На мел на рыжей шерсти.

— Швейк, — сказал он устало, — верни собаку кузнецу Прохорову. Сейчас же. И вымой её.

— Слушаюсь, пан поручик, — сказал Швейк. И, подхватив собаку под мышку, пошёл вдоль эшелона, прихрамывая, — и, уходя, обернулся и подмигнул Лене.

Поручик повернулся к ней. Посмотрел на косынку. На крест. На медицинскую сумку.

— Сестра, — сказал он. — Простите этого… человека. Он у нас — особенный. Мы его держим для поднятия духа. — Он помолчал. — У вас случайно нет хины? У нас в эшелоне малярия. С Галиции ещё.

У Лены застучало сердце.

— Только для своих, — сказала она.

Поручик чуть наклонил голову. Глаза за пенсне не изменились — только что-то в них стало внимательнее.

— Тогда пройдёмте, сестра, — сказал он. — Посмотрите больных. Санитарный вагон — третий от паровоза. — Он чуть посторонился. — Поручик Лукаш. Индржих Лукаш. Шестой полк.

— Сестра Трофимова, — сказала Лена.

В санитарном вагоне действительно были больные — малярия, двое, лежали на нарах, жёлтые, с запёкшимися губами, — и Лена их действительно посмотрела, и дала хины из своей сумки, и велела поить. Потом, когда санитар-чех вышел курить, она отвернулась к стене, нагнулась — будто поправить чулок, — и вынула из-под подкладки маминой шубы, из подола, через маленький распоротый шов, письмо Михайлова. Тёплое, чуть смятое. Протянула Лукашу.

Он взял его. Не разворачивая, убрал во внутренний карман шинели. Потом достал оттуда же другое письмо — тоже сложенное в несколько раз, тоже маленькое, — и протянул ей.

— Ответ, — сказал он негромко. — Для пана Михайлова. — Пауза. — И на словах: мы ждём. Мы готовы. Когда — скажут из Новониколаевска. Скоро.

Лена спрятала письмо в подол.

Он смотрел, как она это делает. Не отворачивался. Лена почувствовала его взгляд — на своих руках, на подоле, на коленях, когда она нагнулась, — и почувствовала, как у неё горят щёки. Он смотрел — не так, как Пепеляев. Не как на товарища. Он смотрел — как мужчина. Вежливо, сдержанно, по-европейски, — но как мужчина.

Когда она выпрямилась, он взял её руку — правую, ту, что только что прятала письмо, — и поднёс к губам. И поцеловал. Не в тыльную сторону ладони — в запястье. Над краем перчатки. Туда, где бьётся пульс.

— Вы очень смелая, сестра Трофимова, — сказал он. — Русские женщины — все такие? Я читал у Толстого. У Тургенева. У Чехова. Я думал — это литература. А это — правда.

— Не все, — сказала Лена.

— Не все, — согласился Лукаш. И держал её руку. Секунду. Две. Дольше, чем нужно.

Потом отпустил.

— До свидания, сестра, — сказал он. — Я надеюсь — до свидания. В Томске. Когда всё кончится. — Он улыбнулся — впервые. Улыбка была хорошая, молодая, чуть застенчивая. — Я приглашу вас в ресторан. Если в Томске останутся рестораны.

— Останутся, — сказала Лена.

И вышла из вагона.

Обратно она ехала в той же теплушке — или в такой же, — с теми же мешочниками, с теми же бабами, с тем же запахом махорки и кислой капусты. Кошеваровой не было — та осталась в Мариинске, у сестры, ждать японцев к Пасхе. Лена сидела в углу на своей медицинской сумке, в маминой шубе, в косынке, и в подоле у неё лежал ответ поручика Лукаша.

На разъезде Литвиново в теплушку вошёл патруль. Красногвардейцы — трое, с винтовками, и с ними человек в кожанке. Обыск. Они шли по вагону, перетряхивали мешки, вспарывали корзины, заглядывали в бидоны, — искали оружие, спекулянтов, контрреволюционную литературу. У мешочника с бидоном нашли полпуда сахару — отобрали. У старика в бобровой шапке — пачку керенок, зашитых в шапку, — отобрали. У бабы с ребёнком — ничего, бабу не тронули.

Дошли до Лены.

Человек в кожанке посмотрел на неё. На косынку. На крест. На медицинскую сумку. Лена сидела неподвижно. Сердце стучало — сто двадцать, сто тридцать, она не считала. Подол шубы лежал у неё на коленях — тяжёлый, мамин, с письмом поручика Лукаша под подкладкой.

— Сестра? — сказал человек в кожанке.

— От клиник, — сказала Лена. — К тифозным. На Тайгу. — Она протянула направление с подписью Мыша.

Человек в кожанке прочёл. Посмотрел на неё ещё раз.

— Тиф на Тайге? — спросил он.

— Малярия, — сказала Лена. — В чешском эшелоне. И корь — у ребёнка. Вон, у той женщины. — Она кивнула на бабу. — Хотите посмотреть?

Человек в кожанке посмотрел на бабу с ребёнком. Ребёнок был красный, в сыпи, и кашлял. Человек в кожанке поморщился и отступил на шаг.

— Не надо, — сказал он. — Проезжайте, сестра.

И пошёл дальше.

Медичку не тронули. Михайлов был прав. Медичке все двери открыты.

Лена сидела в углу и смотрела в маленькое окошко теплушки, под крышей, на бегущую мимо тайгу — чёрную, мокрую, апрельскую, с остатками снега в низинах. И думала о поручике Лукашу. О том, как он поцеловал ей запястье. Над краем перчатки. Туда, где бьётся пульс.

Гомаровский тоже целовал её в запястье. В декабре. В номере четырнадцатом. Медленно, будто считал пульс губами.

А Пепеляев — подал руку через собачью цепь. И отпустил.

Она прижала запястье к губам. Там, где поцеловал чех. И почувствовала — запах. Не его. Свой. И ещё — слабый, едва уловимый — запах мыла и одеколона, чужого, европейского.

Тело откликнулось. Чуть-чуть. Как далёкий колокол.

Лена опустила руку. И стала думать о Пепеляеве.

14.3. Доктор Эсперанто

Ференц позвал её в среду, десятого, вечером.

Он позвал — как звал всегда, когда хотел чего-то, что не умел сказать по-русски: встал в дверях кухни, в гимнастёрке, с кепи в руках, покраснел до корней рыжих волос, — и протянул ей бумажку. Маленькую, серую, отпечатанную на гектографе, бледными лиловыми буквами.

Сверху — зелёная звезда. Нарисованная от руки, зелёным карандашом, пятиконечная, как красноармейская, только зелёная.

Под звездой было напечатано — на двух языках. Сверху по-русски: «Совет военнопленных депутатов. Кружок международного языка ЭСПЕРАНТО. Занятия — по средам, в 7 ч. вечера. Почтамтская, д. 65, 2-й этаж. Приглашаются все товарищи — интернационалисты, рабочие, учащиеся. Вход свободный». А снизу — на другом, непонятном, похожем на латынь, и на итальянский, и на что-то ещё сразу:

«Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu! Lernu la lingvon internacian — la lingvon de la mondrevolucio!»

— Эсперанто, — сказал Ференц. Он ткнул пальцем в зелёную звезду. — Язык. Для всех. — Он подумал, подбирая слова. — Мадьяр — говорить. Немец — говорить. Чех — говорить. Русский — говорить. Один язык. Все — понимать. — Он посмотрел на неё с надеждой. — Я — ходить. Каждый среда. Вы — тоже? Сегодня?

Лена посмотрела на бумажку. На зелёную звезду. На «мондреволюцио».

Она хотела отказаться — у неё была репетиция с Ольгой завтра утром, и подполье, и Михайлов ждал ответа от поручика Лукаша, который она отдала только вчера, — и вдруг подумала, что не была нигде, кроме клиник, театра и флигеля за собачьей будкой, уже месяц. И что Ференц три недели прикрывает её скрипкой по ночам, когда она печатает, — и ни разу ни о чём не спросил. И что он — один из них. Из тех, кто записывает в Красную армию, кто стоит патрулём у ревкома, кто разгонял думу. А она — не знает о них ничего.

— Пойдёмте, — сказала она.

Почтамтская, дом шестьдесят пять, был тот самый дом — каменный, двухэтажный, с лепниной, на углу, бывшая контора какого-то страхового общества, — где теперь помещался Совет военнопленных депутатов. Лена проходила мимо него сто раз и не замечала. А теперь заметила: над входом висел красный флаг, а под ним — ещё один, поменьше, белый, с зелёной звездой в углу.

На втором этаже, в бывшей конторской зале, с высокими окнами и облупившейся позолотой на потолке, сидело человек сорок.

Лена остановилась на пороге — и не сразу поняла, где она.

Это были пленные. Мадьяры — в серо-голубых шинелях, как у Ференца, в кепи с наушниками. Немцы — в серых, с высокими воротниками, — их было меньше, они сидели отдельной кучкой у окна, прямые, аккуратные, с тетрадками. Австрийцы. Чехи — двое, в русских шинелях, с бело-красными ленточками, — но не из эшелона, а местные, давние, из тех, кто попал в плен в пятнадцатом и остался работать в Томске. Поляки — трое, с усами, мрачные. Какой-то хорват или серб — с чёрной бородой до глаз. И — Лена увидела не сразу — несколько русских: двое рабочих в косоворотках, гимназист лет пятнадцати, с горящими глазами, и молодая женщина в красной косынке, учительница, наверное, или телефонистка.

Все сидели за конторскими столами, расставленными рядами, как в классе. Перед каждым — тетрадка, карандаш. На стене, где раньше, видимо, висел портрет государя — там осталось светлое прямоугольное пятно на обоях, — теперь висели два портрета. Один — Маркса. Другой — незнакомого человека: пожилого, лысоватого, с бородкой, в пенсне, с добрым, усталым, близоруким лицом.

— Заменгоф, — сказал Ференц ей на ухо, кивнув на второй портрет. — Доктор. Он — придумать.

Под портретами, у доски, стоял учитель.

Он был — тоже пленный, это было видно по шинели, — австриец, наверное, или немец, сухой, седой, лет пятидесяти, в очках, с лицом гимназического учителя латыни. Он стоял у доски с мелом в руке и писал. Красивым, учительским, каллиграфическим почерком:

«Mi estas soldato».

И говорил — медленно, раздельно, на странной смеси немецкого, русского и чего-то третьего:

— Ми эс-тас сол-да-то. Я — есть — солдат. Ми — я. Эстас — есть. Сольдато — солдат. — Он обвёл слова мелом. — Сольдат-о. На «о» — все существительные. Всегда. Без исключений. Нет — родов, нет — склонений, нет — исключений. — Он постучал мелом по доске. — Это — гениально. Это — логика. Это — свобода от грамматики.

Немцы у окна старательно записали. Мадьяры записали. Гимназист записал и поднял руку.

— А «я — есть — солдатка»?

Учитель подумал.

— Ми эстас сольдатино, — сказал он. — Женский род — суффикс «ин». Сольдат-ин-о. Патро — отец, патрино — мать. Фрато — брат, фратино — сестра. — Он написал на доске. — Просто. Логично. Без исключений.

— Ми эстас сольдатино, — повторила женщина в красной косынке, и все засмеялись.

Лена сидела рядом с Ференцем, за конторским столом, на котором кто-то вырезал перочинным ножом «Гриша + Маруся» и сердце со стрелой, — и смотрела на доску.

И понимала.

Она понимала почти всё. Сразу. Без перевода. Потому что «патро» — это был pater. Латинский отец. Тот самый, из латыни, которую она учила восемь лет в гимназии и четыре года в университете. «Фрато» — frater. «Сольдато» — soldat, французское. «Эстас» — est, esse, быть. «Ми» — mihi, me, moi. Это был не новый язык. Это была латынь — расчёсанная, причёсанная, выпрямленная, с которой сняли все падежи, все склонения, все спряжения, все исключения, — латынь, из которой вынули кости. И французский — поверх латыни. И немного немецкого — Лена услышала «ŝtrumpo», чулок, Strumpf, — и немного польского, и немного русского.

Язык, который придумал доктор. Глазной врач из Варшавы — она вспомнила, что читала о нём где-то, в «Ниве», что ли, в детстве: Лазарь Заменгоф, окулист, еврей из Белостока, который вырос в городе, где говорили на четырёх языках — по-русски, по-польски, по-немецки и на идише, — и где все друг друга ненавидели, потому что не понимали. И он решил: если все будут говорить на одном языке — перестанут ненавидеть. И придумал язык. И подписал свою первую книжку псевдонимом: «Доктор Эсперанто». Доктор Надеющийся.

Доктор — надеющийся.

Лена вдруг подумала: а она — какой доктор? Ещё не доктор. Почти. Студентка четвёртого курса — скоро. Доктор — кто?

Учитель писал на доске дальше. Он учил их фразам — по старому учебнику, который лежал перед ним на кафедре, растрёпанный, засаленный, с немецким заглавием на обложке. Простым фразам. Тем, с которых начинают:

«La patro havas bastonon». — У отца есть палка.

«La hundo estas en la ĝardeno». — Собака — в саду.

«Ĉu vi havas panon?» — У вас есть хлеб?

«Ne, mi ne havas panon». — Нет, у меня нет хлеба.

Мадьяры повторяли хором. Немцы — тоже, отдельно, чётче. Поляки — мрачно. Ференц повторял шёпотом, шевеля рыжими усами, — «Не, ми не хавас панон», — и Лена видела, как он старается, и как у него не получается «ĉ», и как он краснеет от этого.

«Ĉu vi havas panon?» — «Ne, mi ne havas panon».

Есть ли у вас хлеб? Нет, у меня нет хлеба.

Лена подумала, что это — единственная фраза из учебника, которая в Томске в апреле восемнадцатого года имела смысл. На всех языках сразу.

А потом пришёл комиссар.

Он вошёл в середине урока, без стука, — молодой, в кожанке, в фуражке со звездой — красной, — с портфелем. Учитель-австриец увидел его, положил мел и вытянулся у доски, как вытягивался, наверное, перед своим полковником в пятнадцатом году. Пленные встали — все, немцы первыми. Лена тоже встала — не зная зачем.

— Садитесь, товарищи, — сказал комиссар. Он говорил по-русски, громко, отчётливо, как говорят с иностранцами и глухими. — Продолжайте. Я — на минутку. Из губкома. От агитационного отдела. — Он прошёл к доске, встал рядом с учителем, повернулся к классу. — Товарищи интернационалисты! Я пришёл сказать вам — от имени губкома партии — горячий революционный привет!

Пленные зааплодировали. Немцы — сдержанно.

— Вы изучаете эсперанто, — сказал комиссар. — Это правильно. Это очень правильно. Это — язык будущего. Язык мировой революции! — Он поднял руку. — Вы знаете, товарищи, что сказал Маркс? Маркс сказал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А как соединяться — если пролетарий из Будапешта не понимает пролетария из Томска? Если немецкий рабочий не понимает русского крестьянина? Если чех не понимает китайца? — Он обвёл класс взглядом. — Буржуазия разделила нас языками! Как разделила границами, армиями, царями, попами! Она нарочно держала нас в темноте — каждого в своём языке, как в своей клетке, — чтобы мы не могли сговориться! Чтобы немецкий рабочий стрелял в русского, а русский — в немецкого, и не мог ему сказать: брат, за что?

Он сделал паузу. Класс молчал.

— А теперь, — сказал комиссар, понизив голос, — теперь у нас будет один язык. Эсперанто. И когда мировая революция победит — а она победит, товарищи, скоро, уже скоро, в Германии уже бастуют, в Австрии уже голод, в Венгрии уже… — он посмотрел на мадьяр, — в Венгрии уже зреет! — когда она победит — весь мир будет говорить на одном языке. На языке пролетариата! Эсперанто — это язык мировой революции!

Он повернулся к доске. Посмотрел на то, что там было написано учительским почерком. «La patro havas bastonon». «La hundo estas en la ĝardeno». «Ĉu vi havas panon?» «Ne, mi ne havas panon».

Комиссар смотрел на эти фразы довольно долго. Лена видела, как он их читает — шевеля губами, не понимая ни слова. Потом он повернулся к учителю-австрийцу:

— Что тут написано, товарищ?

Учитель вытянулся.

— «У отца есть палка», — перевёл он, показывая мелом. — «Собака — в саду». «У вас есть хлеб?» «Нет, у меня нет хлеба».

Комиссар помолчал.

— Так, — сказал он. — Так. — Он ещё раз посмотрел на доску. — «У отца — палка». Это — правильно. Это — про старый мир. Отец — это патриархат. Палка — это угнетение. Буржуазная семья держится на палке. — Он кивнул, будто сам себя убедил. — «Собака — в саду». Это… — он подумал, — это про буржуазию. Собака — это цепной пёс капитала. Охраняет сад помещика. От крестьян. — Он просиял. — А «у вас есть хлеб? — нет, у меня нет хлеба» — это прямо про нас! Про продовольственный кризис! Который устроили саботажники и спекулянты! Это — революционный учебник, товарищи! Правильный!

Учитель-австриец смотрел на комиссара поверх очков. Лицо его было неподвижно. Только уголок рта чуть дрогнул.

Немцы у окна переглянулись.

А Лена сидела за конторским столом с вырезанным сердцем и стрелой, и чувствовала, как к горлу подступает смех — тот самый, неудержимый, как в марте над сыном лейтенанта Шмидта, — и сдерживала его изо всех сил, прикусив губу так, что стало больно. «У отца — палка». Патриархат. Цепной пёс капитала — в саду. Учебник — немецкий, довоенный, изда-

ния тысяча девятьсот десятого года, Лена видела дату на обложке, — составленный каким-нибудь гимназическим учителем из Лейпцига, который хотел только одного — чтобы ученики выучили слово «палка» и слово «собака», — этот учебник оказался революционным. Потому что комиссар так решил.

Как с «Государством и революцией». Как с декретами. Как с «передышкой». Слова значили то, что решали те, у кого маузер. «La patro havas bastonon» значило «долой патриархат», потому что так было нужно губкому. Завтра губкому будет нужно другое — и «собака в саду» будет значить «Антанта», или «эсеры», или «Учредительное собрание».

— Хорошо, товарищи, — сказал комиссар. — Продолжайте. Изучайте. Готовьтесь! Когда пролетариат Европы поднимется — вы, товарищи интернационалисты, будете переводчиками мировой революции! — Он поднял кулак. — Да здравствует мировая революция! Да здравствует эсперанто!

— Виву! — крикнул кто-то из мадьяр. По-эсперантски.

— Виву! — подхватили остальные.

— Виву ла мондревольуцио! — крикнул гимназист с горящими глазами.

Комиссар не понял, но остался доволен. Пожал руку учителю. Вышел.

Учитель-австриец постоял у доски. Потом взял мел. И, не говоря ни слова, стёр «La patro havas bastonon». И написал — медленно, каллиграфически, своим учительским почерком:

«Patro nia, kiu estas en la ĉielo».

И, повернувшись к классу, сказал тихо, по-немецки — Лена поняла, немецкий она знала:

— Das ist auch aus dem Lehrbuch. — Это — тоже из учебника.

Немцы у окна опустили глаза. Один перекрестился — по-католически, слева направо. Мадьяры не поняли. Ференц не понял. Гимназист не понял.

Лена поняла.

«Отче наш, иже еси на небесех».

На том же языке. Из того же учебника. Где «у отца есть палка», и «собака в саду», и «у вас есть хлеб? — нет, у меня нет хлеба». И где «мировая революция» — тоже, наверное, есть. Где-нибудь в конце. В разделе «Новые слова».

Доктор Эсперанто — Доктор Надеющийся — придумал язык, на котором можно было сказать всё. И «Отче наш». И «Пролетарии всех стран». И «у меня нет хлеба». Язык был ни в чём не виноват. Язык был — как тело. Как её тело на сцене. Он значил то, что в него вкладывали те, кто смотрел.

После урока Ференц провожал её домой.

Шли по Почтамтской, по мокрым мосткам, в апрельских сумерках. Пахло талой землёй, навозом и рекой. Где-то за Ушайкой лаяли собаки. Ференц шёл рядом, чуть позади, как ходят солдаты за офицером, — и молчал. А потом вдруг сказал — тихо, старательно, на эсперанто, — Лена не сразу поняла, что это не мадьярский:

— Mi ne havas patron. Mi ne havas patrinon. Mi havas violonon.

У меня нет отца. У меня нет матери. У меня есть скрипка.

Лена остановилась. Посмотрела на него.

Ференц покраснел — в сумерках этого почти не было видно, но Лена знала, что он покраснел, — и опустил глаза.

— Это — правильно? — спросил он по-русски. — Я — правильно сказать?

— Правильно, — сказала Лена. — Совершенно правильно.

И подумала: вот единственная фраза, которую он выучил не по учебнику. Её не было в учебнике. Её не было у комиссара. Её не было в мировой революции. Он сам её сложил — из «патро», из «патрино», из «хавас», из «ми не» — из тех кирпичиков, которые дал ему Доктор Надеющийся. И она была — правда.

— Mi havas patron, — сказала Лена. Медленно, подбирая слова. Латынь помогала. — Sed li ne estas hejme.

У меня есть отец. Но его нет дома.

Ференц понял. Она видела — понял. Он посмотрел на неё долго, бледными голубыми глазами, в сумерках, на мокрых мостках Почтамтской. Потом кивнул. Коротко. Как кивают своему.

— Ne estas hejme, — повторил он. — Да. Я знать.

И они пошли дальше. Молча. Два человека, которые только что сказали друг другу на чужом языке, придуманном варшавским окулистом, больше, чем за три недели на русском.

Дома Лена поднялась в мезонин и долго сидела у окна. Внизу Ференц настраивал скрипку. Потом заиграл — не печальное, не чардаш, не «Ах вы, сени», — что-то новое, чего Лена у него ещё не слышала. Медленное. Торжественное. Как гимн.

Потом она узнала: это был гимн эсперантистов. «La Espero». Надежда. Его пели на всех конгрессах, во всех странах, на одном языке. Ференц выучил мелодию на кружке.

Он играл его в доме члена ревкома, в Томске, в апреле восемнадцатого года, на старой скрипке с трещиной на деке, — а наверху, в мезонине, за медведями, лежал зашифрованный список офицеров для восстания против его власти, и письмо поручика Лукаша, и японский платок с цаплями, и мамино золото.

И мама на фотографии у лампы улыбалась — уголком рта, левым глазом мимо.

14.4. Первый выход

Четырнадцатого апреля, в субботу, в Первом советском театре миниатюр губнаробраза — бывшем «Интимном» — был благотворительный вечер в пользу Красной армии.

Афиша висела на стене управы, рядом с рапортом Очумелова о жалованье за несуществующие дни, со списком «граждан женского пола от 17 до 32 лет» и с декретом «Социалистическое отечество в опасности!», уже выцветшим и обтрёпанным по краям. Афиша была новая, свежая, отпечатанная в губкомовской типографии на жёлтой обёрточной бумаге, и на ней было много шрифтов — Лебядкин настоял, футуристически: крупно, мелко, наискосок, вверх ногами, — так что прочесть её было почти невозможно. Лена прочла.

«ВЕЧЕР ОТДЫХА ТРУДЯЩИХСЯ! в пользу РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ! В программе: РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕСНИ — ДЕКЛАМАЦИЯ — ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ (читает автор, т. Тим Лебядь) — РОМАНСЫ (исп. т. О. Ростовцева) — ТАНЕЦ С ШАЛЬЮ (исп. т. Е. Т.) — ТАНГО — ВАЛЬС — БАЛ ДО УТРА! В буфете — ЧАЙ, ПИРОЖКИ, ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ. Цена билета — 3 руб. Красноармейцам, интернационалистам и членам профсоюзов — бесплатно».

«Т. Е. Т.» — это была она. Ольга настояла на инициалах. «Пусть гадают. Гадать — это половина удовольствия».

«Прохладительные напитки» — Лена узнала потом — были шампанским. Французским. Реквизированным в ноябре из погребов «Европы» — того самого ресторана, где Гомаровский заказывал стерлядь и где румын играл «На сопках Маньчжурии». Шампанское лежало полгода в подвале губисполкома, под охраной, «до особого распоряжения», и вот — особое распоряжение пришло. Комиссар финансов подписал. В пользу Красной армии. По пять рублей за бокал.

Зал был полон к восьми.

Лена смотрела на него из-за кулис — через дырку в занавесе, ту самую, зашитую грубыми стежками посередине, — и не узнавала «Интимный театр». В сентябре здесь сидели юнкера в парадных мундирах, офицеры с жёнами, купцы, адвокаты, дамы в шелках, Передонов с морским биноклем на галёрке. Теперь — шинели. Кожанки. Гимнастёрки. Косоворотки. Красные банты, красные звёзды, красные повязки. Красные командиры — с портупеями, с маузерами на боку, с шашками, которые они не снимали и ставили между колен, — сидели в первых рядах, развалясь, нога на ногу. Комиссары — в кожанках, в пенсне, с папками. Латыши

— отдельно, тесной кучкой, молчаливые, светлоглазые. Мадьяры — у стены, в серо-голубых шинелях. Китайцы — двое, в стёганых куртках, в самом конце. И женщины — подруги командиров, жёны комиссаров, телефонистки, машинистки губкома, — в реквизированных шубах, Лена узнавала шубы: вот каракулевая, в какой ходила вдова золотопромышленника, вот котиковая с горностаем — точь-в-точь как у неё, которую сняли на площади Революции, может быть, та самая.

Пахло махоркой, сапожной ваксой, мокрым сукном, потом — и, поверх всего, дорогими духами, неизвестно откуда: «Коти», «Герлен», «Убиган», — тоже, видимо, реквизированными.

Она увидела Ференца. В третьем ряду, у прохода, — рыжие усы, кепи на коленях, чистая гимнастёрка. Он сидел прямо, как на смотру, и смотрел на занавес.

Сердце у неё стучало. Сто двадцать, сто тридцать. Она не считала — она знала, не считая.

Вечер шёл, как шли все такие вечера.

Сначала — оркестр. Пять человек, с румыном. «Интернационал». Зал встал. Потом — хор железнодорожников, «Смело, товарищи, в ногу». Потом — декламатор, лохматый, в косоворотке, читал Демьяна Бедного, и командиры в первом ряду хохотали и хлопали себя по коленям. Потом — «Яблочко», два красноармейца плясали, — и зал ревел.

Потом вышел Лебядкин.

Он вышел в своей кожанке поверх жёлтой кофты, с пенсне, с листком в руке, — встал у рампы, расставив ноги, откинул голову, — и стал читать. Манифест. Футуристический. Свой. «Пощёчину общественному вкусу» — по-советски.

— Товарищи! — кричал он. — Сбросим Пушкина с парохода современности! Сбросим Толстого! Сбросим Чехова! Сбросим всю эту буржуазную тухлятину! Мы — новые! Мы — железные! Мы — машины! Искусство будущего — это искусство масс! Это — гудок завода! Это — грохот поезда! Это — ритм пулемёта! Тра-та-та-та!

Он изобразил пулемёт — руками, ртом, всем телом.

Зал молчал. Потом кто-то в задних рядах свистнул. Потом — второй. Потом — засвистели все. Командиры в первом ряду, мадьяры у стены, латыши, китайцы.

— Долой! — крикнул кто-то.

— «Яблочко» давай!

— Пушкина не трожь, сам ты тухлятина!

Лебядкин стоял у рампы, бледный, с листком в руке, и пытался перекричать свист. Не мог. Тогда он гордо поклонился — низко, футуристически, — и ушёл за кулисы, мимо Лены, и сказал ей, проходя, сквозь зубы:

— Не созрели. Массы ещё не созрели. Им нужно время. Год. Два. Пять. — И, сняв пенсне: — Пушкина им! Пушкина! Революция — а им Пушкина!

Потом вышла Ольга.

И зал затих — как затихал всегда, когда она выходила. Тёмно-красное «пролетарское» платье с высоким воротом, красная лента в волосах. «Отцвели уж давно хризантемы в саду». «Очи чёрные». «Не уходи, побудь со мною». Голос — грудной, тёплый, с хрипотцой. Командиры в первом ряду перестали развалясь сидеть, сели прямо. Один, с усами, вытирал глаза кулаком. Женщины в реквизированных шубах завидовали — Лена видела по лицам. Потом — «Марсельеза». По-французски. Зал взревел. Кидали на сцену шапки.

Ольга кланялась — низко, небрежно, умело. Ушла за кулисы. Остановилась рядом с Леной. Положила ей руку на плечо — холодную, сухую.

— Твой выход, — сказала она. — Не смотри в глаза. Смотри на выход. И — не торопись. Пусть ждут.

Лена вышла.

Первые три секунды — Лена потом помнила их, как помнят падение во сне, — первые три секунды были паника.

Она вышла из-за кулисы — и увидела зал. Не через дырку в занавесе — весь сразу. Тёмный, огромный, дышащий. Двести, триста лиц — она не знала, сколько, — белые пятна в темноте, поднятые к ней. Глаза. Сотни глаз. Керосиновые софиты слепили её снизу, с рампы, — жаркие, вонючие, — и от их света зал казался ещё темнее, и лица — ещё белее, и глаза — ещё ближе.

И ноги не слушались.

Она стояла посреди сцены — босиком, в чёрном бархатном платье из мансарды, том самом, с голыми плечами, с длинной юбкой, — Ольга перешила его, убрала шлейф, сделала разрез сбоку до колена, — с распущенными волосами, с японским платком на плечах, — и не могла сделать ни шагу. Румын за пианино уже начал — медленное, восточное, с переливами, что-то из «Шехеразады», — а она стояла. Секунду. Вторую. Третью. Ей казалось, что прошёл час. Ей казалось, что зал сейчас засвистит, как свистел Лебядкину, и закричит «Яблочко давай!», и она убежит за кулисы, и всё.

А потом — тело вспомнило.

Она не решила. Тело решило само. Как руки у постели отца. Как ноги, которые привели её тридцать первого января к подъезду «Европы». Тело вспомнило мансарду — сентябрь, крашеные доски под босыми ногами, магний, двадцать человек, «а я бы — да», — и вспомнило номер четырнадцатый — пустое зеркало, без зрителя, — и вспомнило сугроб в огороде, Фёклин хохот, — и вспомнило Ольгины команды: на носок, всегда на носок; голову — медленно, медленнее, чем хочется; руки — от плеча, как в воде; не смотреть в глаза — смотреть на выход.

И тело пошло.

Шаг. На носок. Ещё шаг. Руки поднялись — медленно, от плеча, — и японский платок поднялся вместе с ними, и развернулся, и цапли полетели — лиловые на слоновой кости, косым клином, — над её головой, над сценой, в свете керосиновых софитов. Шёлк струился. Переливался. Был почти прозрачный — сквозь него, в свете рампы, было видно её руки, её плечи, её лицо. Она повернулась — медленно — и платок обвил её, как вода. Повернулась обратно — и платок развернулся, и опять полетели цапли.

И зал замолчал.

Она почувствовала это — не увидела, почувствовала, кожей, как чувствуют сквозняк, — как зал перестал дышать. Двести, триста человек — красные командиры, комиссары, мадьяры, латыши, женщины в реквизированных шубах — перестали шептаться, кашлять, скрипеть стульями, грызть семечки. Замерли. И смотрели.

На неё.

Это было — Лена потом пыталась это назвать, и не могла. Это было не так, как в мансарде. В мансарде она играла для одного — для того, в углу, на ящике, с сигарой, — и все остальные были декорацией. Это было не так, как с Гомаровским. С Гомаровским она владела — им одним, — и он владел ею, и это было — борьба, торговля, «кто сильнее?». Это было не так, как в номере четырнадцатом, перед пустым зеркалом, — там не смотрел никто, и тело было пустой свечой в пустой комнате.

А здесь — смотрели все. И никто не владел.

Её тело принадлежало им — всем, двумстам, тремстам, каждому, — каждый в зале видел его, её голые плечи, её шею, её руки, её босые ноги в разрезе юбки, её бёдра под бархатом, когда она поворачивалась, — и каждый думал, что видит больше, чем показывают, как сказала Ольга. И никто не мог взять. Никто. Ни командир с усами в первом ряду, который сидел с открытым ртом. Ни комиссар в пенсне, который перестал писать в своей папке. Ни латыш, ни мадьяр, ни китаец. Ни Ференц в третьем ряду, у прохода, с рыжими усами, — он сидел прямо, не двигаясь, и смотрел на неё так, как смотрят на икону.

Все смотрели — и никто не брал.

Это была власть. Не такая, как с Гомаровским — «кто сильнее?» — а другая. Больше. Тише. Страшнее. Власть над залом. Над зверем — большим, тёплым, глупым, — как сказала Ольга. Его не надо было любить. Не надо было бояться. Его надо было кормить. По чуть-чуть. Кусочек — и спрятать.

Она кормила.

Поворот — и платок соскальзывает с плеча, открывая его, голое, белое, в свете софитов, — и зал выдыхает. Поворот обратно — и платок возвращается на плечо, и зал вдыхает. Руки вверх — и разрез юбки открывает колено, — и кто-то в первом ряду крякает. Руки вниз — и колено исчезает. Голова назад — медленно, медленнее, чем хочется — и волосы падают на спину, и открывается шея, длинная, белая, — и тишина в зале становится такой, что Лена слышит, как трещит фитиль в софите.

Кусочек — и спрятала. Кусочек — и спрятала.

Она не смотрела в глаза. Ни разу. Она смотрела — как учила Ольга — поверх голов, на галёрку, на выход, на красную лампочку над дверью с надписью «ВЫХОДЪ», которую тоже никто не переделал. И каждому в зале казалось — она знала это, она чувствовала это кожей, — что она смотрит на него.

Танец кончился.

Румын взял последний аккорд, и Лена замерла посреди сцены — с поднятыми руками, с японским платком, натянутым над головой, как парус, — и стояла так, не дыша, секунду, две, три. Как учила Ольга. «Пусть ждут».

Зал ждал.

Потом — взорвался.

Она никогда не слышала такого. Ни на митингах, ни на съездах, ни в Общественном собрании, когда Ольга пела «Марсельезу». Зал ревел, топал, свистел — не так, как Лебядкину, а по-другому, — хлопал, кричал «браво!», «бис!», «ещё!», кидал на сцену шапки, папахи, кепи, фуражки, — и командир с усами в первом ряду встал и кричал что-то, размахивая руками, и комиссар в пенсне хлопал, зажав папку под мышкой, и латыши хлопали — молча, но хлопали, — и мадьяры у стены кричали «Ельен! Ельен!» — по-венгерски, «да здравствует», — и Ференц в третьем ряду стоял и хлопал, и лицо у него было красное, мокрое, и он не вытирал его.

Лена поклонилась. Низко. Небрежно. Как Ольга.

И ушла за кулисы.

Там, в темноте, за занавесом, она прислонилась к стене — к холодной, кирпичной, оштукатуренной стене, пахнущей пылью и мышами, — и стояла, и не могла отдышаться. Сердце — сто сорок, сто пятьдесят. Колени — дрожали. Руки — дрожали. Платок свисал с плеча, и она не поправляла его. Пот — по спине, под бархатом, по шее, под волосами. И — внутри, внизу, в животе — то самое, тёплое, тяжёлое, как прилив. Как в номере четырнадцатом, в кресле, от запаха плюша. Как от флакона «L'Heure Bleue». Только сильнее. Гораздо сильнее.

Тело было — счастливо.

Оно получило то, что хотело. Не его — не Гомаровского. Другое. То, чего хотело с марта, с маминого зеркала, с первой ночи клада, когда она увидела в зеркале женщину, на которую стоило смотреть. Оно получило — взгляды. Двести, триста. Все сразу. И никто не взял.

Ольга подошла к ней в темноте. Остановилась рядом. Достала папиросу, закурила. Протянула Лене. Лена взяла — она никогда не курила — и затянулась, и закашлялась, и Ольга засмеялась.

— Ну? — сказала Ольга.

Лена не ответила. Она не могла говорить.

— Знаю, — сказала Ольга. — Знаю, мадемуазель. — Она забрала папиросу. — Первый раз — как первая ночь. Только лучше. Потому что никто не уходит утром, оставив деньги на комоде. — Пауза. — Все уходят — а ты остаёшься. Целая.

Лена посмотрела на неё. Ольга курила, глядя в темноту за кулисами.

«Деньги на комоде». Она знала. Откуда? Гомаровский рассказал? Или — просто знала, потому что с ней было так же?

— Теперь — ужин, — сказала Ольга. — В артистической. Командиры. Не убегай. — Она затушила папиросу о стену. — Тебе ведь не только аплодисменты нужны, мадемуазель. Тебе нужно — слушать.

Ужин был в артистической — не в той, крошечной, с одним зеркалом, а в другой, большой, бывшей «директорской», с диваном, с камином, с портретом какой-то балерины в пачке на стене. Камин топили — дровами из разобранного забора соседнего дома. Стол — сдвинутые ломберные столики, накрытые театральным занавесом вместо скатерти. На столе — то, чего Лена не видела с декабря, с номера четырнадцатого: икра. Чёрная, паюсная, в жестяной банке. Балык. Сёмга. Белый хлеб. Сливочное масло. Шампанское — то самое, из погребов «Европы». И водка — много водки, в графинах, в бутылках, в жестяных кружках.

Всё реквизированное.

За столом сидели — Ольга, Лена, Лебядкин (он уже забыл про свист и пил шампанское, рассуждая о «пролетарском театре будущего»), двое молоденьких телефонисток в реквизированных шубках. И командиры. Пятеро. Тот, с усами, из первого ряда — командир какого-то батальона Красной гвардии, бывший прапорщик, весёлый, пьяный уже к началу ужина. Комиссар в пенсне — из губкома, молчаливый, следивший за всеми. Латыш — огромный, белобрысый, неподвижный, пил водку стаканами, не пьянея. И двое — Лена сразу поняла, кто они, по серо-голубым шинелям, — мадьяры. Командиры интернационального отряда. Один — пожилой, седой, с орденской ленточкой австрийской медали, которую он не снял. Другой — молодой, чернявый, красивый, с тонкими усиками, говоривший по-русски почти без акцента.

Лена сидела между Ольгой и чернявым мадьяром. Молчала. Ела икру. Пила шампанское — по глотку, по чуть-чуть, как учила Ольга: «Пей мало, а делай вид, что много. Пьяная женщина за столом — это не женщина, а скандал». Слушала.

Мужчины говорили. Сначала — о ней. О танце. «Огонь!», «Шехеразада!», «Как в Будапеште, в опере!» — это чернявый мадьяр, — «Я в Будапеште видел Павлову — так вы лучше!» Командир с усами пытался взять её за руку под столом — она отняла, улыбнувшись, как учила Ольга: «Отнимай — но улыбайся. Пусть думает, что в следующий раз не отнимешь». Комиссар в пенсне смотрел на неё через стол, не отрываясь, и ничего не говорил.

Потом — когда водки стало больше, чем шампанского, — заговорили о другом.

О немцах. О Бресте. О том, что «германский пролетариат вот-вот». О чехах. О том, что на Тайге стоят шесть эшелонов, и в Мариинске четыре, и в Новониколаевске — «чёрт знает сколько», и что чехи «обнаглели», и что «надо бы их разоружить, а Москва не велит». О японцах во Владивостоке. О том, что «если что» — Совет продержится, потому что винтовок — на десять тысяч, а патронов — на месяц боёв.

— Где? — сказала Ольга. Лениво, будто между прочим, наливая чернявому мадьяру водки. — Где же у вас столько винтовок, Иштван? Я думала, вы всё на фронт отправили.

Чернявый мадьяр — Иштван — засмеялся.

— На фронт! — сказал он. — Какой фронт, Ольга Константиновна? Фронта нет. Мир. Брест. — Он выпил. — Винтовки — здесь. В бывших казармах. Тридцать девятого полка. На Иркутском. Склад номер три. Десять тысяч. Японские — «арисаки». И патроны — двести ящиков. Мы стережём. Интернационалисты. — Он ударил себя в грудь. — Надёжно!

— А если чехи придут? — спросила Ольга, всё так же лениво, глядя не на него, а на огонь в камине.

— Чехи! — Иштван махнул рукой. — Чехи — придут, мы — уйдём. На пароходах. По Томи — вниз, в Обь, по Оби — вниз, на север, в Нарым, или вверх — в Барнаул. Пароходы —

уже готовы. «Ермак» и «Сибиряк». Стоят у пристани. С углём. — Он подмигнул. — Совет — на пароходах. Мы — на пароходах. Винтовки — на пароходах. Чехам — пустой город.

Комиссар в пенсне сказал что-то по-мадьярски — коротко, резко. Иштван осёкся. Посмотрел на комиссара. Потом — на Ольгу. Потом — на Лену. Лена ела икру и смотрела на огонь в камине, как Ольга.

— Шучу, — сказал Иштван. — Шучу, товарищи. Какие пароходы? Мы — никуда. Мы — до последней капли крови.

И налил себе водки.

Лена запомнила. Каждое слово. Как запоминала латинские названия костей перед экзаменом: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum. Казармы Тридцать девятого полка. Иркутский тракт. Склад номер три. Десять тысяч винтовок. «Арисаки». Двести ящиков патронов. Пароходы «Ермак» и «Сибиряк». У пристани. С углём. Вниз по Томи, в Обь, на север, в Нарым, — или вверх, в Барнаул.

Она запомнила. И ни разу не подняла глаз от икры.

Ужин кончился в третьем часу. Командир с усами заснул на диване, под портретом балерины. Латыш ушёл первым — прямой, трезвый, будто не выпил ни капли. Комиссар в пенсне ушёл вторым — и, уходя, остановился в дверях и посмотрел на Лену. Долго. Сквозь пенсне. Лена улыбнулась ему — как учила Ольга. Он не улыбнулся в ответ. Ушёл.

Иштван хотел её проводить. Ольга не дала.

— Мадемуазель живёт со мной, — сказала Ольга. — Мы — в одну сторону. — И, подхватив Лену под руку, увела её на улицу.

На улице, на Магистратской, было темно, сыро, тихо. Пахло рекой. Где-то далеко, за Ушайкой, лаяли собаки.

Ольга шла молча, держа Лену под руку. На углу Почтамтской остановилась.

— Ты всё запомнила? — спросила она. Тихо.

Лена посмотрела на неё.

— Склад номер три, — сказала Ольга. — «Ермак» и «Сибиряк». — Пауза. — Передай Михайлову. Я — не могу. Меня — знают. За мной — смотрят. Комиссар в пенсне — видела? Он из ЧК. — Она помолчала. — А тебя пока не знают. Ты — «т. Е. Т.». Шаль с цаплями. Дочь члена ревкома. Тебя — не тронут. Пока.

— Ты — с нами? — спросила Лена. — С подпольем?

Ольга засмеялась. Коротко. Без веселья.

— Я — ни с кем, мадемуазель, — сказала она. — Я — с собой. Я играю за жалованье при любой власти. Сейчас — эта. Потом — та. — Она посмотрела на Лену. — Но та, следующая, — мне больше нравится. У неё — лучше шампанское. — Пауза. — И она не закрывает театры.

Она отпустила Ленину руку и пошла — одна, в котиковой шубке с горностаем, по тёмной Почтамтской, к «Европе», где у неё был номер. Не четырнадцатый. Другой.

Лена шла домой — одна, через спящий город, — и повторяла про себя, как молитву, как латинские кости: склад номер три, «арисаки», двести ящиков, «Ермак», «Сибиряк», вниз по Томи.

Дома, в мезонине, она зажгла лампу, достала лист бумаги и написала — шифром «Потанин», мелко, ровно, — донесение Михайлову. Каждое слово. Потом сожгла черновик на свече.

Внизу заиграла скрипка. Ференц не спал. Он ждал её — как Фёкла ждала когда-то барыню, до утра, у окна. И теперь, когда она вернулась, играл. Тихо. «La Espero». Надежда.

Лена сидела над донесением при лампе и слушала скрипку. И думала о том, что Ференц сидел в третьем ряду и смотрел на неё, как на икону. И что Иштван, его командир, сказал про склад номер три и про пароходы. И что она — запомнила. И передаст. И если весной, в мае, — когда скажут из Новониколаевска, как сказал поручик Лукаш, — что-нибудь случится, то

склад номер три окажется не там, где думает Иштван. И пароходы «Ермак» и «Сибиряк» — не уйдут.

И Ференц — тоже.

Тело и голова — подумала она — сегодня впервые работали вместе. Тело танцевало. Голова слушала. Пока они смотрели на неё — она слушала их.

Это было — то, чего не было никогда. Ни в мансарде. Ни в номере четырнадцатом. Ни у мамы — нет, у мамы, может быть, было. Может быть, именно это мама и делала. Ночами. Носила бумаги в подоле. «Барыня тоже».

Она посмотрела на фотографию у лампы. Мама улыбалась — насмешливо, уголком рта.

— Ты тоже, — сказала Лена вслух. — Ты тоже так. Да?

Скрипка внизу смолкла.

14.5. Арест

Марью Павловну взяли в ночь на девятнадцатое.

Лена узнала на рассвете. Её разбудил стук — не в окно мезонина, камешком, как стучала Марья Павловна, а в дверь, внизу, кулаком, частый, отчаянный, — и голос, женский, хриплый, срывающийся: «Барышня! Барышня Трофимова! Откройте, Христа ради!» Фёкла открыла раньше, чем Лена успела спуститься. В сенях стояла хозяйка квартиры с Монастырской — та самая, у которой Марья Павловна снимала комнату с марта прошлого года, — пожилая вдова чиновника, маленькая, в платке, накинутом прямо на ночную кофту, в валенках на босу ногу, с белым, трясущимся лицом.

— Увели, — сказала она. — Марью Павловну. Ночью. В два часа. Пришли — пятеро. С винтовками. Один — в кожанке. Обыск. Всё перевернули. Книги, бумаги, всё в мешок. А её — увели. — Она заплакала. — Она даже не оделась толком. Шубу только накинула. Свою, енотовую. И треух. И пошла. Прямая. Как всегда. Сказала мне: «Не плачьте, Анна Ивановна. Я привыкла». — Хозяйка закрыла лицо руками. — Привыкла! Господи! Привыкла!

Лена стояла на лестнице, в маминой шубе поверх рубашки, босая, и держалась за перила.

— Кто? — спросила она. — Кто увёл? Красная гвардия? Милиция?

— Чрезвычайка, — сказала хозяйка сквозь слёзы. — Тот, в кожанке, сказал: «Чрезвычайная комиссия». Мандат показал. Я неграмотная почти — я не прочла. Но он сказал — «Чрезвычайная».

ЧК. Её создали в Томске весной — Лена знала это от Михайлова, — по образцу петроградской, по декрету Совнаркома, с правом обыска, ареста и — так говорил декрет «Социалистическое отечество в опасности» — расстрела на месте. Она помещалась где-то на Почтамтской, в бывшем доме какого-то купца, — Лена не знала точно где. Никто не знал точно. Это было — как с отцовскими «списками, которые имеют свойство пригождаться». Все знали, что они есть. Никто не знал, где.

— Что нашли? — спросила Лена.

— Бумаги, — сказала хозяйка. — Листки какие-то. Под матрасом. И в книгах. Тот, в кожанке, читал вслух — я слышала из-за двери: «Долой похабный мир», «Вся власть Учредительному собранию»… — Она всхлипнула. — И ещё — список какой-то. С фамилиями. Он его в карман положил и сказал: «Ну, вот и хорошо. Вот и пригодится».

Список.

У Лены похолодели руки.

Какой список? Не её — не офицеров, не сорок шесть фамилий по ключу «Потанин»: тот лежал в нише, за медведями, в мезонине. Другой. Эсеровский. Губкомовский. С кем Марья Павловна работала, кому носила листовки, у кого собирали деньги на подполье. Может быть — с Михайловым. С Марковым. С Линдбергом. Может быть — с ней.

Нет. Марья Павловна не стала бы вносить её в список. Марья Павловна знала.

Или — не знала? Или — внесла, потому что так было положено, потому что партийная дисциплина, потому что «ты дочь Катерины Михайловны, пора»?

Лена не знала.

— Спасибо, Анна Ивановна, — сказала она. — Идите домой. Никому не говорите, что были здесь.

Хозяйка посмотрела на неё. На маминую шубу. На босые ноги. На лицо.

— Вы — тоже? — спросила она шёпотом. — Вы — с ней?

Лена не ответила.

Хозяйка перекрестилась. Посмотрела на Фёклу. Фёкла перекрестилась тоже. И хозяйка ушла — маленькая, в платке на ночной кофте, в валенках на босу ногу, — в серый апрельский рассвет, по грязи, по лужам.

Лена пошла к отцу в тот же день, в одиннадцать утра.

Губернаторский дом был — как всегда теперь. У входа — часовые, двое, с винтовками, в шинелях. На крыльце — красный флаг, обвисший от сырости. В вестибюле — толпа: просители, курьеры, красногвардейцы, бабы с узелками, мужики с бумагами, какие-то старики в бобрах, которые стояли у стены и ждали, ждали, неизвестно чего. Пахло махоркой, мокрыми валенками, сургучом, чернилами. На лестнице — красная ковровая дорожка, губернаторская, протёртая до дыр, затоптанная грязью.

Лену пропустили сразу. Часовой у дверей узнал её — дочь товарища Трофимова, — козырнул и показал рукой: второй этаж, направо, третья дверь.

Отец сидел за столом в бывшем кабинете кого-то из губернских чиновников — маленьком, тесном, с окном во двор, с портретом на стене, с которого сняли царя и не повесили никого. На столе — бумаги. Горы бумаг. Папки, пачки, листы, телеграммы, протоколы, декреты, — они лежали на столе, на подоконнике, на стуле, на полу. Отец сидел среди них, в шинели поверх сюртука — в кабинете не топили, — сгорбленный, серый, худой, в очках, с карандашом в руке, — и писал. Он поднял голову, когда Лена вошла, — и лицо у него стало сначала удивлённое, потом радостное, потом — когда он увидел её лицо — тревожное.

— Леночка, — сказал он. — Что случилось?

— Марью Павловну арестовали, — сказала Лена. — Сегодня ночью. ЧК.

Отец положил карандаш.

Он долго молчал. Смотрел на неё поверх очков. Потом — на бумаги на столе. Потом — снова на неё.

— Я знаю, — сказал он.

Лена замерла.

— Ты — знаешь?

— Мне сказали утром. — Отец снял очки, потёр переносицу. — Сводка. Из ЧК. Каждое утро — сводка. Кто арестован, за что. Я читаю. Я — член ревкома. — Он помолчал. — Щетинина Мария Павловна. Пятьдесят один год. Эсерка, правая. Бывшая политкаторжанка. Обнаружены: контрреволюционные воззвания против Брестского мира и Советской власти — сорок семь экземпляров. Список лиц, связанных с подпольной организацией правых эсеров, — двадцать три фамилии. — Он посмотрел на неё. — Тебя там нет, Лена. Я проверил.

Он проверил.

Он прочёл сводку — каждое утро, — и прочёл фамилию Марьи Павловны, и прочёл про двадцать три фамилии, — и первое, что сделал, — проверил, нет ли там её. Дочери.

Лена не знала, что чувствовать. Облегчение? Да. Благодарность? Да. И — что-то ещё. Холодное. Страшное. Он проверил. Значит — он знал, что она могла там быть. Значит — он знал про неё. Про листки Гиппиус. Про подпольное заседание думы. Про то, что она ходит по ночам. Знал — и молчал. И проверял каждое утро по сводке ЧК: нет ли там её фамилии.

— Освободи её, — сказала Лена.

Отец молчал.

— Ты — член ревкома. Ты можешь. Скажи Беленцу. Скажи им. Она — старуха. Она двадцать лет просидела в царских тюрьмах. Она была с мамой на каторге. Она маму похоронила. Она — святая, ты сам говорил. Освободи её.

— Лена, — сказал отец. Тихо. — ЧК не подчиняется ревкому.

— Что?

— ЧК — не подчиняется ревкому, — повторил он. Тем голосом. Сухим, ровным. Голосом, которым читал телеграмму про «караул устал». — Это — отдельная власть. По декрету. Чрезвычайная комиссия подчиняется Всероссийской ЧК. Дзержинскому. В Москве. Не нам. Не губисполкому. Не Совету. — Он помолчал. — Мы не можем им приказать. Мы можем — просить.

— Тогда попроси.

Отец посмотрел на неё.

— Она — эсерка, Лена, — сказал он. — Правая эсерка. У неё нашли воззвания. Против Брестского мира. Против Советской власти. «Долой похабный мир». «Вся власть Учредительному собранию». Это — контрреволюционная агитация. В военное время. Когда немцы — под Псковом. Когда японцы — во Владивостоке. Когда чехи — на Тайге. — Голос его дрогнул — первый раз. — Ты понимаешь, что это значит? По декрету?

— «Расстреливается на месте»? — сказала Лена.

Отец молчал.

Он молчал долго. Лена смотрела на него — на его серое, худое, небритое лицо, на запавшие глаза без очков, на руки, лежащие на бумагах, в жёлтых пятнах от реактивов, которых он не касался уже полгода, — и ждала. Ждала, что он скажет «нет». Что он скажет «я не позволю». Что он скажет «я пойду к Беленцу, к Дзержинскому, к Ленину». Что он встанет — как вставал всегда, когда говорил что-нибудь важное, — и скажет.

Он не встал.

— Я попрошу, — сказал он наконец. Тихо. Глядя в стол. — Я попрошу, Лена. Я обещаю.

— Когда?

— Сегодня. Завтра. Когда будет заседание. — Он поднял на неё глаза. — Я попрошу. Я напишу записку. Что она — старый революционер. Что она — заслуженная каторжанка. Что она — не опасна. Что она… — Он запнулся. — Что она знала Катю.

— Она похоронила Катю, — сказала Лена. — Маму. Своими руками. В мерзлоте. За тюремной стеной. Костёр жгла всю ночь.

Отец закрыл глаза.

— Я знаю, — сказал он. — Я знаю, Леночка.

Лена стояла перед его столом — как стояла перед креслом Гомаровского тридцать первого декабря, как стояла перед его кушеткой в феврале, когда он сказал «ты ничего не знаешь о маме», — стояла и смотрела на него сверху. Он сидел. Она стояла. Он был маленький среди своих бумаг, сгорбленный, серый, в шинели поверх сюртука. И она не знала — попросит он или нет.

Она не знала. И это незнание было хуже всего.

— Папа, — сказала она. — А если бы — меня?

Отец открыл глаза.

— Если бы в списке была я, — сказала Лена. — Если бы меня взяли ночью. С листками Гиппиус. С протоколом думы. Ты бы — попросил?

Отец смотрел на неё. Долго. Очень долго. И Лена видела в его глазах то же, что видела в марте, когда спросила про декрет о социализации женщин — «а вы бы смогли?». Работу. Взвешивание. Аптекарские весы. Сколько можно, а сколько — уже яд.

Тридцать секунд. Она не считала. Она знала, что тридцать.

— Да, — сказал отец. — Да, Лена. Тебя — да.

«Тебя — да». А её — Марью Павловну — «попрошу».

Лена повернулась и вышла.

Она не помнила, как спустилась по лестнице, по губернаторской ковровой дорожке, протёртой до дыр, — мимо часовых, мимо просителей, мимо стариков в бобрах у стены, — на крыльцо, под обвисший красный флаг. Она стояла на крыльце и не могла дышать. Как в бане, когда Фёкла вылила на неё ушат ледяной воды. Только наоборот: тогда — горячее и холодное, а сейчас — только холодное. Сразу. Насквозь.

«Тебя — да».

Он выбрал. За тридцать секунд. Её — да. А Марью Павловну — «попрошу». Значит — нет. Значит — может быть. Значит — как решит ЧК, которая ему не подчиняется.

Михайлов перевёл её на «холодное» положение в тот же вечер.

— Неделю — ничего, — сказал он во флигеле, при одной свече, сухо, деловито, не глядя на неё. — Никаких поручений. Никаких бумаг. Никаких походов сюда. Ниша — только для хранения, ничего не вынимать, ничего не класть. Театр — можно, театр — даже нужно, это прикрытие. Но — больше ничего. — Он помолчал. — Если Марья Павловна заговорит — вас возьмут первой.

— Она не заговорит, — сказала Лена.

Михайлов посмотрел на неё поверх очков.

— Елена Петровна, — сказал он. — Я сидел в одиночке. Ещё при царе. Меня допрашивал жандармский ротмистр. Каждую ночь. Я не заговорил. Но я знаю людей, которые заговорили. Хороших людей. Сильных. Святых, если хотите. — Он помолчал. — В ЧК допрашивают не так, как жандармы. Жандармы — соблюдали правила. Хоть какие-то. Эти — нет. У этих — нет правил. У этих — «на месте».

— Она не заговорит, — повторила Лена.

Михайлов смотрел на неё долго. Потом кивнул.

— Может быть, — сказал он. — Может быть, вы правы. — И, сложив бумаги: — Но — неделю. Ничего.

Алмазов, сидевший у печки, нога на ногу, в своём щегольском пиджаке, молчал весь разговор. А когда Лена уходила, сказал ей вслед — негромко, бархатным своим голосом:

— Мадемуазель. В вашем доме живёт красногвардеец. Мадьяр. Из интернационального отряда. — Пауза. — Он вас не выдаст?

Лена остановилась в дверях. Обернулась.

— Нет, — сказала она.

— Откуда вы знаете?

Лена подумала о Ференце. О скрипке, которая смолкала на полуноте, когда она кончала печатать. О «La Espero». О «Mi ne havas patron. Mi ne havas patrinon. Mi havas violonon».

— Знаю, — сказала она.

Алмазов улыбнулся — красиво и холодно, как из партера.

— Вы рискуете, мадемуазель, — сказал он. — Это хорошо. Кто не рискует — тот не играет. — И, помолчав: — Но помните: на сцене можно ошибиться в реплике. Здесь — нельзя.

14.6. Тюрьма

Тиф в губернской тюрьме начался в марте — сыпной, вшивый, — и к апрелю тюремный лазарет был полон, и тюремный врач, старик, служивший при тюрьме ещё с девяностых, слёг сам, и тюремное начальство — новое, советское, но с теми же надзирателями, что и при царе, — попросило клиники прислать студентов-старшекурсников. Мыш отобрал троих. Двоих мужчин — и Лену.

Он подписал ей направление двадцать третьего, в понедельник, утром, в ординаторской, — молча, не поднимая глаз, — и, протягивая бумагу, сказал только:

— Вши, коллега. Вошь — переносчик. Косынку — туго. Рукава — завязать. Керосином — волосы. — Пауза. — И — ни к кому не прикасайтесь без нужды.

Он посмотрел на неё поверх пенсне. Лена поняла: он знал. Может быть — не всё. Может быть — только то, что Марья Павловна сидит в этой тюрьме. Но знал.

— Спасибо, Владимир Михайлович.

— Не за что, — сказал Мыш. — Это — тиф.

Томская губернская тюрьма стояла на окраине, — Лена знала её с детства, видела издали, проезжая мимо на извозчике с отцом: белые стены, высокие, с вышками по углам, с чёрными окнами за решётками, с воротами, над которыми когда-то был двуглавый орёл, а теперь — пустое место и красный флаг на палке. Белая тюрьма. Её так и звали в городе — «белая». Её построили давно, говорили — ещё при Николае Павловиче, — и с тех пор через неё прошли все: декабристы, поляки, народники, народовольцы, эсеры, эсдеки, — все, кого везли по Московскому тракту на восток, в Нерчинск, в Акатуй, на Кару, на Сахалин. Пересыльная. Здесь отдыхали этапы. Неделю, две, месяц. Потом — дальше.

Здесь, в восемьдесят девятом году, отдыхал этап, с которым шла мама. Двадцатишестилетняя, по делу, о котором Лена ничего не знала, — Марья Павловна говорила только «по политическому», — с венчиком Симонсона, с кафтанской тетрадью, с Новым Заветом англичанина. Здесь мама встретила Марью Павловну. Здесь, может быть, — Лена не знала, — мама впервые увидела Симонсона. Или нет — Симонсон умер в Кафтане. Лена путалась. Она ничего не знала про маму наверняка. Только то, что рассказывали.

А теперь здесь сидела Марья Павловна. В третий раз.

Ворота открыл надзиратель — старый, усатый, в царской ещё шинели, с которой спороли погоны и пришили красную звёздочку на рукав, — посмотрел направление, посмотрел на Лену, на её косынку с красным крестом, на медицинскую сумку, на рукава, завязанные у запястий тесёмками, — и пропустил. Двое студентов шли следом — Шульц, сын разорившегося аптекаря, бледный, испуганный, в очках, — и ещё один, с пятого курса, которого Лена не знала, рыжий, весёлый, с папиросой.

Внутри было — как в аду.

Лена потом не могла это описать — ни в тетради наблюдений, ни себе самой. Коридоры — длинные, низкие, каменные, сводчатые, с облупленной побелкой, с пятнами сырости на стенах. Двери — железные, с глазками, с откидными окошками для пищи. Запах — карболка, хлорка, параша, немытые тела, гниль, — такой густой, что его можно было, казалось, резать ножом. И — вши. Лена видела их на стенах. На полу. На косяках дверей. На шинели надзирателя, который вёл их по коридору. Серые, мелкие, живые. Она чувствовала, как у неё под косынкой, под завязанными рукавами, под чулками начинает чесаться кожа — хотя вшей там ещё не было, — просто от вида.

Тюремный лазарет был — три камеры в конце коридора, на первом этаже. Нары в два яруса. Солома. На соломе — люди. Мужчины — в одних камерах, женщины — в другой. Они лежали в жару, в бреду, в сыпи — розовой, мелкой, звёздчатой, на животе, на груди, на боках, — тифозной. Они стонали, бормотали, кричали, звали кого-то — матерей, жён, Бога. Один, на верхних нарах, пел — тонко, жалобно, на одной ноте — «Вы жертвою пали». Другой — молился. Третий — молчал, и Лена, подойдя, увидела, что он уже не дышит.

Они работали до вечера. Мерили температуру — сорок, сорок и два, сорок и четыре. Обтирали уксусом. Давали пить — кипячёную воду из ведра, черпая кружкой. Давали порошки — аспирин, хину, что было. Записывали — фамилию, возраст, день болезни, температуру. Выносили мёртвых — с надзирателями, на носилках, в покойницкую во дворе. Шульц упал в обморок в два часа, его откачали нашатырём, и он работал дальше, белый, с трясущимися руками. Рыжий с пятого курса курил в коридоре и ругался — тихо, сквозь зубы, — на тиф, на вшей, на тюрьму, на Советскую власть, на всё.

А Лена — искала.

Марьи Павловны не было в лазарете. Лена поняла это в первый же час, пройдя по всем трём камерам, по всем нарам. Значит — она не больна. Значит — она в общей.

— Женские общие — где? — спросила Лена у надзирателя, того, усатого, в царской шинели.

— На втором, — сказал надзиратель. — А вам зачем, сестрица?

— Осмотр, — сказала Лена. — Нужно проверить общие камеры. На вшивость. На сыпь. Чтобы выявить заболевших в начальной стадии. Пока не поздно. Иначе — эпидемия. На всю тюрьму. И на надзирателей. — Она помолчала. — И на вас.

Надзиратель посмотрел на неё. На свою шинель — на которой ползала серая вошь. Поморщился. Стряхнул.

— Пойдёмте, сестрица, — сказал он.

Женская общая камера на втором этаже была — большая, сводчатая, с двумя окнами под потолком, за решётками, через которые было видно небо — серое, апрельское. Нары — вдоль стен, в два яруса. На нарах — женщины. Тридцать? Сорок? Уголовные — проститутки, воровки, детоубийца, самогонщицы, — громкие, грубые, в рваных кофтах, с синяками. «Буржуйки» — две жены купцов, арестованные за то, что прятали мужниных золото и мужей, — в хороших когда-то платьях, теперь грязных, с испуганными, обезумевшими лицами. Какая-то монашка. Какая-то девочка лет шестнадцати, плачущая в углу.

И на нижних нарах, у окна, на соломе, в енотовой шубе, накинутой на плечи, в мужском треухе, — сидела прямо, как палка, Марья Павловна.

Она увидела Лену сразу. Лена видела, как она увидела. Её светлые, ясные глаза — на тёмном, сухом, обветренном лице — чуть расширились. И тут же стали спокойными. Совершенно спокойными. Как будто Лена была — не Лена, а просто сестра милосердия из клиник, пришедшая на осмотр.

— Осмотр на вшивость, — сказала Лена громко, на всю камеру. — Женщины, по одной — ко мне. Раздеваемся до пояса. Головы — показываем.

Уголовные загоготали. Одна, рыжая, с выбитым зубом, крикнула: «А ты сама-то, сестрица, не вшивая?» — и стала раздеваться, напоказ, вызывающе, — и надзиратель у двери отвернулся.

Лена осматривала. Одну за другой. Головы — в гнидах, в вшах, у всех, почти у всех. Тела — в расчёсах, в укусах. У двоих — розовая сыпь на животе, начинающаяся. Она записывала фамилии — для лазарета. Купчиха плакала, раздеваясь, — ей было стыдно перед уголовными. Девочка в углу не хотела раздеваться совсем — Лена осмотрела её в одежде, через ворот. Монашка раздевалась молча, крестясь.

Марья Павловна подошла последней.

Она подошла — прямая, медленная, в енотовой шубе, — и встала перед Леной. И сняла треух. И Лена увидела её голову — стриженую, седую, с короткими жёсткими волосами, — и в волосах — вшей. Немного. Но были.

— Голову, — сказала Лена. Голос у неё был ровный. Почти.

Марья Павловна наклонила голову.

Лена стала осматривать — раздвигая волосы пальцами, медленно, как положено, прядь за прядью, — и наклонилась к ней близко, так близко, что почувствовала запах — махорка, карболка, и что-то ещё, тюремное, казённое, неистребимое, тот самый запах, который она почувствовала в марте прошлого года на станции Тайга, когда Марья Павловна наклонилась к её уху и сказала про чайку и железный ящик.

— Я здесь в третий раз, Лена, — сказала Марья Павловна. Тихо. В пол. Не поднимая головы. — В восемьдесят девятом — с ней. На пересылке. Две недели. Она тогда была — молодая. Двадцать шесть. Злая, как волчица. Никому не верила. Мне — тоже. — Пауза. — В

девятьсот седьмом — после Иркутска. Перед Мальцевской. Месяц. Тогда — вешали. Во дворе. Мы слышали из окна. — Пауза. — И теперь. При вас.

— При папе, — сказала Лена. Пальцы её в седых волосах замерли.

— При них, — сказала Марья Павловна.

Лена продолжала осматривать. Прядь за прядью. Медленно. Надзиратель у двери смотрел в окно — на небо. Уголовные галдели. Купчиха плакала.

— Меня допрашивали, — сказала Марья Павловна. Так же тихо. — Трижды. Ночью. Тот, в кожанке. И ещё один — в пенсне. Молодой. Вежливый. Хуже, чем тот, в кожанке. — Пауза. — Спрашивали про тебя.

Пальцы Лены дрогнули.

— Про «дочь Трофимова». Знаю ли я её. Бывает ли она у меня. Ходит ли она на собрания. — Марья Павловна помолчала. — Я сказала, что видела барышню два раза. На станции Тайга, в прошлом году, когда передавала ей письмо от матери. И на похоронах прапорщика, в декабре. На Вознесенском. Больше — не видела. Не знаю. Не помню. Старая. — Пауза. — Они не поверили. Но записали.

— Марья Павловна…

— Тише, — сказала Марья Павловна. — Слушай. — Она чуть повернула голову — будто для того, чтобы Лене было удобнее смотреть за ухом. — Передай Михайлову. Список — тот, что взяли у меня, — старый. Мартовский. Половина там — уже уехали. Остальных — предупреди. Фамилии он знает. Пусть уходят. Сейчас. Неделю — и будет поздно.

— Хорошо.

— И ещё, — сказала Марья Павловна. И голос у неё стал другим. Чуть-чуть. — Не проси отца.

Лена замерла.

— Я знаю, что ты ходила, — сказала Марья Павловна. — Мне сказали. Тот, в пенсне. Он сказал: «Ваша барышня приходила к отцу. Просила за вас. Трогательно». — Она помолчала. — Не проси больше, Лена. Он не может. Или не хочет. — Пауза. — Сейчас это — одно и то же.

— Он обещал.

— Знаю, — сказала Марья Павловна. — Он всегда обещает. Он — честный. — Она подняла голову. Посмотрела на Лену — прямо, светлыми, ясными, страшными глазами. — Я ему не судья, Лена. Я его понимаю. Он — верит. А кто верит — тот не может просить за врагов веры. Даже за старых друзей. Даже за тех, кто похоронил его жену. — Пауза. — Особенно за них.

Лена смотрела на неё и не могла говорить.

— Ты в неё, — сказала Марья Павловна. Тише. Почти шёпотом. — Ты в неё, Лена. Не во всём — но в главном. — Она смотрела Лене в лицо, на левый глаз, который чуть косил. — Она тоже никогда не уходила, когда надо было уйти. Её тоже выводили под руки — а она не хотела. — Пауза. — Как тебя в январе. Из квартиры кооператора. Мне рассказали.

Лена молчала. Глаза у неё жгло.

— Не плачь, — сказала Марья Павловна. — Уголовные увидят — подумают, что я тебе что-то сказала. Ты — сестра. Ты — на осмотре.

Лена не заплакала. Она выпрямилась. Сказала громко, на всю камеру:

— Вшивость — средней степени. Сыпи нет. Здорова.

И записала в тетрадь: «Щетинина М. П., 51 г. Вшивость. Сыпи нет».

Марья Павловна надела треух. Постояла. Потом — Лена не ожидала этого, совсем не ожидала, — Марья Павловна подняла руку. Тёмную, узловатую, в старых шрамах, с обломанными ногтями. И перекрестила её. Быстро, мелко, едва заметно — так, чтобы не видели уголовные и надзиратель. Не по-церковному — по-каторжному, как крестили, наверное, на Маль-

цевской тех, кого уводили на этап, или в карцер, или на расстрел. Лоб. Грудь. Правое плечо. Левое.

Марья Павловна не верила в Бога. Никогда. Она была эсерка, народница, атеистка, Перовская, Лавров, «Исторические письма». Она сказала однажды, в марте, у Фёклы на кухне, за пирогами: «Бога нет, Леночка. Есть только мы. И то, что мы сделаем».

А теперь — перекрестила.

— Иди, — сказала она. — Иди, Лена. Не оглядывайся.

И пошла обратно — к своим нарам, у окна, — прямая, медленная, в енотовой шубе, с чужого плеча.

Лена вышла из камеры. Надзиратель запер за ней дверь — железную, с глазком, — и ключ проскрежетал в замке. Лена стояла в коридоре, у этой двери, и не могла двинуться.

Она не знала, что это — последний раз. Она думала — она ещё придёт. Завтра. Послезавтра. Мыш даст направление. Тиф — надолго. Она будет приходить — на осмотр, на вшивость, — и каждый раз видеть Марью Павловну, и каждый раз Марья Павловна будет говорить ей что-нибудь шёпотом, в пол, пока Лена перебирает её седые волосы.

Она не знала.

Когда они выходили — она, Шульц, рыжий с пятого курса, — через тюремный двор, к воротам, уже в сумерках, — Лена увидела у стены, у входа в контору, человека.

Он стоял в шинели — милицейской, но без банта, — и курил. Усы. Красное лицо. Шашка на боку. Рядом с ним — второй, покорный, пожилой, с фонарём, хотя было ещё светло.

Очумелов. И Елдырин.

Очумелов увидел её. Узнал. Поднёс руку к фуражке — потом отдёрнул. Потом — всё-таки поднёс.

— Барышня Трофимова, — сказал он. — Какими судьбами? Здесь, в тюрьме? Сестрой? Ах, как благородно. Как в духе вашей матушки. — Он улыбнулся. — Она, бывало, тоже… по тюрьмам. Знаете ли.

— А вы, Елисей Петрович? — сказала Лена. — Вы здесь — как?

Очумелов приосанился.

— Я, барышня, теперь — при Чрезвычайной комиссии, — сказал он с достоинством. — Консультантом. По старым делам. — Он понизил голос. — Я ведь, знаете, при старом режиме — все дела знал. Всех жандармов. Все архивы. Кто кого, когда, за что. — Он постучал пальцем по виску. — Вот здесь — всё. Тридцать лет службы. А новой власти — нужны кадры. Знающие. Опытные. — Он вздохнул. — Вот меня и пригласили. Консультировать. По старым делам. И — по новым.

Лена смотрела на него.

Очумелов при ЧК. Консультантом. По старым делам. Он знал все архивы. Все дела. «Кто кого, когда, за что». Он знал, может быть, и мамино дело — восемьдесят девятого года. И девятьсот пятого. И все остальные, о которых Лена ничего не знала.

И он — консультировал. По новым делам тоже. По Марье Павловне. По двадцати трём фамилиям из списка. По «дочери Трофимова».

— Счастливо, барышня, — сказал Очумелов. — Папеньке — поклон. — И, помолчав, с какой-то странной, почти отеческой нежностью: — Вы бы, барышня, поосторожнее. По тюрьмам-то. Тиф. Мало ли что.

Он отвернулся и пошёл в контору. Елдырин — за ним, с фонарём.

Лена смотрела им вслед. «Поосторожнее». «Мало ли что».

Это было — предупреждение? Угроза? Или — просто так, из лакейской вежливости, которую Очумелов носил при всех властях, как носил бант и креп?

Она не знала.

Дома она сожгла в печке косынку и вымыла голову керосином, как велел Мыш. Потом — горячей водой, щёлоком, три раза. Потом — стояла у печки, в одной рубашке, с мокрыми волосами, и чесалась. Везде. Хотя вшей не было. Фёкла осмотрела её — голову, тело, швы рубашки — и не нашла ни одной.

— Чистая, — сказала Фёкла. — Чистая, барышня. — И, помолчав: — А Марья Павловна — как?

— Жива, — сказала Лена.

Фёкла перекрестилась.

— Барыня тоже, — сказала она. — Сказывала про белую. Говорила: вошь там — как в аду. И ещё говорила: кто в белой не сидел, тот людей не знает. — И осеклась. И отвернулась к печке.

Лена посмотрела на неё. Мама рассказывала Фёкле про белую тюрьму. Про восемьдесят девятый год, про пересылку. Рассказывала — в ту зиму, в бане, в девяносто девятом? За самоваром? Зачем?

Она не стала спрашивать. Она устала. Она поднялась в мезонин, легла и долго лежала в темноте, глядя на трещину-реку на потолке, и чесалась, и думала о Марье Павловне, о её седых стриженых волосах под своими пальцами, о каторжном крестном знамении — лоб, грудь, правое плечо, левое, — о «ты в неё, не во всём — но в главном».

И о том, что она не знает, попросит отец или нет.

Внизу Ференц играл на скрипке. «La Espero». Надежда.

14.7. Ледоход

Томь тронулась двадцать шестого апреля, в пятницу, в одиннадцатом часу утра.

Лена услышала это из мезонина — не увидела, услышала. Сначала — гул. Низкий, глухой, протяжный, будто где-то далеко, за рекой, за заречными лугами, за лесом, кто-то огромный застонал во сне. Потом — треск. Резкий, сухой, как выстрел, — один, второй, третий, — и снова гул, громче, ближе. И стёкла в окне мезонина дрогнули — тонко, едва слышно, — как дрожали они в октябре, когда по Почтамтской шли броневики.

Фёкла внизу, на кухне, уронила ухват.

— Пошла! — крикнула она снизу. — Барышня! Томь пошла!

И Лена, как была — в домашнем платье, в маминой шубе поверх, в валенках, — сбежала по лестнице и выбежала на улицу.

Весь город был на берегу.

Это было — Лена знала с детства — как Пасха. Как Крещение. Как пожар. Ледоход на Томи смотрели все — всегда, каждый год, при царе, при Керенском, при ревкоме, — бросали всё и бежали на берег: купцы — из лавок, приказчики — из-за прилавков, гимназисты — с уроков, бабы — от печей, мужики — с работы, старики — с лавок у ворот, — и стояли на крутом яру под Воскресенской горой, на Татарской, у Базарного моста, на пристанях, и смотрели. Часами. Молча. Как смотрят в огонь.

И сейчас стояли. Красногвардейцы — с винтовками, но винтовки висели за спиной, забытые. Мадьяры в серо-голубых шинелях. Латыши. Китайцы. Курсистки. Купчихи в реквизированных — нет, ещё не реквизированных, своих — шубах. Монашки из женского монастыря. Мальчишки — на заборах, на деревьях, на крышах сараев. Нехлюдов — в бобровой шубе, с непокрытой седой головой, с бородой, развевающейся на ветру, стоял на самом краю яра, у обрыва, и Лена видела, как он крестится и что-то шепчет. Очумелов — с Елдыриным, в стороне, у фонаря, — смотрел на реку, сняв фуражку, и лицо у него было — Лена удивилась — серьёзное и почти торжественное.

А внизу, под яром, шла Томь.

Она шла — вся. От берега до берега. Белая, серая, грязно-жёлтая, синяя на изломах. Лёд — толстый, зимний, в аршин, в полтора, — ломался на глазах, с треском, с гулом, с грохотом,

как ломаются кости, — и льдины вставали дыбом, торчком, становились на ребро, громоздились одна на другую, наползали, крошились, переворачивались, показывая грязное, илистое брюхо, и снова падали, и плыли. Медленно. Неотвратимо. Вниз. К Оби. На север. К океану.

И на льдинах плыло — всё.

Дрова — целые поленницы, которые кто-то сложил на льду зимой, на заречной стороне, и не успел вывезти. Сено — стога, разваленные, растрёпанные, жёлтые на белом. Чей-то сарай — целый, с крышей, с распахнутой дверью, — плыл, медленно поворачиваясь, как карусель. Бочка. Сани — опрокинутые, с оглоблями, задранными в небо. Будка — может быть, будка стрелочника, а может быть, отхожее место, — плыла, наклонившись, и мальчишки на заборах хохотали и показывали пальцами. И — собака. Рыжая, лохматая, мокрая, одна на большой льдине, посреди реки, — она металась по льдине из конца в конец, скулила, лаяла на берег, на людей, на небо, — и люди на берегу кричали ей «Плыви! Плыви, дура!» — а она не плыла. Металась. Лаяла. Уплывала.

Лена стояла на яру, в толпе, и смотрела на собаку.

Она думала о Марье Павловне. О седых стриженых волосах под своими пальцами. О каторжном крестном знамении. О «не проси отца». Прошла неделя. Мыш больше не давал направлений в тюрьму — тюремное начальство отказалось от студентов: «Справимся сами». Лена ходила в ЧК — нет, не в ЧК, к воротам, к дому на Почтамтской, где, говорили, ЧК, — стояла у ворот, смотрела на окна, — и ничего не узнала. Отец — не приходил домой. Записку — не прислал. Попросил ли он? Она не знала.

Михайлов предупредил тех, из списка. Лена передала. Половина уже уехали. Остальные — уходили. Тихо. По одному. Кто — в Новониколаевск. Кто — в деревню. Кто — на Тайгу, к чехам.

А она — стояла на яру и смотрела, как собака на льдине уплывает к Оби.

— Папа! — крикнул рядом детский голос. — Папа, гляди! Собака!

Лена обернулась.

Рядом с ней, в двух шагах, в толпе, стоял человек в сером пальто не по росту. С подвёрнутыми рукавами. В ушанке. Невысокий, широкоплечий. С простым, открытым, широкоскулым лицом, со светлыми бровями, с короткими светлыми усами.

А на плечах у него сидел мальчик.

Лет пяти — или шести. Светловолосый, белобрысый, как отец, в маленьком полушубке, в шапке с ушами, завязанными под подбородком, в валеночках. Он сидел у отца на плечах, держась обеими руками за его ушанку, и показывал варежкой на реку, на собаку, и кричал — звонко, радостно, захлёбываясь:

— Папа! Гляди! Собака! Она плывёт! Она — к морю плывёт! Папа, она к морю?

— К морю, Сева, — сказал Пепеляев. — К Ледовитому. Через Обь.

— А там — что?

— Там — льды. И белые медведи.

— А она — не замёрзнет?

Пепеляев помолчал.

— Не знаю, Сева, — сказал он. — Может, её снимут. Где-нибудь ниже. На пристани. Там у бакенщиков лодки есть.

И повернул голову — и увидел Лену.

Она видела, как он её увидел. Его светлые, прозрачные, серые глаза — чуть расширились. Как у Марьи Павловны в тюремной камере. И тут же — стали спокойными. Он не сделал вида, что не узнал. Он не отвернулся. Он кивнул ей — коротко, просто, как кивают знакомой на улице.

— Елена Петровна, — сказал он. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, Анатолий Николаевич.

Мальчик на его плечах посмотрел на Лену сверху — круглыми, серьёзными, отцовскими глазами.

— Это кто? — спросил он.

— Это — Елена Петровна, — сказал Пепеляев. — Доктор. Почти доктор.

— Доктор! — Мальчик посмотрел на неё с уважением. — А вы собаку можете вылечить? Если её снимут?

— Могу, — сказала Лена. — Если её снимут. Она замёрзнет немножко. Я её согрею.

Мальчик подумал. Потом стащил с руки варежку, полез в карман полушубка — и достал сосульку. Маленькую, прозрачную, с отломанным кончиком, — он, видимо, отломил её от какой-нибудь крыши по дороге и берёг в кармане, и она уже подтаяла, и с неё капало.

— Нате, — сказал он. И протянул Лене сосульку. — Это — вам. Вы — доктор. Вы — собаку лечить будете.

Лена взяла сосульку.

Она взяла её тёплыми пальцами — мальчик протягивал её с отцовского плеча, и, чтобы взять, Лене пришлось подойти ближе, совсем близко, почти вплотную к Пепеляеву, — так близко, что она видела, как у него на щеке, под ухом, бьётся жилка, и чувствовала запах — махорки, мокрого сукна, весенней грязи, — и его плечо было рядом, в двух вершках от её руки, — и она не коснулась. Взяла сосульку из маленькой руки мальчика. Над его плечом. Не коснувшись.

И отступила.

Сосулька была холодная, мокрая, тающая. Вода текла у неё по пальцам, под рукав.

— Спасибо, Сева, — сказала она.

Мальчик просиял. Снова вцепился в отцовскую ушанку и стал смотреть на реку.

Они стояли рядом. В толпе. Плечом к плечу — нет, не плечом к плечу: между ними был шаг. Один шаг. Он держал сына на плечах. Она держала сосульку. Внизу шла Томь.

— Мне сказали, — сказал Пепеляев негромко, не поворачивая головы, глядя на реку, — мне сказали, вы танцуете. В театре. Для красных командиров.

Лена тоже смотрела на реку.

— Для подполья, — сказала она.

— Я знаю. — Он помолчал. — Михайлов рассказал. Склад номер три. «Ермак» и «Сибиряк». — Пауза. — Это очень важно. Это — может быть, главное, что у нас есть. Без этого… — Он не договорил. — Спасибо.

Лена ничего не сказала.

Пепеляев помолчал ещё. Сева на его плечах кричал что-то про сарай, который переворачивался на льдине. Пепеляев поддержал его за ногу, чтобы не свалился.

— Не по вам это, Елена Петровна, — сказал он.

Лена повернулась к нему.

Он не смотрел на неё. Смотрел на реку. Лицо у него было — простое, открытое, усталое. Без осуждения. Без насмешки. Без того, что было в лице Алмазова, когда тот говорил «вы рискуете, мадемуазель, это хорошо». Без того, что было в лице Гомаровского, когда тот говорил «вы играете даром». Просто — усталое. И грустное.

— А что — по мне? — спросила Лена.

— Лечить, — сказал Пепеляев. — Вы — врач. Почти. Вы — лечить должны. Не танцевать для этих… — Он поискал слово. — Для этих. Не слушать, что они говорят за водкой. Не носить бумаги в подоле. — Пауза. — Это — для таких, как Алмазов. Ему — нравится. Ему — это игра. Сцена. А вам…

— Мама тоже не лечила, — сказала Лена.

Пепеляев повернулся к ней. Посмотрел. В первый раз за весь разговор — прямо. Светлыми, прозрачными, серыми глазами.

Он не стал спорить. Он смотрел на неё долго — секунду, две, три, — и Лена видела, что он думает. Что он хочет что-то сказать — и не говорит. Что-то про маму, про Катерину Михайловну, про легенду, которую знал, наверное, весь Томск, — каторжанка, героиня, «как Перовская». И не говорит.

— Через месяц, — сказал он наконец, — всё решится. Так или иначе. — Он снова посмотрел на реку. — Тогда — лечите. Ладно? Когда всё решится — бросайте всё это и идите лечить. Раненых будет много. — Пауза. — Очень много.

— А вы?

— А я — воевать, — сказал Пепеляев просто. — Я — солдат. Я больше ничего не умею. — Он помолчал. — Я буду командовать сибиряками. Нашими. Томскими, барнаульскими, новониколаевскими. Мужиками. — Голос у него стал другим — тише, теплее. — Не так, как царские генералы командовали. Не «ваше благородие», не мордой в грязь, не шомполами. А — как свои. Как старший брат. Я в окопах с ними сидел, Елена Петровна. Три года. Из одного котла ел. Вшей с ними кормил. Хоронил их. — Пауза. — Они — не быдло. Они — люди. Сибиряки. Лучшие солдаты на свете. Если с ними — по-человечески.

Он говорил это просто. Без позы. Без пафоса. Не так, как говорил Беленец на митинге, рубя слова, и не так, как говорил комиссар в кружке эсперанто, — «мировая революция!». Не так, как Лебядкин — «тра-та-та-та!». Он говорил, как говорят о том, что знают руками. Как Фёкла говорила о тесте. Как Мыш — о гангрене.

И Лена смотрела на него — на его простое, открытое, широкоскулое лицо, на светлые усы, на мальчика у него на плечах, — и видела: он не играет. Ни разу. Ни в одном слове. Он единственный из всех, кого она знала за этот год, — кто не играл. Не Гомаровский — тот играл всегда, даже когда был честен, — играл в циника. Не отец — тот играл в верующего, даже когда сомневался. Не Алмазов — тот играл в актёра. Не Ольга — та играла за жалованье. Не Лебядкин, не Очумелов, не сын лейтенанта Шмидта. Не она сама — она играла теперь каждую субботу, на сцене, с японским платком.

А он — нет.

— Я буду командовать, — сказал Пепеляев, — а вы — лечить. Договорились?

Лена не ответила.

Она стояла на яру, в маминой шубе, с тающей сосулькой в руке, — вода текла по пальцам, под рукав, холодная, — и смотрела на него. И чувствовала — то, чего не чувствовала никогда.

Тело молчало.

Это было новое. Совсем новое. С Великопольским у костра — тело отозвалось: пульс девяносто шесть. С Грушницким на Басандайке — тело отозвалось: она позволила больше, чем собиралась. С Гомаровским — тело отзывалось всегда, с первого взгляда на купальне, — сначала тепло, потом жар, потом волна, потом «тело без него не может». С поручиком Лукашем — когда он поцеловал запястье — тело отозвалось: далёкий колокол. С командиром с усиками у подъезда — тело было готово идти за кем угодно.

А сейчас — тело молчало.

Он стоял в шаге от неё — невысокий, широкоплечий, с сыном на плечах, — и тело не просило ничего. Не тянулось к нему. Не отзывалось теплом, приливом, пульсом. Не хотело. Было — спокойно. Тихо. Как вода в проруби, когда лёд ещё не тронулся.

А что-то другое — не тело, — что-то, у чего не было названия в физиологии, в анатомии, в патологии, — что-то, о чём не писал ни Старлинг, ни Броун-Секар, ни Штейнах, — это другое — болело. Сладко и страшно болело. Где-то под грудиной. Слева. Там, где у мамы, на фотографии, было застёгнуто на последнюю пуговицу арестантского бушлата.

Она поняла.

Она поняла, стоя на яру, над ледоходом, с тающей сосулькой в руке, — она поняла, что любит его.

Не телом. Тело молчало. Чем-то другим.

Как мама — смотрела на Симонсона. На этапе. Марья Павловна сказала: «Он ей тоже — ничего. Руку не задерживал. Он был — чистый. Как этот».

Чистый. Как этот.

— Папа! — закричал Сева. — Папа, гляди! Собаку сняли! Вон! Лодка!

Лена посмотрела на реку.

Далеко внизу, у пристани, у самого края ледохода, где льдины расходились и между ними чернела вода, — лодка. Маленькая, плоскодонная. В ней — двое мужиков, с баграми. Они отталкивались от льдин баграми, подбирались к той, большой, на которой металась рыжая собака. Подобрались. Один протянул багор. Собака — прыгнула. Прямо в лодку. Мимо багра. Лодка закачалась. Мужики закричали — на берегу было слышно, — и толпа на яру закричала тоже, все разом, «ура!», и захлопала, и засвистела, — и Нехлюдов на краю обрыва заплакал, Лена видела, и Очумелов надел фуражку, и мальчишки на заборах орали.

— Сняли! — кричал Сева, подпрыгивая у отца на плечах. — Папа, сняли! Её доктор вылечит! Елена Петровна вылечит!

Пепеляев засмеялся — широко, по-детски, с ямочкой на щеке.

— Вылечит, — сказал он. — Обязательно.

И посмотрел на Лену.

И она посмотрела на него.

Секунду. Две. Над ледоходом. Над толпой. Над сыном на его плечах.

Потом он кивнул ей — коротко, как кивают товарищу, — и повернулся, и пошёл сквозь толпу, вверх по яру, к Воскресенской горе, держа сына за ноги. Сева оборачивался, махал ей варежкой. Пепеляев не оборачивался.

Лена стояла на яру и смотрела им вслед. Пока они не скрылись за углом, у Воскресенской церкви, — серое пальто не по росту, ушанка, маленький полушубок на плечах.

Сосулька в её руке растаяла. Совсем. Остались только мокрые пальцы и холод под рукавом, где стекла вода.

Она вытерла руку о мамину шубу. И пошла домой.

А Томь — шла. Весь день. И всю ночь. Гул и треск были слышны в мезонине до утра, и стёкла дрожали, и Лена не спала, и лежала, глядя на трещину-реку на потолке, и слушала, как ломается лёд. Как будто ломалось всё — вся зима, весь этот год, всё, что было с октября, — и уплывало вниз, к Оби, на север, к Ледовитому океану, где льды и белые медведи.

И где-то там, на льдине, металась рыжая собака, которую никто не снимет.

14.8. Грим

Генеральную репетицию «Мистерии освобождённого тела» Лебядкин назначил на двадцать девятое апреля, понедельник, на семь вечера, — при публике.

— При публике! — кричал он за кулисами, размахивая папкой, в кожанке поверх жёлтой кофты. — Только при публике! Театр без публики — это… это мастурбация! Простите, Ольга Константиновна. Это — онанизм искусства! Пролетарский театр рождается в зале! В дыхании масс! Я должен видеть — как они дышат! Где они замирают! Где — смеются! Где — свистят! — Он вздрогнул, вспомнив свист. — Где — не свистят!

Публику набрали из своих. Билеты не продавали — раздавали в губкоме, в губисполкоме, в Совете, в казармах, в Совете военнопленных депутатов, в клубе железнодорожников. Бесплатно. «Для обсуждения». После репетиции — диспут: «Нужна ли пролетариату нагота на сцене?» Председательствует — комиссар просвещения. Выступает — т. Тим Лебядь.

Зал был полон к семи.

Лена смотрела на него из-за кулис, через дырку в занавесе, зашитую грубыми стежками посередине, — и не боялась. Почти. Сердце стучало — сто, сто десять, — но не сто сорок, как

в первый раз. Колени не дрожали. Руки — тоже. Она знала уже, что тело вспомнит. Что тело пойдёт само. Что зал — зверь, его надо кормить, по чуть-чуть, кусочек — и спрятать.

Она выступала в третий раз. Четырнадцатого — первый. Двадцать первого — второй, на «вечере смычки с интернационалистами», где мадьяры кричали «Ельен!» и кидали на сцену кепи, а Ференц сидел в первом ряду — его посадили туда как «лучшего бойца отряда», — и смотрел на неё, как на икону, и после концерта не сказал ни слова, а дома, на кухне, при Фёкле, сыграл ей на скрипке что-то новое, медленное, — и Фёкла сказала: «Это он про тебя. Я знаю».

И двадцать девятого — третий.

В зале были те же лица. Почти те же. Командир с усами — из первого ряда. Комиссар в пенсне — тот, который, по словам Ольги, из ЧК, — сидел в третьем ряду, у прохода, с папкой на коленях, и смотрел на занавес так, будто занавес был подследственный. Латыши. Мадьяры. Иштван — чернявый, красивый, с тонкими усиками, — у стены, со своими. Ференц — нет, Ференца не было, у него было дежурство в казармах. Беленец — в первом ряду, тяжёлый, широкий, в кожанке поверх косоворотки, — пришёл «посмотреть, на что губнаробраз тратит народные деньги». Отца — не было.

А на галёрке, в последних рядах, в темноте, где сидели красногвардейцы и рабочие с железной дороги, — Лена его увидела не сразу.

Серое пальто. Кепка — не ушанка, кепка, рабочая, надвинутая на глаза. Он сидел в самом последнем ряду, у стены, за спинами двух красногвардейцев, — невысокий, широкоплечий, — и смотрел на сцену.

Пепеляев.

У Лены остановилось сердце. Потом пошло — вскачь. Сто сорок. Сто пятьдесят.

Он пришёл.

Его искали. Михайлов говорил — после ареста Марьи Павловны ЧК искала всех, кто был в списке, и всех, кого не было, но могли быть, — офицеров, бывших, демобилизованных, — и Пепеляева — в первую очередь. За домом его отца-генерала смотрели. На вокзале — смотрели. На пристани — смотрели. Он жил — Лена не знала где. Нигде. У всех. Каждую ночь — в другом доме.

А сегодня — пришёл. В театр. Полный красных командиров, комиссаров, латышей, мадьяр. С комиссаром из ЧК в третьем ряду. С Беленцом в первом. Пришёл — и сидел в последнем ряду галёрки, в рабочей кепке, за спинами красногвардейцев, — и смотрел на сцену.

Зачем?

Лена знала зачем. И боялась это знать.

Репетиция шла — как шла.

Сначала — «Труд, разрывающий цепи». Рабочие в картонных цепях, покрашенных серебрянкой, вдыхали воздух свободы — и цепи лопались от объёма лёгких. Не все. У одного не лопнула — картон оказался крепче, чем думал Лебядкин, — и рабочий стоял посреди сцены, надувшись, красный, а цепь висела на нём, — и зал захохотал. Беленец в первом ряду — тоже. Лебядкин за кулисами рвал на себе волосы.

Потом — «Сибирь, сбрасывающая оковы». Женская фигура в мехах — это была телефонистка губкома, рослая, крупная, румяная, которую Лебядкин нашёл неизвестно где, — стояла на постаменте из ящиков, обмотанная старыми лисьими и беличьими шкурками, реквизированными у какого-то скорняка. Под звуки «Марсельезы» шкурки должны были спадать. Одна за другой. Обнажая — «юную, освобождённую Сибирь». Шкурки спадали. Медленно. Под шкурками оказалось — трико. Телесного цвета. Плотное. С пуговицами. Зал засвистел. Кто-то крикнул: «Давай дальше!» Кто-то — «Срам!» Беленец нахмурился. Комиссар в пенсне что-то записал в папку.

Потом — антракт. Перед третьей картиной. Перед «Свободой на баррикадах».

И в антракте — Лена вышла со своим номером. «Танец с шалью». Лебядкин вставил его в программу — «для разрядки, для контраста, для масс, массы требуют лирики».

Она вышла.

И с первого шага — с первого поворота, с первого взмаха японского платка над головой, когда цапли полетели в свете керосиновых софитов, — она знала, что танцует не для зала.

Для него.

Для одного. В последнем ряду галёрки. В рабочей кепке. За спинами двух красногвардейцев.

Это было — впервые. Она это поняла сразу, с первого шага, — и испугалась, и не смогла остановиться. В мансарде она танцевала для Гомаровского — но это было не так: это была борьба, вызов, «кто сильнее?», она танцевала, чтобы он подошёл, — а он не подходил. Четырнадцатого и двадцать первого — она танцевала для зала, для зверя, для всех и ни для кого, — и тело было счастливо, потому что смотрели все и не брал никто.

А сейчас — она танцевала для одного. Который не брал. Который не смотрел так, как все. Который подал руку через собачью цепь — и отпустил. Который сказал «не по вам это» — и пришёл посмотреть.

И танец — изменился.

Она не решила этого. Тело решило. Ольга потом сказала: «Что ты сделала? Это был не тот номер. Это было — другое». А Лена не знала, что сделала. Она не кормила зал. Она забыла про зал. Кусочек — и спрятать — она забыла. Платок не соскальзывал с плеча, открывая его, голое, белое, — и не возвращался. Разрез юбки не открывал колено. Голова не откидывалась, открывая шею.

Она — замедлилась.

Совсем. Почти до неподвижности. Румын за пианино играл «Шехеразаду», быстро, с переливами, как привык, — а она двигалась медленно, медленнее, чем музыка, медленнее, чем учила Ольга, медленнее, чем можно. Руки — от плеча, как в воде, — но вода была густая, тяжёлая, как мёд. Платок — не летел, а плыл, медленно, как облако. Цапли — не летели косым клином, а висели в воздухе, неподвижные, как на японской гравюре. Она поворачивалась — и поворот длился вечность. Она поднимала руки — и это было, как поднимают руки в молитве. Или — как поднимала руки мама на фотографии, если бы на фотографии мама поднимала руки.

Она не смотрела на галёрку. Ни разу. Как учила Ольга — не в глаза. На выход. На красную лампочку над дверью с надписью «ВЫХОДЪ».

А видела — только его.

Зал молчал. Не так, как четырнадцатого — когда замолчал от восторга, от голода, от того, что зверю дали кусочек. По-другому. Зал не понимал. Зал ждал, что она откроет плечо — а она не открывала. Ждал колено — колена не было. Ждал шею — шея была закрыта волосами. Зал ждал — и не получал. И молчал. Растерянно. Как молчат в церкви, когда служба идёт не по чину.

Комиссар в пенсне в третьем ряду перестал писать. Беленец в первом ряду наклонился вперёд, тяжело опершись локтями о колени. Иштван у стены — смотрел, открыв рот.

А Пепеляев на галёрке — Лена видела краем глаза, не глядя, всем телом видела, — сидел неподвижно. Прямо. В рабочей кепке. Смотрел.

И вдруг — встал.

Посреди танца. Посреди «Шехеразады». Посреди её медленного, почти неподвижного поворота с поднятыми руками, с японским платком над головой.

Встал — и пошёл к выходу. По галёрке, вдоль стены, за спинами красногвардейцев, — быстро, не оглядываясь, пригнувшись, — к двери с красной лампочкой и надписью «ВЫХОДЪ». Открыл дверь. Вышел. Дверь закрылась.

Он ушёл.

Не дождавшись конца. Не оглянувшись.

Лена не сбилась. Тело не сбилось. Тело довело танец до конца — медленно, как начало, — до последнего аккорда румына, до последнего поворота, — и замерло посреди сцены с поднятыми руками, с платком над головой, как парус. И стояло. Секунду. Две. Три.

Зал молчал.

Потом кто-то захлопал. Неуверенно. Потом ещё кто-то. Потом — все. Но не так, как четырнадцатого. Не взрыв. Не рёв. Не шапки на сцену. А — как хлопают в консерватории, после чего-то, чего не поняли, но почувствовали, что надо хлопать. Тихо. Долго. Беленец в первом ряду хлопал медленно, тяжёлыми ладонями, и лицо у него было странное. Комиссар в пенсне не хлопал. Смотрел.

Лена поклонилась. И ушла за кулисы.

Ольга стояла за кулисами, в темноте, с папиросой. Она ничего не сказала. Смотрела на Лену — долго, через дым, — и ничего не говорила. Потом протянула ей папиросу. Лена взяла. Не затянулась. Держала.

— Кто это был? — спросила Ольга тихо. — На галёрке. Который ушёл.

Лена молчала.

— Не говори, — сказала Ольга. — Не надо. Я не хочу знать. — Она помолчала. — Но ты танцевала для него. Это видел весь зал. Комиссар в пенсне — тоже видел. — Пауза. — Он теперь будет искать — кого. Для кого. — Она забрала у Лены папиросу. — Будь осторожна, мадемуазель. Танцевать для одного — опаснее, чем для всех. Для всех — это профессия. Для одного — это улика.

Она ушла — на сцену, к третьей картине, к «Свободе на баррикадах», где Лебядкин уже кричал за кулисами: «Где Свобода? Где моя Свобода? Почему Свобода не готова?»

Свободой Лена отказалась быть — ещё неделю назад. Окончательно. Лебядкин умолял, грозил, плакал, сулил паёк, сулил славу, сулил фотографию в «Знамени революции». Лена сказала: «Нет. Не на ступенях собора. Не с голой грудью. Не перед Очумеловым». Лебядкин сказал: «Тогда — на Первое мая? На площади? В последний момент?» Лена сказала: «Может быть». И не собиралась.

Свободой была Ольга. В красном, во фригийском колпаке, с красным знаменем и с деревянным ружьём, на баррикаде из ящиков и стульев, — и с грудью, прикрытой «полупрозрачной тканью». Ткань была — марля. Медицинская. Из клиник. Лена принесла. Марля была непрозрачная.

Зал свистел. Беленец ушёл, не дождавшись диспута. Комиссар просвещения на диспуте сказал, что «пролетариату нужна не нагота, а правда», и что «товарищ Лебядь пока путает одно с другим», и что «губнаробраз пересмотрит смету». Лебядкин стоял у рампы, бледный, в кожанке поверх жёлтой кофты, и кричал, что пролетариат — не созрел, что массы — не готовы, что через год, через два, через пять…

Лена его не слушала.

Она сидела в артистической — в маленькой, той, с одним зеркалом, с ящиком вместо столика, — одна, перед зеркалом, при свече. И смывала грим.

Кольдкрем Брокара — из баночки, пальцами, на лицо. Толстым слоем. Он был холодный, жирный, пахнущий воском и розой. Потом — ватой. Медленно. Снизу вверх. Как учила Ольга.

Сначала — помада. Тёмная, почти чёрная, — «чтобы из зала было видно, что у тебя есть рот». Вата стала красно-бурой. Под помадой — губы. Её губы. Бледные, обветренные, с трещинкой на нижней.

Потом — румяна. Густые, кирпичные, на скулах, к вискам, — «чтобы из зала было видно, что у тебя есть скулы». Вата стала кирпичной. Под румянами — щёки. Её щёки. Белые, северные, без румянца.

Потом — сурьма. На бровях, на ресницах, толстая, жирная, — «чтобы из зала было видно, что у тебя есть глаза». Вата стала чёрной. Под сурьмой — глаза. Её глаза. Тёмные, большие, с длинным разрезом, — и левый, как всегда, смотрел чуть мимо. Чуть в сторону. За плечо.

Потом — пудра. Лейхнеровская, театральная, жирная. Вата стала белой. Под пудрой — кожа. Её кожа. Тонкая. На которой — как говорила Фёкла — всё пишется.

Маска сходила. Слой за слоем. Как сходит снег с крыши, когда приходит весна. Как сходит лёд с Томи. Как сходят с души — Лена не знала что. Годы? Роли? Ложь?

И из-под маски проступало лицо.

Её лицо. Бледное. Усталое. Двадцатилетнее. С тёмными бровями, сходящимися к переносице. С трещинкой на губе. С левым глазом, смотрящим мимо.

Она смотрела на это лицо в зеркале. При свече.

И вдруг — на миг, на секунду, на долю секунды, когда свеча мигнула от сквозняка, — увидела в зеркале не себя.

Другое лицо. Старше. Худее. С резкими скулами, с глубокими складками у рта. Стриженое — коротко, по-мужски. В арестантском бушлате, застёгнутом до горла. С насмешливой улыбкой — уголком рта, левым.

Мама.

Лена замерла с ватой в руке.

Свеча выровнялась. Лицо в зеркале стало — её. Бледное, усталое, двадцатилетнее.

Но улыбка — осталась. Лена видела её. На своих губах. Уголком рта. Левым. Насмешливая.

Она не улыбалась. Она знала, что не улыбается. Она проверила — пальцем, тронула уголок рта. Он был неподвижен.

А в зеркале — улыбался.

— Ты тоже знала, что смотрят, — сказала Лена вслух. Тихо. Зеркалу. — Да?

Зеркало не ответило.

Ночью, в мезонине, при лампе под зелёным абажуром, она писала письмо.

Первое. За четыре месяца. С того дня, как на перроне Томска-I он сказал ей «вы носите на себе своё приданое» и поднялся в фанерный вагон. Она не написала ему ни слова. Ни после клочка в камине. Ни после посылки с духами и платком. Ни после карточки «Двадцать лет — хороший срок».

А теперь — писала.

«Харбин, Пристань, Китайская ул., д. 23. Е. С. Гомаровскому».

Она писала быстро, не останавливаясь, не перечитывая, — по-старому, с ятями, с твёрдыми знаками, своим почерком, мелким, медицинским. Она писала про сцену. Про японский платок с цаплями — что она танцует в нём, что он стал её костюмом, что Ольга сказала — «он знал, что ты будешь танцевать, раньше, чем ты сама». Про зал — про зверя, которого надо кормить. Про то, что тело счастливо, когда смотрят все и не берёт никто. Про Лебядкина в кожанке поверх жёлтой кофты. Про Свободу на баррикадах с марлей вместо прозрачной ткани. Про Марью Павловну — в белой тюрьме, третий раз. Про отца — «тебя — да». Про эсперанто — «у вас есть хлеб? — нет, у меня нет хлеба». Про то, что «двадцать лет — хороший срок» — она поняла теперь, для чего. Для того, чтобы стать — собой. Или — мамой. Она не знала, какая разница.

И про то, что она любит.

Другого.

Который не берёт.

Который подал руку через собачью цепь — и отпустил. Который пришёл в театр, рискуя головой, — и ушёл, не дождавшись конца. Который говорит «не по вам это» — и не играет. Ни разу. Который женат. У которого сын. Сева. Который дал ей сосульку. Нет — сын дал.

«Вы бы его не поняли, — писала она. — Вы бы сказали: арифметика. Вы бы сказали: он хотел умереть красиво. Как Грушницкий. Вы бы сказали: я не люблю того, чего нет. А он — есть. Он — единственный, кто есть. Все остальные — играют. Вы — тоже. Вы — особенно. Вы играете в того, кто не играет. Это — самая сложная роль. Вы — великий актёр, Евгений Станиславович. Ольга с вами не сравнится. Я — тоже. А он — не актёр. Он — человек. И я его люблю. И тело — молчит. Вы понимаете? Тело — молчит. Впервые. А что-то другое — болит. Вы бы сказали — гормоны. Отец бы сказал — гормоны. Марья Павловна сказала бы — кандалы. А это — не кандалы. Это — то, чего нет. Чего вы не любите. Того, чего нет».

Она дописала. Подписалась — «Е. Т.». Как на афише. Перечитала.

Восемь страниц. Мелко. С ятями.

Она сидела над этими восемью страницами долго. Лампа горела ровно. Внизу было тихо — Ференц на дежурстве, Фёкла спала. За окном — ночь, апрельская, тёплая, влажная, — и гул ледохода на Томи, который не кончался третий день.

Потом она встала, открыла заслонку печки — печь ещё не остыла, угли тлели, красные, — и положила туда письмо. Все восемь страниц. Сразу.

Бумага вспыхнула. Ярко, жёлто, с треском. Края закрутились, почернели. Буквы — лиловые, мелкие, с ятями — на секунду проступили на чернеющей бумаге, белые на чёрном, как негатив, — «люблю», «не берёт», «тело молчит», «того, чего нет», — и исчезли. Пепел. Серый, лёгкий, дрожащий. Он поднялся в тяге, к трубе, — и улетел.

В Харбин, подумала Лена. Через трубу. Через небо. Через огонь. На Китайскую улицу, дом двадцать три.

Как его клочок в камине. Он сжёг своё — она нашла уголок. Она сожгла своё — он не найдёт ничего.

Это было — справедливо.

Она закрыла заслонку. Села у печки, на пол, обхватив колени, — в маминой шубе поверх рубашки, — и сидела так долго, слушая, как гудит за окном Томь.

А на столе у лампы стояла мамина фотография. Стриженая женщина в бушлате. С насмешливой улыбкой уголком рта.

И японский платок с лиловыми цаплями — висел на спинке стула, где Лена бросила его, придя из театра. Цапли летели — косым клином, на восток, — в свете лампы под зелёным абажуром.

Последний раз, подумала Лена. Последний раз — по-старому. С ятями. Ему.

И ошиблась. Как ошибалась почти во всём в этом году.

Конец четырнадцатой главы.



Глава 15. Переворот

Пуля, им отлитая, просвищет Над седою, вспененной Двиной, Пуля, им отлитая, отыщет Грудь мою, она пришла за мной.

Н. Гумилёв, «Рабочий», 1916

15.1. Мистерия

Первого мая с утра светило солнце, и Лебядкин сказал, что это знак.

— Знак! — кричал он за кулисами в семь утра, бегая между ящиками с реквизитом в кожанке, надетой поверх жёлтой кофты, с папкой под мышкой и с пенсне, которое всё время падало у него с носа. — Сама природа на стороне пролетариата! Солнце! Первое мая! Ни облачка! Мистерия под открытым небом! На ступенях собора! Перед всем городом! Перед массами!

Ольга, сидевшая перед зеркалом в маленькой артистической с папиросой в зубах и с фригийским колпаком на коленях, подняла глаза к окну, маленькому и пыльному, прорезанному под самым потолком, и посмотрела на синее майское небо и на белые облака, которые быстро и низко бежали с запада, со стороны реки.

— Тимофей Игнатьевич, — сказала она, — к обеду будет дождь.

— Не будет! — возразил Лебядкин. — Не может быть! Сегодня первое мая, пролетарский праздник!

— Облакам, Тимофей Игнатьевич, всё равно, какой праздник, — сказала Ольга.

Лена стояла у двери артистической в простом сером платье и в маминой шубе, накинутой нараспашку, потому что утро было ещё свежее, и смотрела на Ольгу, на красный войлочный фригийский колпак с загнутой вперёд макушкой, лежавший у неё на коленях, который костюмерша сшила из старой театральной шапки Мефистофеля, и на марлю, свёрнутую рулоном на ящике, ту самую медицинскую марлю из клиник, которую Лена принесла неделю назад и которая должна была изображать «полупрозрачную ткань» на груди Свободы.

— Ты точно не хочешь? — спросила Ольга, не оборачиваясь и глядя на неё в зеркало. — Последний раз спрашиваю. Свобода — это главная роль, апофеоз. Тысяча человек на площади, твоё лицо во всех газетах. Лебядь обещал фотографа.

— Нет, — сказала Лена.

— Почему?

Лена подумала, прежде чем ответить.

— Потому что на площади будет отец, — сказала она.

Ольга долго смотрела на неё в зеркало, а потом кивнула.

— Понимаю, — сказала она и надела колпак. — Тогда пойду я. Мне всё равно, кто на площади. У меня отца нет с девяносто восьмого года.

К десяти часам площадь Революции, бывшая Новособорная, была полна народу.

Колонны шли с утра со всех концов города, по Почтамтской, по Магистратской и по Миллионной, от Базарной площади, от вокзала и из Заисточья, и вливались на площадь так, как ручьи в половодье вливаются в Томь. Лена стояла в толпе у ограды сквера, в двух шагах от того места, где в декабре с неё сняли котиковую шубку и где умер Грушницкий, и смотрела, как они проходят.

Шли рабочие-железнодорожники с красным знаменем, на котором золотом было вышито «Вся власть Советам!», и с оркестром, игравшим «Варшавянку»; шли в красных платках табачницы, те самые, что пели в марте на митинге работниц, и несли плакат «Да здравствует освобождённая женщина!»; батальон за батальоном шла Красная гвардия с винтовками на плечах и с красными лентами на штыках, и впереди на белой лошади ехал усатый командир, тот самый, что сидел в первом ряду театра, и отдавал честь трибуне. Молча, плотной колонной,

в ногу и без оркестра прошли светлоглазые латыши; за ними прошли китайцы с красными фонариками, хотя был день, потом школьники, гимназисты и реалисты с флажками, и наконец матросы, человек двадцать, в бескозырках, с пулемётными лентами крест-накрест, взявшиеся неизвестно откуда, потому что в Томске никогда не было флота, так что Лена, глядя на них, подумала о сыне лейтенанта Шмидта.

Последними шли интернационалисты.

Они шли отдельной колонной, мадьяры, немцы, австрийцы, местные чехи, поляки и хорват с чёрной бородой, все в серо-голубых шинелях, в кепи с наушниками и с винтовками, а над ними несли длинный белый плакат на двух древках, с зелёной звездой в углу и с надписью не по-русски:

«PROLETOJ EL ĈIUJ LANDOJ, UNUIĜU!»

Это значило «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», только на эсперанто.

Одно древко нёс Ференц.

Лена увидела его сразу, узнав рыжие усы, кепи и чистую гимнастёрку под шинелью. Он шёл в первом ряду, прямо, как на смотру, держа древко обеими руками, и лицо у него было торжественное, серьёзное, почти счастливое, какое бывает у человека, который верит. Её он не видел, потому что смотрел вперёд, на трибуну, на собор и на небо.

Толпа вокруг Лены глядела на плакат и не понимала, что на нём написано.

— Это чего написано? — спросила стоявшая рядом баба в платке. — По-каковски?

— По-немецки, — сказал мужик в картузе.

— Не по-немецки, — возразил гимназист, стоявший с другой стороны, кажется, тот самый, с горящими глазами, из кружка эсперанто. — Это эсперанто! Международный язык, язык мировой революции! Там написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— А, — сказала баба и, подумав, прибавила: — А по-русски-то нельзя было? Мы ж тут. По-русски.

Гимназист не нашёлся что ответить.

Трибуна, обтянутая кумачом, стояла у губернаторского дома, где теперь помещался ревком; над ней висели портреты Маркса и Ленина и тянулся во всю её ширину лозунг: «Да здравствует мировая социалистическая революция!» На трибуне стояло человек пятнадцать: в центре тяжёлый, широкий Беленец в кожанке, вокруг него комиссары и командиры, человек в пенсне из ЧК, тот самый, что сидел в третьем ряду театра, и среди них отец.

Лена увидела его не сразу, потому что он стоял с краю, у самых перил, в шинели, надетой поверх сюртука, серый, худой и сутулый, в очках и с отросшей седой бородой. Он стал ещё худее, чем был в марте, и шинель висела на нём, как на вешалке. Лицо у него было серое, с запавшими щеками и с красными пятнами на скулах, и Лена узнала эти пятна, оставшиеся от плеврита, от старого очага, который так и не уснул до конца; она подумала, что ему нельзя стоять без шарфа на этом холодном ещё майском ветру, дувшем с реки, и что он, конечно, её не послушается.

Он говорил речь.

Голоса его Лена не слышала за гулом толпы, за оркестрами и криками «ура» и видела только, как он поднимает руку, как наклоняется к перилам и как ветер треплет его бороду. Потом ветер на минуту стих, и до неё обрывками долетело:

— …германский пролетариат… товарищи… на пороге… в Берлине бастуют сто тысяч… в Вене голод… Брестский мир — это передышка… передышка, товарищи!.. скоро, очень скоро… мировая революция… и тогда — тогда мы…

Ветер снова задул, и голос пропал.

Он её не видел, потому что смотрел поверх толпы на собор, на небо и на облака, которые быстро и низко бежали с запада, смотрел так же, как сама Лена смотрела со сцены поверх голов на выход, как учила её Ольга, и, глядя так, никого не видел.

Лена стояла у ограды и смотрела на отца, на его поднятую руку, на бороду, которую трепал ветер, на красные пятна на его скулах, а потом повернулась и пошла прочь, не дослушав речи.

Мистерия началась в полдень.

Местом для неё Лебядкин выбрал ступени главного томского собора, Троицкого, который строили полвека и освятили только на рубеже столетий: двенадцать широких гранитных ступеней под колоннами портика. Ревком разрешил, архиерей протестовал, но ревком архиерею не ответил.

Внизу, на площади, стояло тысячи две народу, а может быть, и больше, те, кто прошёл в колоннах, и те, кто пришёл посмотреть, и все они глядели вверх, на ступени, как смотрят на сцену.

Первая картина называлась «Труд, разрывающий цепи». Шестеро рабочих в картонных цепях, покрашенных серебрянкой (Лебядкин «для массовости» добавил к прежним ещё троих), стояли на ступенях собора на фоне колонн и под «Интернационал», который играл оркестр железнодорожников, вдыхали воздух свободы. Цепи лопнули у пятерых из шести, а шестая, как и на репетиции, не лопнула. Тот же кряжистый рыжий рабочий стоял на ступенях, надувшись и покраснев, с картонной цепью, висевшей на нём, и толпа внизу захохотала, а рабочий, рассердившись, рванул цепь руками, по-буржуазному, по-самсоновски, разорвал её и швырнул обрывки в толпу, отчего толпа заревела от восторга, а Лебядкин, стоявший сбоку за колонной, схватился за голову.

Во второй картине, «Сибирь, сбрасывающая оковы», рослая румяная телефонистка губкома, обмотанная лисьими и беличьими шкурками, стояла на постаменте из ящиков, и под «Марсельезу» шкурки одна за другой спадали с неё, открывая плотное телесное трико с пуговицами. Толпа засвистела, кто-то крикнул: «Мех-то верни скорняку!» — и все захохотали.

Третья картина была апофеозом и называлась «Свобода на баррикадах».

Баррикаду сложили из ящиков, стульев, бочек и старой мебели из реквизированных особняков, в том числе, как узнала Лена, из особняка Кошеваровой, откуда взяли позолоченное кресло с гнутыми ножками, в котором Зинаида Павловна принимала гостей по «вторникам». На баррикаде лежали «павшие», шестеро рабочих из первой картины, уже без цепей, в красных рубахах, изображавшие убитых, а на самой её вершине, на позолоченном кресле Кошеваровой, стояла Ольга.

Она была во фригийском колпаке и в красном хитоне до колен, перехваченном поясом, босая, с настоящим губкомовским знаменем с бахромой в правой руке и с деревянным ружьём в левой, а грудь её прикрывала медицинская марля из клиник, сложенная в несколько слоёв так плотно, что сквозь неё ничего не было видно.

Высокая и прямая, с поднятым знаменем, она стояла на кресле и смотрела поверх толпы на выход и на небо, и толпа внизу замолчала так же, как замолкал зал, когда она пела.

Оркестр заиграл «Марсельезу».

И пошёл дождь.

Ольга оказалась права: облака, которые с утра бежали с запада, с реки, наконец добежали до площади. Сначала упало несколько капель, крупных, тёплых, майских, а потом вдруг, сразу, стеной хлынул тёплый, шумный, косой весенний ливень и обрушился на площадь, на толпу, на трибуну, на ступени собора, на баррикаду, на «павших» и на Ольгу.

Однако толпа не разбежалась, а продолжала стоять под дождём, раскрыв рты, потому что марля намокла.

Лена знала, что медицинская марля, даже сложенная в несколько слоёв, плотная и непрозрачная, намокнув, становится совершенно прозрачной, как стекло, как кожа, прилипает к телу и повторяет каждый его изгиб, каждую линию и каждую тень; она знала это, она сама принесла эту марлю и должна была об этом подумать.

Ольга стояла под ливнем на позолоченном кресле Кошеваровой, на вершине баррикады, во фригийском колпаке и с поднятым красным знаменем, и марля на её груди была прозрачна, как вода, а мокрый красный хитон облепил её тело от плеч до колен, но она не шелохнулась.

Она так и стояла с поднятым знаменем, глядя поверх толпы и ни разу не моргнув, как Свобода у Делакруа.

«Профессионалка, — подумала Лена. — Она знала и всё-таки стояла».

И тогда толпа взорвалась.

Сначала со всех сторон раздался пронзительный свист мальчишек на заборах, гимназистов и матросов с пулемётными лентами, потом поднялся восторженный, животный рёв красногвардейцев, железнодорожников, мадьяр, латышей и китайцев, а за ним понеслись крики: «Браво!», «Свобода!», «Вот это Свобода!», «Да здравствует!». Кто-то кидал шапки на ступени собора, на баррикаду, в лужи; кто-то полез на ступени, и его стаскивали назад; командир с усами, бросив поводья своей белой лошади, хохотал и аплодировал.

А старухи у ограды сквера часто и мелко крестились, с ужасом глядя на то, что творилось: на ступенях собора, перед иконой над входом, на Страстной неделе стояла голая! Одна из них, вся в чёрном, упала на колени прямо в лужу и стала громко, с плачем молиться вслух: «Господи, прости им, не ведают, что творят!» В толпе Лена увидела Нехлюдова, мокрого, с непокрытой седой головой и с бородой, с которой текла вода; он стоял, смотрел на Ольгу, плакал, крестился и что-то шептал, наверное, «Крейцерову сонату».

На трибуне поднялась суматоха. Беленец стоял, тяжело опершись о перила, с непроницаемым лицом; комиссар просвещения, размахивая руками, что-то кричал кому-то внизу; человек в пенсне из ЧК писал в папку, прикрывая её от дождя рукавом. Лена посмотрела на отца: он стоял у края трибуны, мокрый, в шинели, и смотрел на баррикаду и на Ольгу, но какое у него было лицо, Лена издали разглядеть не могла. Было ли оно растерянным или смущённым? Или, может быть, отец просто не понимал, что происходит, потому что очки ему залило дождём и он снял их и протирал полой шинели, ничего не видя?

Дождь кончился через десять минут так же внезапно, как начался. Облака ушли на восток, за реку, снова выглянуло яркое майское солнце, площадь задымилась паром, мокрые булыжники заблестели, и с карниза собора закапало.

Ольга медленно сошла с кресла, придерживая знамя; марля на её груди уже начала просыхать на солнце и мутнеть. Босиком, по мокрому граниту, она спустилась по ступеням собора мимо «павших», которые поднимались и отряхивались, и ушла за колонну, где стоял Лебядкин.

Лебядкин, промокший насквозь, в кожанке, с которой текло, в жёлтой кофте, прилипшей к шее, и в залитом водой пенсне, стоял за колонной и плакал от счастья.

— Созрели! — кричал он, обнимая мокрую Ольгу во фригийском колпаке. — Ольга Константиновна! Вы слышали? Вы видели? Массы созрели! Они поняли! Они приняли! Свобода нагая! Свобода правдивая! Это природа! Сама природа дала дождь! Сама природа сняла покров! — Он поцеловал Ольгу в мокрую щёку. — Это знак! Я же говорил утром, что это знак!

— Тимофей Игнатьевич, — сказала Ольга, высвобождаясь из его объятий, — утром вы говорили, что это знак того, что дождя не будет.

— Неважно! — ответил Лебядкин. — Это диалектика!

А через час, как Лена узнала вечером в театре от Ольги, комиссар просвещения составил протокол «О непристойном поведении на ступенях собора в день Первого мая, оскорбляющем религиозные чувства несознательной части населения и компрометирующем Советскую власть». В протоколе говорилось, что «т. Лебядь допустил грубую политическую ошибку, выразившуюся в использовании медицинской марли вместо надлежащей ткани», и что «вопрос о дальнейшем финансировании театральной секции губнаробраза будет рассмотрен». На следующий же день в «Знамени революции» напечатали заметку под названием «Мистерия на

мокром месте», без подписи, но Лена узнала в ней сухой, точный и злой стиль комиссара в пенсне. Кончалась заметка словами: «Пролетариату нужна не нагота, а правда».

Лебядкин вырезал заметку, вставил её в рамку и повесил над своим столом в театре.

— Это слава, — объяснял он. — Это первая рецензия пролетарской критики! Ругают, значит, заметили!

Лена шла с площади домой мимо трибуны, которую уже разбирали, мимо мокрых знамён и луж, в которых плавали шапки, и думала о том, что эту марлю она принесла из клиник сама, как «полупрозрачную ткань», хотя она, медичка, знала, что мокрая марля становится прозрачной, знала это с первого курса, с первой своей перевязки, и должна была об этом подумать.

Или она всё-таки подумала?

Этого она не знала. Всё было так же, как с флаконом «L'Heure Bleue», который она открыла и закрыла, и как с платком, который она надела: тело знало что-то такое, чего не знала голова, и это тело принесло марлю.

У ворот дома она остановилась.

На ступеньке крыльца сидел Ференц, мокрый, без кепи, в шинели, с которой ещё текло. Древко с плакатом на эсперанто лежало рядом, у его ног; мокрый плакат был свёрнут, и зелёная звезда на нём расплылась от дождя и стала похожа на кляксу.

Он поднял на неё бледные голубые глаза.

— Ми видис, — сказал он на эсперанто, что значило «Я видел». — Свобода. На собор. — Он покачал головой. — Ne bone. Нехорошо. — И, помолчав, прибавил: — Бог — смотреть.

Лена смотрела на него и думала о том, что перед ней красногвардеец, интернационалист и, наверное, атеист, хотя она никогда его об этом не спрашивала, и вместе с тем католик, который крестился слева направо; что он нёс по городу плакат «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на эсперанто, а теперь ему было стыдно перед Богом за мокрую марлю на ступенях собора.

— Ne bone, — согласилась Лена.

Ференц кивнул, встал, поднял древко с мокрым плакатом и ушёл в дом, к себе, где стоял рояль, и в тот вечер не играл.

15.2. Пасха

Фёкла начала печь в Великий четверг.

Начала она так же, как начинала всегда, сколько Лена себя помнила: затемно, в четыре утра, при свече, в чистом переднике и с молитвой. Опару она поставила с вечера на тёплую печь, укрыв её полотенцем, а поверх полотенца ещё и старой своей шалью, той самой китайской, цвета слоновой кости, с лиловыми птицами, которую Лена отдала ей в ноябре и которую Фёкла с тех пор берегла «по праздникам». Мука была последняя, крупчатка, полпуда, выменянные в марте у мешочника на две серебряные ложки из буфета, о чём Лена знала и молчала. Яйца были от своих кур, двадцать штук, которые Фёкла копила две недели; масло дала Мадамка; сахар взяли из Лениного запаса, купленного в феврале у китайца на Базаре за червонец. Изюм Фёкла выковыривала из старой коробки с монпансье, где он пролежал с довоенного Рождества, а щепоть шафрана, завёрнутую в бумажку, принесла Настасья Ивановна, сказав, что он «ещё оттуда»; Фёкла не объяснила откуда, а Лена не стала спрашивать.

Вышло три кулича, высоких и золотых, испечённых в жестяных формах, которые изнутри обкладывали промасленной бумагой, и пасха, творожная, простоявшая сутки в погребе под гнётом в деревянной пасочнице с вырезанными буквами «Х» и «В».

— Один нам, — сказала Фёкла, вынимая куличи из печи в Великую субботу, к полудню, и ставя их боком на подушку, чтобы не осели. — Один Петру Сергеичу, в ревком снесу: пусть хоть разговеется, антихрист. — Помолчав, она добавила: — А один Марье Павловне, с пасхой и с яичками. В тюрьму, передачу.

Яйца она красила ещё с вечера в луковой шелухе, которую с осени копила в мешочке за печкой, и выходили они красные, бурые, золотисто-коричневые, да ещё с узорами, потому что Фёкла обвязывала их нитками и прикладывала к скорлупе листики петрушки, а когда снимала нитки, на яйцах оставались белые полоски, листики и звёздочки. Глядя на них, Лена подумала, что они похожи на японский платок, на его белых цапель.

В Великую субботу утром Фёкла понесла передачу и к обеду вернулась с той же корзинкой, накрытой чистым полотенцем, в которой нетронутыми лежали кулич, пасха и шесть красных яиц.

— Не взяли, — сказала Фёкла, поставив корзинку на стол и опустившись на лавку. — Не положено, говорят, подследственным не положено, по распоряжению Чрезвычайной: ни передач, ни свиданий. — Она помолчала. — Надзиратель там старый, тот, усатый, я его знаю, он ещё при барыне служил, так он мне тихо сказал: «Не носи, мать, не дойдёт, сами съедят». — И, переждав, закончила: — Я и не оставила.

Посидев ещё немного, она встала, взяла из корзинки кулич, отрезала от него крошечный, с ноготь, краешек и положила себе в рот, а потом стала медленно жевать, глядя в окно.

— Это за неё, — сказала она. — Пусть хоть так.

Ночью они пошли к заутрене.

Воскресенская церковь, белая и высокая, с зелёными куполами, стояла на горе в пяти минутах от дома, и колокольню её Лена каждое утро, сколько себя помнила, видела из окна мезонина. В этой церкви двадцать лет назад, восьмого марта, в Крестопоклонное воскресенье, её крестил отец Никандр; так ей рассказывали, только рассказывал не отец, который никогда об этом не говорил, а Фёкла. «Крёстные — Настасья Ивановна да Степан Ильич, старичок такой, кариец», — говорила она, а Лена не знала ни кто такой Степан Ильич, ни что значит «кариец», и однажды, ещё в детстве, спросила, на что Фёкла ответила: «С каторги. С Кары. Хороший был старичок. Лошадку тебе вырезал». Облезлая деревянная лошадка до сих пор стояла на полке в мезонине, рядом с гербарием.

К одиннадцати церковь была полна, и народ стоял уже на паперти, в ограде и на улице, с узелками, с корзинками, с куличами, обвязанными белыми салфетками, со свечами, которые ещё не зажигали. Были тут бабы в праздничных платках, мужики в чистых рубахах, старухи в чёрном, гимназисты, курсистки, барышни в шляпках и купцы из тех, кто ещё остался в городе, в поддёвках и с жёнами в шёлковых платках. Были и красногвардейцы, человек пять или шесть, стоявшие у ограды с винтовками, однако Лена видела, что пришли они не для порядка, а сами по себе: один снял папаху, другой держал свечку, а третий крестился, озираясь, не видит ли командир.

Фёкла, работая локтями, как всегда работала на Базаре, провела Лену сквозь толпу внутрь, к правому клиросу, к иконе Казанской, у которой стояла каждый год, и Лена встала рядом с ней в маминой шубе, потому что ночь была холодная, в платке и с незажжённой ещё свечой в руке.

У самого входа, в притворе, где толпа была гуще всего, она увидела рыжие усы. Это был Ференц, в шинели, с кепи в руках; прижатый толпой к стене, высокий, на голову выше всех вокруг, он смотрел на иконостас, на золото, на свечи и лики, и лицо у него было растерянное и тихое, как у ребёнка, которого привели в незнакомый дом.

Лена поняла, что он пошёл за ними, когда они выходили из калитки, что он держался сзади, на расстоянии, по тёмной улице и вошёл в церковь следом за ними, но остался у двери, потому что не знал, можно ли ему, католику, мадьяру и красногвардейцу, войти в православную церковь, и на всякий случай не шёл дальше порога.

Фёкла тоже его увидела, долго на него посмотрела, поджала губы и отвернулась к Казанской.

В полночь погасили свечи, все и сразу, и церковь погрузилась в полную, густую, тёплую темноту, пахнущую воском, ладаном, овчиной и людьми. В этой темноте и тишине из алтаря, из-за закрытых Царских врат, тихо, словно издалека, запел хор: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех…»

Царские врата открылись, и вышел священник с одной большой свечой, с трёхсвечником, от которого зажгли свои свечи дьяконы; от дьяконов зажгли те, кто стоял впереди, от них те, кто стоял за ними, и огонь пошёл по церкви от свечи к свече, от руки к руке, волной, как пожар или как рассвет. Лена протянула свою свечу к Фёклиной, и, когда Фёклина свеча зажгла её свечу и в лицо ей ударил тёплый, живой, дрожащий свет, она обернулась и увидела, как огонь дошёл до притвора, до двери и до Ференца.

Какая-то баба в платке, стоявшая рядом с ним, сунула ему в руку свечу и зажгла её от своей, и он так и стоял у двери, высокий, рыжий, в серо-голубой шинели, со свечой, свет которой падал ему на лицо снизу, и Лена запомнила, что лицо это было мокрым.

Крестный ход вышел из церкви и двинулся вокруг храма, по ограде, в темноте майской ночи, со свечами, хоругвями и иконами, и тут разом ударили колокола: с Воскресенской, с собора, с Троицкой, с Благовещенской, со всех церквей Томска, как в прошлом году, как при царе, как всегда. Звон покатился над городом, над горой, над Ушайкой, над разлившейся в половодье Томью, и никто его не запретил; ревком не запретил тоже, то ли забыв, то ли не посмев.

Когда же ход обошёл храм и остановился перед закрытыми дверями, священник поднял крест и крикнул громко, на весь двор и на всю ночь:

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — ответила вся ограда, сотнями голосов разом.

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

Двери открылись, и все пошли внутрь христосоваться.

Фёкла трижды, крест-накрест, поцеловала Лену в щёки сухими старушечьими губами и сказала: «Христос воскресе, барышня», а когда Лена ответила: «Воистину воскресе, Фёкла», заплакала, как плакала на этом месте каждый год, полезла в узелок, достала красное яйцо и дала его Лене.

Потом, Лена это видела, она повернулась к двери, к Ференцу, который стоял всё там же со своей свечой и не знал, что ему делать. Вокруг все целовались по трое раз, крест-накрест, повторяя «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», а он стоял, смотрел и не знал, можно ли ему.

Фёкла подошла к нему, маленькая и сгорбленная, в праздничном платке, ростом ему по плечо, и долго смотрела на него снизу вверх.

— Христос воскресе, — сказала она.

Ференц не понял и растерянно посмотрел поверх Фёклиной головы на Лену.

— Скажите «воистину воскресе», — сказала Лена. — Vere leviĝis. Это значит: «правда, воскрес».

Ференц посмотрел на Фёклу.

— Во-ис-ти-ну, — медленно, по слогам, выговорил он. — Вос-кре-се.

Фёкла кивнула и поднялась на цыпочки, потому что он был слишком высокий, а он, поняв, нагнулся, и она трижды, крест-накрест, поцеловала его сухими старушечьими губами в рыжие усы и в бледные, мокрые щёки.

Потом она полезла в узелок, достала самое красивое красное яйцо, с белыми листиками петрушки, и сунула ему в руку.

— На, — сказала она. — Басурман. Ешь. Разговейся.

Ференц держал на ладони красное, тёплое яйцо с белыми листиками и смотрел на него, а потом поднял глаза на Фёклу и сказал что-то короткое и тихое, не по-русски и не на эсперанто, а по-мадьярски, и Лена не поняла слов, но поняла смысл.

Потом он крестился слева направо, по-католически, а Фёкла смотрела на это и не поправляла.

Когда они выходили, у ограды Лену окликнули.

— Трофимова! — сказал высокий голос. — Лена!

Она обернулась. Под фонарём, который горел ради Пасхи, один из немногих в городе, стоял Великопольский.

Она не видела его с января, с ночи разгона думы, или нет, ещё раньше, с декабря, со студенческой сходки, когда он подписал рядом с ней резолюцию в защиту Учредительного собрания. Он изменился и окреп ещё больше, чем в ноябре, когда работал грузчиком на пристани и вернул ей десять рублей. Он успел загореть, хотя был только май, лицо его стало обветренным и тёмным, белобрысые волосы ещё больше выгорели на солнце, плечи раздались, а длинные нескладные руки сделались жилистыми и сильными. На нём была старая студенческая тужурка, поверх неё грязный белый халат с бурыми пятнами, а на рукаве повязка с красным крестом.

— Я в лазарете, — сказал он, — на пристани, фельдшером, с марта. Раненых возят с низовьев, там бои с белоказаками, ещё с кем-то. — Он помолчал. — Я тебя видел в театре, в апреле, но не подошёл. — И, помедлив, прибавил: — Ты была как… — но не договорил.

— Как кто?

Великопольский покраснел до ушей, как краснел всегда, с первого курса.

— Как Магдалина, — сказал он. — На картине, у Тициана, с распущенными волосами. — И, покраснев ещё сильнее, добавил: — Прости. Глупо.

Лена засмеялась.

Он подошёл ближе и долго смотрел на неё при свете фонаря и свечи, которую она ещё держала, а потом сказал своим дьяконским, гулким, круглым голосом, который так и не научился прятать:

— Христос воскресе, Лена.

— Воистину воскресе.

И он поцеловал её трижды, как положено, крест-накрест: в правую щёку, в левую и снова в правую.

Губы у него были обветренные, шершавые и тёплые, такие же, как тогда, в марте прошлого года, у костра на посту у Базарного моста, и как в апреле, на Пасху, у костра возле церкви, когда он рассказал ей про отречение Петра и про петуха и поцеловал её, и тело откликнулось, и пульс был девяносто шесть, и она записала в тетрадь: «Наблюдение продолжить».

С тех пор прошёл год, ровно год, от Пасхи до Пасхи. Тогда этот поцелуй был первым и значил всё, тогда тело впервые проснулось от сухих обветренных губ семинариста у костра, а теперь это был только обряд, «Христос воскресе», трижды и крест-накрест, как у Фёклы с Ференцем, как у всех в ограде, как у всей России в эту ночь, и ничего больше.

Тело молчало.

Оно молчало совсем: не было ни тепла, ни пульса, ни колокола, ни далёкого, ни близкого. Лена стояла в ограде Воскресенской церкви, под фонарём, со свечой в руке, Великопольский трижды целовал её в щёки, и она чувствовала его шершавые тёплые губы, но ничего за этим не следовало, как будто целовали не её, а икону.

Но для него, и она увидела это, когда он отстранился и посмотрел на неё, это был не обряд: для него всё по-прежнему значило всё, как год назад. Его серьёзные, совсем не мальчишеские глаза, такие же, как тогда у костра, смотрели на её губы, и, хотя поцеловать её в губы он бы никогда не посмел, он на них смотрел.

И Лене стало его остро, до боли жалко, так же, как жалко было в марте отца, когда тот плакал рядом с сыном лейтенанта Шмидта.

— Я на пристани, — сказал Великопольский. — Если что, если понадоблюсь, спроси в лазарете Великопольского, меня там все знают. — Он помолчал. — Лена, береги себя. Говорят, скоро что-то будет. Чехи. Говорят, в Мариинске уже, или будут. — И, переждав, договорил: — Я не знаю, на чьей ты стороне, и не спрашиваю. Но береги.

— А ты на чьей?

Великопольский подумал.

— На стороне раненых, — сказал он. — Мне всё равно, кто их ранил. — И, помолчав, прибавил своим дьяконским голосом: — Отец говорил: прошлое связано с настоящим непрерывной цепью; тронешь один конец, дрогнет другой. — Он улыбнулся. — Я теперь понимаю, что это значит. Раненый — это когда дрогнуло.

Он ушёл, длинный и нескладный, в грязном халате поверх студенческой тужурки, вниз по горе, к пристани и к лазарету, а Лена смотрела ему вслед и думала, что вот и он тоже не играет, как Пепеляев, только по-другому: Пепеляев не играет, потому что он солдат, а Великопольский потому, что не умеет. И при этом его она не любит, а Пепеляева любит, и почему так, она не знала.

У самого выхода из ограды к ней подлетел Нехлюдов, в распахнутой бобровой шубе, без шапки, с седой бородой, с красным яйцом в одной руке и с обвязанным салфеткой куличом в другой, и лицо его сияло так же, как сияло на иордани, на Крещение, и в тот день, когда церковь отделили от государства.

— Христос воскресе, барышня! — закричал он и, не дожидаясь ответа, трижды, крест-накрест, мокро и колюче поцеловал её, задевая бородой. — Воскресе! Воскресе! Вы слышите — воскресе! И никто не запретил! Ни Синод, ни ревком! Никто! Это народ! Это вера! Не казённая — народная! Лев Николаевич говорил…

Договорить он не успел, потому что увидел у ограды тех пятерых красногвардейцев с винтовками и бросился к тому из них, который держал свечку.

— Христос воскресе, товарищ!

Красногвардеец, молодой, деревенский и растерянный, посмотрел на старика в бобровой шубе, потом на свою свечку, потом на товарищей, но товарищи глядели в сторону.

— Воистину, — тихо сказал красногвардеец.

И Нехлюдов трижды поцеловал его в щёки, колясь седой бородой, а красногвардеец не отстранился.

— Вот! — закричал Нехлюдов, сияя и оборачиваясь к Лене. — Вот! Видите! Вот она, Россия! Князь и красногвардеец христосуются! — Он заплакал. — Вот оно, непротивление! Вот оно, Царство Божие! Внутри нас!

И он пошёл христосоваться со вторым красногвардейцем, а когда тот отступил на шаг, догнал его.

Под утро, когда Фёкла уже спала, а Ференц всё ещё сидел на кухне и смотрел на красное яйцо, которое не решался съесть, Лена ушла из дома.

Она пошла через весь город по пасхальным улицам, где ещё возвращались с заутрени люди, прикрывая ладонями свечи от ветра, вниз с горы, через Ушайку, через Заисточье, тем же путём, каким шла в марте прошлого года с Марьей Павловной копать клад и каким в Рождество, в бальном платье под маминой шубой, ходила к холму Грушницкого.

Вознесенское кладбище в майский рассвет было совсем зелёным: берёзы стояли в первой листве, прозрачной и клейкой, пахнущей так, что кружилась голова, между крестами и оградами по колено поднялась молодая трава, у ограды пенно и бело цвела черёмуха, и пели все птицы сразу.

Чайка стояла на холме, белая на зелёном, раскинув крылья и повернув голову к реке, на чёрном волнистом постаменте с надписью «НИНА. АРТИСТКА». Кто-то, может быть Фёкла, а может быть, и кто-то другой, положил к постаменту ветку черёмухи, должно быть, ещё вчера, потому что цветы уже чуть увяли.

Лена достала из кармана два красных луковых яйца с белыми узорами, листиками, полосками и звёздочками, которые Фёкла дала ей в церкви, и одно из них положила на траву у самого камня, к постаменту чайки.

— Мама, — сказала она. — Христос воскресе.

Чайка смотрела на реку.

Второе яйцо Лена долго держала в руке и потом положила рядом с первым.

— Это Марье Павловне, — сказала она. — Ей не передали, не положено. — И, помолчав, попросила: — Ты передай. Ты же её знаешь, ты с ней была на Мальцевской восемь лет.

Чайка смотрела на реку.

А в пятидесяти шагах, у ограды, был холм Грушницкого, уже зелёный, заросший травой, с деревянным крестом, на который кто-то, наверное мать из Мариинска, повесил веночек из бумажных цветов, выцветших за зиму. На самом холме не было ничего, не было и нитки жемчуга, которую Лена положила туда в Рождество: её, видимо, кто-то взял.

Лена этому не удивилась. Она постояла у холма Грушницкого, потом у чайки и пошла домой.

Над городом всё ещё звонили колокола, которые будут звонить весь день и всю Светлую седмицу, а над Томью, над разлившейся в половодье до самых заречных лугов водой, вставало солнце, пасхальное, майское и последнее при этой власти.

Но этого она ещё не знала.

15.3. Грим

Михайлов привёл его в театр в ночь на двадцать седьмое, во втором часу.

Лена не знала, что они придут. Она сидела одна в маленькой артистической при свече и снимала грим после вечернего концерта, «вечера смычки трудящихся с интернационалистами», на котором она в последний раз перед тем, как всё началось, танцевала с шалью. Ольга ушла раньше с каким-то комиссаром, «по делу»; Лебядкин спал на диване в бывшей директорской под портретом балерины, обняв папку с вырезкой «Мистерия на мокром месте», а глухой старик сторож дремал на табуретке у служебного входа.

В дверь артистической постучали тихо, три раза и потом, помедлив, ещё раз, и Лена открыла.

В тёмном коридоре стоял Михайлов, бледный, небритый, с воспалёнными глазами, в своём чужом пиджаке и в валенках с Тайги, хотя был уже май, а за ним, в хорошем пальто с поднятым бобровым воротником и в шляпе, надвинутой на глаза, стоял высокий человек, в котором Лена узнала Алмазова.

— Елена Петровна, — шёпотом сказал Михайлов. — Слава Богу. Мы думали, вы ушли. — Он оглянулся на тёмный коридор. — Ольга Константиновна здесь?

— Ушла.

Михайлов на секунду закрыл глаза.

— Тогда вы, — сказал он. — Вы умеете гримировать?

Лена посмотрела на него, потом на Алмазова. Тот снял шляпу и коротко, по-военному поклонился ей, и даже в темноте коридора, в этот глухой час, бледный и небритый, он умудрился поклониться так, словно стоял на сцене и видел перед собою зал.

— Мадемуазель, — сказал он. — Простите за поздний визит. Обстоятельства.

Обстоятельства Михайлов объяснил потом, уже в артистической, шёпотом, при свече, пока Лена запирала дверь на крючок и задёргивала занавеску на окне.

Вечером ЧК взяла троих из тех, кто работал с Алмазовым в «Закупсбыте» по удостоверениям, которые Лена в марте печатала на бланках Гомаровского. Их взяли на квартирах, по наводке, но выдал ли их кто-нибудь или кого-то из них выследили, Михайлов не знал. При обыске у одного нашли групповую фотографию, сделанную в апреле в Новониколаевске, у фотографа на Николаевском проспекте: «служащие кооперативного союза», шесть человек в пиджаках и галстуках на фоне нарисованной балюстрады, и в центре Алмазов, красивый и уверенный, с подкрученными усами и взглядом из партера.

— Его ищут по этой фотографии по всему городу, — сказал Михайлов. — Проверяют на вокзале, проверяют на пристани, проверяют на тракте; его лицо лежит в кармане у каждого чекиста. — Он помолчал. — А ему нужно уйти сегодня же, утром, первым пароходом в Новониколаевск. Там его люди, там чехи, там всё решается. Если он не доберётся, всё может сорваться.

— Он не может уйти со своим лицом, — спокойно сказал Алмазов. Он сидел на табуретке перед зеркалом, закинув ногу на ногу, не снимая хорошего пальто, и внимательно, оценивающе разглядывал себя, будто видел впервые. — Моё лицо, мадемуазель, слишком… запоминающееся. Это мой капитал и моя беда. — Он чуть повернул голову, рассматривая профиль. — Маруся всегда говорила: «Алёша, тебя невозможно спрятать. Ты как памятник. На тебя все смотрят». — И, помолчав, прибавил: — Сегодня это недостаток.

Лена посмотрела на его отражение. Лицо и вправду было запоминающееся: крупное, красивое, властное, с высоким лбом, с густыми прямыми тёмными бровями, с тёмными, блестящими, насмешливыми глазами, с прямым носом с горбинкой, с тёмными, чуть закрученными кверху усами, ухоженными даже теперь, после суток беготни, и с тяжёлым, твёрдым подбородком с ямочкой. Это было лицо офицера с плаката или актёра провинциальной труппы, который играет королей, лицо, которое, увидев однажды, уже не забудешь; а нужно было сделать так, чтобы его забыли.

— Хорошо, — сказала Лена. — Садитесь ближе к свету.

Она никогда никого не гримировала, кроме себя, да и себя, по правде говоря, гримировала не она, а Ольга, Лена же только смотрела и запоминала. Но запоминала она хорошо, так, как медичка запоминает кости, мышцы и сосуды: кольдкрем служит основой, пудра даёт тон, сурьмой кладут тени, линии и морщины, гуммозом меняют форму носа и подбородка, лаком приклеивают, а волосы хранятся в ящике костюмерной, в коробках, — бороды, усы, парики и брови из старых спектаклей «Интимного театра», из «Весенних чар», из «Ревизора», которого ставили ещё до войны, из оперетт.

Она открыла ящик костюмерной, нашла коробку с париками и перебрала её. Седой парик, длинный, лохматый, с залысиной, на картонке которого карандашом было написано «Городничий», подходил. Подходила и борода, тоже седая, широкая, окладистая, купеческая, с проседью, на марле, с надписью «Купец Сила Ерофеич». Потом нашлись кустистые, седые, торчащие брови без всякой надписи, железное пенсне с простыми стёклами, без диоптрий, длинная синяя суконная купеческая поддёвка и картуз с лакированным козырьком.

Михайлов молча стоял у двери, прислонившись к косяку, и смотрел, как она раскладывает всё это на ящике у зеркала, а Алмазов смотрел на себя в зеркало.

— Снимите пальто, — сказала Лена. — И галстук. И воротничок.

Алмазов снял и остался в белой, тонкой, хорошей рубашке с расстёгнутым воротом, из которого видна была сильная загорелая шея, и Лена отвела глаза.

— Усы, — сказала она. — Их нужно…

— Нет, — быстро и твёрдо сказал Алмазов, впервые за вечер без улыбки. — Нет, мадемуазель. Усы — нет. — Он помолчал и снова улыбнулся. — Маруся меня не узнает. Она за десять лет ни разу не видела меня без усов. Она скажет: «Кто этот голый человек?» — И, выдержав паузу, закончил: — Наклейте бороду поверх. Под бородой не видно.

Лена посмотрела на него, подумала, кивнула и начала.

Сначала нужно было пальцами положить на лицо кольдкрем, и, прикоснувшись к его лицу, она замерла.

Она никогда не прикасалась к мужскому лицу так. Как врач она касалась лиц сотни раз, на практических занятиях и в клиниках, щупая лбы больных, оттягивая веки, глядя в зрачки, раскрывая рты, ощупывая шеи и лимфоузлы. Как женщина она касалась лица Гомаровского в ноябре и в декабре, в номере четырнадцатом, ночью, в темноте, под шубой, — его щёк, его губ, его седых висков. Но так она не касалась никогда.

Это было что-то третье, ни врачебное, ни женское: так касается художник, скульптор или гримёр, для которого лицо есть материал, глина или холст и которому нужно переделать его, стерев одно и нарисовав на его месте другое.

И всё было совсем не так, как с Гомаровским. С Гомаровским вёл сначала он, и лишь в новогоднюю ночь стала вести она, но и тогда, когда вела она, он сам ей это позволял, и это было его уступкой и его подарком: она сказала «Не говорите ничего», и он молчал, потому что сам решил молчать.

Здесь же вела она одна, совершенно. Он неподвижно сидел перед зеркалом на табуретке и ничего не мог: не мог пошевелиться, потому что она клала кольдкрем, не мог говорить, потому что она трогала его губы, не мог отвернуться, потому что она держала его подбородок, — он мог только сидеть и смотреть на неё в зеркало, а она делала с его лицом что хотела.

Переворот, подумала Лена, это настоящий переворот.

Кольдкрем она клала сначала на лоб, медленно втирая его пальцами от бровей к линии волос. Лоб был высокий, гладкий и горячий, и под пальцами она чувствовала, как в виске бьётся пульс, частый, гораздо чаще, чем следовало бы биться пульсу у человека, неподвижно сидящего на табуретке.

Потом кольдкрем лёг на скулы, на щёки и под глаза. Кожа у него была плотная, загорелая, мужская, а на подбородке и на щеках пробивалась жёсткая суточная щетина, коловшая ей пальцы.

Потом она положила кольдкрем на губы и вокруг губ, под усами, и, когда она провела пальцем по его верхней губе, губа чуть-чуть дрогнула. Лена подняла глаза к зеркалу и встретила его взгляд.

Он смотрел не на себя, а на неё, в зеркало, своими тёмными, блестящими, насмешливыми глазами, но насмешки в них сейчас не было, а было что-то другое. Лена отвела глаза и продолжала.

Для тона она взяла не жирную театральную лейхнеровскую пудру, а другую, желтоватую, серую, «стариковскую», как называла её Ольга, и наносила её пуховкой, похлопывая, так что лицо под пудрой серело, тускнело, теряло загар и молодость. Ему было тридцать семь, как сказал Михайлов, а под пудрой становилось пятьдесят.

Самым трудным были морщины, которые рисуют сурьмой. Лена взяла тонкую кисточку, обмакнула её в сурьму, разведённую маслом, и стала рисовать: на лбу три глубокие горизонтальные морщины, как у Нехлюдова; у глаз «гусиные лапки», расходящиеся веером к вискам; от носа к углам губ глубокие горькие складки, как у Марьи Павловны; под глазами серо-синие мешки из сурьмы, растушёванной пальцем. Рисуя, она вспоминала лица: отца в феврале, после кризиса, Потанина в январе, в пледе, Короткова над стеной из спичечных коробков, — и рисовала на лице Алмазова лица стариков, которых видела в этом году, их усталость, их страх, их безумие.

Он сидел неподвижно и смотрел в зеркало то на неё, то на себя, то снова на неё.

— Вы рисуете мне жизнь, мадемуазель, — тихо сказал он, едва шевеля губами, чтобы не испортить морщины у рта. — Которой у меня ещё не было.

— Не разговаривайте, — сказала Лена. — Испортите.

И он замолчал, как замолчал Гомаровский в новогоднюю ночь, когда она ему велела.

Потом пришёл черёд кустистых седых бровей, которые она посадила на лак поверх его собственных, густых и тёмных. Лена прикладывала их пальцами и держала, пока лак не схватится, и пальцы её лежали на его горячем лбу, а пульс в виске бился ещё чаще.

Затем она надела на него седой лохматый парик с залысиной, «Городничего», осторожно, двумя руками, заправила под него его тёмные волосы, подоткнула и поправила, и, пока её руки были у него в волосах, он на секунду закрыл глаза, а потом открыл.

Последней была борода «купца Силы Ерофеича», широкая, окладистая, седая с проседью, на марле. Лена намазала марлю лаком и стала приклеивать её от висков по скулам и щекам под подбородок, поверх усов, которые он не дал сбрить. Она прижимала марлю пальцами, держала, ждала, пока лак схватится, и прижимала снова, и пальцы её долго лежали на его щеках, на подбородке, на шее под подбородком, минуту, две, пять, пока борода наконец не схватилась.

И когда она прижимала бороду к его подбородку, к ямочке, его рука медленно поднялась и легла на её правое запястье, на ту руку, которой она держала бороду; пальцы его легли чуть выше края рукава, туда, где бьётся пульс, так же, как в первый раз, в марте, на квартире кооператора, когда он пожал ей руку и задержал её на секунду дольше, чем было нужно. И сейчас он задержал её на секунду, на две, на три.

Лена не отняла руки, да и не могла отнять, потому что держала бороду, а лак ещё не схватился.

Она стояла над ним, наклонившись и держа бороду на его подбородке, а он сидел, держа её запястье, и смотрел на неё в зеркало, и она тоже смотрела на него. В зеркале сидел старик, седой, лохматый, с залысиной, с кустистыми бровями и окладистой бородой, с морщинами и мешками под глазами, купец второй гильдии Сила Ерофеич, но глаза у старика были его, тёмные и блестящие, и смотрели они на неё.

Она почувствовала, как откликнулось тело: снизу поднялось тепло, пульс участился, но считать его она не стала. Так было с поручиком Лукашем, когда он поцеловал ей запястье, и так было с флаконом «L'Heure Bleue»: далёкий колокол, только звучал он теперь ближе, чем с Лукашем.

Михайлов у двери кашлянул, и Алмазов убрал руку. Лена выпрямилась; борода держалась.

— Готово, — сказала она хриплым голосом и откашлялась. — Пенсне. Поддёвка. Картуз.

Алмазов надел пенсне и встал. Михайлов подал ему длинную синюю суконную поддёвку, и он надел её, а потом надел и картуз с лакированным козырьком, чуть-чуть сгорбился, как сутулятся старики, слегка подогнул колени и посмотрел в зеркало.

Из зеркала на них смотрел купец лет пятидесяти пяти или шестидесяти, седой, бородатый, сутулый, в поддёвке, в картузе и в железном пенсне, один из тех купцов, каких Лена видела сотнями на Базаре, у Второва, в соборе на Пасху, в очереди на пароход, купец, на которого никто не посмотрит дважды и которого невозможно запомнить.

Алмазов долго смотрел на себя, поворачиваясь то одним профилем, то другим, поправил бороду, поправил картуз, сгорбился сильнее, потом выпрямился и снова сгорбился.

— Купец второй гильдии, — сказал он другим голосом, хриплым, старческим, с сибирским оканьем, и Лена не знала, что он так умеет. — Сила Ерофеич. Торгую, значит, мануфактурой. В Новониколаевск — к свояку. На свадьбу. Внучку замуж выдаём. — Он засмеялся старческим, дребезжащим смехом, а потом сказал своим обычным, бархатным голосом: — Хорошая роль. Маруся не узнает.

Он повернулся к Лене и поклонился, но уже не по-военному, а по-купечески, в пояс, медленно, по-стариковски, и, выпрямившись, тихо сказал своим голосом:

— Мадемуазель, вы гримируете лучше, чем танцуете. — Он помедлил. — А танцуете вы лучше всех в Сибири. Я видел, в апреле, с галёрки. — И, помолчав, прибавил: — Не я один.

Лена вздрогнула.

— Когда всё кончится, — сказал Алмазов, — а оно кончится скоро, мадемуазель, через неделю, через две, — я вас найду. Мне понадобятся люди с самообладанием, с головой, с руками, которые не дрожат. — Он посмотрел на её руки. — В штабе. Или на сцене. Сибири нужна будет сцена, армии нужна будет сцена; без сцены не бывает армии. Это я вам говорю как бывший несостоявшийся актёр.

— Почему вы не стали актёром? — спросила Лена.

Алмазов подумал.

— Потому что в театре, мадемуазель, — сказал он, — всегда знаешь, чем кончится пьеса. А я люблю, когда не знаю.

Михайлов открыл дверь.

На рассвете Лена провожала «купца» до пристани. Михайлов не пошёл, потому что его тоже искали и у него тоже было лицо, и пошла одна Лена, в косынке сестры с красным крестом, с медицинской сумкой, рядом с «купцом», как идут сиделка и больной старик. Он тяжело, по-стариковски опирался на её руку, шаркал ногами и кашлял, а Лена чувствовала под рукавом поддёвки его руку, сильную, молодую и горячую.

Пристань в пятом часу утра была полна народу. Томь в половодье, широкая, мутная, жёлтая и быстрая, разлилась до самых заречных лугов, и пароходы стояли у дебаркадера, у самого берега: «Тобол», «Николай» и ещё один, без имени, со старым названием, замазанным краской. Над пристанью клубились пар и дым, ревели гудки, толкались грузчики с мешками, бабы с узлами, мешочники, солдаты, настоящие купцы с сундуками, а у сходней на «Тобол», первый пароход на Новониколаевск, стояли двое: красногвардеец с винтовкой и человек в кожанке с маленькой картонкой в руке. Это была фотография; Лена видела её издали, маленький прямоугольник с белым краем.

Человек в кожанке смотрел в лицо каждому, кто поднимался по сходням, потом на картонку и снова в лицо; мужчин он осматривал всех, а женщин пропускал.

Они встали в очередь, Лена с сумкой и «купец», который опирался на её руку и кашлял. Очередь двигалась медленно, а человек в кожанке всё смотрел, переводя глаза с картонки на лицо и с лица на картонку. Одного, молодого, в студенческой тужурке, с усиками, он остановил, долго сравнивал и отпустил. Другого, высокого, в пальто с бобровым воротником, тоже остановил и сравнивал, и красногвардеец снял с него шляпу, а человек в кожанке долго смотрел ему в лицо и потом махнул рукой: проходи.

Подошла их очередь. Лена шагнула вперёд, человек в кожанке посмотрел на неё, на косынку, на крест, на сумку, и кивнул: проходи, сестра. Лена прошла на сходни и обернулась.

«Купец» стоял перед человеком в кожанке, сгорбленный, в поддёвке и картузе, с окладистой седой бородой, в железном пенсне, опираясь на палку, которую дал ему Михайлов. Человек в кожанке посмотрел ему в лицо, потом на картонку.

Секунда. Две. Три.

Лена стояла на сходнях не дыша, и сердце у неё колотилось сто сорок, сто пятьдесят раз в минуту. Она знала, что на картонке снят красивый, уверенный тридцатисемилетний человек с подкрученными усами и взглядом из партера, а перед человеком в кожанке стоит шестидесятилетний купец с окладистой седой бородой и мешками под глазами, нарисованными её рукой, сурьмой, разведённой маслом.

— Куда, дед? — спросил человек в кожанке.

— В Новониколаевск, сынок, — прохрипел «купец», с сибирским оканьем. — К свояку. На свадьбу. Внучку, значит, замуж…

— Проходи, — сказал человек в кожанке и отвернулся к следующему.

«Купец» прошаркал по сходням мимо Лены, сгорбленный, опираясь на палку и кашляя, и, проходя, чуть-чуть, едва заметно коснулся пальцами её руки, запястья, там, где бьётся пульс, и ушёл на палубу.

Лена сошла на берег и стояла в толпе у дебаркадера, пока «Тобол», дав длинный хриплый гудок, медленно, задним ходом отваливал от пристани, разворачивался на мутной жёлтой воде и уходил вверх по Томи, против течения, к Оби, к Новониколаевску. На корме, у поручней, стоял сутулый седой купец в поддёвке и картузе; он не махал, а только смотрел на берег, и Лена тоже не махала.

К семи утра она вернулась в театр. Ольга была уже там, в артистической, у зеркала, и, увидев Лену, ни о чём не спросила, а только посмотрела на ящик у зеркала, на открытую коробку с париками, на баночку с лаком, на сурьму, на пуховку, на кольдкрем и на пустую картонку с надписью «Купец Сила Ерофеич».

— Ушёл? — спросила Ольга.

— Ушёл.

Ольга взяла баночку с кольдкремом, открыла её и стала втирать крем в руки, медленно и тщательно, между пальцами, как делала всегда после спектакля.

— Лучшая роль сезона, — сказала она. — Жаль, без аплодисментов. — И, помолчав, спросила: — Он хоть поклонился?

— Поклонился, — сказала Лена. — В пояс. По-купечески.

Ольга засмеялась.

— Актёр, — сказала она. — Настоящий. Пропал для сцены. — И, помолчав, глядя в зеркало, спросила: — Он руку тебе держал? Когда бороду клеила?

Лена не ответила.

— Держал, — сказала Ольга. — Он всем держит. Мне тоже держал, в апреле, когда я ему документы передавала. — Она вытерла руки. — Он, мадемуазель, такой же, как наш харбинский друг, только наоборот. Тот ничего не берёт, но всё помнит, а этот берёт всё, что дают, и ничего не помнит. — Она помедлила. — Через неделю он будет генералом. Через месяц забудет, как тебя зовут.

Лена смотрела на свои руки, на пальцах которых осталась серо-синяя сурьма от морщин, нарисованных ею на его лице, и не стала смывать её до самого вечера.

15.4. Мариинск

Двадцать пятого мая, в субботу, к вечеру, телеграф в ревкоме перестал стучать.

Он не сломался, а именно перестал, и Лена узнала об этом от Ольги, а Ольга от своего комиссара, только не от того, с которым ушла в ночь на двадцать седьмое (нет, это было раньше), а от другого, из телеграфной роты, круглолицего, с золотым зубом, который приходил на все её концерты и сидел в первом ряду, приоткрыв рот. Этот комиссар из телеграфной роты, бледный, сказал Ольге за кулисами шёпотом: «Мариинск молчит. С трёх часов. Мы стучим, а там молчат. Потом застучали, но не наши. Ответили: “Ждите гостей”». И засмеялся нехорошо, как смеются люди, которым страшно.

— Чехи, — сказала Ольга Лене вечером в артистической, снимая грим. — Взяли Мариинск. Сегодня. — Она стёрла кольдкремом румяна со щеки. — Говорят, без боя. Подошли эшелоном, вышли из вагонов, построились и вошли. Красные даже не стреляли. Разбежались.

Лена сидела на табуретке у зеркала, на той самой, на которой через два дня будет сидеть Алмазов, смотрела в стену и повторяла про себя одно только слово: Мариинск.

Думала она при этом не о чехах, а о маленьком деревянном доме на окраине Мариинска, в котором никогда не была, но который видела по письмам так ясно, словно сама жила в нём. Грушницкий писал ей оттуда летом пятнадцатого года, когда приезжал в отпуск: «Мама варит варенье из смородины, и весь дом пахнет так, что я не могу думать ни о чём, даже о Вас. Из окна видна Кия — мелкая, быстрая, с перекатами. Мама спрашивает, кто Вы, а я молчу». Мама

Грушницкого была вдова почтмейстера, та самая, которая в декабре сказала ей на кладбище «он вас любил», и сын её лежал теперь на Вознесенском кладбище, под берёзой, и жемчужной нитки на его кресте уже не было.

Знает ли она, подумала Лена, и подумала не про чехов, а про жемчуг, про то, что Лена приходила на могилу, про то, что сын её любил. Наверное, не знает, решила она, наверное, ей никто ничего не сказал.

И Лене вдруг захотелось сейчас же, сию минуту, сесть в поезд и поехать в Мариинск, к ней, к маме Грушницкого, сесть у неё в доме, где пахнет смородиной, и сказать: я та, о ком он молчал. Сказать не для того, чтобы что-то объяснить, а просто для того, чтобы она знала, что кто-то ещё его помнит.

Но поезда на Мариинск больше не ходили, и между Томском и Мариинском лежали теперь фронт, чехи, разобранные пути и три года.

Двадцать шестого, в воскресенье, чехи взяли Новониколаевск.

Это было уже не «без боя». В Новониколаевске в ночь на двадцать шестое восстало подполье, офицеры, такие же, как в Томске, и к утру город оказался в их руках; чешские эшелоны, стоявшие на станции, вышли из вагонов и помогли. Красные бежали, частью на пароходах вниз по Оби, частью на лошадях на юг, к Барнаулу. Телеграф в Томском ревкоме молчал теперь уже на два направления, на запад и на юго-запад, и работала только Тайга, на восток, на Красноярск, да и то с перебоями.

Город узнал обо всём к полудню, и узнал не из газет, потому что газеты не вышли, ни «Знамя революции», ни «Известия», а так, как узнают города в такие дни: от извозчиков, от торговок на Базаре, от телеграфисток, от гимназистов, бегавших по улицам с горящими глазами, от баб у колонок. По улицам ходило: «Новониколаевск взяли», «Чехи идут», «Через неделю будут здесь», «Через три дня», «Завтра», «Союзники!»

И город разделился прямо на улице, у Лены на глазах.

На Почтамтской, у бывшего магазина Второва, где помещалась теперь «Губернская продовольственная управа», стояла за хлебом длинная очередь человек в двести, бабы, старики, гимназисты, и по этой очереди, как огонь по сухой траве, бежало: «Чехи! Новониколаевск!» Одни крестились быстро, украдкой и мелко, как конопатый на иордани, другие бледнели, сжимали губы и оглядывались, но вслух не говорил никто, ни те, ни другие, потому что город был ещё красный и ещё не знал, кто победит.

Только одна дама, в шляпке со страусовым пером и в пальто с поношенным каракулевым воротником, не выдержала и сказала громко, на всю улицу:

— Ну, слава Богу! Дождались!

На неё посмотрели все двести человек, а красногвардеец у дверей управы, молодой, с винтовкой, медленно сделал шаг в её сторону. Дама побелела и юркнула за угол, придерживая шляпку, а красногвардеец, постояв, вернулся к своим дверям.

Двадцать седьмого, в понедельник, в тот самый день, когда Алмазов уплыл на «Тоболе», вернулась из Мариинска Кошеварова.

Приехала она не поездом, поскольку поезда не ходили, а на подводе, с какими-то мешочниками, по тракту, через тайгу, двое суток без сна, и прямо с подводы, не заходя домой и не переодевшись, пыльная, в съехавшей шляпке, с узлом в руках, явилась в дамский комитет.

Дамский комитет, вернее то, что от него осталось, собирался теперь не у Кошеваровой, в квартире которой по ордеру жили два латыша-красногвардейца, а у вдовы протоиерея Смирнова, в маленьком флигеле на Монастырской, за Богородице-Алексеевским монастырём, в комнате с лампадами, с геранями на окне и с портретом покойного протоиерея в рамке из ракушек. Собирались по понедельникам, шили бельё «для больных», как это называлось, хотя все понимали, для каких больных, вязали носки, пили морковный чай с сахарином и шёпотом пересказывали друг другу слухи.

Лена пришла туда в тот понедельник по заданию, потому что Михайлов велел ей: «Сходите к дамам. Послушайте. Дамы иногда знают больше, чем штаб». Дамы и вправду знали много, хотя и не всегда правду.

Кошеварова вошла, когда пили чай, и остановилась в дверях, пыльная, в съехавшей шляпке, с узлом, с покрасневшими от бессонницы глазами, и молчала, и все двенадцать дам замолчали, глядя на неё, и вдова протоиерея замерла с чайником в руке, и Лена у окна тоже замерла.

— Медам, — сказала Кошеварова хриплым, торжественным, дрожащим голосом. — Медам. Я видела.

Она опустилась на стул у двери, прямо с узлом в руках, и начала рассказывать.

Рассказывала она долго, час и больше, а дамы слушали, не дыша, не допивая чая и не шевелясь, так, как в древности, наверное, слушали вестников, прибежавших с поля битвы. И Лена видела, как Кошеварова, рассказывая, сама с каждой фразой всё больше верит своему рассказу, словно рассказ существовал сам по себе и она не говорила его, а слушала вместе со всеми и удивлялась.

— Они вошли в субботу, медам. В субботу, в три часа пополудни. Я сидела у сестры, у окна, у сестры окно выходит на Тюремную улицу, напротив тюрьмы, где Василия Андреевича, мужа сестры, держали с марта… И вдруг тишина. Медам, понимаете, тишина! Красные на улице были, ходили, кричали, и вдруг их нет, пусто, как будто метлой вымело. А потом топот, мерный такой: раз-два, раз-два. И песня, не наша, чужая, протяжная такая, красивая, на непонятном языке. И из-за угла, от вокзала, идут.

Она перевела дух.

— Идут, медам, строем, человек двести, в серо-зелёном, в аккуратном, в фуражках, с винтовками на плечах. Молодые все как один, румяные, бритые, чистые, — медам, вы не поверите: чистые! После всего этого… после этих наших… в шинелях, в обмотках, в соплях… а эти чистые, как на параде. И поют. А впереди офицер на коне, высокий, светлый, с саблей, красавец. Медам, — она понизила голос, — красавец.

— А цветы? — спросила вдова протоиерея. — Говорили, цветы…

— Цветы, — сказала Кошеварова, и глаза у неё сделались мокрыми. — Цветы, медам. В винтовках, в стволах, у каждого по цветку. Черёмуха, медам, белая. Сирень. Жарки, оранжевые, сибирские. Как на Пасху, как на крестный ход. Двести винтовок, и в каждой цветок. Это им гимназистки наши, мариинские, нарвали, выбежали на улицу и стали втыкать… и они не отказывались, медам. Улыбались, кланялись. «Дъекуеме». Это по-ихнему «спасибо».

— Ах, — сказала одна из дам, полковница Свиридова, с бородавкой на подбородке. — Ах.

— А тюрьма? — спросила Лена от окна. — Тюрьму открыли?

Кошеварова посмотрела на неё, не сразу узнала, а потом узнала.

— Леночка! Деточка! — Она протянула к ней руки. — Открыли, деточка, открыли. Через час. Вошли и открыли. Василий Андреевич вышел худой, страшный, седой весь, сестра в обморок… А он встал на колени перед чехом, перед простым солдатом, и руку ему поцеловал. — Она помолчала. — А чех смутился, поднял его, сказал что-то по-своему и дал ему цветок из винтовки. Черёмуху.

Дамы плакали, все двенадцать, и вдова протоиерея, сама того не заметив, поставила чайник мимо подноса, прямо на скатерть.

— Это союзники, медам, — сказала Кошеварова и встала вместе с узлом. — Я же говорила. Я же вам говорила, в апреле, в теплушке, Леночка помнит, что придут японцы к Пасхе. Японцы не пришли, пришли чехи. Но это всё равно. Это союзники, это Европа. Это значит, про нас не забыли. Значит, кончилось.

Она подняла узел, развязала его и бережно, двумя руками, достала увядшую ветку черёмухи, сухую, коричневую, с осыпающимися лепестками.

— Это он мне дал, — сказала она. — Василий Андреевич. Ту самую, которую ему чех. А я вам привезла.

И она положила черёмуху на стол, под портретом протоиерея в раме из ракушек.

Двенадцать дам молча смотрели на сухую черёмуху, как смотрят на мощи.

Лена смотрела тоже и думала о том, что вот сухая черёмуха из винтовочного ствола стала святыней, что было двести винтовок, в каждой по цветку, и ни одного выстрела.

Она вспомнила Швейка на станции Тайга, с Жучкой, которую он продавал как «сибирскую пятнистую гончую», вспомнила, как он говорил: «Осмелюсь доложить, товарищ, я — интернационалист», и как она тогда смеялась.

Интересно, подумала она, нёс ли Швейк тоже в винтовке черёмуху, и кому он её потом продал?

Но она не засмеялась, потому что дамы плакали.

А в тот же понедельник, ночью, начались аресты.

ЧК, та самая, губернская, помещавшаяся где-то на Почтамтской, в бывшем купеческом доме, в подвалах которого прежде держали вина, а теперь держали людей, проснулась, как просыпается зверь, которого ткнули палкой. Двадцать седьмого взяли тех троих из «Закупсбыта», с фотографией; двадцать восьмого ещё семерых: двух офицеров, одного эсера из бывшей Думы, одного священника из Воскресенской церкви, одного гимназического учителя, одного присяжного поверенного и одну курсистку, которая носила записки; двадцать девятого ещё одиннадцать. Брали ночью: подъезжали на грузовике, на одном из двух грузовиков, которые имелись у Томского совдепа, к дому, гасили фары, стучали прикладами в ворота, входили, переворачивали всё вверх дном и уводили. Иногда уводили всех, кто был в доме, мужей, жён, взрослых сыновей; иногда оставляли детей, а иногда и не оставляли.

Город замер и ждал, к кому придут, и Лена тоже ждала.

Она не спала три ночи, двадцать седьмого, двадцать восьмого и двадцать девятого, а лежала в мезонине одетая, в платье, в чулках и даже в ботинках, поверх одеяла, при погашенной лампе, и слушала улицу, каждый её звук: скрип телеги, лай собаки, шаги, голоса. Где-то далеко, на Почтамтской, заводился мотор, замолкал, потом раздавался снова, ближе, и ещё ближе, и проходил мимо, и снова мимо, и снова мимо. Она лежала, считая свой пульс, сто, сто десять, сто двадцать, и высчитывала, сколько у неё будет минут, когда грузовик остановится у ворот: минута, чтобы спуститься, две, чтобы дойти до ниши за картиной, три, чтобы вынуть, четыре, чтобы бросить в печь. Печь на кухне Фёкла не гасила, потому что Фёкла тоже не спала.

В нише за картиной лежали копии донесений, которые она передавала Михайлову и переписывала для себя, что было глупо и опасно, но ей казалось, будто так она лучше запоминает; три чистых бланка «Закупсбыта» с печатью Гомаровского; список явочных квартир, который Михайлов дал ей в апреле на случай, если его возьмут, двенадцать адресов, записанных её почерком тем же шифром, по ключу «Потанин»; и сорок шесть офицерских фамилий, зашифрованных по тому же ключу. А рядом лежала книга живых, тетрадь мамы, её гербарий и письма, так что всё, что было ей дороже жизни, хранилось бок о бок с тем, что могло эту жизнь закончить.

А в сенях, на гвозде, висела мамина лисья шуба с тяжёлым подолом.

В подол были зашиты ещё в марте, перед поездкой на Тайгу, двадцать семь николаевских червонцев, а кроме них две тысячи керенками, которые Михайлов дал на нужды «пункта», и записка Пепеляева, одна-единственная, которую он написал ей в апреле, всего шесть слов: «Тайга. Вагон 4. Спросите поручика Лукаша». Эту записку она должна была сжечь, но не сожгла.

Если бы пришли, нашли бы всё, потому что ниша не тайник, если знать, что искать, а чекисты знали, что искать: в помощниках у них состояли бывшие жандармские филёры, за плечами у которых было сорок лет опыта чужих тайников.

Но они не пришли ни двадцать седьмого, ни двадцать восьмого, ни двадцать девятого.

Грузовик проезжал мимо, дважды по их переулку, и один раз, двадцать восьмого, в третьем часу ночи, остановился, но у соседнего дома, через забор, у дома Петуховых, отставного акцизного чиновника с женой. Лена слышала, как стучали прикладами в ворота, как тонко, заячьим голосом кричала жена Петухова, как лаяла их собака и вдруг перестала, как хлопнула дверь и как заработал мотор.

Петухова увели. Он был монархист, семидесяти двух лет, ходил с палкой, носил на груди «Анну» за сорок лет беспорочной службы и при встрече с Леной снимал картуз и говорил: «Барышня, вы бы батюшке вашему сказали — не доведёт он Россию до добра». Он ничего не делал, ни в каком подполье не состоял, он просто был Петухов с «Анной», и его увели, а её не тронули.

Почему, думала она, лёжа и слушая, как затихает в переулке мотор и как плачет за забором жена Петухова, почему?

Может быть, это был отец. Может быть, он сказал там, на Почтамтской: «Не трогать. Мой дом. Моя дочь. Она не при делах. Она дура, барышня, танцует в театре, ничего не понимает». Может быть, он поручился за неё, подписал бумагу своей фамилией, своей репутацией старого большевика, ссыльного и каторжанина, и своей рукой вычеркнул её из какого-то списка.

Или это был Очумелов, бывший полицейский надзиратель, ныне «товарищ Очумелов», заместитель начальника районной милиции, в шинели с красным бантом, который в январе на вокзале проверял документы у Гомаровского и косился на неё, а в ночь разгона читал по списку фамилии депутатов и видел, как её выводят «по распоряжению батюшки»? Очумелов всё знал про всех: в двенадцатом году он знал, кто в Томске социал-демократ, в восемнадцатом знал, кто в Томске офицер, и, может быть, знал и про неё, но молчал на всякий случай, потому что не знал, кто победит, и хотел на всякий случай иметь в запасе одну барышню, которую он «пощадил».

Или это был Ференц Ковач, мадьяр, скрипач и интернационалист, живший у них в доме, в комнате за столовой, с февраля? Он знал, когда она уходит и когда приходит; он видел, не мог не видеть, Михайлова у калитки в апреле; он слышал, не мог не слышать, её шаги в ночь на двадцать седьмое, когда она провожала Алмазова; и отряд его стоял теперь там, на Почтамтской, в карауле при подвалах. Может быть, это он увидел её имя в списке и что-то сделал: сказал кому-то, попросил, подменил.

Она не знала этого и не узнает ещё долго, а может быть, и никогда.

Вечером двадцать девятого, в среду, Ференц пришёл к ней сам.

Он не позвал её к себе, за рояль, как бывало, а пришёл сам, постучал в дверь столовой, где она сидела у остывшего самовара, не читая, а просто сидя, и вошёл, не дожидаясь ответа. Он был в шинели, с винтовкой за плечом и красной повязкой на рукаве, небритый, с запавшими глазами, и видно было, что он тоже не спал все эти три ночи.

Остановившись посреди столовой, он долго смотрел на неё.

— Елена, — сказал он. Он никогда не звал её по имени, а всегда «барышня» или «фрейлейн», и только однажды, на Пасху, у собора, назвал «Елена Петровна», а сейчас сказал просто «Елена». — Елена. Ni foriros.

Лена знала это слово. Будущее время они проходили в апреле, на кружке, по старому засаленному учебнику: «mi iros» — «я пойду», «ni iros» — «мы пойдём», «ni foriros» — «мы уйдём».

— Мы — уходить, — сказал Ференц по-русски, медленно и старательно подбирая слова. — Скоро. Пароход. Все. Красные. Мадьяры. Все.

Лена молчала.

— Вы — тоже уходить, — сказал Ференц. — Отсюда. Из дом. — Он помолчал, подбирая слово, не нашёл его и сказал по-немецки: — Gefährlich. — И потом по-русски: — Опасно. — И ещё, совсем тихо, глядя ей в глаза: — Список.

Слово это повисло между ними. Лена смотрела на него, он смотрел на неё светлыми, глубоко посаженными глазами из-под рыжих бровей; рыжая щетина покрывала его щёки, губы были обветренные, а глаза были как у человека, который что-то знает: про неё, про список, про то, почему к ней не пришли.

Она могла бы спросить сейчас одно только слово: «Вы?» — и он, может быть, ответил бы на эсперанто, на немецком, на ломаном русском или жестами, и тогда она бы знала.

Но она не спросила, потому что поняла: если она спросит, ему придётся либо солгать, либо сказать правду, а и то и другое было бы опасно для него, опаснее, чем для неё. Он был красный отряд, она была барышня, и если его спросят, говорил ли он с ней, он должен иметь возможность сказать «нет» и не солгать.

— Dankon, — сказала Лена, то есть «спасибо» на эсперанто.

Ференц кивнул, потом снял с плеча винтовку и поставил её в угол, к печке, прикладом вниз. Открыв футляр, который принёс под мышкой и которого она до сих пор не заметила, он достал скрипку, ту самую, старую, тёмную, с трещиной на деке и одной чужой струной, подстроил её, склонив рыжую голову к грифу, поднял к подбородку и заиграл.

Лена узнала мелодию. Она слышала её в апреле, снизу, из-за двери, сидя в мезонине, и потом узнала, что её поют на всех конгрессах, во всех странах, хором и стоя, как поют гимн: это была «La Espero», «Надежда», гимн эсперантистов, на слова Заменгофа и на музыку какого-то шведа, имени которого Лена не помнила.

«En la mondon venis nova sento…» — «В мир пришло новое чувство…»

Ференц играл медленно, не так, как поют на конгрессах, торжественно, громко и хором, а тихо и протяжно, как играют колыбельную или как играют на похоронах. Скрипка пела в столовой, где на скатерти с бахромой стоял остывший самовар, где у граммофона, которого никто никогда не заводил, лежала стопка нот и где у печки стояла винтовка с красной повязкой на ремне; скрипка пела про новое чувство, которое пришло в мир, про братство всех людей, про мир без границ, про один язык для всех, а за окнами, в переулке, проезжал грузовик ЧК и не останавливался.

Доиграв, он опустил скрипку и постоял немного, потом положил её в футляр, закрыл его, взял винтовку, надел на плечо и поклонился Лене коротко, по-солдатски, щёлкнув каблуками, так же, как кланялся в первый день, в феврале, когда пришёл с ордером на комнату. И вышел.

Лена стояла у остывшего самовара и смотрела на дверь.

В мир пришло новое чувство, подумала она, новое чувство пришло и теперь уходит, пароходом, вниз по Томи.

Отец пришёл в тот же вечер, через час после Ференца, в девятом часу.

Она услышала, как скрипнула калитка, как он прошёл по двору, и узнала его шаги, которые узнала бы из тысячи, тяжёлые, чуть шаркающие, с остановкой на третьей ступеньке крыльца, где он всегда останавливался, потому что ступенька была выщерблена. Потом открылась дверь в сени, и он долго стоял в сенях, прежде чем войти.

Она стояла в столовой у окна, он остановился в дверях, серый, небритый, видно, целую неделю не бривший, с красными, воспалёнными глазами, в мятом, грязном пиджаке с оторванной пуговицей, в сапогах, облепленных глиной, и на ремне поверх пиджака у него висела большая деревянная кобура с маузером.

Лена никогда прежде не видела его с оружием: ни в детстве, когда он приезжал из ссылки, бородатый, худой, пахнущий махоркой и вокзалом, и привозил ей кедровые шишки, ни в семнадцатом году, ни в октябре, ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Он всегда говорил, она

это помнила, с усмешкой поправляя очки: «Я — химик, Леночка. Я — теоретик. Моё оружие — перо». И ещё пробирка, могла бы прибавить она. А теперь у него был маузер.

Он стоял в дверях и смотрел на неё, и Лена видела, как видят врачи, что он хочет что-то сказать: видела по губам, которые шевельнулись и замерли, по рукам, которые он поднял и опустил, по тому, как он сглотнул и кадык дёрнулся над грязным воротником. Он хотел сказать что-то важное, может быть, «уезжай», может быть, «прости», может быть, «я знаю, где ты была», может быть, «я вычеркнул тебя», может быть, «твоя мать гордилась бы тобой» или, наоборот, не гордилась бы, а может быть, просто «Леночка».

Но он ничего этого не сказал, а простоял так минуту, другую и потом спросил:

— Фёкла дома?

— На кухне.

Он кивнул и прошёл мимо неё так близко, что она почувствовала его запах, запах махорки, пота, пороха и ещё чего-то кислого, химического, как в его лаборатории, и вышел на кухню. Она слышала, как он тихо, коротко и неразборчиво говорил с Фёклой, как Фёкла что-то ответила, как он поднялся по лестнице в кабинет, ходил там пять минут, десять, и как спустился обратно.

Он прошёл через столовую мимо неё, не останавливаясь, и остановился только у двери, обернулся и посмотрел на неё в последний раз, долго, через очки, так, как смотрел, когда она была маленькая и болела скарлатиной, а он, приехав из ссылки на неделю, сидел ночью у её кровати, внимательно и тревожно, будто считал её дыхание.

И ушёл.

Калитка скрипнула, а Лена всё стояла у окна.

Она не знала, что видит его в последний раз, не знала, что следующая их встреча будет через полтора года, в декабре девятнадцатого, в другом городе, при других обстоятельствах, и что оба они будут уже другими. Она думала, что он придёт завтра или послезавтра, придёт за вещами, придёт попрощаться, потому что не может же он уйти, не попрощавшись. Так она думала.

Она поднялась в мезонин, легла одетая поверх одеяла и впервые за три ночи уснула.

15.5. Склад номер три

Её разбудила Фёкла в пятом часу утра тридцатого мая, в четверг, и разбудила не голосом, а рукой, тронув за плечо, так что Лена, открыв глаза, сразу села на постели, одетая и в ботинках, как легла с вечера. В мезонине было серо и светло: белые ночи в Томске не настоящие, не петербургские, но в конце мая заря с зарёй почти сходится, и темно бывает часа два, не больше. За окном, в сером свете, виднелась черёмуха у забора, вся белая и тяжёлая от цвета, а над ней поднималась колокольня Воскресенской церкви, розоватая от зари.

— Стреляют, — сказала Фёкла.

Лена прислушалась. Сначала стояла тишина, в которой слышны были только птицы да где-то далеко петух; потом издалека, со стороны Почтамтской или Набережной, донёсся сухой треск, похожий на то, как ломают хворост, — раз и другой, и после короткого перерыва длинная частая очередь, будто кто-то провёл палкой по забору. Это был пулемёт. И снова наступила тишина, и снова затрещал хворост.

— Началось, — сказала Лена.

Фёкла перекрестилась широко и медленно, по-старообрядчески, двумя перстами, хотя была православная; так она крестилась только в самых страшных случаях, когда умирала барыня и когда пришло известие о Кате.

— Куда пойдёшь? — спросила она.

— На пункт.

Фёкла не спросила, на какой пункт, потому что никогда ничего не спрашивала. Она молча подала Лене косынку с красным крестом, выстиранную, выглаженную и накрахмаленную, кото-

рую, как оказалось, приготовила ещё с вечера, и медицинскую сумку, проверенную и заново переложенную, где лежали бинты, вата, йод, нашатырь, шприц в футляре, шесть ампул с морфием, которые Лена с таким трудом добыла в клиниках через санитарку Кошеварову-младшую, а также пинцеты, ножницы, корнцанг, шёлк для швов и жгут. Кроме того, Лена увидела в сумке свёрток в чистой тряпице, в котором были хлеб, два варёных яйца и соль в бумажке.

— Поешь там, — сказала Фёкла. — Когда сможешь.

Пункт был устроен в Мариинской гимназии, в той самой, её собственной гимназии, где она проучилась восемь лет и кончила курс с серебряной медалью, где мадам Дюваль учила их танцам в актовом зале, батюшка, отец Никодим, преподавал Закон Божий, а рыжий историк Пётр Ильич в пенсне рассказывал про Французскую революцию так, что гимназистки плакали над Марией-Антуанеттой и тайком влюблялись в Робеспьера. В марте гимназию закрыли «на реорганизацию», и с тех пор в ней было пусто: классы стояли запертыми, парты были сдвинуты к стенам, в актовом зале громоздились штабелем стулья, а на стене темнел прямоугольник там, где прежде висел портрет покровительницы гимназии, государыни Марии Фёдоровны.

Михайлов выбрал её ещё в апреле. «Гимназия женская, — сказал он тогда, — на неё никто не подумает. Сторож наш, и ключи у сторожа. В подвале дрова, за дровами дверь во двор, со двора выход на Ефремовскую, а с Ефремовской можно уйти куда угодно». И Лена вместе с двумя курсистками и старой сестрой милосердия Анной Карловной, немкой, сухой, как вобла, прошедшей японскую войну, с апреля возила туда по ночам бинты, вату, корпию, йод, спирт, простыни, шины и носилки, складывая всё это в бывшем физическом кабинете. Там стояли длинные столы с цинковыми крышками, предназначенные для опытов и удобные для перевязок, была раковина с краном, из которого шла вода, и шкафы со стеклянными дверцами, где раньше хранились электрофорные машины и лейденские банки, а теперь стояли бутыли с карболкой.

Лена бежала туда не по улицам, а переулками и задами, как бегала в гимназию в детстве, когда опаздывала, через огороды, мимо сараев, мимо бань и мимо собачьих будок, возле которых собаки рвались с цепей и захлёбывались лаем. Стрельба то приближалась, то удалялась; один раз совсем близко, за углом, на Монастырской, грянули подряд три выстрела, раздались крик и топот сапог, и снова всё стихло. Лена прижалась к забору, переждала и побежала дальше.

На Ефремовской не было ни души, ставни были закрыты и ворота заперты, и только худая рыжая кошка сидела на заборе и умывалась, не обращая ни на что внимания, как будто никакого восстания не было, а был просто четверг, тридцатое мая, пять часов утра, и цвела черёмуха.

Сторож, старик Аким, в валенках, хотя на дворе стоял май, открыл ей дверь в подвале, за дровами, узнал её, кивнул и сказал:

— Барышня Трофимова. Раненько. — И, помолчав, прибавил: — Уже есть. Двое.

Двое было в шесть утра, к девяти их стало одиннадцать, а к полудню двадцать три.

Лена запомнила этот день не целиком, а кусками, как запоминают сны и как она потом всю жизнь запоминала все такие дни, которых будет много и из которых этот был первым.

Первым куском был юнкер, мальчик лет семнадцати, не больше, в гимназической фуражке и с бело-зелёной, сибирской повязкой на рукаве, которую, видно, нашили ночью, наспех, сестриной рукой, кривыми стежками. Пуля прошла ему через мякоть плеча навылет, не задев кости, и ему повезло. Лена разрезала рукав, промыла рану, засыпала её йодоформом и перевязала, а он лежал на цинковом столе, где когда-то показывали опыт с магдебургскими полушариями, бледный, с закушенной губой, и смотрел на неё снизу вверх с обожанием, ужасом и восторгом сразу.

— Сестра, — сказал он, — сестра, мы взяли склад?

— Какой склад?

— Номер три. — Он попытался приподняться. — На казармах, тридцать девятого полка. Мы с ночи там. Нас было двадцать. Капитан сказал: «Там винтовки, господа. Тысяча стволов. Возьмём — и город наш». Мы взяли, сестра, мы взяли. Там часовой был один, латыш, он спал, мы его… — Он замолчал. — А потом подошли красные, с пулемётом, с «Ермака», с парохода. И мы… — Он закрыл глаза. — Сестра, мы удержали?

Лена не знала и продолжала перевязывать.

Склад номер три, «Ермак» и «Сибиряк» были её донесением, тем самым, которое она передала Михайлову в апреле со слов Ольги, а Ольга со слов своего комиссара: что на складе номер три, в бывших казармах тридцать девятого полка, хранятся тысяча винтовок и сорок ящиков патронов, что пароходы «Ермак» и «Сибиряк» стоят под парами у пристани для эвакуации и что на «Ермаке» установлены два пулемёта. Она написала тогда эти слова карандашом, мелким почерком, на папиросной бумаге, шифром по ключу «Потанин», шестьдесят букв, и переписывала их три раза, чтобы не ошибиться; это была всего лишь бумага, цифры и слова, номер склада и имена пароходов. Теперь же номер склада лежал перед ней на цинковом столе с простреленным плечом и спрашивал, удержали ли.

Вторым куском был красногвардеец, но не тот, а другой: пожилой латыш, тот самый часовой со склада, который спал. Его принесли свои же юнкера, потому что бросить его было нельзя, а добить они не смогли. У него была глубокая штыковая рана в боку, и он лежал белый и молчаливый, глядя в потолок, где, как Лена только сейчас заметила, хотя за все гимназические годы не замечала ни разу, был нарисован плафон с аллегорией Науки: женщина в хитоне с факелом, а вокруг неё амуры с глобусом, циркулем и ретортой. Латыш смотрел на амура с ретортой и молчал. Анна Карловна перевязала его, покачала головой и сказала Лене по-немецки: «Bis zum Abend», что значило: до вечера.

Он умер к трём часам, не издав ни звука и всё так же глядя на амура с ретортой.

Третьим куском был Пепеляев, который пришёл в десять. Лена услышала его раньше, чем увидела, потому что в коридоре, у дверей физического кабинета, зазвучал его голос, спокойный, ровный и негромкий, голос, который, как помнила Лена, не повышался никогда, ни в марте, на квартире кооператора, ни в апреле, у печки, когда он говорил о складах, о пароходах и о Сибири, — голос человека, который не кричит, потому что его и так слышат.

— Где раненые? Здесь? Хорошо. Сколько? Хорошо. Кто старший? Хорошо.

Он вошёл, невысокий, широкоплечий и ладный, уже не в той серой шинели, которую снял, а в сером френче без погон, с широкой бело-зелёной повязкой на рукаве, с наганом в кобуре на поясе и с маленькой оранжево-чёрной ленточкой на груди. Он был небрит, глаза у него покраснели, но держался он совершенно спокойно, словно пришёл в мирное время инспектировать госпиталь в свой положенный день. На Лену он не смотрел, а смотрел на раненых, и, пройдя по очереди вдоль всех столов, у каждого останавливался и с каждым говорил, называя его по имени.

— Митя. Как плечо? Ничего. Заживёт. Ты — молодец. Вы все — молодцы. Склад — наш.

— Сергей Андреевич. Нога? Ничего. Отрежут — новую не дадут, так что берегите. Шучу. Не отрежут. Сестра — хорошая.

— Петров. Петров, слышишь меня? Петров. Ты — держался. Я знаю. Мне сказали. Спасибо.

Он знал по именам их всех, каждого из двадцати трёх человек, будь то юнкера, гимназисты, студенты, два прапорщика или старый капитан с седыми усами. Лена потом узнала, что он сам набирал их в феврале, марте и апреле, сам говорил с каждым и сам каждого записывал, но не в список, а в память, потому что списков он не вёл: списки находят.

Остановился он и у умирающего латыша со штыковой раной, постоял и посмотрел на него.

— Этот — чей?

— Красный, — сказала Анна Карловна. — Со склада. Часовой.

Пепеляев постоял ещё немного.

— Лечите, — сказал он и пошёл дальше.

У самой двери, уже уходя, он остановился, обернулся и впервые за весь этот приход посмотрел на Лену. Она стояла у цинкового стола в косынке и фартуке, с закатанными рукавами, в крови по локти, держа в руке корнцанг, и не могла отойти, потому что на столе стонал юнкер, уже другой, с пулей в бедре. Пепеляев смотрел на неё спокойно и внимательно, чуть прищурясь, так же, как смотрел в марте, у печки на квартире кооператора, когда увидел её впервые.

— Елена Петровна, — сказал он.

— Анатолий Николаевич.

— Склад наш, — сказал он и, помолчав, прибавил: — Благодаря вам. — И, снова выдержав паузу, продолжал: — «Ермак» ушёл, с пулемётами, вниз по реке. Но ушёл и больше не стрелял. Это тоже благодаря вам: мы знали, где он стоит.

Лена молчала.

— Вы лечите, — сказал Пепеляев. — Как договорились. — И через секунду добавил: — Не на улицу. Здесь.

— Как договорились, — сказала Лена.

Он кивнул и вышел, не подойдя к ней, не подав руки и ни разу не коснувшись её, ни на секунду и ни на миг дольше, чем было нужно.

Анна Карловна, которая всё видела, посмотрела на Лену поверх очков и, не отрываясь от перевязки, тихо и сухо сказала по-немецки:

— Ein guter Offizier. Er hat keine Zeit für Mädchen.

Это значило: хороший офицер, у него нет времени на девушек.

Лена не ответила, потому что вынимала пулю из бедра юнкера. Пуля оказалась тупоносой, русской, трёхлинейной, из винтовки со склада номер три.

Четвёртым куском был тот, кого принесли в половине второго. Его несли двое дружинников-студентов в фуражках с белыми кантами, держа за углы шинели, как носилки, и положили на пол в коридоре, потому что на столах места уже не осталось. Один из студентов, задыхаясь, закричал:

— Сестра! Сестра, скорее! Это — наш! Из технологического! У вокзала! В живот!

Лена вышла в коридор, опустилась на колени и узнала его. Это был Коля Шпаковский с их курса, с медицинского, тоже третьекурсник, который ещё на первом курсе сидел на анатомии через два ряда от неё, длинный и нескладный, в очках с толстыми стёклами, с вечно растрёпанными светлыми волосами, и на всех лекциях всегда первым поднимал руку, даже когда не знал ответа, начиная: «Позвольте, профессор…» Сухой и насмешливый прозектор Кузьмин звал его «наш вопросительный знак». Коля был из Каинска, сын станционного смотрителя, жил на стипендию и ходил в одной тужурке зимой и летом, а в сентябре, на самой первой лекции, когда Лена, единственная девушка в ряду, села рядом с ним, покраснел до ушей, уронил пенал и потом весь семестр с ней не разговаривал, а только смотрел на неё сбоку сквозь толстые очки. Он был вовсе не из технологического, а с медицинского, и студенты в суматохе ошиблись.

Он лежал на шинели, белый, в разорванной тужурке; в очках его не хватало одного стекла, а другое треснуло. Руки, прижатые к животу, были в крови, и под пальцами, под тужуркой, расплывалось тёмное мокрое пятно. Он посмотрел на неё сквозь треснувшее стекло и узнал.

— Трофимова, — сказал он шёпотом и улыбнулся. — Позвольте… вопрос…

— Молчи, Коля.

Она разрезала тужурку и рубашку, отняла его руки от живота и увидела рану. Она была медичка, третий курс, почти уже четвёртый, и знала анатомию хорошо, лучше многих; она знала, что под этой кожей лежит брюшная стенка, под ней брюшина, а под брюшиной петли

тонкого кишечника, брыжейка и крупные сосуды. И по входному отверстию, по его месту, на два пальца левее и ниже пупка, по цвету крови, тёмной, почти чёрной, и по тому, как эта кровь шла, не толчками, а ровно, широко и неостановимо, она поняла, что задета брыжеечная артерия или подвздошная и что здесь, на полу в коридоре, у бывшего физического кабинета Мариинской гимназии, без хирурга, без эфира, без операционной и без переливания крови, которого тогда ещё никто толком не умел делать, сделать ничего нельзя, совсем ничего.

Он умрёт минут через двадцать, а может быть, через сорок. И она знала это сразу, с первого взгляда, как медичка и как диагност, так, как старые хирурги с первого взгляда на больного знают, кто выживет. Она прижала тампон к ране обеими руками, сильно, навалившись всем телом, и крикнула:

— Анна Карловна! Морфий!

Анна Карловна пришла, посмотрела и, ничего не сказав, ввела морфий, одну ампулу из шести, а затем, взглянув на Лену и покачав головой, ушла к другим, к тем, кого ещё можно было спасти.

Лена осталась. Она сидела на полу в коридоре своей гимназии, под той самой стеной, где когда-то висело расписание уроков и где они толпились на переменах, хихикая, толкаясь и читая друг другу записки от гимназистов из мужской гимназии, и держала тампон на животе Коли Шпаковского, а тампон намокал, она меняла его, и он намокал снова.

Коля смотрел на неё. Морфий подействовал, лицо его разгладилось, глаза затуманились, и ему не было больно, а было тепло, спокойно и странно.

— Трофимова, — сказал он шёпотом. — Позвольте… вопрос.

— Спрашивай.

— Вы… — Он облизнул губы. — Вы… почему вы всегда… садились рядом… со мной?

Лена смотрела на него и не помнила, почему. Она не помнила даже, что садилась рядом, и почти не помнила его самого: он был для неё «длинный, в очках, с вопросами», одна из сорока фигур в аудитории, на которые она не смотрела, потому что смотрела на профессора, на доску, на скелет или на препарат. Она садилась туда, где было свободно, а рядом с ним всегда было свободно, потому что никто не хотел сидеть рядом с «вопросительным знаком».

— Потому что ты всегда знал ответ, — сказала Лена.

Коля улыбнулся.

— Не… всегда, — сказал он. — Я… часто… не знал. Я поднимал руку… чтобы… вы… посмотрели.

И закрыл глаза.

Он умер в два часа десять минут. Лена посмотрела на часы, мамины, с крышкой, на цепочке, которые она носила теперь на поясе, как сестра милосердия, и запомнила время, как запоминают время смерти для истории болезни, как её учили. Она сняла с него треснувшие очки без одного стекла и положила их в карман фартука, потом встала, долго, до локтей, мыла руки под краном в раковине физического кабинета и пошла к следующему столу.

Пятым куском был тот, кого принесли в пятом часу, и принесли по ошибке. Студенты-дружинники, уже другие, не те, что принесли Колю, подобрали его на Почтамтской, у моста через Ушайку, где он лежал на мостовой лицом вниз, в шинели и без шапки. Перевернув его, они увидели, что повязки на нём нет, потому что красную он, видно, сорвал сам или потерял, и в горячке не разобрали, кто он такой, а взяли под руки и поволокли. Только в гимназии, в подвале, у дров, сторож Аким посветил ему в лицо фонарём и сказал:

— Э, да это ж краснюк.

Студенты остановились и переглянулись.

— Ну и что? — сказал один, молодой, с чёрными усиками. — Бросим, что ли? На дровах? Пусть сестра решает.

Его положили на последний свободный стол, у окна, где раньше стоял на треноге телескоп. Лена подошла и увидела конопатого.

Она узнала его сразу, по конопушкам, по оттопыренным ушам, по детскому, деревенскому, курносому лицу, сейчас белому как мел, так что конопушки казались на нём нарисованными, как морщины, которые она три дня назад рисовала Алмазову. Глаза его были закрыты, губы посинели; шинель на нём, кажется, была та самая, пахнущая мокрой шерстью и махоркой, на ремне висела пустая кобура, или нет, не кобура, а подсумок, тоже пустой. А за спиной, на ремне, болтался оборванный ремень от гармони, самой же гармони не было.

Пуля попала ему в ногу выше колена и раздробила бедренную кость, как Лена определила, прощупав её, и он потерял много крови, пока лежал на мостовой, но артерия осталась цела. Ногу, может быть, спасут, а может быть, и нет, но жить он будет, если помочь ему сейчас. Она туго наложила жгут выше раны, записала карандашом на бумажке время и сунула бумажку под жгут, как учили, разрезала шинель, штанину и кальсоны, промыла рану и засыпала её йодоформом. Потом наложила шину из двух длинных деревянных гимназических указок с медными наконечниками, которые Анна Карловна нашла в шкафу географического кабинета и принесла со словами «Für Schienen. Gut», и прибинтовала ногу.

Он очнулся, когда она бинтовала, и открыл светлые, голубые, мутные глаза, но, посмотрев на неё, не узнал, а увидел только косынку, крест и руки в крови, потом окно, за стеклом которого в майском небе звонил колокол, и плафон с аллегорией Науки, с амуром и ретортой, и не понял, где он.

— Барышня, — сказал он хрипло. — Барышня… где я?

— В госпитале.

— В нашем?

Лена помолчала.

— В госпитале, — сказала она.

Он закрыл глаза, потом открыл их снова, посмотрел на неё внимательнее и узнал. Лена видела, как он узнаёт её, как в мутных голубых глазах медленно, через боль и потерю крови, что-то проясняется и как он вспоминает Ботанический сад, прострелы и латынь, которой она его прогнала, Иордань, крест в проруби и крещение украдкой под шинелью, ресторан, ночь разгона и своё «пойдёмте, барышня, батюшка ваш велел». Узнав её, он испугался, но, как видела Лена, не за себя, а за неё: за то, что она здесь, с ними, в бело-зелёном госпитале, она, дочь товарища Трофимова.

— Барышня, — сказал он шёпотом, — а батюшка-то ваш… знает?

Лена посмотрела на него.

— Молчи, — сказала она. — Береги силы.

Он послушно замолчал, как тогда, в Ботаническом саду, когда она сказала ему по-латыни «Pulsatilla patens» и он ушёл. А потом, когда она закончила перевязку, сказал ещё:

— Гармонь… потерял. У моста. — И, помолчав, добавил: — Жалко. Батина.

— Найдётся, — сказала Лена.

— Не, — сказал конопатый. — Не найдётся. — И улыбнулся синими губами. — Ну и ладно. Всё одно — не играл бы больше. Какая теперь игра.

Анна Карловна подошла, посмотрела на шину из указок, кивнула и сказала по-немецки:

— Gut gemacht. — Это значило: хорошо сделано. И, помолчав и глядя на конопатого, прибавила: — Und was weiter? — То есть: и что дальше?

Лена не знала, что дальше. Дальше, как она узнает потом, его унесут ночью, но не дружинники и не красные, а сторож Аким и ещё какой-то мужик с подводой: Аким, оказывается, знал его мать, которая торговала молоком на Базаре. Они увезут его в слободу за Ушайку, к матери, спрячут в бане, и мать будет выхаживать его до августа, и нога срастётся, но криво, так что он будет хромать. А в сентябре его, хромого, мобилизуют в Сибирскую, бело-зелёную

армию, потому что брать будут всех, и он будет воевать за белых против красных, с которыми уходил в феврале, креститься под шинелью и играть на чужой гармони.

Но всё это случится потом, а сейчас Лена стояла у стола, где раньше стоял телескоп, смотрела на конопатого и думала о том, что вот он и ещё раз, хотя она думала, что никогда больше; что был Ботанический сад, была Иордань, был разгон, была запись в Красную армию, а теперь склад номер три, и это уже пять раз; что он всё время оказывается там, где она, как будто их кто-то нарочно сводит, и зачем — она не знала.

Она наклонилась к нему и тихо, чтобы студенты не слышали, спросила:

— Как тебя зовут?

Она ни разу не спрашивала его об этом, ни за год, ни за все пять встреч.

Конопатый открыл глаза.

— Иван, — сказал он. — Ванька. Тюменцев. С Заисточья.

— Ваня, — сказала Лена. — Ты будешь жить.

И пошла к следующему.

К вечеру, к семи часам, стрельба стихла, но не сразу: сначала она стала реже, потом отодвинулась дальше, потом слышались только редкие одиночные выстрелы у реки, у пристани, а потом раздался длинный хриплый пароходный гудок, за ним ещё один и ещё. Красные уходили вниз по Томи, к Оби, к Нарыму, на север, на «Ермаке», на «Сибиряке», на «Тоболе», который вернулся из Новониколаевска пустым, на всём, что могло плыть, и увозили с собой ревком, совдеп, ЧК, интернационалистов, латышей, мадьяр, архивы, кассу, пулемёты, заложников…

О заложниках Лена тогда ещё не знала.

Она сидела на подоконнике бывшего физического кабинета, потому что Анна Карловна велела ей «посидеть десять минут, иначе упадёшь», и ела Фёклин хлеб с солью и варёное яйцо, первое, что она съела за весь день. Руки у неё были в крови по локоть, и, хотя она вымыла их трижды, под ногтями кровь всё равно осталась, так что хлеб пах кровью и карболкой, но она ела.

За окном по переулку бежали мальчишки и кричали:

— Ушли! Красные ушли! Ушли-и-и!

Колокол Воскресенской церкви, тот самый, что на заре был розоватым, ударил раз и другой, потом подхватил другой колокол, дальше, Троицкий, а за ним третий и четвёртый, и наконец зазвонил весь город, все колокола, которые молчали с декабря, когда ревком запретил «колокольный звон, мешающий трудящимся». Звонили неумело и вразнобой, потому что звонари, наверное, разучились, а может быть, звонили и не звонари, а просто люди, которые залезли на колокольни и дёргали за верёвки как попало, лишь бы громко.

Анна Карловна стояла у окна рядом с Леной и смотрела на улицу, а потом сказала уже не по-немецки, а по-русски, с акцентом:

— В девятьсот пятом году я была в Мукдене. Мы отступали. И тоже — звонили. Японцы. В свои гонги. — Она помолчала. — Сейчас звонят наши. А в Мукдене звонили не наши. Но звук одинаковый, Елена Петровна. Я тогда не знала. Звук — одинаковый.

Лена ела хлеб, и в кармане её фартука лежали треснувшие, без одного стекла, очки Коли Шпаковского.

15.6. Ночь победы

Тридцать первого мая, в пятницу, к вечеру, над губернаторским домом подняли флаг.

Лена видела это с Новособорной площади, через которую шла из гимназии домой, чтобы впервые за двое суток переодеться: она так и не сняла фартука, на плече у неё висела медицинская сумка, а в кармане лежали очки Коли Шпаковского. Она остановилась, потому что вокруг остановились все.

На площади собралось тысячи три народу, а может быть, и пять, весь тот город, который ещё оставался в городе и больше не прятался. Здесь были гимназисты и гимназистки, студенты

в фуражках, дамы в весенних шляпках с вишнями и страусовыми перьями, которых не надевали с октября, потому что шляпка на улице считалась «буржуйским вызовом»; были чиновники в форменных фуражках, тоже вынутых из сундуков, и настоящие купцы в поддёвках, в лицо каждому из которых Лена невольно вглядывалась, не Сила ли это Ерофеич; были попы в рясах, мещанки в платках, мальчишки, облепившие деревья, заборы и крыши. И были офицеры, которых вдруг откуда-то оказалось много, очень много, и все они были в погонах, тех самых погонах, что полгода были запрещены, что срезали с плеч на вокзалах и за которые убивали. Золотые, серебряные и полевые погоны блестели на низком вечернем майском солнце; офицеры стояли кучками и курили, их обходили стороной и смотрели на них, как смотрят на чудо.

Губернаторский дом, белый, с колоннами и балконом, ещё утром был ревкомом, и на балконе ещё утром висело красное полотнище с надписью «Вся власть Советам». Теперь его не было: днём полотнище сорвали, и оно лежало на мостовой под балконом, растоптанное и грязное, а мальчишки прыгали по нему.

На балкон вышли люди. Лица отсюда, издалека, разглядеть было нельзя, Лена различала только фигуры, человек пять, из которых двое были в штатском и трое в военном. Одного из штатских, худого, в пиджаке не по росту, она узнала по повадке: это был Михайлов, Павел Яковлевич, и он стоял, держась за перила так, будто боялся упасть. Рядом с ним стоял невысокий широкоплечий человек в сером френче, Пепеляев.

И по флагштоку над балконом медленно, рывками, как поднимают флаг люди, никогда прежде этого не делавшие, пополз вверх кусок материи, бело-зелёный, о двух полосах: белая сверху, зелёная снизу, белая как снег и зелёная как тайга, — Сибирь.

Дойдя до верха, флаг сначала повис в безветрии, потом шевельнулся и наконец медленно и тяжело расправился от вечернего ветерка, потянувшего с реки.

Площадь ахнула.

Она не закричала, а именно ахнула, как ахнул собор на Иордани, когда архиерей опустил крест в прорубь: пять тысяч человек разом, одним вдохом. И только потом закричала «Ура-а-а!», и в воздух полетели шапки, шляпки, фуражки и платки. Дамы плакали; офицеры, вытянувшись, отдавали честь флагу, и у некоторых тряслись руки у козырька; гимназистки визжали, купцы крестились, а попы благословляли и флаг, и балкон, и площадь, и небо.

И тогда ударили колокола, все сразу, как вчера вечером, когда уходили красные, только громче и слаженнее, потому что звонари, видно, за сутки вспомнили своё дело. Звонили Троицкий кафедральный, Богоявленский, Воскресенский, Знаменский, Благовещенский, Иоанно-Предтеченский, звонил Алексеевский монастырь, звонили все сорок церквей Томска. Звон шёл над городом, над площадью, над рекой и разливом до самых заречных лугов, и в нём тонуло «ура», тонули слова, которые кричал с балкона кто-то из военных, — Лена не слышала ни слова и только видела, как он открывает рот и машет рукой, — и тонуло в нём всё.

Лена стояла в толпе в своём фартуке, в крови, с сумкой на плече, и её толкали, обнимали и целовали. Незнакомая дама в шляпке с вишнями поцеловала её в обе щёки, мокрые от чужих слёз, и всё повторяла: «Сестричка! Сестричка, милая! Дождались!» Незнакомый гимназист сунул ей в руку ветку черёмухи. Незнакомый старик в чиновничьей фуражке схватил её грязную руку с кровью под ногтями, поцеловал её и заплакал.

Лена стояла, держа черёмуху, и не плакала. Она думала о том, что Коля Шпаковский этого не видит, что не видит этого латыш со склада, что Иван Тюменцев, лежащий в бане у матери за Ушайкой, не видит и никогда уже не увидит, и хорошо, что не увидит.

И ещё она думала об отце. Где он сейчас? Наверное, на пароходе, внизу по Томи, в трюме или на палубе, у пулемёта, с маузером; смотрит назад, на город и на колокольни, и слышит этот звон, потому что над водой звук идёт далеко, и знает, что звонят по нему. И звонят не за упокой, а хуже: звонят о том, что его больше нет.

А потом на площадь вошли чехи. Они появились с Почтамтской, со стороны вокзала, в восьмом часу: небольшой отряд, человек сто, не больше, передовые, приехавшие из Тайги на платформах, как только красные ушли и путь освободился. Они шли строем, в серо-зелёной форме и фуражках, с винтовками на плечах, и в стволах винтовок у них были цветы.

Кошеварова не соврала: цветы действительно были, черёмуха, сирень и жарки, оранжевые сибирские жарки, похожие на маленькие огни, и торчали они в каждом стволе, так что на сто винтовок приходилось сто букетов. Только цветы эти, как разглядела Лена, были не мариинские, а томские, свежие: их совали чехам тут же, на Почтамтской, пока те шли, гимназистки, дамы и мальчишки, и чехи не отказывались, а улыбались, кланялись, говорили «Děkujeme» и шли дальше с цветами в стволах, будто на свадьбу.

Площадь расступилась перед ними и снова закричала «ура», громче, чем флагу, потому что флаг был своим, а чехи были Европой, союзниками, тем миром, который про них не забыл.

Впереди на коне ехал офицер, высокий и светлый, не с саблей, а со стеком; по меркам Кошеваровой, наверное, и вправду красавец. Лена внимательно посмотрела на него и поняла, что это не Лукаш: Лукаш был худее, уже лицом и носил пенсне.

А в хвосте отряда, отдельно и не в строю, тащилась подвода, обычная крестьянская телега, на которой возят сено, запряжённая сивой лошадёнкой. На телеге громоздились ящики, мешки, котёл полевой кухни и какие-то узлы, а на ящиках, свесив ноги, сидел толстый круглолицый человек с добродушными голубыми глазами, в чешской форме, расстёгнутой на животе, и держал на коленях собаку.

Собака была совершенно чистая: белая с рыжими пятнами, вымытая, вычесанная и пушистая, с бантом на шее, бело-зелёным, сибирским, из ленточки, которую толстый, видно, только что выпросил у какой-нибудь гимназистки. Она сидела у него на коленях гордо и прямо, как на выставке, и смотрела на площадь, на колокольни и на флаг.

Это был Швейк. Лена узнала его сразу и чуть не засмеялась — впервые за двое суток, впервые после Коли.

А собака была Жучкой кузнеца Прохорова с Тайги, той самой, которую Швейк в апреле продавал на станции как «сибирскую пятнистую гончую, очень редкую, по мандату Совета». Тогда она была грязной и лохматой, в репьях и с обрывком верёвки на шее, а теперь её отмыли и повязали ей бант.

Заметив, что на него смотрят, толстый на подводе дружелюбно, как старый знакомый, помахал площади рукой. И Лена, хотя стояла далеко, услышала, что он сказал на ломаном русском кому-то из гимназистов, протянувшему ему цветок, потому что сказал он это громко, на всю площадь:

— Дико извиняюсь, пан студент, но цветок мне некуда. Винтовку я в Тайге одному мужику на сало сменял. А собака — цветы не ест. Она — сибирская бело-зелёная гончая. Очень политическая порода. Раньше, при красных, была — сибирская пятнистая. А до того, при царе, — просто Жучка. Но это было давно, и она уже не помнит. Пан поручик велел её вымыть — я вымыл. Велел вернуть кузнецу Прохорову — я искал. Но кузнец Прохоров, говорят, ушёл в лес, к красным. А в лес я собаку не отдам: там сыро.

Гимназисты вокруг подводы захохотали, но Лена не смеялась. Она смотрела на Жучку с бело-зелёным бантом и думала, что вот, собственно, и всё, что нужно знать про этот переворот: собаку отмыли, переименовали и повязали ей бант, а собака осталась той же, и кузнецу Прохорову её никто не вернёт.

Подвода проехала, а колокола всё звонили.

Ресторан «Европа» снова стал рестораном к десяти часам вечера, причём не по декрету, а сам собой, словно только этого и ждал. Табличку «Столовая № 2 Губернского совета народного хозяйства», прибитую в январе к дверям над чугунным козырьком, днём сорвали, и под ней обнаружилась старая, медная, потемневшая: «Европа. Гостиница и ресторан». Швейцар в

солдатской шинели исчез вместе с красными, и у дверей вместо него снова стоял прежний, с галунами, уволенный в ноябре как «лакей буржуазии»; он стоял в той же ливрее с галунами, вынутой из сундука и пахнущей нафталином, кланялся, открывал двери и плакал.

Все угловые окна второго этажа, с полукруглым верхом, светились. Лена смотрела на них с улицы и думала о номере четырнадцатом, в котором сейчас, наверное, жил «товарищ из губпродкома», а может быть, уже и не жил, а уплыл, и туда уже въехал кто-нибудь новый, победитель, офицер в погонах или чех. Потом она вошла.

На ней было чёрное бархатное платье, то самое, в котором она танцевала в апреле в театре, сначала без шали, а потом с шалью, и в котором была в ту ночь, когда Ольга сказала ей «склад номер три»: вечернее мамино платье, перешитое Фёклой, с открытыми плечами, узкой талией и тяжёлой юбкой до пола. А на плечах у неё лежал японский платок, шёлковый, тонкий, как паутина, цвета слоновой кости, с лиловыми цаплями, подарок Гомаровского.

Она надела его, не думая: Фёкла достала платок из сундука, расправила и подала, и Лена надела. Только потом, у зеркала в мезонине, она поняла, что именно надела, — платок, который он прислал ей из Харбина, — и подумала: пусть, пусть он будет здесь хоть так.

Фёкла молча смотрела на неё от двери, а потом сказала:

— Барин не приходил.

— Придёт, — сказала Лена.

Фёкла ничего не ответила.

В зале ресторана, в том самом зале, где в январе устроили столовую с жестяными мисками и где совслужащие ели пшённую кашу за длинными столами, покрытыми клеёнкой, снова лежали белые крахмальные скатерти, и непонятно было, где их нашли: в подвалах ли, в бельевой или у официантов по домам. Снова стояли хрустальные бокалы с золотым ободком, снова горели свечи в бронзовых канделябрах, и снова по углам стояли пальмы в кадках, которые всю зиму простояли засохшими в коридоре, а теперь их выволокли и так, засохшими, и расставили.

И снова играл оркестр из пяти человек, всё тот же, бывший ресторанный, что в январе играл «Интернационал» на открытии столовой, с румыном-скрипачом.

Румын тоже был прежний: маленький, чернявый, с напомаженными волосами и тонкими усиками, в той же поношенной фрачной паре. Лена помнила его ещё с октября, когда он играл здесь танго, а она поднималась наверх, в номер четырнадцатый. Он играл здесь при всех властях: при Временном правительстве вальсы и «Марсельезу», при большевиках «Интернационал» и «Варшавянку», а теперь…

Теперь он вышел к роялю и поднял скрипку, оглядел зал, его погоны, скатерти, канделябры и дам в шляпках, подумал и заиграл «Боже, царя храни». Он играл медленно, торжественно и с чувством, и скрипка пела сильно и державно: «Царствуй на славу, на славу нам…».

Зал замер, и половина его встала, первыми офицеры, за ними несколько дам и один старый генерал в отставке, с бакенбардами, в мундире с орденами, которого ввели под руки; ему было трудно, но он поднялся и заплакал.

Другая же половина зала не встала и продолжала сидеть: эсеры, кооператоры, земцы, а за большим столом у окна Михайлов, Марков и Линдберг. Михайлов побелел и поднялся, но не по стойке смирно, а так, как встают, чтобы что-то сказать.

— Прекратите! — громко, на весь зал, сказал он. — Прекратите немедленно!

Румын оборвал игру на полутакте и опустил скрипку, глядя на Михайлова растерянно и испуганно, как собака, которую ударили не за то.

— Мы, господа, — сказал Михайлов, — свергли большевиков не для того, чтобы вернуть царя. Мы — демократы. Мы — Учредительное собрание. Мы — Сибирь. Свободная. Республиканская. — Он повернулся к румыну. — Играйте — другое.

Офицеры с каменными лицами медленно сели. Старый генерал так и не сел и стоял, плача, пока его не усадили под руки.

Румын подумал и заиграл «Марсельезу». Это было дело проверенное: её играли весной семнадцатого на всех митингах и всех банкетах, «Allons enfants de la Patrie…», и звучала она революционно, но не по-большевистски, как гимн республиканский, французский и союзнический. Эсеры заулыбались, кооператоры вполголоса подхватили по-русски: «Отречёмся от старого мира…» А офицеры побагровели.

Высокий капитан с перевязанной рукой, которого Лена узнала, потому что сама перевязывала его сегодня днём в гимназии с пулей в предплечье, встал, подошёл к оркестру и положил здоровую руку на гриф скрипки.

— Довольно, — тихо сказал он румыну. — Эту — довольно. Под эту нас резали. Год. Под эту — с нас погоны срывали. Довольно.

Румын опустил скрипку и остался стоять, маленький, чернявый, в поношенном фраке, между двумя гимнами, не зная, что играть. Лена видела по его лицу, что он действительно не знает. Восемь лет он играл в этом зале при всех властях и умел угадывать, потому что в этом и состояло его ремесло: угадать, чего хочет зал. Но сейчас зал хотел двух разных вещей сразу, и угадать он не мог.

Он посмотрел на потолок, на люстру, подумал и заиграл вальс «На сопках Маньчжурии».

Это был старый вальс девятьсот шестого года, про японскую войну, про мёртвых солдат, про сопки и гаолян, вальс, который знали все и который играли на всех танцах, балах и в садах во всех городах; он не был ни царским, ни республиканским, ни красным, ни белым, а был просто вальсом, грустным и красивым.

Зал выдохнул. Сели офицеры, сели эсеры, капитан с перевязанной рукой вернулся за свой стол, а Михайлов опустился на стул и вытер лоб платком.

И вдруг на середину зала, туда, где в январе стояли столы с клеёнкой, вышла первая пара, молоденький прапорщик и гимназистка в белом платье, и закружилась. За ней вышла вторая, третья, пятая, десятая, и скоро танцевал весь зал.

Лена сидела за большим столом у окна, между Ольгой и пустым стулом, смотрела и думала, что вот она и вся Сибирь: не царь и не республика, а вальс про мёртвых солдат, под который танцевать могут все.

— Он гений, — сказала Ольга, кивнув на румына. Она была в изумрудном шёлковом платье, с белой розой в волосах, то есть тоже бело-зелёная, как Лена только сейчас поняла. — Он — гений, мадемуазель. Он сейчас спас этот вечер. А может — и правительство. На неделю. — Ольга подняла бокал. — Учись. Вот так и надо. Когда не знаешь, кому петь, — пой вальс.

Шампанское было то самое, и Лена поняла это по жёлтой этикетке: «Veuve Clicquot Ponsardin», одна тысяча девятьсот одиннадцатого года. Его реквизировали в ноябре из подвалов «Европы» «в пользу революции», перенесли в губисполком и наполовину выпили на апрельском банкете, где Ольга пела для комиссаров, а Лена, сидя рядом с чернявым мадьяром, узнала про склад номер три. Вторую половину красные выпить не успели, потому что уплыли, и её сегодня днём нашли в подвале губисполкома, в ящиках с ярлыком «Имущество Губсовнархоза. Не трогать», нашли и привезли обратно в «Европу», откуда взяли. Шампанское вернулось домой, и теперь его пили победители.

За большим столом у окна сидел Михайлов, Павел Яковлевич, бледный, усталый, в чужом пиджаке, но уже без валенок, в ботинках, которые были ему малы. Рядом с ним сидел Марков, тоже эсер и тоже депутат, который в этот вечер много пил, много смеялся и называл всех «гражданами», и молчаливый Линдберг, пивший одну только воду. Сидели ещё человек пять офицеров и дружинников, в погонах, с повязками и ранами. И сидели чехи.

Чехов было трое, и пришли они поздно, в одиннадцатом часу, когда уже танцевали: высокий светлый капитан со стеком, тот, что вёл отряд, а с ним двое, пожилой седоусый офицер, кажется майор, и ещё один…

Лена увидела его в дверях и сразу узнала: это был поручик Лукаш, Индржих Лукаш, из Шестого полка. Тот самый, из вагона на станции Тайга, который в апреле спросил у неё хины, а потом сказал «пройдёмте, сестра» и повёл её в санитарный вагон, к малярийным, где взял у неё письмо для своих и отдал ей ответ для Михайлова. Тот, который держал её руку секунду или две, дольше, чем было нужно, и на прощание у вагона поцеловал ей запястье, так что она думала об этом всю обратную дорогу в теплушке, глядя на бегущую тайгу.

Он остался прежним: высокий, худощавый, с узким лицом, в пенсне, за которым смотрели внимательные и чуть насмешливые глаза. Только загорел он сильнее, погоны теперь носил на плечах, а не в кармане, на подбородке у него краснел новый шрам, а в петлице был оранжевый жарок.

Увидев её, он остановился и улыбнулся той улыбкой, которую она лишь однажды видела у вагона, молодой, чуть застенчивой и совсем не офицерской, — так улыбаются, когда находят потерянное.

Подойдя к столу, он поклонился всем, а потом отдельно ей.

— Сестра, — сказал он по-русски, с мягким чешским акцентом, превращавшим «р» во что-то рокочущее. — Сестра Трофимова. — Он помолчал. — Я — писал вам. Из Тайги. Два раза. Вы — не ответили.

— Я не получала, — сказала Лена, и это была правда.

— Почта, — сказал Лукаш. — Большевики. — Он развёл руками. — Они читали чужие письма. Наверное — мои тоже. — Он засмеялся. — Наверное, им было скучно. Я плохо пишу по-русски. Я писал про малярию.

Он сел на пустой стул рядом с ней, хотя никто его туда не сажал, а сел он сам.

Ольга, сидевшая по другую сторону, внимательно и оценивающе посмотрела на него поверх бокала, чуть приподняла бровь и отвернулась, а потом, наклонившись к Лене и не глядя на неё, сказала одними губами: «Поручик Лукаш. Про него на всей дороге от Пензы рассказывают. На каждой станции — новая пани». И заговорила с Марковым.

Пепеляев пришёл в полночь и ненадолго; Лена видела, что надолго он и не собирался. Он появился в дверях в том же сером френче с бело-зелёной повязкой и не снял шинели, которую нёс на руке. Увидев его, зал замолчал, оркестр перестал играть, пары остановились, и все повернулись к дверям. И кто-то из офицеров громко сказал:

— Господа! Командир!

Тогда встали все: офицеры, дружинники, дамы, эсеры, кооператоры, чехи, даже Михайлов. Встали и стояли молча, и никто не кричал «ура» и не аплодировал; все просто смотрели на невысокого человека в дверях.

Пепеляев постоял, посмотрел на них, чуть наклонил голову и сказал:

— Садитесь, господа. Прошу вас. — И, помолчав, прибавил: — Я — на минуту.

Он подошёл к большому столу, взял поданный ему бокал, но не сел.

— Господа, — негромко сказал он; Лена знала, что голоса он не повышает. — Я не мастер говорить. Я скажу коротко. — Он выдержал паузу. — Сегодня мы взяли Томск. Мы его взяли — сами. Не чехи, — он чуть поклонился чешскому капитану, — хотя без чехов было бы трудно. Не союзники. Не японцы. Не генералы. Мы — сами. Сибиряки. Студенты, гимназисты, офицеры, рабочие. Двадцать три раненых, господа. Четверо убитых. — Он снова помолчал. — Я знаю их имена. Вы — тоже узнаете. Завтра.

Зал молчал.

— Я пью, — сказал Пепеляев, — за Сибирь. Свободную. И — свою.

Он поднял бокал, отпил половину и поставил его на стол недопитым.

— Простите, господа, — сказал он. — Меня ждут. — И, впервые за вечер чуть улыбнувшись, добавил: — Жена. И сын. Я не видел их неделю. Сева — забыл, наверное, как выглядит отец.

Зал засмеялся тепло и с облегчением. Пепеляев надел шинель и пошёл к двери, а проходя мимо их стола, мимо Лены и сидевшего рядом с ней Лукаша, коротко, всего на одну секунду, посмотрел на неё и кивнул. Он только кивнул, ничего не сказал и не остановился.

Лена поняла, что кивок этот означал «вы сделали своё», и ещё «я помню», и ещё «не здесь, не сейчас, не так», и ещё что-то, чего она не могла прочитать и что было, может быть, самым главным.

Когда он вышел, Лукаш, проводив его взглядом, посмотрел на Лену.

— Ваш командир, — сказал он. — Он — хороший солдат. — И, помолчав: — Он — на вас посмотрел.

— Он на всех смотрит, — сказала Лена.

— Нет, — сказал Лукаш и улыбнулся. — Не на всех.

Румын снова заиграл вальс, но уже другой, «Дунайские волны» Ивановичей, румынский, свой. Лукаш встал, поклонился ей и протянул руку.

— Сестра Трофимова. Позвольте?

Лена посмотрела на его загорелую руку с коротко остриженными ногтями и тонким белым шрамом через костяшки.

Она давно не танцевала с мужчиной, так давно, что не могла вспомнить когда. До войны были гимназические балы и кадеты, наступавшие на ноги, потом был Грушницкий, неумелый и горячий, а потом было много чего, но только не танцы. В театре она танцевала одна, для зала, для галёрки и, как оказалось, для Алмазова, но это было другое: то был танец перед кем-то, а не с кем-то.

Она подала руку, и он повёл её на середину зала.

И повёл он её совсем не так, как Грушницкий. Тот вёл горячо и неумело, прижимая слишком сильно, наступая на ноги и задыхаясь, а Лукаш вёл легко, по-европейски, как ведут в Праге и в Вене, на балах, где вальс не событие, а привычка; он был выше, и ей приходилось чуть поднимать к нему лицо. Его рука лежала у неё на спине, не на талии, а ниже, на пояснице, там, где кончалась открытая спина платья и начинался бархат, и не давила, а просто была рядом и чуть-чуть направляла: на повороте становилась немного сильнее, на шаге назад немного легче. Лена не думала о шагах, она вообще ни о чём не думала, а только кружилась.

Вокруг кружился зал: свечи, погоны, шляпки, засохшие пальмы, бело-зелёный бант на чьей-то груди, Ольга в изумрудном, которая стояла у стола с бокалом и смотрела на неё, Михайлов, вытирающий лоб, Марков, хлопающий в такт, румын, закрывший глаза над скрипкой, и угловые окна с полукруглым верхом, за которыми стояла светлая серо-голубая белая ночь. Колокола уже не звонили, а где-то далеко на улицах город пел вперемешку «Боже, царя храни» и «Марсельезу», и никто его не останавливал.

Она была пьяна от шампанского, от которого собиралась выпить два бокала по глотку, как учила Ольга, а выпила не два, а четыре; пьяна от победы, от того, что двое суток не спала, от Коли Шпаковского, который умер у неё на руках в два часа десять минут, и от того, что она не плакала; пьяна от вальса и от руки на пояснице.

— Вы танцуете — как в Праге, — сказал Лукаш близко, у самого её уха. — В Праге я танцевал с девушками в «Люцерне». Они танцевали — хуже.

— Я училась у мадам Дюваль, — сказала Лена. — В гимназии. В той, где я сегодня перевязывала.

— Мадам Дюваль, — повторил Лукаш. — Француженка. — Он засмеялся. — Значит — я танцую с Францией. С союзницей.

— Нет, — сказала Лена. — Вы танцуете с Сибирью.

Лукаш посмотрел на неё и на секунду перестал улыбаться.

— Да, — сказал он. — С Сибирью. — И, помолчав, добавил: — Это — лучше.

Вальс кончился.

В третьем часу он проводил её домой. Шли пешком, потому что извозчиков не было: они то ли разбежались, то ли пили где-то, то ли спали. Шли по Почтамтской, мимо почтамта с выбитыми стёклами, потом по Магистратской и через мост над Ушайкой, где днём подобрали Ивана Тюменцева и где на мостовой ещё что-то темнело, но Лена не стала туда смотреть; потом переулками, мимо спящих домов, в которых кое-где ещё горели окна и пели, мимо Воскресенской церкви, белевшей в белой ночи.

Ночь эта была белой не по-настоящему, не по-петербургски, но всё же светлой, серо-голубой и без теней. Небо на севере, над рекой и разливом, было зелёным, как бутылочное стекло, а на востоке уже розовело. Черёмуха пахла так оглушительно, что кружилась голова, и кружилась сильнее, чем от шампанского.

Навстречу им по середине улицы, в обнимку, шли трое пьяных дружинников, студентов с повязками, и пели «Gaudeamus». Увидев чешского офицера с сестрой милосердия в вечернем платье под японским платком, они замолчали и неумело отдали честь, причём один левой рукой, а потом пошли дальше и снова запели.

Лукаш шёл рядом, не беря её под руку, просто шёл и рассказывал о Праге, о Влтаве, о Карловом мосте, на котором стоят статуи святых, и среди них святой Ян Непомуцкий, которого сбросили с моста в реку за то, что он не выдал тайну исповеди королевы. «Его утопили, сестра, — за то, что он молчал. Это — чешский святой. У нас все святые — за то, что молчали». Рассказывал о Будейовицах и о девяносто первом полку, где служил кадровым, — «двенадцать лет, сестра, и ни одного дня на своём месте», — и о том, как его отправили на фронт из-за собаки. «Из-за собаки, сестра. Честное слово. Швейк украл для меня пинчера. У полковника. Я пошёл с ним гулять по Пршикопам — и навстречу полковник. Он узнал свою собаку. И через неделю я был в маршевой роте». Рассказывал и о том, как в пятнадцатом году в Галиции сдался в плен вместе со всей ротой и со Швейком, потому что не хотел воевать за австрийского императора против славян. «Швейк сдался первым. Он сказал русским: “Осмелюсь доложить, мы давно вас ждём”». И о том, что Прага далеко, за двадцать тысяч вёрст, и он, может быть, никогда её больше не увидит, но не жалеет об этом.

Лена слушала и не слушала, глядя то на черёмуху, то на небо, то на его узкий профиль с пенсне и свежим шрамом на подбородке.

У калитки они остановились. Дом стоял тёмный, без единого огня, и только в кухне, может быть, горела свеча, но Лена этого не заметила, потому что не посмотрела туда.

— Это — ваш дом? — спросил Лукаш.

— Мой.

— Большой. — Он посмотрел на мезонин. — Как в романе. У Тургенева. Мы читали Тургенева в Праге. В гимназии. «Дворянское гнездо».

— Это не гнездо, — сказала Лена. — Это — дом большевика. Профессора химии. Члена ревкома.

Лукаш удивлённо посмотрел на неё, а потом понял, или, может быть, не понял, но сделал вид, что понял.

— Ваш отец? — Он помедлил. — Он — уплыл?

— Наверное.

Лукаш помолчал.

— Мне жаль, — сказал он и шагнул к ней.

Он шагнул медленно, давая ей время, давая возможность отступить, отвернуться или сказать «нет», так же, как в апреле, держа её руку секунду или две, давал ей возможность эту руку отнять. Она не отступила, и он поцеловал её.

Губы у него были тёплые, сухие и чуть горькие от табака и шампанского. Пенсне он снял, она не заметила когда, и держал его в пальцах у неё за спиной, так что сквозь бархат она чувствовала холодок металла. Щека его была гладкой, выбритой к вечеру, совсем не такой, как

щетина Алмазова под кольдкремом, а иной. Его рука снова легла ей на поясницу, туда же, где лежала в вальсе, и чуть-чуть, не сильно, притянула её к себе. Японский платок соскользнул с одного плеча, и его пальцы коснулись открытой кожи, тёплой от вальса и прохладной от белой ночи.

И тело откликнулось. Лена почувствовала это сразу, с первого касания губ: снизу, от живота, вверх волной поднялось тепло, и пульс, которого она не считала, но знала, дошёл до ста, до ста десяти, а колени стали мягкими, как с поручиком Грушницким на Басандайке и как с Гомаровским в номере четырнадцатом в новогоднюю ночь, не так сильно, но так же. Будто где-то далеко, за рекой и разливом, ударил колокол, а потом второй, уже ближе, ближе, чем в апреле, когда он целовал ей запястье, и ближе, чем три дня назад, когда Алмазов держал её руку в артистической.

Это был её первый поцелуй после Гомаровского, через пять месяцев; она считала их, вернее, их считало тело.

Она знала, что может и не останавливаться, знала, что если не остановится сейчас, то через минуту откроет калитку, они пройдут через двор и поднимутся в мезонин, мимо кухни, мимо Фёклы, и тогда… И колокол ударил ещё ближе.

Она отстранилась сама, мягко, положив ладонь ему на грудь, на мундир, на пуговицы и на жарок в петлице, и чуть оттолкнув его.

— Не сейчас, поручик, — сказала она охрипшим, чужим голосом.

Лукаш смотрел на неё, и она видела, что он не обиделся и не удивился, только глаза у него стали другими, серьёзными.

— Не сейчас, — повторил он. — Хорошо. — Он помолчал и бережно, двумя пальцами, как поправляют чужое и драгоценное, поправил платок у неё на плече. — Я подожду.

И, улыбнувшись снова по-мальчишески, добавил:

— Мы стоим в Томске неделю. Может — две. Потом — на восток. На Иркутск. — Он помедлил. — Неделя — это много, сестра. В Праге за неделю влюбляются, женятся и разводятся.

Он поклонился, отдал честь как положено, правой рукой, в отличие от дружинников, и ушёл по переулку в белую ночь, мимо черёмухи, не оглядываясь и насвистывая «Дунайские волны».

Лена стояла у калитки и трогала пальцами губы, как трогают ожог. Потом она открыла калитку и пошла в дом, где в кухне, как она только теперь увидела, горела свеча.

15.7. Пустой дом

Фёкла сидела у кухонного стола одетая. Не в ночной кофте и не в исподнем, как сиживала обычно, когда дожидалась Лену допоздна, а по-уличному, по-праздничному, так, как одевалась к обедне: в тёмной юбке, в кофте с пуговками, в чистом переднике и в платке, повязанном под подбородком, словно собралась куда-то идти, да так и не пошла, или, напротив, пришла откуда-то и всё не решалась раздеться.

Перед ней на столе, в медном подсвечнике, стояла свеча, оплывшая почти до основания. Сколько же она так просидела? Когда Лена уходила в «Европу», свеча была ещё новая: Лена хорошо помнила, как Фёкла зажгла её, чтобы посветить барышне на крыльце, и было это в девять вечера, а теперь было уже три часа ночи, так что выходило, что Фёкла просидела здесь целых шесть часов.

Самовар стоял холодный, печь прогорела, и угли в ней подёрнулись золой; на столе рядом со свечой не было ничего — ни чашки, ни хлеба, ни шитья. А между тем Фёкла никогда не сидела без дела. Ни разу за все те годы, что Лена её знала, то есть с самого своего рождения, она не видела, чтобы Фёкла сидела сложа руки: та всегда что-нибудь шила, вязала, чистила, перебирала крупу, лущила горох или штопала, и казалось, что руки у неё попросту не умеют лежать.

Теперь они лежали на столе перед свечой, сложенные одна на другую, большие, красные, шершавые, со вздутыми венами, и лежали так, как лежат руки у покойницы.

Лена остановилась в дверях кухни. Японский платок соскользнул у неё с плеча, но она его не поправила. Фёкла подняла на неё глаза, и Лена поняла всё ещё прежде, чем та заговорила, — поняла по глазам, по рукам, по догоревшей свече, по платку, повязанному под подбородком, точно так же, как сегодня днём, на полу в коридоре гимназии, она поняла всё по одному цвету крови, ещё до того, как Коля успел открыть рот.

— Ушли, — сказала Фёкла и ничего больше не прибавила.

Лена не двинулась с места.

— Барин приходил, — заговорила Фёкла тихо, ровно, без всякого выражения, тем голосом, каким читают над покойником Псалтирь. — Вечером. В десятом часу. Как ты ушла, так через полчаса и пришёл. — Она помолчала. — С ним двое. Солдаты. С ружьями. Остались у калитки. А он вошёл.

Лена слушала.

— Собрал, — продолжала Фёкла. — Бельё. Своё. Три рубахи, исподнее, носки, — я ему сама в узел увязала, он не умеет. Книги, какие — не знаю, по химии, по-немецки, штук десять, в ремень стянул. Бритву. Мамкину ещё. — Фёкла сказала «мамкину», и Лена не сразу сообразила, что речь идёт о бритве покойного деда, которую мама подарила отцу на свадьбу. — Тетради. Свои. Из стола. Все. Сколько было, все забрал. Мне велел пустые ящики не задвигать. Чтобы, говорит, видно было, что пусто. Чтоб не искали.

Она снова замолчала, а потом, посмотрев на свечу, сказала:

— Я ему сказала: барышня в ресторане. С чехами. Позвать? Сбегаю, говорю. Тут недалеко. Минутное дело.

— А он?

— Сказал: не надо.

Фёкла помолчала.

— Сказал: «Не надо, Фёкла. Не буди». — Она подумала, припоминая. — Я говорю: да она ж не спит, она ж в ресторане. А он опять: «Не буди». Как будто не слышал. Как будто ты в мезонине спишь, маленькая. — И, помедлив, добавила: — Он, видно, так и думал. Что ты спишь.

Лена всё стояла в дверях.

— Потом сел, — сказала Фёкла. — В сенях. На лавку. Где шуба висит. Узел у ног, книги у ног. Солдаты у калитки курят, ждут. А он сидит. — Она перевела взгляд со свечи на Лену. — Долго сидел, Лена. Я в кухне стояла, в дверях, смотрела. Он сидел и на шубу смотрел. На барынину. На лису, которая на гвозде. Руку протянул, я думала, снять хочет. А он потрогал. Подол. Погладил, как кошку гладят. И сидел.

Лена перестала дышать. Подол — тот самый подол, в котором были зашиты двадцать семь червонцев, две тысячи керенками и записка Пепеляева, — и он этот подол погладил. Знал ли он? Или не знал? Почувствовал ли под рукой тяжесть и понял, что это значит, или просто гладил мамину шубу, потому что это была мамина шуба, а он уходил и больше никогда её не увидит?

— Сколько сидел? — спросила Лена, и голос показался ей чужим.

— Долго, — сказала Фёкла. — С полчаса. Может, больше. Солдат один заглянул в сени: товарищ, говорит, Трофимов, пароход. А он рукой махнул: сейчас. И ещё сидел. — Она перевела дух. — Потом встал. Взял узел. Книги. Посмотрел на лестницу. Наверх. В мезонин. — Фёкла помолчала. — Я думала, пойдёт. Наверх. Посмотреть. Он постоял. И не пошёл.

— И ушёл?

— Ушёл.

— Ничего не сказал?

Фёкла думала долго, словно перебирала в уме каждое слово, сказанное им за этот вечер, чтобы ничего не пропустить и ни в чём не ошибиться.

— Сказал мне, — ответила она наконец. — У двери. «Фёкла, — говорит, — ты смотри за ней». — И, помолчав, продолжала: — А я говорю: а кто ж ещё смотреть-то будет, Пётр Сергеевич. Я за ней с первого дня смотрю. — Фёкла опустила глаза. — Он кивнул. И ушёл.

Больше он ничего не сказал и даже не попрощался.

Лена стояла в дверях кухни в своём чёрном бархате, с японским платком, сползшим с одного плеча, и губы её ещё помнили поцелуй Лукаша у калитки, случившийся всего пятнадцать минут назад, — каких-нибудь пятнадцать минут. Пока она танцевала «Дунайские волны» в «Европе», отец сидел в сенях на лавке и гладил мамину шубу; пока она пила «Вдову Клико» из реквизированного ящика, отец ждал полчаса и больше, с солдатами у калитки, рискуя тем, что пароход уйдёт без него; а пока Пепеляев произносил свой тост «За Сибирь — свободную и свою», отец уже уходил переулком, с узлом в руке, к пристани.

Фёкла могла бы добежать до «Европы» за десять минут, но он сказал, что не надо. Он не хотел её видеть. Или, быть может, хотел, и хотел так сильно, что не мог. Лена этого не знала и понимала, что никогда уже не узнает, какое из двух было правдой.

— Иди, — сказала Фёкла и тяжело поднялась, опираясь на стол. — Иди наверх, Лена. Я тут. Я посижу ещё.

Но Лена пошла не наверх, к себе, а в кабинет.

Кабинет отца помещался на втором этаже, напротив лестницы в мезонин. Она поднималась по этой лестнице тысячу раз и всякий раз, проходя мимо его двери, слышала то скрип пера, то звон пробирок, то его кашель, то его голос, бормочущий формулы, а то и особую, отцовскую тишину, тишину человека, который думает. Даже когда его не было дома, когда он сидел в ссылке, в тюрьме или был в отъезде, кабинет оставался его кабинетом. Девочкой она пробиралась туда тайком и нюхала воздух, в котором смешивались табак, кислота, старая бумага и кожа, — так пахнул отец.

Дверь была открыта, и Лена вошла.

Свеча, которую она взяла у Фёклы, оплывшая и слабая, осветила комнату совсем немного, бросив жёлтый круг на стол, на пол и на стену, а всё остальное тонуло в серой полутьме белой ночи, сочившейся сквозь щели в шторах.

Здесь было пусто, но пусто не так, как бывает в комнате, где просто никого нет, а так, как пусто бывает в комнате, из которой ушли. Это были разные пустоты, и Лена знала это с тех пор, как не стало мамы, и ещё с января, с четырнадцатого номера в «Европе», когда коридорный открыл ей дверь и она увидела пустой шкаф, пустую вешалку, пустой стол и камин, растопленный для неё. Здесь камина не было.

Все шесть ящиков стола, три слева и три справа, были выдвинуты, как он и велел, чтобы их «не задвигать», и пусты совершенно: в них не осталось ни бумажки, ни карандаша, ни скрепки, он вычистил их так, как вычищают рану, и только на дне нижнего правого ящика лежала сухая крошка табака, и больше ничего.

Полки с книгами опустели наполовину. Он взял, как сразу увидела Лена, немецкие книги, Оствальда, Нернста, Вант-Гоффа, и свои собственные, то есть оттиски статей, которые писал сам, в серых обложках, с дарственными надписями от коллег. Оставил же он русские: Менделеева, Бутлерова, Меншуткина, учебники, а вместе с ними и всё, что не касалось химии, — Пушкина, Толстого, Чернышевского, Герцена в старых переплётах, с маминими закладками. Всё это он оставил ей.

Шкаф с реактивами стоял открытым, и бутыли в нём были на месте; пустовала только одна полка, та, на которой он держал что-то такое, о чём Лена так ничего и не узнала, потому что он никогда об этом не говорил, а только отвечал: «Это не для тебя, Леночка. Это для дела».

Посередине стола, на зелёном сукне, протёртом его локтями до лысин, лежали две вещи.

Первой была пробирка, самая обычная, стеклянная, химическая, без пробки, вставленная в деревянный штатив на одно гнездо, а на дне её засох какой-то бурый осадок. Лена поднесла свечу и посмотрела на свет: осадок был бурый, кристаллический, с рыжим отливом. Окись железа или что-то другое? Этого она не знала, потому что была медичкой, а не химиком. Он то ли забыл пробирку, то ли не забыл, а нарочно оставил, как оставляют на столе недоделанную работу, думая про себя: «Вернусь — доделаю».

Второй была книга, толстая, в тёмно-синем коленкоровом переплёте, с загнутыми уголками страниц и с карандашными пометками на полях. Лена взяла её, посмотрела на корешок и узнала прежде, чем прочла.

«Вл. Ильин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Москва. Издательство «Звено». Тысяча девятьсот девятый.

Это была та самая книга, которую отец оставил ей в ноябре, в первые недели своей власти, когда поговорить им было некогда, и на форзаце которой написал карандашом пять слов. Она тогда прочла её — всю, добросовестно, как читают учебник перед экзаменом, — и на полях остались её пометки: вопросительные знаки возле «поповщины», возле «лакеев» и «кривляк», и одно сердитое «это не довод» против целой страницы ругани. Мах, решила она тогда, честнее, и сказала ему это у избирательного участка, над полбутербродом с салом, а он ответил «потом поговорим». В феврале, после спора над гранками «Государства и революции», когда он, больной, в пледе, ушёл к себе, держась за стену, она поднялась в кабинет и молча положила эту книгу ему на стол: возвращаю, не убедил.

Он её не взял. Он увёз немецкие книги, свои оттиски, свои тетради, — а эту оставил там, куда она её положила, посреди стола, на зелёном сукне, раскрытой на форзаце. Как возвращают письмо, на которое так и не нашлось ответа.

Лена посмотрела на форзац, хотя знала, что там. Его почерком, мелким, торопливым, химическим, с наклоном влево и с недописанными окончаниями, было выведено карандашом:

«Чтобы поняла, за что мы».

Ни подписи, ни «Леночке», ни «папа», ни даты не было.

Чтобы поняла, за что — мы. Не «за что я», а именно «мы»: он и те, с кем он ушёл, ревком, Совдеп, ЧК, интернационалисты, Ференц, латыши, пароход.

Лена стояла с книгой в руках и смотрела на эти пять слов. Чтобы поняла… Он думал, что она не поняла, и думал, что если она прочтёт ещё раз, медленнее, без своих вопросительных знаков на полях, то поймёт, и тогда, может быть, простит, или придёт, или станет такой же, как он.

А она поняла давно, ещё в феврале, и без всякой книги. Она поняла, за что они, когда увидела, как разгоняют Думу, когда увидела мёртвого латыша со склада номер три, который смотрел на амура с ретортой, когда увидела, как Колю Шпаковского принесли на шинели, когда Марью Павловну ночью увели в ЧК. Она всё поняла, она просто не приняла. А он думал, что не принять можно, только не поняв.

Лена закрыла книгу и подумала о том, чего на столе не было.

Она подумала о списке, о копии студенческого списка с декабрьской сходки, на которой студенты подписывали резолюцию в защиту Учредительного собрания, а люди в кожанках переписывали их фамилии. Её фамилия стояла там седьмой, написанная её собственной рукой: «Трофимова Е. П., мед. ф-т». Отец принёс эту копию в декабре, сказал тем своим сухим голосом: «Списки имеют свойство пригождаться», — и положил её во внутренний нагрудный карман, и так и носил там всю зиму и всю весну, у сердца.

В ящиках было пусто, на столе лежали пробирка и книга, а списка не было: его он не оставил. Почему? Затем ли, чтобы белые не нашли у него в столе её фамилию, седьмую по счёту, в чекистской бумаге и не спросили, откуда у члена ревкома список контрреволюционных студентов, в котором на седьмом месте стоит его дочь, — то есть затем, чтобы её защитить?

Или затем, чтобы там, на пароходе, этот список был при нём, на всякий случай, ведь списки имеют свойство пригождаться?

Лена стояла у пустого стола и не знала ответа.

Со свечой и с книгой она поднялась в мезонин. Медведи на картине, те самые, за которыми скрывалась ниша, смотрели на неё из темноты: медвежата на поваленном дереве, медведица, туман, — всё было как всегда.

Она поставила свечу на стол, рядом с маминой лампой под зелёным абажуром, с «Ундервудом» и с маминой фотографией, на которой стриженая женщина в арестантском бушлате насмешливо улыбалась, и потом обернулась к кровати.

И тут она увидела, что на подушке лежит лист тонкой папиросной бумаги, сложенный вчетверо, белый на белой наволочке и оттого почти невидимый; Лена заметила его только потому, что от складки на нём легла тень от свечи.

Она подошла, взяла его и развернула, хотя знала, что это такое, ещё до того, как развернула: знала по бумаге, по сгибам, истёртым и мягким, как ткань, по тому, что бумага была тёплая, — нет, не тёплая, это ей только показалось, — а по тому, что она пахла табаком, кислотой и кожей.

Это была Гиппиус, «У. С.», тот самый лист, один из двухсот, которые она в январе, после убийства Шингарёва и Кокошкина, отпечатала на «Ундервуде» с вырезки Михайлова. Отец взял его тогда со стола в столовой, прочёл, ни о чём не спросив, сложил вчетверо и положил во внутренний нагрудный карман сюртука, к списку. Она не знала, что он с ним сделает, порвёт ли, сожжёт или отдаст людям в кожанках, а он носил его всю зиму и всю весну рядом со списком, у сердца. В феврале она бросила ему это в лицо: «Ты положил один в карман. Рядом со списком», — и он ничего не ответил.

Теперь этот листок лежал на её подушке, без записки, без единого слова, без подписи, просто листок, и ничего больше.

Лена села на кровать, держа листок в руках, и поняла, что он поднимался сюда. Фёкла ведь сказала: «Посмотрел на лестницу. Постоял. И не пошёл». Не пошёл при Фёкле, но потом, когда Фёкла ушла в кухню, когда солдат заглянул в сени, он поднялся, тихо, по скрипучей лестнице, на которой знал каждую ступеньку, и вошёл в мезонин, в её комнату, где она будто бы «спала» и где её не было, потому что спать там было некому, — была только пустая кровать и пустая подушка.

И на эту подушку он положил листок, вынув его из нагрудного кармана, от сердца, а список оставил в кармане и ушёл.

Зачем? Вернул ли он листок потому, что тот был её, потому что это были её буквы, её «Ундервуд», её двести экземпляров? Или затем, чтобы листок не нашли у него белые, если возьмут, или красные, если станут обыскивать, ведь большевику держать при себе Гиппиус нельзя, это улика? Чтобы он не попал в архив ЧК, чтобы сохранился?

Или же он так попрощался — без слов, потому что словами не мог, потому что он был химик, теоретик, человек формул, а не слов, и слова у него находились только для спора, а для прощания их у него не было?

Она развернула листок и прочитала его при свече, и не потому, что не помнила, а потому, что так было надо.

Наших дедов мечта невозможная, Наших героев жертва острожная, Наша молитва устами несмелыми, Наша надежда и воздыхание, — Учредительное Собрание, — Что мы с ним сделали…?

Что мы с ним сделали. Мы.

Лена сложила листок вчетверо по тем же сгибам, положила его на ладонь и долго сидела так, не шевелясь.

Потом она встала и пошла вниз, в комнату за столовой, к Ференцу. Она и сама не знала, зачем идёт: Ференц ушёл, он сам сказал ей об этом вечером двадцать девятого — «Ni foriros», — и она знала, что его там не будет, и всё-таки пошла, как ходят после похорон по всем комнатам, чтобы проверить, что везде пусто, и окончательно в этом убедиться.

Дверь была открыта, и в комнате было пусто. Койка была застелена аккуратно, по-солдатски, серое одеяло подоткнуто под матрас без единой складки, подушка взбита, и на подушке ничего не лежало.

Не было ни скрипки, ни футляра, который всегда стоял у стены возле окна, ни винтовки, ни шинели на гвозде, ни котелка, ни ложки, ни кружки, всегда стоявших на подоконнике, — не было ничего, словно никто и никогда здесь не жил и словно никакого февраля не было вовсе.

Остался только рояль, старый рояль в углу под окном, на котором никто не играл с тех самых пор, как Лена в двенадцать лет бросила уроки. Крышка его была поднята, а Лена ни разу в жизни не видела её поднятой: Ференц на рояле не играл, он играл на скрипке, стоя рядом с роялем.

На пюпитре рояля лежала книга, маленькая, растрёпанная, в засаленной бумажной обложке с загнутыми углами. Это был учебник эсперанто, тот самый старый учебник, по которому учились в кружке при Совете военнопленных; Ференц выпросил его у учителя, седого австрийца, и учил по нему вечерами за своей дверью, шевеля губами, когда не играл.

Учебник был раскрыт на первой странице, на первом уроке. Лена подошла и поднесла свечу. Первый урок, «Unua leciono»: алфавит, произношение и первые фразы, простые, для начинающих, те самые, которые учитель писал на доске в апреле и над которыми Лена тогда не могла удержаться от смеха.

«La patro havas bastonon». — «У отца есть палка».

«La knabo havas pomon». — «У мальчика есть яблоко».

«Mi havas libron». — «У меня есть книга».

А внизу страницы, на полях, на белом, карандашом, неровными, крупными, старательными буквами, какими пишут люди, которым писать приходится редко, было написано:

«Mi havis violonon. Vi havas la domon. Adiaŭ».

Лена прочитала это медленно, слово за словом, как их учили.

Mi havis — у меня было; это прошедшее время, окончание «-is», которое они проходили на последнем уроке, перед Пасхой.

Violonon — скрипку; винительный падеж, окончание «-n».

Vi havas — у вас есть; это настоящее время.

La domon — дом.

Adiaŭ — прощайте.

«У меня была скрипка. У вас есть дом. Прощайте».

Лена стояла у рояля со свечой в руке. У меня была скрипка… Именно была, в прошедшем времени, как будто скрипки уже нет, как будто он заранее знал, что не сохранит её где-нибудь на пароходе, в Нарыме, в тайге или на фронте, ту скрипку с трещиной на деке и с одной чужой струной, которую он пронёс через плен, через Карпаты, через Галицию и через всю Сибирь.

У вас есть дом. Есть, в настоящем времени: у неё есть дом, пустой, без отца, без матери, без Ференца, без Марьи Павловны, дом, в котором остались книги, ниша, медведи, шуба и Фёкла. Он оставил ей дом, словно этот дом был его и он ей его отдал: солдат, которого вселили сюда по ордеру в феврале, уходя, оставил ей дом в собственность, и оставил на эсперанто.

И — прощайте. Не «до свидания», а «Adiaŭ». Он ведь знал «Ĝis revido», то есть «до свидания», они это учили, и всё-таки написал adiaŭ.

Лена закрыла учебник, но потом открыла его снова на той же странице и так и оставила раскрытым на пюпитре, на первом уроке. «Пусть, — подумала она, — пусть лежит раскрытым,

как пробирка на столе, как выдвинутые ящики. Пусть в этом доме всё пока остаётся так, как оставили».

Она тихо опустила крышку рояля, чтобы та не стукнула, и услышала, как из кухни, где теперь не было свечи, Фёкла в темноте вполголоса читает «Живый в помощи Вышняго».

15.8. Пристань

Слух пришёл на рассвете, в пятом часу.

Лена не спала. Она сидела в мезонине на кровати, всё в том же чёрном бархате, который так и не сняла, с листком Гиппиус на коленях, и смотрела в окно на черёмуху и на колокольню Воскресенской церкви, которая из серой становилась розовой, как вчера и как позавчера, как будто ничего не случилось. Она смотрела и не думала, потому что думать было уже нечем, и ей оставалось только смотреть.

Слух пришёл с улицы, голосами. Сначала послышался один голос, женский и далёкий, откуда-то с переулка, потом два, а потом шаги, много торопливых шагов, которые направлялись не к центру, а вниз, под гору, к реке. Лена встала и открыла окно, и утренний воздух, холодный и сырой, тянувший с реки и пахнувший черёмухой и дымом, ударил ей в лицо.

Внизу, в переулке, бежали люди: бабы в наспех накинутых платках, мужик в исподней рубахе и без картуза, мальчишки, а за ними старуха с клюкой, которая не бежала, а ковыляла, крестясь на ходу.

— Что случилось? — крикнула Лена из окна.

Старуха подняла голову.

— На пристани, барышня! — крикнула она снизу. — Побитые лежат! Красные постреляли! Перед пароходом! Тюремных!

Лена осталась стоять у окна, и слово «тюремных» повторялось в ней, обрастая всем, что она знала: из тюрьмы, из губернской тюрьмы, той самой, куда на Пасху Фёкла носила передачу и где передачу не приняли, ответив: «Не положено. Списки», — из той тюрьмы, куда девятнадцатого апреля увели Марью Павловну.

Переодеваться она не стала. Взяв медицинскую сумку, ту самую, вчерашнюю, с кровью Коли Шпаковского на ремне, она пошла как была: в чёрном бархатном вечернем платье до пола, с японским платком на плечах, в туфлях на каблуке, в которых вчера танцевала «Дунайские волны».

Фёкла увидела её в сенях и ничего не сказала, а только сняла с гвоздя шубу, мамину, лисью, с тяжёлым подолом, и накинула ей на плечи поверх платка и бархата.

— Холодно у реки, — сказала Фёкла. — Сыро.

И перекрестила её.

К пристани шли все. Весь город, тот самый, что вчера стоял на Новособорной площади и кричал «ура» бело-зелёному флагу, теперь спускался под гору, по Магистратской, по Набережной, по Пристанскому спуску, к реке, и не бежал, а шёл, быстро и молча. Никто не разговаривал, никто не кричал «ура»; слышны были только шаги, сотни шагов, шарканье подошв по деревянным тротуарам, и один далёкий колокол, Троицкий, который не звонил, а бил, редко и мерно, как бьют, когда в доме покойник.

Лена шла среди них в шубе, накинутой на бархат, с сумкой в руке. Каблуки застревали в щелях между досками тротуара, и она, сняв туфли, пошла босиком, как в апреле в театре, с шалью, ступая по доскам, холодным, мокрым от росы и занозистым.

Когда они вышли на спуск, река открылась внизу вся и сразу. Томь в половодье была не рекой, а морем: широкая, мутная, жёлтая и быстрая, она разлилась на версты, до самого горизонта, до тёмной полосы заречного леса, залила заречные луга, кусты и острова и затопила нижние улицы у реки так, что дома стояли по окна в воде и по улицам плавали лодки. Деревянная пристань на сваях, с дебаркадером, с навесами и пакгаузами, была почти вровень с водой, и вода, подходя к самым доскам, лизала их и перехлёстывала через край.

У причала было пусто, и не осталось ни одного парохода: «Ермак», «Сибиряк», «Тобол», «Николай» — все ушли вниз ещё вчера вечером. Только у дебаркадера качались на воде обломки — доски, ящики, бочка, рваный мешок, из которого сыпалась в воду мука, расплываясь по жёлтой воде белым облаком, — да чья-то фуражка, да сорванный с древка красный флаг, мокрый и тяжёлый, который медленно уплывал по течению вниз, вслед за пароходами.

А на берегу, у пакгаузов, у самой воды, на досках причала, лежали они.

Они лежали в ряд, рядком, как кладут дрова или мешки на погрузку, человек тридцать, а может быть, и сорок; Лена не считала, она посчитает потом. Кто-то из грузчиков, из пристанских, уже успел накрыть их чем пришлось — рогожами, мешковиной, брезентом, старыми парусами, — и из-под рогож торчали ноги, босые, в сапогах, в ботинках, в валенках, в опорках, а одна нога была в женском ботинке на пуговках, с подмёткой, протёртой до дыры.

Вокруг стояла толпа в несколько сотен человек. Люди стояли кольцом на расстоянии, шагах в десяти, и не подходили, потому что боялись, а только смотрели. Бабы плакали, мужики сняли шапки, кто-то крестился, кто-то молился вслух, а кто-то кричал и рвался вперёд, и его держали.

И между толпой и рядом рогож расхаживал Очумелов.

Лена узнала его сразу. Это был бывший полицейский надзиратель, а потом бывший «товарищ Очумелов», заместитель начальника районной милиции, в шинели с красным бантом, тот самый, что в январе на вокзале рассыпался в любезностях перед присяжным поверенным Гомаровским, а в ночь разгона ставил галочки против фамилий депутатов.

Он был в той же самой солдатской шинели, серой, с медными пуговицами, и только бант на ней был другой: бело-зелёный, пышный, шёлковый, пришпиленный на то же место, на грудь слева, где ещё вчера красовался красный. Лена видела совершенно отчётливо, как видят в микроскоп, что сукно шинели под бело-зелёным бантом чуть темнее, чем вокруг, потому что не выгорело там, где полгода был приколот красный.

За Очумеловым шёл Елдырин, всё с тем же покорным лицом, в той же форменной фуражке без кокарды, и нёс в руке зажжённый фонарь; хотя было уже светло, совсем светло, и солнце вставало над заречным лесом, Елдырин шёл с фонарём, как будто ему велели его зажечь и забыли отменить приказание.

Очумелов держал в руках папку и карандаш и составлял протокол.

— Пиши, Елдырин, — говорил он громко, на всю пристань, чтобы толпа слышала, — пиши. «Протокол. Первого июня одна тысяча девятьсот восемнадцатого года. Мною, начальником… — он запнулся, — мною, исполняющим обязанности начальника районной милиции Сибирского временного… — он снова запнулся, — Сибирского… одним словом, новой власти… обнаружено на пристани…» Сколько их там, Елдырин?

— Не считал, ваше… господин… товарищ… — растерянно отозвался Елдырин, поднимая фонарь. — Не считал.

— Посчитай! Не стой! — Очумелов повернулся к толпе и заговорил ещё громче, с чувством, с дрожью в голосе, так, как говорят на панихиде: — Господа! Граждане! Вы видите! Вы — видите! Вот что они! Вот он, большевизм! Вот их «свобода», их «равенство», их «братство»! Убивать! Беззащитных! Безоружных! Заключённых! В спину! — Он поднял папку над головой. — Я составляю протокол! О злодеяниях большевиков! Для правительства! Для союзников! Для истории!

Толпа молчала.

— Я, господа, — сказал Очумелов, понизив голос и доверительно наклонившись к ближайшим, — я, господа, хочу, чтобы вы знали. Я при них служил. Да. Не скрываю. — Он прижал руку к бело-зелёному банту. — Но служил я по заданию! По заданию подполья! Был внедрён, господа! С самого октября! Чтобы изнутри! Чтобы знать! Чтобы предупреждать! — Выдержав

паузу, он продолжал: — Сколько я людей спас, господа, вы не знаете. Никто не знает. Я молчу. Скромность. Но придёт время — узнаете.

И тут он посмотрел на Лену.

Он увидел её в толпе, босую, в шубе поверх бархата, с медицинской сумкой, увидел и узнал, и Лена видела, как он узнаёт, как в его маленьких заплывших глазках что-то щёлкает, точно костяшки на счётах: дочь Трофимова, члена ревкома, того самого, который уплыл.

И Лена видела, как он считает, — так же, как считал в январе на вокзале: «Присяжный поверенный? Юрисконсульт? Ах, юрисконсульт!» — и тут же рассыпался в любезностях, так же, как считал всю свою жизнь, прикидывая, кто победит, кто сильнее, кого надо бояться, а с кем можно не церемониться.

Наконец счёты щёлкнули.

Очумелов слащаво улыбнулся, поклонился ей, не выпуская папки, и сказал громко, на всю пристань:

— А вот и барышня Трофимова! Медичка! Сестра милосердия! Которая вчера, господа, — я знаю, мне доложили, — в гимназии наших раненых героев перевязывала! Под пулями! — Он прижал руку к сердцу. — Хоть и дочь, а наша. Бывает, господа. Бывает. Не по отцу судим — по делам. — И, наклонившись к ней, добавил вполголоса, интимно: — Я, барышня, вас всегда… уважал. Ещё с января. С вокзала. Вы помните? Я сразу понял, что вы не такая.

Лена смотрела на него, на бело-зелёный бант и на темнеющее под ним сукно, и ничего не сказала, а прошла мимо него к рогожам.

Толпа ахнула. Кто-то сказал: «Куда, барышня?», кто-то: «Не ходи, дочка, не смотри», а кто-то схватил её за рукав шубы, но она высвободилась.

Подойдя к первой рогоже, она опустилась на колени на мокрые доски, так что шуба легла вокруг неё лисьим мехом прямо в лужу, поставила рядом медицинскую сумку и подняла рогожу — так, как в анатомичке поднимают простыню с трупа на практических занятиях: быстро, чётко, одним движением от головы, чтобы увидеть лицо и опустить, если не то.

Под рогожей лежал пожилой мужчина с седой бородой, в пиджаке, убитый пулей в затылок, с выходным отверстием во лбу; лицо его почти не пострадало, и это было чужое лицо.

Она опустила рогожу и перешла ко второй. Там лежал молодой мужчина в студенческой тужурке, тоже с пулей в затылке, и тоже чужой.

Под третьей лежал священник в подряснике, с наперсным крестом, сорванным и болтающимся на цепочке. Лене показалось, что она знает его, что это отец Сергий из Воскресенской церкви, которого взяли двадцать восьмого, тот, что крестил её; но это был не он, а только похожий на него и чужой человек.

Под четвёртой лежал старик, и рядом с ним, аккуратно, вдоль тела, кто-то положил его палку, а на груди у него была «Анна» — орден Святой Анны третьей степени, за сорок лет беспорочной службы.

Это был Петухов, сосед через забор, отставной акцизный чиновник семидесяти двух лет, тот самый, что говорил ей: «Барышня, вы бы батюшке вашему сказали — не доведёт он Россию до добра».

Лена смотрела на него и на его «Анну», на красную эмаль и золотой ободок. Орден не сорвали и не взяли, его оставили, и старика расстреляли вместе с «Анной». Она закрыла ему глаза и опустила рогожу.

Под пятой лежала молодая женщина, курсистка, та самая, что носила записки; Лена так и не знала её имени. Её тоже убили пулей в затылок, и её длинные русые волосы, расплетшаяся коса, лежали на досках в луже, и вода шевелила их.

Под шестой лежал офицер в гимнастёрке без погон, и лицо его было разбито не пулей, а прикладом: его били перед тем, как убить. Лена опустила рогожу.

Подняв седьмую, она сначала увидела не лицо, а мех.

Мех был енотовый, серо-бурый, с чёрными подпалинами, потёртый, свалявшийся, вытертый на локтях, на подоле и на воротнике, и на шубе не хватало пуговицы, третьей сверху. Лена знала эту пуговицу и знала эту шубу с чужого плеча, великоватую, широкую, прямую и тёмную, которую Марья Павловна носила всё время, что Лена её знала, с Тайги, с прошлой весны, и не снимала ни в мороз, ни в оттепель, ни дома, ни на улице, словно броню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.